



1

Латинская Америка

Латинская Америка

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АЛЬМАНАХ



ВЫПУСК 1

Зр. 20к.

Латинская Америка

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ
выпуск 1



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

БРАГИНСКАЯ Э. В.

ГОНЧАРЕНКО С. Ф.

ЗЕМСКОВ В. Б.

МИКОЯН С. А.

МИНИН А. С.

СИНЯНСКАЯ Л. П.

СТОЛБОВ В. С.

ТЕРТЕРЯН И. А.



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1983



ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

выпуск 1



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1983

И (Латин)

Л27

Составление

Э. БРАГИНСКОЙ и В. ЗЕМСКОВА

Вступление

Г. СТЕПАНОВА

Оформление художника

Ю. КОПЫЛОВА

© Составление, статьи, переводы, оформление.
Издательство «Художественная литература»,
1983 г.

Л $\frac{4703000000-191}{028(01)-83}$ 167—83

К ЧИТАТЕЛЯМ АЛЬМАНАХА

Литературный альманах «Латинская Америка», к регулярному выпуску которого приступает издательство «Художественная литература», является откликом на все возрастающее значение латиноамериканского континента в жизни нашей планеты и, в частности, на бурный подъем, переживаемый литературами латиноамериканских стран. Это новый и весьма ощутимый вклад в благородное дело укрепления и развития культурных связей и взаимоотношений между народами Советского Союза и Латинской Америки.

Советский читатель достаточно хорошо знаком со многими социальными и национальными проблемами стран Латинской Америки. Он пристрастно следит за успехами братской Кубы, восторгается подвигом Никарагуа, глубоко переживает трагедию Чили, чтит революционный опыт Мексики и Бразилии, Перу и Коста-Рики, живо принимает к сердцу перипетии вооруженной борьбы народов Сальвадора и Гватемалы за свою честь и независимость.

Наши читатели также знают и любят литературу этих стран. Книжки кубинцев Николаса Гильена и Алехо Карпентьера, чилийцев Габриэлы Мистраль и Пабло Неруды, колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса, уругвайца Орасио Кироги, венесуэльца Мигеля Отеро Сильвы, гватемальца Мигеля Астуриаса и многих других художников слова Латинской Америки пользуются большой популярностью в нашей стране. Альманах «Латинская Америка» позволит советским читателям своевременно знакомиться с весьма динамичным развитием литературного процесса в огромном и сложном регионе земного шара, который недаром получил название «Пылающий континент».

Под словом «альманах» обычно понимается «разнородная подборка новейших произведений литературы разных авторов, иногда объединенных одним направлением» (по словарям).

Альманах «Латинская Америка» отвечает этому определению. Читатель найдет в нем новые и новейшие литературные произведения самых различных жанров (романы, повести, рассказы, стихи, эссе, публицистические статьи) и направлений: современную интеллектуальную прозу

и поэзию с ее глубоким психологизмом и сложной метафористикой, а подчас и с мифологическим подтекстом, произведения так называемого «магического реализма», органически сочетающие реальность с легендой или фантастикой, социальную прозу и поэзию с широким охватом действительности, с духом протеста и реализмом художественного языка, революционную поэзию, рожденную в подполье или у партизанских костров. Однако при всем своем разнообразии альманах отнюдь не разнороден. Напротив, он пронизан духом высокой гражданственности, заботой о судьбе простого человека, симпатией к обездоленным, восхищением людьми революционного долга и дела.

Собранные в альманахе произведения свидетельствуют о том, что искусство слова — это тоже оружие. Нам кажется порой, что приравнивание слова к оружию, то есть сравнение дела художника с вооруженной борьбой, — это не более чем метафора. Но бывает и так, что жизнь поэта-бойца становится трагической реализацией этой метафоры. Свидетельство тому гибель великого сына кубинского народа Хосе Марти, перуанского поэта-партизана Хавьера Эро, славного сальвадорского патриота Роке Дальтона, знаменитого никарагуанца, участника освободительной войны Эрнесто Кастильо. Их слова-завещания тоже звучат в предлагаемой читателю книге, как и голоса тех, кто продолжает борьбу.

Академик Г. Степанов

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ



Алехо Карпентьер

(1904 — 1980)

Куба

КОНЦЕРТ БАРОККО

I

Радостно пойте...

Псалом 80

Из серебра узкие ножи, изящные вилки; из серебра большие блюда с чеканкой в виде серебряного дерева, чьи листья хранили, бывало, в своих углублениях жирные соки жаркого; из серебра фруктовые вазы — три круглые тарелки, надетые одна над другой на стержень, увенчанный серебряным гранатом; из серебра винные кувшины, выкованные серебряных дел мастерами; из серебра блюда для рыбы, и на каждом — выпуклая серебряная султанка плывет над сплетенными водорослями; из серебра солонки, из серебра щипцы для орехов, из серебра ложечки, украшенные монограммами... И все это потихоньку, неторопливо, с заботой, чтобы не звякнуло серебро о серебро, укладывается в темные глубины деревянных ящиков, багажных корзин, сундуков с надежными запорами, под бдительным оком закутанного в халат Хозяина, и он один, только он по временам разрешал серебру зазвенеть, когда мастерски мочился, метко направляя мощную струю в серебряный ночной сосуд с лукаво подмигивающим серебряным глазом на дне, сразу же ослепленным пеной, которая, отразив в себе столько серебра, тоже начинала серебриться...

— Сюда — то, что остается, — говорил Хозяин. — Туда — все, что поедет.

Среди подготовленного к отправке тоже немного серебра — кое-какая столовая посуда, набор кубков и, конечно, сосуд с серебряным глазом, но, главное, шелковые рубашки, короткие шелковые штаны, шелковые носки, китайские шелка, японский фарфор — сервиз для утреннего чая, а его, да будет вам известно, лучше всего пить

в приятном обществе, и манильские шали, совершившие путь через просторы западных морей. Франсискильо — лицо у него замотано, словно узел с бельем, в голубой платок, который прижимает мягчительные листья к раздутой флюсом правой щеке, — во всем подражал Хозяину и даже мочился так же, как он, правда, не в серебряный сосуд, а в глиняный горшок. Он тоже ходил из патио в галерею, из прихожей во внутренние покои, подпевая, словно церковный служка: «Сюда — то, что остается... Туда — то, что едет».

И так прекрасны были в лучах заходящего солнца шали и шелка, серебряные блюда, китайские и японские изделия, покоясь среди стружек, где предстояло им мирно спать либо терпеть превратности далекого пути, что Хозяин, все еще в халате и колпаке — в этот вечер прощальных визитов не ожидалось, и можно было не переодеваться, — предложил слуге, после того как были заперты все ящики, сундуки, корзины и ларцы, разделить с ним кувшин вина. Затем, прогуливаясь медленными шагами, он принялся разглядывать упакованные вещи, затянутую чехлами мебель, картины, которые остались висеть на стенах. Вот портрет племянницы-монахини: в белых одеждах, с длинной нитью четок, осыпанная драгоценностями и цветами, — взгляд у нее, пожалуй, слишком пылкий, — она изображена в день, когда стала невестой господней. Напротив, в черной квадратной раме, портрет владельца дома, нарисованный с каллиграфическим мастерством: кажется, будто художник сделал его одной линией — петливой, скрученной завитками, раскрученной и снова закрученной, ни разу не оторвав перо. Но самая великолепная картина была там, в зале для балов и приемов, где подавались атоле¹ и шоколад, — на этой картине европейский художник, проездом побывавший в Кайоакане, запечатлел величайшее событие в истории страны. Монтесума, изображенный не то римлянином, не то ацтеком, каким-то Цезарем в головном уборе из перьев кецаля, восседает на троне ватикано-мичоаканского стиля, под балдахином, который держат над ним два воина, а рядом стоит растерянный Куаутемок с лицом юного Телемака и миндалевидными глазами. Перед ними — Эрнан Кортес в бархатном берете, со шпагой на поясе; дерзко поставив сапог на первую ступень императорского престола, он замер в подобающей конкистадору

¹ Атоле — сладкий напиток из молока с кукурузной мукой.

горделивой позе. Позади фрай Бартоломе де Ольмедо, в одеянии мерсенария, с не очень дружелюбным видом потрясает крестом, а донья Марина в сандалиях и юкатанской хламиде, раскинув руки, видимо, выступает посредницей и переводит владыке Теночтитлана слова испанца. Все написано маслом, густыми мазками, в итальянском вкусе старых времен, — теперь же в Италии небеса на сводах с изображениями поверженных титанов подобны своей ясной синевой настоящему небу, а художники пользуются светлой солнечной палитрой. На заднем плане видны двери с драпировками, из-за которых выглядывают любопытные лица индейцев, жадно взирающих на разыгравшуюся перед ними драму, индейцев, как будто сошедших со страниц какого-нибудь рассказа о путешествии в татарское ханство...

Дальше, в маленькой гостиной, которая вела в туалетную комнату с парикмахерским креслом, можно было полюбоваться тремя фигурами кисти *Rosalba pittora*¹, знаменитой венецианской художницы, чьи картины славили в приглушенных тонах — серых, розовых, бледно-голубых, зеленоватых — красоту женщин, далеких и оттого еще более прекрасных. «Три прекрасные венецианки» называлась пастель Росальбы, и Хозяин подумал, что, в конце концов, венецианки эти не так уж далеки, принимая во внимание, что вскоре он сам познакомится с куртизанками — серебра для этого ему не занимать, — которых превозносят в своих писаниях многие прославленные путешественники; скоро и он будет забавляться «игрой в звездочеты», которой, по слухам, там все увлекаются, — другими словами, спрятавшись в гондоле с приспущенными занавесками, скользить по узким каналам и подстерегать неосторожных красоток, когда те, зная, что за ними подсматривают, но изображая полнейшую невинность, поправляют спустившееся с плеча платье и, случается, показывают мимолетно, однако не так уж мимолетно, чтобы не наглядеться всласть, розовое яблоко груди... Хозяин вернулся в большую залу и мимоходом прочел, попивая вино из нового бокала, двустилишие Горация, что велел он выбить над карнизом одной из дверей в насмешку над старыми друзьями лавочниками, не говоря уж о нотариусе, инспекторе мер и весов и священнике, переводчике Лактанция², —

¹ Художницы Росальбы (*ит.*).

² Лактанций (260—325) — христианский писатель и ритор.

которых, за отсутствием людей лучшего положения и звания, он принимал, чтобы поиграть в карты или откупорить прибывшую из Европы бутылку:

И доблесть старого Катона
Часто вином, говорят, крепилась ¹.

На галерее, где уже уснули птицы, раздались приглушенные шаги. Появилась ночная гостья, закутанная в шали, печальная, заплаканная — притворщица, нацелившаяся на прощальный подарок — роскошное ожерелье из золота и серебра, камни на вид хороши, но, ясное дело, завтра же надо снести их к какому-нибудь ювелиру, узнать, чего они стоят. В перерыве между рыданиями и поцелуями она требует вина получше, чем то, что в графине, из которого они пьют, хоть и считается, будто оно из Испании, а дает осадок, лучше и не взбалтывать, она-то знает в этом толк, такое вино хоть в клизму наливай, хоть мой себе это самое место, — выкладывала она все словечки, украшавшие ее разухабистую речь, — пускай пьют его Хозяин и слуга, тоже мне ценители тупоголовые! — А тебя что ли во дворце на свет породили, надралась вот сегодня ночью, да ведь ты поломойкой была, за кукурузный початок на работе надрывалась, когда, причастившись святых даров и получив папское благословение, скончалась моя добрая, чистая супруга!.. Но вот Франсискильо, нацедив вина из самого заветного бочонка, сразу укротил ее язык и распалил дух, и ночная гостья, выставив напоказ груди, уселась, бесстыдно скрестив ноги, а рука Хозяина уже запуталась в кружевах ее нижней юбки, стремясь к жаркому *segrete cose* ², воспетому Данте. Прислужник, стараясь поддержать настроение, взял свою гитару и пел утренние псалмы царя Давида, затем перешел к дневным песням о неверных красавицах, — о, я покинут, любимая скрылась и никогда не вернется, а я страдаю, страдаю, страдаю от вечной любви, — пока Хозяину не надоела эта старая дребедень и он, усадив ночную гостью на колени, не потребовал что-нибудь более современное, что-нибудь из того, чему учили в школе, куда он немало денег переплатил за его уроки. И по обширным покоям каменного дома, под сводами, расписанными розовыми ангелочками, среди ящиков — тех, что остаются, и тех, что едут, — набитых серебряными тазами и кувшина-

¹ Гораций. Оды, кн. III, ода 24. Перевод Н. И. Шатерникова.

² Тайный уголок (*ит.*).

ми, серебряными шпорами, серебряными пуговицами, серебряными ларчиками, понесся голос слуги, с особым местным акцентом произносившего слова итальянской песни — вполне подходящей в этот день, — песни, которой маэстро научил его накануне:

Ah, dolente partita.
Ah, dolente partita!..¹

Но тут раздался стук дверного молотка у главного входа. Голос певца прервался, а Хозяин, положив руку на струны, приглушил гитару: «Поди-ка взгляни... Но никого не пускай, хватит уже, целых три дня прощаются...» Вдали заскрипели дверные петли, кто-то от имени сопровождающих попросил прощения, смутно слышалось: «Благодарю, благодарю вас», потом: «Потише, не разбудите его», и пожелания на разные голоса: «Спокойной ночи».

Слуга вернулся, неся свернутый рулоном большой лист голландской бумаги, где четким, округлым почерком были записаны последние поручения и просьбы — из тех, что приходят на ум остающимся, когда путник уже вдел ногу в стремя, — его друзей и сотрапезников.

Бергамотовое эфирное масло, мандолину с перламутровыми инкрустациями в кремонском вкусе — для дочери — и бочонок мараскина из Зары просил инспектор мер и весов. Два фонарика, по болонской моде, к налобнику для упряжных лошадей просил Иньиго, серебряных дел мастер, наверняка намереваясь взять их за образец для новых изделий в угоду местным заказчикам. Один экземпляр *Bibliotheca Orientalis*² от Ассемино, торгующего книгами в Ватикане, просил приходский священник, кроме нескольких «римских монеток» — конечно, если это не слишком дорого! — для своей нумизматической коллекции, и еще, по возможности, яшмовую трость с золоченой рукоятью (совсем не обязательно, чтобы золотая), какие присылают в длинных чехлах, подбитых алым бархатом. Нотариус мечтал о некоей редкости: колоде карт неведомого здесь рисунка, придуманной якобы художником Микеланджело, чтобы обучать детей арифметике, причем вместо обычных мастей — червовой, трефовой, бубновой и пиковой — на картах красовались звезды, солнце и луна, папа римский, дьявол, смерть, повешенный, безумец — послед-

¹ О, печальный отъезд (ит.).

² Восточная библиотека (лат.).

няя карта сводила на нет всю игру — и трубы Страшного суда, которые означали победный выигрыш. («Все это для ворожбы и гадания», — уверяла женщина, прислушиваясь к чтению списка и снимая тем временем браслеты и чулки.) Но прелестнее всего была просьба судьи Эмерито: для своей коллекции редкостей он хотел получить ни больше ни меньше, как образцы итальянского мрамора, настаивая, чтобы среди них были — по возможности — темно-синий, мраморная мозаика, сиенский желтый, не говоря уж о белом пентелийском и красном нумидийском, весьма употребительном в древности, а может быть, также кусочек пятнистого с отпечатками раковин в прожилках и, если не очень затруднит его такая любезность, плиточка переливчатого, зеленого, зеленоватого, в разводах, — такой можно увидеть в иных ренессансных пантеонах...

— Да этого не дотащит ни один египетский раб, а их выносливость восхвалял еще Аристофан! — воскликнул Хозяин. — Что же, мне бродить по свету с сундуком за спиной? Пропади они все пропадом, не собираюсь я тратить время в чужих краях на поиски редких фолиантов, необыкновенных камней или бальзама Фьерабраса. Единственный, кому я хочу доставить удовольствие, — это твой учитель музыки, Франсискильо. Да он и просил о таких скромных и невесомых дарах: сонаты, концерты, симфонии, оратории — тяжесть невелика, зато сколько гармонии... А теперь продолжай свою песню, парень...

Ah, dolente partita,
Ah, dolente partita!..

Дальше он не очень хорошо запомнил слова, как будто «*A un giro sol di bell'occhi lucenti...*»¹ Но когда слуга допел мадригал и оторвал взгляд от грифа гитары, то увидел, что остался один: Хозяин и его ночная гостья удалились в спальню, обиталище святых в серебряных рамах, дабы предаться прощальным ласкам на ложе с инкрустациями из серебра, при свете свечей в высоких серебряных канделябрах.

II

Хозяин бродил среди ящиков, кое-как сваленных в сарае, — присаживался на один, передвигал другой, останавливался перед третьим — и снова и снова изливал свою досаду

¹ Одним взглядом прекрасных сверкающих глаз (ит.).

в бессвязных речах, то ярясь, то впадая в уныние. Недаром древние авторы говорили, что не в богатстве залог счастья и обладание золотом — лучше сказать, серебром — бес- сильно против преград, поставленных роком на тернистом пути человеческой жизни. Едва они вышли из Веракруса, как на корабль обрушились яростные ветры: именно такие ветры и насылают, раздувая щеки, изображенные на алле- горических картах злые гении — враги мореплавателей. С изодранными парусами, пробитым корпусом и повреж- денной палубой прибыли они наконец в тихую гавань и увидели Гавану, объятую горем и страхом, пораженную грозной эпидемией злокачественной лихорадки. Все там, как сказал бы Лукреций, «трепетали тогда в смятении пол- ном, и каждый в мрачном унынии своих хоронил мертвецов как придется»¹. («О природе вещей, книга шестая», — уточ- нил путешественник-эрудит, процитировав эти слова на память.) И вот, отчасти потому, что необходимо было при- вести в порядок потерпевший бедствие корабль и получше разместить груз, с самого начала плохо уложенный грузчи- ками в порту Веракруса, а главное потому, что разумнее было стать на якорь подальше от зараженного города, они оказались здесь, в селении Регла, и при одном взгляде на эту жалкую деревушку, окруженную мангровыми заросля- ми, еще ярче возникал в памяти волшебный город, остав- шийся далеко позади, его сверкающие купола, гордая осанка храмов, просторные дворцы — и лепные цветы на фасадах, и резные виноградные лозы в церковных нишах, и драгоценности в дарохранилищах, и многоцветие светильников, — город, подобный сказочному Иерусалиму в главном алтаре собора. Здесь же тянутся узкие улочки с низкими домами, открытые окна загорожены вместо искусно кованых решеток деревянными, кое-как выкра- шенными в белый цвет, а черепица на кровлях такая, что в Койоакане вряд ли кто взял бы ее для курятника или свинарника. Все вокруг словно оцепенело в одуряющей жаре, пропитанной зловонием стоячей воды, свиного поме- та, загаженного хлева, и эта постоянная духота вызывала еще более острую тоску по прозрачному мексиканскому утру, когда кажется, будто до вулканов рукой подать, будто за каких-нибудь полчаса дойдет до них тот, кто любитесь белыми вершинами, ослепительно сверкающими среди бескрайней синевы. И вот здесь-то остановились со своими

¹ Перевод Ф. А. Петровского.

ящиками, сундуками, узлами и корзинами пассажиры разбитого судна, поджидая, пока залечат его раны, а напротив, в городе, возведенном высоко над водами порта, царило зловещее безмолвие, обычное для жилых мест, отгороженных эпидемией от мира. Закрыты танцевальные залы, где, бывало, отплясывали гуарачу и ременео, а соблазнительные мулатки выставляли напоказ свои прелести, едва прикрытые прозрачными накрахмаленными кружевами. Закрыты увеселительные заведения на улицах Меркадерес, Обрапия, Офисиос, где часто устраивали — хотя это было не такой уж новинкой — концерты механических котов или музыкальных сосудов, показывали павлинов, танцующих форлану, знаменитых мальтийских близнецов и ученых американских дроздов, которые не только насвистывали модные песенки, но и подносили в клюве билетки с предсказанием судьбы. Словно господь время от времени решал покарать за неисчислимые грехи этот болтливый, чванный, беззаботный город, внезапно, когда никто не ожидал беды, на него веяло дыхание зловредной лихорадки, которая, по словам сведущих людей, приходила с гнилых болот, отравляющих ближнее побережье. Снова неотвратимо звучало пение «Dies Irae»¹, и люди принимали его как привычный и неизбежный проезд колесницы смерти. Но главная беда была в том, что Франсискильо, промаявшись три дня, в конце концов испустил дух вместе с кровавой рвотой. Лицо у него стало желтее серы, беднягу положили в дощатый ящик и снесли на кладбище, где гробы приходилось наваливать один на другой, вдоль и поперек, словно спиленные стволы на лесосеке, потому что в земле не хватало места для мертвецов, которых везли и везли со всех сторон... И вот Хозяин остался без слуги (а разве хозяин без слуги может быть настоящим хозяином?), и теперь, за отсутствием прислужника и мексиканской гитары, не сбудется его мечта о торжественном въезде, о знаменательном появлении на сцене Старого Света, куда он собирался прибыть богатым, богатым, разбрасывающим серебро потомком тех, кто отправился оттуда — как говорится, «дружески протянув одну руку и держа камень в другой», — искать счастья в краях Америки.

Но однажды на постоялом дворе, откуда каждый день отправлялись караваны вьючных мулов в Харуко, его внимание привлек молодой свободный негр, который ловко

¹ «День гнева», гимн, входящий в чин заупокойной мессы (лат.).

подстригал гривы мулам, чистил их скребницей, а в часы досуга пощипывал неприглядную гитару или, если приходила охота, распевал не совсем пристойные песенки о блудливых монахах и беспутных дурочках, подыгрывая себе на барабанах или отбивая ритм парой уключин, и тогда возникал тот же звук — звон молотка о металл, — что раздавался в мастерской мексиканского чеканщика. Путешественник только и ждал, как бы продолжить плавание, и, стремясь заглушить свое нетерпение, по вечерам присаживался послушать пение негра во дворе, где стояли мулы. И вот он подумал, что теперь, когда богатые сеньоры взяли моду заводить черных слуг, — а сдается, эти мавры появились уже в столицах Франции, Италии, Богемии и даже в далекой Дании, где королевы, как известно, убивают своих мужей, вливая им, словно дьявольскую музыку, яд в уши, — неплохо было бы прихватить с собой такого слугу, конечно, обучив его хоть немного хорошему обхождению, которое вряд ли ему знакомо. Он спросил у хозяина постоянного двора, честен ли парень, каких он нравов и воспитания, и узнал, что лучше его нет во всем поселке, что вдобавок он умеет читать, может написать не слишком сложное письмо и, говорят, даже поет по нотам. Затем Хозяин побеседовал с Филомено — так звали конюха — и выяснил, что парень этот — правнук негра Сальвадора, который сотню лет назад был героем таких славных дел, что местный поэт, по имени Сильвестре де Бальбоа¹, воспел его в длинной и благозвучной оде «Зерцало терпения»...

Однажды, — рассказал паренек, — в водах Мансанильо, там, где густая полоса прибрежных деревьев скрывает от глаз надвигающуюся с моря опасность, встала на якорь бригантина под началом Жильбера Жирона, французского еретика, из тех, кто не верит ни в святых, ни в деу Марию. Он командовал шайкой лютеран, отпетых разбойников, которые творили свои злодеяния по всему простору Карибского моря и Флоридского пролива, нападая на корабли, промышляя контрабандой и грабежами. Прознал свирепый Жирон, что в асьендах Яры, в нескольких милях от берега, находился объезжавший свою епархию добрый фрай Хуан, епископ острова Кабесас Альтамирано, который в старину назывался Фернандина — «потому что, когда открыл его Великий адмирал дон Христофор, в Испании правил ко-

¹ Сильвестре де Бальбоа (ок. 1563 — ок. 1649) — кубинский поэт.

роль Фердинанд, а верховодила королева. Может, она и в постели брала над ним верх, да кто его знает, тут такое дело, что...»

— Веди-ка свой рассказ напрямик, парень, — прервал путешественник, — и не пускайся в околичности. Чего не докажешь, о том и говорить нечего.

— Ладно, — сказал негр.

Он поднял руки и задвигал большими пальцами и мизинцами, словно это были ручки марионеток, и вся история пошла так живо, будто ее изображал ловкий комедиант, вытаскивая из-за спины свои куклы и сажая их к себе на плечи. («Так показывают в балаганах на мексиканских ярмарках, — подумал путешественник, — историю Монтесумы и Эрнана Кортеса».) Значит, гугенот прознал, что святой пастырь Фернандины ночует в Яре, и повел туда своих висельников со злым умыслом похитить епископа и потребовать за него богатый выкуп. На рассвете, когда все жители спали, он прокрался в селение, не долго думая схватил добродетельного прелата и потребовал за его свободу дань — огромную для этого бедного люда: двести дукатов деньгами, сто арроб мяса и сала, тысячу бычьих кож, не говоря уж о других требованиях этого сборища порочных скотов. Несчастные поселяне кое-как собрали непомерно тяжелую дань, и епископ вернулся к своей пастве, устроившей в его честь веселые празднества, «о которых впоследствии будет рассказано более подробно», — предупредил паренек и, нахмутив брови, торжественным тоном начал вторую, еще более драматическую часть своего повествования...

Об этих событиях узнал некий храбец Грегорио Рамос, воин «бесстрашный, как паладин Рольдан»¹, и, негодуя, решил, что не добьется француз своего, не попользуется столь легко захваченной добычей. Быстро собрал он отряд смельчаков, настоящих мужчин, и, став во главе их, направился в Мансанильо, чтобы сразиться с пиратом Жироном. Все это были люди закаленные, боевые, горячего нрава и недюжинной силы, однако же, идя на битву, они могли захватить с собой лишь то, что нашлось под рукой, ибо не военное дело было их обычным занятием. Кто тащил заточенный железный брус или, в лучшем случае, ржавое копьё; кто — палку с железным наконечником, годную погонять волов, или мотыгу, а вместо щита —

¹ Искаж. Роланд — герой «Песни о Роланде»

намотанную на руку шкуру ламантина. Были с ними и несколько индейцев-набори, готовых бороться, пользуясь хитростью и ловкостью, присущими их племени. Но главное — главное! — в отряд, охваченный героическим пылом, вступил *некто, еще один, Тот самый* (и тут рассказчик снял свою растрепанную соломенную шляпу), кого поэт Сильвестре де Бальбоа воспел в особой строфе:

Средь нас был эфиоп, достойный восхваленья,
сын старца Голомона Сальвадор,
один из тех, кто Яры разоренье
стерпеть не мог, не мог снести позор.
Завидев издали Жирона удалого,
храбрец с мачете острым и копьем,
как лев, метнулся на врага лихого,
пылая праведного мщенья огнем.

Долгим и ожесточенным был бой. Одежда негра превратилась в лохмотья, изодранная ножом лютеранина, а тот сражался надежно защищенный кольчугой норманской выделки. Но вот, пустив в ход уловки и хитрости, принятые при разбивке на гурты стада свирепых быков, бесстрашный Сальвадор сбил с толку, вымотал, лишил сил, загонял Жирона и, наконец,

Копье по древку в грудь ему вонзил
и недруга на месте уложил.
Будь славен, Сальвадор¹, воистину спаситель
родного края! Пусть не устают
уста и перья, доблестный воитель,
честь воздавать тебе, как ныне воздают!²

Пирату отсекли голову и вздели ее на острие копья, чтобы все встречные узнали о его жалком конце; затем, сняв голову с копья, насадили ее на лезвие кинжала, который вошел в глотку по самую рукоять, и с этим трофеем, под восторженные клики победителей, бесстрашный воин явился в славный город Баямо. Дружным хором жители потребовали, чтобы негру Сальвадору было пожаловано звание свободного человека, ибо он с честью заслужил его. Власти оказали ему эту милость. И с возвращением святейшего епископа все население предалось празднествам и ли-

¹ Сальвадор — по-испански спаситель.

² Перевод Н. Наумова.

кованию. Тихо радовались старики, веселились женщины, шумно забавлялись ребяташки, и, горюя, что их не позвали на веселое гулянье, сквозь густую зелень гуайяв и сахарного тростника подглядывали целые сонмы (рассказывал Филомено, игрой рук изображая внешний вид, рога и прочие отличия всех, кого перечислял) сатиров, фавнов, лесовиков, козлоногих, кентавров, найд и даже дриад «в кружевных юбочках». Что касается козлоногих и кентавров, выглядывающих из листвы кубинских гуайяв, то путешественнику они показались некоторым излишеством воображения поэта Бальбоа, однако же он не мог не восхищаться тем, что негритенок из Реглы способен произнести столько названий, возникших в далекие языческие времена. А молодой конюх — гордый своим высоким происхождением и необычайными почестями, выпавшими на долю его прадеда, — ничуть не сомневался, что на всех ближних островах встречаются сверхъестественные существа, порождения классической мифологии, очень похожие на других обитателей — правда, с более темным цветом лица — здешних лесов, рек и пещер, а также и на тех, кто живет в далеких туманных царствах, откуда пришли предки знаменитого Сальвадора. Сам же Сальвадор, на свой лад, был настоящим Ахиллом, ибо там, где нет Трои, появляется, если происходят события поистине значительные, Ахилл из Баямо или Ахилл из Койоакана. А пока что, распевая на все голоса, пуская в ход и самозабвенную игру, и звукоподражание, хлопая в ладоши, подпрыгивая, стуча по ящикам, кувшинам, корытам, кормушкам, пробегая палочками по изгороди патио, издавая крики и выбивая дробь пятками, Филомено старался воспроизвести оглушительную музыку, звучавшую во время достопамятного праздника; оно длилось чуть ли не два дня и две ночи, и надо сказать, поэт Бальбоа дотошно перечислил все инструменты — флейты, волынки, и «рабелей до ста» («Ну, это уже виршеплет приврал для рифмы, — подумал путешественник, — никто никогда не слыхивал, чтобы одновременно играли сто рабелей, даже при дворе короля Филиппа, а он, говорят, был таким любителем музыки, что всегда возил с собой переносной орган, на котором в часы досуга играл ему слепец Антонио де Кабесон»), трубы, квадратные и круглые бубны, тамбурины, литавры и даже типинагуа, которые индейцы делают из выдолбленной тыквы, — инструменты самые разнообразные, ибо для этого всенародного концерта объединились музыканты Кастилии и

Канарских островов, креолы и метисы, индейцы и негры. «Белые и цветные вперемишку в этом шумном торжестве? — подумал путешественник. — Какая уж тут возможна гармония? Ведь это нелепость, — слыхано ли, чтобы старые благородные мелодии романсов, искусные вариации истинных мастеров сливались с варварским грохотом, какой поднимают негры своими мараками и барабанами... Адская какофония, больше ничего не могло получиться, и сдается мне, этот Бальбоа отъявленный обманщик». Но он также подумал — и теперь с еще большей уверенностью, — что правнук Голомона более всех достоин унаследовать парадный костюм покойного Франсискильо. И однажды утром, предложив Филомено место слуги, чужеземец заставил его примерить красный камзол, и оказалось, что камзол сидит великолепно. Затем нахлобучил на него белый парик, и негр показался еще чернее, чем был. Со светлыми панталонами и чулками все обошлось неплохо. А вот в башмаки с пряжками шишковатые ступни Филомено влезли не без труда, но, надо полагать, тоже постепенно привыкнув...

Итак, ранним сентябрьским утром, переговорив обо всем, о чем следовало переговорить, уладив дело с хозяином постоянного двора, Хозяин надел широкополую шляпу и отправился на пристань Реглы в сопровождении негра, который держал над его головой зонтик из голубого бархата с серебристой бахромой. Чайный сервиз с большими и малыми серебряными чашками, бритвенный тазик, ночной сосуд, клистирная кружка — тоже серебряная, — письменные принадлежности, футляр с ножами, ларчик с реликвиями пресвятой девы, ларчик с реликвиями святого Христофора, покровителя плавающих и путешествующих, были уложены в ящики, еще в одном ящике хранились барабаны и гитара Филомено. Рабы взвалили кладь на спину и двинулись в путь, а слуга, грозно хмурясь под надвинутой на лоб лакированной треуголкой, подгонял их, выкрикивая непотребные ругательства на негритянском наречии.

III

Будучи потомком людей, которые родились в местности, расположенной между Кольменар-де-Ореха и Вильяманрике-дель-Тахо, и рассказывали чудеса о покинутых ими краях, Хозяин представлял себе Мадрид совсем по-другому. Уны-

лым, невзрачным и нищим показался этот город ему, выросшему в Мехико среди серебра и резного камня. За пределами Пласа-Майор все здесь выглядело тоскливо, неопрятно, бедно, особенно когда ему вспоминались широкие, нарядные улицы родного города, мозаичные порталы, балконы, вознесенные на крыльях херувимов, льющиеся из рогов изобилия на фасадах потоки каменных фруктов, искусно разрисованные вывески, где надписи, переплетенные плющом и виноградными листьями, извещали об изысканных драгоценностях. Постоялые дворы были здесь из рук вон плохи, комнаты насквозь пропитаны запахом прогорклого оливкового масла, а об отдыхе и думать не приходилось из-за кутерьмы, которую поднимали в патио бродячие комедианты: они то завывали стихи пролога, то кричали во весь голос, изображая римских императоров, сменяли тоги из простынь и занавесок на костюмы шутов и бискайцев, а музыка, сопровождавшая эти интермедии, хотя и нравилась негру своей новизной, Хозяина бесила фальшью и нестройностью.

О кухне нечего и говорить: при виде неизменных фрикаделей и мерланов Хозяин вспоминал нежную мексиканскую рыбу, великолепную индейку под темным соусом, благоухающую шоколадом, сдобренную жгучим перцем; при виде ежедневной капусты, безвкусной фасоли и гороха негр воспевал прелесть мясистого сочного агвиата или луковиц маланги, приправленных уксусом, петрушкой и чесноком, что подавались у него на родине к столу в окружении лангустов, чье красноватое мясо было куда вкуснее говяжьего филе в этой стране. Днем они заходили в таверны, где попадалось хорошее вино, а главное, в книжные магазины, где Хозяин покупал старинные фолианты в красивых переплетах, богословские трактаты, которые всегда служат к украшению библиотеки, — однако развлечься им так и не удавалось. Однажды вечером они отправились к проституткам, в дом, где их встретила хозяйка — тучная, курносая, кривоглазая, с заячьей губой; на шее у нее красовался зоб, лицо было изрыто оспой, а широкий отвислый зад делал ее похожей на гигантскую карлицу. Оркестр слепых музыкантов заиграл нечто вроде менуэта, и, выкливаемые по именам, появились Филида, Клорида и Лусинда, одетые пастушками, а вслед за ними Исидра и Каталана, которые наспех доедали нехитрый ужин — хлеб с луком и оливковым маслом — и, передавая друг другу бурдючок с вином, давились последними глотками. В эту ночь было

изрядно выпито, Хозяин рассказывал о своих приключениях в серебряных рудниках подле Таско, а Филомено танцевал танцы своей страны, напевая в такт песню, в которой говорилось о змеях с глазами ярче свечей и зубами острее булавок. Дом был наглухо заперт, чтобы чужестранцы могли развлекаться без помехи, и наступил уже полдень, когда оба они вернулись к себе в гостиницу после веселого завтрака вместе с потаскушками. Но если Филомено только облизывался, вспоминая о своем первом пиршественном наслаждении белой плотью, то Хозяин, за которым увязывались нищие, стоило ему появиться на улицах, где все уже заметили его шитую серебром шляпу, не переставал сетовать на убожество этого хваленного города — разве мог он идти в какое-нибудь сравнение с тем, что остался на другом берегу океана, — города, где кабальеро его положения и достоинства вынужден являться с потаскухами из-за невозможности найти порядочную женщину, которая откинула бы перед ним полог своего алькова. Здешние ярмарки далеко уступали по красочности и оживлению койоканским; в лавках предлагали лишь бедный выбор товаров и ремесленных поделок, а мебель, если ее где и продавали, отличалась унылым чинным стилем, чтобы не сказать старомодностью, несмотря на хорошее дерево и тисненую кожу; конные празднества были из рук вон плохи — всадникам не хватало отваги, во время парада при открытии состязания они не умели ни вести лошадь ровной иноходью, ни пустить ее во весь опор прямо на трибуну и внезапно осадить в ту самую минуту, когда гибельный удар о помост кажется неизбежным. Что же касается мистерий, разыгрываемых в уличных балаганах, то они уж никуда не годились, смотреть тошно было на этих дьяволов с кривыми рогами, безголосых Пилатов или изгрызенные мышами нимбы святых. Проходили дни за днями, и Хозяин, не зная, что делать со своими деньгами, ужасно затосковал. И такую тоску почувствовал он однажды утром, что решил сократить пребывание в Мадриде и поскорее отправиться в Италию, куда приуроченные к рождеству карнавальные празднества влекли людей со всех концов Европы. Беднягу Филомено словно приворожили любовными забавами Филида и Лусинда, которые в доме гигантской карлицы резвились с ним на широкой кровати, окруженной зеркалами, и он принял сообщение об отъезде с великим неудовольствием. Но Хозяин заверил его, что здешние девки такие уроды и отбросы по сравнению с теми, кого он

встретит в священном городе папы римского, и негр сдался на уговоры, уложил багаж и облачился в недавно купленный дорожный плащ. Пока они продвигались к морю, делая короткие дневные переходы и останавливаясь на ночевку в беленьких постоянных дворах — а чем дальше, тем более они были — Таранкана или Мингланильи, мексиканец пытался развлечь своего слугу рассказами об одном безумном идальго, который разъезжал по этим краям и однажды вообразил, будто ветряные мельницы («такие, как та вон, видишь?») на самом деле не мельницы, а великаны. Филомено решительно заявил, что мельницы эти ничуть не похожи на великанов, а настоящие великаны живут в Африке, и они такие огромные и могучие, что, коли захотят, могут метать молнии и вызывать землетрясения...

Когда они прибыли в Куэнку, Хозяин нашел, что этот город с главной улицей, карабкающейся по косоугору, и сравнить нельзя с Гуанахуато, где была похожая улица, упиравшаяся в церковь. Валенсия им понравилась, там они окунулись в течение жизни, не знающей заботы о часах, и вспомнили присловие «не делай завтра то, что можно оставить на послезавтра», принятое в их блаженных краях. И так, следуя по дорогам, откуда все время было видно море, они добрались до Барселоны и с радостью услышали звуки кларнетов и литавр, звон бубенцов, крики «посторонись», «посторонись», расчищавшие путь высыпавшим из города бегунам. Они увидели корабли у причалов, паруса были спущены, яркие вымпелы и флажки трепетали на ветру, отражаясь в воде. Веселое море, приветливая земля, ясный воздух, — казалось, все люди счастливы и довольны.

— Похожи на муравьев, — говорил Хозяин, разглядывая набережную с палубы судна, которое назавтра должно было отправиться в Италию. — Дай им волю, они воздвигнут здания высотой до туч небесных.

Филомено тем временем тихонько молился святой деве с черным ликом, защитнице рыбаков и мореплавателей, чтобы плавание было счастливым, чтобы живым и невредимым прийти им в порт Рима, — ведь такой важный город должен был, по его разумению, выситься на берегах океана, надежно защищенный от циклонов грядой рифов, а не то циклоны срывали бы колокола с собора святого Петра чуть ли не каждые десять лет, как это случалось в Гаване с церквями святого Франциска и Святого духа.

Серая вода и туманное небо, несмотря на такую мягкую зиму; серые тучи, отливающие сепией, когда отражаются они внизу, в колыпании широких, мягких, округлых волн — медленном, плавном, — а волны то разбегаются, то сталкиваются, возвращаясь от одного берега к другому; словно размытая акварель, расплываются контуры церквей и дворцов; сырость легким слоем ряски зеленеет на широких лестницах, на пристанях, влажными отсветами мелькает на каменных плитах площадей, грязными пятнами проступает на стенах, которые лижут бесшумные язычки воды; расплывчатость, приглушенность, желтые огни, унылая плесень под арками мостов, переброшенных через тихие каналы; неясные очертания кипарисов... И вот среди всей этой серости, сумеречных опаловых переливов, бледной сангины, дымчато-голубой пастели разразился карнавал, большой карнавал в день богоявления, разразился и заиграл всеми цветами: апельсиново-желтым, мандариново-желтым, канареечно-желтым, лягушачье-зеленым, гранатово-красным, малиново-красным, красным, словно лак китайской шкатулки; замелькали костюмы в клетку — индиго с шафраном — и полосатые, как карамель; банты и кокарды, колпаки и плюмажи; ярко переливались шелка, атлас, ленты в несметной толпе веселящихся и ряженных; а цимбалы, трещотки, барабаны, тамбурины и корнеты грянули так оглушительно, что голуби во всем городе взлетели одновременно и, черной тучей закрыв на мгновение небосвод, устремились к дальним берегам. Вдруг, включаясь в цветную симфонию флагов и вымпелов, вспыхнули фонари и опознавательные огни на военных судах, фрегатах, галерах, торговых баркасах, рыбацких шхунах, где каждый моряк был в маскарадном костюме, и появился похожий на плавучую галерею, весь обитый разнокалиберными досками и бочарными клепками, полупорученный, но все еще блестящий и пышный последний «буцентавр»¹ Светлейшей Республики, извлеченный в день празднества из-под своего навеса, чтобы озарить город искрами, ракетами и бенгальскими огнями фейерверка, увенчанного огненными колесами и шарами...

¹ «Буцентавр» — роскошно отделанная галера, на которой венецианские дожи ежегодно выходили в море и в знак господства республики над морем бросали в воду перстень, как бы сочетаясь с ней браком.

И сразу все изменили свой облик. Застывшие белые маски, все одинаковые, закрывали лица знатных господ — от полей шляпы с лакированной оторочкой до воротника камзола; из-под темных бархатных масок видны были лишь смеющиеся губы переодетых дам. Зато народ — моряки, торговцы зеленью, пончиками и рыбой, солдаты, писцы, гребцы, судейские — познал полное перевоплощение: гладкая и сморщенная кожа, гримаса обманутого, нетерпение обманщика, сластолюбие развратника — все скрылось под раскрашенными картонными личинами монголов, мертвецов, короля-оленья либо под масками с красным носом, растрепанными усами и бородой или козлиными рогами. Дамы из общества, изменив голос, произносили все непристойности и бесстыдные словечки, что столько месяцев держали на уме, а рядом женоподобные юнцы, нарядившись греческими богинями или надев черные испанские юбки, тонкими голосками делали мужчинам соблазнительные предложения, и не всегда впустую. Все говорили, кричали, пели, восхваляли, поносили, предлагали, льстили, намекали, изменяя обычный свой голос; толпа кишела вокруг театра марионеток, балагана комедиантов, кафедры астролога, лотков торговца приворотным зельем и снадобьями от боли под ложечкой или старческого недержания мочи. Теперь целых сорок дней все лавки будут открыты до полуночи, не говоря уж о тех, что не будут закрываться ни днем, ни ночью; неустанно плясали обезьянки шарманщиков; покачивались на качелях ученые попугаи в своих филигранных клетках; перебегали над площадью по натянутым проволокам канатоходцы; занимались своим делом прорицатели, гадалки на картах, нищие, шлюхи, единственные женщины с открытым лицом, — эти честно показывали себя, ведь каждый хотел знать, кого, в случае, если сговорится, поведет он с собой в соседнюю гостиницу, раз уж все кругом только и стремились скрыть свою подлинную личность, возраст, намерения и внешность. Под огнями иллюминации засверкали все воды города, большие и малые каналы, и казалось, будто в их глубине переливается дрожащий свет затонувших фонарей.

Думая отдохнуть от суматохи, толкотни, непрерывного вращения толпы, головкружительно ярких красок, Хозяин, наряженный Монтекумой, вошел в Bottegha di Caffé ¹

¹ Кофейная (ит.).

Виктории Ардуино вместе с негром, который не считал нужным маскироваться, понимая, как походит на маску его собственная физиономия среди множества личин, белых, словно лицо статуи. В глубине кофейной сидел за столиком рыжий монах, одетый в сутану из лучшего сукна; его длинный крючковатый нос торчал из падающих на лицо кудрявых волос, его собственных, однако выглядевших как пышный парик.

— Раз уж я родился в такой прекрасной маске, не вижу надобности покупать другую, — сказал он со смехом и затем спросил, потрогав пальцем стеклянные бусы ацтекского императора: — Инка?

— Мексиканец, — ответил Хозяин и принялся рассказывать пространную историю; изрядно подвыпившему монаху она представилась историей короля гигантских скарабеев — чем-то впрямь напоминал скарабея зеленый, чешуйчатый панцирь рассказчика, — короля, жившего — если вникнуть, не так уж давно — среди вулканов и дворцов, озер и храмов и правившего великой империей, которую захватила горстка отчаянных испанцев при помощи прекрасной индеанки, влюбившейся в вождя завоевателей.

— Отличный сюжет; отличный сюжет для оперы... — приговаривал монах, сразу подумав о сцене с хитроумными приспособлениями, люками и подъемными машинами, где дымящиеся горы, появление чудовищ и обрушенные землетрясением дома произвели бы величайший эффект, тем более что здесь можно было рассчитывать на искусство театральных мастеров-машинистов, способных изобразить любое стихийное бедствие и даже поднять в воздух живого слона, как это было сделано недавно на замечательном сеансе магии.

А Хозяин все еще рассказывал о чародействе пришельцев, человеческих жертвоприношениях и мрачных ночных песнопениях, когда в кофейной появился забавного вида саксонец, друг монаха, в обычной одежде, и вместе с ним молодой неаполитанец, ученик Гаспарини¹. Сбросив маску — уж очень он вспотел, — неаполитанец оставил открытым умное лукавое лицо, по которому пробегала усмешка всякий раз, как он бросал взгляд на черную физиономию Филомено — «Привет, Югурта²...».

¹ Гаспарини Франческо — итальянский композитор (1668—1727).

² Югурта — царь Нумидии, побежденный римлянами (примерно 154—105 гг. до н. э.).

Саксонец, однако, был в отвратительном настроении; весь красный от гнева — а также, пожалуй, и от нескольких лишних стаканов вина, — он рассказал, что какая-то маска, вся в бубенчиках, обмочила ему чулки и, во время скрывшись, избежала тумака, который пришлось прямо по ягодице какому-то гомику, а тот, приняв это за ласку, поспешил, по евангельскому завету, подставить другую.

— Успокойся, — сказал рыжий монах, — я уже знаю, что «Агриппина» имела небывалый успех.

— Настоящий триумф! — воскликнул неаполитанец, опрокидывая рюмку агуардъенте себе в кофе. — Театр Гримани был переполнен.

Успех, видно, и впрямь был большой, судя по аплодисментам и вызовам, но саксонец никак не мог привыкнуть к этой публике:

— Никто здесь ни к чему не относится серьезно.

Между арией сопрано и арией *castrati* зрители ходили взад и вперед, ели апельсины, чихали, нюхали табак, закусывали, открывали бутылки, а то и перекидывались картами в момент наивысшего трагического напряжения. Это уж не говоря о тех, кто совокуплялся в ложах — слишком много в этих ложах мягких подушек, — сегодня вечером до того дошло, что во время драматического речитатива Нерона над красным бархатом перил взметнулась женская нога в спущенном до лодыжки чулке и прямо в середину партера полетела туфелька, к вящему ликованию публики, которая тут же начисто позабыла о том, что происходит на сцене. И, не обращая внимания на хохот неаполитанца, Георг Фридрих принялся восхвалять своих соотечественников, которые слушают музыку так, словно присутствуют на мессе, восторгаясь благородным рисунком арии или с полным пониманием оценивая мастерское развитие фуги... Прошел не один час, пока все они обменивались шутками и замечаниями, злословили о ком попало, рассказывали историю о том, как одна куртизанка, приятельница художницы Росальбы («Была она у меня вчера ночью», — заметил Монтесума), обобрала до нитки, не дав ничего взамен, богатого французского дипломата; а тем временем на столе сменялись оплетенные разноцветной соломкой пузатые бутылки с легким красным вином, которое не оставляет лиловых следов на губах, а проскальзывает внутрь и разливается по всему телу весело и незаметно.

— Это самое вино пьет датский король, он веселится вовсю на карнавале, разумеется, инкогнито, под именем графа Олемборга, — сказал рыжий.

— Не может быть никаких королей в Дании, — возразил Монтесума, уже изрядно охмелевший, — не может быть королей в Дании, все там прогнило, короли умирают оттого, что им вливают яд в ухо, принцы сходят с ума, повстречавшись в замке с привидениями, и под конец играют черепами, словно мексиканские мальчишки в день поминовения усопших...

И поскольку разговор начал сводиться к пустой болтовне, то проворный монах, краснолицый саксонец и веселый неаполитанец, оглушенные доносившимся с площади шумом, из-за которого все время приходилось кричать, утомленные мельканьем белых, зеленых, черных, желтых масок, подумали, не пора ли сбежать с веселого празднества в какое-нибудь тихое место, где можно было бы помузицировать. И они гуськом, поставив впереди — в виде волнореза или фигуры на носу корабля — плотного немца, а за ним Монтесуму, начали пробиваться сквозь бурлящую толпу, останавливаясь время от времени лишь затем, чтобы передать друг другу бутылку вина; бутылку эту Филомено подвесил за горлышко на атласной ленте, которую сорвал мимоходом с какой-то торговки рыбой, причем та в ярости осыпала его такой отборной бранью, что словечки вроде «coglione»¹ или «шлюхин сын» оказались самыми нежными в этом потоке ругательств.

V

Настороженно выглянула через решетку монахиня-привратница, но при виде рыжего сразу просияла:

— О! Нечаянная радость, маэстро!

Заскрипели петли калитки, и все пятеро вступили в приют Скорбящей богоматери, погруженный в полную тьму; по широким коридорам порой прокатывался, словно занесенный порывом ветра, отдаленный гул карнавала.

— Нечаянная радость! — повторяла монахиня, зажигая свечи в большом музыкальном зале: мрамор и лепные гирлянды, ряды стульев, драпировки и позолота, ковры, картины на библейские сюжеты делали его похожим не то

¹ Дурак, балда (ит.).

на театр без сцены, не то на церковь без алтаря, создавали одновременно впечатление монастырского благочестия и светской суетности, показного блеска и тайны. В глубине, там, где угадывались затененные своды купола, мерцание свечей и люстр отражалось в высоких трубах органа.

Монтесума и Филомено начали было недоумевать, зачем занесло их в такое странное место, если можно развлечься там, где нашлись бы женщины и вино, как вдруг справа, из мрака, слева, из полутьмы, возникли два, пять, десять, двадцать светлых силуэтов и окружили черную сутану фрайле Антонио прелестной белизной своих полотняных рубашек, домашних халатиков, ночных кофточек, кружевных чепцов. И появлялись все новые и новые: сначала они выходили совсем сонные, лениво потягиваясь, но вскоре оживились и сгрудились вокруг ночных гостей; кто взвешивал на руке ожерелье Монтесумы, кто во все глаза разглядывал Филомено, кто щипал его за щеку, желая убедиться, что это не маска. И появлялись все новые и новые, с надушенными волосами, с цветами в вырезе платья, в расшитых туфельках, пока весь неф не заполнили молодые лица, — наконец-то лица без масок! — смеющиеся, озаренные радостным удивлением и уж вовсе засиявшие счастьем, когда из кладовых начали приносить кувшины с медом, испанское вино, малиновые и мирабелевые ликеры. Маэстро — так они все называли его — решил представить своих учениц: *Пьерина — скрипка... Катарина — корнет... Бетина — виола... Бьянка Мария — органистка... Маргарита — двойная арфа... Джузеппина — китаррон... Клаудиа — флейта... Лучета — труба...*

Но постепенно, поскольку сироток было много, чуть ли не семьдесят, а маэстро Антонио изрядно выпил, он запутался в их именах и стал, указывая на одну за другой пальцем, называть лишь инструменты, на которых они играли, словно у девушек не было никакой иной жизни, кроме музыки: *Чембало... Виола... Труба... Гобой... Виола да гамба... Флейта... Орган... Регаль... Пошетт... Морская труба... Тромбон...*

Но вот поставили пульты, саксонец величественно уселся перед органом, неаполитанец проверил строй чембало. Маэстро поднялся на подиум, схватил скрипку, поднял смычок — и после двух повелительных взмахов грянул прекраснейший *concerto grosso*¹, какой только можно было

¹ Большой концерт (ит.).

услышать в веках, — хотя века ничего не запомнили, и очень жаль, ибо это стоило и слышать, и видеть...

Неистовым аллегро начали семьдесят женщин — они так часто репетировали свои партии, что знали их на память, — Антонио Вивальди решительно и пылко вступил в четко согласованную игру оркестра, Доменико Скарлатти — ибо это был он — летал в головокружительных пассажах по клавишам чембало, а Георг Фридрих Гендель вдохновенно исполнял ослепительные вариации, ломавшие все нормы расшифровки *basso continuo*¹.

— Давай, чертов саксонец! — кричал Антонио.

— Сейчас покажу тебе, сучий монах! — отвечал тот и продолжал свои чудесные импровизации, а Антонио, не отрывая взгляда от рук Доменико, рассыпавших арпеджио и трели, с цыганским пылом взмахивал смычком, словно извлекая звуки из воздуха, и бегал по струнам, беря октавы и двойные ноты с дьявольской виртуозностью, хорошо знакомой его ученицам.

Но вот наступила кульминация: Георг Фридрих сменил регистровку, включил все регистры органа, и в мощном *pleno*², казалось, зазвучали трубы Страшного суда.

— Всех нас уел саксонец! — крикнул Антонио, доводя *fortissimo*³ до предела.

— Я и сам себя не слышу, — крикнул Доменико, с еще большей силой беря аккорды.

А Филомено тем временем сбегал на кухню, притащил целую батарею больших и малых медных котлов и принялся колотить по ним ложками, шумовками, сбивалками, скалками, сковородниками, так удачно подбирая ритмы, синкопы и акценты, что целых тридцать два такта все молчали, предоставив ему импровизировать в одиночку.

— Великолепно! Великолепно! — кричал Георг Фридрих.

— Великолепно! Великолепно! — кричал Доменико, в восторге колотя локтями по клавиатуре чембало.

Такт 28. Такт 29. Такт 30. Такт 31. Такт 32.

— Пошли! — взывал Антонио, и все вдохновенно грянули *da capo*⁴, словно стремясь раскрыть самую душу скри-

¹ Басовая линия, снабженная в нотах цифровыми обозначениями аккордов, требующими от исполнителя соответствующей расшифровки (*ит.*).

² Здесь: полное звучание органа (*ит.*).

³ Очень громко (*ит.*).

⁴ Сначала (*ит.*).

пок, гобоев, тромбонов, больших и малых органов, виол да гамба, всего, что только могло звучать под сводами нефа, а в вышине, как будто потрясенные громом небесным, звенели хрустальные подвески люстр.

Финальный аккорд. Антонио опустил смычок. Доменико захлопнул крышку чембало. Вытащив из кармана кружевной платочек, слишком миниатюрный для такого обширного лба, саксонец отер пот. Питомицы приюта разразились громким хохотом, увидев, как Монтесума раздает всем бокалы с напитком собственного изобретения, подмешивая всего понемножку из кувшинов и бутылок. Таково было общее настроение, когда Филомено вдруг замер перед картиной, на которую неожиданно упал свет от переставленного канделябра. На картине была изображена Ева, искушаемая змеем. Но внимание привлекала не Ева, тощая и желтая — слишком тщательно прикрытая длинными волосами в напрасной заботе о стыдливости, которой еще не существовало во времена, не ведающие плотских соблазнов, — а змей, толстый, в зеленых разводах, тремя витками охвативший ствол дерева; глядя огромными злобными глазами, он, казалось, предлагал яблоко тем, кто рассматривал картину, а не своей жертве, пока еще не решавшейся — и это понятно, если вспомнить, чего стоило нам ее согласие, — принять плод, который сулил ей родить в муках чрева своего. Филомено медленно подошел к картине, словно опасаясь, что змей может выскочить из рамы, и принялся бить в большой, глухо звенящий поднос; обведя взглядом всех окружающих и как бы свершая какой-то невиданный обряд, он запел:

Мамочка, мамочка,
ко мне, ко мне, ко мне.
Змеюка злая хочет
сожрать меня живьем.

Смотри, что за глазищи,
они горят, как плошки,
смотри, что за зубищи,
они острее ножа.

Неправда, негритяночка,
иди, иди ко мне,
все это только шуточка,
иди, иди ко мне.

И, сделав такое движение, будто убивает змея с картины кухонным ножом, прокричал:

И змеюка сдохла,
ка-ла-ба-сон,
сон-сон.
Ка-ла-ба-сон,
сон-сон¹.

— *Кабала-сум-сум-сум*, — подхватил Антонио Вивальди, по привычке к церковному пению придав припеву неожиданный оттенок латинского псалма.

— *Кабала-сум-сум-сум*, — подхватил Доменико Скарлатти.

— *Кабала-сум-сум-сум*, — подхватил Георг Фридрих Гендель.

— *Кабала-сум-сум-сум*, — повторяли на семьдесят голосов питомицы приюта, заливаясь смехом и хлопая в ладоши. И вслед за негром, который теперь бил в поднос пестиком, они потянулись вереницей, ухватив одна другую за пояс, покачивая бедрами, отплясывая самую причудливую фарандолу; потом фарандолу повел за собой Монтесума, вертя над головой огромный фонарь на палке от метлы, двигаясь в такт несмолкаемым ударам. *Кабала-сум-сум-сум!* И так извивающейся, приплясывающей вереницей они несколько раз обогнули зал, пересекли часовню, три раза прошли по внутренней круговой галерее, проследовали дальше по коридорам и переходам, поднимаясь по лестницам, спускаясь по лестницам, обежали все боковые галереи, пока к ним не присоединились монахини-надзирательницы, сестра привратница, кухарки, поднявшиеся с постели судомойки, а за ними домоправитель, огородник, садовник, звонарь, лодочник, даже дурочка с чердака, которая сразу переставала быть дурочкой, едва дело доходило до пения, — и все это в доме, посвященном музыкально-инструментальному искусству, где два дня назад был дан большой концерт духовной музыки в честь короля Дании...

— *Ка-ла-ба-сон-сон-сон*, — пел Филомено, все громче отбивая ритм.

— *Кабала-сум-сум-сум*, — отвечали венецианец, саксонец и неаполитанец.

— *Кабала-сум-сум-сум*, — повторяли остальные, пока, обессиленные всем этим кружением, подъемами, спусками, бегом, не вернулись обратно к оркестровой эстраде и не

¹ Перевод Н. Наумова.

повалились с хохотом на красный ковер, вокруг бутылок и бокалов. Отлежавшись и отдышавшись, они перешли к изысканным танцам с фигурами под модную теперь музыку, а Доменико играл на чембало, украшая известные всем мелодии умопомрачительными трелями и морденто. За нехваткой кавалеров, — поскольку Антонио не танцевал, остальные же отдыхали, раскинувшись в креслах, — парами соединились гобой и труба, рожок и орган, кларнет и виола, флейта и лютя, а пошетты отплясывали вчетвером вместе с тромбонами.

— Вся инструментовка перевернулась вверх дном, — объявил Георг Фридрих, — какая-то фантастическая симфония.

Филомено тем временем поставил свой бокал на чембало, устроился поближе к клавиатуре и завладел движением танца, скребя ключом по терке.

— Чертов негр! — воскликнул неаполитанец. — Только захочу указать ритм, как он навязывает мне свой. В конце концов, придется играть каннибальскую музыку!

И, сняв руки с клавиш, Доменико опрокинул в глотку последний бокал, подхватил за талию Маргариту — двойную арфу — и углубился с ней в лабиринт келий приюта Скорбящей богоматери...

Но вот в окнах заалел рассвет. Белые фигуры останавливались одна за другой; вяло и неохотно складывали девушки свои инструменты в шкафы и футляры, видно, с тоской думая о возвращении к повседневным занятиям. Веселая ночь умирала, напутствуемая звонарем, который, сразу позабыв о выпитом вине, принялся звонить к утренней молитве. Белые фигуры исчезали, словно театральные духи, в правых дверях, в левых дверях. Появилась сестра привратница, неся две корзины, набитые булочками, сырами, крендельками, айвовым мармеладом, засахаренными каштанами и марципанами в виде розовых поросят, а из всего этого великолепия выглядывали горлышки бутылок с романольским вином.

— Это вам позавтракать в дороге.

— Я отвезу их в своей лодке, — сказал лодочник.

— Спать хочу, — сказал Монтесума.

— Есть хочу, — сказал саксонец. — Но я хотел бы поесть в тишине, где были бы деревья, птицы — конечно, не эти наглые прожорливые голуби с площади, грудастые, как натурщицы Росальбы, с ними только зазевайся — слопают весь наш завтрак.

— Спать хочу, — повторял Монтесума.

— Сейчас тебя убаюкает плеск весел, — откликнулся Антонио.

— Что это ты там прячешь за пазуху? — спросил саксонец у Филомено.

— Ничего, подарочек на память от Катарины-корнета, — отвечал негр, поглаживая пальцами подарок, который никому не удалось разглядеть, с таким благоговением, будто прикасался к священной реликвии.

VI

Из города, все еще погруженного в серую полутьму медленного рассвета, порывы ветра доносили до них отдаленные звуки рожков и трещоток. Веселый праздник продолжался в тавернах и под навесами кабачков; огни постепенно угасали, но ряженные, прогуляв всю ночь, и не думали приводить в порядок костюмы и маски, заметно терявшие свою привлекательность по мере того, как становилось светлее.

После долгой и мерной работы весел лодка подошла к кипарисам тихого кладбища.

— Тут можете позавтракать спокойно, — сказал лодочник, причалив к берегу.

Кошелки, корзины, бутылки переключивались на землю. Могильные плиты походили на столики без скатертей в большом опустелом кафе. И после романьольского вина, добавленного ко всему уже выпитому ранее, голоса снова радостно зазвенели. Мексиканец очнулся от сонного оцепенения, и его попросили еще раз рассказать историю Монтесумы, которую Антонио вечером не мог как следует расслышать из-за оглушительного крика и шума.

— Великолепно для оперы! — восклицал рыжий, с напряженным вниманием впитывая каждое слово рассказчика, а тот, все более воодушевляясь, говорил драматическим тоном, жестикулировал, менял голос, произнося импровизированные диалоги, и, в конце концов, создал живые образы всех персонажей.

— Великолепно для оперы! Ничего больше не надо. А вот машинистам хватит работы. Блистательная роль для сопрано — эта индеанка, влюбленная в христианина, — ее можно поручить одной из тех прелестных певиц, что...

— Знаем, знаем, в них у тебя недостатка нет, — перебил Георг Фридрих.

— А как хорош персонаж побежденного императора, — продолжал Антонио, — несчастного повелителя, который так горестно оплакивает свое поражение. Я вспоминаю «Персов», вспоминаю Ксеркса:

Это я, ой-ой, ой, больно!
Окаянный! Я родной земле
на пагубу родился...¹

— Ну уж Ксеркса оставь мне, — недовольно сказал Георг Фридрих, — для этого гожусь только я.

— Ты прав, — сказал рыжий, указывая на Монтесума. — Из этого получится персонаж поновее. Скоро услышим, как запоеет он у меня на сцене театра.

— Монах на подмостках оперы! — воскликнул саксонец. — Единственное, чего не хватало, чтобы окончательно испохабить этот город.

— Но если я это и сделаю, то уж во всяком случае не стану спать с Альмирами или Агриппинами, как некоторые другие... — заявил Антонио, надменно подняв острый нос.

— Благодарю! Что касается меня...

— А кроме того, мне надоели избитые сюжеты. Сколько Орфеев, сколько Аполлонов, сколько Ифигений, Дидон и Галатей! Пора искать новые сюжеты, незнакомую среду, быть может, другие страны... Польшу, Шотландию, Армению, Татарию... Другие персонажи: Джиневру, Кунегунду, Гризельду, Тамерлана или албанца Скандербег, немало бед причинившего проклятым оттоманам. Повеяло новым духом. Скоро публике наскучат влюбленные пастушки, верные нимфы, поучающие уму-разуму козопасы, распутные боги, лавровые венки, траченные молью пеплумы и заношенные мантии.

— А почему бы вам не написать оперу про моего прадеда Сальвадора Голомона? — спросил Филомено. — Вот был бы новый сюжет. Да еще декорации с морем и пальмами.

Саксонец и венецианец так дружно расхохотались, что Монтесума вступился за своего слугу:

— Не вижу тут ничего смешного: Сальвадор Голомон защищал от гугенотов свою веру так же, как Скандербег защищал свою. Если наш земляк вам кажется варваром, то уж не меньший варвар ваш славянин из тех вон мест. —

¹ Э с х и л. Персы. Эксод. Перевод А. И. Пиотровского.

И он указал туда, где, по его представлениям, не очень точным после выпитого за ночь вина, должно было находиться Адриатическое море.

— Но... где это видано, чтобы главным героем оперы был негр? — сказал саксонец. — Негры хороши для маскарада и интермедий.

— Кроме того, опера без любви — это не опера, — сказал Антонио. — Но любовь негра и негритянки — просто потеха, а любовь негра и белой невозможна, по крайней мере в театре.

— Пойдите... Пойдите... — сказал Филомено, все повышая тон под воздействием романолюского вина. — Мне рассказывали, что в Англии имеет большой успех драма об одном мавре, заслуженном генерале, который влюбился в дочь венецианского сенатора. Какой-то соперник, завидуя их счастью, даже назвал его черным козлом, взбравшимся на белую овечку, — к слову сказать, от этого получают премилые пятнистые козлята!

— Не говорите мне об английском театре! — воскликнул Антонио. — Английский посол...

— Большой мой друг, — вставил саксонец.

— Английский посол рассказывал мне о пьесах, которые идут в Лондоне, это ужас что такое. Ни в ярмарочных балаганах, ни в волшебном фонаре, ни в представлениях слепцов не увидишь ничего подобного...

И под бледными лучами зари, чуть осветившей кладбище, пошла речь о страшных преступлениях, о призраках убитых детей; герцог Корнуэльский выколол кому-то глаза на виду у публики, а потом растоптал их, словно отплясывающий фанданго испанец; дочь римского полководца изнасиловали, вырвали у нее язык и отрубили руки, а в конце пьесы был устроен пир, где оскорбленный отец, оставшийся без руки, после того как его ударил топором любовник жены, переодевается поваром и подает готской королеве пирог, начиненный мясом двух ее сыновей, из которых выпустили кровь, как из поросят накануне сельской свадьбы...

— Мерзость какая! — воскликнул саксонец.

— А хуже всего то, что в пирог попали и глаза, и языки, и носы, — так рекомендуют наставления по разделке наиболее ценной охотничьей добычи...

— И все это съела королева готов? — спросил не без задней мысли Филомено.

— Так же охотно, как я эту булочку, — сказал Антонио, вонзив зубы в очередную булочку из корзины монахинь.

«И еще говорят, что таковы обычаи негров!» — подумал негр, а венецианец, пережевывая изрядный кусок кабаньей головы, маринованной в уксусе с зеленью и красным перцем, прошелся вокруг, но внезапно замер перед соседней могилой и стал разглядывать плиту, на которой красовалось имя, звучащее в этих краях непривычно.

— Игорь Стравинский, — прочел он по складам.

— Да, правда, — сказал саксонец, тоже с трудом прочитав имя. — Он захотел покоиться на этом кладбище.

— Хороший музыкант, — сказал Антонио. — Но многое в его сочинениях устарело. Он вдохновлялся извечными темами: Аполлон, Орфей, Персефона — до каких же пор?

— Я знаю его «Oedipus Rex»¹, — сказал саксонец, — кое-кто утверждает, что в финале первого акта — «Gloria, gloria, gloria Oedipi uxor!»² — музыка напоминает мою.

— Но... как только могла прийти ему в голову странная мысль написать светскую ораторию на латинский текст?

— Исполняют также его «Canticum Sacrum»³ в соборе святого Марка, — сказал Георг Фридрих, — там можно услышать мелодические ходы в средневековом стиле, от которых мы давным-давно отказались.

— Дело в том, что эти так называемые передовые мастера слишком уж стараются изучать творчество музыкантов прошлого — и даже стремятся порой обновить их стиль. Тут мы более современны. На кой мне знать оперы и концерты столетней давности. Я пишу свое, по собственному знанию и разумению, и только.

— Согласен с тобой, — сказал саксонец, — но не следует также забывать, что...

— Хватит вам чушь молоть, — сказал Филомено, отхлебнув первый глоток из вновь откупоренной бутылки. И все четверо опять запустили руки в корзины, привезенные из приюта Скорбящей богоматери, корзины, которым, подобно мифологическому рогу изобилия, не суждено было иссякнуть. Но когда пришло время айвового мармелада и бисквитов, последние утренние тучки рассеялись и лучи солнца упали прямо на каменные плиты, вспыхивая белыми отблесками под темной зеленью кипарисов. И в ярком свете словно выросли буквы русского имени, которое было им так близко. Монтесуму вино усыпило снова,

¹ «Царь Эдип» (лат.).

² Слава, слава, слава Эдиповой жене (лат.).

³ Священное песнопение (лат.).

саксонец же, который вообще больше привык к пиву, чем к этому дрянному винцу, опять пустился в нескончаемый спор.

— А Стравинский, — вспомнил он не без ехидства, — сказал, что ты шестьсот раз написал один и тот же концерт.

— Возможно, — сказал Антонио, — однако я никогда не сочинял цирковую польку для слонов Барнема.

— Вот скоро появятся слоны в твоей опере о Монтесуме, — сказал Георг Фридрих.

— В Мексике нет слонов, — сказал ряженный Монтесума. Эта чудовищная нелепость вывела его из забытья.

— Однако сходные животные изображены вместе с пантерами, пеликанами и попугаями на коврах в Квиринальском дворце, где показывают привезенные из Индий диковины, — сказал Георг Фридрих, упорствуя, как всякий человек, одержимый навязчивой идеей под влиянием винных паров.

— Хорошую музыку слушали мы вечером, — сказал Монтесума, чтобы прекратить глупый спор.

— А! Сладкое варенье! — сказал Георг Фридрих.

— Я бы скорее сравнил ее с *jam session*¹, — сказал Филомено, но слова эти прозвучали так странно, что показались пьяным бредом. Потом он вдруг вытащил из своего свернутого плаща, брошенного подле корзин с продовольствием, таинственный предмет, подаренный, по его словам, «на память» Катариной-корнетом: оказалось, это блестящая труба («И отличная», — заметил саксонец, великий знаток инструментов), которую негр тут же поднес к губам и, проверив мундштук, разразился пронзительными трелями, глиссандо и резкими жалобными воплями, что немедленно вызвало протесты всех остальных — ведь они пришли сюда в поисках тишины, сбежав от карнавального гвалта, и кроме того, это не музыка, а если даже и музыка, то совершенно невозможная на кладбище, хотя бы из уважения к покойникам, которые лежат в торжественном безмолвии под своими плитами. Филомено, несколько пристыженный выговором, перестал пугать неуместными выходками птиц на островке, и те, снова почувствовав себя хозяевами, залились привычными мадригалами и мотетами. Но теперь, вволю наевшись и напившись, устав от споров, Георг Фридрих и Антонио принялись дружно

¹ Закрытое исполнение джазовых мелодий и импровизаций (*амер. муз. жаргон*).

зевать по всем правилам контрапункта, сами смеясь над своим невольным дуэтом.

— Вы похожи на кастратов из оперы-буфф, — сказал Монтесума.

— Кастраты, мать твою! — откликнулся монах, с жестом не вполне пристойным для того, кто — хотя ни разу не отслужил ни одной мессы, под предлогом, что от запаха ладана у него начинается одышка и зуд, — был все же человеком духовного звания с тонзурой на голове... Меж тем тени деревьев и склепов постепенно удлинялись. В это время года дни уже становились короче.

— Пора собираться, — сказал Монтесума. Он подумал, что надвигаются сумерки, а кладбище в сумерках всегда навевает грусть, нерадостные думы о человеческой судьбе — им-то и предавался принц датский, любивший играть черепами, как мексиканские мальчишки в день поминовения усопших... Под мерный плеск весел по спокойной воде, едва колыхавшейся у бортов лодки, они медленно продвигались к площади. Уютно устроившись под украшенным кисточками навесом, саксонец и венецианец отсыпались после бурного веселья; их лица выражали такое удовольствие, что приятно было смотреть. По временам с губ у них срывалось неясное сонное бормотание... Когда лодка проходила мимо дворца Вендрамин-Калерджи, Монтесума и Филомено увидели, что какие-то темные фигуры — мужчины во фраках, женщины в черных покрывалах, подобно античным плакальщицам, — несут к черной гондоле гроб, холодно отсвечивающий бронзой.

— Это один немецкий музыкант умер вчера от удара, — сказал, подняв весла, лодочник. — Теперь его останки везут на родину. Говорят, писал какие-то странные, очень длинные оперы, там все было: драконы, летающие кони, гномы, титаны и даже сирены, поющие на дне реки. Подумайте только! Петь под водой! В нашем театре Фениче и то нет ни приспособлений, ни машин, чтобы устроить такое представление.

Черные фигуры, закутанные в газовые и креповые покрывала, спустили гроб в похоронную гондолу, и, отталкиваясь шестами, гондольеры торжественно повели ее к железнодорожной станции, где уже пыхтел в облаках пара будто написанный Тернером¹ локомотив с пылающим, как глаз циклопа, фонарем....

¹ Тернер Уильям (1775—1851) — английский художник.

— Спать хочу,— сказал Монтесума, сраженный безмерной усталостью.

— Сейчас будем на месте,— сказал лодочник.— Ведь гостиница ваша выходит на канал.

— Как раз там, где причаливают шаланды с нечистотами,— сказал Филомено, который снова хлебнул из бутылки и теперь сердился, вспоминая полученный на кладбище нагоняй.

— Все равно, спасибо,— сказал мексиканец. У него слипались глаза, и он едва почувствовал, как его вытаскивают из лодки, поднимают по лестнице, раздевают, укладывают и закутывают, подсовывая под голову подушки.

— Спать хочу,— пробормотал он только.— Ты тоже поспи.

— Ну уж нет,— сказал Филомено.— Отправлюсь со своей трубой туда, где можно повеселиться...

На улицах продолжался праздник. Взмахивая бронзовыми молотками, отбивали время мавры на Часовой башне.

VII

И мавры на Часовой башне снова отбили часы, неуклонно выполняя давнюю свою обязанность измерять время, хотя сегодня пришлось им бить молотками в сером осеннем тумане, а изморось с самого рассвета приглушала звон бронзы.

Филомено окликнул Хозяина, и тот очнулся от долгого сна, такого долгого, что казалось, он длился целые годы. Теперь мексиканец уже не был вчерашним Монтесумой,— на него надели пушистый ночной халат, ночной колпак и ночные чулки, а маскарадный костюм не лежал на кресле, куда он его бросил — или где кто-нибудь сложил его — вместе с ожерельем, перьями и сандалиями из золоченых ремней, придававшими такое великолепие его особе.

— Костюм унесли, чтобы одеть синьора Массимилиано Милера,— сказал негр, доставая другую одежду из шкафа.— И поторопитесь, сейчас начинается генеральная репетиция, с освещением, машинами и всем прочим...

— Ах, да! Ясно! — Бисквиты, размоченные в мальвазии, сразу оживили его память.

Слуга проворно побрил его, и, одетый как обычно, он спустился по лестнице, поправляя запонки на кружевных манжетах. Снова ударили молотки мавров,— Филомено

называл их «своими братьями», — но звон часов потонул в торопливом перестуке молотков на сцене театра Сант-Анджело: за красным бархатным занавесом машинисты устанавливали сложные декорации первого акта. Музыканты в оркестре подстраивали струнные и медные инструменты, когда мексиканец и слуга уселись в темной пустой ложе. Но вот мгновенно замолкли молотки и инструменты, воцарилась глубокая тишина, и за дирижерским пультом появился, весь в черном, со скрипкой в руке, маэстро Антонио. Он выглядел еще более тощим и носатым, чем всегда, но стал как будто выше ростом: суровое напряжение всех душевных сил перед решением задач высокого искусства проявлялось в величественной скупости жестов, — эта тщательно выработанная сдержанность еще ярче подчеркивала неистовые, почти акробатические движения во время игры, завоевавшие славу его виртуозному исполнению сложных пассажей. Погруженный в себя, не оглядываясь на немногих зрителей, разбросанных кое-где по залу, он медленно раскрыл рукопись, взмахнул смычком — как в *ту ночь* — и, выполняя двойную роль, дирижера и несравненного исполнителя, начал увертюру, быть может, более тревожную и быструю, чем другие его симфонические произведения, написанные в спокойном темпе, и занавес раскрылся, явив взорам яркое великолепие красок. Мексиканец сразу же вспомнил многоцветные вымпелы и флажки, которыми любовался он когда-то в Барселоне, едва увидел пламенеющий лес парусов и штандартов, развевающихся над кораблями с правой стороны сцены; слева же высились мощные стены дворца, украшенные пурпурными знаменами и полотнищами. А переброшенная через рукав мексиканского озера стройная аркада моста (пожалуй, слишком похожего на некоторые венецианские мосты) отделяла место высадки испанцев от резиденции императора Монте-сумы. Однако наряду со всей этой роскошью были ясно видны следы недавнего сражения: разбросанные по полу копья, стрелы, щиты, военные барабаны. Вышел император мексиканцев со шпагой в руке и, поглядывая на смычок маэстро Антонио, запел:

Son vinto, eterni Dei! tutto in un giorno
Lo splendor de'miei fasti, e l'alta gloria
Del valor Messican cade svenata...¹

¹ Я побежден, вечные боги! В единый день погибло все, блеск и великолепие моего царства и высокая слава мексиканской доблести (*ит.*).

Бессильны мольбы, заклания, призывы к небу против ударов враждебного рока. Его удел — скорбь, отчаяние и гибель величия: *Un dardo vibrato nel mio sen...*¹ Тут появляется императрица, красивая, отважная женщина, одетая не то как Семирамида, не то как венецианка Тициана, и пытается пробудить мужество в душе побежденного супруга, которому «коварный ибериец» уготовил столь тяжкие испытания.

— Без нее в драме не обойтись, — шепнул Филомено своему хозяину. — Это Анна Джиро, возлюбленная фрейле Антонио. Ей всегда дают первую роль.

— Научись, наконец, почтительности, — строго сказал мексиканец слуге. Но в это время, наклоня голову под ацтекскими знаменами, свисавшими над подмостками, на сцену вышел Теутиле — персонаж, упомянутый в «Истории завоевания Мексики» Мосена Антонио де Солиса, главного историографа Индий.

— Да что это, они сделали его женщиной! — воскликнул мексиканец, увидев, как выпирает у певицы грудь под туникой, украшенной греческим орнаментом.

— Недаром ее называют немкой, — сказал негр, — сами знаете, по части вымени немки...

— Но это же величайшая глупость, — перебил Хозяин. — Мосен Антонио де Солис говорит, что Теутиле был *полководцем* в войсках Монтесумы.

— А здесь ее зовут Джузеппа Пиркер, и я знаю, что она спит с его высочеством принцем Дармштадтским или, как говорят другие, Арместаadtским. Ему надоел снег, и он живет в каком-то дворце этого города.

— Но Теутиле мужчина, а не женщина!

— Кто знает! — сказал негр. — Здесь есть очень порочные люди. Вот посмотрите хотя бы на это.

Оказалось, что на Теутиле пожелал жениться Рамиро, младший брат конкистадора дона Эрнана Кортеса, однако эту мужскую роль пела синьора Анджола Дзануки...

— Эта тоже спит с его высочеством принцем Дармштадтским, — шепнул негр.

— Но... тут что же, все спят со всеми? — спросил скандализированный мексиканец.

— А, тут все спят с кем попало!.. Погодите, дайте послушать музыку, сейчас началась очень интересная партия трубы, — сказал негр.

¹ Стрела, пущенная мне в грудь... (ит.)

Мексиканец, сбитый с толку неожиданными поворотами действия, уже заблудился в лабиринте событий, которые без конца запутывались, распутывались и снова запутывались.

Монтесума молил императрицу Митрену — так вздумалось им назвать ее, — чтобы та принесла в жертву свою дочь Теутиле («Но, черт возьми! Теутиле был ведь мексиканским полководцем!...»), прежде чем ее обесчестит разъяренный победитель. Но (эти «но» можно было умножать до бесконечности) принцесса предпочла убить себя на глазах у Кортеса. Она перешла через мост, теперь уже и вовсе похожий на мост Риальто, и, исполненная чистоты и достоинства, провозгласила перед конкистадором:

La figlia d'un Monarca
in ostagio a Fernando? Il sangue illustre
di tanti Semidei
così ingrato avvilirsi? ¹

Тут Монтесума пустил стрелу в Кортеса, и на сцене началось такое светопреставление, что мексиканец совершенно потерял нить всей этой истории и пришел в себя, лишь когда заметил, что декорация переменялась: перед зрителями возникли внутренние покои дворца с изображениями символов солнца на стенах, и затем вышел император Мексики, одетый как испанец.

— Вот это странно! — заметил Хозяин, увидев, что синьор Массимилиано Милер сменил маскарадный костюм, в котором он — он, сидящий здесь, в этой ложе, богатый, богатейший негоциант, промышляющий серебром, — щеголял вчера ночью, позавчера ночью или позапозавчера ночью, или кто его знает когда, а сменив, стал походить на римских аристократов, которые, гордясь строгостью своих нравов, в отличие от сумасбродств Венеции, перенимали моды Мадрида или Аранхуэса, как это, вполне естественно, делали во все времена богатые сеньоры заморских земель. Но так или иначе, этот выраженный испанцем Монтесума выглядел настолько неуместным, настолько неприемлемым, что действие снова начало путаться, прерываться, пресекаться в сознании бедного зрителя, и он, глядя на новое роскошное одеяние героя, этого побежденного Ксеркса музыкальной трагедии, уже не мог отличить певца от множества других переодетых людей, которые мелькали

¹ Дочери монарха стать заложницей Эрнана? Так унижить славную кровь стольких полубогов? (ит.)

перед ним, словно прошлой ночью, позапрошлой ночью или бог его знает когда — на карнавале, пока красный бархатный занавес не закрылся под звуки мощного призыва к морскому бою, брошенного неким Аспрано, другим «мексиканским полководцем», о котором никогда не упоминали ни Берналь Диас дель Кастильо, ни Антонио де Солис в своих знаменитых хрониках...

Снова звонко отбили время мавры на Часовой башне; на сцене слышался торопливый перестук молотков, но Вивальди не уходил из оркестра; музыканты чистили апельсины, потягивли из бутылок красное вино, а он, сидя на табурете, проверял нотную запись следующего акта и порой вносил поправки, сердито черкая пером. Худая спина маэстро оставалась совершенно неподвижной, пока он нервно перелбрасывал страницы, вчитываясь в ноты с таким вниманием, что никто не смел отвлекать его.

— Вылитый лицензиат Кабра¹, — сказал мексиканец, вспомнив знаменитого наставника из романа, который обошел всю Америку.

— Я бы сказал, лицензиат Кабро², — заметил Филомено, которого не оставили равнодушным округлые бедра и розовые плечи Анны Джиро.

Но вот смычок виртуоза указал начало нового симфонического вступления — на этот раз в медленном, спокойном темпе, — сцена открылась, и перед ними предстал большой зал, точно такой же, как на картине в койоаканском доме мексиканца, изображавшей эпизод из истории конкисты, — и, пожалуй, картина эта более соответствовала действительности, чем все, что можно было увидеть до сих пор тут. Теперь Теутиле (неужели надо окончательно примириться с тем, что это женщина, а не мужчина?) оплакивала участь своего отца, захваченного в плен вероломными испанцами. Однако оказалось, что Аспрано командует людьми, готовыми освободить его: «Мои воины горят желанием скорее сесть в каноэ и пироги; горят желанием покарать герцога (sic!), изменившего своему слову». На сцену выходят Эрнан Кортес и императрица. Мексиканка раздражается патетической арией, в которой гордая отвага, приводящая на память царицу Атоссу Эсхила, сочетается (в начале этого акта) с известным пораженчеством, свойственным

¹ Кабра — персонаж романа Франсиско Кеведо «История жизни пройдох по имени дон Паблос».

² Кабро (cabro) — козел (исп.).

скорее Малинче. Митрена-Малинче признает, что жила во тьме идолопоклонства; что грозные предзнаменования возвещали поражение ацтеков. Кроме того:

Per sécolo sì lunghi
furon i popoli cotanto idioti
ch'anche i propri tesor gl'erano ignoti¹. —

и становится ясно, что в этих краях поклонялись ложным богам, а теперь наконец под гром пушек и ломбард явилась истинная религия вместе с порохом, лошадью и Евангелием. Цивилизация людей высшей породы воцарилась посредством разума и силы... Но именно поэтому (здесь малинчизм Митрены отступает, и в голосе ее звучит отвага) унижение, уготованное Монтесуме, недостойно людей такой культуры и могущества: «Если с небес Европы сошли вы в эту часть света, будьте правителем, сеньор, а не тираном». Появляется Монтесума в цепях. Спор становится все более ожесточенным. Музыканты маэстро Антонио безумствуют, подчиняясь неистовым взмахам дирижерской палочки; происходит смена декораций, на какую способны только машинисты венецианской сцены, и, словно сияющее видение, появляется озеро Тескоко, с вулканами на заднем плане; по озеру скользят индейские суда, и завязывается страшный морской бой, кровавая схватка испанцев с мексиканцами. Крики ярости, тучи стрел, звон оружия, сбитые шлемы, удары мечей, падающие в воду люди... Наконец на сцену врывается кавалерия, довершая всеобщую неразбериху. Трубят трубы вверх, трубят трубы вниз, пронзительно заливаются флейты и рожки; горит ацтекский флот — вспыхивают фейерверки и зажигательная смесь, летят искры, валит дым, пущена в ход вся пиротехника высшего класса. Вопли, смятение, крики, гибель...

— Браво! Браво! — орал мексиканец. — Так оно и было! Так и было!

— А вы сами видели? — спросил насмешник Филомено.

— Видел не видел, а говорю, что было так, и баста...

Бегут побежденные, ускакала кавалерия, сцена завалена трупами и ранеными, а Теутиле, словно покинутая Дидона, хочет броситься в догорающее пламя и умереть по законам высокой трагедии, как вдруг Аспрано объявляет, что ее собственный отец уготовил ей завидную участь: ее

¹ Долгие века народы были столь неразумны, что не ведали даже собственных сокровищ (ит.).

должны заклать, как новоявленную Ифигению, на алтаре старых богов, дабы смягчить гнев тех, кто на небесах вершит судьбы смертных.

— Ладно, как эпизод в классическом духе может сойти, — с некоторым сомнением заметил мексиканец, когда красный занавес снова закрылся.

Вскоре опять раздался перестук молотков, предвещавший смену декораций, вернулись на места музыканты, и после короткого симфонического вступления — ничего хорошего не предвещавшего, если судить по раздражающим слух гармониям, — узкая сцена открылась, и восхищенным взорам предстала тяжеловесная башня, а в глубине — созданная с помощью световой техники панорама великого города Теночтитлана. На земле валялись трупы, что показалось мексиканцу не совсем понятным. И возобновилось запутанное действие с участием Монтесумы, опять наряженного Монтесумой («Мой костюм, тот же самый костюм...»), плененной Теутиле, воинов, решивших освободить ее, и Митрены, которая собиралась поджечь башню.

— Еще один пожар? — спросил Филомено в надежде, что повторится столь великолепное зрелище. Но нет. Башня чудесным образом превратилась в храм, у входа в который возвышалось изваяние какого-то страшного, уродливого, длинноухого бога, очень похожего на дьяволов Босха, чьи картины так нравились королю Филиппу II и до сих пор хранятся в могильно-мрачном Эскориале. Одетые в белое жрецы называли этого бога «Училибос».

«Откуда они взяли это имя?» — подумал мексиканец.

Привели Теутиле со связанными руками и уже собрались приступить к кровавому жертвоприношению, когда синьор Массимилиано Милер, из последних сил напрягая голос, изрядно утомленный безудержным вдохновением Антонио Вивальди, героически запел скорбную арию, вполне достойную поверженного монарха персов: «Звезды, вы победили. На моем примере мир убедится в непостоянстве вашем. Я был королем и хвалился божественной властью. Теперь я — жертва, скванный пленник, презренная добыча чужой славы, и мне суждено стать в грядущем лишь достоянием истории».

Пока мексиканец утирал слезы, вызванные столь возвышенными сетованиями, занавес закрылся, вновь раскрылся, и мы перенеслись на украшенную в стиле римских триумфов площадь с ростральными колоннами — главную площадь Мехико, где реяли по ветру все флажки, вымпелы,

штандарты и знамена, какие только появлялись ранее. Входят пленные мексиканцы, с цепями на шее, горько оплакивая свое поражение; зрители приготовились уже наблюдать новую бойню, но тут происходит нечто непредвиденное, невероятное, чудесное и нелепое, противное всякой правде: Эрнан Кортес прощает своих врагов, и, дабы закрепить дружбу между ацтеками и испанцами, при общем восторге, под радостные клики празднуется свадьба Теутиле и Рамиро; побежденный император клянется в вечной верности испанскому королю, а хор в сопровождении струнных и медных, играющих под водительством маэстро Вивальди победно и оглушительно-громко, славит наступление мира, торжество истинной религии и счастье, дарованное Гименеем. Марш, эпиталама, общий танец, да саро, еще да саро, еще да саро, и, наконец, красный бархатный занавес закрывается перед негодующим мексиканцем.

— Вранье, вранье, вранье! Все вранье! — кричал он.

И, продолжая кричать: «Вранье, вранье, вранье! Все вранье», бросился к рыжему монаху, который складывал партитуру, утирая пот большим клетчатым платком.

— Вранье? Что именно? — спросил с удивлением музыкант.

— Все. Этот финал чистая глупость. История...

— Историкам в опере делать нечего.

— Но... никогда в Мексике не было такой императрицы, и никакая дочь Монтесумы не выходила замуж за испанца.

— Минутку! Минутку! — внезапно вспыхив, воскликнул Антонио. — Поэт Альвисе Джусти, автор этой «драмы для музыки», изучил хронику де Солиса, которую главный библиотекарь знаменитой библиотеки святого Марка очень ценит как документальную и точную. И там говорится об императрице, да, сеньор, женщине достойной, возвышенной и отважной.

— Никогда ничего подобного не видел.

— Глава двадцать пятая пятой части. А кроме того, в четвертой части говорится, что две или три дочери Монтесумы вышли замуж за испанцев. Так что одной больше или меньше...

— А этот бог, Училибос?

— Не виноват я, что у всех ваших богов какие-то невозможные имена. Сами конкистадоры, стараясь подражать мексиканской речи, называли его Училобос или как-то в этом роде.

— А, понял. Речь идет об Уицилопочтли.

— И вы полагаете, что это можно спеть? Все имена в хронике де Солиса похожи на скороговорку. Сплошные скороговорки: Истлапалалпа, Гоасокоалко, Хикаланго, Тласкала, Махискацин, Куальпопока, Хикотенкатль... Я научил это как упражнение в артикуляции. И какого черта надо было придумывать такой язык?

— А Теутиле, из которого вы сделали женщину?

— Ну, это имя хоть произнести можно, и оно вполне подходит для женщины.

— А куда девался Гуатимосин, настоящий герой этой истории?

— Он бы нарушил единство действия... Это персонаж для другой драмы.

— Но... Монтесуму побили камнями.

— Совсем непривлекательная картина для финала оперы. Англичанам это еще могло бы пригодиться, они всегда кончают свои театральные представления убийствами, резней, похоронными маршами и погребениями. Но здесь люди приходят в театр, чтобы развлечься.

— А где же донья Марина? Ее и вовсе нет в этом мексиканском маскараде!

— Ваша Малинче¹ была мерзкой предательницей, а публика не любит предателей. Ни одна наша певица не согласилась бы на такую роль. Чтобы стать поистине великой и удостоиться музыки и рукоплесканий, эта индеанка должна была поступить, как Юдифь с Олоферном.

— Однако же ваша Митрена признает превосходство конкистадоров.

— Да, но именно она до самого финала призывает к безнадежному сопротивлению. Такие персонажи всегда имеют успех.

Мексиканец, хотя несколько сбавив тон, продолжал настаивать:

— История говорит нам...

— Не суйтесь вы с историей в театральные дела. Главное тут поэтическая иллюзия... Сами судите, знаменитый господин Вольтер не так давно поставил в Париже трагедию, построенную на нежной любви Оросмана и Заиры, а живи эти исторические лица в то время, когда происходит действие, ему было бы за восемьдесят, а ей — далеко за девяносто.

¹ М а л и н ч е — ацтекское имя доньи Марины.

— Тут уж никакие снадобья не помогут, — буркнул Филомено.

— И еще там говорится, что Иерусалим поджег султан Саладин, а это уж чистое вранье, потому что на самом деле если кто и разграбил город и вырезал население, то это наши крестоносцы. А ведь святые места имеют свою историю. Великую, достойную уважения историю!

— Значит, историю Америки вы не считаете великой и достойной уважения?

Музыкант положил свою скрипку в подбитый пунцовым атласом футляр.

— В Америке все выдумки: сказка об Эльдorado и Потоси, города-призраки, говорящие губки, ягнята с золотым руном, амазонки с одной грудью и индейцы-орехоны, которые питаются иезуитами...

Мексиканец снова вспыхнул:

— Ну, если вам так нравятся выдумки, пишите музыку на сюжет «Неистового Роланда».

— Это уже сделано: премьера была шесть лет назад.

— Не хотите ли вы сказать, что вывели на сцену Роланда, который нагишом, с голым задом мечется по всей Франции и Испании, а потом пускается вплавь через Средиземное море и от нечего делать летит на Луну?..

— Хватит вам чушь молоть, — сказал Филомено, который с большим интересом разглядывал на свободной от машинистов сцене синьору Пиркер (Теутиле) и синьору Дзануки (Рамиро): певицы, уже разгримированные и одетые для выхода на улицу, горячо обнимались и поздравляли друг друга, — быть может, слишком страстно целуясь, — с тем, как хорошо — и это была правда — обе они пели.

— Особое пристрастие? — спросил мексиканец, выбирая самые осторожные слова, какие могли выразить возникшие у него подозрения.

— Да кому до этого дело! — воскликнул Вивальди и сразу заторопился, услышав нетерпеливый зов прекрасной Анны Джиро, которая появилась, на этот раз без блеска освещения и театральных эффектов, в глубине сцены.

— Чувствую, вам не понравилась моя опера... В следующий раз подыщу сюжет из римской истории...

На площади мавры Часовой башни пробили молотками шесть раз, а вокруг них уже спали голуби и от каналов поднимался влажный туман, застилая эмаль и золотые украшения часов.

Промокшие под упорным мелким дождем суконные плащи отдавали запахом хлеба; мексиканец шагал мрачный, погруженный в свои мысли, не поднимая глаз, словно пересчитывал мраморные плиты площади, казавшиеся голубыми в свете городских огней; слышно было только его невнятное бормотание, в котором мысли так и не выражались словами.

— Что это, вы как будто удручены этим музыкальным представлением? — спросил его Филомено.

— Сам не знаю, — сказал наконец мексиканец, прервав свой невразумительный монолог. — Маэстро Антонио задал моим мозгам работу этой сумасбродной мексиканской оперы. Я — внук людей, родившихся в Кольменар-де-Ореха и Вильяманрике-дель-Тахо, сын эстремадурца, крещенного в Медельине, где крещен был и Эрнан Кортес. И тем не менее сегодня, сейчас вот, со мной произошло нечто весьма странное: когда лилась музыка Вивальди и развивалось сопровождавшее ее действие, я горячо хотел, чтобы восторжествовали ацтеки, я жадно ожидал развязки, совершенно невозможной, — ведь я-то родился там и лучше всех знаю, как происходили события. Я сам себя поймал на нелепой надежде, что Монтесума победит спесивого испанца, а его дочь, подобно библейской героине, обезглавит выдуманного Рамиро. И я вдруг почувствовал, как, стоя среди индейцев, натягиваю лук и страстно желаю гибели тем, кто дал мне мою кровь и имя. Будь я Дон-Кихотом из «Балаганчика маэсе Педро»¹, я бросился бы с копьём и щитом против своих единоверцев в шлемах и кольчугах.

— А разве не в том и состоит назначение театральной иллюзии, чтобы вырвать нас из обычной обстановки и перенести туда, куда по собственной воле нам не попасть? — спросил Филомено. — Благодаря театру мы можем вернуться назад и жить, независимо от теперешней нашей телесной оболочки, в те времена, что ушли навсегда.

— Назначение театра, как об этом писал один древний философ, состоит также и в том, чтобы очищать нас от тревог, скрытых в тайных глубинах нашей души... При

¹ Опера испанского композитора Мануэля де Фальи (1876—1946).

виде искусственной Америки этого жалкого поэта Джустиня почувствовал себя не зрителем, а актером. Я позавидовал Массимилиано Милеру, надевшему одежду Монтесумы, она с пугающей достоверностью вдруг стала моей. Мне почудилось, будто певец играет роль, предназначенную для меня, а я по трусости и неумению оказался неспособен исполнить ее. Я вдруг почувствовал себя как бы вне окружающей жизни, неуместным здесь, далеко от самого себя и от того, что действительно было моим... Иногда необходимо уехать вдаль, пересечь моря, чтобы все понять по настоящему.

Тут мавры Часовой башни отбили время, как делали это испокон веков.

— Осточертел мне этот город с его каналами и гондольерами. Плевал я на Анчиллу, Камиллу, Джульетту, Анжелетту, Катину, Фаустоллу, Спину, Агатину и всех остальных, чьи имена даже не запомнил. Хватит! Сегодня же ночью возвращаюсь домой. Мне нужен другой воздух, чтобы вновь стать самим собой.

— Если верить маэстро Антонио, все *тамошнее* — одни сказки.

— Сказками питается великая история, не забывай об этом. Сказкой кажутся наши дела здешним людям, потому что они утратили понимание сказочного. Они называют *сказочным* все давно прошедшее, непостижимое, оставшееся позади, — помолчав, заметил мексиканец. — Они не понимают, что сказочное ждет нас в будущем. Будущее всегда сказочно.

...Теперь они шли по веселой улице Мерчериа, менее оживленной, чем обычно, из-за дождя, моросившего так упорно, что вода начала капать с полей шляп. Мексиканец вспомнил о поручениях, которыми наградили его накануне отъезда там, в Койоакане, друзья и сотрапезники. Он, конечно, не собирался разыскивать образцы мрамора, яшмовую трость и редкие фолианты или добавлять к своей поклаже бочонок мараскина и римские монеты. Что же касается инкрустированной перламутром мандолины... пускай вместо ее струн дочка инспектора мер и весов щиплет собственные телеса, они вполне для этого подходят! Но вот здесь, в музыкальной лавке, наверняка можно найти сонаты, концерты и оратории, о которых так скромно просил учитель бедного Франсискильо. Они вошли. Для начала продавец предложил им несколько сонат Доменико Скарлатти.

— Великолепный парень, — сказал Филомено, вспомнив знаменательную ночь.

— Говорят, этот повеса сейчас в Испании и там добросердечная, любвеобильная инфанта Мария Барбара уплатила все его карточные долги, а они ведь знай растут, пока остается хоть одна колода карт в игорном доме.

— У каждого свои слабости. Этого всегда больше привлекали женщины, — сказал Филомено, кивнув на концерты маэстро Антонио. Они назывались «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», и каждому предшествовал — в объяснение — прекрасный сонет.

— Он-то всегда будет жить весной, даже если его настигнет зима, — сказал мексиканец.

Но продавец уже восхвалял достоинства замечательной оратории «Мессия».

— Ни больше, ни меньше! — воскликнул Филомено. — Саксонец на мелочи не разменивается.

Он раскрыл партитуру.

— Черт! Вот это называется писать для трубы! Ах, если бы сыграть это!

И он с восторгом читал и перечитывал арию баса, написанную Георгом Фридрихом на слова Послания к Коринфянам. Над нотами, которые мог сыграть на своем инструменте только самый искусный исполнитель, были написаны слова, чем-то напоминающие spiritual¹:

The trumpet shall sound,
and the dead shall be raised
incorruptible, incorruptible,
and we shall be changed,
and we shall be changed!
The trumpet shall sound,
the trumpet shall sound!²

Уложив багаж, спрятав ноты в чемодан из толстой кожи, с украшением в виде ацтекского календаря, мекси-

¹ Религиозные песнопения негров, послужившие одним из источников джазовых мелодий (англ.).

² Труба вострубит,
и мертвые восстанут
нетленными, нетленными,
а мы изменимся,
а мы изменимся!
Труба вострубит,
труба вострубит! (англ.)

канец и негр отправились на станцию железной дороги. Когда до отхода экспресса оставалось несколько минут, Хозяин выглянул из окна своего купе в Wagons-Lits-Cook¹.

— Чувствую, ты остаешься, — сказал он Филомено, который, ежась от холода, топтался на перроне.

— Останусь еще на денек. Сегодняшний вечер для меня особенно важен.

— Представляю себе... Когда же ты вернешься на родину?

— Сам не знаю. Раньше поеду в Париж.

— Женщины? Эйфелева башня?

— Нет. Женщин всюду хватает. А Эйфелева башня давно уже не чудо. Разве что фигурка для пресс-папье.

— В чем же дело?

— В Париже меня будут называть monsieur Philomène, вот так, через «Ph» и с красивым акцентом на «е». А в Гаване я навсегда останусь всего лишь негритенком Филомено.

— Все может когда-нибудь измениться.

— Для этого понадобится революция.

— Боюсь я революций.

— Потому что у вас много серебра там, в Койоакане. У кого есть серебро, те не любят революций... А мы — нас много, и скоро мы станем *массами*.

Еще раз — который раз за века? — пробили молотками время мавры на Часовой башне.

— Может быть, я слышу их в последний раз, — сказал мексиканец. — Многому научили они меня за время путешествия.

— Вообще, путешествуя многому можно научиться.

— Басилио, великий каппадокиец, святой и ученый муж церкви, утверждал в интереснейшем трактате, что Моисей приобрел немало знаний, пока жил в Египте, а Даниил превосходно разгадывал сны — сейчас это так модно! — потому что его научили этому халдейские прорицатели.

— Постарайтесь извлечь пользу из вашего путешествия, — сказал Филомено. — Я же займусь своей трубой.

— Ты остаешься в хорошей компании: труба напориста и решительна. Инструмент грозного и возвышенного звучания.

¹ Спальный вагон (фр.).

— Потому и трубят она в час Страшного суда, когда приходит время свести счеты со всеми негодяями и сукиными детьми, — сказал негр.

— Ну, чтобы покончить с ними, придется ждать конца света, — сказал мексиканец.

— Странно, — сказал негр. — Всегда я слышу о конце света. Не лучше ли говорить о начале нового времени?

— Оно начнется в день воскресения мертвых, — сказал мексиканец.

— Нет у меня времени ждать столько времени, — сказал негр.

Большая стрелка вокзальных часов перескочила через минуту, отделявшую ее от восьми вечера. Поезд начал почти незаметно скользить в темноту.

— Прощай!

— Надолго ли расстаемся?

— До завтрашнего дня?

— Или до вчерашнего... — сказал негр, но слово «вчерашнего» заглушил долгий свисток локомотива...

Филомено вернулся на освещенную площадь, и ему вдруг показалось, что город невероятно постарел. На обветшалых стенах проступили морщины, трещины, расщелины, появились пятна плесени и древнего грибка, разъедающего непрочные творения человека. Колокольни, мозаики, купола и эмблемы, красующиеся на плакатах по всему белому свету, чтобы привлекать обладателей *traveller's cheques*¹, утратили из-за этих бесчисленных изображений волшебную силу святых мест, которые требуют, чтобы тот, кто хочет созерцать их воочию, преодолел в пути преграды и опасности. Казалось, будто уровень воды поднялся. Быстро проносились моторные лодки, бурлили мелкие, но упорные, неустанные волны, разбиваясь о сваи и деревянные столбы, на которых высились дома, кое-где обманчиво подновленные при помощи строительной косметики и пластических операций, произведенных рукой современного архитектора. Венеция как будто с каждым часом все глубже погружалась в мутные, взбаламученные воды. Глубокая печаль нависла этим вечером над больным дряхлеющим городом. Но Филомено не был печален. Никогда он не был печален. Сегодня вечером, через полчаса, состоится концерт — столь долгожданный концерт того, кто всех

¹ Аккредитивов (англ.).

призывает своей трубой, как бог Захарии, господь Исайи, или как велит самый радостный псалом Святого писания. И, зная, что ему предстоит выполнить еще немало задач там, где музыка подчиняется четкому ритму, Филомено легким шагом направился к концертному залу: афиши извещали, что через минуту зазвучит труба несравненного Луи Армстронга. И Филомено показалось, будто единственное, что осталось для него в этом свайном городе живым, современным, стремительным, летящим, словно стрела, в будущее, — был ритм, ритмы простейшие и вместе с тем полные глубокого смысла, существующие только здесь, на земле, и нигде более, ибо люди доказали — совсем недавно, конечно, — что в сферах есть только музыка самих сферических тел, однообразный контрапункт их круговращений, — ведь даже поднявшись на Луну, обожествленную в Египте, Шумере и Вавилонии, жители Земли с огорчением обнаружили там лишь свалку никчемных камней, звездную пыль и обломки других, летящих по более отдаленным орбитам светил, уже показанных нам в астрономических атласах и показавших, что наша иной раз довольно мерзкая Земля, в конце концов, не такое уж дерьмо и не так недостойна благодарности, как кое-кто утверждает — ведь что бы ни говорили, это самый жилой дом во всем мироздании, — а у проклятого и испорченного человека, которого нам не с кем сравнивать за неимением других людей в Солнечной системе (быть может, потому он и оказался избранником, ничто не доказывает противного), нет более высокой задачи, чем прийти к пониманию собственной жизни. Пусть ищет решения своих проблем в оружии Огуна или на путях Элегуа¹, в Ковчеге завета или в Изгнании торгующих из храма; в платоновском универсальном магазине идей и предметов потребления или в знаменитом «аргументе-пари» Паскаля и иже с ним, в слове или в спасательном канате — это уже его дело. Филомено пока что собирался решить их при помощи музыки земной, ибо музыка сфер его ничуть не волновала. Он показал свой ticket² у входа в театр, капельдинерша с невероятно толстым задом — негру все представлялось особенно явственным, почти осязаемым — проводила его на место, и под гром, поглощающий гром рукоплесканий и приветствий поя-

¹ Огун, Элегуа — божества афро-кубинского негритянского культа, духовные защитники человека.

² Билет (англ.).

вился чудодей Луи. И, поднеся трубу к губам, вдохновенно, как умел только он один, начал мелодию «Go down, Moses»¹, затем перешел к «Jonah and the Whale»², и звуки неслись из медного раструба к театральным небесам, где замерли в полете розовые музыканты ангельского хора, возможно, обаянные своим рождением светлой кисти Тьеполо. И снова Библия претворялась в ритм и жила между нами вместе с «Ezekiel and the Wheel»³, пока не вырвалась на простор в звуках «Hallelujah, hallelujah»⁴, которые неожиданно напомнили Филомено образ *Того* — Георга Фридриха *той ночи*; теперь он покоился под барочной статуей Рубильяка в большом мраморном приделе Вестминстерского аббатства рядом с Перселом, который тоже знал толк в грозных и торжествующих трубах. Но вот вслед за виртуозом заиграли новое произведение инструменты, собранные на сцене: саксофоны, кларнеты, контрабас, электрическая гитара, кубинские барабаны, мараки (а может, это и есть «типинагуа», упомянутые когда-то поэтом Бальбоа?), цимбалы, деревянные брусочки, постукивающие в руках музыканта, словно молотки по серебру, барабаны с приглушенным звуком, щетки, треугольники-систры и рояль с поднятой крышкой, который в давние времена, помнится, назывался как-то вроде «хорошо темперированный клавир».

«Пророк Даниил, тот, что многому научился в Халдее, рассказал об оркестре, который состоял из медных, цимбал, цитры, арф и самбук и, наверно, очень походил на этот», — подумал Филомено.

Но тут все инструменты, следуя за трубой Луи Армстронга, грянули энергичный *strike-up*⁵ ослепительных импровизаций на тему «I Can't Give You Anything But Love, Baby»⁶ — нового концерта барокко, к которому, как нежданное чудо, присоединился залетевший через слуховое окно звон часов: мавры отбивали время на Часовой башне.

Гавана — Париж, 1974

¹ «Сойди, Моисей» (англ.).

² «Иона и кит» (англ.).

³ «Иезекииль и колесо» (англ.).

⁴ «Аллилуйя» (англ.).

⁵ Начало (англ.).

⁶ «Я не могу тебе дать ничего, кроме любви, малютка» (англ.).

Очевидно, опера «Монтесума» Вивальди, который ввел американскую тему в театр за два года до того, как Рамо написал «Галантные Индии» из жизни совершенно фантастических инков, имела такой успех, что либретто Альвисе (другие называют его Джироламо) Джусти побудило написать оперу на тему завоевания Мексики еще двух известных итальянских композиторов: венецианца Бальдасаре Галуппи (1706—1785) и флорентинца Антонио Саккини (1730—1786).

Хочу выразить благодарность выдающемуся музыканту и пылкому вивальдисту Ролану де Конде, который навел меня на след «Монтесумы» маэстро Антонио.

Что же касается чарующей атмосферы приюта Скорбящей богоматери — его Катарини-корнета, Пьерини-скрипки, Лючети-виолы и так далее и так далее, — то о нем упоминают многие путешественники того времени, особенно восхитительный президент де Бросс, вольнодумец и друг Вивальди, в своих вольных «Итальянских письмах».

Должен предупредить, я описал не то здание, что существует сейчас, — построенное в 1745 году, — а старое, стоявшее на том же месте на набережной Скьявони. Любопытно, однако, отметить, что нынешняя церковь Скорбящей богоматери, верная своему музыкальному предназначению, сохраняет необычный для церкви вид концертного зала благодаря роскошным внутренним балконам, похожим на театральные, а также большой почетной ложе в центре, для именитых слушателей и знатных меломанов.

ВСЕМИРНЫЙ КОНЦЕРТ БАРОККО

Вышедшая первым изданием в 1974 году короткая повесть «Концерт барокко» занимает особое место в творчестве выдающегося писателя современности кубинца Алехо Карпентьера (1904—1980). Как никакое другое произведение, эта повесть концентрированно отразила все особенности творческого метода Карпентьера, упорно и целеустремленно размышлявшего о путях движения истории, культуры, о будущем мире, о судьбах своего континента — Латинской Америки. Достаточно вспомнить такие его романы, как «Царство земное» (1949), «Потерянные следы» (1953), «Век Просвещения» (1962). От перечисленных книг «Концерт барокко» отличается тем, что здесь художественное целое произведения организуется не развитием сюжета, как это обычно бывает в прозе, а философствующей мыслью. Если искусство — это мышление образами, то перед нами один из наиболее ярких образцов такого мышления. Образ стал здесь вместительным местом мысли, но при всей интеллектуальной насыщенности он не теряет своей художественной природы, а, напротив, приобретает особую поэтическую многозначность, которая как бы расширяет сферу действия философской идеи. Читатель «Концерта барокко» получает эстетическое наслаждение — что, собственно, и является естественной целью искусства, — и одновременно, расшифровывая образную сеть романа, оказывается вынужденным мобилизовать свои интеллектуальные ресурсы и знания об истории мировой культуры.

Но «Концерт барокко» — не только наиболее полное выражение особенностей творческого метода Алехо Карпентьера, это также наиболее законченное выражение его философских, культурологических взглядов. Многосмысловой значимости исполнено уже само заглавие романа, причем значимы оба слова, его образующие: концерт барокко...

В творчестве Алехо Карпентьера искусство слова и искусство музыки сплелись так же прочно, как были они сплетены в его таланте не только писателя, но и большого знатока мировой музыкальной культуры, музыковеда и тонкого музыкального критика. Не случайно некоторые его произведения, помимо «Концерта барокко», как, например, повесть «Погоня» (1956) или его последний роман «Весна священная» (1978), могут

быть поняты во всей полноте только при условии выявления роли музыкального начала в их композиции и образной структуре. Музыка для Карпентьера — это не только наиболее полное выражение той или иной исторической эпохи, того или иного народа, это также и то искусство, которое наиболее непосредственно связывает и сплавливает культуры разных эпох и разных континентов в единый концерт мировой культуры. Мысль Льва Толстого о том, что музыка является самым сильным средством единения людей, более чем близка представлениям Карпентьера.

С соединяющей, интегрирующей силой искусства связано и другое слово, входящее в заглавие романа, — барокко. Для того чтобы понять, какое содержание вкладывает в него писатель и почему именно этот термин занял важное место в его культурно-исторических взглядах, следует иметь в виду ту роль, которую сыграла эстетика барокко в становлении латиноамериканской культуры.

Эстетика барокко укоренилась в американских колониях Испании и Португалии в XVII веке, когда через столетие после начала завоевания европейцами новооткрытого континента на землях Америки в смешении традиций встретившихся здесь различных рас и народов уже начинали складываться основы новой, в будущем латиноамериканской культуры. И барокко, важнейшей чертой которого является гибкость принципов, великая способность к соединению, синтезированию далеких друг от друга и разнородных элементов в новое единство, стало важнейшим средством самовыражения зарождавшейся новой культуры, в которой сливались европейские, индейские и африканские истоки.

Однако, по мысли Карпентьера, значение барокко вовсе не ограничилось XVII веком, и в дальнейшем его принципы оставались ведущими в развитии молодой культуры на всех ее уровнях — от бытовой, народной, до высокой, профессиональной, точно так же, как главной задачей на всем пути становления латиноамериканской культуры оставалась задача синтеза исходных начал в новой гармонии. Таким образом, барокко для Карпентьера является как бы метафорой латиноамериканской культуры, которая, по его представлениям, является барочной в самой своей основе. И более того, согласно его взглядам, барочной по своей сути является и сама латиноамериканская действительность, отличающаяся исключительной жизненностью и разнообразием именно благодаря сплетению в ней самых различных и контрастных начал. Эти идеи Карпентьер излагал, например, в цикле лекций, прочитанных им уже на склоне лет в Венесуэле и вошедших в сборник «Смысл бытия» (Каракас, 1976). Существенную роль в возникновении его теории сыграли, очевидно, и имеющие общее хождение идеи «небарочности» искусства XX века, которые нашли особенно благоприятную почву именно в Латинской Америке.

В свете представлений Карпентьера о роли музыки и его теории барочности действительности и искусства Латинской Америки и следует

рассматривать «Концерт барокко», не только его философские, культурологические идеи, но и его форму, стиль, образность.

В самом деле, уже на первой странице Карпентьер дает нам почувствовать, что такое музыкальное начало в прозе, что такое барочный стиль. Прихотливо гибкая, подобно обвивающей лиане, повествовательная линия стремится охватить максимально большое число разнородных явлений, сплачивая их в как бы заново творимую картину бесконечно разнообразного бытия; меняющийся ритм повествования, неожиданные скачки сталкивают контрастные начала и сближают в единой динамике высокое и низкое; наконец, время, с которым во имя единства мысли писатель обращается совершенно вольно, словно превращается в свободную и пластичную стихию музыки...

Если выделить основные сюжетно-повествовательные моменты, то получается, что вся широчайшая панорама движения мировой культуры, представленная в повести, складывается из нескольких мало что значащих самих по себе эпизодов. Встречаемся мы с главными персонажами повести Хозяином, мексиканским креолом, предки которого — испанские конкистадоры, и его слугой — кубинским негром Филомено, в канун их поездки в Европу в первой трети XVIII века. Посетив Мадрид, они переезжают в Венецию, где становятся свидетелями и участниками карнавала. На карнавале они знакомятся с выдающимися композиторами и музыкантами: итальянскими маэстро Антонио Вивальди и Доменико Скарлатти, а также с немцем Генделем, вместе с ними продолжают карнавальное веселье, присутствуют на премьере оперы Вивальди «Монтесума», поставленной по либретто Джироламо Джусты, действительно состоявшейся в Венеции в 1733 году, а затем Хозяин и Филомено расстаются: первый уезжает в Америку, второй собирается продолжить путешествие. И все. Однако дело в том, что персонажи, о которых мы говорим, выступают не обычными реалистическими героями, а символическими обозначениями различных культур, и живут они в не обычном времени, а в «музыкальной» стихии «большого» времени, в *карнавале* мировой истории. Этот момент важно подчеркнуть.

Ведь после прибытия в Венецию Хозяин и Филомено попадают на карнавал, а карнавал — это особое состояние мира, особое мироощущение, создающее утопическую и фантастическую картину бытия, в котором отменяется не только иерархия высокого и низкого, но и прошлого, настоящего и будущего, и все может сосуществовать в едином времени карнавала, в вольной игре масок всех времен и народов. Карнавальная фантазматика отменяет хронологию и позволяет сблизить, столкнуть целые эпохи и пласты культуры, носителями которых и выступает каждый из персонажей, чтобы прочертить траекторию путей не только латиноамериканской культуры, что особенно занимает писателя, но и всемирной культуры. Размышления об истории культуры строятся словно по законам музыкального произведения, в котором вольно сочетаются реминисценции

из музыки разных времен и народов, свободно — назад, в прошлое, и вперед, в будущее — перемещаются культурно-исторические феномены, переплетаются ассоциации, намеки. Помимо Вивальди, Скарлатти, Генделя, не случайно всплывают здесь имена Игоря Стравинского, Рихарда Вагнера, испанского композитора XX века де Фальи (впрочем, двое последних не названы по имени), Луи Армстронга; не случайно, помимо имен великих Сервантеса или Шекспира, упоминаются здесь малые в общем потоке мировой культуры, но важные для культуры Латинской Америки имена кубинского поэта начала XVII века Сильвестре де Бальбоа, испанского историка, автора хроники о завоевании Мексики Антонио де Солиса и других.

История культуры предстает барочной, то есть сплавляющей в единое целое различные начала, симфонией, которая имеет несколько кульминаций. Собственно, в «Концерте барокко» происходит несколько барочных концертов, и каждый из них является как бы моделью историко-культурного процесса, отражая понимание Карпентьером пути развития латиноамериканской и мировой культуры.

Первый такой концерт предстает из рассказа негра Филомено. Он пересказывает хозяину перед путешествием в Европу содержание поэмы Сильвестре де Бальбоа «Зерцало терпения», герой которой, «доблестный креол» негр Сальвадор Голомон (Филомено считает его своим предком) поразил главаря французских пиратов, напавших на Кубу. Островитяне отметили победу «всемирным концертом», в котором объединились «музыканты Кастилии и Канарских островов, креолы и местные метисы, индейцы и негры», причем каждый из них участвовал в этом концерте со своими инструментами, внося в общую мелодию свои ритмы, свое особое звучание. Такова модель истории латиноамериканской барочной, смешанной культуры.

Следующий концерт барокко происходит в приюте Скорбящей богородицы на набережной Скъявони в Венеции, где в карнавальную ночь состоялось фантасмагорическое музыкальное действо с участием Вивальди, Скарлатти и Генделя. Впрочем, рисуя заведомо утопическую карнавальную картину, писатель не уходит вовсе от истории. Ведь Гендель действительно был знаком с Вивальди и довольно долгое время жил в Венеции, где написал и поставил ряд опер на античные мифологические и исторические сюжеты (в частности, упоминающиеся оперы «Альмира» и «Агриппина»); Гендель был знаком и с Доменико Скарлатти и действительно состязался с ним в музыкальном искусстве точно так же, как он состязается со Скарлатти и Вивальди в ночном фантасмагорическом «Концерто Гроссо». Все они предстают именно в тех ролях, которые исполняли в жизни: Вивальди — не только композитор, но и выдающийся скрипач, Гендель — замечательный органист, Скарлатти — клавесинист; наконец, и Вивальди, и Гендель были авторами такого типичного для XVIII века жанра светской музыки, как «Концерто Гроссо».

Однако главное в состязании музыкантов происходит потом, когда в соревнование вступает Филомено, который, используя принесенные с кухни горшки, скалки, ложки, начинает вводить те ритмы, которые полчат в будущем наименование афро-американской музыки. Так концерт европейских маэстро превращается в смешанный, барочный, концерт, в котором организующим началом неожиданно начинает выступать афро-американский дух музыки, обаянию которого уступают музыканты, и все действо выливается в конце концов в грандиозный хоровод, подозрительно напоминающий типичные для кубинских или бразильских карнавалов шествия, когда, извиваясь змеей, движется нескончаемая людская цепочка во главе с тамбурмажором, вооруженным фантастическим крутящимся фонарем на длинном шесте... как той ночью в приюте Скорбящей богоматери, когда хоровод европейских музыкантов возглавил Филомено...

Вхождение латиноамериканской культуры в культуру мировую всегда было одной из главных тем размышлений Карпентьера, искавшего способы связи с мировой панорамой тех специфических природных, этнических, культурных феноменов, что свойственны Латинской Америке. В конце 50-х годов в статье «Проблематика латиноамериканского романа» он даже разработал своего рода программу введения различных «контекстов» латиноамериканской действительности во всемирный контекст культуры. Именно это и происходит в «Концерто Гроссо», который Филомено превратил в концерт барокко, введя в его звучание афро-американские ритмы, заворотившие европейских музыкантов. Не случайно Филомено называет фантастическое ночное бдение музыкантов «jam session» — так, как станут называть в XX веке джазовые импровизации, которые музыканты разыгрывают для себя, в свое удовольствие...

Та же тема расширения панорамы мировой культуры продолжает развиваться и в споре музыкантов, писать ли оперы только на мифологические античные сюжеты, как это было принято, или обратиться к сюжетам из жизни других народов. Застрельщиком латиноамериканской темы в мировой музыкальной культуре выступает Антонио Вивальди, он собирается написать оперу на сюжет завоевания Мексики испанцами. Правда, пока музыканты не допускают возможности сделать главным героем негра, на что отважился только великий Шекспир...

Следующая сцена по законам карнавального мироощущения, которое сводит воедино начала жизни и смерти, происходит после разгульной ночи на кладбище. Здесь-то участники «jam session», устроившиеся пировать на могильных плитах, которые служат им столами, и обнаруживают на одной из них имя... Игоря Стравинского. Не случайно заглавием для своего последнего романа Алехо Карпентьер взял название известного балета Стравинского «Весна священная». Карпентьер очень высоко ценил композитора за всеотзывчивость и чуткость к музыке различных народов и считал его творчество еще одной моделью новой культуры, в которой

сливаются различные истоки. В этом же контексте упоминается и Рихард Вагнер. Он не назван по имени, но именно он имеется в виду в сцене, когда, расходясь с пирушки, музыканты встречают траурный кортеж, который отправляется на железнодорожную станцию, где пыхтит... старомодный паровоз. Рихард Вагнер действительно неожиданно скончался в Венеции в 1883 году.

Этот временной «выпад» из XVIII века в XIX—XX века предшествует эпизоду представления оперы Вивальди «Монтесума», сюжет которой оказывается чудовищной мешаниной действительных и выдуманных персонажей истории завоевания Мексики, искаженных до неузнаваемости реалий, богов ацтекского пантеона. Эта эклектическая мешанина, неизбежная поначалу на пути синтеза различных культур, однако, вызывает в мексиканце Хозяине не только ярость, но и другие чувства. Под воздействием увиденной им картины разгрома индейского мира завоевателями-европейцами он неожиданно начинает ощущать себя не только сторонником индейцев, но и более того — наследником их культуры. Происходит еще один синтез: казалось бы, навсегда погребенного прошлого и настоящего, синтез, который становится основой пробуждения специфического культурного самосознания латиноамериканцев.

Последняя главка имеет ключевое значение, во всей полноте проявляя мысль Карпентьера. Возвращаясь из театра, мексиканец размышляет о словах Вивальди, сказанных в ответ на его замечания о невероятности событий, изображенных в опере: в Америке все баснословно, все сказочно... И у нас на глазах развивается полемика Карпентьера с самими собой. В свое время, стремясь определить специфику латиноамериканской культуры, он утверждал, что главной отличительной ее чертой на фоне прозаической действительности Европы является то, что культура Латинской Америки зиждется на почве «чудесной реальности», сказочности, питаемой живым народным мифологическим сознанием, какое давно угасло в «старой» Европе. Однако теперь он расширяет понятие «чудесного», оно относится, размышляет мексиканец, не только к прошлому или современному, «иррациональному», но и к будущему: «всякое будущее сказочно»... Не только латиноамериканское, но и всеобщее будущее.

Писатель переходит от размышлений о путях латиноамериканской культуры к теме всеобщей, всечеловеческой культуры. Происходит новый скачок во времени. Его подготавливает рассуждение Филомено об оратории Генделя «Мессия», где он находит музыкальные фрагменты на библейские темы, столь похожие на... спиритизм американских негров, то есть на музыку, обретшую всеобщее признание в XX веке. Последний знаменательный разговор мексиканца и негра происходит уже на перроне железнодорожного вокзала у современного экспресса. В их разговоре, как в музыкальной стихии, возникают, пропадают, переходят один в другой мотивы, воссоздающие идейную, духовную ситуацию уже нашего времени, XX столетия, века революций и суровых альтернатив

в жизни человечества, вплотную подошедшего к необходимости разрешения коренных противоречий своей истории. Не случайно мексиканец и негр заговаривают о «конце» и о «начале» времен. Здесь сталкиваются две противоположные системы представлений о современности — тех, кто полагает наше время революционных сдвигов «концом времен», и тех, кто считает его «началом времен», началом принципиально нового этапа в истории человечества и нового этапа в развитии его культуры. «Начало» новых времен человечества неразрывно связывается в сознании Карпентьера с синтезом мировых культур. Именно в этом контексте следует рассматривать последний концерт барокко, на котором мы присутствуем вместе с Филомено, — фантастический концерт выдающегося певца и музыканта Луи Армстронга, представителя столь дорогой для Карпентьера афро-американской традиции, ассимилированной в XX веке мировой музыкальной культурой. Музыка современности, в которой сливаются древние и новейшие истоки, предстает «новым концертом барокко», моделью культуры «сказочного будущего», всеобщей культуры озоновавшего свое единство человечества.

Такова заключительная идея Карпентьера о путях развития мировой культуры, проникнутая гуманизмом и всечеловеческой широтой, идея, противостоящая как шпенглеровским¹ теориям о замкнутости национальных культур, так и апокалипсическим прогнозам о судьбе человечества. Важно и то, что представления Карпентьера о путях развития латиноамериканской и мировой культуры — плод не только его индивидуальной мысли. Размышления Карпентьера концентрируют те общие идеи, которыми живет сегодня большое латиноамериканское искусство, устремленное в будущее. Важно для нас и то, что современная латиноамериканская литература уверенно наследует и развивает в современных условиях идеи всемирности культуры человечества, которые утверждали Гете, Достоевский, а особенно Толстой, возлагавший на искусство миссию «братского единения людей»².

В. Земсков

¹ Шпенглер Освальд (1880—1936) — немецкий философ-идеалист. Развил учение о культуре как множестве замкнутых организмов, выражающих коллективную «душу» народа.

² Л. Н. Толстой. О литературе. М., 1955, с. 484.

Хоакин Гутьеррес

(Род. в 1918 г.)

Коста-Рика

Хоакин Гутьеррес родился в 1918 году в городе Пуэрто-Лимон. Многие годы его жизни прошли в Чили, здесь же вышла и первая книга Гутьерреса — «Кокори», получившая первую премию за произведения детской литературы. В качестве корреспондента центрального органа Коммунистической партии Чили газеты «Сигло» Гутьеррес работал в ряде социалистических стран, в годы Народного единства возглавлял издательство Коммунистической партии Чили «Киманту».

Является автором романов «Мангровые заросли» (1947), «Пуэрто-Лимон» (1950), «Посмотрим друг на друга, Федерико» (1973).

Хоакин Гутьеррес — видный представитель революционной литературы Латинской Америки. Публикуемый роман «Ты помнишь, брат» (Гавана, «Каса де лас Америкас», 1978) был удостоен первой премии конкурса «Каса де лас Америкас» на Кубе (1978). В основу романа, в котором воссоздаются эпизоды борьбы чилийского народа против диктатуры Гонсалеса Виделы в 40—50-е годы, положены автобиографические события. Важное место в романе занимает тема писательского труда и становления новой латиноамериканской литературы.

© Joaquín Gutiérrez. Te acordás, hermano, La Habana, «Casa de las Americas», 1978.

ТЫ ПОМНИШЬ, БРАТ

Дону Америго, Хосе Мигелю Варасу, Освальдо Саласу, Панчо, Фауно, Терремото, Амалии и Умберто, чилийцам; Черному Мехиа, венесуэльцу; Оски, аргентинцу; эквадорцам Родриго Кабесасу и Хорхе Энрике Адоуму и бразильцу Освальдо Альвесу

В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

Владимир Маяковский, «Сергею Есенину»

ГЛАВА I

Я открыл дверь, комната была наполнена дымом, таким густым, горьким и едким, что слезы потекли у меня из глаз. Я поспешно открыл балконную дверь — пусть осенний

ветер очистит воздух. Обернувшись, я увидел совершенно незнакомого человека, сидевшего на моей кровати. Ноги его не доставали до полу. Человек глядел на меня и силился улыбнуться. Черт возьми! Сказать просто, что он был безобразен — этого мало; нечто невообразимое, с обычным безобразием даже и сравнить нельзя. Я сел в кресло и принялся его разглядывать.

— Как вы вошли?

— Просто. Не заперто.

Он говорил, не вынимая изо рта трубки, трубка была темная, ореховая; треснувший черенок заклеен пластырем. Словно из горна, валили из его рта клубы зловонного дыма.

— Ты Педро Игнасио, поэт? — Он потер кулаком глаз. Рука — будто сморщенная куриная лапка.

Ах, вот как, он знает, как меня зовут, и даже говорит со мной на ты!

— Я не поэт, — отвечал я сухо.

— А что же ты, рассказы мараешь?

— Иногда.

— Ну, значит, верно, мне так и говорили. — Он неуверенно улыбнулся и снова потер глаз.

— Я затем и пришел, прочти что-нибудь. — Человек согнул пополам подушку, прямо в грязных ботинках улегся на мою постель; хотя, конечно, если говорить правду, постель тоже не слишком чистая. Он ждал, глядел в потолок.

— А кто ты такой, чем дышишь?

— Я? — Он ткнул себя большим пальцем в грудь. — Я — Маркиз.

Наконец-то я понял, почему он производит такое странное впечатление: очень уж необыкновенное лицо — лоб круглый, выпуклый, ноздри — словно пещеры, того и гляди вылетит оттуда стая летучих мышей, волосы густые, стоят дыбом, словно какие-то заросли.

— Маркиз — владетель Отмычки? Или Вонючей Трубки?

— Нет. — Наглый и уклончивый, он по-прежнему глядел в потолок. — Просто Маркиз, и больше ничего. Знаешь, табак у тебя очень хороший.

— Что такое?

— Табак, говорю.

— Какой табак?

— Ну вот этот же, парень, этот.

— Да какой же, скажи, какой?

— Этот, не видишь, что ли, который наверху.

Он указал на бумажный пакет, заброшенный на шкаф. Но там в пакете был вовсе не табак. Там было мате, давным-давно высохшее, забытое кем-то из прежних жильцов.

— Ну, хорошо, пусть будет так, как ты говоришь, только очень уж хорош. И хватит тебе на меня фыркать. Ты должен радоваться, что кто-то интересуется твоими рассказами.

— Ну, что ж, может, и так.

— А что? Ты уже нашел издателя? Тебя согласились печатать в «Лосаде»?

Я послал его куда подальше. Он нахмурился:

— Нет, моя радость, напрасно ты пренебрегаешь.

— Чем?

— А моими критическими замечаниями. И хватит кривляться, давай начинай. Мне все равно, что ты будешь читать. Конечно, лучше что-нибудь покороче, это уж обязательно.

Сам не знаю почему и как, может, зашевелился во мне червь тщеславия или другая тут причина, а только я стал читать. И после каждого абзаца косился краем глаза на Маркиза. Трудно было понять, слушает он или нет, лежит неподвижно, рассеянно глядит в потолок да трубку посасывает, втягивая небритые щеки.

Вдруг он резко вскочил:

— Нет, так нельзя, ни за что. Чепуха какая!

— Что нельзя?

— Ну как же ты не понимаешь! — Он кричал скрипучим жестяным голосом, бурно размахивал руками.

— Что я такое должен понимать, черт бы тебя взял со всеми потрохами?

Он немного успокоился:

— Ну-ка, прочти еще раз последний абзац. И не волнуйся. Я же тебе глаза не выцарапаю.

— Это ты не волнуйся. Верещишь, будто родить собрался.

— Неправда. Я не верещу. Просто немного нервничаю, это я могу признать. Потому что литература для меня... — Он сплюнул на пол. — Ну да ладно. Прочти еще раз последний абзац. Я тебя уже просил, а теперь просто умоляю. — Он собрал губы в куриную гузку.

— Тебе в самом деле интересно?

— Совершенно серьезно. На коленях молю.

Хотелось схватить его за шиворот, надавать пинков и вышвырнуть за дверь. Я пристально смотрел ему в лицо. Он выдержал мой взгляд не мигая, чуть прищулив большие зеленые глаза. И я снова сдался, черт знает почему. Бывает же такое с человеком! Может, мне самому хотелось себя послушать.

Чтобы дать выход своему гневу, герой моего рассказа отправляется с ружьем в дубовую рощу, куда слетаются к вечеру серые цапли. Гремит выстрел — и «пять цапель упали на землю».

— Вот видишь? Я был прав. Не могут они упасть. — Теперь он улыбался совсем по-детски, обнажая мелкие, в пятнах никотина зубы.

— Ну как же им не упасть, если каждой досталось по дробинке? Ангелы они неуязвимые, что ли, эти дерьмовые цапли?

— Не ангелы и не архангелы, а упасть не могут.

— Ну, тогда я ничего не понимаю.

— Сейчас объясню, не спеши. — Маркиз стал искать спички. У меня их тоже не оказалось. Он выбил трубку о стену и снова улегся, подсунув под голову сложенную подушку. — Слушай меня внимательно: упасть — глагол пошлый, тусклый. Он совершенно не выражает всей драматичности момента. Ты забываешь, что герой-то твой разъярен, поэтому цапли никоим образом не могут просто-напросто упасть.

— Что же они тогда, спланировали?

Он вскочил, принялся нервно расхаживать по комнате.

— Шлепнулись! — вскричал он вдруг торжествующе. — Конечно! Эти цапли шлепнулись! Все живое шлепается — ветка, рука. Они же тоже живые, и этот твой подлец со злости их подстрелил, вот они и шлепнулись. Понял ты наконец?

Я колебался. Может быть и так. Может быть. Я чувствовал, что урок этот следует хорошенько разжевать, тогда, вероятно, из него можно будет многое извлечь. Не ожидая просьбы, я принялся читать дальше. Хотя, конечно, сделал вид, будто мне не слишком-то хочется. Не успел я прочесть и полстраницы, как Маркиз снова перебил меня:

— Постой-ка. Послушай. Послушай! Чтобы написать рассказ, человеку — тебе, мне, Чехову, кому угодно — надо не больше трех или четырех тысяч слов. Больше нельзя. И вот с помощью этой крошечной кучки слов ты должен создать живых людей, развить интригу, поселить

своих персонажей в определенную среду, да вдобавок еще сделать так, чтоб у читателя сердце сжалось.

Он снова сплюнул на пол.

— Читатель, может быть, прочтет твой рассказ в парикмахерской или сидя перед сном в уборной, и все-таки надо, чтобы он не забывал прочитанное, чтоб помнил хотя бы один день или год. Или тысячу лет, если ты гений. Вот почему писатель не может позволить себе роскошь потратить даром, кинуть на ветер хотя бы одно только слово. Каждое слово у тебя должно быть будто из бархата или из змеиной кожи. Оно дрожит, оно ревет или шелестит. Вдобавок надо, чтобы слова жили между собой в ладу, как пчелы в улье; пусть они любят друг друга, пусть целуются, пусть сгорают в огне страсти. Ты меня слушаешь? Только так ты сможешь зажечь огонь и в сердце читателя, оставить на нем зарубку навеки, задеть его за живое, покорить!

Зеленые глаза Маркиза сверкали. Сам не знаю как, я ощутил вдруг, насколько он выше меня. И хуже всего то, что я сам это понимаю.

— А кроме того,— Маркиз все еще шагал из угла в угол,— за каждым словом стоит на страже сама жизнь. И читатель всегда так или иначе чувствует это, ощущает в твоих словах трепет живой жизни. Тебе ясно? Ты понял? Ну, дай-то бог. Дай-то бог, потому что есть сколько угодно таких болванов, которые пятьдесят лет занимаются писательством, а потом помирают, так и не поняв этого. Но ты мне лучше вот что скажи: есть тут ванная?

— Да, да, конечно есть.

— Где?

— В конце коридора. А зачем тебе?

— Хочу принять душ. Я уже провонял весь. В моем пансионе нет горячей воды, а мыться талым снегом ничем меня не заставишь.

— Но здесь за горячую воду берут отдельную плату.

— Брось, не жадничай. — Без лишних слов он разделся прямо посреди комнаты, достал из шкафа мой купальный халат и домашние туфли; облаченный в халат, волочившийся по полу, будто кардинальская мантия, с достоинством проследовал по коридору в ванную.

Я был озадачен и заинтригован. Что за чудище, черт побери? В самом деле он такой или все это розыгрыш? Кому могло прийти в голову так меня разыгрывать? Что ему от меня нужно?

По акценту я догадался, что Маркиз венесуэлец. У нас

в тропиках водятся такого рода птицы — блестящие, искрящиеся талантом, эфемерные, как бенгальский огонь. Умелые импровизаторы, остроумные пародисты, они ловко сыплют цитатами из самых различных авторов, и никто даже не заподозрит их в плагиате; вот и Маркиз такой же — фокусник, может на потеху публике вынуть из вазы бабочку или ягуара; да, конечно, просто ярмарочный шарлатан, но, черт побери, случается, что такой тип оказывается вдруг Рубеном Дарио¹ и выводит на поле боя четыре сотни малахитовых своих слонов и разбивает всех врагов наголову.

Хотелось собраться с мыслями, понять, восхищен ли я или преисполнен отвращения, а на худой конец избавиться хоть от вонючего дыма, который все еще клубился по углам комнаты. Я вышел на балкон.

О, угол, где скрещиваются улицы Бандера и Сан-Пабло! Как все здесь фантастично, театрально, и каждый день свершаются на этой сцене немыслимые чудеса, выступают невиданные уродцы! Что за суматоха, что за ошеломляющее кипение жизни!

Ранним утром спешат за хлебом работницы, детишки, волоча ранцы, бегут в школу. Потом являются застегнутые на все пуговицы чиновники. Эти боятся всего на свете: боятся опоздать, боятся, что они боятся, боятся, что это кто-то заметит и из них будут еще больше выжимать соки. Следом за чиновниками мелко семят богомолки, плетутся в собор, уродливые до святости девы Марии приходского масштаба. Дальше тянутся один за другим, будто цепочка муравьев: плотник тащит завернутую в газеты ножовку, швея толкает перед собой швейную машину, жених несет кольцо, парикмахер — ножницы, вдова — жалкие свои украшения, студент — словарь. Все озабочены, все подсчитывают да рассчитывают, сколько сентаво дадут им за все это добро; там, в переулке, стоит здание, облицованное гранитом, с забранными решетками окнами — ломбард.

В полдень поезда изрыгают толпы крестьян с юга, их вышвырнули из латифундий, на каждом — почерневшее от дождей сомбреро, у каждого — фанерный чемодан да плетеная ивовая корзинка, и у всех на бечевке, обвязанной вокруг запястья, непременно висит вниз головой пара кур. Сантьяго ширится, и все они в конце концов отыщут

¹ Рубен Дарио (1867—1916) — крупнейший никарагуанский поэт, прозаик и публицист.

пристанище в городском хаосе, кто в битком набитом многоквартирном доме, кто в растущих словно грибы домишках предместий. Будут кормиться супом из костей, фасолью, луком. Потом устроятся на работу, пойдут на любую, за любую плату. Вступят в профсоюз; купят в расщелку дешевенький приемник... За приезжими, будто акулы за косяком рыбы, идут всякие ловкачи, аферисты, мошенники, карманники. Постовой на углу смотрит на них, помахивает жезлом. Но не трогает. Какое ему дело?

Незадолго до трех проститутки, кислые, сонные, отправляются на дневной сеанс в кинотеатр «Сантьяго» смотреть новую мексиканскую мелодраму и плакать от всей души. Так приятно поплакать в темноте, всем вместе, дружно, невинно!

Медленно разливаются лиловые нежные сумерки. Зажигаются неоновые рекламы «Эль Хоте», «Эль Цеппелина» и других кабаре; появляются наркоманы в мятых брюках — они ведь спят не раздеваясь — зыбкие, смутные фигуры. Около полуночи проходит компания маменькиных сынков с туго набитыми карманами, эх, как они будут веселиться, кутить вовсю. Через час те же сопляки, хныкающая, плетутся назад: бандиты отобрали у них кольца, деньги, раздели, спасибо хоть трусы оставили.

Светает. И снова — запах свежего, только что вынутого из печи хлеба, детишки в сползающих чулках бегут в школу...

Вот откуда явился мой гость, с этих улиц, из этого варева, где кипят страсти и мечутся уродцы. И я просто уверен, что так же неожиданно он и исчезнет — скроется, окутанная дымом, смешная его голова, растворится мой гномик во тьме, замешается в компанию гуляк, что, здорово хлебнувши, шагают по середине мостовой и горланят «Камбалаче».

Так, значит, он уйдет? Да. Так же, как пришел. Неожиданный, странный, хвастливый, исчезнет, не оставив следа.

И все-таки что-то мне говорило: нет, не из тех он, что шипят да путаются под ногами, будто испуганная кошка при виде собачьей драки. Случайную эту встречу ты будешь помнить всю жизнь, она останется без видимой причины, сама собой, как остаются кольца на древесине. Пройдут годы, и напрасно будешь ты стараться вырвать ее из памяти, это все равно что вырывать тот крошечный нерв, который находится у тебя в зубе, совсем малюсенький, да,

правда, но мысль о нем доводит тебя до сумасшествия, и, может статься, именно благодаря своему сумасшествию ты сумеешь пройти достойно через дни, когда все валится из рук и ты жалок, как мокрая курица.

И как он может, спрашивал я себя, так здорово соотносить этой своей башкой, словно поросшей густыми зарослями? А ведь он и в самом деле соотношает, проклятый, и, как ни противно мне это признавать, очень даже толково. Да, конечно, конечно же цапли шлепнулись. И, вспоминая замечание Маркиза, такое простое, кристально ясное, я страстно желал лишь одного: пусть он уйдет как можно скорее, чтобы мне подумать, пересмотреть заново свою работу. Я проверю каждое определение, каждый глагол, каждую самую паршивую запятую. Чтоб он лопнул, окаennyй!

Послышались шаги, Маркиз возвращается. Причесанный, напмаженный, весь сияет и, кажется, чувствует себя красавцем. Откуда он раздобыл расческу и бриалин? Молча швырнул в шкаф мои домашние туфли, выбрал из двух моих рубашек лучшую, сказал, показывая свою, грязную, засаленную: «Мы с тобой поменяемся. Ты ее отдашь постирать, она же марки «Эрроу», не то что твоя — марки «Барахло». Надел рубашку, застегнул на все пуговицы; довольный, погладил себя по груди; потом напялил пиджак, пальто и снова улегся на кровать.

Читать еще я не согласился. Не испытываю ни малейшего желания.

— В чем дело? Ты обиделся?

— Нет, нет.

— Ты уверен, что нет?

— Уверен. Хочу еще выправить немного.

— Только немного?

— Ну, ладно, старик, много.

— Вот это мне больше нравится. One per cent inspiration¹, а девяносто девять надо выдавить из себя трудом. Но ты все-таки расскажи хоть, чем там кончается. Этот тип женится у тебя на Кете?

— Не знаю. Может быть, я еще не решил.

— Ну так я тебе скажу — даже и не думай. Учти, что в глубине души он хочет только одного — овладеть ею, прижать, и только. А потом — прости-прощай, не скучай, как говорят у вас в Чили. Спроси у него, сам увидишь.

¹ Один процент от вдохновения (англ.).

— Да, да. Да! — Я с трудом сдерживал свой гнев. Маркиз заметил наконец, в каком я состоянии.

— С другой стороны, это, конечно, дело твое. А я, пожалуй, пойду. Вдобавок у тебя спичек нет.

Он преспокойно взял пакет с мате, попрощался весьма странно — пошевелил пальцами где-то у себя под подбородком — и вышел, насвистывая, не позаботившись даже прикрыть за собой дверь.

ГЛАВА II

Прошло несколько недель; я немного успокоился и решил выбрать свободную минутку и повидаться со студентами-латиноамериканцами; я любил встречаться с ними, хоть изредка; собирались мы обычно в Ла-Пуньяладе или в Лос-Порталес, а иногда в немецком баре, где подавали молодое пиво и свинину с sauer Kraut ¹, на худой же конец, когда финансы, как говорится, поют романсы, шли в «Блэкэн-уайт» ² есть тощий бифштекс да слушать танго в исполнении сильно истрепанной соперницы Либертад Ламарк. В этот притон студент заходил после или перед тем, как встретиться с возлюбленной, что служит в фирме, торгующей содовой водой, или чтобы доделать задание по тригонометрии, коммерческому делу, по латыни и лишь в том случае, если на почту уже наведывался и убедился, что денежный перевод от министерства или от папы еще не получен. Здесь можно было увидеть и уроженца Никарагуа, в чьей душе навеки запечатлен образ Сандино; ³ и костариканца — с виду он тихий, но попробуйте завести его немного — как с цепи сорвется, начнет толковать про недавнюю гражданскую войну, а что к чему — черт ногу сломит, ни пойми, ни разбери; и эквадорца, что говорит то ли с негодованием, то ли с тоской: «Десять тысяч индейцев у моего папы, и все работают на него»; венесуэлец же обязательно либо ромулист, либо антиромулист ⁴, можно поду-

¹ Кислая (квашеная) капуста (нем.).

² «Блэкэн-уайт» — искаж. англ. «Black and White» («Черное и белое»).

³ Сандино Аугусто Сесар (1895—1934) — национальный герой Никарагуа. Возглавил борьбу против американских захватчиков (1926—1933).

⁴ Ромуло Бетанкур (р. 1908) — президент Венесуэлы в 1945—1948 и в 1959—1964 гг. Основатель буржуазно-демократической партии «Демократическое действие» (1941).

мать, будто вся философия двадцатого века призвана решать одну-единственную, самую важную для человечества проблему — относиться ли к этому подонку с ненавистью или с восторгом; тут встретите вы и боливиийца, и исполненного музыки и трагизма парагвайца.

Я любил общаться с ними, любил ощущать рядом с собой прекрасное израненное тело нашей Америки, заглядывать в этот волшебный котел, где смешались все расы мира; любил слушать рассказы о Сесаре Вальехо ¹ и Хосе де ла Куадра ², о Кармен Лири ³ и Саларруэ ⁴, об индейском племени отавалов, об Имбабуре, о жизни, если только это можно назвать жизнью, собирателей каучука, искателей изумрудов, пеонов банановых и какаовых плантаций, работников табачных фабрик, ловцов акул.

Бурные, шумные наши студенты ходили на обитателей Латинского квартала, он словно расширился от Сены до Мачопо, от собора Нотр-Дам до Посада-дель-Коррехидор.

Они приехали сюда, в славное Чили Народного фронта, чтобы учиться в знаменитом университете Бельо ⁵; кого привлекло то, что за доллар много песо дают, кого — дешевое (три бутылки на доллар) вино; были и такие, что спасались от преследований, которым подвергались у себя на родине, бежали от зверей-полковников; а некоторым не пришлось учиться дома потому, что университет закрыли за распространение революционных идей.

Мы, чилийцы, относились к ним по большей части с опаской; девушки, впрочем, их меньше остерегались. У мулатов, сам знаешь, кровь горячая, опять же экзотика привлекает, да к тому же они неутомимы в ухаживаниях, щедры и почтительны. И все же приезжие латиноамериканцы жили особняком, уединенно, как на острове, хотя магическое очарование Чили постепенно проникало в их сердца, и много лет спустя, возвратясь в родные края, они

¹ Вальехо Сесар (1892—1938) — выдающийся перуанский писатель и поэт.

² Хосе де ла Куадра (1904—1941) — эквадорский писатель.

³ Кармен Лири (1888—1949) — костариканская писательница.

⁴ Саларруэ (настоящее имя Саласар Арруэ, Сальвадор; р. 1899) — сальвадорский писатель.

⁵ Бельо Андрес (1781—1865) — венесуэльский просветитель, писатель, ученый и государственный деятель, друг и учитель Боливара. С 1829 г. жил в Чили. Основатель и первый ректор Чилийского университета в Сантьяго (1842).

каждый год праздновали Восемнадцатое число¹, ели пироги с мясом и плясали куэку².

На этот раз я пришел, чтобы разузнать побольше о Маркизе. Словно кость засел он у меня в горле — ни проглотить, ни выплюнуть. Кто он такой, что таит на душе, если только есть у него душа; каким ветром прибило его к нашим берегам; что пишет, и есть ли толк в его писаниях.

Маркиза знали все, и тем не менее мало что прояснилось. «Веселый малый», «Отчаянный, все на карту поставит», «Живой как ртуть», «Пишет мудрено, стиль слишком уж изощренный».

«Он член партии «Демократического действия»?» — «Нет, вовсе нет». — «Говорят, Ромуло Гальегос считает, что из писателей нашего поколения он подает больше всех надежд». — «А на какие средства существует?» — «Загадка». — «Нет, я точно знаю: дипломные работы пишет студентам педагогического института». — «А рассказы свои не печатает?» — «Несколько лет назад опубликовал книжечку». — «Не верю, он не способен даже на это». — «Нет, правда, я сам видел экземпляр, весь залитый вином, конечно».

Алькантара получил только что денежный перевод и потому заказал еще четыре бутылки, но Лучито Фебрес прикрыл свой стакан ладонью: «Не могу больше, завтра экзамен по гистологии, зверский».

А я все не отставал: «Слушай, а Маркиз талантливый?» — «Ни капельки». — «Просто любит удивлять публику». — «Словами жонглирует». — «Схватит тебя за лацканы — и никак от него не отделаешься». — «В один прекрасный день возьмет да и повесится, найдут в ванной». — «Короче говоря — что-то из «Расёмона»³.

Ньято Кастро скоро должен был получить диплом врача-психиатра и потому заявил, что Маркиз — шизофреник, причем шизофрения его проявляется в форме гебефренической.

«А что это такое?» — «Признаки повышенной нервозности, склонность к галлюцинациям, состояние тревоги, меланхолия». Другие студенты-медики стали доказывать, что нет, это скорее гебоидофреническая форма, голоса

¹ Восемнадцатое число — национальный праздник Чили, 18 сентября, День независимости.

² Куэка — народный танец.

³ «Расёмон» («Ворота») — известный японский фильм (1950 г.) режиссера Акиро Куросава.

разделились, со всех сторон сыпались ученые слова, мы заскучали, однако никто не уходил, сидели и пили, как нанятые:

И тут я увидел Маркиза. Он выглядывал из-за бутылки. Потом сел посреди стола, крошечный, словно гном, улыбнулся беспомощно, обмакнул мизинец в стакан, стал сосать, словно ребенок карамельку. Я затряс головой. Маркиз взобрался на плечо Кике, потом спрыгнул на пол и исчез наконец, на мое счастье.

Стало страшно. Вижу я, конечно, не подал, а то зачислят, пожалуй, в какую-нибудь еще худшую категорию психов. Я боялся, как бы не начался у меня тик или что-либо подобное, и поскорей осушил до дна стакан, а за ним — еще один, может быть, лучше будет, клин клином вышибают, как говаривал мой дедушка.

Медицинский разговор все топтался на одном и том же, заело, будто старую пластинку, толку не выходило никакого. Оливарес был непонятен всем, так же как и мне, его «поступаю, как мне на ум взбредет» выглядело таинственно. Ах да, забыл: фамилию Маркиза выяснить удалось — Оливарес.

Фебрес все бормотал про зверский экзамен по гистологии, пока его не стошнило. Пришлось дать ему крепкого кофе и двойную порцию водки из Писко, тут он вроде бы пришел в себя, по крайней мере хоть глаза перестал закатывать. Разговор увял, оживление погасло. Черный Угол, как подобает истинному мулату, взбесился из-за какого-то пустяка, начал яростно рвать свои курчавые волосы. Этот и другие признаки предвещали неприятный финал пиршества, и, когда Лучо снова стал твердить, что надо идти, я вызвался проводить его. Тем более что Лучо был плох и еле стоял на ногах, а уличные грабители, без всякого сомнения, не захотят упустить такой случай.

Мы вышли на свежий воздух. Лучо брел, хватаясь за стены, и постепенно трезвел. Он потребовал, чтобы я остался ночевать, сказал, что постелит мне на софе, и поставил чайник. Лучо горячо веровал в чай. Однажды он прочел какую-то книгу о чае, то ли Окакусо, то ли Каракуро, и на всю жизнь уверовал в оздоровительные его свойства; кроме того, он старался соблюдать чайную церемонию и даже находил ее поэтичной. Все это очень характерно для Лучо. И мы пили одну чашку за другой. Лучо держал во рту кусочек сахара и, втягивая щеки, сосал через него чай, так делали славяне еще тысячу лет тому назад, уверял он меня.

В конце концов чай взбудрил Лучо. Он забыл об экзамене и стал ставить пластинки: «Грустный вальс», «К Элизе» и прочие трогательности, а на закуску — анданте кантабиле, тут уж оставалось только залиться горячими слезами, тем более после такой солидной дозы спиртного. И вдруг Лучо, продолжая еще икать, спросил, почему меня так интересует Маркиз.

— Он явился ни с того ни с сего ко мне в пансион, и с тех пор мне как-то не по себе. Что-то в нем есть темное, скрытое.

— Но он не гомосексуалист.

— Нет, я вижу, что нет.

— А что тебе хочется о нем узнать?

— Все. Для начала — откуда у него такое прозвище.

— Это не прозвище.

— Сейчас ты скажешь, что он и в самом деле маркиз.

— Нет, но титул он заслужил. А часто он к тебе заходит?

— Не очень. Приходит и просит, чтоб я почитал ему свои сочинения; прекрасный способ войти в доверие, я это очень хорошо понимаю.

— А о чем он с тобой разговаривает, кроме литературы?

— Я смотрю, ты ему тоже не слишком-то доверяешь...

— Ну уж так прямо — не доверяю. Я им восхищаюсь, но только...

— Можешь успокоиться. Чего нет, того нет: ни одного подозрительного вопроса я от него не слышал.

Лучо поднялся, отправился на кухню заварить еще чаю. Я высунулся в окно. Деревья в парке Форесталь уже облетели, прямо перед окном гордо высилась паблония. Вокруг — ни души. Парк дремал, нагой и прекрасный, словно женщина. Лишь в одном месте шевелились-качались кусты. Любовь нищих. Бедная храбрая любовь — на улице два градуса ниже нуля.

Лучито не хочет смотреть в окно. Он снова пьет чай и слушает музыку. Теперь другой набор — «Вечер в Гранаде» и тому подобное, я же рассматриваю книги. У Лучо очень много книг, просто горы, книги лежат даже под кроватью. Медицина и марксизм. И тут же — вот так гадкий утенок! — Амадо Нерво¹, том из полного собрания стихотворений, кожаный, тисненый золотом переплет. На стене — карта Кореи, Лучо отмечает передвижение войск

¹ Амадо Нерво (1870—1919) — мексиканский поэт, писатель, журналист.

разноцветными булавками, над камином — огромная репродукция Диего де Риверы — Сапата¹ на белом коне.

— Мы никогда не говорили с тобой всерьез, Лучито. — Я перелистываю томик Нерво. — Но мне кажется, я знаю о тебе все, что надо. — Я обернулся, взглянул на Лучо. Он улыбался.

Время было тяжелое, и мы твердо усвоили — не задавать лишних вопросов. Но о Лучо я, кажется, знал все. И он тоже все знал обо мне. Потому-то и предложил мне переночевать у него на софе. Мы доверяли друг другу, только и всего.

— Но не подумай, что он может продать.

— Кто?

— Да Маркиз же.

— А! Да нет, мне и в голову не приходило. — Я сделал вид, будто вовсе и не сомневался. — Меня ведь что занимает, — продолжал я поспешно, — у него редкое литературное дарование. Представь себе: заставил меня читать рассказ — и вдруг прерывает и повторяет весь рассказ наизусть, только по-другому, в стиле Хемингуэя, да так чисто, так здорово, тут же, на месте, экспромтом. Просто невероятно! Мало этого — взял и повторил тот же рассказ еще раз, но уже в стиле Конрада.

— Я вот тебя слушаю, все равно как по-китайски ты говоришь. Я же все эти ерундовины не читаю. Только Нерво и «Двадцать стихотворений»². Но все-таки, кажется, понял, о чем речь.

— Ну, вот, и это меня, конечно, заинтриговало. Такой талант у человека, а он — никто!

— Не хочу хвастаться, но у нас в Венесуэле таких типов сколько хочешь.

— Да ну, не трепись. Тут какая-то тайна. Расскажи-ка о нем все, что знаешь.

И тут выяснилось, что Лучито знает больше, чем все остальные, вместе взятые.

Последние годы существования диктатуры Хуана Висенте Гомеса³. Стоял над Венесуэлой. На столбах

¹ Сапата Эмилиано (1879—1919) — руководитель крестьянского движения в Мексиканской революции 1910—1917 гг.

² «Двадцать стихотворений о любви и одна песня отчаяния» — одно из наиболее популярных произведений Пабло Неруды.

³ Хуан Висенте Гомес (1859—1935) — президент Венесуэлы (1903—1935).

вдоль дорог качались повешенные. Рано, до темноты, заперты все двери. Люди говорят шепотом, намеками. Где-то слышатся редкие выстрелы. Огромная гадина, грязная, липкая, проникает всюду, в каждую щель, и мерзкие черви — ее порождения, шпики и доносчики, наводняют страну.

Оливарес, недавно начавший работать в одной каракасской вечерней газете, вздумал как-то раз процитировать несколько строк из прозы Рубена Дарио о золоте, о презренном губительном металле. «Смотри, пропадешь ни за что ни про что», — предостерег его какой-то приятель. Но Оливарес не обратил внимания на эти слова. Той же ночью Оливареса забрали.

Удар ногой в бедро — так начался допрос.

— Я уже говорил вам, сержант, — Оливарес потерял ногу, — что это написал не я. Это написал великий никарагуанский поэт.

— Какие там еще, к дьяволу, поэты из Никарагуа! Ты это написал, хотел пакость сделать нашему генералу.

Снова удар ногой, сержант метил в пах, но, к счастью, попал по колену. До сей поры болит у Оливареса нога, мениск.

Издатель газеты сумел как-то увернуться. В посольстве Никарагуа сказали, что их великий поэт не мог написать подобное безобразие. Адвокат, которого наняла было Оливаресу газета («Но только чтоб ни один человек не знал, понял?»), отказался от защиты. Все, кто мог бы помочь Оливаресу, либо сами сидели в тюрьме, либо были сосланы. И все-таки он дешево отделался — всего лишь два года каторги в штате Мерида; голое ледяное плоскогорье в Андах, четыре тысячи метров над уровнем моря, северный ветер, град.

И вот тянется длинная цепочка. Оливарес шагает вместе с сотней других несчастных: кого приговорили за угон скота, кого — за изнасилование, были и такие, что пытались организовать борьбу рабочих-нефтяников, были и отцеубийцы, и такие, что бросали листовки, а один негр отбывал каторгу за страсть к пиротехническим эффектам — взял да и спалил четыре квартала в Баркисимето, сам не зная зачем. Всякого тут народу хватало. А этот, новенький, за образованность попал.

Оливареса поставили вместе с другими долбить киркой и ломом огромную скалу — предполагалось, что когда-нибудь здесь будет проложена дорога. Он подошел к скале,

измерил ее взглядом и понял: это все равно что таскать щепотками землю с вершины Чимборасо. И объявил, что работать не будет.

Конвойные сначала смеялись. Потом ударом приклада вывихнули ему ключицу. Он стоял на своем. Явились еще конвойные, поднялся шум, через минуту он лежал на земле и извивался от боли, как червяк. На него вылили ведро грязной воды, чтоб очухался. Он выплюнул с кровью выбитые зубы и сказал, что не будет работать даром ни на какое правительство.

Заключенные окружили его. Суровые эти люди немало повидали на своем веку. Но упорство юного крошечного человечка, такого слабого и смешного, поразило их. А он все стоял на своем. И они перестали смеяться. Может, стыдно им стало, не могу тебе сказать. Я никогда не сидел в тюрьме и просто не знаю. Знаю только, что огнепоклонник принялся колотить ломом по своим цепям, другие тоже, гром нарастал все грознее, взметнулась слепая ярость, полетели камни.

Сержант заколебался. Пробормотал что-то сквозь зубы и отошел. Конвойные еще помахали палками — просто по инерции, разбили кое-кому голову, и порядок восстановился. Но с этого дня Оливарес с перевязанным плечом — в бараке в числе заключенных оказался хирург — каждое утро шел в общем строю к скале; по молчаливому соглашению его не заставляли больше работать, заключенные брались за свои кирки, а он сидел на земле и рассказывал им разные истории. И анекдоты тоже.

Вот тогда-то его и прозвали Маркизом. Может быть, хотели выразить свое уважение. А может, в шутку. Кто их разберет! Оливаресу понравилось прозвище, он его принял, и теперь уже немногие знают подлинное его имя.

— А какого черта занесло его в Чили?

— После падения Гомеса он вернулся в Каракас и несколько лет мозолил всем глаза; наконец Медина Ангари́та¹ приказал возместить ему убытки. Первый случай во всей нашей истории. С целой кучей монет отправился Оливарес в бюро путешествий, хотел выяснить, в какой точке земного шара выгодней всего обменять деньги. И вот приземлился здесь. Разумеется, деньги утекли меньше чем за год.

¹ Медина Ангари́та Исаиас — президент Венесуэлы с 1941 по 1945 г.

— А его писания? Расскажи о них. Про что он пишет? Он мне ни разу ни одного своего рассказа не показал.

— Об этом я ничего не знаю. Я тебе уже говорил.— Лучо снова икнул.— Те несколько раз, что я с ним разговаривал, речь у нас шла о парапсихологии. Кое-что он в ней смыслит.

— Некоторые говорят, будто после той первой книги он больше ничего не писал. И будто он сочиняет рассказы, но держит их в голове и может любой проговорить на память, а сесть и записать не в состоянии.

— Говорю тебе, об этом я ничего не знаю.

Музыка давно умолкла, Лучо зевал во весь рот.

— Мы с тобой еще вот про что не поговорили,— я решил сменить тему,— как нас папа-то отлучил, *ipse facto*¹, навек. Так что теперь ты понял, какой ты есть: «глубоко развращенный». Здорово, да?

— Ничего удивительного. Должен же он внести свою лепту в дело холодной войны.

— Конечно. Скажи-ка, что ты обо всем этом думаешь?

— О чем?

— Каково, на твой взгляд, положение здесь сейчас в общих чертах?

Лучо глянул на меня сердито:

— Ты что, соображаешь? Может, не слыхал, какую зверскую расправу учинили солдаты с шахтерами в Лоте?

Латиноамериканские студенты боялись, одни больше, другие меньше, как бы и их не коснулись репрессии, что шли уже целый год и с каждым месяцем все усиливались. Из своих родных мест, из Парагвая, из Никарагуа, приехали они в Чили, где девушки славятся красотой и страстностью, рабочее движение кипит, а культура процветает. И вдруг увидели: свободу гонят по улицам нагую. Чили тысяча девятьсот пятидесятого года, страна Никомедеса, Педро де ла Барра, старого Антонио Асеведо², дона Элиаса³. Страна светил университетской науки и многолюдных

¹ Тем самым (лат.) — выражение, часто встречающееся в папских энцикликах.

² Никомедес Гусман — чилийский писатель; Педро де ла Барра — чилийский режиссер и театральный деятель, основатель экспериментального театра при университете Сантьяго; Антонио Асеведо Эрнандес — чилийский писатель, драматург, фольклорист.

³ Элиас Ласерте — один из основателей коммунистической партии Чили.

демонстраций — огромных толп, над которыми стоит запах оливкового масла, лука и пота. Страна вишен «Голубиное сердечко», розоватого винограда и темных маслин.

Словно человек, что, повернувшись на другой бок, с ужасом видит на лежащем рядом обнаженном теле пятна проказы, чилийцы увидели вдруг другое лицо своей страны — враждебное, страшное. От этого другого лица старались отвернуться, не хотели ничего знать о нем, а иной раз, как дети, пытались заклясть, повторяя наивные утверждения, в которые сами не верили, но которые и не опровергали по-настоящему. Другое лицо рождает в нас отвращение и стыд, но мы не сумели до сей поры обратить свой стыд в призыв раздавить гадину. Нам не следовало забывать о ее существовании. Потому что безжалостный маятник качается, проходит какое-то время — и снова неизбежно встает другое лицо страны, страшное лицо.

— Но мы сумеем выйти победителями из этой схватки. — Я волновался, говорил со всей убежденностью, на какую только был способен. — Все к лучшему. Мы научимся смотреть на жизнь более сознательно, избавимся от наивности.

Лучо молча покачивал ногой.

— Ты веришь в то, что говоришь?

— Я должен верить. Это так. Если бы я не верил...

— Значит, не веришь. Наша вера не такая, как у людей религиозных. — Лучо поднял палец. — Лучше, по-моему, сказать так: мы должны верить, поскольку, анализируя... Нет, не то. Чтобы освободиться от мелкобуржуазной сентиментальности, мало желать этого. Политика — не точная наука. И не дело чувствительных слюнтявых интеллигентов вроде нас с тобой. Вот ведь и в жизни Маркиза тебя заинтересовала всего только драма одинокого индивидуалиста, ты не сумел увидеть всего того, что стоит за этой драмой.

Лицо Лучо сморщилось, будто он собирался заплакать. Но нет. Лучо разжал кулаки.

Я не знал, что ответить. Перед искренним воодушевлением я всегда пасую. Лучо выбил почву у меня из-под ног, и, лишенный привычного оптимизма, я как бы повис в безвоздушном пространстве.

Лучо, кажется, понял, что со мной происходит, и умолк. Он принес великолепное грубошерстное одеяло, набросил его на меня и ушел к себе в спальню. Я лег на диван, устроился поудобнее и погасил свет.

В окно тянуло запахом гнилых фруктов и сырой кожи. Потом послышался далекий крик, сирена патруля, топот бегущих, и все стихло. Рассветные лучи постепенно наполнили комнату жемчужным светом; я задремал и изредка, чуть приоткрыв глаза, видел перед собой на стене роскошные усы Сапаты, восседавшего на белом коне.

ГЛАВА III

Сыро, серо, печально зимой в Сантьяго. Снег выпадает красивыми хлопьями, но только раз в три-четыре года. И от этого еще обиднее. У богатых есть в домах центральное отопление, в конце недели они отправляются в Фарельонес кататься на лыжах. Бедные обогреваются жаровнями, едят черствые сопаипильяс¹, заматываются шарфами до самых ушей, а перед сном сушат горячим утюгом сырые простыни.

Хорошо еще, что в эту зиму нам выпала веселая неделька. Каплей, переполнившей чашу, явилось повышение цен за проезд в автобусе, а ведь и так жизнь до того дорогая, что впору завывать в голос, вот пожар и разгорелся. Сразу, в один миг. Всю эту неделю у меня буквально не было времени даже высморкаться. А от слезоточивых газов приходилось лить слезы, словно бедная вдова.

Капля вскоре превратилась в ручей, а ручей — в бурную лавину. Началась заваруха, власти растерялись. Одно плохо — почему не сказать правду? — мы не сумели предвидеть события, они застали нас врасплох, и в течение всей недели нам так и не удалось разобраться толком в ситуации, понять что к чему.

Первыми начали — была не была! — студенты. Будем бомбардировать автобусы камнями, ну-ка, нажмем, дружок! Остановят автобус, пассажиров долой и — давай! Раз! Два! Три! Сильней! Потом приволокли здоровенное бревно, раскатали, ударили раз, еще раз, еще, еще и, наконец, — бух! Автобус, словно поверженный мамонт, лежит посреди улицы.

Когда не осталось вокруг ни одного целого автобуса, начали валить уличные фонари. Пустяковое дело! Обвяжут столб веревкой, соберутся человек сто, а то и больше, и давай тянуть. Фонари валятся, будто сальные свечки. Поли-

¹ Сопаипильяс — жареные лепешки, намазанные медом.

цейские битком набивали машины арестованными, но на смену им тотчас же являлись новые, а потом еще, еще и еще.

На третий день волнение перекинулось в предместья, рабочий класс выпрямился во весь рост, послышался его боевой призыв — вот когда Предателю¹ пришлось понастоящему солоно. Выпали из его рук вожжи, он растерялся, потерял контроль над столицей. Опрокинутые автобусы, обгорелые, как головешки, лежали на улицах Реколета, Пила-дель-Гансо, Пунта-де-Риель... Кольцом окружали город предместья, где гнездилась нищета и веками копился гнев.

В пятницу снова пошли автобусы, каждый под охраной солдат с заряженными маузерами. Тогда стали свистеть вслед, писать лозунги. Придумали еще одну штуку, рискованную, правда, что верно, то верно — запросто можно получить пулю в живот, — засовывали картошку. В выхлопную трубу, а ты думал куда? Автобус проедет несколько кварталов — и мотор начинает задыхаться, чихать, кашлять, наконец останавливается — и ни с места. Такие получались пробки — просто чудо!

Вдобавок как раз в эти дни появились в газетах сообщения о восстании в Боливии, и атмосфера накалилась еще сильнее: «Восставшие держат под своим контролем Кочабамбу», «Шахтеры Потоси закидали гранатами полк солдат». Как тут не поверить в успех!

Но получилось, конечно, как всегда бывает — «поначалу сладость, а потом гадость», как сказал Иуда, когда стал вешаться. Или как сказала старушка, когда у нее пошла кровь носом: «Не оттуда, так отсюда». В шести провинциях объявлено было чрезвычайное положение. Полицейские врываются в дома, арестовывали людей без всяких судебных предписаний. И многое другое началось, столь же приятное. Тайные ночные расстрелы на кладбищах. В Лоте и в Коронеле — массовый расстрел шахтеров-угольщиков, шахтеров не запугаешь, они всегда впереди. Уволены шестьсот государственных служащих. В Сантьяго прибыли три полка солдат, а также отряды курсантов артиллерийской школы из Линареса и кавалерийской из Кильота.

Восстание было подавлено. Да, подавлено! И зима стала еще сырее, серей и печальней!

¹ Предатель — прозвище диктатора Габриэля Гонсалеса Виделы.

Однажды вечером, проходив несколько часов по улицам под тупо морозящим дождем, промокнув до костей, в мокром насквозь, тяжелом, будто свинцовом, пальто, вернулся я к себе в пансион. Подогрел немного настоя ромашки, выпил, чтобы хоть чем-то наполнить пустой желудок, и улегся в постель, навалив на себя одеяла, покрывало, купальный халат и два жилета; попытался было читать и не заметил, как и когда уснул.

В дверь барабанят!

Проклятье! Я подпрыгнул на кровати.

Но нет, ничего страшного. Это всего лишь Маркиз; лицо искажено, брюки в грязи до самых колен. Дрожит так, словно электробур у него в руках. В чем дело? Ограбили его, что ли? Молчит. Ничего не могу добиться. Потрогал его лоб — сорок, не меньше. Я уложил Маркиза в свою постель, прямо в брюках и в старом свитере, напоил горячим чаем и дал четыре таблетки аспирина; его так трясло, что пришлось, придерживая подбородок, вливать чай ему в рот. Потом я приволок из прихожей выдавший виды ковер (потертые нимфы плясали вокруг старого сатира), забрал у Маркиза свою подушку — хватит с него и этого — и по возможности комфортабельно устроился на полу.

Маркиз тяжело дышал. Грудь высоко поднималась, вздувалась, словно шар, и снова опадала, тут, рядом со мной, на расстоянии метра. Я твердил себе, что тип этот сумел же выжить на Андском плоскогорье, и все-таки умирал от страха, не решался уснуть — а вдруг, проснувшись, я встречу навеки остановившийся взгляд его зеленых глаз. Навеки. Да, брат, к тому, видимо, шло дело.

Маркиз начал бредить. Говорил непонятно, странно, что-то о девушке капризной, резвой, будто маленький зверек: где твоя норка, хитрый зверек? Все перепуталось, смешалось, и не найти к ней дороги... Потом послышались слова: анапест, амфибрахий, силлогизм. Последнее он повторял без конца. Тянул в отчаянии руки: «Мама, не надо играть с червями, мама».

Проклятый ковер протерся до самой основы, ноги у меня совсем заledenели, я встал, чтоб надеть еще пару носков. Заодно потрогал лоб Маркиза. Аспирин действовал, Маркиз обливался потом, как доменщик у печи. Вдруг он открыл один глаз и потребовал трубку. «А ну тебя!» Я снова завернулся в ковер и сразу уснул.

Не мог же я после всего этого выгнать его на улицу! Попросил поставить в мою комнату еще одну кровать;

кресло пришлось убрать, а я так любил читать, сидя в нем вечерами. Донья Памела, предупредительная, как всегда, сказала: пусть Маркиз живет в пансионе даром две недели. Иногда она сама готовила ему какой-нибудь суп. Особенно по вкусу пришлось Маркизу суп из бычьих хвостов. Хлеб, сыр, суп и аспирин сделали свое дело, и через неделю Маркиз выздоровел. И все время сиял, радовался чему-то. Как-то раз донья Памела принесла ему тарелочку картофельного пюре с яйцами и сказала: «Чувствует, что нашел наконец пристанище».

— Что такое силлогизм, Маркиз?

— Зачем тебе?

— Хочу знать. Не знаю и хочу знать.

Он отвечал монотонно, будто читая энциклопедический словарь:

— Силлогизм есть форма логического заключения. Но ты никогда не пытайся говорить силлогизмами. На то существуют разные глаголы. Сократ говорил силлогизмами. Я говорю силлогизмами. А тебе не надо. У тебя интуиция, чутье.

Наконец Маркиз совсем оправился и в первый раз вышел из дому — я пригласил его поесть китового мяса. Ничего особенного, китовое мясо теперь в моде, а ресторан у нас рядом и недорогой. Маркиз с жадностью ел. Даже удивительно, сколько в него влезало. «Это протеины», — приговаривал он всякий раз, беря еще кусок. От вина Маркиз покраснелся, разговорился, долго рассказывал о гражданах города Солнца, о Крокодилополисе, я думал, он все сочиняет, но нет, оказывается, этот город в самом деле существовал; потом завел речь о вдохновении свыше, о непознаваемой силе и «оккультном» золотого века в истории Египта, когда голода, старости, ядовитых змей и хищных ящериц еще не было. И даже тернии в те времена не колелись.

Я хотел было посмеяться над такой эрудицией, сказать, до чего же он надоел со своими фараонами, но тут Маркиз тронул меня за локоть — за соседний столик села молодая женщина, крепкая, с пышными формами и кроткими огромными креольскими очами. Маркиз повернулся к ней и принялся восхищаться коралловыми бусами, выделявшимися на фоне старенького шерстяного коричневого платья. Смуглянка благодарно улыбнулась — блеснули белоснежные зубы.

— Видишь, подействовало, — шепнул мне Маркиз,

сияя. — Без промаха, психология. Начни я хвалить ее глаза или фигуру, она бы и слушать не стала, а может, даже, наоборот, рассердилась бы. Ну, а коралловая нитка стоит треть ее недельного заработка; долго она думала да рассчитывала, пока наконец решила на эту покупку, и, конечно, ей ужас до чего хочется, чтобы кто-нибудь обратил внимание на ее бусы. Ну, ты теперь ступай отсюда.

Маркиз попросил разрешения пересесть за ее стол, смуглянка кивнула, Маркиз прихватил с нашего стола бутылку вина — там оставалась примерно половина, мы заказывали две. Я расплатился и встал. Задержался немного в дверях — хотелось посмотреть, что будет дальше. Полузакрыв глаза, женщина нервно перебирала свои кораллы, Маркиз шептал что-то ей на ухо.

Вернулся Маркиз в полночь. Я услышал в коридоре шаги и сразу узнал особую мягкую его походку.

— Ну, как было дело?

Он ничего не ответил, глядел победно и чуть не лопался от самодовольства.

— Я уж вижу. Повезло тебе, дьяволу. Давай рассказывай.

— Проводил ее до фабрики. — Маркиз лег, завернулся в одеяло. — Она на текстильной фабрике работает, в конце улицы Сан-Пабло. Рассказала, что завтракала в ресторане потому, что сегодня ее именины, ну, я дождался конца смены, встретил ее у ворот фабрики и преподнес гвоздику. В цветочном магазинчике на улице Монеда добыл, знаешь, там старуха подслеповатая торгует, и не заметила даже, как я у нее экспроприацию произвел. Пригласил я смуглянку в кино.

— В кино? А деньги откуда?

— Ты не перебивай. Ты слушай; вышли мы из кино, она и говорит, а сама покраснела вся: «Не будет чрезмерно смело с моей стороны пригласить к себе писателя? Могу предложить стаканчик подогретого вина и апельсин». Собираешься? Стаканчик подогретого вина и апельсин!

— Ну, ну, давай дальше, выпили вы вина и...

— Не торопись. Это один из твоих главных недостатков как новеллиста. Рассказывать надо обстоятельно, без спешки. Выпили мы вина (дай-ка мне еще сигарету); в комнате у нее на стене фотографии Кларка Гэйбла¹ и Габриэлы

¹ К л а р к Г э й б л — известный американский киноактер 40-х годов.

Мистраль¹, этажерка с книгами, Корин Тельядо, и «Кровь и надежда» тоже, над этой книгой она много плакала, Сердце Христово и свечечка перед ним. Матрас шелковый, голубой в золотых ромбах, а наволочки и простыни — тончайшие, восхитительные...

— Врешь ты все, негодяй.

— Ты мне дай рассказать, как я хочу. А то вообще не стану рассказывать.

— Никакие не восхитительные у нее простыни, просто бумажные, а то, может, и из мешковины.

— Тончайшие, восхитительные, говорю я тебе, тончайшие. Какая может быть мешковина, натуралист ты несчастный, жалкий бескрылый реалист! Изумительные, тончайшие, потрясающие!

— Ладно, пусть будут потрясающие. Она же тотчас искупалась в миндальном молоке. Давай жми дальше, романтик.

— Выпили мы вина, — он расплылся в улыбке от уха до уха, — она велела мне раздеваться в самом дальнем углу комнаты и повернуться лицом к стене. Холод в комнате собачий. Она же раздевалась перед Сердцем Иисусовым и при этом громким голосом читала молитвы. Вся покрылась гусиной кожей от холода. Но что за грудь! Какое тело! Упругая вся, твердая. Ей-богу, тверже, чем это поганое китовое мясо, которое ты заставил меня есть.

Маркиз не раз повергал меня в изумление, честное слово. Постелит, например, постель тщательно, аккуратно, ни одной морщинки чтоб не было, каждую пушинку сдует. И тут же на пол плюет и даже на стены, окурки куда попало по всей комнате расшвыривает. В первый же солнечный день после болезни вывесил на балкон свои грязные брюки и невообразимо заношенные носки. Когда брюки и носки высохли и затвердели, Маркиз взял платяную щетку и стал их чистить. Тучи пыли, лепешки грязи летели по комнате.

Услышав, что я вернулся, сказал, чрезвычайно довольный:

— Вот она, настоящая сухая чистка.

— Свинья чертова, тут же пыль столбом и вонища, дышать невозможно!

Маркиз поглядел лукаво и ничего не ответил.

¹ Г а б р и э л а М и с т р а л ь (настоящее имя Люсила Годой Алькайга, 1889—1957) — известная чилийская поэтесса, лауреат Нобелевской премии 1945 г.

Не меньше поражало меня его чтение. Всюду таскал он с собой какую-нибудь книгу, купленную за треть цены в букинистической лавке, потом продавал ее за пятую часть цены и покупал следующую. Читал он внимательно, жадно и потом повторял наизусть целые страницы, черт знает, какая была у него память! В изгрызенной мышами книге «Вавилонская поэма о сотворении мира» он вычитал историю о благородном человеке, на которого обрушиваются разного рода беды; в конце концов благородный человек превратился в скорбного, всеми покинутого изгнанника.

— Родная душа, приятель.

— Это почему же?

— Благородный, как ты, и тоже изгнанник.

Он возмутился:

— Меня никто не изгонял. Я сам себя дискриминирую, тут совсем другое дело. — И пустился в длинные рассуждения.

На другой день, когда я вернулся домой, он сидел на кровати и вопил:

— «Голодные подобны трупам; сытые бросают вызов богам. В процветании своем клянутся они проникнуть на небеса; во вражде клянутся спуститься в ад!»

— Где ты раздобыл такие стихи?

— Это из вавилонской поэмы. Ужас что такое: будто раскаленное железо жуешь.

На той же неделе он запомнил целиком всю Бенаресскую проповедь из «*Philosophie Indienne*»¹ Глазенаппа, потом автобиографию Бенвенуто Челлини («Врет он еще хуже, чем Марко Поло, *il figlio di puttana*»²), а на закуску проглотил эстетическое исследование Делла Вольпе на итальянском языке.

Маркиз свободно читал на всех романских языках, кроме каталанского и румынского, к которым испытывал необъяснимое презрение. «Эти болтуны не создали ничего, кроме Дракулы»³, — уверял он; о каталонцах же говорил, что они «потомки финикийцев».

Еще более странными оказались друзья Маркиза, те, кого мне удалось видеть, потому что некоторые свои зна-

¹ «Индийская философия» (фр.).

² Сукин сын (ит.).

³ Дракула — чудовище, персонаж ряда фильмов 20-х годов, представляющих собой экранизации одноименного романа английского писателя Брэма Стокера (1847—1912). Действие этих фильмов происходит в Румынии.

комства он скрывал. По воскресеньям он ходил на ипподром с компанией железнодорожников; когда кто-нибудь выигрывал, меня тоже приглашали отметить это радостное событие. Покупали несколько килограммов бараньих потрохов, кровяную и свиную колбасу, огромную, на пятнадцать литров, бутылку с вином (нечего и говорить, что пива они, разумеется, наглotalись еще раньше, и немало). Со всем этим добром отправлялись к кому-нибудь домой «прогреть немного кости», так это называлось.

Еще удивительнее были два других приятеля Маркиза: один прозывался Ноги-Жерди, он и в самом деле ходил очень странно, ступал с носка на пятку; другого звали Амеба. Весьма подозрительная пара, загадочные, раздражительные и хитрые, а физиономии до того мошеннические, просто печать негде ставить. Похоже, что Маркиз проводил с ними немало времени, поскольку иногда, возвратясь после долгой отлучки, он к месту и не к месту вставлял в свою речь не очень-то мне понятные жаргонные словечки.

— Смотри, впутают тебя в какую-нибудь историю, — предупреждал я его.

— С чего ты взял, эти ребята невинней любой послушницы.

Маркиз утверждал, что благодаря дружбе с ними он изучил современную жизнь лучше любого ученого; что в XIV веке Ноги-Жерди и Амеба были бы сподвижниками Франсуа Вийона (тут я, разумеется, не выдержал и расхохотался), и к тому же самые пошлые существа на белом свете — это, без всякого сомнения, поэты, все до одного, и толстопузы, и тощие; последнее было сказано, по-видимому, мне в пику за то, что смеялся.

Чудеса, однако, на этом не кончились. В один прекрасный день я обнаружил Маркиза сидящим на полу; он с увлечением писал алгебраические формулы и чертил треугольники на оберточной бумаге, пользуясь вместо линейки спичечным коробком.

— Гляди! — закричал он в волнении, протягивая мне бумагу.

— Не понимаю. Что тут?

— Да ведь все совершенно ясно, малыш. Ты хоть теорему Пифагора учил когда-нибудь?

— Представь себе, дошел до такой премудрости.

— Ну так смотри. — Он стал показывать треугольники на пальцах. — Я делаю вот такое построение: берем тре-

угольники с гипотенузой a и катетами b и c , а они пусть являются гипотенузами других треугольников, все меньших и меньших, таким образом квадрат гипотенузы a будет равен сумме квадратов катетов всех этих маленьких треугольников. Понимаешь?

— Предположим. И что из этого?

— Если я буду продолжать строить треугольники, все меньше и меньше, настанет момент, когда квадрат каждого из них будет равен нулю или будет стремиться к нулю.

— Кажется, начинаю понимать немного. Но ты вот что скажи: давно это пришло тебе в голову?

— В Андах. Мой друг, математик, — он тоже был там, — давал мне уроки. Смысл в том, жалкий ты невежда, что в таком случае сумма квадратов всех этих отрезков равна нулю и она же равна квадрату гипотенузы a . И если бы только всякие там задрыги, вроде Лейбница или Ньютона, не перебежали мне дорогу, я сегодня открыл бы исчисление бесконечно малых. Соображаешь? Можешь понять, какую мне свинью подложили? Если бы я родился века на два раньше... Потому что с помощью этого построения я доказываю, что конечная величина представляется как предел суммы бесконечно малых величин, поскольку количество суммируемых величин растет безгранично. — Маркиз поднялся с полу, подошел к кровати и повалился на нее. — Не знаю только, зачем я тебе все это объясняю.

Голова у меня слегка кружилась. Я глядел на Маркиза, ошеломленный блестящим, хоть и не совсем понятным открытием; еще больше поразила меня его улыбка — да, да, улыбка, ясная, безмятежная, играла на его лице.

— Почему же ты не занялся потом математикой?

— Нет уж. — Маркиз больше не улыбался. — В наших дерьмовых государствах кому математика нужна? Либо бухгалтеру — помогать какому-нибудь богачу от налога на ренту увертываться, либо инженеру — рассчитывать конструкции зданий, да так, чтобы хорошенько нагреть руки, а потом первое же землетрясение разрушит эти здания до самого основания. Еще и в цемент они чего-то подмешивают и на этом наживаются. Вот Достоевский, например, не имел, к счастью, даже ни малейшего представления ни о существовании логарифмов, ни о комбинаторном анализе и не знал, что это за зверь такой — случайная величина...

С горячностью неопита попытался было я броситься на защиту математики и Достоевского, но он глянул презрительно и переменял разговор.

С первого же дня Маркиз и донья Памела, хозяйка нашего пансиона, нашли общий язык. Вдова художника, уроженца Эквадора, убитого в баре в пьяной драке, донья Памела была женщиной чувствительной, с аристократической внешностью и страдальческим взором; она любила вспоминать о прежних золотых временах, когда она, обнаженная, ложилась на шелковые подушки, а покойный супруг рисовал ее под пение виолончели. Теперь, подавляя страстную свою натуру, она жила скромно, в маленькой комнатке, битком набитой сувенирами более или менее эротического свойства; на самом видном месте красовался стеклянный сосуд с формалином, где хранилось сердце покойного художника. Каждому вновь пришедшему донья Памела демонстрировала сердце с черной дырочкой от пули. «Вот через это отверстие улетело счастье моей жизни», — говорила она с грустной задумчивостью и в то же время чуть-чуть кокетливо. Непарный орган дремал на камине, большой, землистый.

Маркиз и донья Памела разговаривали часами и даже завели обыкновение вместе завтракать. Общие темы нашлись легко: парапсихология, оккультные науки, инопланетяне, загадка пирамид... Донья Памела познакомила Маркиза со своими друзьями, он вошел в ее круг, центром какового была некая особа — медиум, и, как говорили, необычайной силы; дама эта красила веки серебряной краской; вся компания собиралась каждую пятницу вечером; вызывали души разных покойников и прочее в том же роде; с покойниками дама-медиум находилась, судя по всему, в самых приятельских отношениях.

Как-то раз решили просветить и меня, обрушили на мою бедную голову целый ворох неслыханных историй о телепатии, телекинезе, левитации и прочих ужасах. Маркиз тоже выступил насчет герменевтики ведических сочинений. «Не увиденное, не обнаруженное не существует: рог на голове зайца, цветок, растущий на небе, или дитя, рожденное бесплодной женщиной...»

Во мне пробудилось подозрение, что Маркиз просто стремится, бог весть с какой целью, произвести впечатление на донью Памелу; она слушала, и на лице ее отражалась печаль; я решил прервать выступление и закричал:

— Стать вашим сообщником? Да ни за что! Ни за что и никогда!

Меня тотчас же обвинили в ханжестве, в замшелом позитивизме, в вульгарном механицизме, стали дружно

ругать всякими учеными словами, заявили, что во мне сидит страшно сказать сколько злых духов, и даже пригрозили их изгнать.

Маркиз вечно пропадал, скитался неведомо где, и очень трудно было улучшить минутку, чтобы с ним побеседовать. Мне же во что бы то ни стало хотелось выжать его как губку, пусть скажет все, что знает и думает о ремесле литератора. К тому же и сам он с каждым днем все больше меня интересовал. Будто в мутном стекле, отражалась в нем еще незнакомая нам, чилийцам, трагедия интеллигенции, долгие годы страдающей под игом деспотов — правителей и их сатрапов; бессильный предпринять что-либо, интеллигент живет мечтами, мучится совестью, грызет себя, как собака грызет цепь, на которой сидит.

Вместе с тем товарищи рекомендовали мне быть осмотрительнее. Я объяснил, что бедняга Маркиз явился ко мне совсем больной, чуть ли не с воспалением легких.

— Нет!

Зная, что рабочие всегда относятся к интеллигентам с некоторым недоверием, я решил прибегнуть к неоспоримым доводам — принялся перечислять громкие имена прославленных интеллигентов-коммунистов: Жюлио Кюри, Пикассо, Поль Робсон...

— Это все исключения, раз, два и обчелся, — отвечали мне. Мне посоветовали как можно скорее переехать в другой пансион, знакомым сказать, что уезжаю надолго в родные места. Я получу сложное задание, о чем меня оповестят в свое время. И — «чао!».

Я сказал донье Памеле, что уезжаю в Осорно, там живет единственная моя тетя и она заболела раком мозга, а в счет долга за квартиру останутся в залог мои книги; донья Памела рассердилась — как можно делать такие вещи, надо же было хотя бы предупредить за несколько дней. Потом расцеловала меня и благословила.

— Безобразник! Я не стану говорить вам «не делайте того, что вам подсказывает совесть», но будьте осторожны. Берегите себя, они ведь такие звери.

Без сомнения, донья Памела кое о чем догадывалась; именно поэтому я притворился дурачком и даже не спросил, кого это она имеет в виду.

В тот же день я рассказал мою великолепную историю Маркизу, только, найдя, что рак мозга — как-то уж слишком жестоко, я решил перетранспортировать тетушкино заболевание в какое-нибудь другое место и на всякий слу-

чай выразился на этот раз несколько туманно. Маркиз не заинтересовался и пренебрег моими объяснениями. Не поднимая головы от книги, сказал, что в конце месяца день его рождения и хорошо бы отпраздновать его вместе.

Вечером мы занялись наконец делом. Несколько дней тому назад Маркиз заставил меня прочитать рассказ Чехова, попросил, чтоб я старался не забывать его. Потом велел мне сесть и написать тот же рассказ по-своему.

— Да, да, все то же, только пиши своими словами. Увидишь, как здорово получится.

Это было унижительно. Получилась бесцветная водянистая каша с претенциозными и совершенно ненужными красотами, нечто отвратительно сальное, а попросту говоря — куча дерьма. Сравнили с оригиналом: мой рассказ выглядел как траченное молью чучело из жалкого провинциального музея рядом с прелестной живой газелью, скачущей по лужайке.

— Не надо огорчаться, не надо. Возьми еще десяток рассказов разных авторов и сделай то же самое. Старайся выбрать те, которые кажутся тебе самыми трудными.

— А ты сам много раз так делал?

— Да это же вовсе не трудно, штука в том, чтоб уловить некоторые приемы. Мэнсфилд¹, чертова кукла, почти как Чехов пишет. Не ухватишь...

— А зачем же ты меня заставил начинать с Чехова?

— Заткнись! — Он улыбнулся, обнажив белые как молоко зубы. — Только за Хемингуэя не берись на первых порах, он все равно как липучка для мух, сразу завянешь.

— А Кафка? Кафку ты пробовал так переписывать?

— Даже и не мечтай. Не забывай: Кафка был неврастеник, слабосильный, женской любви он не знал, и тут ему никакой Брод² помочь был не в силах, а поскольку ты всеми этими особенностями не отличаешься, то никогда и не постигнешь, как коротал свои бессонные ночи этот жуткий гениальный пражский еврей. Нет уж. Даже и не думай. Тот, кто хочет подняться по лестнице, должен начинать с нижней ступеньки, а не с верхней. Пока что тебе надо довольствоваться Кирогой³ и Джеком Лондоном.

¹ Мэнсфилд Кэтрин (1888—1923) — английская писательница.

² Брод Макс (1884—1968) — критик и эссеист, биограф Кафки.

³ Кирогоа Карлос Буэнавентура (р. 1890) — аргентинский поэт и прозаик.

О Толстом даже и упоминать не смей. О Достоевском — тем более. А теперь отвали, хватит на сегодня, ты и так уже достаточно из меня выжал.

Мы курили без конца, то и дело перебрасывали друг другу пачку сигарет. Согрелись, потому что залезли, как были, во всей амуниции, под одеяла. Мне стоило героических усилий не расстаться с мечтой сделаться когда-нибудь писателем, и в то же время я старался, чтоб Маркиз этого не заметил, и изображал полнейшее равнодушие.

— А Фолкнер?

— Хватит, я сказал! — взревел он. — Я сейчас хочу вот что сделать, если ты, наконец, умолкнешь, — он улыбнулся коварно, — хочу посадить в твоей душе дерево сомнения.

— Попытайся. Посмотрим, что у тебя получится. — Тут уж я был совершенно в себе уверен.

— Тебе кажется, будто ты необычайно тверд в своих убеждениях, верно ведь? Ну, так слушай: на ваш взгляд, главное в творчестве писателя — его идеология.

— Вот так, напрямик — нет.

— Не отпирайся. Я могу разбить тебя в два счета. Вы всегда это утверждаете. И конечно, садитесь в калошу, когда вам приводят в пример Бальзака, который был легитимистом. Но ты слушай! — Я лежал лицом к стене и все же чувствовал, что Маркиз наблюдает за мной.

— Ваша позиция неверна. И вредна.

— Ну-ка, давай докажи.

— Писатель пишет не одной только головой. Возьми хотя бы Кафку. В творчестве участвуют и вожделения, и ностальгия, и твои поражения, и детские сны, и даже отбивная котлета, которую ты съел за завтраком и от которой ощущаешь тяжесть в желудке; какая-нибудь мыслишка, подхваченная бог весть где, тоже, конечно, играет роль, но только вовсе она не образует идеологии. Тем более — связной. Возьмем тех, что слынут у вас самыми идейными: твой обожаемый Гейне, к примеру, язвительный Кеведо или Золя твой — он, между нами говоря, до того скучен, зевота прямо рот раздирает. Теперь ты подумай и скажи: есть у них у всех единая связная идеология? Ну-ка! Вот и не скажешь. Я так и знал. Да избавит нас аллах, совсем это ни к чему, чтобы писатели маршировали в ногу, будто солдатики, и все придерживались одинаковой идеологии. Давай-ка посмотрим, какая идеология была у Гомера. — Маркиз воодушевился, голос его делался все визгливее. — У Соломона в «Песне Песней»? Один был лысый слепой

старикан и обладал черт знает какой громадной памятью, а другой — царь, и у него было четыре тысячи наложниц. Оба жили во времена рабства. И что же? Хоть как-нибудь отразилось это в их произведениях? И даже если отразилось, имеет ли какое-нибудь значение? Если бы имело, люди не наслаждались бы их писаниями в наши дни, а они наслаждаются и будут наслаждаться всегда, во все времена — хоть при самом что ни на есть распрекрасном коммунизме, о котором ты грезишь. Видишь, как я тебя раздолбал? Видишь? — Он сел на кровати, в восторге хлопал себя ладонями по коленям.

— Заврался ты, Маркиз, дело совершенно не в том.

— Нет в том, в том, отступник ты чертов.

— Да дай же мне сказать.

— Нет, молчи. Сначала я договорю. И попытайся забыть на время свои ядовитые идеи, иначе ты не поймешь. Настоящий творец — это удивительный феномен, существо, способное черпать из огромных кладовых человеческого мозга, которыми другие никогда не пользуются, человек, снабженный радаром, словно летучая мышь, и когда он создает гениальное произведение, он как раз пребывает в полубессознательном состоянии, а вот интуиция его кипит, как вода в котелке. Бедный дон Мигель так и умер в уверенности, что «Персилес» удался ему лучше, чем «Дон-Кихот». Кинь мне еще сигарету. Да, да, в том-то и все дело. Чудища эти пишут в состоянии транса, будто им кто диктует, а когда после, придя в себя, правят, то очень часто портят. И если такой вот тип решает поставить свой талант на службу какой-то определенной идеологии, он сам себя обрекает на бесплодие. Ведь любая идеологическая система неизбежно стареет, ибо проклятое время катится неумолимо. Прогресс человеческого познания идет, и, рано или поздно, самые совершенные, самые идеальные системы ссыхаются, как сливы. Птолемей, Аристотелева логика, схоластика. Они властвовали умами в течение столетий. Кинь мне еще сигарету, я говорю. И скажи вот что. Зажги, ты же знаешь, у меня нет спичек. Вот что скажи: бизоны в пещере Альтамиры, женщина из Эльче, голова Нефертити, стихи Ии Таи По — они-то по-прежнему молоды! Да еще как! А почему? Потому что они — сама жизнь и как таковая завоевали право существовать столько, сколько стоит мир. — Маркиз дошел чуть ли не до пароксизма, он заикался, плевался, фыркал. — Разумеется, идеологам хочется покровительствовать творцам. Очень

эффектно галопировать на диком жеребце. А к тому же еще и зависть. Им ведь тоже хотелось бы создать что-либо подобное. Они понимают, что идеи их рано или поздно травой порастут или, в лучшем случае, будут ползать, чуть живые, на костылях. Знаю, сама диалектика развивается диалектически, тут я как раз с тобой не спорю, это лучшее, что я от тебя слышал за все время. Но художник не может сидеть и ждать, пока она разовьется. И не может остановиться в середине главы, посмотреть, все ли у него идет по науке. К тому же наука, как всякое познание, развивается путем постепенного накопления идей и фактов. В искусстве же такого накопления не происходит. Искусство — это волны, каждая сама по себе, и все одинаково прекрасны. Или вулканы, как Везувий или Кракатау. Какой дурак осмелится сказать, что лучше: Аполлон, убивающий ящерицу¹, или Мыслитель Родена? Львиные ворота в Микенах или двери флорентийского батистерия Гиберти? «Махабхарата» или «Преступление и наказание»?

Маркиз совсем разъярился, раздувал ноздри, как никогда. Я понял, что если сейчас начать ему возражать, у него будет инсульт.

— Можно тебе сказать кое-что?

Он молча затаился несколько раз сигаретой, наконец ответил:

— Говори что хочешь. Только без общих фраз.

— Сначала ты скажи, что это еще за Аполлон на мою голову?

— Убивающий ящерицу?

— Ну да, этот.

Он взглянул недоверчиво:

— Перестань меня разыгрывать.

— Да нет, я серьезно. Совершенно всерьез спрашиваю. Ну, не хочешь — не надо; пускай я так ничего о нем и не узнаю, ладно. Хорошо, допустим, я с тобой согласен. Только идеология тут, может быть, не совсем подходящее слово. Давай скажем лучше взгляд на мир, на жизнь. И отношение к жизни, намерения, жизненные цели, порождаемые этим взглядом.

— Недурно, недурно...

— Так вот этот взгляд на мир не содержится в сперматозоидах твоего папаши. Он зависит от многого: и от того, что рассказывает тебе в детстве няня, и от того, чем ты

¹ Статуя Праксителя.

владеешь — фабрикой, сохой или всего только собственными руками. Тут играет роль классовая принадлежность и исторический момент, в который ты живешь. Именно поэтому никто другой не может писать так, как писал еврей из пражского гетто, сын алчного недалекого коммерсанта. Или как твой слепой лысый старик, что жил на острове Хиос и кормился сардинами да оливками. Не может быть одинакового взгляда на мир у рабочего из Чикаго, у кули и у гамбургского банкира. И этот взгляд на мир, хочешь не хочешь, идеологичен. Пронизан идеями, какими бы бессвязными, бесцветными или противоречивыми они ни казались. Идеология — чертовски сложная штука, но...

— Вот ты и попался. Ты, значит, не слушал, я приводил не менее сотни примеров.

— Да слышал я! Все до одного слышал. Твои примеры только подтверждают мою правоту. Ведь извращения, о которых ты говорил, именно потому такие, что у художника был правильный для его времени взгляд на мир. Давай возьмем двух перуанцев, Вальехо и Чокано, и сравним. Первый будет жить тысячу лет, а второй... Или вспомни Чаплина, Брехта, Эйнштейна. Могли бы они стать, чем стали, без мировоззрения, высокого, глубокого, гуманистического...

— Начинается догматизм.

— Нет, черт возьми, это не догматизм.

— Чистый догматизм, чтоб я сдох. И оставь меня в покое. Я хочу спать.

— Ты меня целый час терзал своими допотопными теориями.

— Прекрасно! Очень вежливо! — Маркиз захлопал в ладоши. — Конечно, я декадент, оппортунист. Но ты — еще хуже, ибо представляешь собою помесь Плеханова с Фрейдом. Это все равно что мешать мармелад с майонезом.

— С Фрейдом? Что у меня общего с Фрейдом?

— Да, да, с Фрейдом. Именно с Фрейдом. Не спорь. А теперь я хочу спать. Не трогай меня, спать буду. — Он натянул одеяло на голову.

— Если в самом деле хочешь спать, пожалуйста, спи.

— Уже сплю, — ответил он и замолк.

На следующий день, завязывая шнурки на туфлях, Маркиз рассказал мне, как бы между прочим, что Амеба пытался покончить с собой самым что ни на есть вуль-

гарным способом — выпил чуть ли не целый литр карболки. Маркиз же советовал ему прибегнуть к цикуте, подобно Сократу, или воспользоваться змеей, как поступила Клеопатра.

— Черт знает что! Почему?

— Откуда я знаю? У него тревога в душе похлеще, чем у меня. — Маркиз поднял голову, пристально поглядел мне в глаза.

Не знаю сам, почему я отвел взгляд.

— А Ноги-Жерди? — Я сделал вид, будто разыскиваю что-то в шкафу.

— Зря его втянули в это дело. Очень глупо.

— Ах, вот что! Значит, полиция узнала?

— Как не узнать! Весь дом знает!

— Ну и?..

— Три года и один день дали. — Маркиз плюнул.

— Ух ты, сколько! Такой срок, кажется, дают, если у человека находят дома марксистскую литературу.

— Да. — Лицо Маркиза оставалось совершенно невозмутимым. — Вот ведь как несправедливо поступают с этими беднягами!

А через некоторое время, уходя, Маркиз, уже в дверях, крикнул своим скрипучим голосом:

— Когда-нибудь ты, может быть, объяснишь мне, почему в наше время, когда кругом такое творится, ты пишешь сахарные рассказы. И не пишешь другие, в которых бы виден был твой высокий взгляд на *ми-и-и-ир* и на *жи-и-изнь*.

Вот какую пакость он мне сказал, и несколько дней подряд я ходил сам не свой, не в силах забыть его слова, которые отравляли мне существование, словно зубная боль.

ГЛАВА IV

Два венка, толстый сеньор в черной шляпе, обшитой по краю поля шелковой тесьмой, небритый, растрепанный мастеровой, несколько старушонка и бледные девочки с костлявыми коленками. Я встретил Лучито на похоронах месье Гийяра, с которым работал во время войны в агентстве Рейтер, мы переводили телеграммы.

— А кто эта сеньора, которая плачет? Неужто он в конце концов нашел себе подругу жизни?

— Чего не знаю, того не знаю. Ты потише.

Поставили гроб в нишу, каменщики принялись класть кирпичи, старушонки заплакали, девочки тоже. Сеньор в черной шляпе поклонился и ушел. Венки прислонили к стене: «От Канадского консульства». На втором от руки одно только имя — «Клариса».

— В агентстве Рейтер... (одна из девочек что-то пискнула слабеньким голоском, я не расслышал) мы с ним каждый переводили до восьми тысяч слов в день. Британские методы эксплуатации, вежливенько. Подожди-ка. Да, сеньора, большое спасибо. Слушай, нас, кажется, с кем-то путают, принимают за родственников, а он так был одинок, бедный старик.

Пока мы принимали соболезнования и прощались, цемент начал засыхать, издавая специфический запах. Серые тучи на небе висели будто грязные лохмотья.

— Да, я же тебе, кажется, рассказывал, как мы спасались от тоски: сочиняли телеграммы и посылали в газеты вместе с настоящими, и, когда их печатали, мы торжествовали. Самую дурацкую мы подложили однажды Гийяру, в его бумаги; он водрузил на нос пенсне и принялся переводить. В телеграмме сообщалось о подвигах легендарной югославской партизанки Попович, «которая весит сто килограммов и при этом ничуть не полная». Громадная женщина бурей налетает на врагов и тотчас исчезает бесследно; она легко ускользает из любой ловушки, убивает нацистов и предателей дюжинами. Гийяр поднял голову и прочел телеграмму вслух; он пришел в такой восторг, что мы решили продолжить шутку — сообщения о подвигах Попович стали поступать каждую неделю. Получилось нечто вроде боевика.

— И все это вы выдумали?

— Все выдумали.

Мы шагали среди могил, в лицо дул сырой, промозглый ветер. Лучо слушал рассеянно, может быть, вовсе не слушал, но воспоминания одолевали меня все сильнее, и я продолжал:

— Попович была ранена в стычке с врагами, только не пулей, а снарядом, ни больше ни меньше; ей оторвало половину зада...

— Фу, свиньи.

— Конечно, свинство. Я как сейчас вижу Гийяра, он читал телеграмму, а мы чуть не лопались, едва удерживаясь от смеха. Гийяр прочел сообщение два раза. Три. Мы насторожились. И тут я начал догадываться, что наш Гийяр

переживает глубокую трагедию. Одиноким, чужим всем, он боялся женщин. В нашу выдумку он поверил и долгие месяцы тайно обожал сказочную, легендарную богатыршу; за ужином он рассказывал соседям по пансиону о ее подвигах, они слушали, как зачарованные, затаив дыхание, застыв с ложками в руках, и Гийяр наслаждался. Целыми днями он мечтал о ней, она царила в его снах, в жалких детских снах горожанина, привыкшего по три раза в день чистить зубы. Он преклонялся перед ней, как преклонялся бы заяц перед бесстрашной львицей.

— Не надо больше рассказывать.

— Почему?

— Потому что я тебе не подопытная морская свинка.

— Не понимаю.

— Это, по-видимому, рассказ, который ты собираешься писать, вот и... Нет, твой рассказ мне совсем не нравится. Печатай, пожалуйста, пусть читает, кто хочет, только не я.

Мы зашагали дальше в молчании.

Лучито Фебрес был родом из Карабобо, из богатого, знатного рода, но верил он в наше дело не меньше какого-нибудь шахтера, негибемый и одержимый, как Красная Роза — Роза Люксембург. Сегодня он был явно чем-то озабочен, расстроен. Кашлял. Слушал неохотно.

— Что с тобой? Случилось что-то, я вижу.

— Давай выпьем пива, я тебе расскажу.

Мы долго плутали среди мраморных ангелов, стоявших на могилах с идиотским видом, закативши глаза; наконец, вышли с кладбища и оказались на склоне холма. Вблизи был только один бар, жалкий, темный, и дух там стоял такой, что и описать невозможно. За большим кувшином вина сидела компания оборванцев. Они не сводили с нас глаз, и нам стало немного не по себе; вдруг за столиком в глубине бара мы заметили того самого небритого мастерового, что был на похоронах Гийяра. Он сидел, подперев голову, неподвижный, огромный, словно отлитый из бронзы; мы пригласили его пересесть за наш столик, и оборванцы тотчас же потеряли к нам всякий интерес. Мускулы мастерового походили на бильярдные шары.

— Вы усопшему-то родственники?

— Нет, всего лишь приятели. А вы, друг?

— Я ему гардероб лаком крыл. Он со мной разговаривал, все время разговаривал, я от него много чего узнал.

А в этот вторник, говорит это он, говорит и вдруг — чувик! Как все равно птичка. Я его в охапку, легкий как перышко, положил на кровать, а он — уже все, готов.

— Ах, вот оно как. Ясно. Потому-то вы и пришли.

— Да, конечно, а еще потому, что он был одинокий, как вдовец в воскресный день. — Мастеровой утер рот тыльной стороной ладони. — Гавелин Окаранса, — он во второй раз пожал каждому из нас руку, — мастер на все руки, к вашим услугам.

— Вы, значит, не только краснодеревщик?

— Ха, я даже изобретателем был. Я фирме «Примус» одну штуку придумал, да только охмурили меня, патент не дали. И в артиллерийской мастерской тоже, да гринго там один не дал мне ходу, а потом увидели они такую же штуковину в журнале английском, выписали. Ну и, конечно, в десять раз дороже обошлось.

— Все они такие, верно?

— Да, конечно, только меня не из-за этого с работы выгнали. — На лице его показалось что-то вроде улыбки. — Меня помощник обругал, вот какое дело, даже и не начальник вовсе; ну, я не стерпел, такое ему сказал, до смерти он меня теперь не забудет. Я, конечно, рабочий, человек бедный, а только кланяться никому не желаю. — Он умолк, стал ковырять спичкой в ухе, поглядывая на нас хитрыми глазками.

— Молодец, друг. Ваше здоровье!

— Ваше здоровье! — Он осушил до дна второй стакан, также как и первый.

— А сейчас чем вы занимаетесь?

— Чем придется, я же сказал. Я и плотник, и в электричестве кумекаю. Ничего винишко, приличное. — Он уставился на пустой стакан. — Я ведь что иногда думаю: почему это быки вина не пьют? И свиньи тоже, и кошки. А мы вот люди крещеные, а, наверное, один на три тысячи найдется непьющий. Я потому и Священное писание люблю читать: зачитаешься — вроде и выпить не так тянет. А Ной-то до чего ж выпивоха был! Почему, думаете, не влезли у него в ковчег все эти твари, динозавры там всякие? А потому, что он все трюмы бочонками набил с белым и с красным. Точно, мне кум говорил. Сейчас-то я вроде свободен. Видали, что делается? Совсем я совесть потерял, сию да винишко попиваю, а мне надо еще плиту ремонтировать. Ну, я и пойду. — Он опять утер губы рукавом. Хотел расплатиться, мы, разумеется, не позволили, он снова протя-

нул свою ручищу и ушел. После его ухода в баре словно стало темнее.

Долго сидели молча.

— Видел? — сказал наконец Лучо.

— Что?

— Это другой мир. Мы не имеем о нем ни малейшего представления. Хоть сотню исследований прочитай — не поможет.

— Не забывай, что я провел детство среди шахтеров.

— Однако руками не работал никогда.

— Верно, конечно. Но и литература помогает нам...

— Не болтай зря. Это все равно что есть суп вилкой. Единственный выход — работать вместе с ними; так же как они. И не то что сезончик-другой. Годы.

— Предположим. Что будем делать?

— Да, понимаю, все равно ничего не выйдет.

Мы вышли из бара. Выползло зимнее солнышко, желтое, как маргарин; мы решили идти пешком, обогнули кладбище и зашагали по авениде Ла-Пас. Лучо молчал, погруженный в свои размышления.

— Но с тобой что-то случилось, скажи же, в чем дело.

— Ерунда.

— Может, я смогу помочь, скажи.

Он колебался. И вдруг, со злостью:

— Ничего особенного, меня допрашивали.

— Ах, вот оно что! Давай не тяни, выкладывай, как было дело.

— Сам Черный Эррера, главный в Управлении по делам иностранцев, говорил со мной. Рожа цвета сухого дерьма, сидит за письменным столом, стол огромный, как все равно у министра. А я — на скамейке посреди конторы, двое агентов глаз с меня не спускают, я их не вижу, но чувствую за спиной, и от этого, конечно, еще больше нервничаю. Все рассчитано, уж они свое дело знают.

— О чем тебя спрашивали?

— Обо всем. Вагляды, друзья, контакты. Кто на нашем факультете занимается агитацией. На этом долго топтались. Хотя я так и не понял, чего им надо. Похоже, они нарочно забрасывают вопросами, так что голова кругом идет, не догадываясь, что их на самом-то деле интересует. Я стоял на одном: изучаю медицину — и все тут. Идеи? Много у меня всяких идей. Конечно, и про Маркиза спрашивали.

— А, вот как, это хорошо.

— Что ж хорошего?

— Понятно, значит, все подозрения отпали... Или нет все-таки?

— Кто его знает. Тут никогда ничего не поймешь. Может, они играют карамболом от трех бортов.

— Ну, и ты вел себя героически?

— Нет, не слишком-то. Я шутил, улыбался, наговорил целую кучу ученых слов, так что они только глазами хлопали. Изображал такого, знаешь, немного чокнутого. Потом вошел еще агент, сказал что-то начальнику на ухо, и они вышли. Прямо театр. Специально, чтобы оставить меня наедине с теми двумя, ну, они повели разговор очень даже ловко. Стали рассказывать, что в Парагвае или, может, в Гаити, точно не помню, изобрели шикарный метод допроса. Привязывают тебя к зубоврачебному креслу, вставляют такой аппаратик, чтоб пасть все время оставалась открытой, и давай сверлить зуб бормашиной. Тр-тр-тр, все глубже да глубже, без всякой, конечно, анестезии. Доходят до живого нерва, вытягивают его, как червяка, наматывая на иглу бормашины.

— Вот гадье! Прямо дрожь пробирает.

— А меня, думаешь, нет? Но ты послушай, дальше еще лучше: если ты не раскололся после первого зуба, так их ведь еще тридцать один остается. Потом затыкают дыру цементом и ступай, жалуйся в суд. Что ты скажешь судье? Ни одного синяка нет, все кости целы. А на закуску, поскольку каналы не пройдены, у тебя делается флюс, и зуб приходится удалять либо лечить и платить черт знает какие деньги. Чтоб ты подольше помнил.

— Ну, и как ты? Что ты им сказал?

— Я им рассказал про мексиканца, который приехал сюда не для того, чтобы его щупали.

— И они смеялись?

— Да нет. Еще злее стали. К мессе зазвонили, это меня и спасло — Эррера вернулся, а перед начальством они всегда ползают, как рептилии. Начались опять всякие туманные угрозы, и наконец меня отпустили. Сеанс продолжался три часа.

— Чудно все-таки.

— Что тут чудного? Разве они не допрашивают людей по несколько дюжин в день?

— Да, но почему именно тебя? И почему отпустили так скоро? Я знаю, что в подобных случаях хоть и не пытаются, но держат человека самое малое два дня.

— А, нет! Дело вот в чем: я им сказал, что я правнук дона Андреса Бельо. И упомянул о своем родственнике — послé.

— Это правда?

— Он, видишь ли, к счастью, довольно дальний родственник. Я не стал ничего предпринимать, не стал менять жилье, хотя за мной и следят, это я заметил, пусть думают, что мне нечего скрывать.

— Ах, черт побери!

— Что такое?

— Когда я у тебя ночевал, я видел возле дома какого-то типа, и он очень мне не понравился.

— А как он выглядел?

— Ну, как тебе сказать, мордочка вроде как у бобра, стоит курит. Мундштук длинный.

— Ну да, он, он самый. Один из тех двоих, которые ко мне приходили «приглашать» побеседовать с их начальником.

Я очень встревожился. Старики были правы. Как всегда. Дурак я, не проверил тогда, не следят ли за мной.

Незаметно мы дошли до самой Пласа-де-Армас. Две девочки-близняшки в небесно-голубых платьицах играли с воздушными шарами; подошел бродячий торговец, стал предлагать засахаренные орехи; как всегда, сидели, грелись под последними лучами солнца пенсионеры; в ожидании желанных сумерек появились на скамейках парочки. Я искоса поглядел на Лучито: нос его торчал по-прежнему величественный, будто король на торжественном выходе, солидный и весьма уверенный в себе. И все же что-то чувствовалось в нем не то, какое-то тайное волнение; казалось, вот-вот покатится по гордому носу предательская янтарная капля и повиснет на самом кончике. Почему так казалось, трудно сказать. Ведь все, что рассказал Лучо о допросе, должно бы вроде произвести впечатление прямо противоположное.

— Прекрасной была эта страна, — сказал Лучо глухо, глядя себе под ноги.

— Не надо говорить «была». Она опять будет прекрасной. Ты же знаешь. Весна, во всяком случае, уже скоро.

— Не говори лучше! Негодница эта весна, у меня всякий раз аллергия от пыльцы делается.

Опять мы долго молчали. Тяжелое золотое солнце широкими мазками красило стекла витрин. Напротив на скамейке старушка в черном платье и шляпке с вуалью,

страдающая, по-видимому, болезнью Паркинсона, дергаясь, будто на ниточках, крошила хлеб голубям. Голуби перелетали с места на место, садились старушке на плечи, на голову.

— Прекрасной была эта страна, — повторил Лучо, а я-то решил, что он больше об этом не думает, глядит на голубей. — И знаешь, что я тебе скажу? — Лучо с силой схватил меня за рукав. — Мы не можем себе даже представить, до чего они могут дойти. Даже представить не можем! И вдобавок приближается восемнадцатое, людей так и распирает от патриотических чувств; все побегут глазеть на военный парад и будут аплодировать героическим войскам.

Я готов был взорваться, но не сказал ни слова. Что можно ответить, когда все это — чистая правда? Тяжело волоча ноги, прошел древний старик. Весело прыгали небесно-голубые близняшки.

— Это так, — Лучо глядел на девочек, грустно качал головой, — это неизлечимо, никакая тибетская медицина тут не поможет. Слава нации... национализм будет разъедать наши души еще в течение ста лет, не меньше. Но, черт возьми, уже почти шесть часов, а у меня завтра экзамен зверский.

— Когда у тебя бывали не зверские экзамены?

Лучо виновато улыбнулся, похлопал меня по плечу и пошел прочь.

Я глядел ему вслед. Лучо шагал опустив голову, плотно завернувшись в свое длинное пальто из верблюжьей шерсти. Сутулый. Ноги ставит врозь, как Чаплин. Потом он превратился в крошечное зернышко, в едва различимую точку. Наконец вошел в один из порталов, и толпа поглотила его. Лучо ушел, и я почувствовал себя одиноким. Страшно одиноким. Так оно всегда и бывает. Вроде бы одиночество тебя не тяготит, но наступает минута, когда нужен друг, только через него ты можешь ощутить связь со многими ценностями, неизмеримыми, невесомыми. Лучо нет больше рядом, и все вокруг меня кружится в каком-то безумном танце, сменяется, как в калейдоскопе. Переворачивается с боку на бок в своей одинокой постели Гийяр, подвигается к краю, словно хочет оставить местечко для Попович, которую видит во сне; Гавелин бежит вместе с уличными мальчишками вслед за военным оркестром; Худышка разрушает замки на песке, ведь с таким трудом строили мы их на огромных пляжах реки Био-Био, из песка

вырастает фигура отца, он машет рукой и говорит мрачно, словно пророчит: «Мы, те, кто участвовал во всеобщей стачке, знаем это; мы хорошо это знаем»; и снова Лучо шагает, завернувшись в пальто, он такой зябкий, бедный Лучо, даже летом носит свое пальто. «За мной гонятся», — говорит Лучо.

Старушка, кормившая голубей, вытирает черно-белое пятнышко на плече, оставленное в знак благодарности последним голубем; в довершение всего искра от моей сигареты попала в воздушный шарик одной из небесно-голубых близняшек, шарик лопнул — уа-а-а!

А ведь сегодняшний день начался так весело, я был в великолепном настроении.

— *Вифалитай, вифала!*

Я испустил громкий воинственный клич и в тот же миг заметил: сижу, плотно прижав к груди руки, как бы сам себя обнимаю, пытаюсь защититься. И я подумал, что ни разу в жизни не садился мне на плечо голубь, что уже несколько месяцев не видел я Худышку и от отца тоже давно не получал никаких вестей и никогда мне не выучиться ремеслу краснодеревщика, чтоб руки мои были в скипидаре и я шагал бы гордо по улице рядом с Гавелином.

— Ну и что же дальше?

Катись ты ко всем чертям, Педро Игнасио! Башка у тебя пока еще цела и кулаки, чтобы колотить по ней — тоже. Знай: все, что с тобой, происходит на самом деле оттого, что ты ни на один миг не забываешь о зубном нерве, намотанном на иглу бормашины.

Как легко, как хорошо стало, когда я обнаружил причину! Конечно, все дело в этом. Только в этом. Я вздохнул глубоко-глубоко и ощутил, как рождается во мне то, что принято называть легкомыслием и что таковым вовсе не является, ибо исторический оптимизм существует. Я еще раз извинился за шарик перед матерью девочки и бегом, со всех ног, будто за мной гнались (а в сердце играли всеми цветами радуги мыльные пузыри, а может, вился пестрый серпантин), кинулся к себе в комнату — писать.

Что это было за безумие! Восемь часов подряд, душа моя! Не прерываясь ни на минуту. Сигареты докуривал до того, что обжигал пальцы; не ел ничего, ни крошки. И так до самого вечера, до позднего вечера, за полночь.

Кончил я наконец переводить нудную слезливую Вирджинию Вулф¹ и отнес дону Армандо. Пещерное наше издательство мне работы, конечно, не давало, но дон Армандо, человек щепетильный в вопросах чести и весьма преданный творческой праздности, занимал там официальную должность переводчика и взял меня под свое покровительство. Я переводил, дон Армандо ставил свою подпись под переводом, наслаждался славой и клал в карман тридцать процентов гонорара. «Мое имя придает вашей работе совсем иной вес, молодой человек», — утешал он меня так отечески ласково, что я начинал чувствовать себя чуть ли не в долгу перед ним. Вот старый мошенник!

Как бы то ни было, а я вышел из его bungalow² весело насмываясь. Можно будет отдать часть долга донье Памеле, уплатить за месяц вперед за новую комнату, все равно потребуют, — очень уж плохо я одет, потому и не вызываю доверия, — купить трехтомного Достоевского, о котором я мечтал месяцами. А если быть точнее — годами.

Будто созревшие плоды с деревьев, падали один за другим августовские дни, и наконец настал тот, достопамятный, в который Маркиз праздновал свое рождение.

В комнате доньи Памелы яблоку упасть негде. Стоит чуть шевельнуть ногой или локтем — обязательно разобьешь вазу с цветами или опрокинешь столик с расставленными на нем безделушками, стаканами и бутылками. Каждый из гостей явился с бутылкой, некоторые даже с двумя. Карлоте, как медиуму (будьте почтительны, господа), с великим почетом предоставили единственное кресло, когда-то, в далекой молодости, обитое ярко-красной, теперь потемневшей парчой. На этом тигриновом фоне ее прозрачная кожа, зеленый тюрбан и соблазнительная, напоминающая Гаргантюа, полнота выглядели весьма величественно. Я попытался хоть кое-как пристроиться на диван-кровать, где уже теснились не менее дюжины человек, но куда там! В конце концов пришлось сесть на пол, прислонившись спиной к коленям Карлоты.

— Конечно можно, малыш, пожалуйста, не стесняйся! Все говорили обо всем и одновременно. Берни, держа

¹ Вирджиния Вулф (1882—1941) — известная английская писательница.

² Бунгало (англ.).

в руке зонтик, с которого текло ручьями, продекламировал мощный сонет, направленный против АПРА¹ и ее лидера. В терцинах рифмовались «Айя» с «отставая» и «каналья».

— Ты забыл еще «болтая» и «обирая», — заметил близорукий прыщавый юнец, взгромоздившийся на спинку кресла.

Читали еще стихи, анонимные, весьма саркастические, остроумно-разоблачительные, направленные против Предателя. Говорили, что автор их Неруда. «Да, да, это его!» — «Вовсе нет!» Произносили тосты. Донья Памела едва касалась губами бокала; одетая весьма подходяще к случаю, в сари апельсинового цвета, она сновала, будто челнок, из комнаты в кухню, приносила сандвичи — хлеб с джемом, хлеб с тунцом, хлеб с вареной колбасой. Не хватало только хлеба с хлебом, это было бы вершиной ее кулинарного искусства.

Беседа блуждала, блуждала, да вдруг и наткнулась на Эусалию Палладино, знаменитую таинственную колдунью из Палермо; зашла речь о том, как ее посетил Ламброзо; он был скептик, любил подшучивать над такими вещами — и вот вдруг вскакивает со стула и бросается бежать: чьи-то невидимые когти исцарапали ему все лицо, будто кошки.

— Всякое бывает, как сказал мой дедушка, когда его везли в морг, — заметил я, пытаясь завоевать доверие публики. Но одобрительно улыбнулась одна только девушка в красновато-фиолетовом костюме, с острыми маленькими грудями (очень они нравились священнику, сидевшему, съездившись, между дверью на балкон и гардеробом), остальные не удостоили меня своим вниманием.

— А где же Маркиз?

— Может быть, забыл о своем дне рождения, с него станется.

— Обещал принести какое-то особенное вино.

— Как бы он не принес его в своем желудке.

Бородатый толстяк в жилете пришвартовался к бесцветной девице с соломенными волосами, плоской, как гладильная доска, толковал ей о каком-то Либо, основавшем где-то там школу парапсихологии. *Mare magnum*² росло, бурлило, выходило из берегов. Далекое от всего, безмятежное и спокойное, сонно глядело на нас из своего сосуда сердце художника. Только оно одно молчало.

¹ А П Р А (Alianza Popular Revolucionaria Americana) — Американский народно-революционный альянс, создан в 1924 г. Айя де ла Торре.

² Великое море (лат.).

Казалось, все присутствующие — фокусники, так ловко и незаметно появлялись одна за другой бутылки на столе. И всякий раз, как откупоривали очередную, — всеобщий восторг и ликование. Было тут и красное, и белое. Пили из граненых хрустальных бокалов, из треснувших стаканов, из фаянсовых кувшинов. Я все еще пытался как-то настроиться на их волну, но тут, в довершение всех моих бед, ко мне вдруг обратилась Карлота.

— Слыхали вы, что свершила Юдифь Бронштейн? — спросила она своим лесбиянским сопрано.

— Да нет, я как-то мало общаюсь с Юдифью.

— Вот глупыш! В Лондоне, да будет вам известно, перед ней поставили герметически закрытый сосуд с соляным раствором, в котором находилось яйцо. И вот одной только телекинетической энергией она отделила белок от желтка.

Что хоть такое этот чертов телекинез?

— А яйцо было оплодотворенное? — спросил я, за что меня тотчас же назвали «невыносимым чертенком».

Дальше речь пошла о Тунгусском метеорите, о происхождении тектитов, о плазме, о психотропной энергии. Но с Карлотой мы тем не менее сталкивались. Пила она как нанятая, время от времени щекотала мне шею ногтем, а я все крепче прижимался к ее коленям.

— Всякая творческая личность, — толковал кто-то у меня за спиной медовым голосом, — ждет той минуты, когда «неведомый» овладеет ее сознанием и начнет диктовать ей. Можно говорить о пране, о сущем, о магнитном поле. Или о Музе, как писали смешные романтики. В те минуты, когда человек находится в трансе, будь он даже в обычной жизни самая что ни на есть мелкая букашка, он в состоянии создать гениальное произведение.

Вот она, печка. От нее пустились в пляс: творческий процесс, таким образом, непосредственно связан с парапсихологическими феноменами. Медиум (почему это они всегда женщины?) ощущает, как им овладевает странная сила, посторонняя его телесному существованию.

— Потому что у нас, медиумов, — заявила Карлота, — «я» абсолютно проницаемо. В отличие от художников, которым для самовыражения приходится прибегать к самым различным средствам — к словам, звукам, краскам, — мы черпаем краски и звуки из глубин собственного «я». Я одновременно и гончар, и его инструмент.

Это мне понравилось. По крайней мере внушительно. Пусть бы так и продолжала!

Но старик, осыпанный перхотью, с лысиной и вытаращенными глазами, завел другое.

— Мигрирует не дух,— сообщил он заплесневелым голосом.— Субъект извлекает образы из самого себя и распространяет с помощью волн; именно эти-то образы движутся в пространстве, интерферируя друг с другом и обволакивая нас; я хотел бы подчеркнуть, что все это происходит одновременно. Не только прошлое слито с настоящим, но и будущее тоже.

— То, что принято называть будущим,— поправил толстяк с бородкой,— поскольку в пределах вечности, по определению, все отдается течению времени и продолжает отдаваться ему непрестанно.

— И достаточно, чтобы мозг нескольких индивидов уловил эти волны, вернул им образную форму и фиксировал эти образы в своей памяти, чтобы осуществился феномен предварительного знака,— заключил крючковатый нос, утопавший в подушках.

Слушая такое, я попытался представить себе, что могло бы выйти из синхронного взаимодействия поэзии, алкоголя, эротических влечений и инопланетных излучений. В самом деле, что-то будет? Вдруг из какого-нибудь угла поднимется сейчас легкое фосфорическое пламя? А гардероб и столики, уставленные безделушками, начнут кружиться в вальсе?

Девушка в фиолетовом костюме — ей лет двадцать, бойкая такая — смотрит на меня. Смотрит упорно. Брови у нее выщипаны, на их месте нарисованы две тонкие дуги до самых висков, они то поднимаются призывно, то недоуменно опускаются. Может, она тоже ничего не понимает и ищет, чтобы утешиться, товарища по несчастью? И тоже, наверное, чувствует себя здесь белой вороной. Я пристально гляжу на девушку, как только могу выразительно и властно. «Ну-ка, поправь платье на груди, где вырез,— думаю я. Думаю сосредоточенно, стараюсь ужасно.— Слушайся меня, девочка. Прикройся, соблазнительница!» Вы не поверите, но так оно и вышло: она сделала то, чего я хотел. Я чуть не захлопал в ладоши от радости. «А теперь, наоборот, открой, пусть будет видна грудь! *Сихис, туррис, трикитраке*». Я посылал волны потоками, водопадами, но нет. Видно, на первый раз довольно, я ведь новичок. И без того успех немалый. И первая неудача, учти.

И все же в конце концов она меня поняла. Похлопала ладонью по полу, как бы приглашая сесть рядом. Узкой ладонью, рука чуть дрожала.

— Нельзя. — Я старательно шевелил губами, она сидела далеко, а кругом стоял шум. — У меня чесотка.

Она улыбнулась. Но тут же мне досталось: Карлота провела ногтем по моей шее с такой силой, что выступила кровь.

— Белого или красного?

— Лей любое.

И зачем только я ввязался в эту компанию? Как теперь уйти? А для чего уходить, когда все так здорово? Завтра же начну заниматься йогой, о, мой гуру¹. И иглоукалыванием тоже займусь. Да, сердце мое, вместе будем заниматься, только, ради всего святого, перестань меня царапать. Слушай, а втроем нельзя? А почему? «Махабхарата» запрещает? О, черт! Опять царапается!

— Ты похожа на блюдо с раскисшим желе.

— А ты мерзкий сопляк, — отвечала Карлота и крепко сжала меня мощными коленями. Вот как невинно мы развлекались; и тут дверь с силой распахнулась, и появился Маркиз.

Радостные клики, «ура», объятия. Пропели «Зеленый сельдерей» и под конец лихо пошвыряли на пол стаканы, а осколки в один миг засунули под ковер. Господин с вытаращенными глазами поздравил Маркиза, извинился и благоразумно стушевался. Наверняка он обладал даром предвидения и предчувствовал, что будет дальше.

Маркиза невозможно было узнать: на нем свитер болотно-зеленого цвета с большим отвернутым воротом, огромный берет, будто летающая тарелка, стоял над его головой, он с нежностью прижимал к себе огромную оплетенную бутылку с некой янтарно-малиновой жидкостью — нечто среднее между медом и мочой архиепископа.

— Сегодня мой день рождения, — заявил он, сияя. — Это именно тот напиток, которым Гарун аль Рашид угощал баядер. — Глаза Маркиза словно прыгали от радости. — Вдыхаешь, барышня с нейлоновыми бровями?

Я проследил направление его взгляда — будто стрела, вонзался он прямо в лицо девушки в фиолетовом костюме. Но самое неожиданное вот что — она послала Маркизу поцелуи, подмигивала, манила пальчиком...

¹ Гуру — духовный наставник, учитель (санскр.).

ше, годом меньше — какая разница? Уже много лет прожито. Это так, ай-ай-ай, как поется в грустной куэке. До смешного простая и жалкая история. Что такое одна жизнь? Тысяча жизней? Миллион? Хуже всего то, что историки ни черта не знают, одни только даты да имена. А почему? Хотите, вам скажу? Историки до сего времени не заметили одну особенность, она повторяется без конца, и, будто жалкая карусель, вечно вертится нищая великая история нашей Америки. Хотите, я вам открою, в чем эта особенность?

— Да, да, говорите, говорите!

— Вы не боитесь правды?

— Не боимся, не боимся, не боимся...

Маркиз оглядел всех, счастливый, гордый, будто дирижер свой оркестр.

— Ну так слушайте. — Он взял стакан ближайшего соседа, осушил до дна. — Слушайте. Гориллы устраивают переворот, хозяйничают, словно у себя в казарме — шагом марш, раз-два-три! — и превращают страну в кучу дерьма. Но тут является демагог, наглый и сентиментальный, эдакий буржуа с претензиями. Браво-о-о, да здравствуете-е-ет! Освободительное движение сметет все препятствия на своем пути! — кричит он, взобравшись на ящик из-под сахара. Я дам вам свободу, мосты, конфеты! Для чего мосты, если у нас нет рек? Я дам вам реки! Толпа ревет от восторга. Вся страна увешана флагами, Уолл-стрит дает свое *nihil obstat*¹, и он, как был, в драных штанах, взбирается на президентское кресло. Проходит год, президент растолстел, у него общая любовница с папским нунцием (высокая политика, сами понимаете), он отдает империалистам еще одну провинцию, присутствует на открытии сельской школы, где нет ни классных досок, ни парт, Первая Дама раздает сиротам мячики для пинг-понга, они же с голодухи пытаются раскусить их — может, это крутые яйца. Однако президент так жаден и ворует столько, что к концу года уже не хватает денег на пушки для генералов. Тогда он придумывает новые налоги: кто разводит кур, кто мочится стоя, кто с женой не спит — все должны платить. Растет недовольство; режим шатается, недовольных помельче президент назначает послами, чтоб они в благодарность за такую милость добыли ему долларов в Швейцарии, а истинных мятежников бросает в тюрьму. Но выхода

¹ Ничто не препятствует (лат.).

уже нет. Триумvirат из горилл сбрасывает президента. Волки празднуют свой триумф: читают «Те Деум»¹, устраивают шикарный массовый расстрел и вместо залога за долги вручают американскому атташе головы казненных бунтовщиков. Все начинается снова, карусель опять вертится. Вот! Вот настоящая история. И какая! Бедная, несчастная наша Америка!

Маркиз пытался улыбаться, но я видел — руки его дрожали; я поспешно отодвинул от него полный стакан, иначе он бы его опрокинул.

— Да, это так! — пролаял он, брызгая слюной. — Найдись сейчас хоть сотня Боливаров² или Сандино, все равно, даже такое вливание не оздоровит нас, не спасет от разложения. Да притом вливания подобного рода возможны в лучшем случае раз в сто лет, тут в аптеке лекарства не купишь.

— От какого размножения? — спросил прыщавый поэт.

— От разложения, идиот!

— Да, я его вижу, вижу его, он идет, — завопила вдруг в трансе Карлота, — он идет, завернувшись в знамя. Я вижу его глаза!

Шум еще усилился. Мы уселись вдвоем на полу в уголке.

— Будь здоров, Маркиз, друг!

— Будь здоров!

— За кого пьем?

— За Сандино, за Панчо Вилью³, за Тупака Амару⁴!

— А за Рекабаррена⁵?

— Ладно, давай, согласен.

— А за Марти⁶?

¹ «Тебя, господи» (лат.) — начальные слова католической молитвы.

² Боливар Симон (1783—1830) — национальный герой Латинской Америки, руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке.

³ Вилья Франсиско (1877—1923) — руководитель крестьянского движения в период мексиканской революции 1910—1917 гг. Панчо — уменьшительное от Франсиско.

⁴ Тупак Амару — имя, под которым известен Хосе Габриэль Кондорканки (ок. 1740—1781), руководитель крупнейшего восстания индейцев в Перу. Был схвачен и казнен испанцами.

⁵ Рекабаррен Луис Эмилио (1876—1924) — один из основателей Социалистической рабочей партии Чили (в 1912 г.), преобразованной в 1922 г. в Коммунистическую партию Чили.

⁶ Марти Хосе (1853—1895) — национальный герой Кубы, писатель, основатель Кубинской революционной партии. На Кубе его называют Апостолом.

— За Апостола уж конечно обязательно. И за Сапату. А за всяких там аяа и бетанкуров — ни за что на свете.

Он несколько раз повторил «ни за что на свете» и вдруг, к моему изумлению, разрыдался.

Подбежала фиолетовая девушка, опустилась возле нас на колени:

— Вы что тут делаете? Я тоже хочу.

— Тосты поднимаем.

— За кого?

Маркиз вытер лицо полкой.

— За Приапа.

— За кого?

— За Приапа, любовь моя, за бога Пропонтиды. За того, кто вложил в мужчину желание, а в женщину страсть.

— Прелестно, за него, за него! — воскликнула она радостно.

С этой минуты комната словно наполнилась стаями морских коньков, сверкающих всеми цветами радуги медуз, каких-то чудищ... плясали туманные вихри. Никто не понимал ничего. Вавилонское столпотворение, да и только. Раскупоривали еще и еще бутылки, каждый тянул фальшиво свое. Донья Памела преподнесла Маркизу несколько платочков с вышитым в уголке «М». «Пусть высморкается! Пусть высморкается!» Берни совсем одурел — схватил сосуд с сердцем художника и, поливая всех формалином, декламировал «Быть или не быть». Карлота расстегнула на мне рубашку, а я люблю, когда меня любят, и шумное веселье мне тоже по вкусу. Ну и ночь, ну и пьянка! Я сохру, если скажу, будто все хорошо помню. Ах, да, помню еще вот что: фигуры спящих в самых причудливых позах, очередная Эусалия Палладино поводит глазами, из-под кровати несутся подозрительные вздохи, Маркиз храпит, фиолетовая девушка вообразила себя Айседорой Дункан, а добрая, кроткая донья Памела пытается уложить поудобнее торчащие из кресла явно лишние ноги, подбирает окурки и скорбными глазами созерцает дыры, прожженные в ковре.

ГЛАВА VI

Я проснулся очень поздно, часа в два или в три; голова — как пивной котел.

— Маркиз, вставай. Добудь мне где-нибудь таблетку аспирина.

Маркиз свернулся под одеялом, будто песик, и не отзывался. Я протянул руку, сорвал одеяло.

Как очищенный банан, как бокал клубники со сливками, лежала Фиолета на кровати Маркиза. Вот так сюрприз! Я ущипнул ее.

— Ты здесь как оказалась, чумовая девчонка? Проснись!

Она села на постели, протирая глаза:

— Где я? Что случилось?

— Ты у себя дома. Сию минуту мамочка принесет тебе чашку шоколада.

Она смешно взвизгнула и закрылась простыней.

— Ты кто такой?

— Я? Заколдованная лягушка.

— Какой ужас! Не смотри на меня. У меня язык одеревенел; пить хочу. — Она вдруг надулась. — А Маркиз где? — Я пожал плечами. — Знаю я, знаю, эта жирная старуха все время за нами следила, — заговорила она сердито. — Увела его к себе. Околдовала она его.

— Ты уверена, что это так?

— Ну, а где же он тогда?

— Поищи. Может, у тебя в постели.

— Негодник! — Она глянула через обнаженное плечо, словно только сейчас меня заметила. — А ты кто такой? Что ты здесь делаешь? На дне рождения был?

— Кажется, был. А ты как думаешь?

— А, да, теперь вспоминаю. Ты меня хотел загипнотизировать издали, и ничего не вышло. Сел в калошу!

— Кто знает! Бывает гипноз замедленного действия, не слыхала? А иначе, подумай, как бы ты оказалась здесь?

Она все оглядывалась вокруг:

— Фу, какая у тебя скверная комната. Ни одной картины. Голые стены — прямо ужас. А ты — Педро Игнасио, верно? Я теперь вспомнила. Ух, до чего же холодно!

— Принести тебе выпить? Я вчера спрятал одну бутылку.

— Нет, что ты, я и так слишком много пила. Слушай, у меня есть репродукция Гогена. Я тебе подарю. Ой, ну как же мне согреться?

— Мое одеяло не теплей твоего, но если тебе кажется, что теплей...

Не успел я договорить, как она выпрыгнула из постели, словно кролик, и нырнула ко мне.

— Ох, как хорошо! У тебя гораздо мягче, — она закрылась одеялом до подбородка, — знаешь, какая у меня есть картинка? Таитянки с подносом, а на подносе плоды манго.

— И груди у них здоровенные, прямо на диво, да?

— Да. Перестань, что это такое? Не надо пока. Ты же видишь — я волнуюсь.

— Боишься опоздать на занятия?

Она сморщила носик:

— Я уже несколько месяцев не хожу. Если бы папа знал... Нет, я совсем о другом беспокоюсь.

Она была мягкая, нежная. Очень нежная.

— О чем же?

— Нет, не скажу. — Она отталкивала меня коленями и чуть было не... — Боюсь даже выговорить. — Ее слегка трясло.

— Скажи, что за важность.

— Я так боюсь.

— Ну, тогда не говори. И катись отсюда, а то я упаду. А чего ты дрожишь?

— Не от холода, не думай.

— Давай катись отсюда! Или лучше скажи сразу. Может, как скажешь, тебе легче станет. — На щеке у нее было пятно от вина. Я послюнил уголок простыни, стал вытирать. Заодно размазались и брови.

— Маркиз. — Она помолчала, испуганная. — Я его вижу. Он весь в крови. Целая лужа крови.

— Ты всегда такие вещи видишь?

— Не всегда. И это не вещи. Это называется предвидение, — поправила она.

— И что? Маркиз умрет или его убьют?

Она покачала головой — не то утвердительно, не то отрицательно.

— Ты ничего не можешь сделать?

— Я много чего могу сделать. — Небритым своим подбородком я прижался к ее спине. Она вздрогнула. Кожа у нее была такая тонкая, что казалось, светится изнутри, будто китайский фонарик.

— Ты колючий. Как ежик. Нет, ты правда скажи: можешь ты что-нибудь сделать?

— Что, например? Уговорить Маркиза застраховать свою жизнь на твоё имя?

— Дурак! Он говорит, что ты его лучший друг.

— Ну, тогда он пропал.

— Не трепись, я с тобой всерьез говорю. Я же его вижу, и вчера вечером видела, совсем ясно. В большой луже крови.

— Ну, а я-то что могу поделать?

— Откуда я знаю? У тебя, наверное, есть знакомые, которые могли бы ему помочь.

— Ну, конечно, все ясно. Я иду к своему приятелю и говорю: «Слушай, друг, давай спасем Маркиза, его хотят убить». — «Откуда ты знаешь?» — «Мне Фиолета сказала». — «А кто это — Фиолета?» — «Есть такая девочка чумовая, она сбежала из гарема, и ей чудятся всякие штуки». — «А, ну тогда это дело трудное». — «Конечно, очень даже трудное». Мы идем вдвоем к третьему приятелю и объясняем ему...

— Не валяй дурака. Хватит шутить. Я тебе серьезно говорю. И да будет тебе известно, со мной такое не в первый раз, у меня уже были предвидения. Вот Моника, моя подруга по университету, я ей предсказала, что она забеременеет. И она забеременела. Сказала, что у нее родятся близнецы. У нее и родились близнецы. Меня потому и пригласили в кружок.

— И ты в этом кружке вроде как помощница Карлоты?

Она сделала презрительную гримаску и повернулась ко мне спиной.

— Чертова кукла, ты что думаешь, я деревянный? Может, хватит, нет? А потом человека обвиняют в изнасиловании.

— Успокойся, песик. Разве не видишь, написано: по газонам ходить воспрещается.

Я настаивал на своем, она повернулась, гибкая, как кошка, и укусила меня в плечо, здорово укусила. След от ее зубов не сходил несколько дней.

— Тогда ступай на ту кровать.

— Нет, нет, нет. Там очень холодно. Ты подожди немножко. Что ты такой торопыга.

— Ладно, не будем торопиться, не блох ловим, потерпим. А почему ты думаешь, что у меня есть знакомые, которые могут ему помочь?

Она расхохоталась, громко, серебристо:

— Вот видишь, ты сам себя выдал.

— Зачем так говорить — выдал? Мне выдавать нечего.

— Не строй из себя глупенького. Я знаю. С тех пор как валили автобусы, вы все больно уж конспиративные стали.

У меня один есть знакомый, венесуэлец. Не Маркиз, другой, но тоже венесуэлец. Так он до того уж весь засекреченный, как все равно сейф.

— А зачем ты связываешься с таинственными иностранцами? Тебя кто-нибудь просил? Или лучше вот что мне скажи: ты полицейские романы любишь?

Она немного помолчала:

— Нет, мне их читать скучно. Я ведь все предчувствую заранее, еще до середины не дойду, а уже знаю, кто убийца,

— Ах, так ты, значит, очень чуткая.

— Да, очень. А правда, что ты можешь предсказывать будущее по руке?

— Хиромант? Я? С чего ты взяла?

— Я точно знаю. От этого я не могу тебе в глаза смотреть. У тебя глаза страшные. Вчера вечером, когда ты на меня глядел, мне казалось, будто я голая.

— А сейчас — не страшно?

— Сейчас нет. Чудная я, да? — Она взяла мою руку, приложила к своей груди, к сердцу. — Чувствуешь?

— Еще бы, чудо просто!

— Да я не про то, глупый. У меня сердце бьется по сто десять ударов в минуту. Говорят, это ненормально, я недолго проживу.

— И потому хочешь одним глотком осушить чашу жизни до дна?

Она смело уставилась на меня. Взгляд был чистый. Глаза темные, как жуки, с пятнышками светло-табачного цвета. Опустились веки.

— Видишь, не могу. Не могу смотреть на тебя.

— Но почему же, Фиолета?

— Ах, да, ты же не знаешь, как меня зовут. Но лучше зови так. Мне нравится. А что это — Фиолета? Цветок?

— Нет, один из видов морского полипа.

— Морского чего?..

— Полипа.

— А что это такое?

— Ну, будем считать, что цветок.

— Ты изучаешь цветы, ботанику?

— Нет, я только фиолетовед.

Она засмеялась, стала гладить меня ладонями по груди:

— Почему у мужчин соски? Зачем они им нужны?

— Для художников, я думаю. Как ориентиры.

— Ну, значит, у бога фантазия бедная. Можно было бы звездочки сделать. Или спирали.

— Видишь ли, господь очень спешил, когда создавал нас. Дело было в субботу, и он уже устал. Разве ты не замечаешь, у него же совсем нет вкуса?

— Как это нет вкуса?

— Конечно нет. Мне один испанец говорил: «Может ли тот, у кого есть вкус, создать одновременно гиппопотама и стрекозу, обезьяну с красным задом и орхидею?..»

— Да, правда, у него, бедняжки, нет вкуса. Но еще хуже, если б он был кубистом. Представляешь? Но знаешь что? Я совсем согрелась.

— Я тоже, можешь себе представить.

Пусть меня обвиняют в насилии, в измене другу, в чем угодно, но больше я выдержать не мог. Из недр моего тела с ревом восстал кроманьонец. Но негодница вывернулась как угорь, соскользнула на пол, и через миг ее лукавая смеющаяся мордочка выглядывала с другой стороны.

— Тебе со мной не справиться, видишь? И потом, я же сказала — сначала я хочу принять душ.

— Ничего подобного ты не говорила. А хочешь, я тебе помогу намылиться?

Она сморщила носик, надела мой халат, я завернулся в простыню, и мы на цыпочках прокрались по коридору в ванную. Никто нас не видел. Через полчаса мы вернулись, весьма довольные друг другом, тихие, примиренные и с богом, и с дьяволом.

Я снова улегся и занялся созерцанием Фиолеты, пока она одевалась. Видя ее в платье, даже представить себе невозможно, до чего очарователен этот звереныш.

— Как ты теперь обо мне думаешь, очень плохо? — спросила она, свертывая чулок, чтобы надеть.

— Ничего я не думаю. Глядя на тебя, думать не хочется. Хочется совсем другое, а вовсе не думать.

— А, ну тогда хорошо. Только не воображай, будто я забыла.

— Что забыла, намыленная ты особа?

— А ты хвастунишка. — Она сделала презрительную мину. — Я не забыла, я обещала тебе Гогена. Ты только посмотри на эти стены. Прямо жуть берет, до чего ж некрасиво! Но ему ты ничего не говори, вот это уж непременно. — Она натянула второй чулок. — Поклянись, что ничего не скажешь!

— Кому?

— Маркизу. Кому же еще?

— Конечно, ничего не скажу.

- Клянешься?
- Да, клянусь.
- А что же ты ему скажешь?
- Придумай ты, я в точности повторю.
- Скажи, что когда ты проснулся, я уже ушла.
- Ну нет, такую глупость я говорить не стану.
- Почему?
- Потому что если я так скажу, он сразу догадается.
- Как же?
- Ох, ну и бестолковая же. Потому что он не дурак.
- И не поверит, будто я во сне догадался о том, что ты...
- Как во сне?
- Разве ты не велела сию минуту сказать ему, что, когда я проснулся, ты уже... Ну, дошло наконец, гениальная женщина?
- А, ну да, правильно. Я совсем не умею обманывать.
- Папа всегда меня выводит на чистую воду.
- А теперь ты мне вот что скажи: зачем я должен все это ему говорить? Почему не сказать прямо, что ты и я рождены под созвездием Близнецов и, следовательно, предназначены друг для друга. А с гороскопом ведь спорить нельзя.
- Выбрось из головы. Я тебя убью.
- Да что с тобой? Он тебе предложение сделал, что ли?
- Она стала разглаживать на себе ладонями юбку, улыбалась, как бы погруженная в воспоминания.
- Нет, нет...
- Правда? Может, ты забыла?
- Он меня почти на пятнадцать лет старше...
- Ну и что? Чаплин женился в девяносто пять на Юне¹, а ей было четырнадцать. И потом, Маркиз ведь очень красивый.
- На этот раз смех, звенящий, как колокольчик, охватил все ее тело, забрался под свитер; маленькие груди дрожали.
- Бедненький уродец, не надо так говорить!
- А тогда за что же он тебе нравится?
- За что же еще? За ум, конечно, как и ты. Что ты не дурак, в этом я уже убедилась.
- Ну ладно, согласен. Скажу ему все, что ты хочешь, но только с одним условием.

¹ Чарли Чаплин женился на Юне О'Нил, дочери известного американского писателя и драматурга Юджина О'Нила в 1942 г., т. е. в возрасте 53-х лет.

— С каким?
— Подойди-ка поближе.
— Зачем?
— Подойди, тогда скажу. Не могу же я кричать во все горло.

— Не подойду. У тебя опять глаза страшные. Лучше бы ты использовал свою гипнотическую силу как-нибудь по-другому. Почему у тебя лицо такое?

— Уж какое есть. Другого у меня нет.

— А, знаю: ты похож на Жана Габена.

— На Жана Габена? Не думаю. В школе меня дразнили пауком. И еще говорили, что я похож на лошадь.

— Да, и на лошадь тоже. Немножко. Подбородок чересчур длинный. Я бы тебе его укоротила. Вот тут. — Она подошла ближе и показала пальцем, где именно хотела бы укоротить мой подбородок. И в эту минуту слышались шаги Маркиза.

— Сделай вид, что спишь, — прошептала она, личико ее исказилось, она на цыпочках отошла от меня, встала у гардероба. — Пожалуйста!

ГЛАВА VII

Я повернулся лицом к стене и слушал, как Маркиз открывает дверь. Вот он остановился на пороге. Плотную тишину изредка буравили долгие печальные звуки рога.

— Привет.

Маркиз не ответил. Открыл гардероб. Сейчас он увидит купальный халат, простыню и догадается обо всем, подумал я.

— Привет, — повторила она скорбно.

— А, ты здесь? — Голос его дребезжал от волнения. — Уйди, исчезни. Испарись! — Он, видимо, толкал ее к двери. Оба тяжело дышали.

— Но, Рафаэль...

— Никогда не называй меня Рафаэлем, тысячу раз тебе говорить! Я — Маркиз, жалкая кукла! А еще вот что запомни: не смей соваться в мое будущее. Я уж сам разберусь, что со мной будет.

— Да что ж я такого сделала, медвежоночек?

— Вчера вечером. Вчера вечером ты вздумала молоть какую-то чушь, будто видела на мне кровь. А у меня рубашка была вином облита, только и всего.

— Нет, это не вино, а кровь!

— Ничего подобного, вино. И знай: мое будущее касается меня одного. А теперь прости-прощай, как поется в танго. Ступай ко всем чертям. Чао! И не появляйся, пока у тебя не вырастут обе брови. Поглядишь в зеркало, чучело! У тебя же только одна.

— А ты тоже хорош! — закричала она вдруг. — Целую ночь напролет валялся с этой голштинской коровой, с этой жирной свиньей! Хотя что тут удивительного, вы ведь одного возраста.

— Ты смеешь?.. Ты смеешь упоминать о моем возрасте, ангел игрушечный из уцененки!

Маркиз, видимо, вытолкал ее из комнаты. С силой захлопнулась дверь, и снова стало слышно безутешное мычание рога. Маркиз подошел к моей кровати, постоял, я слышал над собой его прерывистое дыхание. Потом он куда-то скрылся и снова вернулся, бормоча что-то несвязное. Открыл балконную дверь, вышел и стоял долго, очень долго.

Я вспомнил вдруг про стертую бровь и не удержался — расхохотался громко. Маркиз бурей ворвался в комнату.

— Хорош! Притворяется, будто спит! Мало этого — он еще и смеется!

— Как же не смеяться? — Я высунул голову из-под одеяла. — Мне снился цирк. «Послушай, Редька», — говорил клоун Латук...

— Редька? — Он подошел к моей кровати. — Должен тебе сказать, что как-то раз в Боливии, — он сжал зубы, — в Боливии один тип, которого я считал своим другом, осмелился...

— Это оттого, что ты поехал в Боливию.

— Моя месть была чисто восточной, столь утонченно-жестокоей, что я до сих пор горжусь, вспоминая о ней.

— Ну, а к чему это все? И кроме того, плевать я хотел на твои угрозы.

Он сжал кулаки:

— Ты что, дурачком меня считаешь?

— Нет, дурачком не считаю, это точно. Скажи лучше, мне интересно, что ты в Боливии делал? В каком году ты там был? При Вильярроеле? Его разве не вздернули на фонарь?

Маркиз отошел к гардеробу, стал смотреться в зеркало.

— Для тебя тоже готов фонарь, правда-правда. Ты Карлоту спроси, она наверняка твое будущее видит и там — фонарь.

— Идиот, невежда. Вовсе не при Вильярроеле, а при Герцоге. И, чтоб ты знал, я был государственным советником по делам печати. Звание мое звучало, конечно, по-другому, потому что я иностранец. Но если тот тип мне еще раз встретится...

— Гордиться будет он. В самом деле, ты слышал, последние вести из Боливии весьма неутешительны. — Он вытаращил на меня глаза. — Ладно, Маркиз. — Я сел на кровати. — Давай поговорим. Ты сам во всем виноват. Как тебе пришлось в голову оставить ее здесь в постели одну? Я что, по-твоему, евнух, а ты — султан? И потом, я же не знал, что ты так ею интересуешься. И, да будет тебе известно, она всю ночь просто бредила тобой.

— Заткнись. Катись со своей брехней куда подальше.

— Нет, серьезно, все время твердила: «Рафаэль, Рафаэль, Рафаэлито...»

Огромная туфля Маркиза пролетела над моей головой, стекло балконной двери уцелело чудом.

— Точнее целься, растяпа. А вот скажи лучше, что ты за свинство про меня рассказывал?

— Про тебя?

— Да, про меня.

— Я — про тебя? Столь незначительные темы меня не занимают.

— Ты уверен?

— Еще бы. Неужто ты в самом деле воображаешь, будто твоя персона может представлять для кого-то интерес и служить предметом беседы?

— Тогда скажи другое: не собираешься ли ты описать свои похождения в Боливии?

Маркиз замер на своей кровати:

— Сам пиши. Я могу тебе все рассказать. — Он лег в одной туфле, потом высунул из-под одеяла ногу, сбросил туфлю (я впервые увидел страшный шрам у него на икре). Взял туфлю, подержал некоторое время, поглядывая на меня, потом швырнул ее в дверцу гардероба и повернулся лицом к стене.

— Так ты же сразу врать начнешь. Я уже давно заметил: ты думаешь на один манер, чувствуешь — на другой, а живешь — на третий. Словно утконос.

— Это еще что за фигация?

— Зверь такой, очень редкий. Живое ископаемое. Свинья, откладывающая яйца, млекопитающее с утиным клювом...

- Как же можно сосать молоко клювом, идиот!
- Есть такой. Можешь посмотреть в энциклопедии.
- И как, ты говоришь, он называется?
- Утконос.

— Ну так ты возьми себе это слово вместо псевдонима. Педро Игнасио Утконос. А то Педро Игнасио Паласиос — хуже не придумаешь. Папаша твой здорово, видно, был чокнутый, что так тебя окрестил. Впрочем, для таких дерьмовых рассказчиков...

- Ладно, ладно. Псевдоним неплохой. Мне нравится.

Я подумал, что, когда злость остынет, Маркиз станет опаснее. Пусть лучше сразу выльет на меня все.

— Кстати, скажи-ка, как ты провел ночь. Шикарно, наверное?

Он не моргнул глазом:

- Сколько раз вы с ней?

- Не мучь себя.

— Не в том дело. Просто мне надо рассчитать свою месть.

Мы молчали. Головная боль у меня прошла, но теперь на меня напал вдруг голод. Я предложил Маркизу пойти куда-нибудь. Он отрицательно покачал головой. Тогда я оделся, вышел, у киоска на углу съел порцию яичницы с ветчиной и выпил бутылку пильзенского пива. А карманы набил всякими булками... Но мыслить сколько-нибудь свя-зано я все еще не мог. В голове словно царапался кто-то. И как иногда черные точки плывут и плывут перед глазами, исчезают и набегают вновь, так и она стояла все время перед моим взором — нежное тело в хлопьях мыльной пены, тонкая кожа светится изнутри, будто китайский фонарик. Горят весельем жучки-глазки, и слышится смех. Она, проклятая, самого Альфонса Мудрого¹ могла бы охмурить.

Думать о Маркизе мне было трудно.

А может быть, не хотелось.

Я подошел к газетному киоску, попросил газету — почитать. Товарищ, работавший там, тайно торговал нашим еженедельником и разрешал мне даром просматривать газеты и журналы.

- Видали, товарищ? Китайцы Кантон взяли!

— Да, да, прекрасно! — Я стал смотреть, что идет в кино. Ничего интересного. Сплошная ерунда. Только один вечерний сеанс — «Разбойник» Сандрини. Может,

¹ Альфонс X (1252—1284) — король Кастилии и Леона.

пригласить Худышку? Она любит фильмы Сандрини, хохочет всегда, как сумасшедшая.

— Где этот кинотеатр?

— На Систерна. А вот глядите: в Риме обнаружили останки святого Петра.

— Не выйдет, черт возьми. Очень уж далеко.

— Что далеко?

— Не Рим, конечно. Я про кинотеатр говорю.

Я поблагодарил киоскера — мы крепко пожали друг другу руки, по случаю взятия Кантона, надо думать, — и пустился бродить по улицам центра. Начинало темнеть.

Все еще не мог я опомниться. Постоял, прислонясь к фонарному столбу, выкурил пару сигарет. Потом стал разглядывать витрины: у Гобелинос — модные рубашки, цены просто бешеные, на Ла-Виль-де-Нис — пиджаки *de cotelé*¹, холодильники, набитые аппетитными на вид восковыми фруктами и овощами... На Аламеде какой-то шарлатан с живой змеей, обвитой вокруг шеи, пытался всучить прохожим чудодейственную мазь, помогающую от простуды, от рака, от рожи... Вернулся я домой по улице Бандера.

Воскресными вечерами улицы центра кажутся особенно печальными. Веет от них цепенящей тоской, словно от старого семейного альбома, где вечно улыбаются кому-то давным-давно покинувшие наш мир прабабки; валяются в грязи лотерейные билеты — бедные, хрупкие надежды человеческие; мертвенно-бледные существа ползут по тротуару, мечтают, пусть хоть что-то произойдет, пусть даже беда какая-нибудь, лишь бы всколыхнулась бесцветная их монотонная жизнь; ветер волочит по земле старые газеты, колышет занавеси, за окнами — пустота, только слышно, как сонные мухи жужжат. Я сворачиваю за угол, слышу издалека чьи-то шаги, долго отдаются в ушах чавкающие сырые звуки. Худенькие женщины с опущенными глазами торопливо стучат каблучками; встретившись со мной, они осеняют себя крестом, словно какой-то безымянный грех гонится за ними. И окаянная эта воскресная тоска охватывает душу, облепляет, будто жевательная резинка.

Я надеялся, что Маркиз уже спит. Но нет. Он по-прежнему лежал на спине, заложив руки под голову, глядел не отрываясь в потолок.

— Ты еще не спишь? — Он не удостоил меня ответом. — А я думал, ты устал. — Я начал раздеваться. —

¹ Здесь: вельветовые (фр.).

С этой теткой, наверно, не так-то легко тебе было. Чтоб эдакая гора мяса осталась тобой довольна... — Он задышал чаще. — До каких пор ты будешь дуться?

В эту минуту серый шарик с круглыми глазками, скорей красными, чем черными, метнулся по диагонали через комнату — храбрый мышонок! Как стрела промчался он перед нашими глазами. Маркиз вскочил с дьявольской ловкостью, бросился вслед, прыгая на одной ноге. Бедный мышонок обезумел от ужаса. Не зная, куда деться, сунулся было под мою кровать, но Маркиз достал его ногой, мышонок выскочил и застыл в отчаянии, неподвижный, тихонько попискивая, поднял передние лапки, словно хотел закрыться, не видеть своими глазами приближающуюся гибель.

Удар носком туфли в брюшко. Отвратительное розовое пятно тотчас расплозлось по стене. А рядом — серенький шарик, вздрагивающие в агонии лапки.

Маркиз вытер штаниной туфлю и снова улегся.

— Что тебе сделал мышонок, несчастный? Что тебе сделал бедный зверек?

— Ничего.

— Зачем же ты его убил?

— Если бы он мне что-то сделал, никакого интереса бы не было его убивать.

— Не понимаю. Некоторые твои поступки я, говоря откровенно, просто отказываюсь понимать. И не только отказываюсь понимать, а они мне глубоко отвратительны.

Маркиз вызывающе улыбался.

— Ах, ты не понимаешь? Не догадываешься, что такого рода вольные упражнения спасают тебя от излишней чувствительности? Взгляни-ка на это пятно на стене. Гляди! Красная капелька расплылась по белой штукатурке, чудесный получился рисунок. И пойми: с таким нежным сахарным сердечком ты далеко не уедешь. Займись лучше разведением канареек!

— Ах, вот что? Сукин ты сын, нигилист сумасшедший! Ладно, убивай мышей, раз ты считаешь, что таким образом... Великолепное ремесло. Но тогда начни хоть писать по крайней мере!

— Я? Писать?

— Да, Маркиз, пиши! Пиши! Ты можешь создать хороший роман. Горький, жуткий, конечно, но хороший.

— Так вот ты мне что предлагаешь?

— Да. Попробуйся. Ты же ничего не теряешь. Если не удастся... Ну и ладно, одной неудачей больше.

Маркиз побледнел как смерть:

— Писать? Стать, значит, сообщником?

— Сообщником? Чьим?

— Как это чьим? Кто меня будет читать здесь? Негромные крестьяне? Рабочие, которые в неделю зарабатывают столько, сколько стоит одна книжка? Читать меня будут те, кто избивает нас палками, гноит в тюрьмах. Если они восхищаются твоими писаниями, значит, считают их безвредными. Если дают тебе стипендию или какое-нибудь местечко, значит, уверены, что тебя можно купить, ты продаешься и становишься придворным шутком, а они посмеиваются у тебя за спиной. Ты что же мне предлагаешь? Чтоб я их забавлял? Как обезьяна в клетке? Как дрессированная собачка? Где же твоя пресловутая идейность, о которой ты везде трубишь?

Пятно на стене, серенький шарик, окоченевший хвостик, похожий на вопросительный знак... Я не мог больше молчать:

— Ложь! Все ложь! Не смей мешать меня с грязью! Писать надо для того, чтобы показывать людям — смотрите, нашу жизнь превратили в дерьмо, а ведь жизнь-то все-таки не дерьмо. Полно тебе корчить из себя отрицателя всего на свете! Я ведь знаю, на самом деле ты только одного хочешь — скрыть свое бессилие. Я пишу для людей. Пусть нет у меня пока читателей, я верю: они будут... И я пишу потому, что надеюсь, верю в победу. Вот почему я пишу! И, конечно, не для жалких перебежчиков, которые делают совершенно ненужные пакости, чтобы сорвать хоть на ком-то свои неудачи... Пишу, черт возьми, потому, что хочу писать. И хватит поливать меня всей этой гадостью, можешь свой разъедающий пессимизм оставить при себе. С меня довольно. Понял? Довольно с меня!

Он глядел все так же вызывающе. Удивительно наглый тип!

— Вранье, — сказал он наконец спокойно и сплюнул.

— Нет, не вранье!

— Вранье, вранье. Сам знаешь и утешаешься болтовней. «Пишу, потому что надеюсь...», — передразнил он меня. — Где ты ее видишь, надежду-то? «Верю в победу». Победа, виктория. Какая Виктория? Может, Виктория Акунья, ничего девочка, помнишь, я тебя познакомил? Ах, нет? Тогда о чем речь, о какой победе? Наверно, ты надеешься на победу Народного фронта? А Писагуа, а расстрелы шахтеров, а концентрационные лагеря — это что, по-

твоему, победа? Или ты готов пускать слюни от радости, что в Уачипато отлили столько-то и столько-то стальных болванок? Не понимаешь разве — наш континент проклят навеки? Мы — сточная канава, так повелел сам господь. Ну, выгнали мы испанцев — пришли англичане; выгнали их — пришли янки. Ни одного, ни единого дня не были мы по-настоящему свободны.

Маркиз явно отклонился от темы. Боялся, видимо, дойти до сути. Боялся спора с самим собой, со своим сердцем. Я ощутил вдруг острую жалость.

— Знаешь что? — Он слабо улыбнулся. — Я стал бы писать, если бы в романах можно было делать то, что Осума-Крысолов делает в живописи.

— А что? Что он делает? Я не знаю.

— Богачки аристократки заказывают ему свои портреты. Он славится как замечательный портретист. И конечно, каждая непременно желает выглядеть красавицей. Он берет бешеные деньги и пишет ее красавицей. Гретой Гарбо самое малое. Только он, негодяй, изобрел какую-то кислоту или что-то такое, не знаю, намазывает этой штукой холст с обратной стороны; через некоторое время состав начинает действовать, а через несколько лет на портрете появляются уродливые опухоли, пятна, глаза лопаются, как тухлые яйца, и разливаются по всей физиономии...

Дальше Маркиз говорить не мог — начал вдруг смеяться. Такого я еще никогда не видел: он задыхался, махал руками, живот и плечи тряслись, стучали колени.

Я глядел на него с изумлением. Маркиз заливался смехом. Он хохотал так заразительно, что я невольно тоже засмеялся, сперва негромко, потом все сильнее, сильнее и, наконец, сам не зная почему, принялся хохотать до упаду; слезы катились у меня из глаз, я изнемогал, я просто лопался от смеха. Мы подняли такой шум, что возмущенные соседи стали стучать в стену.

Внезапно Маркиз перестал смеяться. Ярость снова охватила его.

— Негодяй! — взревел он. — Подлый негодяй! Нарочно болтаешь без конца, надеешься, что я забуду... Жалкий писака! Предатель! — Он заикался, не находил слов, как бы еще обругать меня, и наконец плюнул в мою сторону; плевок не долетел до моей кровати.

— Потихе, Маркиз, не расходишь!

— Да, потихе, потихе. Ты еще у меня дождешься. Я тебя кастрирую ножницами. Попробуй только уснуть.

Усни-ка, я на тебя посмотрю. Отвечай же что-нибудь, мерзавец!

— Как же я могу отвечать, когда у меня челюсти свело со страху?

Маркиз посмотрел на меня. Взгляд был холодный. Над дрожащими его губами блестели жемчужинами капельки пота.

Мы наконец замолчали. Расстояние между нашими кроватями — меньше метра. Маркиз снова повернулся к стене. Я и в самом деле не мог заснуть, пока не услышал, как он храпит.

На другой день, первого августа, ранешенько утром я уложил книги в ящик из под сахара, взял под мышку свою одежду, завернутую в газеты, и переехал на новую квартиру.

Когда я уходил, Маркиз еще спал. Во сне он улыбался, кротко, безмятежно.

ГЛАВА VIII

Улица Льико в нескольких кварталах от Гран-авениды. Скромные домики, грустное достоинство плохо скрытой бедности. Голые кусты, колокольчик мороженщика, крик точильщика, бредет старуха — «Ми-и-и-ин-даль жарены-ы-ый!», катит грузовичок с зеленью и фруктами, собак вдоволь, и блох тоже, а уж детей — несметное число, играют в мяч на каждом углу.

Моя комната в глубине дома. Почти под самым потолком — окошко, затянутое паутиной, чуланчик без двери (вместо нее кретоновая занавеска), раскладушка, старая машинка «Смит корона», кресло — увы — лишь в элегических воспоминаниях, оно исчезло непонятно каким образом, и я навсегда остался при подозрении, что это — Маркизовых рук дело. Вот и вся мебель. Ну, а еда? Вы, может быть, вообразили, будто мне преподносят лангустов? Впрочем, трагедии никакой нет. Пансион как все пансионы, и кормят не хуже, чем в других местах: на завтрак суррогатный кофе с булочкой (предполагается, что она намазана маргарином); на обед — бифштекс, жесткий, как подошва, с одной картофелиной и листиком салата... Питание, как видите, вполне диетическое, избыток холестерина мне не угрожает. А что взвоешь с голодухи — это дело другое. Дни и ночи мечтал я о пикантной грудинке, о языках морских ежей, о супе из индейки, заправленном

маисом, в котором плавает добрый кусочек стегнышка. Попытался было читать «Песнь о чилийских блюдах и напитках» старого Де Рока, да весь залился слюной так, что пришлось бросить. Дела шли совсем неважно до той поры, пока я не догадался — слава тебе господи — покупать ливерную колбасу. Стоит гроши, всегда под рукой, сосешь и сосешь через дырочку, загибаешь снизу, как тубик с зубной пастой.

Но зато в этом пансионе — случаются же такие чудеса! — не было клопов. Без сомнения, они ознакомились с нашим меню, потому и не являлись. А еще удивительнее то, что обитатели пансиона не проявляли ко мне ни малейшего интереса. Так печально и монотонно катилось их собственное существование, что даже любопытства к чужим делам у них не осталось.

Конечно, радоваться особенно нечему, не правда ли? Впрочем, и времена настали такие, что не обрадуешься. Да вдобавок после этого проклятого дня рождения Маркиза (не придирайтесь, мне очень хочется именно так его называть) оставался в душе неприятный осадок. Некрасиво получилось. Нехорошо. Скользишь по наклонной плоскости, приятель, того и гляди скатишься в лужу, погрузишься в мутные воды богемного существования. Бесплодного существования.

Надо признаться: мне не удавалось забыть ее ножки, такие нежные, гладкие, покрытые, будто персик, золотистым пушком, они словно впечатались в самую душу. Как я гладил их, как целовал! Но в конце концов надо же выбросить Фиолету из головы, надо начать спокойно работать. От всего этого было совестно, тоскливо. Жизнь Фиолеты. Сколько таких, как она, мечутся по воле волн, будто утлые суденышки без руля и без ветрил, будто стрекозы с оборванными крылышками. А еще больше мучила мысль о Маркизе. Конечно, я не виноват, если вообще можно тут говорить о какой-то вине. Скажите, положи руку на сердце, кто на моем месте поступил бы иначе? Не найдется такого Савонаролы. И все-таки без конца вспоминал я, как Маркиз ходил из угла в угол, бормоча что-то непонятное, как долго-долго стоял на балконе, глядел, наверное, ей вслед.

Вдобавок давний мучительный вопрос снова встал передо мною: чем заниматься? Политикой или литературой? Попробуй-ка выбери! Но зачем выбирать, ведь эти два вида деятельности вполне совместимы. Ну, совмести, посмотрим, ха-ха! Только не в теории, а на деле. Ну-ка! Судите

сами: в сутках, как известно, всего лишь 24 часа. Из них 7 уходит на сон, 8 — чтобы заработать на бобовую похлебку (дон Армандо дал мне толстенный, в семьсот страниц, роман Джеймса Джонса, и я должен его перевести), считайте еще, сколько времени идет на поездки в автобусе, на мытье, на чтение газет, на поглощение пищи, на то, чтобы освободиться от таковой... Что же остается? А ведь тебе еще и задания дают, так где же, черт побери, взять время, я уж и не говорю — на то, чтобы самому писать, а хотя бы на то, чтобы читать Томаса Вульфа, Грасильяно, Элюара? А если тебе к тому же хочется еще и посидеть иногда в кафе до рассвета, болтая всякие глупости, или пойти на холм, поглядеть, как запускают бумажных змеев, заглянуть в бар возле бойни — просто так, послушать сочную, забористую речь мясников? А где взять еще целый день — прекрасный день, чтобы прокатиться, без всякого дела, для собственного удовольствия, на крошечном грузовичке моего кума Перальты, что развозит вино по городишкам Ранкагуа?

А женщины? Ах! Женщины! Разве может что-либо заменить их?

Скажи-ка, с чем можно сравнить те два часа, что ты бродил с Эухенией от витрины к витрине в Галерее Реаль и держал в своей ладони ее ручку? А с Ауророй мы сидели на скамейке на холме Санта-Лусия и по очереди, одну ягодку за другой, объедали кисть винограда. Я уж не говорю о Росе, которая приросла ко мне, как собственная моя кожа, о мужественной Росе Худышке с допотопными косами и губами, пламенеющими, как цветок аньяньюка¹. Стоит мне закрыть глаза — я вижу Росу и вспоминаю свою юность. И что мне делать, если в то же время я буквально схожу с ума от яростного желания видеть Фиолету? Я борюсь, я пытаюсь заклясть ее: прочь, дьяволенок, прочь, ступай к своим сестрам-белкам прыгать по веткам где-нибудь в парке!

А без всего этого потока чувств, впечатлений, переживаний, или как они там еще называются, что же ты сумеешь написать? Может, собираешься сочинять рассказы из жизни инопланетян? Или толковать о прибавочной стоимости в соответствии с учением Маркса?

Но самое худшее, самое-самое, — это то, что едва лишь я выполню одно задание, мне тут же дадут другое. Так я и знал. Времена такие, что дела хватает, а нас ведь очень

¹ А н ь я н ь у к — лесной цветок красного цвета.

мало. Вдобавок мне посоветовали не посещать бары и кафе — они кишат соглядатаями. И не давать никому свой адрес. И не выходить из дому без крайней необходимости. Словом, жить как монах в келье, что вы на это скажете!

Трудный вопрос, очень трудный. Будто тебя спрашивают: какую руку тебе отрубить? Или какой глаз выколоть?

— Это почетное задание, товарищ.

— Да, конечно, я понимаю, но дело в том, что...

— Без всяких *делов том что*, без всяких!

Задание и вправду почетное. Очень почетное! И вопрос, меня терзающий, теперь я вижу ясно, не столь уж страшен. Просто надо опять постараться приспособиться, совместить, не в последний раз. Все равно что переехать в другой город, в другой квартал... Ты привык к определенным темам, они тебя волнуют, вдохновляют твоё перо, и ты забываешь о сне и пище, а потом они уходят. Уходят, а новые жизненные впечатления еще не отстоялись. Ты ведь чувствуешь, что переживаешь новые сюжеты, новые рассказы. Но вся трудность в том, что они не обрели пока четких контуров, лица, плоти. Они как бы скользят по поверхности сознания. Стекают с тебя, как с гуся вода. Ты ими живешь, но сам этого еще как бы не замечаешь.

Ослиный бред, правда?

Я должен править корректуры подпольного издания «Всеобщей песни»¹. Переносить правку с листов, правленных одной девушкой, тоже из наших. Почерк у нее мелкий-мелкий, с нажимом, истинно женский. Пусть бы нам хоть позволили работать вместе!

— Нет, товарищ, листы розданы разным людям. И не пытайтесь узнавать, кто она. Слишком многое рискуете вы поставить под удар. Вы не подумали, чего стоит партии этот огромный том? Сколько понадобится бумаги, представляете? Посчитайте-ка.

— Нет, говоря откровенно, об этом я действительно не подумал.

— Ну, а мы подумали. Нам обо всем приходится думать.

Никогда еще за всю свою бурную, фантастическую, необычайную жизнь не издавал Неруда такой огромной книги. Десять тысяч экземпляров — массовый тираж, в

¹ «Всеобщая песнь» — произведение Пабло Неруды (1904—1973). Полностью увидела свет 3 апреля 1950 г. в Мехико. Одновременно в Чили завершалось подпольное издание эпоса, начатое еще в то время, когда она писалась. Это издание было закончено 14 января 1951 г.

восьмую долю листа. Солидное издание, значительное. Притом — нелегальное, и притом — стихи. Такого не бывало никогда, нигде, ни в одной стране.

— Теперь вы видите, какая это честь для вас, товарищ? И к тому же вы первый прочтете весь том полностью. Тоже ведь не пустяк, не так ли?

— А вы не могли бы указать это в конце книги, где выходные данные?

— Слушайте, вы что, смеетесь?

Вот какой разговор произошел в тот день, когда я получил задание. Текст набирался (об этом я узнал гораздо позднее) на складе зерна, куда тайно доставили линотип. Напечатанное на линотипе передавали в крошечную типографию в предместье, где для виду, чтобы сбить с толку полицию, печатали также «Ла Уаска» — еженедельный журнальчик любителей конного спорта. Однажды, правда, полицейские агенты устроили налет на типографию, один из них целый час сидел, опершись локтями на пачку печатных листов, но так и не догадался, не пришло ему в дурацкую его башку, что эти стишки как раз и есть то самое, что они ищут. Да и вправду, подумать только: как могли они предположить, что разбитые, загнанные в подполье, мы займемся изданием стихов?

Из типографии листы тайно распределяли по разным местам, где их брошюровали вручную. По ночам. С величайшими предосторожностями. Сброшюрованные листы упаковывали десятками и раздавали сочувствующим по всему городу. Таким образом при провале в руки полиции попала бы только самая малая часть издания.

Мысль о том, что я стану одним из винтиков механизма передачи, столь тщательно продуманного до малейших деталей, взволновала меня. Еще бы! Я понимал всю ответственность задания. Ясно понимал. И увлекался своей работой до того, что даже забывал о ливерной колбасе. Одно только обидно — так и не придется мне поработать вместе с единственной незнакомкой-корректором.

Единственный человек, с которым мне приказали держать связь, был молодой молчаливый рабочий, жесткий, как вяленое мясо. Хотя мрачным я бы его не назвал, нет. Однажды он даже улыбнулся. Мы с ним стояли у газетного киоска и читали про то, как янки досталось на орехи в Корее. Он мог бы, если надо, часами стоять на углу под проливным дождем и ни разу не пожаловался бы, даже не пикнул.

Он назначал встречу всякий раз в другом месте, в другом квартале, в разное время. Приносил новые листы. Я возвращал выправленные. Он давал мне пакет. Я давал ему пакет. И — чао, чао. Вот как оживленно мы с ним беседовали.

Если что-либо помешает нам встретиться, он позвонит позже. Я не знал, где его искать. Не знал даже, как его зовут! Он называл день и час встречи; ко дню следовало прибавить единицу, от часа отнять двойку. То есть, если он говорил — в понедельник в одиннадцать, это означало — во вторник в девять. То же и с местом встречи: если он говорит — на кладбище, значит, встречаемся в баре «Друг народов»; на стадионе — значит, в фойе кино «Республика». На случай, если телефон прослушивается. Как видите, эффектно, словно в детективном фильме.

Я держал корректуру по ночам, заперевшись на задвижку, проверял каждую букву. Работал сосредоточенно, незаметно летели часы, и не раз рассвет, голубевший в окошке, заставал меня на прежнем месте. Я сидел за столом, завернувшись в пончо. И не убежать, некуда. Понимаете, я часто представлял себе, как это будет. Выбивают дверь прикладами, врываются: «Попался, сволочь! С поличными!»

Ну и что ж, беспокоиться нечего, ничего они из меня не вытянут. Видите ли, страх перед пыткой — просто пустяк сравнительно с этой ужасной неуверенностью, а она все время с тобой, пока ты не сдал очередную порцию корректуры, — вдруг не выдержи, вдруг расколуюсь, стану подлым доносчиком. Не подумайте, будто я считаю себя героем, способным вынести самые утонченные пытки. Вовсе нет, отнюдь. Просто я же ничего не знаю.

«С кем ты связь держал?» — орут они.

«С рабочим» (почти все подпольщики — рабочие).

«Как его зовут?»

«Хуан Сото» (так зовут сотни людей).

«Худой? Низенький?»

«Да».

«Смуглый?»

«Нет. Вот ослы! Конечно, блондин. Разве вы не знаете, что почти все пролетарии блондины?»

Пинок ногой в одно место, за ним — град ударов.

Разумеется, после таких воображаемых диалогов мурашки бегали у меня по спине. Я слышал жужжание

проклятой бормашины. Вдобавок у меня началась отрыжка, видимо, обострилась язва.

Но всего этого еще мало: хозяин пансиона дон Просперо, семидесятидвухлетний ревматик в подтяжках, с искусственной челюстью, которая вываливалась у него изо рта через каждые две фразы, и он тут же пальцами засовывал ее обратно, постепенно повыспросил у меня все на свете (невозможно же постоянно отвечать человеку одним мычанием); в конце концов он обнаружил, что был приятелем моего отца. Дело весьма давнее, старик мой учительствовал тогда в Лоте в начальной школе, а дон Просперо был каким-то мелким служащим в конторе угольной компании Коусиньо.

Насколько крепка и продолжительна была эта дружба? Chi lo sa¹. Отца выслали во время всеобщей стачки за сочувствие шахтерам, он всенародно призывал поддержать их в крошечном, отпечатанном на ротаторе листке, заменявшем в тех местах газету; мой старик сам и писал, и печатал, и распространял его. Дон Просперо, напротив того, тянул лямку до самой пенсии.

Как бы то ни было, дон Просперо считал себя обязанным заменить мне отца, о чем и заявил решительно и безапелляционно. Только этого мне не доставало!

— Можешь считать меня своим отцом, Педрито, — сказал он, прихлебывая вино.

Последовали приглашения к обеду в воскресенье под навесом из дикого винограда, тушеная курица, пироги с мясом, цукаты, засахаренные фиги; под столом ходили куры, поклевывали мои туфли.

Донью Рефухио он увидел впервые на концерте в филармонии; это была любовь с первого взгляда, без сомнения; у нее тоже то и дело вываливался изо рта протез. Она была добрая старушка, рано поседевшая, романтическая, с водянистыми глазками, и постоянно носила в кармане фартука крошечный транзистор, чтобы, не дай бог, не пропустить как-нибудь очередную повесть о любви. Муж помогал ей чистить кукурузу и сбивать майонез, чинил крышу (по-моему, ему ни разу так и не удалось сделать это толком, ибо с потолка частенько лило, как из душа) и спал с двух до четырех дня; в Армаде у него был сын от первого брака; по вечерам старик стоял на пороге дома, прислонясь к косяку, глядел на закат.

¹ Кто знает (ит.).

— Ничего не подделаешь, — говорил я шутя, — вы двое составляете цветущее убежище¹.

— Убежище — может быть, — отвечал он, вытягивая шею, торчавшую из слишком широкого воротничка рубашки. — Но цветущее — вот это нет, никакой надежды! Она, — старик кивал в сторону жены, — не захотела родить мне детей, а без детей какое может быть процветание.

— А почему вы не взяли ребенка на воспитание?

— Ну нет. Очень уж отчаянная молодежь нынче пошла. Попробуй только сделай ему замечание — сейчас же тебя отбреет. И такие они испорченные, всякие у них идеи. — Еще глоток вина и настороженный взгляд.

— Это верно, — отвечаю я печально и сбрасываю курицу, которая умудрилась тем временем взобраться ко мне на колени. — Впрочем, вам не на что жаловаться, дон Просперо. Супруга глядит на вас с любовью, чего же вам еще?

— Она? — Он снова кивает в сторону жены. — Да, правильно, глядеть — это она умеет.

Старушка кокетливо мизинчиком собирает в кучку крошки на скатерти.

Такие вот дела, как тут отказаться от приглашений? А с другой стороны, благодаря дону Просперо я многое выяснил об отце. Как мало мы знаем о стариках! А я о своем — меньше всех, он, как истинный уроженец Лоты, умел молчать. Дон Просперо вспоминал, как умирала от тифа мать, мне было тогда пять лет; как праздновали их свадьбу, а дон Просперо был шафером; да еще каким! Собрались в помещении профсоюза, так хотел отец. Как вместе охотились они на пуму в горах возле Науэльбута (я помню шкуру, уже потертую, у нас в доме...). Все это, разумеется, очень мило, но создавало массу сложностей. На правах близких людей старики входили в любой час в мою комнату; то донья Рефухио принесет мне блюдечко сбитых сливок, то дон Просперо — свежий номер журнала «Эрсилья». Весьма трогательно, однако приходилось все время быть начеку, и я испытывал постоянную тревогу.

В тот день, когда я узнал, что Неруда сумел вырваться из кольца, которое все теснее и теснее сжималось вокруг него, пересек Кордильеры и, целый и невредимый, прибыл в Париж (мне сказал об этом мой связной, он в тот день против обыкновения разговорился. «Выехал из страны», —

¹ Просперо (prospero) — цветущий, Рефухио (refugio) — убежище (исп.).

сообщил он мне. «Да?» — спросил я. «Да», — отвечал он и тут же умолк окончательно), я выпил целую бутылку вина. От радости. Один. Тем не менее, попивая вино, я сообразил все обстоятельства и рассуждал так: ищейки, что ходили по пятам за Нерудой все это время, чем они займутся теперь? Обрушатся с удвоенной злобой... на что? На кого?

Я вернулся к себе в комнату. Вино меня взбодрило, стало весело, черт возьми, очень весело. Прежде всего надо подставить таз — дождь идет сильный и первые капли — буль-буль! — уже начали шлепаться на мой рабочий стол. А теперь (голова у меня, правда, кружилась немного и перед глазами плыло) — за работу:

Я не один средь этой ночи —
народ, его не сосчитать.
Пересекая тишину, мой голос
бросает зерна в темноту¹.

Да! Вот оно! Вот оно! Несть числа одиноким, и одиночество их прошито кровавой нитью единства. Нас заставили жить во тьме. Без имени, без лица. За границами смерти. Но мы созреваем во тьме!

От волнения я высосал половину ливерной колбасы и все читал и правил, как безумный, как одержимый, не знаю сколько часов подряд. Вдруг ветер с силой распахнул окошко. Я взобрался на кровать, чтобы закрыть его, и — словно сердце подсказало — выглянул на улицу.

Проклятие! В такое позднее время. Сомнений нет. Окутанная туманом улица совершенно безлюдна, и в тумане ясно вырисовывается силуэт: коренастый, коротконогий, в низко надвинутой широкополой шляпе. Повернулся сюда.

Ужасно захотелось курить; я принялся искать по всей комнате, я всегда прячу несколько сигарет про запас, иногда так запрячу, что, когда найду, они уже все пожелтели; наконец отыскал одну, помятую «Кабанью». Затянулся раз семь и опять залез на кровать.

Стоит, проклятуший, на прежнем месте. Ни на один сантиметр не сдвинулся. Окаменел он, что ли?

В который раз спрашиваю себя о главном: догадался ли Неруда, он ведь вовсе не легкомыслен, сделать копию книги и спрятать в надежном месте. Конечно, не такой он дурак! А тогда пусть приходят. Пусть ищут, где хотят.

¹ Пабло Неруда. Собр. соч., т. 3. М., 1979, с. 285. Перевод И. Эренбурга.

Пусть найдут (они лежат под матрасом) две толстые школьные тетради по двести страниц каждая, в которые я переписал от руки всю книгу. Уникальное издание, в одном экземпляре. Первое, самое первое. До сей поры храню я его!

Эти звери сжигают тетради, я вижу, как коробятся от жара, чернеют бедные мои листки. Потом подталкивают меня прикладами, сажают на горящие угли.

Ха-ха! Оригинал в безопасности, он уже в Париже, весь, полностью! Снова залезаю на кровать. Стоит. Неподвижный, руки в карманах. Вдали появляется тележка булочника. Что ж, хорошо, по крайней мере, свидетель. И в эту незабываемую минуту в розовом домике на углу приоткрывается окошко, чья-то обнаженная рука протягивает моему стражу большой картонный ящик. Что в нем? Марихуана? Атомная бомба? Да хоть Минотавр, ей-богу, мне совершенно безразлично. Негодяй ставит ящик на плечо и, тяжело шагая, удаляется в направлении Гран-авениды. Туман поглощает его.

Ложная тревога. Вот и все. Можете выходить из убежищ. Только теперь я замечаю, что весь в поту с головы до ног. И спина страшно болит. И все-таки, хотя начинает уже светать (не знаю откуда, черт меня побери, взялись силы!), послунив карандаш, я продолжаю:

...я просыпаюсь на рубеже твоей главной зари,
переполненный сладостью плодов и гневом,
вершитель твоей нежности и мести,
зачатый твоим детородным млеком,
вскормленный кровью твоего наследья¹.

ГЛАВА IX

Вот так ковыляли неспешно ленивые недели; дрожали от холода под последними дождями; радовались, глядя на первые бумажные змеи; коченели ледяным сентябрем; мрачнели в сомнениях.

В пятницу — да, это была пятница, я твердо помню, пятница, тринадцатое — произошло нечто неслыханное. Такое забыть нельзя.

Новая жилища пансиона: «Сеньорита Анхелика» —

¹ Пабло Неруда. Собр. соч., т. 3. М., 1979, с. 211. Перевод С. Гончаренко.

«Очень приятно, к вашим услугам»; прозрачно-голубоватая кожа, горящие глаза, костюм на заказ с плиссированной юбкой, чахоточный кашель, глухой, с мокротой, страшный, как в бочку бухает. Несмотря на кашель, сеньорита Анхелика с первого же дня покорила всех нас. Неотразимое обаяние, достоинство, что дается привычкой к страданиям, что-то в ней было такое... не знаю. Высокое, свет какой-то неуловимый. Не то чтобы очень умна, тут другое: слушаешь ее — и словно запах магнолий разливается в воздухе или нежно звенит где-то мандолина.

Ее посадили за один стол с двумя кислыми старыми девами, из тех, что кладут к себе в кровать кошек и беседуют громогласно; но после сладкого некоторые (их с каждым днем становилось все больше) придвигали стулья, усаживались поближе к сеньорите Анхелике — послушать ее. Всех очаровала сеньорита Анхелика, ибо было в ней то самое «что-то», неуловимое, неопределимое. И все огорчались, слыша ее кашель.

В ту пятницу сеньорита Анхелика вышла к обеду с опозданием. Села. Хотя нет, про нее нельзя сказать «села», никто никогда не слышал, как она отодвигала стул, она скользила, будто тень от облаков. Начала есть суп. И тут из кухни, словно смерч, вылетела совершенно неузнаваемая донья Рефухио. Яростно вырвала у сеньориты Анхелики ложку: «Это не ваша ложка, сеньорита. Вы же прекрасно знаете». Донья Рефухио схватила другую ложку, пыталась силой вложить ее в руку сеньориты Анхелики.

Глаза доньи Рефухио сделались стальными, холодными, жесткими.

Сеньорита Анхелика вышла из столовой; старые девы начали что-то объяснять, пытались оправдать как-то донью Рефухио: «Чрезвычайно неблагоразумно со стороны доньи Анхелики! Ей следует соблюдать осторожность. Она же знает, что у нее отдельный прибор».

Старые девы орали, размахивали руками; все тут было: и собственные потерянные надежды, и зависть, и злоба. Все вместе. Мы смотрели на них молча. Мы не знали, что делать.

Я отправился в ванную, нарочно чтобы пройти мимо ее двери. Остановился, прислушался. Плачет. Я тихонько постучал в дверь. Она не ответила.

Подлая нищета! Хотелось драться, топтать ногами! Скажите: что тут делать? Что можно сделать, черт меня побери совсем? Как поступать в такие вот минуты? Пусть бы мы

все заразились к дьяволу, лишь бы не пришлось ей вытерпеть такое унижение, лишь бы она не плакала!

В детстве читал я один рассказ, мне его дал отец; не похож он был на обычный рассказ. Про девочку с чудесными рыжими волосами, с золотыми, огненными кудрями. Во Франции все это происходило, в какой-то из провинций прекрасной Франции. Все смотрели на девочку, все ей завидовали, все восхищались великолепными ее волосами. И вдруг учительница обнаружила у девочки вшей.

Какой скандал, какой ужас!

Учительница потащила девочку в парикмахерскую и велела остричь ее наголо. И автор рассказа, не похожего на другие рассказы, кончает такими словами: «Ради одних только этих рыжих кудрей не стоит разве сделать революцию?»

В довершение всего в тот же вечер кто-то постучал в дверь. Голоса сливались, но через несколько секунд я уже не сомневался, что за мной пришли. Служанка не уступала: «Как это вы могли забыть фамилию? И вдобавок хозяйки сейчас нет. А он не велел его беспокоить, он работает».

Каким образом, черт побери, могли они узнать мой адрес?

Я стал наспех прятать бумаги и тут, уже под самой дверью комнаты, услышал голос Маркиза:

— Открой, это я.

Он был в волнении:

— Зачем ты запираешься на задвижку среди бела дня? Невинность свою бережешь, что ли? — И тут же, без передышки, стал путано объяснять что-то, я ничего не мог понять. Усадил его, дал сигарету, сам ее зажег (Маркиз оказался не в состоянии это сделать).

— Давай посидим, покурим. А потом все расскажешь.

— Времени нет, дело срочное.

— А откуда ты узнал, где я живу?

— К дьяволу, не все ли равно! Ты должен мне помочь.

Маркиз похудел, щеки небриты уже несколько дней, на штанах, на рубашке целая коллекция разноцветных пятен.

— Тогда говори толком, а то я ничего не понимаю.

В конце концов мне удалось уловить смысл происшедшего. Кто-то позвонил Маркизу по телефону: есть к нему поручение, весьма деликатное. Надо поговорить с глазу на глаз. И больше ничего не сказал.

— Чилиец?

— Нет, венесуэлец. Договорились встретиться сегодня

в четыре в баре отеля «Крильон». — Маркиз не хочет идти один, отыскал меня, пусть я его сопровождаю.

— А почему тебя волнуют такие пустяки? Может, просто какой-нибудь поклонник твоего таланта.

— Не издевайся.

— И зачем я должен...

— А кто же еще? Нет, только ты. И давай быстрее собирайся, уже скоро три.

— Но я не хочу.

— Почему?

— Ну, мало ли почему. Завтра надо обязательно перевод сдать...

— Это не причина. Кончишь ночью.

— Вообще мне ни к чему все это. В самом деле, для чего я пойду? Что я — шпион? Телохранитель?

— Я никогда не просил тебя ни о каком одолжении. — Маркиз бросил сигарету, придавил ногой.

— Правда никогда?

— Ладно, может, когда и просил, но сегодня — в последний раз. — Он тянул меня за рукав, и вид у него был такой несчастный, что я, — черт возьми, всегда этот хитрец своего добивается! — я в конце концов уступил.

— Но если мы идем в «Крильон», так побрейся по крайней мере. — Я достал электробритву, дал ему. — И причешись, и умойся. Ты же запаршивел весь.

Он не хотел, я настаивал — иначе не пойду. Получилось, однако, еще хуже: Маркиз весь исцарапался, и теперь лицо его было залеплено полосками голубой туалетной бумаги.

До центра добрались на автобусе, оттуда — пешком, чуть ли не бегом. Маркиз шел впереди, ловко, будто ящерица, пробираясь сквозь толпу. На углу Агустинас остановился, поджидая меня.

— Я передумал. Мне там не нравится. Будут все глазеть. Мы с ним перейдем в бар на Бандера; а ты ступай вперед и жди нас там. Когда придем, я тебя приглашу за наш столик. И ты не разговаривай. Только слушай.

Так я и сделал. За столиком недалеко от входа сидели Фауно, Чино, Толстый Соса и другие мои приятели-журналисты; я отказался от их приглашения и отыскал свободный столик в глубине зала.

— Нет, я закажу попозже, — сказал я официанту. — Я жду друзей.

Явились наконец. Незнакомый рослый господин

в очках, в элегантном английском плаще. Держался он уверенно, непринужденно.

— Я думал, мы будем разговаривать наедине. — Господин пожал мою руку и удивленно взглянул на Маркиза.

— Не вижу причин, — отвечал Маркиз, усаживаясь.

Я посторонился, пропуская сильно надушенную блондинку; она поднялась из-за соседнего столика со словами «Auf wiedersehen»¹. После нескольких недель напряженной работы шум голосов оглушал меня, звуки музыкального автомата казались ужасными, а ситуация чрезвычайно неприятной и двусмысленной.

— Я ненадолго, я тороплюсь.

— Если ты уйдешь, я уйду тоже.

Господин внимательно посмотрел на нас, сначала на одного, потом на другого.

— Пожалуйста, садитесь. — Он сам подвинул мне стул, спросил, что мы будем пить. Заказал себе «bloody Mary»² (это еще что за мерзость?). Я решился лишь на чашку «капуцина», Маркиз попросил бутылку пива.

— Итак, Рафаэль, вот мы и встретились. — Господин улыбнулся, показав до того белые ровные зубы, что мне даже как-то не по себе стало. — Или мне следует называть тебя Маркизом?

— Все равно. Только скажите: почему вы говорите мне «ты»?

Глаза за очками сверкнули, но... и только. Господин был на удивление кроток.

— Хорошо, хорошо. Только, простите мою настойчивость, нельзя ли нам перейти куда-нибудь, где потише? Здесь такая сумятица, столько народу...

— А по-моему, здесь хорошо. Не правда ли, Педро, — Маркиз, конечно, сочинил все тут же, — не правда ли, мы с тобой любим этот бар?

Господин обвел глазами стены, увешанные потемневшими картинами с изображениями попугаев, борзых собак и лошадей; они остались от тех времен, когда этот бар считался элегантным.

— Тут такой рев стоит... ну да ладно, если вам нравится, мы можем поговорить и здесь.

— А о чем?

«О чем» прозвучало неожиданно резко, взорвалось, как

¹ До свидания (нем.).

² «Кровавая Мэри» (англ.) — название коктейля.

граната. Что за несчастную тайну в жизни Маркиза суждено мне узнать?

— Мне дано весьма деликатное поручение, — спокойно, внушительно. — От Алехандро; он почтил меня своим доверием и тем доказал, как высоко ценит нашу дружбу. Я говорю о вашем отце. — Господин поправил очки. — Вас это удивляет? Я рад, что здесь присутствует ваш близкий друг. Мы вместе все обсудим, спокойно, трезво и благожелательно.

— Что ему надо?

— Он хочет вас видеть. Это все. — Маркиз собрался было ответить, господин жестом остановил его. — И еще одна просьба, совсем особая: не отвечайте сразу. Обдумайте. Алехандро предвидел, что первой вашей реакцией будет отказ; потому-то я и пришел сюда. Объезжаю Южную Америку по своим делам и вот... Алехандро не хотел писать вам, не говоря уж о том, что вашего адреса у него нет.

— А вы кто такой? — Маркиз перестал ломаться.

— Я в некотором роде компаньон вашего отца. И адвокат тоже, хотя вообще-то почти не занимаюсь адвокатской практикой. И его друг, мы дружны всю жизнь.

— Какая муха его укусила? Мы уже много лет не имеем дипломатических сношений, как говорится. С чего это он вдруг вздумал соваться в мою жизнь?

— Рафаэль, прошу вас, ваш отец болен, достаточно тяжело болен. Глаукома на обоих глазах, и с сердцем не слишком благополучно. В прошлом году его оперировали в Испании, но лучше не стало. Давайте поговорим. Если надо — хоть весь вечер. Будьте же благоразумны. Ваши чувства благородны, но они затемняют ваш разум. Позвольте, я объясню кое-что.

Официант принес заказанное, разговор прервался. Фауно что-то кричал мне из-за своего столика, махал руками, но ничего нельзя было расслышать. Из музыкального автомата неслась полька «Боченочек». Господин неторопливо прихлебывал свое странное пойло, пристально глядел на Маркиза поверх бокала. Пойло походило на кровь.

Я чувствовал себя так, будто иду по узкой жердочке, а внизу подо мной — трясина. Какие же мы дураки с Маркизом! Один вид пожирает другой — таков закон звериной жизни... Маркиз налил себе пива, пена выползла на стол; по-моему, он сделал это нарочно. Мы с господином принялись вытирать лужу салфетками. А Маркиз, негодяй, даже не шевельнулся.

— Чтобы пена не вылезала, надо опустить в стакан палец, вот так. — Господин с улыбкой опустил в свой бокал кончик мизинца. — Все пьяницы это знают... Но позвольте, я расскажу о вашем отце. Алехандро человек твердый, хозяин жизни; он много трудился и победил — стал богатым, очень богатым...

— Говорят, только первый миллион достается ценой сделок с совестью, остальные можно добыть честно...

Господин сделал вид, будто не слышит.

— Вы никогда не думали, Рафаэль, что это значит: дед ваш был ловцом жемчуга, а отец стал тем, что он есть?

— И что он такое есть, что за зверь? — Маркиз вытер рот рукавом.

— Ладно, ладно, он, кроме всего прочего, глава телекомпании, самой крупной в стране, которая по-настоящему влияет на общественное мнение. Победителю всегда завидуют, но Алехандро уважают в самых разных кругах общества. Теперь единственное, чего ему недостает, — чтобы сын был снова с ним.

— Ах, так, значит, совсем вернуться, а не только навестить его. Он, бедненький, слепнет. До чего трогательно! А блудный сын покаялся и возвращается в его объятия. Умилительно, и вдобавок можно рассчитывать (вы приложили достаточно стараний, чтоб это до меня дошло), поскольку старик начинает уже сдавать, что недалек день, когда я стану единственным наследником... — Маркиз загасил окурки в моей чашке. Ноздри его раздувались.

— Не спешите, Рафаэль, не спешите. Проходят годы, страсти утихают. Разрешите, по крайней мере, показать вам фотографию отца. Сколько лет вы с ним не виделись? — Продолжая улыбаться, господин положил на стол карточку размером в почтовую открытку. Указательным пальцем пододвинул ее к Маркизу.

Маркиз вылил в стакан остатки пива, бутылку, будто нечаянно, поставил на фотографию. Я вытянул ее из-под бутылки, стал рассматривать. Интересно: форма головы такая же, как у Маркиза; усталый взгляд, чувственный рот. Наверно, зеленые глаза, тонкие губы и хрупкое сложение. Маркиз унаследовал от матери. Отец был смуглый, с бычьей шеей. Из автомата лилось теперь рыдающее танго: «Моя куколка нежная, светловолосая...» Любопытная вещь — сочетание генов, непредсказуемая, чистая лотерея. «И та же любовь, и тот же дождь, и та же, та же безумная страсть».

Я возвратил карточку, и господин спрятал ее в бумажник. Сделал знак официанту.

— Или, может быть, хотите еще чего-нибудь? — Мы отрицательно покачали головами. — Хорошо, хорошо. Ну, послушайте же меня, Рафаэль... — Господин, кажется, не решался продолжать. — Мне известно все. Я знаю, что ваша мать... — Он умолк, бросив на меня косой, неуверенный взгляд. — Все это больно, очень больно. Но подумайте и о нем. Его вторая жена умерла, детей у нее не было, я вам уже говорил, он одинок, болен, он хочет вас видеть, хочет быть с вами. Он отнюдь не покушается на вашу независимость...

«И та же, та же безумная страсть...»

— ...С вашим литературным дарованием, на телевидении... Он просил передать также, что мог бы основать журнал, и вы бы руководили...

Ты согласишься, Маркиз? Неужто согласишься? Вот перед каким выбором поставили тебя, вот чем соблазняют! Что за подлость! Держись, Маркиз!

— ...Случайно Алехандро узнал о дальнейшей судьбе вашей матери... — Господин снова тревожно покосился в мою сторону. — Он узнал, что она жила здесь, в Сантьяго, это было несколько лет тому назад. Она работала в «Салоне красоты»...

— В «Салоне красоты»? До чего забавно. Как эвфемизм совсем неплохо придумано. Только нет, нет! В «Качас Грандес» она работала официанткой. Посмотрите-ка, это вон там, совсем недалеко отсюда. Можете сходить туда пообедать, недорого обойдется. Только потом всю ночь рвать будет.

— Не знаю. Об этом я ничего не знаю. И не знаю, известны ли Алехандро такие подробности. Я думаю, он предпринял розыски потому, что хотел помочь ей, но следы затерялись. Полностью затерялись.

— Правильно, после землетрясения в Чильяне. Десять лет назад. Она была в то время уже совсем рухлядь. Старая проститутка. Расскажите-ка ему. А еще вот что: не исключено, что она спаслась от землетрясения и еще жива. Очень возможно, что она еще жива. Скажите ему так, пожалуйста.

— Нет, бога ради. — Господин, казалось, был искренно взволнован. — Не могу я ему сказать это...

— Значит, вы осуществляете лишь одностороннюю связь?

— Нет. Нет. Но сказать ему такое — ну просто не могу.

Я всего только выполняю поручение, я поступаю по-человечески, по справедливости. Повторяю: он будет ждать вас. В «Панамерикан» я оставлю на ваше имя билет на самолет с открытой датой. Прилетайте. Вы не пожалеете. Сделайте это не только ради него. Ради себя тоже. Ради вашего таланта, который пропадает зря, ради...

Лиловая жила вздулась на лбу Маркиза.

— Слушайте, господин, — он ударил ладонью по столу, — вы совершенно напрасно теряете время. Хотя, может, и нет. Может, вам это полезно: вы навсегда запомните, как один раз в жизни имели дело с невиданным существом. Из другого мира. Из мира, о существовании которого вы не имеете ни малейшего представления. — Маркиз говорил негромко, медленно, даже мягко. — Я был с вами вежлив, я выслушал вас; у вас хватило бестактности, не зная меня, явиться сюда с предложением столь же оскорбительным, как и бессмысленным. Хотя откуда же вам меня знать? Вам, пришедшему из мира прожорливой посредственности да грошовых расчетов. Так вот, зарубите себе на носу: я не хочу пускать слюни, пусть лучше сгорит мое сердце. Алчность помогла моему отцу залечить душевные раны. У меня другое утешение — презрение и ненависть. Вы упомянули о загубленном таланте. Что вы об этом знаете, черт побери? Что можете вы понять, если все ваше существование — одно лишь бездарное кривляние, жалкое подражание подлинной жизни. — Маркиз вскочил, отшвырнул стул. Посетители бара смотрели на нас из-за своих столиков. — И, простите, чуть не забыл, спасибо за пиво.

Сумасшедший дом! Натыкаясь на столики и стулья, кое-как пробрались мы к выходу.

— Чао, Фауно, в другой раз поговорим.

Я подумал, что господин идет за нами. Оглянувшись: он сидел на прежнем месте и, кажется, все еще говорил — шевелил губами, словно жевал свои доводы.

Мы остановили такси.

— На край света, — сказал Маркиз, захлопывая дверцу.

Шофером оказалась женщина; волосы спрятаны под кепи с золотыми галунами.

— Скажи ей, куда ехать, старик.

— Куда ей вздумается.

— Нет, ты должен сказать.

— Ну, ладно, на холм.

— На Санта-Лусию? — спросила женщина.

— Нет, на Сан-Кристобаль.

С Аламеда мы по Моранде проехали до Мапачо, объехали Форесталь, где перед Музеем изящных искусств только что зацвели черешни, я указал на них Маркизу, он ничего не ответил, двинулись к холму через мост Пия Девятого. Только что съехали с моста — резкий вираж в сторону, тормозим. Вовремя, еще бы немного — и... Старуха, волоча обернутую тряпками ногу, вскарабкалась на тротуар и даже не оглянулась.

Маркиз вцепился в мой локоть.

Отвратительный ком стоял у меня в горле.

— Почему вы ее не раздавили?

Женщина-шофер не понимает. Маркиз все твердит свое. Женщина решила, видимо, что он шутит, теперь ведь в ходу черный юмор, я вижу в зеркальце, как она улыбается.

— Вы знаете, во сколько обойдется взобраться наверх? — спрашивает она. — Может получится очень дорого.

— Ваше дело вести как следует.

Перестала улыбаться, но все еще смотрит на нас в зеркальце.

— Откуда вы?

— Мы готтентоты.

— Нет, — уточняю я, — это он — готтентот, а я — чилиец.

Женщина качает головой:

— Не знаю, зачем пускают к нам так много иностранцев. — Она в плохом настроении. — Мой муж работает у «Гэт и Чавес»; так вот к ним явился однажды какой-то тип, очень хорошо одетый, и говорит — я от президента, президент хочет купить плащ, пусть ему пришлют несколько штук, он выберет. Дали ему шесть плащей и мужа послали с ним. А знаете ли, что этот тип сделал? Оставил мужа в такси, просил подождать, взял плащи, вошел во дворец Монеда через ту дверь, что на Агустинас, а вышел, видимо, через другую, на Аламеду. Оказалось потом — колумбиец какой-то, мошенник бессовестный. Мужа чуть не уволили, и еще пришлось таксисту платить, он два часа дождался.

— Наверняка этот мошенник на пару с президентом работает, — сказал Маркиз.

Женщина задумалась.

— Вот и хорошо, зато теперь вы знаете, что собой

представляет наш президент. Не надо было за него голосовать.

— Я и не голосовала.

— А муж ваш голосовал?

— Да, он голосовал.

— Ну, вот и терпите. И будьте благодарны колумбийцу, он преподал вам урок, чтоб вы лучше разбирались в политике.

Женщина нахмурилась, замолкла. Дорога спиралью поднималась на холм; с каждым поворотом панорама становилась все шире.

Внезапно Маркиз схватил меня за руку.

— Зачем он приехал?

— Кто?

— Этот господин.

— Ну что ты. По-моему, все ясно.

— Ты не знаешь венесуэльских адвокатов. Старик помрет, я останусь единственным наследником, а он в качестве моего адвоката все и прикарманил.

Я молчал.

— Ну, скажи же что-нибудь, не будь сволочью.

Женщина-шофер нервничала, вела машину плохо, поворачивала слишком резко. Я глядел через стекло наружу. Дорога кружила спиралью, все обширнее становился пейзаж. Будто китайская картина: на сто тысяч ли раскинулись горы и реки.

— Я не знал, что твой папа жив, — я все еще не поворачивал головы, — я даже думал, что у тебя вообще не было отца.

— Как может не быть отца!

— Ты же такой оригинальный, особенный.

Женщина опять наблюдала за нами в зеркальце.

Много лет не был я на Сан-Кристобаль. Несмотря на ледяной ветерок, я опустил стекло и наслаждался видом. Маркиз откинулся на сиденье. Наконец мы добрались до статуи Пресвятой Девы, скинулись, дорога в самом деле обошлась чертовски дорого. Маркиз за руку попрощался с женщиной-шофером, попросил передать привет мужу; мы взобрались на смотровую площадку, стояли, облокотясь на перила.

Каким огромным стал Сантьяго! Лиловеет к вечеру прозрачная пелена смога, зажигаются первые огни. Гигантский улей. Огромный термитник. Сколько жизней, сколько судеб, даже страшно становится! Родятся на свет, суетятся,

стареют... Одно и то же солнце светит всем, один и тот же дождь льет на все спины. Толпятся безработные перед воротами заводов. Вот сейчас, в эту минуту, кто-то родится, кто-то умирает. Влюбленные вырезают сердце на стволе дерева. Пенсионеры стоят в очереди к окошечку за пособи-ем. Вечная карусель, вечное вращение бескрайних туманностей. Кто-то добился удачи. Кому-то не повезло. Пекарни, рабочие перед печами. Подростки на велосипе-дах. Девочки кормят кукол. Разносятся в сумерках тихие звуки фортепьяно. Все перемешано. Огромный хаос, кон-трасты, режущие глаз. Но мы переменим все это. Перестро-им на новый лад! Блестящие шелковые сутаны; комбинезо-ны в пятнах машинного масла; накрахмаленные чепцы. Бродячий фокусник со змеей, попугайчик, достающий билетик, где начертана наша судьба. Вечность состоит из секунд, друг, и надо уметь каждый миг ощущать всю глуби-ну существования. Неоновые рекламы. Зонты. Телефоны-автоматы. А за нами следят, брат, за нами следят. Любовь твоя ускользнула. Туберкулезная девушка взяла не ту ложку... Как сделать так, чтобы заковать в себе страх? Мы все еще живем в эпоху мифов, только боги спрятались и шпионят за нами. И не забудь: этот город поднялся на костях миллионов. На рассвете мертвецы бродят по пустынным улицам, они помнят: «Я штукатурил эти сте-ны; я вставлял эти стекла; мы с женой посадили эту акацию». Что ж такого! Одно и то же солнце светит всем, один и тот же дождь льет на все спины. За каждым куском хлеба стоит история. Матрасы, набитые соломой. Оцинко-ванные крыши. Пьяницу рвет. Дети лепят что-то из грязи, у них нет других игрушек. Не наряжайся, девушка, все равно ты обречена. И — тоска, тоска, и еще дороже редкая радость. Поезда идут на юг. Поезда идут на север. Огром-ные доберманы бегают по зеленым подстриженным на английский лад лужайкам. Завтра мы за все рассчитаемся. Нищие с глазами удушенных. Тени роются в мусорных баках. Благо в полутьме их никто не видит. И жизнь дает уроки бесплатно, на каждом углу. Но хуже всего — тайная боль. Тайная боль! А это, кажется, Баррио Сивико? А вон там должен быть стадион. Канавы, полные нечистот. За-манчивые витрины. Полицейские налеты. Я теперь верю только в одно: мы все движемся во времени, время есть энергия, разновидность ее, еще не открытая учеными. Эйнштейн попытался было решить загадку, но дело тут, видно, не в математике. Однако молодость — это вечно

возрождающееся опьянение, перемежающаяся лихорадка. А вон то большое зеленое пятно, наверное, парк Коусиньо? И сколько ног, не счесть, сколько ног шагает по улицам! Туфли, сандалии, мокасины, сапоги... Она уверяет, будто видела тебя в луже крови. Валяются вокруг железки-ключики для консервов. Дома терпимости. Мраморные лестницы. Собака, кусающая свой хвост. Мы живем, упоенные миражами. Но все должно перемениться. Все должно перемениться! Невозможно вечно сидеть между двух стульев. Героев нет в наше время, они умерли вместе с Гомером. И единственная вечная тема — битва любви со смертью. Землетрясения. Кликушествуют в парках евангелисты, вопят о своих грехах. Самоубийства. Обшарпанные стены. Кричит новорожденный; улыбается кандидат на должность городского советника. Окоченевшее мертвое тело. Железнодорожники объявили забастовку. Опять суп с вермишелью. И ты умираешь, так и не успев постигнуть законы бытия. Время, я верю только во время, оно есть, оно существует всегда. Дело вот в чем: писать надо с яростной искренностью, выворачивать себя наизнанку, будто носок. Осень, золотые ее плоды. Одно и то же солнце для всех, один и тот же дождь льет на все спины. Революционное сознание есть. Но мало революционной воли. Нужна полная самоотдача, полная. Не можешь — полеживай лучше на кровати да почитывай «Rimas» Беккера. «О мир, мир, если бы даже я звался Раймундо, сложился бы еще один стих, но выхода все равно не нашлось бы»¹. И пелена мечтаний вся в дырах, в которые и проваливаешься. Лето, пылающий его жар. Нет, в той стороне район Систерна. Один только раз я видел ее фотографию: волосы пышные, до пояса. Речь о том, чтобы самые утонченные слова наполнить сочной реальностью жизни. Трава прорастает сквозь булыжники мостовой. Даже в ржавой бритве есть своя тайна. Не обманывай себя: эта девушка вся полна капризов. Цены на масло повысились, кум. И на рис. Теперь зарплаты совсем ни на что не хватает. Но мы доплывем до Океана Времени. Там мы сольемся. Разве не видишь — огненный палец чертит звездный рисунок на груди ночи? Картошка с кочаюо². Пушки палят — двенадцать часов. Взмывают в небо голуби. Лишь бы оставалась на-

¹ Стихи из «Поэмы с семью лицами» бразильского поэта Карлоса Друммон де Андраде. Из книги «Несколько стихотворений». (Примеч. автора.)

² Съедобная водоросль.

дежда, упорная, несмотря ни на что, надежда. Одно и то же солнце светит для всех. Один и тот же дождь льет на все спины... дождь льет...

Больше получаса стояли мы рядом, глядя на огромный город, расстилавшийся под нами. Молчали. Каждый думал о своем, плыл наудачу по извилистым рекам своей души. Горы лиловели, темнели, суровели. А внизу по-прежнему билась, трепетала жизнь. Ночь спускалась в долину, ослепившую некогда своей красотой Педро де Вальдивия ¹ и его всадников, сзывала на совет звезды.

Маркиз тронул меня за локоть. Я вздрогнул.

— У тебя сигареты есть?

— Ни одной не осталось.

— Дай тогда денег, пойду куплю.

— Соображаешь? Ты ж меня дочиста обобрал, тебе вздумалось приехать сюда на такси.

— А что я буду курить?

Он в бешенстве обежал всю площадку, подбирая окурки, но окурки все были растоптанные, сырые.

— Так ты, значит, хочешь, чтоб я описал свою жизнь?

— Кого интересует твоя жизнь?

— Тебя. Тебя интересует, не трусь, признайся лучше честно.

— Нет, какого черта, вовсе она меня не интересует. Я сейчас вспоминал одно древнее китайское стихотворение. Лето в Китае и сверчки, миллионы, трильоны сверчков, все трещат одновременно, пронзительно, с ума можно сойти. В стихотворении описывается, какой они подняли шум, потом сверчки постепенно умолкают один за другим, и в конце остается один, всего только один-единственный сверчок, и он трещит: «Я здесь, я пою, я выражаю себя!»

— Ну и что из этого?

— Тебе не кажется, что тут то же самое?

— Что то же самое?

— Вот это поднимающееся сюда непрерывное дыхание города? Послушай. Разве не слышишь? Там два миллиона человек, и каждый выражает себя, желает, чтобы его признали, признали как личность, маленькую, ничем не примечательную, но единственную в своем роде, неповторимую личность?

Маркиз смотрел на меня с изумлением и вдруг завопил:

¹ Вальдивия Педро де (1510—1553) — испанский конкистадор, участник завоевательных походов в Чили. Был взят в плен индейцами-арауканами и казнен.

— Иди ты знаешь куда со своими трильонами сверчков! Я хочу только одного — сигарету. *My kingdom for a cigar!*¹ Даже не за коня; всего только за паршивый окурок.

— Ну тебя к черту! Что я могу сделать?

— Дай мне сигарету.

— Нет же у меня, я тебе говорю.

— Поищи. Поройся в карманах.

— Да нет же, нет, черт бы тебя побрал, пойми!

— Негодяй! Ты их спрятал для себя.

— Нет, старик, не прятал я их. Не можешь терпеть — кури что попало. Хоть шнурки от туфель.

Маркиз расхохотался. От всей души.

— У меня осталось несколько песо, — сказал он, — давай бросим жребий. Кто выиграет, спускается на фуникулере и курит, а кто проиграет... Кто проиграет, черт с ним совсем. Деревьев здесь хватает, пусть вешается на любом...

— Нет, такое мне вовсе не улыбается. Ты меня уже раз обдурил. Я спущусь пешком.

— Ладно, подожди. Подожди меня одну минутку.

Маркиз направился к кассе фуникулера, вскоре оттуда вылез сгорбленный старичок, он смеялся и хлопал Маркиза по спине, Маркиз появился с сигаретой в зубах, другую — для меня — он засунул за ухо; вдобавок старичок разрешил нам бесплатно спуститься на фуникулере. Маркиз не пожелал рассказать, как ему удалось добиться всего этого.

Когда спускались, Маркиз вдруг сказал:

— Этого колумбийца я знаю.

— Какого?

— Про которого шоферша рассказывала.

— Он твой приятель?

— Нет. Но я его знаю. Плащи он продал, на эти деньги купил билет на пароход, в третий класс, и вернулся на родину.

— А идею ты ему подал?

— Нет, но я ее одобрил. Здесь он совсем подышал.

Я поглядел Маркизу в глаза. Он отвел взгляд.

Пешком мы дошли до площади Италии. От стадиона катили один за другим автобусы, болельщики висели на ступеньках, сидели даже на крышах. Воздух сотрясался от победного клича: «Молодцы ребята, вот это игра! У-ра! У-ра!»

¹ Королевство за сигару! (англ.). Перефразированная цитата из трагедии Шекспира «Ричард III».

— Вот они, твои сверчки, — сказал Маркиз, — орут все одну и ту же дрянь.

— Ах-ах, скажите! Тонкий интеллеktуал возвышается над массой. Ладно, пока. У меня дела.

Я прошел несколько шагов, и Маркиз окликнул меня. Я не остановился. Маркиз меня догнал, зашагали рядом по бульвару авениды Бустаманте.

— Педро Игнасио.

— Что?

— Мать ушла, когда мне было три года...

— Не рассказывай, не надо. Я и так понимаю.

— Нет, я должен рассказать. Она уехала с театральной труппой. С испанской. Отец сказал, что она умерла, и я поверил. Он даже опубликовал в газетах извещение о ее кончине. Так я и вырос. И только в пятнадцать лет узнал правду...

Ноги у меня подкашивались. Мы остановились. Маркиз не смотрел мне в лицо, стоял, опустив голову, не отрывая взгляда от пуговицы моей рубашки.

— Мать — это окошко, через которое ты вылез на белый свет. — Он схватил меня за лацканы, рванул яростно. Тогда я схватил его за волосы, потряс. — Так как же ты хочешь... — голос его прервался. Он слотнул. — Как же ты хочешь, чтобы я... Старая гадина! А ты не лезь. Не лезь! Все это тебя не касается! — Он оттолкнул меня и зашагал прочь. Я окликнул его, тогда он бросился бежать. Бежал неуклюже, смешно, спотыкался на каждом шагу; человек, который ни разу в жизни не убегал от опасности...

ГЛАВА XI

Я кончил. Наконец-то, наконец! Кончил! Прощай «Всеобщая песнь». Прощайте бесконечные гранки, запах типографской краски, прощайте бессонные ночи, страх. Кончена книга, огромная, как ихтиозавр, безбрежная, как Амазонка. Я снова свободен. Впрочем, надо сказать сразу, — я не свободен, у меня другие дела, целая куча дел. Я давно уже ношу в себе сотню рассказов, теперь я напишу их в один присест. Короткие. Длинные. Острые как ножи. Круглые как камни на дне водопада в Андах. О мощенниках; о мистиках; о революционерах; о чахоточных; о влюбленных, лишенных ложа; о бабочках, лишенных воздуха. И мне теперь позволено (кто это тебе позволил?), если захочу, проснувшись в семь, валяться в постели хоть до

одиннадцати. Я закрываю глаза и думаю. Я выстраиваю фразы блестящие, как яшма, тяжелые, как ртуть, смелые, как канатные плясуны, с клыками, с лепестками. Два месяца просидел я над стихами Неруды, и я потрясен, я взлетаю, будто акробат, под самые облака, я слышу крик попугаев. Вдобавок выглянуло солнце. Только что его круглая физиономия появилась в моем окошке. Да, господа, вы теперь со мной не шутите. И к моей машинке «Смит корона» тоже извольте относиться почтительно, нечего тут! Вы поймите: я сделал то, что должен был сделать. А сегодня не буду делать ничего! Ничего, слышали? И куплю себе ливерной колбасы и съем всю сразу. Не свиную. Телячью. Хотя телячья гораздо дороже. А еще — можете честить меня, как вам угодно — нынче же вечером пойду и разыщу Фиолету!

Я писал неделю. Две. Три. Черт знает что! Отовсюду торчат нерудизмы. Всеми своими порами впитал я Неруду, его нагромождения метафор, его звенящий одиннадцатисложник, его герундии, срывающиеся как ледники с гор. И все это — в прозе, не угодно ли? Ни на что не похоже! Искусственно. Все равно что приставить ослу хвост кецаля. Или написать Сикстинскую мадонну на стене бара у бойни. Неруда никогда не употребляет такие слова, как «хрупкий», «роскошный», «шпулька», «ягодица», «полоскание горла», «рожистое воспаление»; его лексика зарождается и расцветает в другом мире, на другой планете.

Прошкурить себя до самого мяса, вырвать Неруду из души и из тела.

Начну все снова. Опять все снова. Прочту Сесара Вальехо с начала до конца — великое противоядие, спасение от Неруды, а Кеведо не буду читать, и Уитмена не буду — это скрытые корни Неруды, и Маяковского тоже нет, а вот прочту лучше Стендаля, Гоголя и еще Священное писание (с осторожностью, конечно), и Мельвилла, и телефонный справочник. Что попало, лишь бы избавиться от звенящих, в нос, рифм. Кого угодно, только бы вырвать, выпутать, выцарапать, выломать из себя Неруду. А, знаю, кого надо читать: Хемингуэя, Дрюммона де Андраде, tough writers¹!

Спасите, братцы! Теперь я погряз в пышной величественной прозе во вкусе Виктора Гюго. Не хочу я этого. Писать надо просто, кратко, напряженно. Пусть проза моя

¹ Крепкие писатели (англ.).

будет многоцветной, как фартук матери десятка ребятишек, весь в пятнах. Пусть будет жесткой, как ладони шахтеров, что добывают селитру. Пусть несет от нее потом, как от громадной толпы. Пусть закипает, как чайник.

Я работал, как негр, как китаец, как гном; и только через несколько недель наконец понял: сколько ни сиди за столом, ничего не выйдет. Месяцы, годы — все равно бесполезно. И книги читать — тоже не поможет. Надо выйти на улицу! Надо жить! К счастью, — заметьте, что я сказал, — на меня опять посыпались задания. Видите ли, я, кажется, уже говорил вам — нас очень мало, и приходится звонить во все колокола, использовать любую возможность, без конца толковать, проклинать, спорить, убеждать. Скоро к нам явится с визитом государственный секретарь гринго, и надо разбросать в центре города листовки «Yankee, go home!»¹ Этот палач разжигает войну в Корее, мир висит на волоске, и огонь подбирается уже и к волоску. «Go home!» «Убирайся, сволочь!»

Я отправился в аптеку, которую мне указали, получить пачку листовок.

— Есть у вас стерильная вата?

Это пароль. Девушка, прелестная девушка, дает мне пакет, и никто не замечает, что я ничего не заплатил. Веле-но бросать листовки в центре, откуда-нибудь сверху, из окна, с балкона. Ветер — наш помощник, он подхватит листовки, раскидает по улицам.

Гринго проедет через центр в лимузине вместе с Предателем.

— Нет, об этом забудьте, машина, без всякого сомнения, бронированная, стекла пуленепроницаемые. К тому же, вам известно, подобные методы борьбы мы не одобряем.

— Да нет, я просто так говорю... на всякий случай. Они проедут к Пласа-де-Армас в три часа.

— Вы должны бросить их примерно в половине третьего. И соблюдайте осторожность, в этот день на улицах будет куча шпионов. Кроме того, с ним прибывают около сотни тайных охранников, они — смуглые, как мы, в толпе их распознать невозможно.

С балкона. Из окна. Осторожность. Приговор в соответствии с законом — три года и один день, обжалованию не подлежит. Стоит лишь чуть-чуть зазеваться. Но, по крайней мере, я не сижу больше один в своей комнатенке, где

¹ Янки, убирайтесь домой! (англ.)

страх, будто ящерица, шныряет по сырым стенам. Свежий воздух. И весна уже совсем близко!

Осталось всего три дня. И тут мне повезло — подсказали, как устроить одну штуку, замечательно и почти без всякого риска. Только, чтобы устроить это, требуются два человека. А где взять второго?

Я решил наметить сначала дом и вскоре нашел подходящий — шестиэтажное здание, где помещаются адвокатские конторы, рядом с кинотеатром «Центральный». Лифт идет до шестого этажа, оттуда по узенькой лестнице можно подняться на крышу. Замок на двери, ведущей на лестницу, снять ничего не стоит. Вдобавок на пятом этаже — коридор, который выводит в другое здание, оно стоит позади этого, и оттуда есть выход на улицу Агустинас. Отлично. Благослови, господь, архитектора, до чего сообразительный.

Но где же взять товарища, чтоб помог?

Я зашел к Аиде — она показала мне, какую ей дали пачку, еще толще моей. Пошел к Серхио, к Амалии, к Нене, к Умберто. То же самое. Позвать кого-нибудь из рабочих нельзя — в центре, среди нарядной толпы, их за километр видно. Конечно, на визиты ушел целый день, у каждого ведь надо посидеть, выпить немного. А у Нены я и вовсе задержался. Надолго. Еще бы!

Все меня спрашивали, что случилось, где это я пропадаю, ужасно хотелось похвастаться, рассказать, в чем дело, но приходилось держать язык за зубами, и я снова, изо всех сил стараясь, чтобы физиономия моя выражала приличествующие обстоятельствам чувства, извлек на свет божий пресловутую бедную тетюшку, больную раком.

Я вышел из консультации от Умберто расстроенный, хотя кое-что я все же из него выжал — билет в муниципальный театр на концерт гитариста Сеговии. Неподалеку отсюда жил Лучито, и я решил заглянуть к нему.

Лучито открыл мне дверь, совершенно голый, только обернутый по бедрам какой-то тряпкой и в домашних туфлях. Я не успел даже рта раскрыть — он шепотом приказал мне молчать и указал на дверь ванной.

Я сел на софу. Комната Лучо совершенно преобразилась. Появилась новая книжная полка, книги на ней расставлены аккуратно, но только будто ребенок расставлял — по росту; на столе затейливая лампа, на стенах — китайские бумажные змеи и большая репродукция — Ван Гог, автопортрет, известный, с отрезанным ухом. Все вы-

глядит изящно, скромно и (если не считать Ван Гога) очень по-женски, а самое удивительное — на софе среди подушек сидит белый плюшевый медведь.

Лучо принес мне чашку чая; в эту минуту дверь ванной отворилась, и на фоне мягко поблескивающих голубоватых изразцов появилась Фиолета.

Я вскочил.

— Мой друг. Моя подруга, — представил Лучо.

Я протянул руку, она не могла сделать то же — поддерживала простыню, в которую завернулась.

— Да мы ведь знакомы, кажется, — сказал я наконец, думая ее смутить.

— Конечно, — отвечала она безмятежно. Взяла какое-то белье и удалилась обратно в ванную, заканчивая туалет.

— Это все она... — объяснил Лучо, имея в виду убранство комнаты. Он слегка пожал плечами. — По-моему, немного смешно, но раз ей нравится... Ну, расскажи, как ты, что? Я уж стал бояться, не угодил ли ты в Писагуа.

Снова пришлось рассказать про тетушку. Бедная единственная моя тетушка Лусинда, непорочная учительница сельской начальной школы где-то на севере, в оазисах! Если бы знала она, как непочтительно я с ней обошелся, какую активную роль заставил играть в общественной жизни, она наверняка хлопнулась бы в обморок, за ней это водилось.

Лучо ведь все же учился на медицинском — он тотчас стал выяснять анамнез, но на основании моих ответов диагноз получался, видимо, несколько странный, и Лучо переменял тему беседы. Наверное, он кое о чем догадывался. Я стал пить чай, довольный хоть тем, что, пока нес всякую чушь про тетушкину хворь, пришел немного в себя от неожиданного сюрприза.

— Так вы, оказывается, знакомы? — Лучо просто читал мои мысли.

— Как будто да. На каком-то парапсихологическом сборище встречались, по-моему.

— А, да. Она прежде увлекалась этим. Но я хотел бы, чтоб ты поближе ее узнал.

Я усмехнулся. У Лучо было такое лицо, словно он предлагал мне узнать поближе по меньшей мере Лурдскую пресвятую деву.

— Ты никогда раньше не был влюблен?

— Никогда.

— Ну, конечно, сразу видно. — Я окинул взглядом его

преобразившуюся комнату. — Чрезвычайно приятное состояние, не так ли?

— Чрезвычайно приятное? Не могу тебе даже сказать, приятное или нет. Знаю только, что оно близко к безумию. Твое «я» полностью растворяется. Все в тебе как бы удваивается. Что-то вроде раздвоения души. Ты — она. Твое — ее. Все сливается воедино.

— Ну, ну, не надо впадать в лиризм, друг. Не слишком ли много метафор?

— Иди ты со своими метафорами! Я одно знаю: чувствую себя до того странно, сам себя не узнаю.словно пьяный. Раскис совершенно, всякой воли лишился. Хочу, например, заниматься — и вдруг оказывается, что вместо этого я пою; хочу подумать, сосредоточиться — а вместо этого слушаю ее, смотрю на нее. А в душе будто жаворонки щебечут. Черт знает, что такое! Можешь себе представить, до чего она меня довела — я полюбил болеро!

— Спокойствие и терпение. Пройдет. Дело времени, как все на земле. Ты переживаешь одновременно любовь подростка, которая приходит в пятнадцать лет неизбежно вместе с юношескими прыщами, и любовь взрослого человека.

— Да, но самое худшее другое: я не хочу, чтобы прошло. Вот теперь я понимаю наркоманов!

— Н-да! Это уже, кажется, серьезно, старик.

— Конечно, серьезно.

— А как ты это совмещаешь, — мы говорили очень тихо, сидя рядом на софе, — с другой твоей работой?

— Тут я тверд. Будто какой-то тайный уголок в душе, закрытый со всех сторон. От всех оберегаю. И не думай, я про нее кое-что разузнал. Она-то сама очень мало о себе рассказывает. А я выяснил: она дочь полковника, не отставного, на действительной службе. И вдобавок — единственная дочь.

— О, черт!

— Представь себе. Она мне, правда, сказала, что ушла из дому несколько месяцев тому назад и живет с двоюродными сестрами.

— А, так с тобой она, значит, не живет?

— И да, и нет. Приходит, когда вздумает. Я ей дал ключ. И уходит, когда вздумает. Говорит, раз я от нее все скрываю, она тоже вправе иметь свои секреты.

— То есть, по сути дела, она что тебе предлагает? Зашла — ушла?

— Ну, конечно. Это-то меня и мучает. Но что мне с ней делать? Скажи, Педро Игнасио, что мне с ней делать? Что я мог ему посоветовать, черт побери?

— Да, действительно, кисленькая история. Уезжай на остров Пасхи. Или на какой-нибудь необитаемый, как Робинзон.

— Без нее? Не будь свиньей! Такие советы меня не устраивают!

Она рывком открыла дверь ванной и встала на пороге — капельки воды на плечах, свежая, как лилия, соблазнительная, как блюдо с вишнями.

— Какие это советы он тебе дает?

— Чтоб не ходил на вскрытия, если ему там делается дурно, как он говорит.

— Да, это ужасно, — пробормотал Лучо, словно во сне. — Но, прости, любовь моя, я заговорился, сию минутку принесу тебе чаю.

Лучо побежал на кухню; она покрутила носиком, будто подозревала что-то, уселась без всякого стеснения в кресло и заложила ногу на ногу. Полноги видно! Ой, мамочки!

— Это твой медвежонок? — выговорил я наконец, поперхнувшись чаем.

— Да. Тебе нравится?

Упругая нога, нежная кожа.

— Нравится. Только разве у медведей глаза розовые?

— Вот еще! Этот — прелестный! — Она встала, взяла медвежонка и снова уселась, стала его укачивать, целовать в нос — в черную пуговицу.

Теперь не полноги, а три четверти, почти вся нога видна!

— Где-то я читал, — я изо всех сил старался глядеть только на медвежонка, — что медведи коварны, их невозможно приручить по-настоящему. Медведь может много лет выступать в цирке, ездить на велосипеде, и вдруг в один прекрасный день не узнает своего дрессировщика и съедает его.

— Ничего подобного! Неправда! Значит, дрессировщик его бил! — Она прижала медвежонка к щеке, теперь они оба смотрели на меня, две мордашки. Два блестящих, как жуки, внимательных глаза, и еще два — круглые, глупые.

— Ты слышал, рыжего из университета выгнали? — крикнул из кухни Лучо.

— Нет, не знал. А за что?

— Неизвестно.

— Неправда, — зашептала она: — Лучо уверен, что за политику, а я знаю его девушку. Он впутался в нехорошую историю... — От ее волос шел запах влажных трав. — Но я тебе обещала Гогена и не дала...

— Не надо, Гоген меня раздражает.

Хоть Лучо и говорил мне о наглухо закрытом со всех сторон уголке в его душе, я все же не решился на этот раз просить его помощи. Надо было уходить.

— У меня еще Ренуар есть...

— Еще хуже, сладкий, как сахар. Лучо! — крикнул я и сам услышал, что крик мой похож на вопль утопающего.

— Иду, иду. Не кричи.

— Понимаешь, мне надо идти.

— Нет, подожди. Еще одну минуту...

— Не могу, уже шесть.

— Одну минуту, всего только одну минуту.

Она тоже явно хотела, чтобы я не уходил, чтоб остался. И начала играть молнией на блузке — то опустит, то поднимет.

Не могу больше. Сейчас скажу решительно, что ухожу. Я закрыл глаза и встал. Но не торопился. Приятно ведь знать, что ты такой волевой, такой сильный человек.

— Он в самом деле уходит, Лучо! Иди скорее сюда!

Лучо выскочил из кухни в пестром фартуке до самых щиколоток:

— Не уходи же, не будь свиньей. Я готовлю для вас маисовые лепешки с сыром, такие у нас в Карабобо делают. И у меня есть бутылка вина, только года какого не знаю. Останься. Кроме того, надо отпраздновать...

Я встревожился:

— Что отпраздновать?

— Рождение советской атомной бомбы. Сию минуту передали по радио.

— Не бреши!

— Да, да! Конец американскому шантажу.

— Здорово! Но я все равно должен идти, мне очень жаль. Ты даже не представляешь, как мне жаль.

— Я хотел тебе еще рассказать кое-что.

Лучо настаивает, видимо, потому, что нуждается в моей помощи. Он считает, что мы — литераторы — лучше умеем развлекать девушек. Действительно, одинаково трудно представить себе Лучо, забавляющего ее пикантными историями, и ее, слушающую рассуждения по поводу «зверской» гистологии. Но я колебался вовсе не оттого, что надо

было помочь Лучо; нет, раздражающий запах сыра остановил меня. Что со мной происходит? Неожиданно еще одно действующее лицо решительно выступило на сцену — голланд.

— Ты много лепешек сделал?

— Около двадцати. Она их не очень любит.

— Только лепешки и умеет готовить, — проворчала она. — Подойди-ка поближе. Понюхай. Я вся сыром пропахла!

— Вовсе нет, любовь моя. Но если хотите, я могу сходить купить еще что-нибудь. Устроим великий пир. Чего вы хотите? Цыплят? Еще вина?

Она радостно захлопала в ладоши:

— А мы тебя подождем. Я пока на стол накрою. Я хочу агвиат, фаршированный креветками!

Ловушка. Стол она, видите ли, пока накроет, чертова кукла! Я подумал, проглотил целое море слюны:

— Лучше я все-таки пойду. Клянусь, у меня дела. С моей стороны было бы весьма недобросовестно...

— Не будь негодяем!

— Нет, серьезно, я тебе говорю совершенно серьезно. Как-нибудь в другой раз, старик. Я тебе сам скажу когда. — Я спешил, я даже забыл попрощаться с ней и запнулся за ковер. Последнее, что я увидел, закрывая за собой дверь, — смешной пестрый фартук Лучо и... нога, стройная, упругая, нежная кожа покрыта, будто персик, золотистым пушком, теплая, гладкая нога... Черт побери, с ума можно сойти!

ГЛАВА XII

Помощника я так и не нашел. В конце концов можно и одному все сделать, хотя тогда придется выбирать: либо нести доску, бак и листовки по отдельности, что увеличивает риск, либо притащить все сразу накануне и оставить там. А если утащит кто-нибудь, придешь — и ничего нет? И так — плохо, и эдак — нехорошо. Нет, не годится.

Несколько дней я размышлял да прикидывал и вдруг в библиотеке на лестнице встретил Маркиза. Вместо свитера и берета на нем был теперь синий пиджак *de coteñ*, зеленый попугайский галстук, страшно длинный, и кожаный пояс. Ну и пояс! Видимо, прежний его владелец был намного полнее Маркиза — конец висел чуть ли не до колен. Я расхохотался:

— Вот так сатир на денсии!

— Это еще почему? Что такое? Разве я не выгляжу элегантно?

— Конечно, *dernier cri*¹. Можешь наняться манекенщиком в «Лос Гобелинос».

Маркиз оглядел себя, улыбнулся удовлетворенно и пригласил меня выпить коньяку. Бар в двух шагах отсюда — деспотический режим с глубоким пониманием относится к жаждущим. Маркизу редко приходилось платить в ресторанах, и потому он сделал это сразу, как только нам подали рюмки.

— Где же твой берет?

Оказывается, Маркиза ограбили на Кинта-Нормаль. Один из налетчиков вонзил ему кинжал в живот на целый сантиметр — надо же было показать, что они не шутят. «Давай бумажник!» Маркиз объяснил, что у него нет и никогда не было такой дурацкой штуки, как бумажник, но грабители не поверили. Раздели его, даже туфли взяли, тогда он снял носки, отдал им: «Всякое дело надо делать до конца», — и вернулся домой босой, в одних трусах, совершенно заковневший. Но теперь он рассказывал все это даже как будто с удовольствием, словно и не с ним приключилась такая неприятность. И только жалел, что отобрали трубку.

— Так ты не живешь больше у Памелы?

— Нет. Еще две порции коньяку, пожалуйста! Она замуж вышла.

— Что ты меня разыгрываешь!

— Решила узаконить свое сожителство с владельцем красильни. Но не думаю, что она долго выдержит. Этот тип целые дни говорит об анилиновых красках. И воняет от него какой-то тухлятиной. Он потребовал, чтобы я съехал с квартиры. И знаешь, по какой причине? Просто смех. Потому, видите ли, что я задолжал за три месяца. На прощанье я ему сказал: «Господин Анилин (я его так прозвал), в один прекрасный день я вернусь и попрошу вас покрасить мне зад».

— Бедняжка Памела, такая красивая, такая добрая!

— Он запретил ей ходить в кружок, запретил видаться вообще с кем бы то ни было. И приветик! Даже с Карлотой встречаться не разрешает. Скоро, наверное, наденет на нее пояс целомудрия. Впрочем, так ей и надо.

¹ Последний крик моды (фр.).

— Это почему же так ей и надо?

— Все они такие. Сам род женский *démodé*¹. Или они тебя обманывают, или разочаровывают, или предают.

...Коньяк золотисто светился... стало грустно. Я вспомнил Фио, донью Памелу, Анхелику... *Poverelle!*² Тяжко живется в этом мире, и выхода нет.

— Ну, теперь расскажи, как ты? — Маркиз поправил галстук. — Кончил свое задание?

— Какое задание?

— Которое тебе дали и которым ты столько времени занимался.

— Что такое? Свинья ты! Мне дали перевести здоровенный романище, семьсот страниц. Вот и все. И не пытайся из меня что-то выуживать.

— Я хочу, чтобы ты мне поверил.

— Пожалуйста, я поверю всему, что бы ты ни сказал. Говорю совершенно откровенно.

— Ну да! Я же видел, как ты косился, когда я за коньяк платил. Так вот, гляди, чучело недоверчивое. — Он достал целую пачку кредиток, одинаковых, новеньких, хрустящих.

— Где ты их печатаешь?

Тогда Маркиз вынул квитанцию Немецкого банка и показал мне: «Настоящим удостоверяется, что во исполнение соответствующих пунктов положения об авторском праве переведен на имя такого-то гонорар за рассказ, вошедший в антологию современного латиноамериканского рассказа».

— В Лейпциге опубликовали. Понял? В Германии в твоей, вот, можешь лопаться от зависти. И возьми, пусть тебе хоть что-нибудь достанется, — он снял с себя галстук, — такие штуковины не для меня.

— Ну и не для меня тоже.

— Врешь, врешь. — Он сам завязал на мне галстук. — А теперь расскажи о своей тете. Опухоль у старушки, наверное, уже больше футбольного мяча.

— Что за идиотские шутки! Я не позволю!

— А в чем дело? Она уже скончалась? С таким воздушным шаром в животе она, без сомнения, вознеслась прямо в рай. Ну, что смеешься? Я точно знаю, ее вскрывали на стадионе. Больше она нигде бы не поместилась. Ты же сам рассказывал, то что у нее в мозгу опухоль, то — в поджелудочной железе. Шар вырезали и спрятали в чулан, а то

¹ Букв.: вышедший из моды (фр.).

² Бедняжки! (ит.)

катался бы по всему дому. Вот как ты пользуешься своим творческим воображением! И не совестно? Спросил бы лучше моего совета, я бы тебя поддержал, надо было выбрать трехстороннее воспаление легких. Или пляску святого Витта, буги-вуги, трясет тетушка пузиком, очень даже мило. А у тебя получается бог весть что — она словно проглотила твой романище на семьсот страниц.

Я больше не мог сдерживаться, и оба мы так и покатились со смеху.

Как обычно, после четвертой рюмки Маркиз загорелся, будто фейерверк. И с этого момента говорил без остановки, не давая мне вставить ни слова, нанизывая так и эдак одну мысль на другую.

Начал он серьезно. Опустив голову, принялся смоченным в вине пальцем рисовать спирали на обложке «Атхарваведы»¹, которую принес с собой.

— Я теперь пишу, — сказал он хрипло. Прозвучало это так, словно он сказал «я умираю». — Только не знаю, что получится. Уже довольно много написал. Больше пятидесяти страниц.

— Вот хорошо. Как кончишь, покажи мне. Что это будет, роман?

Он не слушал.

— Много лишнего на насросло. — Маркиз перестал чертить спирали. — Форма сохраняется та же, что в девятнадцатом веке, в содержании мы рабски подражаем буржуазному объективизму, стараемся оставаться жесткими, равнодушными. Макс Планк² умер, и никто до сей поры не открыл еще энергию литературы, состоящую из новелл-корпускул, которые притягиваются к драматическим полюсам, как железные опилки к магниту. А что за язык, сын мой! Мы же до сей поры пишем так, словно гроши пересчитываем, ползаем на брюхе перед псевдологикой языка, а ведь в проклятуей этой жизни логики как раз меньше всего. А в настоящем искусстве ее еще меньше. Да и не надо. Совсем не надо, если искусство хочет, как ему и положено, быть другой жизнью жизни. Да, да, именно другой жизнью жизни! — Фраза понравилась Маркизу, он с удовольствием повторил ее. — Разве ты не замечал — латиноамериканская литература похожа на обувной мага-

¹ «Атхарваведа» — памятник древнеиндийской литературы, собрание гимнов и жертвенных формул конца II — начала I в. до н. э.

² Планк Макс (1858—1947) немецкий физик, создатель квантовой теории.

зин? Все разложено по коробкам, расставлено по полкам. Порядок идеальный. А до чего глупо! Почему они пишут так глупо? Впрочем, европейцы стараются вставлять всякие умные мысли, и выходит ничуть не лучше; европейцам не о чем больше рассказывать, они пишут словно слюни размазывают. Ты не читал последние их вещи? Даже на Сартра не похоже. Сартр все-таки хоть поживее, только косоглазие его подвело — хотел повернуться к Марксу, а вместо того попал прямо в объятия Кьеркегора¹. Да нет, не то я говорю. Как будто наши рыбаки, наши пеоны, наши индейцы не мыслят. И пусть себе мыслят. Пусть, раз они не интеллектуалы, мыслят о реальной жизни, о трудах и днях, о... Фу, я запутался! Выпьем за Гесиода!²

Чтобы было скорее, Маркиз сам отправился к буфету и вернулся с полным бокалом. Теперь он ораторствовал стоя, пьяницы за соседними столиками слушали его, повесив лиловые, как баклажаны, носы:

— Вот это вы знаете? — Он сунул мне под нос «Атхар-ваведу». — И «Ригведу»³ тоже не читал? Тогда лучше тебе повеситься. Здесь «Гимн Земле». И это было написано восемь тысяч лет назад. Какое величие! Как «Пополь-Вух»⁴, как «Книга мертвых»⁵. Я тут недавно был на лекции одной из наших священных коров; как начал он доказывать, что форма и содержание находятся друг с другом в такой же связи, как стакан с налитым в него вином, я встал и ушел. Устроил скандал и ушел. Ведь уже сто лет назад Флобер говорил о неразрывности формы и содержания, он сказал: они как пламя и жар или как огонь и пламя, ну да ладно, *de gustibus non est disputandum*⁶, как говорил мой кум. А все же скажи мне, нет, ты скажи, куда годится хорошее содержание, если ты его испортишь начисто, вроде как Хосе Эустасио Ривера⁷? Если ты начнешь писать

¹ Кьеркегор Сёрен (1813—1855) — датский теолог, философ и писатель. Выдвинул тезис об экзистенциальной диалектике личности.

² Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.) — первый известный по имени древнегреческий поэт.

³ «Ригведа» — памятник индийской литературы, собрание гимнов.

⁴ «Пополь-Вух» («Книга народа») — собрание сказаний, охватывающих мифологию и историю индейцев киче.

⁵ «Книга мертвых» — произведение древнеегипетской ритуальной литературы (XV в. до н. э.).

⁶ О вкусах не спорят (лат.).

⁷ Хосе Эустасио Ривера (1889—1928) — колумбийский писатель.

всякую хреновину, вроде «О, сельва, мать покоя и тишины»? Откуда он, черт побери, взял, этот осел, будто в сельве тихо и спокойно? Да ничего подобного! А что за вульгарное «О!» в начале! Нет уж, метафора — она, как яйцо, хороша только свежая. Не смотри на меня так, пожалуйста, мне неприятно, когда мной восхищаются.

— Кто это тобой восхищается, чудище? Ты думаешь, я рот разинул от восторга, а я просто зеваю со скуки.

— Ха, ха! Ну да ладно, я тебя прощаю, так и быть, можешь восхищаться, только слушай внимательно. Близится наш золотой век. Я его уже вижу. Но надо прежде всего отбросить ненужное, избавиться от романтических бредней, вылезти из-под тяжелого зада бронзового Бальзака. И ценить по достоинству слово, вырвать его из болота описательства, пусть ест руками, пусть сбросит кринолин. До чего же отвратительна псевдотуземная лексика наших патриотов-креолистов! Впрочем, бессмысленные попытки во что бы то ни стало вводить всякие новации тоже не лучше. Литература — это труд, а не развлечение для снобов и бездельников из богатых семей. И надо спешить, потому что золотой век тоже может прокиснуть, как у янки, их золотой век длился всего лишь пятьдесят лет. Вот я сейчас создаю нечто необычайное. Да! За твоё здоровье! Нет, не роман. Нечто небывалое, гибрид; если бы, например, скрестить осла с павлином, получится метелка с перьями. Но какая метелка, железная! Достаточно сказать тебе, что один из персонажей — герой кошмара другого персонажа. Но сюжета там никакого нет. Если бы он был! Только формы — скользящие, обманчивые, неуловимые, проклятые. Язык, к счастью, не в Королевской академии создан. Его создал народ. На постоянных дворах, на дорогах. «Садитесь, кума, только не сюда, здесь очень жестко». Или: «Дай мне стакан воды». Кратко, естественно. И в то же время язык наш весь изъязвлен великолепными нелепицами. Малларме говорил, что *puit* по-французски звучит пронзительно и означает «ночь», мрачная, темная. А *jouir* — день — тяжелое слово. Надо же наоборот, правда? Вот по-испански так оно и есть: *día* — день, а *noche* — ночь, это правильно. Да много чего еще надо сообразить. Хватает мороки, конца не вижу. Крутишь, лепишь каждую фразу, будто хлебный шарик, и чем больше к ней прилепляешь, тем она грязнее выходит, и ты страдаешь, сгораешь в бессонницах, будто сухая ветка в костре, и хочется надавать самому себе пинков!

Маркиз говорил, говорил. Еще час. Еще несколько

рюмок коньяку. Наконец мы вышли из бара, порядком нагрузившись. Остановились почему-то у витрины и стали глазеть на игрушечный поезд... Он извивался змейкой, заходил в туннель, огибал холмы, на лужайках паслись коровы... Мы чрезвычайно увлеклись зрелищем, и тут я, не долго думая, взял да и попросил Маркиза помочь мне. Конечно, я постарался сообщить ему как можно меньше. В конце концов я подвергаю риску только себя самого.

— Сделаем. — Маркиз пожал плечами. — Конечно, сделаем.

Расспрашивать он ни о чем не стал.

На другой день, когда в назначенный час я явился в назначенное место, Маркиз уже ждал.

— Ты думал, я не приду? — Физиономия хитрящая, истинный дьявол в отпуске.

— Нет, я несколько не сомневался, — отвечал я уверенно, и Маркиз засиял.

Я нес бак с водой и пачку листовок; отправились за доской. В магазине для меня ее уже приготовили, завернули хорошенько в подарочную бумагу.

— Как, в такой бумаге? Ты надеешься, что люди подумают, будто ты купил кому-то в подарок самолет?

— Нет, просто гладильную доску, почему бы нет.

— А, понятно, прелестный подарок, совершенно необходимая вещь в адвокатской конторе.

Маркиз волок доску и ругался — «словно чугунная, окаянная», я тащил бак и листовки. Вошли в вестибюль. Народу полно.

— Спокойно, старик.

На лифте на шестой этаж. Двое гринго вошли в лифт, пришлось ждать, гринго поехали вниз. Легко, едва прикоснувшись, я сорвал замок и побежал по узкой лестнице на крышу. Десять минут третьего. Остается, двадцать минут.

— До сих пор все шло хорошо, как сказал индюк, когда его клали на сковороду, — подбодрил я Маркиза.

— Да? А если кто-нибудь найдет сорванный замок?

Я вынул замок из кармана и показал ему.

— А искореженные кольца?

— Да ну, никто не заметит.

— Ты хоть подумал, что будешь говорить, когда попадешься? Мы, например, астрономы и желаем наблюдать затмение...

— Думаешь, что-нибудь поможет? — Я открыл пачку, дал Маркизу листовку. Написана она была здорово.

— Зачем они пишут «тиран», — вознегодовал он. — Народ не поймет. Вечно эта литературщина!

— Ладно, ладно, согласен.

— Написали бы «убийца».

— Согласен я, только ты сядь. А то могут увидеть с другой крыши.

— В такое время, если кто взобрался на крышу, значит, делает то же, что и мы.

— Хорошо, а ты все-таки сядь, говорят тебе.

Мы уселись, прислонясь спинами к балюстраде. Стая облаков, пушистых, быстрых, сияющих, проплывала над нами.

— Помнишь того железнодорожника с лысиной, глазом все подмигивал, тик у него был? Поглядел я на это облако и почему-то его вспомнил. Мы к нему пошли тогда в воскресенье вечером, кости прогреть.

— Да, помню, а что с ним случилось?

— Пять лет дали за саботаж. Не хотели они пропускать товарный поезд. Ошибка вышла — сказали, будто поезд этот с оружием, а оказалось — он с запчастями для машин.

— Да, я, кажется, слышал что-то такое, — отвечал я. И больше — ни слова. Облака клубились, кипели, угрожали. Маркиз покосился на меня и тоже умолк.

— Скажи-ка мне вот что, Педро Игнасио, — Маркиз, кажется, опять вдохновился, — ты веришь, что Время бесконечно?

— Да. И что?

— Значит, любое мгновение входит в систему, не имеющую границ, и может быть рассмотрено, таким образом, как центр Времени?

— Наверное, так.

— А Пространство тоже бесконечно?

— Зачем спрашивать, ты же сам знаешь.

— Не мешает, не мешает лишний раз услышать подтверждение. Значит, в это мгновение я есть центр Времени и Пространства. — Маркиз глядел на меня широко открыв рот. — Ты понял, парень? Я — центр Времени и Пространства, во мне сошлось все: настоящее и будущее. Вся вселенная! Ты думал когда-нибудь об этом? Сомневаюсь. Вы ведь думаете только об объективных условиях.

— Правильно, только о них мы и думаем. Но тебе не кажется, что стоило бы отложить наш философский спор до более подходящего случая?

— А почему сейчас нельзя?

— Потому что я вспомнил Лучито,— отвечал я коварно.

— Лучито Фебреса?

— Да.— Я по-прежнему созерцал облака.

Маркиз умолк. Может быть, он ничего не знает? Да нет, знает, конечно. Вот и пойми его! Видимо, есть тут какая-то заковыка, и никак я не могу разобраться. Ну, я тоже хорош! Нашел время разбираться, вот псих-то! Я взглянул на часы: восемь минут осталось.

— Удалось тебе сделать,— выговорил наконец Маркиз,— все нужные выводы из твоего ненужного заявления? — Хоть он и усмехался, голос был глухой, прерывистый.

— Надеюсь, да. Я понял, что, поскольку ты представляешь собой центр Времени и Пространства, мелочи жизни тебя не волнуют. Так вот я могу прибавить насчет этой твоей должности, что, поскольку пространство и время есть всего лишь свойства материи...

— Нет, глупый ты человек, время — нет. Время...

— Дай же мне договорить! Поскольку они являются всего лишь свойствами материи и поскольку жизнь есть наиболее высокоорганизованная материя, ты являешься также и центром жизни. Ну, как, доволен? Устраивает это тебя? Теперь ты получил еще один титул, и внуки твои могут его наследовать: Пуп Мироздания.

Еще целое стадо облаков проплыло, молочно-белых, мятежных. Маркиз поглядел на небо, раскинул руки, словно хотел обнять небесный свод.

— Ладно, старик. Пора. Помоги-ка! — Он все так же обнимал небо, пришлось дернуть его за руку.— Помоги, говорю!

Мы пристроили доску на перила. На один конец положили листовки и придавили большущей гайкой, чтоб не улетели раньше времени. На другом конце установили бак с водой. Маркиз все еще не понимал, в чем дело.

— Если вынуть из бака затычку,— объяснил я,— вода начнет выливаться, доска наклонится, и листовки улетят. Никакой Эдисон не додумался бы, верно? И все рассчитано, в нашем распоряжении будет шесть — восемь минут: спустимся, выйдем на улицу и юркнуем в толпу.

Маркиз все глядел на меня.

— А если доска свалится какой-нибудь бабке на черепушку?

— Не свалится. Я пробовал. Опять установится равновесие.

— А гайка? — Он все еще колебался. — С такой-то высоты.

Правильно. Об этом я не подумал.

— Но риск минимальный, — заверил я. — Не сочиняй трагедий, ничего не случится.

— Конечно, минимальный. — Он поглядел вниз. По тротуару катилась густая толпа маленьких человечков.

— Ты во всем признаешься, и тебя оправдают. Нечего больше размышлять. — Я вынул затычку, потекла струйка. Я выпрямился, Маркиз схватил меня за рукав.

— А никак нельзя примериться заранее?

— Вот черт! К чему примериться?

— Кому именно башку раскокать.

Я вырвался, бросился бежать.

— Сам примеряйся. — Маркиз кинулся следом за мной. — Ты же у нас центр бесконечной Вселенной.

Прыгая через две ступеньки, я понесся вниз по лестнице. В вестибюле я подождал Маркиза. Мы сели в лифт, вышли на пятом этаже и зашагали по благословенному коридору, по возможности быстро, но с самым непринужденным видом.

Другой вестибюль. Много народу ожидает лифта. Помоему, они все нотариусы, такие у них лица. Глядят неотрывно на табличку, где вспыхивают цифры. На третьем остановился. На четвертом. Теперь на втором. Черт побери, в цокольный этаж ушел. А струйка-то все изливается. Мы стрелой кинулись к лестнице, сбегали вниз, на первом этаже оказались раньше лифта. И вышли на улицу не торопясь, фланирующей походкой.

— Сюда.

— Нет, нет. Какой же тогда интерес? Я хочу поглядеть на старушку с шестиугольной дыркой в затылочной кости.

Глупо, конечно, рискованно, но я уступил. Мы пошли по улице Эстадо, смотрели, как первые листовки, будто голуби, кувыркаются в небе; свернули за угол — люди начали поднимать листовки. Я успокоился — возле здания народу было совсем немного. Подошли ближе. Толстый сеньор в шляпе яростно ругался, проклиная этот город, прозванный Розой Ветров, и скорбно глядя на помятую крышу своего «шевроле». В руке он держал все ту же пресловутую гайку. Будто тепленькая водичка разлилась по моим жилам.

— Что случилось, сеньор? — Маркиз — вот нахал! — уже стоял возле толстяка. — Ах, какая неприятность! До чего же некрасиво, вмятина получилась, просто ужас!

Толстый сеньор бросил на Маркиза презрительный взгляд, но не счел, видимо, возможным удостоить его своей беседой, ибо не ответил ни слова. Подошли четким шагом три карабинера и все вместе скрылись в подезде. Тяжелая железная штора тотчас опустилась за ними.

— Ну и здорово! Ну и здорово! — вопил Маркиз в восторге. — Теперь этим мерзавцам не удастся ударить. Не так ли? — обратился он к какой-то сеньоре в кружевных перчатках.

Мне с трудом удалось уговорить его уйти. Пласа-де-Армас казалась зеленой — столько толпилось там карабинеров. Улицы оцепили, на тротуарах теснилась толпа.

— Я пойду. Ничего интересного тут, по-моему, нет.

— А мне интересно. Это же ни больше ни меньше, как the Secretary of States of the United States of America¹. Видишь, я тоже по-английски могу.

— Пойдем-ка лучше отсюда!

И тут, серебрясь в солнечном свете, стали плавно опускаться на улицу тысячи и тысячи листовок.

— Да нет, это же прелестно, подожди!

Едут. Мотоциклисты впереди, мотоциклисты позади. Звуки сирены. Черный лимузин длиной в семь метров, скорость восемьдесят миль! Промчался как молния. Предатель сверкает улыбкой, будто реклама пасты «Колинос». Гринго глядит устало, похож на пастора во время поста. Жиденькие аплодисменты. Большинство смотрит равнодушно, многие забавляются — ловят листовки.

Маркиз вдруг громко хохочет.

— Ты чего смеешься, скажи?

— Вспомнил, какая была морда у того толстяка и как он гайку держал в руке и показывал карабинерам, будто кашка святого Петра на него с неба свалилась.

— Хорошо, хорошо, брат. Только ты говори потише. И давай лучше разоидемся. Пойми же.

Маркиз наконец согласился скрепя сердце.

— Да, слушай, и спасибо тебе, — сказал, прощаясь, и улыбнулся; такой улыбки я у него еще никогда не видел.

Я дошел до Моранде. И вдруг — выстрелы. Сначала

¹ Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (англ.).

редкие, потом — очередь. Где-то около Мирафлорес. В ту же секунду на балконы высыпали люди, две старухи, будто испуганные курицы, трусили через сквер Конгресса, промчалась, с ревом и грохотом, машина с журналистами.

Я хотел было идти дальше, но улицы, ведущие к дворцу Монета, оказались перекрытыми. На каждом шагу стояли танкетки. Ничего не спросишь, не объяснишь — карабинеры разъярены, бросаются, как собаки, того гляди укусят. Пришлось сделать большой крюк. Я торопился. В пять часов — собрание.

Из семерых шестерым удалось разбросать листовки. Один Толстяк не сумел. Бедный толстопузик, очень он расстроился, но кто ж виноват, если весит он больше ста килограммов! Каждый отчитался, я же так и не решился признаться, что воспользовался помощью постороннего, не состоящего в партии. Что поделаешь, грешен человек.

Все рассказывали примерно одно и то же. Только Нэнси (она — новенькая, из высокопоставленной семьи) постигла неудача. Контора ее двоюродного брата, архитектора и архиреакционера, находится на улице Мерседес. Окошко уборной выходит на улицу. Как раз то, что надо. Нэнси вбежала в контору:

— Ради бога, Кучито, пусти скорей, я больше не могу терпеть.

Нэнси рассказала все как на духу; к счастью, секретарь был человек чуткий, не прерывал Нэнси, не требовал, чтобы докладывала официально, без подробностей.

Войдя в уборную, Нэнси встала на биде и бросила листовки в окошко. Но порыв ветра загнал их обратно, и листовки, как на грех, в один миг разлетелись по всей комнате. Нэнси ловила их, поднимала, бросала снова в окошко, и снова ветер...

— Я села на сиденье и чуть не разревелась, — продолжала Нэнси.

Она так долго не выходила, что двоюродный брат постучал в дверь: «Нэнси, тебе плохо?»

«Нет, нет, Кучито, у меня запор очень сильный».

Вот наказание! Рассказывая, Нэнси волновалась, прижимала ладони к щекам.

В отчаянии она решила спустить листовки в уборную. И, разумеется, залила слив. Спустила воду раз, другой... еще хуже — вода залила пол, подобралась к двери.

Наконец, Нэнси решилась выйти. «Слава богу, что

у тебя запор; — сказал двоюродный брат; — а то ты бы меня совсем затопила».

— Но вы не думайте, — Нэнси робко оглядела собравшихся (она еще побаивалась нас), — все-таки больше половины листовок улетели на улицу. Правда! Я когда вышла, все тротуары были ими усыпаны.

Секретарь стал подводить итоги (я на какое-то время отключился — не могу забыть лицо Маркиза, когда он благодарил меня), отдельно упомянул Нэнси, поздравил ее с боевым крещением; она покраснела, как свекла, стала грызть ноготь. Потом было сообщение о смене кабинета. В сущности, все осталось по-прежнему. Колокольчик новый, да все та же корова. И о стрельбе на улицах. Пока еще ничего толком не известно, сам секретарь случайно видел все из окна магазина на углу. Одна девушка-студентка вытянула несчастливый билет — пистолетная пуля в легком. Состояние тяжелое, выживет ли — неизвестно.

Тяжко стало на душе. Каждый думал: «Кто эта девушка? Знаю ли я ее?»

Фамилия пока не выяснена.

Выходили молча, по одному. Через промежутки. Каждые две минуты. Когда дошла моя очередь, снова слышались выстрелы. Далеко. Где-то возле университета, кажется.

ГЛАВА XIII

Я снова уселся за работу. Дон Армандо, хоть его домашние уверяют, будто это не так, весьма прижимист, но в конце концов он все же заплатил мне.

Слава богу! Теперь я свободен месяц. Целый месяц могу работать над своими рассказами.

Я писал, писал с остервенением, с бешенством, я ничего не желал знать ни о нашем мире, ни о других мирах. Десять раз перечеркивал, десять раз переписывал все заново. И вот свершилось! Сияют небеса, звонки птичек голоса! Вот она — настоящая проза, ясная, компактная, бьющая наповал, мускулистая, без грязи, истинно профессиональная проза! Лежа на кровати, я читал вслух целые абзацы и старался представить себе, будто это не я написал, а кто-то другой. Да, настоящее мастерство. Я чувствую, ощущаю, сам не знаю как, шкурой, или, может быть, животом, инстинктивно. Где гнездится инстинкт в нашем теле? И если кто на меня повлиял, то, скажем откровенно, Хемингуэй.

«Прощай, оружие!», «Убийцы» и другие рассказы. Это правда, стиль его, как липучка для мух: «Oh yeah, sure, said George; is he, Al; sure, George, said Al»¹, но от этого избавиться легко, едва лишь поймешь, в чем дело. Но суть-то ведь остается! Какое непостижимое тонкое мастерство, чеховское в своих истоках, какое обаяние, умение показать один-единственный уголок души и раскрыть при этом всю глубину чувства! Он обновил язык, заставил его идти в ногу со временем. Он будит воображение читателя, заставляет его взлетать на легких крыльях в беспредельную высь. А иногда ему удается охватить все, весь мир. Всю жизнь! «Oh yeah, sure, said Al».

Что может быть чудеснее? Ни разу за долгие годы не удавалось мне ударить по мячу, и вдруг — вспыхнул свет! Сердце сжимается, кажется, будто ты обрел невесомость, плывешь в светящемся пространстве, и слова поют, пляшут вокруг. Они не предают тебя больше, они говорят то, что ты хочешь сказать. И персонажи твои — не раскрашенные картонные куклы, они живые, из плоти и крови, ты можешь разговаривать с ними, давать им советы, а потом наступает самое изумительное — они начинают говорить сами, своими словами, ты слышишь их, они живут, действуют в соответствии со своим характером, подсказывают тебе, что было дальше, а если б не они, ты ни за что бы не догадался.

Это было поразительно, опьяняюще. Я чувствовал себя чародеем, волшебником, заклинателем теней. Многострадавшая моя «Смит корона» просто дымилась. От счастья аппетит мой еще больше усилился, и я дошел до того, что простил донье Рефухио ее свинство; Анхелика съехала с квартиры первого числа, ни с кем не простившись, pretty sure², и я снова принимал приглашения стариков пообедать в воскресенье под сенью дикого винограда. Конечно, если быть совсем правдивым, главную роль в этом решении сыграли пироги с мясом да тушеная курица... Но тут, сами понимаете, виноват желудок, я тут ни при чем!

Все, все предвещало прекрасный декабрь. Но... Но всегда найдется над чем посмеяться, как сказала старушка, уронив внука в горящий очаг. В этот самый день, когда я счастливо смеялся один в своей комнате, а потом отправился на кухню и стал рассказывать кухарке анекдоты,

¹ «Ага, верно, сказал Джордж; это он, Эл; верно, Джордж, сказал Эл» (англ.).

² Здесь: точно так (англ.).

именно в тот день я получил некое извещение. Мне снова дают задание, особо важное. Завтра явиться за инструкциями, обязательно.

На следующий день, сразу после завтрака, я вышел из дому. Решил немного проветриться, успокоиться и явиться к старикам бодрым, пусть никто не заметит, что я взволнован.

Побродил по центру, выпил чашечку кофе в «Гаити», поглазел на витрины книжных магазинов, довольно долго стоял также у витрины ресторана, где на вертеле медленно поворачивались полдюжины цыплят «*lo spiedo*»¹ — золотистые, с хрустящей корочкой и выступившими капельками жира. Вдруг я увидел донью Памелу и Карлоту — они шли с *matinée*² из кино «Рекс».

Объятия, поцелуи, бурные восторги.

— Ты что тут делаешь, негодяй?

— А вы? И не стыдно? Бегают смотреть фильмы, на которые дети до шестнадцати лет не допускаются.

— Вовсе нет, дурачок ты, мы смотрели детектив. Но ты скажи, где же твоя борода? Хотя так лучше, а то ты был какой-то лохматый, весь заросший.

— Да, так очень завлекательно, — сказала Карлота и глянула мне в лицо глазами, похожими на пиявки.

Дальше зашагали вместе, дошли до «Нурии», и дамы пригласили меня поесть мороженого.

— Здесь? В таком элегантном ресторане? Что случилось? Которая из вас выиграла в лотерею?

— Памела. Да, ты же ничего не знаешь!

— Ну, тогда выкладывайте.

Дамы заказали чай, я — шоколад. Пирожные, мороженое, фруктовый мармелад, тоненькие бутерброды.

Все очень шикарно. И публика соответствующая — из тех, что, когда берут чашку, отставляют мизинчик.

— Расскажи ты, Карлота.

— Нет, с тобой же все это случилось. Тебе и книги в руки.

Они засмеялись. Ну и парочка!

— Я, может, угадаю?

— А ну, попробуй. Я думаю, ты даже и представить себе не можешь.

— Но ведь у меня тоже есть магический кристалл. Вот

¹ Жаркое на вертеле (ит.).

² Утренний сеанс (фр.).

я уже вижу тебя: красивая, вся в белом, кругом горят свечи...

— Хитрый какой, тебе рассказали. Маркиз, конечно.

— Нет, я его не видел уже несколько месяцев, — соврал я. — Не может разве бедный человек стать медиумом?

— Ну, значит, ты заметил, что у меня кольцо на руке.

Я развеселился. Приятно поболтать со старыми приятельницами. Карлота намазывала мне маслом тосты. Особенно рад я был видеть донью Памелу, ведь я два года прожил в ее пансионе. И каких два года!

— Ну, и как твой новый муж? Устраивает он тебя? Ласковый? Я всегда считал, что ты не можешь жить без любви; женщина — это цветок, он нуждается в поливке. — Они переглянулись. — Что такое?

— Расскажи ты, Карлота.

— Нет ты, я же говорю, тебе и книги в руки, — отвечала Карлота лукаво и прижала под столиком колено к моей ноге.

Памела наконец решилась. Сказала застенчиво, опустив ресницы:

— Нет, Педро Игнасио, муж у меня очень хороший. И очень работающий. Он меня любит, я знаю, на него можно положиться. Ты себе не представляешь, как это ужасно быть хозяйкой бедного пансиона. Жильцы не платят, надо их выгонять. Душа разрывается. Я просто не могла больше. А теперь я сижу дома, он подарил мне вязальную машину, а по вечерам помогаю ему в делах. — Кончиком языка Памела слизнула мороженое с ложечки. — Конечно, умом он не блещет, надо прямо сказать. У него красильня на улице Эсмеральда. Ну и внешностью он, конечно, не Рудольф Валентино¹, правда, Карлота?

— Конечно. По-моему, ты очень точно его описала — самый обыкновенный засранец!

Я глядел в чашку. Карлота больше не смеялась. Помолчали. Стало грустно. Я представил себе Памелу с ее мечтательными глазами под вульгарной лампой со стеклянными подвесками или в клубах пара, среди гладильных машин, представил себе мужа, непрерывно толкующего о вырубке, о балансе, о налоговой декларации, об анилиновой краске, выписанной из Германии... «Через двадцать четыре часа ваше платье станет траурным! Великолепный

¹ Рудольф Валентино (1895—1926) — известный американский киноактер.

черный цвет, совершенно не выцветает. А потом, сеньора, мы снова его перекрасим в винно-лиловый, этот цвет так подходит для вдовы...»

Раньше Памела от своего художника слышала рассуждения о масляной живописи да об акварелях. Теперь настал черед анилиновых красок.

Стала рассказывать Карлота:

— Попался бы он мне, ты не представляешь, что это за кретин! Уж я б ему показала! И вдобавок пришлось взять у Паме на хранение сосуд с сердцем. А то я просто не знаю, что бы он натворил. И в искусстве ничего не смыслит, такой дурак!

Я снова отвлекся. Странно слушать всю эту историю здесь, в «Нурии», среди позолоченных ложечек и чашек из тонкого фарфора, под звуки слащавой музыки, что доносится из глубины зала... Такие разговоры ведут в темном погребке, где пахнет потом и фритангой¹, а на столе стоит бутылка вина и под конец все обнимаются, поют и плачут, плачут и поют.

— *Вифалитай, вифала!* — вырвалось у меня.

— Что ты сказал? Это что, по-китайски?

— Нет, кечуа.

— А как переводится?

— Не помню. Знал когда-то, да забыл. Я всегда, если не знаю, что подумать, и сказать нечего, говорю эти слова.

— Ну что ты, Педрито, вот сразу видно, что молодой. — Памела улыбается глазами — грустными своими глазами. — Не так уж все страшно. С первым мужем мы сколько лет прожили счастливо, очень, очень, очень счастливо. А ведь много есть женщин, которые за всю свою жизнь не знали ни одного часа настоящего счастья. Это все Карлота меня сбивает. Как бы то ни было, а одной жить да терзаться воспоминаниями еще хуже. — Памела смахнула пальцем слезу.

Пора было менять пластинку.

— А как поживает Маркиз? Он по-прежнему у тебя в пансионе?

Снова они переглянулись, расстроенные и будто виноватые в чем-то.

— Да нет. Мой муж, хотя мы тогда не были еще жена-ты, сказал ему, чтобы съезжал. А я хотела ему помочь, да...

¹ Ф р и т а н г а — блюдо из жареного мяса или из жареных помидоров, перца и тыквы.

— Побоялась, как бы свадьба не расстроилась, — пояснила Карлота, — потому что эта мерзкая скотина еще и ревнует.

— Да, конечно, но все-таки надо учесть и то, — Памела все не поднимала глаз, — что Маркиз ни разу мне не заплатил. Я, правда, никогда и не требовала с него денег. А владелица дома стала мне говорить, что, дескать, это такое, почему у меня никто не живет в этой комнате. Тогда я устроила Маркиза в маленькой каморке, там раньше чулан был, ты, наверное, помнишь, за кухней. Я сама повесила там занавески, пол натерла. Но с ним ведь ни днем ни ночью покоя не знаешь, прямо сердце не на месте. Какие бури бушуют в душе этого юноши? И что хуже всего — никогда не скажет ни слова. Но о тебе он сильно скучал, это верно, то и дело вспоминал тебя. А какие у него приятели и приятельницы! С той девушкой — она, конечно, тоже со странностями, но такая симпатичная — они даже подрались. А то часами разговаривает с какими-то бандитами да еще со старухой — чудная такая, и рука трясется.

— И не только в этом дело, — Карлота тоже не хотела оставаться в стороне, — если бы он хоть писал. А то ведь, я так понимаю, никогда не написал ни строчки!

— А, нет, он мне давал почитать рассказ.

— Про что? Длинный, вроде романа?

— Нет, короткий. Только я многого не поняла. Он мне объяснял. Целая куча страниц без единой точки и без абзацев. Он сказал, что это диалог двух параллельных внутренних монологов, что это новейший прием. И что никто еще никогда так не писал.

Оркестр — скрипка, пианино, ударник — разразился танго «Единственный». Несколько пар вышли на площадку. Карлота приглашала меня, она не отставала, тащила меня за руку.

— Но мне больше хотелось бы поболтать с вами.

— Нет, нет, танцуйте! Я с удовольствием на вас погляжу.

Только подумайте, танцевать танго с этим китом, с этим глобусом, с этой горой жира! Тем не менее мы весьма ловко выделявали шикарные па, не хуже прирожденных аргентинцев, и под конец удостоились даже аплодисментов. К счастью, следующим номером оказалась полька, и я заявил, что польку танцевать не буду ни за что на свете, у меня сделается инфаркт, ни за какие коврижки. И решительно направился обратно к своему столику. Карлота постояла

немного, ожидая, не пригласит ли ее кто, но поскольку такого храбреца не нашлось, она тоже вернулась и заставила меня поклясться, что на следующий танец я ее обязательно приглашу; но оркестр заиграл неаполитанские песни, и тем временем мне удалось узнать еще кое-что от Паме о Маркизе.

— Хуже всего был последний месяц, Педрито. Целые дни сидел он в своей каморке, ничего не ел, не мылся, даже не одевался. Я иногда зайду, занесу ему чашечку чая с галетами, а он глядит на меня, глаза такие большие, зеленые, взгляд пронзительный, а сам не говорит ни слова. Как-то раз я спросила, почему он не отнесет свой рассказ в «Ла Насьон», его конечно же напечатают. Он ответил, что разорвал рассказ. Я когда слышала из кухни, как он ходит там, в каморке, туда-сюда, совсем один, я просто заболела. Даже Рамон заметил...

— Я недавно вот что узнал, — сказал я, чтобы утешить Памелу, — рассказ Маркиза включили в антологию, книга вышла в Германии, и он получил кучу денег. Он был очень доволен.

— Ах, как я рада! — Памела положила руку на горло. — Теперь я понимаю, в чем дело: он тут как-то подарочек мне принес. Это Маркиз-то, можешь себе представить! Постоял за газетным киоском, пока Рамон ушел в банк. Потому что Рамон его видеть не может. Если б ты слышал, каких ужасов Маркиз наговорил ему, я все хватала Рамона за рубашку, жильцы высунулись из своих дверей и смотрели, скандал был страшный... Так неприятно! Он, видимо, получил деньги, вот и принес мне подарок. Косынку из итальянского шелка. Очень элегантная косынка, правда, Карлота? — Карлота неуверенно подтвердила. — А что напечатали в антологии, он, наверно, рад. Я знаю, ему совсем немного надо для счастья. Только как раз самой этой малости у него и нету. Даже самой малости.

Карлота снова стала толкать меня своим богатырским коленом. Я наконец разозлился и наступил ей на ногу. Я нервничал еще и оттого, что настало время идти. Разумеется, после всего сказанного прощаться было тяжело. Мы с Паме долго смотрели в глаза друг другу, я вконец одурел и крепко ее обнял.

А Карлоту я обнимать не стал. Карлоте только поцеловал кончики пальцев.

Когда я выходил из «Нурии», играли «Светлячки». Прямехонько из «Нурии» — за инструкциями.

Вот, черт побери, задание так задание! Почему выбрали именно меня? «Потому что тебя еще не взяли на заметку» — так мне объяснили. Может, только что получили сообщение? Или считают, что я хорошо справлюсь. Может, и так, но о подобных вещах, конечно, не говорят.

Мне дали деньги, кожаный мягкий чемодан, очень элегантный, кое-что из одежды, тоже шикарной. Мои наряды выглядели весьма жалкими, да и чемодан для них велик. Что я бороду сбрил — одобрили.

Я вернулся в пансион. Принял ванну, переоделся. Кремовый полотняный пиджак (чей бы он мог быть?), ярко-синий галстук, гладко выбритая физиономия... Я просто не узнавал сам себя. На кого я похож, черт возьми? Из зеркала смотрел не то юноша из богатого семейства, чемпион по лыжному спорту, не то начинающий коммивояжер по продаже недвижимости. Никому, глядя на меня, даже и в голову бы не пришло, что я писатель. А уж о другом и вовсе не догадаться.

Однако же порученное дело (зачем я буду скрывать?) пугало меня. Всегда больше трусишь, когда надо действовать где-то на чужой стороне, а в Арике я не знал никого, буквально ни одной души. Вдобавок нервы мои и без того были страшно напряжены: стоило где-нибудь кошке мяукнуть — я так и подскакивал чуть ли не до потолка.

Так что неплохо бы последнюю ночь повеселиться хорошенько. Хоть один-то разок. Чтоб сам святой Петр мне позавидовал. Не говоря уж о том, что ужасно глупо не использовать такой случай.

— Дон Просперо, я уезжаю на неделю. Да, хочу отдохнуть немного. В Лебу поеду, отца навестить.

Неудачно придумано. Старик так и загорелся: он поедет со мной вместе повидаться со старым приятелем, вспомнить бывшее... Я понес немыслимую чепуху, из которой, однако, следовало, что он должен расстаться со своим намерением. Старик вытаращил на меня глаза, так я его и оставил; выскочил из дому и из ближайшего автомата стал звонить Росе. Занято. Набираю еще раз. Наконец слышу хрипловатый голос:

— Я всегда тебя жду. Ты знаешь.

— А с кем ты так долго разговаривала?.. Ладно, ладно, бабушке своей рассказывай.

Какая она ласковая, моя Худышка! Как с ней спокойно! Не знаю, как это у нее получается, а только с ней я всегда чувствую себя бодрым, уверенным, веселым. Нет больше ни

отраданий, ни угрызений. В последнюю встречу мы договорились съездить вместе на юг, домой. А сейчас у Росы скоро каникулы, вот бы кстати. Побывали бы в Тальке, в Линаресе, поели бы свиной колбасы с картошкой где-нибудь на базаре в Чильяне, посмотрели бы фрески Сикейроса... «Да, да, сеньора Паласиос» — так бы мы говорили в гостиницах. Медовый месяц, воспоминания золотой юности, поэзия наших семнадцати лет.

И в самом деле, до чего же мы были тогда счастливые! Вся наша компания — Фауно, Виола, Панчо с вечными своими шуточками. Виола выкрасила волосы в рыжий цвет, Панчо, как ее увидел, — что, говорит, это с тобой, моча задерживается, да? Мы жили смеясь. А Альфонсо — рожа как солнце? У него тогда только что вышла первая книга и имела большой успех; а сестры Монкада, дочки капитана шхуны, такой толковый был старичок — ранешенько спать заваливался. «Слушай, давай это самое в такт делать, под храп твоего старикана, вроде как под музыку?» — «Фу, дурак, свинья!» Я помню их всех. Всех. Как умели мы веселиться!

— Учти, у меня самые дурные намерения, — предупредил я Росу напоследок.

— Ух, здорово! Тогда лети на вертолете!

Я купил пачку равиолей, баночку томатного сока и две большие бутылки вина. Не одну, а две, Худышка от вина никогда не отказывается. И отправился к ней со всем этим добром и с чемоданом.

Квартира Росы на авениде Бустаманте: одна комната, которая зовется гостиная-столовая-спальня-студия. Роса открыла мне дверь да так и покатилась со смеху. Никак не могла остановиться. Пришлось ущипнуть ее, чтоб перестала смеяться.

— Ну, рассказывай же. — Все еще хихикая, она убрала со стола тетрадки, которые проверяла.

— Только ты перестань смеяться, ради всего святого.

— Но в чем дело? Ты опять влюбился в кого-нибудь? Ты же всегда, как весна начнется... И твоя новая любовь требует, чтоб ты ходил в таком виде? А в зеркало-то ты смотрелся? Рожа — как монашкин зад. Нет, ты лучше вот что скажи: кто она, какая из себя, опиши мне.

— Ничего подобного, ничего подобного. — Я говорил как только мог спокойно и уверенно. — Просто надоело бородатым ходить.

— Да будет врать-то.

— Ну ей-богу, правда.

— Так я и поверила. Я же тебя знаю, ты такой негодяй: влюбчивый, упрямый, выдумщик, притворяшка, лгунишка. Еще что?

— Развратник.

— Да, уж это точно. Хотя не так еще плохо. А чемодан зачем?

— В Осорно еду, к тете. Совсем ей плохо, бедняжке.

— Откуда это у тебя вдруг тетка выискалась? Я же говорю — выдумщик.

— Как откуда? А тетя Лусинда?

— Ладно, пусть будет сколько угодно теток. Хоть целое семейство, мне не жалко. Что ты там принес? Равиоли? Вот вкуснятина-то! Обожаю равиоли! А скажи-ка, твоя тетя — блондинка?

— Какая там блондинка, она лысая! Ну а ты как? Потолстела вроде...

— А как же иначе, если ты не являешься. Компенсаторный механизм срабатывает, как выражаются психологи. Нет, подожди, давай я сперва равиоли согрею. Умираю с голоду. Как сердце чуяло, ничего сегодня не ела с утра. Простокваши стакан, и больше ничего.

Кроткая, мужественная моя Роса!

— Ну, в чем дело? Ты ведь никогда раньше не устраивала мне сцен.

— Не имею ни малейшего желания выступать в роли Дамы с камелиями.

— А чего же тогда ревешь?

— Я реву? Даже и не думала. Просто глаза слезятся, от усталости, наверное, тетрадки все проверяю. — Она пыталась улыбнуться, а слезы все текли и текли по щекам.

— Дурочка! Не надо, — я поцеловал ее, — а помнишь, как мы пошли купаться на озеро Сан-Педро, костер разожгли и лес загорелся. Страшный пожар был. Ты тогда вот так же и смеялась и плакала. И твердила, что нас всех в тюрьму посадят. Мы удирали прямо в купальниках, а туфли в руках; встретили какого-то хромого, он прямо туда шел, где горело, а Панчо говорит — у него нога-то деревянная, начнет гореть снизу...

— Короче станет и стучать начнет, как он побежит, а нога-то — чики-чики-чики!

Я выпил ее слезы. Мы были счастливы.

— Давай я помогу ужин готовить.

— Тащи все на стол... Ух, как много!

— А помнишь, как мы устроили нашу с тобой свадьбу понарошку? Нас даже рисом обсыпали, а потом ребята подвесили колокольчики нам под кровать...

— Это Панчо придумал, его идея.

— Верно. Его. Кстати, знаешь, где он сейчас?

— Нет. Скажи. Из нашей компании я его больше всех любила.

— Он в Писагуа.

— Не может быть! — Роза опустила на стул.

— Да, забрали его. Очень уж рискованную штуку он устроил. Помнишь, кто-то написал однажды на стенах дворца Монеда: «Смерть Предателю»? Это он. Пошел туда с одной девушкой, вроде как будто ухаживает, обнимается с ней, а сам в это время и написал. В тот раз удалось ему каким-то чудом удрать, тогда он решил повторить тот же номер возле министерства обороны, тут его и схватили.

— Да что ты говоришь! Бедненький! А нельзя как-нибудь его выручить?

— Дохлое дело. И вдобавок он только женился, шестнадцать лет девчонке всего-навсего, и малыша ждет, бедность такая, что просто жуть берет.

— Но что-нибудь все-таки можно ведь сделать? Скажи, что? Что можно сделать?

— Да ладно, ты же все равно никогда не решишься...

— Ох, нет! Это не для меня. Ты знаешь. Ты сам только сейчас сказал, что я вечно реву.

— Другим тоже страшно. Думаешь, нет? Я недавно познакомился с одной девушкой из богатой семьи, так она дрожит вся, как желе, а ты бы поглядела, что делает. Что только делает!

— Ну и женись тогда на ней.

— Да я же совсем не про то.

— Не могу я, не могу. Только хуже будет. Мне начнут нготь выдирать — я и расколуюсь сразу. Знаешь, я даже во сне вижу: какие-то типы меня допрашивают — знаю ли тебя да где ты живешь. К счастью, я даже и не знаю твой адрес. И вдобавок я ничего не понимаю в ваших теориях. Я верю в революцию, но что-то мне говорит: не скоро еще все это будет. А в школе у меня что ни ученик, то и проблема! Говорю с родителями, объясняю — не надо быть жестокими, не надо наказывать: если он плохие оценки получает, так потому, что не так-то легко заниматься, когда в животе пусто. Вот они, конкретные жизненные проблемы. А вам я завидую, вы умеете мечтать, вы живете будущим, я бы так

не могла. Слишком давит меня настоящее. Я каждый день сталкиваюсь с ним у себя в школе. Нет, подожди, не перебивай. Но какой ужас с Панчо! Хотя он такой молодец, я думаю, он и там хор организует, всех петь заставит. Помнишь, как он пел замечательно? Помнишь, то вильянсико¹: «Госпожа наша Мария, я пришел из дальней дали, пару кроликов принес я, чтоб Младенца забавляли...» Помнишь?

— Еще бы не помнить!

— Ты скажи мне адрес его подружки. Видишь, на такие вещи я могу пригодиться. Мне на рождество подарили немного деньжонок, я ей помогу. Ой, горят! Нет, соуса пока не надо. Тащи вот это тоже на стол. Ну зачем же ты суповую ложку-то поволок? Вот глупый!

— Я радио включу?

— Да, найди какую-нибудь музыку.

— Что ты хочешь?

— Что-нибудь нежное. Хотя нет, лучше не надо. Мне все еще то вильянсико слышится. Пусть так и будет пока. Бедные, бедные! А Панчо до чего милый! Как-то раз, помню, я уже в университете училась, не знаю, что ему вдруг вздумалось, взял да и подарил мне босоножки. Так было странно! Ни дня рождения у меня не было, ничего. Просто так, ни с того ни с сего, пришел и принес какой-то сверток, гляжу — босоножки. И какие красивые, если б ты видел. Нет, правда, включи лучше музыку. А то, если дальше так пойдет, я совсем расстроюсь.

Долго сидели мы грустные. Съели все ravioli. Полная луна глядела на нас в окно и улыбалась, тоже грустно. Но музыка... но вино... И, черт побери, до чего же мы все эгоисты! И хочется как-то спастись, укрыться от горя, потому что сидеть да страдать еще хуже. И опять же вино, я уже говорил, надо ж его попробовать.

«А теперь послушайте перуанский вальс «Цветок корицы».

— Потанцуем?

— Можно я сделаю одну вещь?

— Какую?

— Посмотрю, что у тебя в чемодане, можно? Он такой большущий.

— Ну, зачем? Как ты думаешь, что там может быть? Динамит?

¹ Вильянсико — старинная народная рождественская песня. На мелодии вильянсико исполняются также детские и хоровые песни.

— Не знаю. Не знаю. Дай я посмотрю.

— Чемодан не заперт. Можешь устроить обыск. Обыскивай, пожалуйста.

Я отвернулся, высунулся в окно, глядел на луну. Взгляд Росы, казалось, жег мне затылок.

— Ни за что! — завизжала она, будто раненая кошка.

— Почему же, пожалуйста, открой чемодан. Открой же, говорю.

— Нет, ни за что. Не хочу. Ты сказал «можешь устроить обыск». Ты меня убил этими словами.

— Ох уж эти мне женщины! Никак им не угодишь.

— Ах, так, женщины тебе плохи? — Роса стала передо мной, вся красная, взъерошенная, разъяренная. — Что бы вы, подлецы, делали без женщин? Ты вот даже не соображаешь, что я прекрасно понимаю, к какой тете ты собрался. Тебя черные предчувствия терзают, вот ты и пришел. А если б не это, ты обо мне и не вспомнил бы. Велели тебе нарядиться, сбрить бороду да напялить идиотский галстук, ну, значит, посылают с заданием. — В отчаянии она изо всех сил дернула себя за косу. — А ты забыл, что никогда никого я не любила и не полюблю так, как тебя? Что все эти дни буду мучиться с утра до вечера. Дрожать, что с тобой случится самое страшное? Ты обо мне забыл, потому что думаешь только о себе. И о своих делах. А я извожусь дни и ночи, жду тебя, окаянного! Слушаю, что по радио передали, кто что сказал, как поглядел. И вот, пожалуйста, он мне говорит: «Можешь устроить обыск», негодяй бессовестный!

Никогда Роса так не говорила со мной. Впервые слышу я от нее упрёки, да еще какие горькие. Она нарушила договор, наш договор, все условия которого ставил я — безжалостный мошенник. «Только не держи меня, не держи, не могу я жить привязанным к бабьей юбке». И вот Роса бросает вызов, и, странное дело, я словно слышу в ее словах дыхание смерти. Давно знаю я Росу. Очень давно. И только сейчас понял, сердцем почувствовал, как нуждается она в тепле, в ласке. Пожалеть ее надо. Убаюкать, утешить. Посадить к себе на колени и чуть слышно напевать колыбельную песенку.

— Слушай, Худышка, не говори больше. Не надо.

— Ладно, не буду. Никогда больше ничего не скажу, ни одного слова.

— И перестань косу дергать. Не смотри на меня так. А то я сейчас из окна брошусь.

— Бросайся. Тут всего лишь второй этаж.

— Не надо быть жестокой, Худышка. Есть вещи, которые не так-то просто растолковать. Ты ведь любила когда-то своего жениха. Жизнь сложна, вот что. Пойми, по крайней мере, хоть это одно: жизнь сложна.

Она, кажется, не слушала. Ярость кипела в ней, переливалась через край:

— Женись! Женись на своей героине, она же такая храбрая, а меня оставь в покое. Я хочу жить. Слышал? Просто хочу жить. И не желаю тебя больше видеть. Совсем, никогда. Иначе я, в конце концов, возненавижу тебя!

Ни разу я не видел Росу такой красивой — взыграла индейская кровь; словно встала вдруг передо мной гордая дикая араукария. Злобный ветер ревет в ее ветвях, что качаются на фоне серых холодных волн арауканских морей. И яростно рокочут в ее сердце индейские барабаны. О, непобедимая мощь, кровь древней расы! Она бурлит как лава в вулканах Льяима и Лонкимай. Роса села. Она не смотрела на меня. Она видела что-то там, далеко, за стенами своей каморки, за пределами города, за горами и долами. Ясней обозначились на лице скулы, губы вспухли.

Родная моя земля, вся израненная! Кактуса с побережья кровоточащий цветок! Она перестала дергать себя за косы и теперь не знала, куда девать руки, зачем-то собрала со стола куски хлеба и остатки равиолей, побросала поспешно в мою чашку.

— Роса! — Я взял ее руки в свои, стал целовать пальцы один за другим. — Роса, Росита, Роса моя, скажи мне что-нибудь. Скажи, что я должен сделать, чтобы ты простила меня.

Она медленно подняла голову. Сурово глянула мне в лицо.

— Люби меня! — вскричала вдруг. — Только об одном прошу тебя, проклятый. Только об одном! Люби меня!

— Но я же тебя люблю. Очень люблю.

— Больше люби! Больше. — Она сжала зубы. — Пусть сердце твое рвется на части, как мое. Никогда не оставляй меня так долго одну. Для кого мои груди, мои бедра? Для кого? — Она сорвала с себя блузку. — До чего ты хочешь меня довести? Дождешься наконец, я решусь, застанет нас обоих рассвет в постели, залитой кровью. Этого ты хочешь? Придет день, так я и сделаю, только бы не ждать тебя ночи напролет, не бегать за тобой, как сука! Думаешь, легко мне жить?

Она все еще не смотрела на меня, все еще видела что-то далеко-далеко, за горами, за морями, на другом конце земли. И вдруг заговорила совсем другим тоном, словно бы успокоилась:

— Знаешь, я совсем не боюсь смерти. За тебя боюсь, а сама умереть ни капельки не боюсь. — Она стала перебирать мои волосы. — Ты читал стихи Гарсиа Лорки о смерти «Если умру я — не закрывайте балкона»? Только одного ему надо — балкон, окно в мир, чтоб вечно созерцать жизнь, видеть, как волнуется под ветром пшеничное поле, как мальчик ест апельсин, как разбивается на песке волна. Ведь правда, ничего нет на свете прекраснее жизни?

Немой, растерянный, я только кивнул. Тогда она взяла в ладони мою голову и поцеловала в губы. Поцеловала так, что кровь выступила.

А потом мы танцевали. Танцевали. Танцевали...

Я проснулся; солнце еще не вставало, но уличный фонарь светил прямо в окно, и можно было не зажигать лампу. Роса спала глубоким сном. В ночной рубашке земляничного цвета, которую я ей подарил много лет назад; она надевала ее, только когда я приходил. Я пошел в ванную, увидел в зеркале след ее поцелуя у себя на щеке. Любимая! Я побрился, выкупался. Сидя в ванне, прочел в старом-престаром номере «Лайф» статью про жизнь эскимосов. Ну и странная у них жизнь, у бедняг! Оделся, в холодильнике на кухне нашел молоко и выпил целый литр. Потом попрощался с Росой: осторожно, чтобы не разбудить, целовал волосы, прядь за прядью. Оставил на столе свои последние рассказы, раньше я думал взять их с собой — поработать в дороге; написал на листке адрес жены Панчо, а под ним нарисовал большущее сердце, пронзенное стрелой, вывел наши инициалы, оттушевал старательно. И ушел.

ГЛАВА XIV

Чуть ли не четвертую часть земного шара проехал я в автобусе. Автобус, конечно, шикарный, кресла с откидными спинками, даже уборная есть, так что если тебе приспичит на повороте, получится струя весьма оригинального рисунка, вроде пропеллера. Но я наслаждался мягкой какой-то усталостью и спал почти всю дорогу.

В Арике — отель рангом повыше обычного, даже с бассейном. Мальчик повез наверх мой чемодан (я чуть было не

схватил сам, но вовремя остановился — шик-то ведь какой!). Потом я долго сидел в горячей ванне, бог знает, сколько тысяч километров я проехал; надо же в себя прийти. И, наконец, вышел на улицу. И шагаю уверенно, с победным видом, да-с, вот так, душа моя!

Сначала в часовой магазин. Я сразу его узнал, мне давали фотографию. Хозяин показывает мне японские часы, последняя модель, я говорю пароль. Хозяин — испанец, брови как швабры, толстый, особенно затылок — весь в складках, самый породистый севильский бык мог бы позавидовать. Услышав пароль, хозяин меняет тон, сверкнул золотым зубом, значит, надо так понимать, что улыбнулся, ведет меня в свою контору позади магазина.

Я в общих чертах излагаю дело, сообщаю необходимые сведения, намекаю на то, что задание дано сверху. Договариваемся встретиться завтра на террасе, против бассейна. Однако так скоро со мной расстаться испанец не пожелал; «Посидите еще немножко», — все повторял он, и, в конце концов, мы проговорили довольно долго — обо всем на свете.

Я, разумеется, догадался — ему хочется незаметно меня прощупать, выяснить, что я за птица. Старики частенько так поступают с нами — молодежью.

Второй оказался совсем в другом роде. Похож на Бальмаседу¹ как две капли воды; полуседые бакенбарды, манеры вельможи, пожалуй, чересчур элегантен. Банкир. Значительная персона. Собственная контора, секретарша и прочее. Когда я увидел их обоих, я вообразил, будто понимаю, почему выбрали именно эту пару: испанец (я потом узнал, что он ветеран Гражданской войны) — человек от-
важный, а банкир — хитрец. А оказалось как раз наоборот.

Оба явились точно в назначенное время. Я представил их друг другу. Банкир заморгал, не в силах скрыть изумления: не раз и не два хозяин часового магазина бывал у него в банке. Астуриец, напротив того, воспринял новость юмористически. Даже похлопал банкира по плечу.

Я рассказал о задании. Товарищ находится в Такне, документов нет, положение трудное. Он должен привезти сюда нечто весьма важное; необходимо во что бы то ни стало помочь ему въехать в страну. Вдобавок дело срочное. Пусть они посоветуются и вдвоем выработают план дей-

¹ Бальмаседа Хосе Мануэль (1840—1891) — президент Чили в 1886—1891 гг. Боролся против экспансии иностранного капитала.

ствий. Прежний, предложенный стариками из Сантьяго, провалился. Я, однако, поостерегся и не сказал, что если и на этот раз ничего не выйдет, существует еще один вариант, который, будем надеяться, осуществлять не придется. Очень уж он отдаст испанским барокко восемнадцатого века. И пахнет расстрелом всех участников, первая же инстанция приговорит.

В бассейне плавала девушка, ловкая, как дельфин. Когда девушка поднялась на трамплин, я разглядел ее фигуру и тотчас начал заикаться. Чуть было не проглотил оливку из «мартини». Да, я же вам не сказал: я, конечно же, заказал три «мартини», чтобы сцена встречи выглядела естественнее.

Они не стали задавать лишних вопросов, стреляные воробьи. Сговорились, когда и где встретимся, я на всякий случай сказал, в каком номере поселился. Вот и все. Не успели мы проститься, как появился офицер, махнул повелительно, по-военному, девушке, она тотчас подбежала, и, крепко взявшись за руки, они удалились.

Оставшиеся дни я развлекался как мог. Да, друзья мои, я сделался заправским туристом. Давно мечтал я увидеть Арику. Шатался по порту, катался на лодке, поднялся на Морро, сидел в кино, четыре фильма видел, всего на круг — тринадцать убийств, и почти-почти сблизился с девушкой, что плавала в бассейне. Зовут Гертруда, родители — немцы, нацисты-сволочи, живет в Вальдивии. Чемпионка по баттерфляю; фигура — умопомрачительная.

— Вы так изящны. Стоит вам только появиться на трамплине — сразу присудят приз.

Потом я уговорил ее нырять вместе. Мы бросали гирьку и кидались вниз в воду искать ее. Конечно, всякий раз победительницей была Гертруда, ибо под водой я только тем и занимался, что разглядывал ее. И на земной-то поверхности она казалась чудом, а уж в открытом купальнике телесного цвета, да еще когда глядишь сквозь водную толщу, будто через голубоватое стекло, — просто сама Лорелея. Не нужно, наверное, объяснять вам, что я вел себя достаточно осторожно и уходил в одиннадцать, до появления офицера.

Однако, как ни смешно, а все это время я (вот дурак-то!) ни на минуту не переставал думать о Худышке. Такого со мной еще не бывало. И вот — пришло. Странно. В самом деле, почему все так странно в жизни?

Мы родились и жили в одном доме, дверь в дверь. Я был

старше ее на несколько лет и не обращал на эту сопливуку никакого внимания. Но она выросла. Все они рано или поздно вырастают. И такая стала высокая, цветущая. А однажды утром мой отец (с каждым днем прибавлялись морщины на его лице, давно уже разговаривал он с одной только неразлучной своей тоской; с тех пор как выгнали его из учителей, он никуда не мог устроиться и кое-как перебивался, работал помощником портного — можете себе представить, как часто заказывали костюмы у нас в Лебу) решил поговорить со мной. Мы только что позавтракали, отец сидел еще за столом; развернув газету, спрятав за нею лицо, он сказал так:

— Слушай, парень, не пора ли тебе стать мужчиной. Я уже несколько дней думаю об этом. Хватит висеть у меня на шее.

А все потому, что он связался с этой старухой. Вот ведь всегда так, а еще отец называется; нет, чтобы поговорить по душам, начистоту.

— Ладно, старик, не расстраивайся. Могу пообещать только одно — стыдиться за меня тебе не придется.

Отец дал мне денег — хватило на билет и еще осталось немного, — и я уехал в Сантьяго. Два года работал переводчиком телеграмм из-за границы. Шла война, а когда она кончилась, меня уволили; я отправился в Консепсьон — самый прекрасный город в мире. Там нашел работу, тощий Авалос устроил на радио: был я и диктором, и звукооператором, на все руки.

Тощий Авалос писал тексты радиопрограмм; однажды шла у нас серия из жизни троглодитов; он и написал на полях: «Драка динозавров; озвучить, найти соответствующий звуковой фон». Что тут придумаешь? Но в самую последнюю минуту меня осенило: взял я пластинки с записью плача младенцев на 78 оборотов и поставил на скорость 33, получилось шикарно.

Вот так я и перебивался. И вдруг появилась в Консепсьоне Роса. Да, Роса! Приехала учиться в здешний университет, профсоюз типографщиков послал. Вот ведь до чего ловкая! Как раз в день ее приезда я был на вокзале, пирожки ел.

После первых объятий я и говорю:

— Ну, можешь считать, что тебе везет. Представь, у нас в пансионе только что комната освободилась. Совсем почти рядом с университетом будешь жить, каких-нибудь два квартала.

И начались безумные годы. О молодость — дар небес, солнце, море, ветер и беззаботность. Словно огромная волна подхватила нас и несла, изумрудная, прозрачная.

Тогда-то я и вступил в партию. Помню, как сапожник Ронко Росалес сказал мне: «Хватит уж трусить, парень, сколько можно раздумывать. Давай прыгай в воду!» К тому же у меня это наследственное. С отцовской стороны и с материнской тоже. А дед мой был анархистом и много чего натворил. Во время выборов мы просто на части разрывались. Старики были мною довольны и в один прекрасный день (все ведь случается с нами в один прекрасный день) направили в Сантьяго работать в газете.

Мы целовались на перроне — ничего не поделаешь, любовь моя, я теперь сам собою не распоряжаюсь. В газете я вел сперва отдел театральных рецензий, а потом — профсоюзную страницу; ну, а тут Предатель распорядился закрыть нашу газету. Что творили эти звери! Устроили разгром, из автоматов стреляли, мы еле успели ноги унести, кое-как проскочили через оцепление, проклятые гиены все порушили, поломали: типографские станки, письменные столы, все... Включили ротационную машину, а между валами просунули огромный кусок железа. Разбили вдребезги пишущие машинки. Даже унитазы в уборной!

Роса тем временем кончила университет и стала работать учительницей в лицее святого Бернардо; и опять же в один прекрасный день вдруг встречаю я ее на стадионе.

— Ты перестанешь за мной бегать, Худышка? Если я когда-нибудь отправлюсь в Тибет, ты и туда явишься?

Прямо какое-то наваждение. А может, судьба. Ну, если вас не устраивает слово «судьба», можно сказать что-нибудь философское, насчет случайности и необходимости. Но все-таки судьба, я думаю.

У Росы был жених, назначили свадьбу, приехала она в церковь, разряженная, в кудрях, а он взял да и сбежал. Встретились мы с ней, зашли в погребок на Ираррасабаль, выпили пива, и она рассказала мне все это. Ну а я намотал, конечно, на ус.

Я знал Росу всегда, всю жизнь, я помню, как ей меняли пеленки, помню, как она впервые купила губную помаду и вся вымазалась, потому что не умела краситься. И вот только теперь, после стольких лет...

Я вижу ее. Она словно живет во мне, сидит, подперши голову, будто из окна смотрит. Я ее вижу. Все время вижу. Вот надоеда! В тот день, когда я катался на лодке, я просто

дошел до точки. Низвергался потоками с небес оранжевый свет, порхали птички, волны пенились, журча и сверкая, и в каждой я видел ее — тонкая талия, суровая чистота, ярость ее покорных губ. И в облаках я ее видел, и на корме каждой лодки, что покачивал прибой, и в розовом луче, что плясал на стене моего номера. Где я только ее не видел!

Хочешь не хочешь, а это надо принять. Придется сдаться, старик. Пришла любовь. Выхода нет. Никуда не денешься и никак по-другому это не назовешь. Любовь, беспредельная нежность. Кроткая гладь вод и свет, главное — свет, лимонно-желтый, и некуда спешить, и не надо мучиться, и запах свежего белья пробуждает огонь в крови, но свежее белье пахнет еще и домом, семьей, вот что гораздо опаснее. Хочу держать ее руку в своей и вместе смотреть телевизор; хочу, чтоб она подавала мне домашние туфли; чтобы по воскресеньям мы катались на лодке по пруду возле Кинта-Нормаль, а потом мы падаем на постель, и я ощущаю солнечное тепло ее тела и тысячу и один раз срываю нежный лепесток розы, а роза вздрагивает от счастья.

Я взобрался на Морро, чтобы подумать. Подумать всерьез. Сверкали вдали голубоватые молнии, бросались вниз с горных вершин, а внизу подо мной расстиралось море, бескрайнее море, растянулось под солнцем, подставляя бока теплым лучам.

А я думал. Какую жизнь могу предложить я Росе? Вот ведь в чем подлость, самая что ни на есть сволочная подлость! Разве это жизнь? Не в деньгах дело, вовсе нет, она, может быть, зарабатывает больше меня, да и вообще это ерунда, мы с ней не из тех, что считают каждый сентаво. Но тревога, но постоянный страх? Мы пока что не женаты, и то она, бедняжка, видит все время кошмарные сны — доносы, допросы и прочее в том же роде. А если в лицее узнают, что у нее муж коммунист, ее же с работы выгонят.

Мы — словно прокаженные в средние века, нас заставляют носить колокольчик на шее, пусть люди издали слышат, что ты приближаешься, и разбегаются кто куда. Тогда, значит, поженимся тайно. А если Роса забеременеет? Незамужняя учительница и вдруг — беременна. Какой ужас! Вон!

Так что же? Выходит, мы не имеем права любить? Даже это право у нас отняли. Мало того, что священная демократия загнала тебя на самое дно; мало, что тебя отлучили от церкви (хотя на это мне плевать сто тысяч раз); мало, что

выгоняют из любого государственного учреждения, с любого частного предприятия, чуть только учуют, чем дело пахнет; проклятый закон¹ связал тебя по рукам и ногам; тебя исключают из избирательных списков; по ночам ты вскакиваешь в ужасе всякий раз, как затормозит возле дома машина. Всего этого им мало!

Живешь, словно висишь на ниточке над пропастью. Тут Худышка права. Голубая ниточка, очень красивая, очень, очень, но от этого разве легче? Понимаете, рабочими движет что-то совсем иное, другие факторы толкают их на борьбу, конкретные, как орудия их труда; тут действуют совсем иные психологические механизмы. А вот мы, интеллектуалы... Но разве от этого легче? Ты лишен всех гражданских прав; ты не можешь жениться, иметь детей...

И вот слушайте меня внимательно, я вам скажу кое-что по секрету: жить по-другому я не хочу. Ни за что на свете! Если бы мне пришлось прожить тысячу жизней, я прожил бы их так же.

Не знаю, как вам объяснить толком. Я даже сам не очень-то понимаю, в чем дело. Но жить жалкой жизнью человека, который сдается, не вступая в бой, который умеет только хныкать и не умеет кричать, который крутится, как колесо повозки, и не знает, кто толкает повозку и куда; такой человек вечно поддакивает, раздавленный тяжестью первородного греха, страдая за чужую вину, истинную или воображаемую. Он боится старости, а сам давно уже старик. Осеняет себя крестом, если видит пару женских ног. Ему страшно, когда лиловые сумерки сгущаются над головой; страшно, когда хмельное море вздымает буйные свои веселые волны. Этот человек никогда ничего не предпринимает; пресмыкаться — его профессия, порядок — его религия; жалкое пресное существование, пронизанное запахами лекарств, апатичное, серое, слепое. Такие люди не знают ярости, боятся взглянуть на солнце, мятеж их страшит. Они ненавидят толпу, им противен запах пота; они дрожат при малейшем ветерке, рутина, как ржавчина, съедает их жизни, предрассудки не дают им свободно дышать. По воскресеньям такой человек достает с наслаждением черный костюм, чтобы идти к мессе; он не смеется, а скалит зубы, он налепляет на мыло крышечки от пивных бутылок,

¹ Здесь имеется в виду так называемый «Закон о защите демократии», принятый правительством Гонсалеса Виделы в 1948 г. Закон запрещал существование коммунистической партии.

чтоб дольше служило, он экономит туалетную бумагу. Высшим он привык лизать пятки, низших — топтать; он никогда не протестует; он дуреет от постоянного повторения пошлостей; свои неудачи он вымещает на детях и раздает оплеухи, когда возвращается вечером со службы...

Нет, я ничего не изменю в своей жизни. Не хочу жить по-другому. Тысячу жизней, черт побери, я прожил бы снова так!

Вот о чем я думал. Вот о чем, Худышка. У нас нет ничего, это правда, но у нас будет весь мир. Мы — первые строки эпической поэмы (нет, это не метафора), что пишется не чернилами, а кровью. И у нас есть неприступная крепость — наше упорство. И есть глоток свежего воздуха — наше достоинство. Мы протестуем, проклинаем, бушуем. Бьем в ярости копытом, если не удастся тотчас же сделать то или это, мы — энтузиасты, мы — дети, плутающие по дорогам мечты, великолепные безумцы, но мы верим: страшный мир, созданный рассудительными людьми, мы переделаем. В глиняном горшке, в жалком глиняном горшке растим мы красную аньяньуку. И никому никогда не удастся ее растоптать.

Не хочу жить по-другому!

Ты слышишь меня, Худышка? Настанет время, когда ты все поймешь. И пойдешь с нами.

Вифалитай, вифала!

На четвертый день рано утром позвонили по телефону. «Ваши часы готовы, сеньор Паласио», — сказали с испанским акцентом. «А, очень хорошо». Трубку повесили.

Все шло прекрасно. То, что я считал самым трудным — перевезти его через две границы, перуанскую и чилийскую, взял на себя банкир. Я так никогда и не узнал, как это удалось сделать. А доставить его в центральную часть страны взялся испанец. Я пришел к нему за «своими часами», стал шутить на эту тему; испанец вдруг взял да и подарил мне часы. Я стал отговариваться: да что вы, да зачем же, да большое спасибо, да не надо; он взял часы и сам надел мне на руку.словно добрый папаша. Потом сказал, что теперь требуется мое участие. Я спросил — зачем, и он отвечал — по причинам психологическим. Я должен одеться как можно элегантнее и ровно к семи утра явиться на рынок, с северной стороны. Там меня будет ждать грузовик, номер я записал, и мы поедem. Водителю, разумеется, можно доверять полностью, и мальчику-подручному тоже. Ну и все. Да, вот еще что: когда мы проща-

лись, испанец нахмурился и велел вырвать из книжки листок с записанным номером: «Привыкай, парень, запоминать наизусть. Все наизусть!»

Ночью я почти не спал. Только подумайте! Мне придется проехать три тысячи километров с опасным незнакомцем. Не слишком-то это приятно, скажем откровенно, и я без конца плел да придумывал ожидающие меня приключения, правдоподобные и неправдоподобные. При этом я ни на минуту не забывал, что переживаю первую главу будущей повести, из тех, что удастся написать, лишь когда пройдет много-много лет. А бывает, что и вовсе не удастся.

Контрабанда шла с севера в большом количестве. Кроме того, совсем недавно в пустыне проходили маневры, и, пользуясь ими (это *vox populi*¹), вояки тоже занялись контрабандой: везли шелковые чулки, часы, духи, запрятанные в автомобильных шинах и даже в стволах орудий. А уж в танках чего только не было. Таким образом, более чем вероятно, что у первого же полицейского поста нас остановят и начнут обыскивать. А кроме того, они и вообще-то постоянно обыскивают всех, как им только вздумается, проверяют документы, роются в багаже, ищут под сиденьями, а то и раздевают людей догола.

Но выхода не было; оставалось положиться на заступничество Маркса и Энгельса перед престолом всевышнего и надеяться, что повесть моя во второй главе не потеряет своей красочности.

Не знаю, сколько я спал в эту ночь, но, видимо, сработал какой-то внутренний механизм — в шесть часов я уже стоял внизу в своем пресловутом голубом галстуке и расплачивался за номер. Жаль, что моя валькирия начинала тренироваться в семь, она обещала дать номер своего телефона в Сантьяго, а накануне столько было у меня хлопот, что я совсем забыл напомнить ей об обещании. Ах да, вот еще что: в последний раз я прошелся по городу, чтобы зайти в другой часовой магазин; там я обменял подаренные испанцем часы на женские; хоть сделка и невыгодная, но я решил привезти подарок Худышке.

Через полчаса появилась машина с тем самым номером. Первая неожиданность: новенькая двухтонка фирмы «Форд», доверху нагруженная арбузами. При чем здесь арбузы? Может, я ошибся? Еще раз сосредоточился, вспомнил номер — нет, все верно, тот самый. Чтобы как-то убить

¹ Букв.: глас народа (лат.). Здесь — общеизвестно.

время, я прошелся по рынку, купил на память гномика с мешком на спине, они здесь такие прелестные, и ровно в семь сел в кабину.

Водитель протянул мне громадную свою лапищу; ну и ну, не человек, а орангутанг какой-то! В жизни еще не встречал я такого — физиономия до того страшная, прямо жуть берет, сам — огромный, мощный. Мальчик-подручный вскарабкался в кузов, уселся на арбузах. Поехали.

Конечно, у первого же поста нас задержали, приказали выгрузить все до последнего арбуза. Вдобавок несколько арбузов они разрезали (и, разумеется, взяли себе, мошенники) — сами понимаете, сколько контрабандных товаров можно уместить в одном арбузе. Потребовали у нас документы. Смотрели их, правда, кое-как, так только, для порядка. И ни о чем не спросили. Водитель объяснил сержанту, очень ловко это у него получалось: взял, дескать, пассажира (то есть меня), хотел немного подработать, шестеро ребятшек, знаете ли...

Вот теперь-то я понял: испанец все предусмотрел, он знает закон психологии человеческой: нарушение правил налицо, хоть и не слишком важное, ну и все, больше вас уже ни в чем не подозревают. Грузовым машинам запрещено перевозить пассажиров, значит, самое страшное, чем мы рискуем, — это что меня ссадят и я останусь со своим чемоданом голосовать на дороге. Прекрасно, только никак я не пойму, зачем он затеял всю эту волюнку. Ведь не из-за дурацких же арбузов? На этот раз очень мне было трудно выполнять наше обычное правило: никогда не спрашивать о том, что тебя не касается и что тебе не положено знать.

И ведь что всего досаднее: когда мы в последний раз виделись с испанцем, он вроде бы собрался разъяснить мне что к чему, а как увидел, что я записал номер машины, так замолчал и больше ни слова. Решил, видимо, что я непонятный желторотый птенец.

И тут мальчик наш вдруг как закричит: покрышка села! Орангутанг вылез, поглядел и начал ругаться:

— Я ж тебе говорил, козел чертов, чтоб укрепил запасную как следует!

Долго они перекорялись, наконец водитель обратился к полицейскому:

— Вот ведь, сержант, незадача какая, чтоб я сдох! Покрышку запасную потеряли! Из Арики как выехали, она тут была, надо думать, только недавно, недалеко где-нибудь свалилась.

Нам разрешили вернуться; за первым же холмом, где с поста нас уже не могли видеть, вторая неожиданность: еще один «форд», точно та же модель, точно тот же цвет и точно так же нагруженный доверху арбузами. И покрывающая запасная имеется! А из кабины выходит испанец! Я разинул рот. «А что тут такого, черт побери! — Испанец сверкнул золотым зубом. — Разве не может часовщик и арбузами торговать?»

Ха! Сказать, что я окаменел от изумления, будет мало. Я подумал даже, не сошли ли мы все с ума.

В один миг водители поменялись документами, мы пересели в кабину второй машины.

— Не теряйся, малыш, — крикнул мне испанец и поднял кулак, — все будет хорошо.

И мы отправились.

На этот раз водитель вел машину как-то странно, согнулся в три погибели, чуть ли не лег на баранку. Я спросил, что с ним, он глянул сердито из-под нахмуренных бровей.

— Ты что думаешь, мальчик, я железный? Все кишки в животе переворачиваются. Старуха у меня, ребятишки. Если б еще хоть один был... — Он сплюнул в окошко.

Это было последней каплей: нервы мои сдали, задержалось веко на глазу. На сей раз мы даже и не останавливались у поста. Притормозили, конечно, чуть-чуть, водитель высунулся из кабины:

— Нашли мы ее, сержант. На дороге валялась. Спасибо, — и дал полный газ.

Ох ты, черт побери, до чего же длинная наша страна! Когда едешь на полной скорости по северной пустыне, есть время подумать хорошенько. Тянутся долгие часы, тишина, безлюдье. Ни звука, ни шороха. Сонные дюны, нет им конца, не жужжат насекомые, мелькнет изредка кучка камней — чья-то одинокая могила, виднеется в песке скелет овцы или коровы. Летят одна за другой сотни километров, губчатая лава высовывает свое рябое лицо, лишая известняка, жалкие кустики мимозы...

Мы обрадовались, когда пролетел низко над нами кулик, свистнул громко, будто прощался. И опять тянутся часы, ведут медленный хоровод тучи, нависли низко над пустыней, в тучах черная точка — кондор. Среди дюн — перевернутая машина. Прямая дорога, бесконечное ее однообразие убаюкивает водителя, машина незаметно сползает на песок, и нередко, когда водитель очнется, машина

лежит перевернутая, а он сидит за рулем головой вниз, будто космонавт. Мы остановились, хотели помочь, но пострадавшего, видимо, уже увезли. Сиденье все было залито кровью.

И опять тишина, опять безлюдье, а они сродни смерти. Вдалеке, словно огромный задник, Кордильеры, окутанные сырым туманом, белый вечный снег вершин в желтых и лиловых пятнах.

— Писагуа. — Водитель большим пальцем ткнул в сторону океана.

Так, значит, вот это где. Концентрационный лагерь, созданный Предателем; с одной стороны — бесконечные пески, с другой — бесконечная водная равнина; там томятся сотни наших товарищей. Там Панчо поет свои вильянсико, вспоминает беременную жену. Все они там вспоминают своих друзей, своих детей.

— Удавалось кому-нибудь бежать оттуда? — спрашиваю я.

— Что ты, и мечтать нечего. И потом, надо беречь силы. Может, еще хуже будет.

Худышка как-то раз сказала: не понимаю, почему это вы обязаны геройствовать да плодить сирот. И тут, сам не знаю, как это вышло, я вдруг спросил, где же...

— Да тут, в кузове едет. — Водитель мотнул головой назад.

— Арбузами его не задавит?

— Да нет, его там удобно устроили.

Через несколько часов нас обогнала вторая машина. Испанца уже не было. Водители весело приветствовали друг друга.

— Порядок?

Орангутанг ответил каким-то нутряным ревом, но второй водитель был, как видно, полиглотом, он все прекрасно понял и, одобрительно улыбаясь, поднял кулак.

Мальчик лежал на самом верху второй машины, корки от съеденных арбузов громоздились вокруг него; укрывшись мешком, мальчик крепко спал.

Сумерки сгустились; на пути к Антофагасте нас застала ночь, черная как смола; ехали по неасфальтированной дороге, машину трясло и швыряло порядком, но в конце концов прибыли. Собаки встретили нас бешеным лаем, закачался вдаль в чьей-то руке фонарь, кто-то крикнул на собак, они успокоились. И опять пошло: бери, хватай — стали сгружать арбузы.словно игра какая-то. На этот раз

я тоже сгружал, больше ни к чему было изображать пассажира. Наконец из-под арбузов показался бедный, кое-как оструганный гроб. На крышке лежала змея. Только что собрался я сбросить ее, как крышка поднялась и человек сел в гробу. Змея оказалась резиновой трубкой, через которую он дышал.

По правде говоря, я плохо его разглядел. Тяжело опираясь на руку мальчика, он спрыгнул на землю. Наверное, одеревенел весь. Протянул мне руку — худую, холодную, обнял водителя, тот похлопал его по спине, желая, видимо, ободрить, и, все так же не произнося ни единого слова, двинулся вслед за человеком с фонарем куда-то во тьму, где угадывался силуэт фермы. Я заметил, что человек с фонарем держал его так, чтобы свет не падал на их лица.

Мы постояли, поглядели вслед, опять побросали в кузов окаянные арбузы (никогда не думал, что они такие тяжелые, даже спина заболела) и — снова в путь.

С каждой минутой холодало, в пампе ночью до того жуткий холод, вы себе даже представить не можете; я вытащил из чемодана и навалил на себя все, что там только было, прикрыл глаза и вроде как задумался.

Клянусь вам, это было поразительно. Пампа превратилась в море огня, словно начался опять мировой пожар. Деревья пылали как факелы, кактусы яростно извивались в пламени, пампа, будто огромная красная шкура, вздрагивала, ходила волнами, а над ней, пожирая ночную тьму, крутились громадные сияющие солнца.

И маленький упрямый человек шел через пламенеющее море.

Так ведь оно и есть. Дело в том, что идеи, воспринятые из книг, тоже, конечно, важны, я не спорю, но только самое прекрасное — когда они стали плотью твоей и кровью.

Бесконечная пустыня, проклятое кладбище, колыбель смерти. Природа, буйный разгул ее стихийных сил — вот что такое наша Америка, была и есть, и в этом беда. Жизнь в природе, вне истории, как в «Донье Барбаре»¹, в «Пучине»², в «Сертанах»³. И все-таки — нет, нет, ради всего

¹ «Донья Барбара» — роман венесуэльского писателя Ромуло Гальегоса (1884—1969).

² «Пучина» — роман колумбийского писателя Хосе Эустасио Риверы (1889—1929).

³ «Сертаны» — роман бразильского писателя Эуклидеса да Куньи.

святого, нет! Умереть суждено каждому, но ведь и жить тоже. А жить — не значит сидеть в этом колоссальном амфитеатре и покорно ждать, что будет. Надо выбираться на сцену, надо громко заявить о себе, самому делать историю. Ты должен, пусть хоть немножко, почувствовать себя тем человеком (а он жив во всех нас), что похитил огонь, что создал язык, что сложил и спел первую песню; тем, кто первым бросился на штурм небес, кто сокрушил власть неправых.

— Ну и силен, молодец. Я его давно знаю. — Вот теперь водитель вдруг разговорился.

Но я промолчал. Я и без него хорошо знаю, что человек этот — молодец. Именно о таких, как он, я ведь только что думал. А может, не думал, а так, привиделось. Кольца огня, охваченная пламенем серая шкура пампы, торчащие скалы — будто вывернутые суставы планеты.

И слабая жесткая рука, сжавшая мою в темноте. Только рука, лица я не видел. Теперь я понял, почему он молчал. Почему не сказал ничего, даже не поблагодарил. Стоило ему сказать одно только слово, устами его тотчас заговорили бы миллионы, на всех языках. Живые. И мертвые тоже.

ГЛАВА XV

Заваруха началась так: кто-то бросил хлебным шариком в Речио. Попал прямо в ухо. Знали очень хорошо, что он разозлится страшно, вот нарочно и целились. У Речио покраснел затылок. Раз! Еще один хлебный шарик. Речио оглядел нас всех, все столы подряд, каждому заглянул в лицо.

— К-к-к-ког-да я уз-з-знаю, к-кто эт-т-то, — от ярости он заикался больше чем обычно, — т-т-т-то он у м-м-ме-ня...

С другого конца столовой — еще несколько выстрелов. Речио выкатил остекленевшие глаза, не долго думая, схватил здоровенную булку и запустил прямо в физиономию Чико Головастому. Чико, не виноватый ни сном ни духом, тотчас швырнул в ответ кусок хлеба и попал Речио в грудь, а рикошетом — в тарелку с тушеным мясом, взлетел фонтан брызг. Речио поднялся, большими шагами, не спеша, подошел к Головастому и вылил ему тарелку супа *in idem*¹. Тут уж пришлось вмешаться остальным. Голова-

¹ Здесь: на таковую (лат.), т. е. на голову.

стый фыркал и размахивал руками; Речио заикался, красный, как редиска. Драка разгоралась, с разных сторон летели куски хлеба, овощи всех сортов мелькали в воздухе, будто метеоры.

Хозяйка, венгерка с густыми бровями и такими широкими бедрами, что могла бы, наверное, родить теленка, выкрикивала непонятные слова, несла какую-то тарабарщину; до чего, как подумаешь, сильны национальные предрассудки — хозяйка никак не могла взять в толк, что молодые люди всего лишь невинно развлекаются; надо же им как-то излить бьющую через край энергию, вот и устроили потасовку. По лицу хозяйки видно было, что она всерьез опасается, как бы дело не кончилось поджогом ее дома.

Тут Головастый стащил с себя рубашку, обильно украшенную прилипшей лапшой, свернул в шар и метнул в Речио, но проклятая рубашка распласталась на лету и опустилась на голову Пепе Карреры, получилось нечто вроде тюбана. Турок Хамид взобрался на стул и стал убеждать нас вспомнить о Стокгольмском воззвании. В углу запели мексиканскую песню. Речио твердил сплошное ка-ка-ка-та-ра-та.

Я в тот день прямо как с неба свалился во все это. Вернулся из Арики и только что вышел на улицу, как тотчас встретил Чоло Хименеса; он и пригласил меня позавтракать. «Наши студенты обнаружили на Аламеде, против Католического университета, некую обжорку, притом очень дешевую, — рассказывал Чоло, — хозяйка верит в долг. А сегодня вторник, и там подают гуляш! Осуна-Крысолов нанялся расписать стены обжорки, договорились, что вместо платы хозяйка будет его кормить, не удивительно, что работа его длится целых два года».

Убедительнее всего подействовало на меня упоминание о гуляше. Когда я приехал, выяснилось, что рацион в пансионе, где я жил, еще сократился; теперь мы питались как индийские факиры или как балерины. Инфляция почти полностью съедала пенсию дона Просперо, и в соответствии с принципами государственной экономики нам предстояло содействовать выравниванию национального платежного баланса. И вдобавок в этой обжорке можно, наверное, встретить кого-либо из знакомых. Маркиза, например.

Однако нет, Маркиза там не оказалось. И гуляш нам тоже не достался. Артиллерийский огонь стал ураганным; тогда венгерка подняла здоровенные, как у грузчика, кула-

ки и громовым голосом объявила, что больше никому никакой еды не даст. Общий крик перешел в дикий вопль. Двести тарзанов, воющих одновременно, — просто пустяк сравнительно с тем, что тут поднялось.

— Мы уходим! Мы никогда не вернемся сюда! Можете лопать свой гуляш сами!

Венгерка отвечала, по всей вероятности, страшными мадьярскими проклятиями, а мы ревели все хором:

— Гуляш! Гуляш! Гуляш!

Все это напоминало футбольный матч. Мы орали, колотили по столам кулаками, локтями, ложками.

Веселье было в самом разгаре, когда вдруг — молчаливая отрешенность, слабая улыбка — появился Лучо. Он, кажется, ничуть не удивился, застав такое. Постоял немного на последней ступеньке лестницы и тотчас же двинулся вперед, нагруженный целой кучей книг; он переходил от стола к столу, не обращая никакого внимания на шум и крики. Лучо раздавал книги. Не как попало. Все было, по видимому, обдумано заранее. Этому достался Анибал Понсе, тому — Мариатеги. И Макс Беер, и Меринг... Лучо не говорил ничего. Просто подходил, клал на плечо руку и давал книгу.

Любопытно, что мимо меня он прошел дважды, но не заметил, так был погружен в свое занятие. Или, может быть, не ожидал встретить меня здесь. А я сам постеснялся его окликнуть. Получится, будто я боюсь, как бы он не обошел меня подарком. Некоторые благодарили Лучо, некоторые удивлялись, все ведь знали, как нежно любил Лучо свои книги, остальные же вообще ничего не замечали, увлеченные скандалом, который все разгорался.

Лучо роздал книги и с тем же выражением на лице пошел к выходу. Возле лестницы остановился, повернулся, медленно обвел всех взглядом. Я подумал, что теперь-то он меня узнает — какое-то время он на меня смотрел. Но нет. Какой странный сегодня у Лучо взгляд. Очень странный. Скользит рассеянно по лицам.

Сильно озадачил меня этот его взгляд. Молча смотрел на нас Лучо, и я понял вдруг, что хоть все мы и живем одной жизнью, однако жизнь каждого — сама по себе, неповторимая, особая. Свет лился из глаз Лучо, такой свет стоит над болотной водою, когда начинает смеркаться, легкий озноб пробегает тогда по спине, и ты догадываешься, что природа тоже может быть порочной и коварной.

Я хотел сказать все это Чоло, но он не слушал. Парла-

ментеры, посланные на переговоры со Старой Балатоншей, объявили, что удалось достичь соглашения, заключено перемирие, но прежде, чем будет подан гуляш, она требует прекращения огня и чтоб мы подобрали разбросанные на полу объедки. Одни согласились, другие — нет. Однако по столам стучать перестали, шум постепенно утих, словно туман в долину, спустилась мирная тишина и окутала нас.

И вдруг — страшный пронзительный скрежет. Долгий-долгий. Машина затормозила здесь, рядом, под самыми окнами.

Чоло вскочил, подбежал к окну, выглянул и молча, с искаженным лицом, кинулся вниз по лестнице. Сердце мое бешено заколотилось. Я бросился вслед за Чоло, прыгая через три ступеньки. Остальные толпой, теснясь и толкаясь, — за нами.

Он лежал посреди улицы между двух угольно-черных длинных полос от колес отчаянно тормозившей машины. Лежал на боку, глаза полузакрыты, прижался щекой к асфальту; рука отброшена в сторону, прямая, оцепеневшая. Пальцы чуть согнуты, словно Лучо хотел схватить что-то.

Туфли свалились, видимо, от удара, отлетели в сторону; немного подальше смятая в гармошку машина — врезалась в столб.

Люди бежали со всех сторон. Мы с Чоло перевернули его на спину. Крови нигде не было видно. Когда переворачивали, вывалился из кармана бумажник, разлетелись деньги, какие-то листки. Я увидел его удостоверение личности, поднял, спрятал. Ньято Кастро пробрался сквозь толпу, встал на колени, приложил ухо к его груди. Я в ужасе смотрел на Ньято, он все слушал с бесстрастным лицом. Никогда еще не испытывал я такого чувства — сердце словно падало, мучительно, тошно. И столько людей вокруг, и все смотрят, будто огромные стволы, а вместо ветвей — лица, деревянные маски. Подошел полицейский, спросил, что-то ему ответили. Стволы принялись плясать, маски кривлялись. Самая страшная — Ньято, он бледнел все больше, стал совсем серый и вдруг поднялся и ушел. Ну и хорошо! А то бы я, честное слово, не выдержал, дал бы ему в морду.

Нам не надо ничего говорить. Не надо. Правда, Лучо? Мы и так понимаем. И ты, конечно, тоже. Мы и так понимаем. Потому-то Ньято и ушел, не сказав ни слова. Послушал тебя, глянул на нас со своим идиотским высокомерием и ушел. Ну и не надо, правда ведь? Мы и так понимаем.

Среди стволов я вижу мать, она лежит мертвая, а отец стоит на коленях у кровати и расчесывает ей волосы. Кто-то рыдает. Ах, да, это Турок. А Чолито трясет меня за плечо, кажется, уже давно, да, конечно, давно. Он показывает мне розовый листок со штампом, с печатами и что-то еще, напечатанное на машинке. Чолито хочет, чтобы я прочитал, я читаю, только не пойму ничего. Я не могу — отец все еще расчесывает ее волосы. Всю ночь он расчесывал ее волосы, а южный ветер яростно бился в стены нашего деревянного домика на берегу залива в Арауко, и стены трещали. А я сидел на скамеечке в ногах кровати. Мы были одни. Отец расчесывал ее волосы, слезы текли по его лицу, а ветер выл и стены трещали.

Взревела сирена, я вздрогнул. Движение остановилось, машины гудели. Один какой-то сукин сын хотел прорваться, но мы встали стеной, мы били ногами по крыльям машины, и он не решился даже выйти. Турок рыдал, крепко сжимая мою руку, кто-то сказал, что водитель умирает; толпа понемногу редела, появились санитары.

Его подняли, положили на носилки, словно тряпичную куклу, закрыли до пояса простыней. Я хотел крикнуть: «Не надо! Подождите!» — и не мог. Торчали из-под простыни ноги, дырявый носок и пятка, розовая, такая розовая пятка. Никто меня не слушал, а может, я ничего и не говорил. Я видел, ясно видел, как он стоит в дверях кухни в своем пестром фартуке и просит меня, чтоб я не уходил, чтоб остался, посидел немножко... Машина «Скорой помощи» сорвалась с места, умчалась с бешеной скоростью. Мне что-то говорили, да отвяжитесь вы, все равно я ничего не слышу, люди постепенно расходились, многие столпились вокруг машины, в лепешку она разбилась, в столб врезалась. А я все стоял на том же месте, хотя ноги у меня подгибались. Не надо нам ничего говорить, мы и так понимаем. Все ясно, мы же видели две полосы, такие длинные-длинные, черные. Машины ринулись лавиной, я едва успел отскочить на тротуар. Уже тогда все стало ясно: ты молча, отрешенно обвел нас скольльзящим, рассеянным взглядом. Но скажи мне, Лучо, вот теперь, когда мы остались одни, скажи: зачем ты протягиваешь руку? Что хочешь схватить? Скажи, что тебе надо, Лучо, я найду все, что ты пожелаешь, я принесу тебе. Вот ведь как оно бывает, Лучо: именно сейчас, когда ты влюбился, как дурачок. Ты даже брал к себе в постель ее медвежонка. Так вот, значит, в чем дело. Да, конечно, вот почему ты протяги-

ваешь руку. Вот чего тебе надо. Не отрицай, Лучо, я теперь понял. К ней тянешь ты руку. Обнять ее, ощутить, что она рядом. В последний раз.

Ты всегда был скрытным, не очень-то рассказывал о своих делах. Ну, а теперь скрывать нечего. Давай выкладывай все как есть, Лучо. Скажи, чего ты хочешь, я добуду и принесу тебе, Лучо.

Оказывается, я иду по Аламеде вниз. Не знаю, как это получается, ведь ноги совсем не слушаются меня. Никогда не случилось мне ходить так странно, зато постепенно я понял все: этот последний твой взгляд, когда ты остановился на лестнице, он был полон печали. Кто тебя обидел, Лучо? Взгляд твой полон печали, просто печали. Печаль может стать такой большой! Конечно, когда она становится большой, ее называют как-то иначе. Но все равно это печаль. Только очень большая. Да, я теперь понял — впервые в жизни довелось мне видеть такую печаль; в твоем взгляде, Лучо, тогда, на лестнице.

Кто расскажет о тебе ей? Где она сейчас, так поздно? А сейчас поздно? Вдруг кто-нибудь из твоих земляков встретит ее случайно на улице, возьмет да и выложит все разом, мы ведь так огрубели. Ну, а с другой стороны, как ни вертись, а ведь все равно придется сказать, и всегда оно получается разом. Разве можно сказать такое не разом? Никак ведь не выйдет. Не получится, чтоб не разом, не получится... Я, конечно, мало что помню. Я же маленький был, помню только мамины волосы, длинные, до пояса, и как она уши мне мыла, и как сказки рассказывала про всяких зверюшек. Да, то была печаль. Печали был полон последний твой отрешенный взгляд, зеленоватый свет над болотной водою. Дважды глянул ты на меня, второй раз смотрел долго, но не узнал. Ты, наверное, смотрел внутрь себя, Лучо. В свою душу. И не спорьте со мной, то была печаль, я знаю; погруженный в печаль, шел ты через улицу, отрешенный, не думая о них, а они мчались на бешеной скорости в своих машинах, беззаботные, безрассудные, свирепые...

Я дошел до холма Санта-Лусия, поднялся по узкой тропинке и сел на скамью. К счастью, скамейка была свободна. Я сел и закурил. Никого на ней не было, я и сел. На другой скамейке, рядом с моей, хихикала стайка школьников, а напротив сидела старушка в черных высоких ботинках, в ярком платке на голове и со множеством пуговиц на платье. Но на этой скамейке никто не сидел, я подошел

и сел. Почему я сел на эту скамейку? И зачем я все спрашиваю и спрашиваю — почему да отчего? Не надо спрашивать себя, почему делаешь так, а не иначе. Ну, поднялся на холм, ну, сел на скамью. Увидел, что никто там не сидит, на других сидели, а эта свободная, подошел и сел. Ну и все.

А может, ты сел потому, что не хотел идти дальше по Аламеде? Прежде ты бы спустился по Аламеде до самого «Рамис Клар», зашел бы туда выпить чашечку кофе. В это время она всегда приходит в «Рамис Клар». Но кофе не пьет, всегда кто-нибудь угощает ее вайной¹. Ей нравится, что от вайны остаются над губой усики, и нравится, что все любят ее и ее усики. Здесь собираются молодые поэты, журналисты, актеры Экспериментального театра. И всегда кто-нибудь ее приглашает, она вмешивается в беседу и говорит о книгах и спектаклях, которые никогда не читала и не видела. Сколько раз смотрел я на нее, а она радовалась, что привлекает внимание своими усиками. Но с этого дня я ни разу больше не был в «Рамис Клар». Вот почему, наверное, не пошел я вниз по Аламеде, а взобрался на холм и сел на скамейку.

Старушка поднялась. Солнце раскидало по дорожке большие золотые круги, старушка шла, топча их черными ботинками. В смятении, скорбя, радуясь и вновь скорбя, я опять увидел отца, он сидел без пиджака на большой супружеской кровати с бронзовыми шарами на спинке. Мы были одни, южный ветер завывал в щелях. Отец разбудил меня среди ночи, и теперь я сидел на скамеечке в ногах кровати и глядел на него; и еще я глядел на шарики, такие блестящие, красивые, сколько раз я прежде играл ими. Я ведь не понимал, что случилось. Но вот отец тяжело поднялся, взял щетку и стал расчесывать ее волосы. Прошел час, два, три. Он все расчесывал ее длинные каштановые волосы, шелковистые, прекрасные, а ветер сотрясал наш ветхий деревянный домик, зеленый домик на самом верху, над морем Арауко, над черно-свинцовым морем, и черно-свинцовое море Арауко корчилося от боли.

Машины неслись в обе стороны по Аламеде. Я стал считать желтые, зеленые, серые... Больше всего зеленых. На втором месте — синие.

Та, что тебя убила, Лучо, была синяя, надо запомнить. Что за чепуха!

¹ В а й н а — коктейль из сбитых яиц и черного пива с корицей.

Было уже темно, когда я пришел в морг. Еще днем я узнал, где он, но идти не хотел. Лучше вечером, я решил пробыть около него всю ночь. На тротуаре стояли земляки Лучо, серьезные, церемонные, провожали делегацию от студентов медицинского факультета. Я тихонько пробрался позади них.

Асфальтовая дорожка перешла в узкую тропку между деревьями, листья, будто жестяные, звенели, стонали от ветра, тропка вывела меня во двор, неасфальтированный, большой, пустынный. Что за проклятое место! Всякий ведь знает: сорная трава растет везде, а здесь — нет; ничего, ни одного стебелька. В глубине двора — огромная дверь, двустворчатая, облупившаяся.

Так странно: восьмиугольное помещение, высокое, стены зеленовато-серые, одна-единственная лампочка, окутанная паутиной, желтой точкой мигает под потолком. Потолок сводчатый. И в затхлом воздухе, почти физически ощутимый, висит ужас. И воет.

На грубо сколоченных козлах стоит гроб. Собрали деньги, несколько долларов удалось вытянуть из посольства (фамилия у Лучо громкая), гроб купили богатый, выстланный внутри белым атласом, снаружи лакированный. Только зачем он лилового цвета? И стекло квадратное вставлено в крышку, если кто захочет посмотреть на Лучо.

Пришлось собрать всю свою волю, чтоб подойти. Белым платком подвязана челюсть. Нос посинел, заострился, в ноздри вложены кусочки ваты, один вываливается, торчит. Впервые заметил я, какой у Лучо чистый высокий лоб.

Сесть здесь можно только на жесткий цементный пол. Опереться — только на сырые стены.

На оставшиеся деньги купили место на городском кладбище — бедную нишу в стене. Как хорошо, они оказались рядом с месье Гийяром; все-таки хоть знакомый. И еще послали телеграмму семье. Тотчас пришла телеграмма с оплаченным ответом: вылетают с первым же самолетом, заберут Лучо, отвезут в Карабобо и там похоронят. Чтобы их ждали всенепременно. И подпись папаша, полностью, с титулом — вице-министр сельского хозяйства. Вот и этого тоже Лучо никогда не говорил. Наверное, у них там семейный склеп, пышный, с огромными мраморными ангелами. Но по каким-то там правилам или распоряжениям отложить похороны не позволили.

К козлам прислонен лишь один венок, большой, из красных гвоздик. К венку приколот листок, напечатано на машинке: «От твоей партии». Венок принесли двое рабочих. Поставили и ушли, ничего не сказав. Ах, нет, не сразу ушли, смотрели долго на Лучо, а потом ушли.

Рядом со мной оказались знакомые: перуанец и уроженец Коста-Рики. «Сердечный спазм, — говорил костариканец. — И мозговая травма. Так написано в медицинском заключении». А потом сообщил, что ему удалось присутствовать при вскрытии, обычно не пускают. И счел необходимым пояснить: «Мне дали особое разрешение».

А Лучо не мог заставить себя ходить на вскрытия. Как-то он сказал мне, что решил специализироваться в педиатрии. Детей, кажется, не вскрывают.

У Лучо была врожденная киста, а внутри кисты — зародыш.

— Как же это?

— Да вот, ошибка природы. Должны были родиться близнецы, но второй так и остался внутри кисты.

— И какой же он, вроде куклы?

Тоном профессионального превосходства:

— Да нет же. Просто уплотненная ткань. Как трехмесячный плод.

Это меня потрясло. Он ведь уже умер, Лучо, и вот как будто еще раз снова его убивают. И маленький его братик, что так мудро все понял заранее и решил вовсе не появляться на свет. Зачем рисковать? Может быть, здесь источник печали, может, оттого казалось мне, будто янтарная капля покатится сейчас по аристократическому носу Лучо?

Люди входили и все одинаково, будто выполняли какой-то обряд, едва перешагнув порог, останавливались в неподвижности, в смятенном недоумении обводили взглядом мрачную залу. Потом тихонько приближались к гробу. Склонялись низко над стеклом, вставленным в крышку — лампочка горела тускло, два больших канделябра в головах лили слабый мертвенный свет. Стояли, опустив голову, не зная, куда девать руки. Что они думали в эти минуты? Потом отходили, искали куда сесть. Садились вдоль стен, потом узнавали в полутьме знакомых, пересаживались поближе к ним.

Перед моими глазами все еще стоял профиль Лучо. Однажды он попросил у меня сигарету и закашлялся до слез, весь покраснел. Но особенно ясно помню его сияющее лицо, когда он рассказывал, что влюбился по уши, как

сумасшедший. «Это граничит с безумием, друг, граничит с безумием...» И еще помню я Лучо на софе, погруженного в свою «зверскую» гистологию, а на коленях у него сидит плюшевый медвежонок.

Люди по-прежнему, как бы выполняя ритуал, говорили шепотом. Им все еще было страшно. Но мало-помалу голоса становились громче. Надо же хоть чем-то, хоть звуками человеческой речи наполнить это огромное мрачное пространство.

В девять пришел Чоло, мы сидели вдоль стен, и свободного места не было. Нас много. И все мы любили Лучо, крепко любили.

Чоло все что-то рассказывал, а я никак не мог его понять. Как в головоломке, не хватало одной какой-то детали, жизненно важной, или, может быть, детали не подходили одна к другой.

— Понимаешь, парень, венесуэльская полиция, она все, видимо, знала. Они всегда друг другу сообщают. Со всем уже не остается ни одной свободной страны, где можно учиться медицине.

Я перебил его. Я ничего не понимаю. Пусть расскажет все с самого начала.

— Ладно. Так вот, когда Лучо получил предписание...

— Какое предписание?

— Да я же тебе его показывал.

— Когда? Ничего ты мне не показывал!

— Показывал! Ты его прочел. Помнишь, документы выпали из бумажника, я поднял и тебе показал. Розовая такая бумага. Ну, как ты не помнишь!

Только теперь я стал припоминать. Как в тумане. Розовая бумага, да, кажется, я ее видел. Но я ее не читал.

— Конечно, читал! Предписание покинуть страну. В сорок восемь часов.

Целый день я ломал голову, пытаюсь понять, почему Лучо раздарил свои книги. Теперь, по крайней мере, кое-что начинает проясняться.

— Я был уверен, что ты знаешь.

— Нет, ничего я не знал. Ничего.

— Сначала его собирались посадить в первый же самолет, летевший в Каракас. Это удалось приостановить. За ним пришли на рассвете и по чистой случайности не застали. Лучо не был гулякой, но, кажется, именно эту ночь провел где-то вне дома. Они вспороли тюфяки, подняли паркет. Даже распорол брюшко игрушечному медведю,

такие сволочи. Но до сих пор точно неизвестно, что они искали... Мы как только узнали об этом, сейчас же взялись за дело; Лучо посоветовали, чтобы он сам пошел в полицию, но, конечно, не один, а с неким сенатором, он настроен радикально и оказывает такого рода услуги. Ну и удалось продлить срок его пребывания здесь и добиться разрешения выбрать страну, куда он хочет уехать. Но пришлось делать за Лучо все. Абсолютно все. Он ходил как сомнамбула и думал только о том, кому какую книгу отдать. Остальное его словно бы вовсе и не касалось. Правда, о тебе он спросил, ты не пришел встретиться с ним, как вы условились, и это его встревожило. Он просил передать тебе книгу, стихи, Амадо Нерво, кажется. Она у меня дома лежит.

У меня просто голова кругом пошла. Почему такой дотошный обыск? Кто-то стукнул? И за что они так злы на Лучо? Может, он замешан в чем-нибудь серьезном? Если это так, он, естественно, не мог ничего мне рассказывать.

Вот почему принесли на его гроб венок из гвоздик. Не каждому такой венок посылают.

— Как думаешь, друг, что будет? — Чоло заговорил еще тише. — Устроят перепись для иностранцев? Все перепугались. Агудо уже вещи продает.

— Не знаю, не спрашивай меня, ничего я не знаю.

— Если только начнут, я у них, наверное, на очереди второй после Лучо...

Последние слова вырвались у Чоло нечаянно. Я ничего не сказал, но удивился ужасно — никак я не думал, что Чоло тоже всерьез замешан.

Перуанец все тянул шею, пытался услышать, о чем мы говорим; я разозлился, предложил Чоло выйти отсюда, мы поднялись. И тут дверь распахнулась настежь.

Маркиз был неузнаваем: в длинном коричневом пальто, твердым шагом, уверенно вошел он в зал. Слишком уверенно. Да, может быть, слишком. Другие входили неслышно, старались не привлекать к себе внимания, сгибались под тяжестью страха; Маркиз же изо всех сил стремился показать, что намерен вести себя по-другому, меня, дескать, покойничками да такого рода спектаклями не запугаете.

— Привет, — бросил он небрежно; никто не ответил. К тому же Маркиз оставил дверь открытой.

— Закрой дверь, негодяй, дуэт. — Но пришлось кому-то другому встать и закрыть дверь.

Все глядели на Маркиза. Не выпуская изо рта сигареты, он подошел к гробу; как раз в эту минуту одна свеча погасла. Маркиз вырвал из канделябра еще одну, поднес близко, наклонил над крышкой, чтобы лучше видеть, воск закапал на стекло. Послышались возмущенные голоса. Кто-то спросил гневно:

— Слушай, а это не Фебреса пальто?

— Кажется его.

Все смотрели на Маркиза, разглядывали пальто. Конечно, это пальто Лучо, конечно же!

— Вот сволочь, хуже ворона, — воскликнул тот же голос. — Надо же, только того и дожидался.

Маркиз высоко поднял свечу:

— Кто это сказал?

— Я. И что дальше?

Маркиз вглядывался в темноту настороженно, будто дикий зверек.

— Я, — решительно повторил тот же студент.

— А, ты. Я так и думал. Больше некому, вонючий ты развратник, клоп из постели продажной девки! И ведь из чистой зависти сказал, сам-то просто не догадался.

Шум, крик, скандал — до небес. В углу несколько человек держали студента, он вырывался, взбешенный; взрыв негодования, яростный свист. И над всем этим визгливый голос:

— Лучо больше не холодно, болваны! А ты не пошел за пальто, конечно, только потому, что сдрейфил, подумал, что за квартирой, наверно, наблюдают. — Маркиз в волнении взмахнул свечой, свеча погасла. Темнота сгустилась. Маркиз жестикулировал, будто кто его за ниточки дергал, поворачивался то в одну, то в другую сторону: — Тоже мне, революционер из пивной! Демагог, выродок! А как дойдет до дела, так от первого взрыва полные штаны напустит! Поезжай на родину, зараза. Возвращайся туда, понюхай, что значит в тюрьме сидеть. Сопли утри, прежде чем со мной разговаривать.

Как ни странно, свист стал затихать. Студент все рвался в драку, но как-то уже не так решительно. Я воспользовался заминкой и спросил:

— А как она, Маркиз?

Он тотчас повернулся, гибкий, как кошка:

— А, Педро! Я тебе потом расскажу. — И снова обратился к студентам: — Чего же вы хотите, детки? Похоронить его в пальто? Этого вы хотите, идиотики?

Удивительное дело — Маркиз стал хозяином положения. Теперь он укреплял свою позицию, издевался.

— Вам не пришлось в голову подумать перед лицом смерти о чем-нибудь более важном? Ну-ка! Хоть какая-нибудь мыслишка не завелась в башке? Да нет, где там, мозгов не хватает. Только на то и годитесь — насчет вещичек сообразить!

Глухое ворчание. При свете последней свечи тень Маркиза кривлялась, плясала по стенам. Наконец он завернулся поплотнее в пальто и вышел, снова оставив дверь раскрытой настежь.

Что за удивительный человек! Может, он зашел сообщить Фиолете, а заодно уж воспользовался случаем и взял пальто Лучо? А вдруг и наоборот? Вдруг за всем этим скрывается злоба, стремление захватить добычу, тонкая месть?

Дверь опять закрыли. Стало душно. Я встал.

— Знаешь, Чолито, мне надо побыть одному. — И вышел во двор.

Конечно, он тут. Стоит, прислонясь к стене. Один в пустынном, почти нереальном дворе, где нет ни единой травинки.

Я стал рядом, тоже прислонился к стене. Несколько минут мы молчали. Время от времени Маркиз вытягивал шею, вглядывался; я проследил его взгляд — он смотрел на дверь.

— Нет, не выходит, — пробормотал сквозь зубы. — Этот подлец, конечно, разобьет мне морду, но ты посмотри... — С невиданной быстротой Маркиз выхватил что-то из кармана, звякнул металл, словно молния, сверкнула в его пальцах трехдюймовая сталь.

— Толедский; красиво, правда?

— У кого ж ты его стащил?

— Нет, я купил. После того, как меня ограбили. Потребительское общество со мной бы, конечно, завяло: наверное, это первая вещь, которую я купил за многие годы.

Он попросил прикурить. Я не знал, что сказать, не хотелось еще ни о чем разговаривать. И мы снова замолчали.

— А ты что об этом думаешь? — спросил он вдруг вызывающе и толкнул меня локтем.

— Я?

— Да, ты. Здесь же никого больше нет, не правда ли?

— Ну, я бы так не поступил. Не могу объяснить тебе толком почему, а только я б этого не сделал.

— Ты бы поступил точно так же. На моем месте ты непременно поступил бы так же.— Он говорил быстро, захлебываясь.— Мораль — продажная девка, везде приспособится, а вреда я никому не принес.

— Кто знает.

— Ну почему? Почему? Кому от этого плохо? Скажи, кому?

Он яростно схватил меня за рукав.

— Тебе самому.— Я старался говорить спокойно.— Тебе. Ты вот сейчас ошетинился весь, как еж, а на душе у тебя скверно.

Он умолк. Огонек его сигареты вздрагивал в темноте. Я слышал, как тяжело он дышит; мне стало не по себе. В последние дни резко похолодало, по утрам заморозки, а уж кому, как не мне, известно, что это за вкусный коктейль — голод да холод. Так ведь часто бывает: человек ищет всякие сложные глубокие объяснения своим поступкам, а главную причину, самую что ни на есть простую, грубую,— ее-то и не видит.

— Я про тебя всех спрашивал. Куда ты девался?

— Ты вот куда девался? — Его вызывающий тон был неестественным, и он сам это чувствовал.— Я заходил к тебе в пансион, мне сказали, что ты уехал на юг, навестить отца. Что случилось? У старика тоже обнаружился рак?

Я не улыбнулся.

— Нет. Я сказал в пансионе, чтоб всем так отвечали. Я писал. Мой герой, кстати говоря, похож на тебя. Немного.

— А, нет, ты уж не суйся! Тебе не справиться! Этого героя предоставь мне.

— Но я же сказал — не буквально такой, как ты. Чутьточку похож, только и всего.

— Ну, я догадываюсь — твой герой романтичен и груб. Это главные твои недостатки.

— И вовсе нет, вот увидишь. Он скорее немного циник.

— Циник? Я не циник.— Он улыбнулся.— Если человек попадает в мясорубку, из него можно потом сделать отличную котлету. При чем тут цинизм?

Холод становился все злее. Я прыгал, стараясь согреться.

— А, ты, значит, предпочел стать фрикаделькой?

Долгим взглядом посмотрел на меня Маркиз, потом

пожал плечами, плюнул. То и дело он выпрастывал руки из рукавов — очень уж были они ему длинны. Вдруг дверь скрипнула. Я почувствовал, как Маркиз напрягся.

— Успокойся, он не выйдет.

— Пусть бы вышел.

— Ну нет, зачем же. Тебя опять посадят. Лучше вот что скажи: ты, значит, не циник; ну а кто ты, как ты сам считаешь? Звезда Андов? Второй Бакунин? Или чудо-ребенок, скороспелый гений? Гениальность с годами пропала, а ребенком ты так и остался.

Маркиз лукаво поглядел на меня. Вот такой разговор он любил, ловкий фехтовальщик, забияка, герой в драных штанах, родиться бы ему в другом веке.

— Что значит, кто я? Я — это я. Чего же еще? Мне больше ничего не надо. Многие всю свою жизнь словно стенку возводят, кладут один за другим кирпичики, делают всякие мелкие пакости. Я так не желаю. Да перестанешь ли ты прыгать, поганец!

Маркиз говорил уверенно, но под конец голос его слегка прервался. Он отошел на несколько шагов. И вдруг сказал тихо, словно самому себе:

— Я — дерьмо.

— Ну, зачем же преувеличивать, скинь немного.

— Значит, полудерьмо. Еще хуже.

Черт возьми, я совсем растерялся. Да и как тут не растеряться — такая едкая горечь в голосе Маркиза! Может, оттого, что смерть близко. Смерть, она любит выделять такие штуки с людьми, да и умеет; забавляет ее, когда слетают с актеров маски и вдребезги, всем на диво, разлетаются театральные подмостки.

Лицо Маркиза мучительно исказилось:

— Хочешь, я тебе скажу кое-что? Я выложил все свои карты. И ничего не вышло. В один прекрасный день я завою от одиночества и подохну, да так и буду лежать, желтый, поганый. Меня не хватает даже на то, чтоб банк ограбить. Или старуху пристукнуть, как Раскольников. Но моей вины тут нет. Виновата Америка. Дикая, прекрасная, любимая, жуткая наша Америка. Я в ней — бездельник, отверженный. А какой мне дан выбор? Если ты не сгибаешься в три погибели, не продаешься, если хочешь сохранить хоть каплю человеческого достоинства, с тебя сдирают шкуру. Я тебе никогда не говорил: мою книгу рассказов хвалили все критики, но даже сотню экземпляров не раскупили...

— Разве в этом причина?

— Да! Да!

— Нет, Маркиз, это не оправдание. И не объяснение. Я думаю, что тебе надо, обязательно надо вернуться на родину. Жить со своим народом. А здесь, хоть и больно так говорить, в твоём существовании есть что-то искусственное. Ты — лишний, нарост. И от этого тебе же скверно.

— Вернуться? — Он яростно тряс головой. — Вернуться в Венесуэлу, потерять безымянность, которой я наслаждаюсь здесь? Ведь здесь, к счастью, никто не знает даже моего имени! — Он поднес вдруг руки к своим глазам. — Видишь, какие у меня руки? Видишь? Кожа с пальцев слезла. Один ублюдок изобрел некую жидкость — нафталин с какими-то там кислотами, и вот, чтобы заработать на хлеб, я вынужден каждый день опускать в чан с этой жидкостью картинки с изображением святого Антония. Получается прелестно, блестят лучше не надо. Потом хожу из квартала в квартал, из дома в дом: «Вот святой Антоний, сеньорита, покровитель девиц на выданье. А кроме того, вы можете положить картинку в белье, от клопов, от моли... Вам отдам дюжину за...» Получаю семь песо с каждой проданной дюжины. — Он все тряс головой. — Вот как обстоят дела, друг. А заниматься этим в Каракасе... Представляешь? Так что можешь оставить свои советы при себе.

Маркиз закрыл глаза. Тоска по родине — терновый венец, всюду как тень идет она за всяким странником, за всяким скитальцем, даже за самым мужественным и твердым. Она садится с ним рядом за стол, склоняется бессонными ночами над его изголовьем. Сколько раз видел я, как она сидит, забившись в самый дальний угол, в домах испанских республиканцев. Наверное, и Маркиз тоже тоскует по родине. Стоит, засунув руки в карманы, дымит сигаретой; где он сейчас? Может, бродит по выложенным брусчаткой мостовым старого Каракаса?

— Ладно, Маркиз, делай что хочешь. Оставайся у своего чана с жидким нафталином. Оставайся, но все-таки надо же хоть немного разбираться что к чему. Надо ненавидеть тех, кого надо, и все тут.

— Ах, так? Но я же, на твой взгляд, сумасшедший анархист, так какое тебе дело? — Маркиз дрожал. — И ты из меня уже выжал все, что мог. Я тебя научил писать. Теперь оставь меня в покое. И не мечтай стать моим Пепе Грильо. Я уже не в том возрасте, мне ангел-хранитель, что сидит на плече, ни к чему.

Язвительно говорил Маркиз, а взгляд был наивный, детский. Умоляющий. Надо же ухватиться за кого-то, надо же с кем-то разговаривать, спорить, ругаться. Все его крошечное тельце, окутанное длинным пальто, трепетало от ужаса. И в самом деле: он окружен со всех сторон, спасения нет. И я тоже не могу помочь ему выбраться из трясины, не знаю, как вывести его на свет, чтоб не плутал по темным слепым переходам. Одна осталась ему дорога, один только вижу я для него путь, озаряемый мертвенно-бледными молниями, опасный, гибельный путь. Маркиз молчал, жадно сосал сигарету.

— Скажи-ка, ты больше ни разу не видел того типа, которого прислал твой папаша? Я ведь так и не знаю, чем кончилась эта история.

Маркиз присел на корточки, стал засовывать обратно вылезший из туфли клочок газеты.

— Я ходил в авиакомпанию, — сказал, поглядывая на меня снизу, — хотел взять билет и продать одному земляку, но они сказали, что билет персональный, без права передачи. Мне бы следовало это предвидеть. Мой старик всегда был заразой.

Он поднялся, мы принялись рассказывать по двору. И вдруг, словно сговорились, оба одновременно начали подбрасывать носком туфли камешки.

— Слушай, — умоляющим тоном, — ты не думай плохо об этой девочке.

— О ком?

— Не спрашивай. Ты же знаешь.

— А! Нет, я о ней плохо не думаю.

— Не надо, не смей. А то я ведь знаю вашего брата. Но об этой девочке — не смей. О ней — нельзя. Я знаю, что говорю. Она — просто звереныш. Чистый звереныш. Я пришел на квартиру Лучо и сказал ей, и пришлось вызвать «скорую». Конечно, когда ее увезли, я опять поднялся наверх; старуха-консьержка рылась в чулане. Тут-то мне и пришло в голову. Раньше я и не думал о пальто. Чем ей оно достанется, так уж лучше мне... Ну, что молчишь?

— Да, Маркиз. Может, ты и прав. Так, значит, она сильно расстроилась?

— Совсем расклеилась. Каталась по полу, царапала ногтями ковер. Потом вроде какой-то приступ с ней сделался, одеревенела вся. Я никогда не думал, что на нее так подействует. Ну, мы и вызвали «скорую».

Чтоб согреться, мы шагали все быстрее. Я пригласил Маркиза зайти куда-нибудь, выпить кофе.

Пустынные улицы, мутная луна плавает в мокром блестящем асфальте. Мы зашли в кафе на Аламеде, денег у меня было мало, но на черный кофе и хлеб хватило. В кафе тепло, безлюдно, хозяйка глядела на нас с материнской улыбкой. Вскоре Маркиз отошел. Перестал ершиться, лицо подобрело.

— Ты будь тем, что ты есть. Иди своей дорогой.— Маркиз совсем ушел в себя, спрятался как улитка в раковину, говорил словно откуда-то издалека.— Ты бросишь им в лицо упрек, обличишь их жестокость, их пошлость. Ты проклянешь их. Я это уже сделал в своей первой книге и больше не интересуюсь такими вещами. Я теперь экспериментирую... Тебе не приходило в голову, что если мы растворяемся в истории, то тем самым утрачиваем способность о ней рассказать? А что, собственно, мы можем рассказать такого, чтобы выразило нас полностью? Если бы нам было дано хотя бы сохраниться в виде некоторой неподвижной точки в постоянной смене вещей и событий... Но такой точкой мы никогда не станем, и, значит, единственное, что тебе остается,— это осознать себя как частицу движения. Ты не можешь выразить себя, сказавши: я есть, я существую, размножаюсь, ковыряю в зубах. Ты можешь сказать только одно: я включен в движение, в вечную смену. Только в этой вечной смене я существую, только в ней творю историю, но творю я историю тем, что растворяюсь в ней. Все это и так достаточно запутанно, но есть и еще кое-что: рассказать я могу лишь о том единственном, что мне дано, то есть о своем растворении в движении. А в таком случае что же, собственно, могу я рассказать? Разве глаз мой видит себя? Разве существует контакт, контактирующий с самим собой? Нужели ты не понимаешь, что мы дети собственных детей, мы творим историю, а история, которую мы творим, творит нас? Вот почему я сейчас хочу только одного: разобраться в механизме, во всех этих зубчатых колесиках и шестеренках. Единственное, что меня волнует,— это Время. Вы все верите, что и Время и Пространство — простые атрибуты материи. Но ведь материи-то нет! Есть только Энергия! Эйнштейн полагал, что Время — это четвертое измерение. Детский лепет! Время есть нечто большее. Неизмеримо большее. Подобно тому, как Пространство не есть простая протяженность, лишь вмещающая в себя материю, точно так же и Время... И потому

проблема эта вовсе не для математиков и не для физиков. Вот Эйнштейна-то и не хватило. Время — это Энергия Бесконечной Длительности.

Зеленые глаза Маркиза сверкали, он словно обезумел, опяненный собственным красноречием. Хватило денег еще на две чашечки кофе. Маркиз продолжал:

— Только Время порождает само себя. Только оно структурирует себя в своем разрушении. Между зубчатыми колесиками нет ничего, кроме Времени. А движение жизни есть всего лишь мутное тусклое зеркало, отражающее движение Времени. Но ты понимаешь меня хоть немного?

— Конечно понимаю.

— Врешь. Ничего ты не понимаешь. Но неважно. Время же занимает меня потому, что оно связано с другой проблемой — с проблемой языка. Человек создал язык, и язык создал человека; в своей надменности мы полагаем, будто мыслим и выражаем свои мысли с помощью языка, а на самом-то деле язык — это и есть мысль, это он незаметно мыслит за нас. Но язык — инструмент грубый, неточный. С того момента, как он стал членораздельным, рассыпался на отдельные составляющие его элементы, язык полностью утратил способность выражать жизнь в ее живом движении. Ощупью, еле-еле пытается он выразить настоящий момент, создать его образ. Чудовищное заблуждение. Никогда он его не выразит. Только оттрепетавшее ему доступно, отошедшее, высохшее, мертвое. Пруста это-то и интересовало, а меня — нет. Джойс пытался выразить жизнь в ее непосредственном течении. И тоже не вышло. Больше всего возможностей в этом смысле дает герундий, как его понимает Гарсиласо¹, как его чувствует Неруда, как звучит он в речи Мартина Фьерро². В Венесуэле есть племя индейцев, они как научатся говорить по-испански, так вместо любого времени глагола употребляют герундий. Вот что меня сейчас занимает. Как в самом деле выразить жизнь в ее развитии? Как этого добиться? Как? Как? Как? Ужасно иметь талант, годный лишь на то, чтобы ощущать собственное бессилие! Ужасно, все ужасно, Педрито. Все! — И вдруг, я никак не ожидал такого, он лег грудью на стол, схватил меня за лацканы. — Тебя не могут выслать из страны, правда же не могут?

— Не могут.

¹ Гарсиласо де ла Вега (1503—1536) — испанский поэт.

² Мартин Фьерро — герой одноименной поэмы классика аргентинской литературы Хосе Мигеля Эрнандеса (1834—1886).

— Ты уверен?

— Уверен. Нам такой привилегии не дают. Нас только в Писагуа посылают. Либо в Путре, на Андское плоскогорье, кормиться навозом гуанако. Там у меня будет довольно времени поразмыслить над проблемами, что так тебя волнуют.

Вышли на улицу; Маркиз поглядывал на меня с улыбкой — что-то, видимо, понравилось ему в последних моих словах, что именно — я так и не понял.

— Во сколько Лучо хоронят?

— Что-то около девяти, говорили.

— Я к девяти приду. Хочу поспать немного.

Я постоял, глядя, как он уходит. Все меньше становится, все меньше. Наконец совсем скрылся из виду. Я вернулся в морг.

Все говорили одновременно. Громко, нервно. И все на одну тему: о пытках. Каждый рассказывал либо о том, что довелось вынести самому, либо о том, что слышал у себя на родине.

— Моего папу, — говорил светловолосый юноша, — заставили много часов подряд стоять на ободке автомобильного колеса. Железо врезалось в подошвы до самой кости. Папа до сих пор хромот. Он и отправил меня учиться сюда, боялся, что меня схватят и станут его шантажировать.

Потом еще. Еще. Парагваец. Сальвадорец. Трудно даже представить себе все эти жуткие зверства. Казалось, на цементном полу морга лежали кучами в лужах крови изуродованные куски человеческого мяса, вырванные ногти. Слышались дикие вопли.

— Видимо, везде они пользуются одинаковыми приемами, — сказал в заключение Ньято Кастро.

— Да, так оно и есть, — отвечал я. — Учебник один. На английском языке, а примечания — по-немецки.

Последняя свеча вспыхнула и погасла. Словно это было каким-то знаком, все мало-помалу умолкли. И остались наедине с тишиной и скорбью. И потянулись часы, долгие-долгие.

Холод и сырость становились невыносимыми. Все тело болело. Кто-то предложил сходить за бутербродами. Собрали деньги, трое добровольцев отправились и возвратились примерно через час. Везде закрыто, оправдывались они. Принесли кофе в бутылках из-под кока-колы, к несчастью, почти совсем остывший. Досталось по трети бутылки на брата.

Я съел свои полбутерброда и заснул, вытянувшись на полу. Как ни странно, спал я без всяких кошмаров.

Проснулся, дрожа от холода; слабый молочный свет сочился из-под двери. Из пакетов от бутербродов и бечевки кто-то соорудил мяч, вышел во двор и стал гонять его. Несколько человек присоединились к игре. «Я тут! Пасуй на меня!»

Один за другим выходили из дверей замерзшие студенты, и наконец все оказались во дворе. Мяч один, а народу сколько! Но все мы носились по двору, делали совершенно немыслимые пробежки, забивали шикарные голы в воображаемые ворота. Это была потрясающая игра. И вовсе не обязательно бить по мячу. Главное — бегать, шуметь, прыгать, толкаться, махать руками, выкрикивать что-то бессмысленное. Если кому-то доставался мяч, он хватал его, прижимал к груди и летел во весь опор, словно играл в регби, а не в футбол. Наконец получилась куча-мала, мы повалились друг на друга, те, что оказались внизу, чуть было не задохлись.

Вставало солнце.

Взяли свое молодость, силы жизни. Вспыхнули вдруг беспричинной радостью, заискрились весельем. «Пасуй на меня!» — «Мне, мне давай!» Удар!

Каждый кричит что попало во весь голос. «Бей же, дурак!» «Го-о-о-о-о-о-ол!» Каждый скачет, мчится со всех ног.

И взошло солнце.

Ты прости нас, Лучо: солнце взошло.

ГЛАВА XVII

Выехали около десяти. На трех такси. О траурном катафалке и думать нечего. На крышу одного из такси взгромоздили гроб, привязали получше венок бечевками от нашего мяча. В конце пристроились несколько наших ребят на своих драндулетах. Самый лучший — без крыльев. А уж остальные — и того прекраснее! Мы расселись, как могли, кое-как втиснулись. Я — на втором такси, между шофером и Маркизом, который пришел точно ко времени.

День был сияющий, солнечный, чистый. Оранжевый и синий. В такие дни человек вдруг ни с того ни с сего вспоминает детство. В такие дни поют птицы. И, открыв

утром глаза, ты молишь жизнь, чтоб всегда оставалась она такой — оранжевой и синей. И веришь, что все изменится, придет торжество красоты и света.

Да, Лучо, я знаю. Для тебя уже ничего не изменится.

Мы проехали по Сан-Франсиско до Аламеды, потом по Сан-Антонио — к реке. Худышка, конечно, обрадовалась часикам. А еще больше, я думаю, обрадовалась, что я вспомнил о ней. Красивые часики, вместо секундной стрелки — малюсенькое сердечко. «Что это с тобой случилось?» — спросила она, обняв меня за шею. «А что особенного? Ничего со мной не случилось».

Маркиз прервал мои воспоминания — молча сунул мне в руку измятую бумагу. Сверху напечатано на машинке:

«Относительно искусства известно, что определенные периоды его расцвета отнюдь не находятся в соответствии с общим развитием общества, а следовательно, также и с развитием материальной основы последнего...»¹

— Что такое? Зачем ты мне даешь это? — Пока я читал, он внимательно следил за выражением моего лица.

— «К критике политической экономии». Твоего Маркса.

— Перестань!

Он улыбнулся, потом высунул голову в окошко, стал напевать что-то.

— Слушай, замолчи. И скажи: узнал ты что-нибудь о Фиолете?

— О ком?

— О той девочке, девушке Лучо.

— А, нет, не знаю. Ничего не знаю. — Маркиз пожал плечами, но петь перестал.

Пешеходы оборачивались, смотрели нам вслед. Наверное, кортеж наш выглядел очень уж бедным, жалким, странным. В Арике я передумал о многом. Мы остановились перед светофором. Целый день думал. Роса будто читала мои мысли. «Жениться теперь не в моде, дурачок. — Она вытянула руку, любясь часиками. — Очень изящно. Кто тебе помог выбрать такие?» Зеленый свет. Мы свернули, проехали мост, но тут грузовик с капустой встал поперек пути, и снова пришлось остановиться. Две толстухи, торговавшие на мосту цветами, подошли, положили на гроб несколько бедных букетиков.

Грузовик все стоял. Таксисты начали сигналить. Шо-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 46, ч. I, с. 47.

фер грузовика высунулся, разъяренный, но, увидев в чем дело, поспешил уступить дорогу. Только хотели мы тронуться, как вдруг появились двое полицейских. Подошли к первому такси. Видимо, спрашивали о покойнике, то и дело указывали на гроб. Конечно, наша похоронная процессия была необычной, да и подозрительно — очень уж все молодые!

И тут Маркиз открыл дверцу, выскочил из машины и кинулся к полицейским:

— Ну, как же, разве не видите, мы везем зенитное орудие!

Один из полицейских, плосколицый, широкоплечий, схватил руку Маркиза, завел за спину.

— Не хами, дохлятина!

Маркиз извивался от боли.

Мы вышли из машин.

— Какое вы имеете право?

— Отпустите его!

— Только оттого, что у нас нет катафалка? Только поэтому?

— Звери, пустите его!

Второй полицейский требовал, чтоб открыли гроб, он должен видеть, что в нем, хотя шофер клялся и божился, что мы едем из морга, а гроб запаян.

Грузчики с Веги в индейских сандалиях и в фартуках из мешковины подошли к нам. Цветочницы тоже. Еще люди, еще. Народу собралось человек сто. Крик, проклятия; возмущение все усиливалось:

— Звери! Покойника и то не могут уважить!

Цветочницы кричали громче всех.

Полицейские стали отступать, таща с собой Маркиза, все так же заламывая ему за спину руку. Они прижались к парапету. Плосколицый вынул свисток. Второй расстегнул кобуру пистолета. Здоровенный помидор пролетел по воздуху и сбил фуражку с плосколицего. Фуражка свалилась в реку. Мы захлопали в ладоши. Народ все прибывал. Второй полицейский — рот у него тонкий, щелью, словно ножом прорезали, — выстрелил в воздух. Никто не двинулся. Не отступил. Ненависть клокотала в душах. Мы молчали, но ненависть наша рычала, как зверь, захлебываясь черной пеной.

— Забыли вы, проклятые, сами-то ведь из народа! Тоже небось не во дворце родились! И откуда вы только взялись такие, сукины вы дети!

Сзади напирали, круг сужался. Мы стояли уже почти вплотную к полицейским. Летели и летели помидоры, но большей частью попадали в нас. Кто-то крикнул:

— Смерть Предателю! — и все подхватили хором.

Чоло нашел наконец свидетельство о смерти. Узкоротый разглядывал его и так и эдак. Читать не умеет, что ли? Потом сказал что-то на ухо плосколицему, тот отпустил руку Маркиза. Почувствовав себя свободным, Маркиз тотчас же изо всех сил ударил полицейского ногой в бедро. Я испугался, что начнут стрелять. Но нет, не решились, видимо, здорово напугались.

Взрыв всеобщего восторга. Хорошо, когда все за одного! Сердце мое переполнилось гордостью. Я думаю, и другие испытывали то же. Последний помидор шлепнулся в грудь плосколицего, красное пятно расплылось по мундиру.

Маркиза пришлось силой втолкнуть в машину. Он все еще рвался в бой. Машины тронулись, люди кричали нам вслед слова прощанья, многие поднимали приветственно сжатый кулак.

Проехали несколько кварталов; я повернулся, взглянул на Маркиза. Он потирал все еще болевшую руку, лацкан «его» пальто из верблюжьей шерсти едва держался.

— Удостоверение личности мое взяли, — сказал он, нахмурясь. — Видимо, собираются со мной по квитаться. — И почти тотчас же с улыбкой, не то насмешливой, не то злобной, стал приставать к сидевшим в машине, чтобы дали ему булавку пристегнуть лацкан. На дороге девочки играли в классы. Женщины сидели на стульях перед дверьми домов, грелись на солнышке. Мужчины, завидя наш кортеж, снимали шляпы, женщины крестились.

Маркиз тронул меня за плечо.

— Если хочешь, — шепнул он мне на ухо, — можешь меня описать.

Это единственный подарок, который он в состоянии сделать, подумал я.

— Что ж, попробую, — сказал я, стараясь казаться равнодушным. — Только не надейся, что я тебя приукрашу.

— Да уж знаю. От тебя, пожалуй, дождешься.

Я познакомился с Маркизом в мае; был январь, когда я слышал в последний раз его скрипучий голос.

Ты помнишь, брат?

Тогда мы все-таки еще не представляли себе, какие воистину страшные приближаются времена.

Карлос Пельисер

(1899—1976)

Мексика

Карлос Пельисер — выдающийся мексиканский поэт, один из первых, если не первый, кто обновил в XX веке родную поэзию. «Он берет из разных течений полезное, что позволяет ему высказать желаемое, — писал о Пельисере в шестидесятых годах Октавио Пас. — Пельисер научил нас смотреть на мир другими глазами и, сделав это, изменил мексиканскую поэзию».

Тропики, их цветовая и тепловая палитра, их пейзажи и звуки — материал для его простых и неповторимых метафор.

Карлос Пельисер был преподавателем литературы и истории в школе, читал курс современной поэзии в университете Мехико. Был членом Мексиканской лингвистической академии и президентом Латиноамериканского конгресса писателей, лауреатом Национальной премии по литературе за 1964 год. В настоящую публикацию включены, помимо стихов из прижизненных изданий, стихи (в тексте отмечены знаком *) из книги «Повторения (Неизданное и не публиковавшееся в книгах)», вышедшей посмертно в 1978 году.

© Carlos Pellicer. Reincidencias México, «Fondo de cultura económica», 1978.

ОСЕННИЙ СОНЕТ

Первое небо осеннее, ты — как полет
утренней свежести в синей пустыне без края.
Солнце восходит, далекие горы стирая
в той стороне, где покинет оно небосвод.

Я обитаю в тебе, ты тепло и оплот, —
небо осеннее, светлая правда людская.
В кличе безмолвного утра таится такая
сила, — она моей воле обличье дает!

Царственный дол мексиканский, — божественно чисто
время нагое из ясности нижег монисто,
в платиновых сандалетах выходит из роц.

Каждой вещице безмолвье счастливое это
дарит спокойно точнейший из образов света.
Пауза осени, — неторопливая мощь!

ПУТЕШЕСТВИЕ

И направил я бывалые ноги в пространство земное
и вступил во владения синих гор.
Словно Атлант, я на плечи взвалил все небо ночное.
Пел для меня звездный хор.

Голым я перешел реку, когда утро зарей истекало.
Все горы я исходил. Воздух был горек и сыр, —
так пахнут плоды какао,
когда их крошит зубами тапир.

Свет искал уголок, где бы мог подытожить расходы
(а я в душе пригоршню зари спрятал впрок).
Кедры сблизились, а тень звериной природы
склеила луч света, который я истолок.

На мертвой листве ста столетий я сделал привал.
Пришелец с гор, я синей листвой распевал,
сгибая полевые горизонты в светлые дуги...
Над моими ногами — тело, подаренное вышине.
Раскружилась долина. Я что-то твержу округе,
и жизнь вокруг ведаёт все, что ведомо мне.

ТЕМА ДЛЯ НОКТЮРНА

Когда все муравьи из часов удалятся
и — наконец-то! — откроется вход
в одиночество, —
смерть меня не найдет.

Будет искать меня в рощах,
обезумевших от тишины, живущей везде.
На нищем нагорье она не увидит,
как я слежу за ней из розы, отраженной в воде.

Рукой, искромсанной риском,
я разламываю бессонницу-плод.
И мой дом открыт таким манером,
что смерть меня не найдет.

Пусть ищет на деревьях и в небе
(ее голос опалит облака и плоды!).
А ждать ее мне некогда: у меня свиданье
с жизнью при свете поющей звезды.

Возникли шаги, — далеко или близко? —
еще не поздно пуститься в бега.
Чтобы ночь могла поднять свои звезды,
басовые гулкие тени бьют в берега.

Кровь разбивается о скалу сердца.
Так светло смеркается, и я на берег бегу.
И когда смерть за мной явится, —
она найдет лишь одежду на берегу.

НОКТЮРН VI

Младая осень, образ древней красоты.
Все, что посеял, — здесь. Храни вслепую крохи
того, на что ты нежно тратишь свои вздохи.
Как много света для сокрытия нищеты!

Тускнеет комната: не потому, что плохи
твои глаза, — лишь за окном точны черты
всего, что сердцу дарят глаз твоих сполохи.
Величье мира осязаешь взглядом ты.

И это все, что я успел: глядеть в усладу
издалека, вблизи на то, что внятно взгляду.
Но между небом и волною есть сапфир,

который я не смог увидеть, — тень, виденье
того, что скрыто в глубине. Мое смятенье, —
младая осень, полный жарких блестков мир!

БРОЖУ ПО СЕРДЦУ...

Брожу по сердцу, — будто я на дне
охрипшего от засухи колодца,
в чьем антарктическом округлом сне
ночь ни одной звездой не отзовется.

Тень лягушонка, тощего уродца, —
вот все, что живо в затхлой глубине.
Не знает он, как свет весенний льется.
Лишь взор его слепой — приютом мне...

Под вечер небеса потяжелели,
бьют в горы стрелы молний, — неужели
прольется дождь? Тогда колодец мой

набухнет, изольется торопливо,
подружится со светом. Диво, диво, —
напившись неба, дол поить земной!

СКОРБНЫЙ СОНЕТ

Превыше всех небес — полдневный свод.
Лучом отвесным небо зренье ранит.
И в эту пору сердце так и манит
к ладоням звонко-голубых высот.

В лазури, точной, словно птичий взлет, —
чтоб тон спасти, который нас дурманит, —
контральто-день так беспредельно тянет
вернейшую, светлейшую из нот.

Грудь отворив всей крови, свежим взглядом,
который увлажнен росистым садом,
закрыв ладонью полный крика рот, —

я чувствую на кобальтовых склонах
малейшее из самых отдаленных
событий света, среди нив и вод.

КОГДА БЫ... *

Когда бы мог я зрение занять
у глаз твоих, — я лишь тебя бы видел.
Когда бы побывал в твоей душе, —
я вышел бы, весь облаченный в звезды.

В твоей душе живет ночное небо,—
мне это выдал твой высокий взгляд.
Моим глазам начертано блуждать
по саду всей твоей небесной сүти.

Июнь задумался в твоих глазах,
в твоей чудесной крови.

Долгий полдень
склоняет свой необозримый стяг
к тебе одной. Поэзия смолкает,
и дождь ее в тебе одной идет.

ВЕТЕР СИДЕЛ НА КАМНЕ... *

Ветер сидел на камне,
устав быть невидимым.
Исполосованный свет полдня
тлел в костре моих глаз.
Все было бесполезно и — дивно.
Разрушенное окно
позволило моему небытию упорхнуть,
и сквозь карты былых плаваний
мне осталось глядеть, кем я был,
кем бывал.

Я БЕРУ ПРИМЕР С ДЕРЕВА... *

Я беру пример с дерева
над рекой: вечером на его ветви
слетаются птицы.

ЗАСТЫЛ Я В ИГУАННОМ СМЫСЛЕ СЛОВА *

Застыл я в игуанном смысле слова...
Земля — как небо. Все и вся — продукт
машины одиночества. Пасется
лишь нелюдимый ветер, наделенный
необозримой молодостью. Время
утратило свой рост. В просторах дня
поет стрела, которая все ранит.

Безжизненный объем вещей намного
вечней любого из мгновений. С пальмы
срываются высокие улыбки,
в воде смеется грусть. Застыв до дна,
слежу за гибелью моей листвы.
И все это — моя земля и прах,
и древо ночи, плачущей навзрыд,
и белизна стрелоподобной цапли,
и все это — свет моих глаз, движение
из глаз в глаза, или небесный свод,
из глаз моих летящий к небесам
земного взгляда, или облака,
заполнившие до краев напев...
Ничто живет, чтоб умереть, не дав
плодов. Я нахожу во всем частицу
себя: во всем живу и умираю,
застыл я в игуанном смысле слова, —
всецело... Вот и первая звезда.

Я РОДИЛСЯ НА СВЕТ МОЛОДЫМ... *

Я родился на свет молодым.
Это известно самым старым деревьям
и едва нарождающимся облакам.
Дождь не проходит,
но земля спокойна,
а ветер нашел приют
в крыльях птицы-змеи ¹.
В окне столько неба, что взгляд
возносится и не всегда возвращается.
Смотрю, обоняю, трогаю, пробую.
И это со мной — как вода,
которую никто не замечает.
Безгранично, безгоризонтно теряюсь,
и когда сталкиваюсь со временем,
я думаю, что у смерти столько жизни,
сколько сейчас во мне.

¹ Имеется в виду образ пернатого змея Кецалькоатля из мексиканского фольклора.

УЕДИНЕННЫЕ СТИХИ *

Есть дни, когда я смотрю на жизнь,
не желая ее видеть,
устав от обилия описаний,
от обилия червивых плодов,
от обилия бесполезного света.
Иногда я отвечаю себе, ни о чем не спросив.
Это дни одиночества, когда я едва существую.
Отсветы славы, — чтобы будоражить ничто.
Я окружен всем, чего мне не надо.
Сгорают все, что я помню и что забыл.

Бредут
обнаженные полубоги,
одноглазые, на деревянных ногах.
Искрошены алмаз и сапфир.
Ритм — скомкан, вода — сухая.
Было бы страшно умереть в такой день,
когда все уже умерло.
Полет на Луну, хирург оперирует сердце.
В лаборатории кипит разум,
чтобы упразднить жизнь.
Пусть жизнь умирает без прикосновения человека,
невидимая, вездесущая, цепкая.
И вместе с ней —
гордыня того, кто ничего не ведает о себе самом.

Дни-паралитики, без сторон света.
Для чего маршруты, для чего могилы?
Необъяснимо все это одиночество,
все это пустое царство,

весь этот чуждый блеск.
Сил у меня осталось, только чтобы умереть,
только чтобы вымолвить: господи...

ПРОБУЖДЕНИЕ *

Я проснулся, и вещи были уже не такими,
как тогда, когда принадлежали мне.
Ветер ночи возник
и пепел.
Я крикнул молча — в себя,
но меня не услышала текущая кровь.

В предместье левого легкого
едва отозвался мой крик.
Сердце шло, не зная куда.
Снова было одиночество
с простертой рукой и открытыми глазами.
Это была разрушенная мелодия
на задворках рассказа, —
и вся она, возникнув как предположение,
сама по себе растеклась,
так что никто ее не увидел,
так что никто о ней не узнал,
так что никто в ней не жил,
и я остался в глазах ночи,
как нечто древнее, что не смогло быть.

ПОЛНОЧЬ В КРАСНО-ФИОЛЕТОВОМ *

(Фрагменты)

* * *

Постоянство — всего лишь миг.
Читаю струю фонтана.
Перед рассветом мы верим,
что будет то, чего не было.
Лишь для часов кардиологии
все 24 часа
одинаковы. Реки текут,
недвижно движется море.
Если уж быть — таким.

* * *

Ночь — скорее день внутри и снаружи,
это я знаю точно.
Она без дверей и окон,
без крыши и стен.
Тень — обнаженнее,
нежели свет.
Я говорю со всем, не глядя ни на кого,
сияю, не шевелясь, во всем существую.
Вот так и живу, без прежде и без потом.

УБИЛИ ЯСЕНЬ... *

Убили ясень — слишком был высок.
Давно поглядывал хозяин косо
на дикий рост опасного колосса,
хотя и статным был он, как прыжок.

Небесный кобальт сквозь него не тек, —
так широко кремнистый свод разросся.
Он был опасней грозного утеса,
который в бурю повалиться мог.

Мы оба — я и мой ровесник ясень —
в том возрасте, когда предельно ясен
ответ растительный быть или нет, —

дрожали в бури, лишних слов не тратя,
хотя и разнокровные, но — братья,
одна семья из двух житейских бед.

СОНЕТ *

Вновь расцвела материя ночей,
и в ней я, как светляк, свечусь несмело.
Жасмин благоухает — нежно, цело! —
в текучей завершенности своей.

И что-то брезжит в шелесте лучей.
Зажегся атом жизни неумело, —
вселенная вершит былое дело.
Куда впадает забытья ручей?

Опять в бессмысленном пожаре розы
устало гибнут тихие стрекозы,
и ночь пасет немые имена,

и снова сны бессонны, словно реки,
и жизнь смыкает мертвенные веки,
а смерть на жизнь глядит, не зная сна.

Аугусто Роа Бастос

(Род. в 1917 г.)

Парагвай

Аугусто Роа Бастос родился в семье батрака, в молодости участвовал в антидиктаторской борьбе в Парагвае, с 1947 года живет в эмиграции.

Начинал Роа Бастос как поэт (сборник «Соловей на рассвете», 1938), однако известность ему принесли сборник рассказов «Гром среди листьев» (1953) и роман «Сын человеческий» (1960). Обращение к элементам индейской и христианской мифологии, сочетание реального и фантастического начал — характерны для творческой манеры писателя.

Роман «Я, Верховный» (1975) закрепил за Роа Бастосом славу крупнейшего современного прозаика.

Повесть «Курупи», вышедшая в 1966 году, является сюжетным ответвлением от романа «Сын человеческий» и принадлежит к литературе социально-разоблачительного характера. Воссоздающая жизнь парагвайской провинции, полную гнета и насилия, повесть написана в традиционной реалистической манере, но мифологические метафоры заостряют коллизии повествования, благодаря чему выявляется сложность и неоднозначность социальных и жизненных ситуаций.

КУРУПИ

I

— Глянь-ка, Мелитон! — сказала женщина с испитым лицом, указывая рукой на окошко. Голос ее потонул в стуке колес. Мужчина, который дремал рядом с ней, уперев ноги в противоположное сиденье и сложив руки на животе, не шелохнулся. Широкополая шляпа из пальмового волокна сползла ему на нос. Виден был лишь полуоткрытый рот — толстые губы в капельках пота.

Женщине пришлось повторить свои слова:

— Глянь-ка, Мелитон. Похоже, из церкви распятие вынесли!

Мужчина с трудом очнулся от забытья и повернул голову.

— Ага, это крестный ход, сегодня ведь страстная пятница, — процедил он угрюмо, отирая одутловатое лицо.

Он облокотился на край окна. Широкие плечи загородили весь проем. Женщина пересела на другую скамью, чтобы следить за происходящим. Остальные пассажиры тоже высовывались из окон, некоторые чуть не по поясу. Народу в вагоне было немного, и окошек хватало на всех. Женщина молча таращила глаза, безотчетно взволнованная увиденным.

Колеса замедлили ход — поезд пыхтя полз в гору.

Вдали, примерно на расстоянии ружейного выстрела, беспорядочная толпа тяжело двигалась по дороге в селение. Окутанные пылью люди, казалось, скорее парили в воздухе, чем тащились за носилками.

Из поезда можно было различить возвышавшегося над толпою Христа, поблескивающего, как уснувшая рыба среди снующих цепочками муравьев. Слышны были псалмы и монотонный треск матрак¹, гремевших почти в такт колесам поезда; от порывов теплого ветра колыбался ичо², переливаясь на солнце. Следом за носилками с Христом на дороге вздымались, завихряясь в воздухе, столбики пыли. Позади как бы следил за процессией небольшой холм, с крестом под соломенным навесом на вершине, и над ним дрожало марево, будто холм мерно дышал.

— Голгофа Тупа-Рапе... — не оборачиваясь, пробормотал мужчина. Ветер шевелил его волосы, отливающие медью.

— Что-что? — спросила женщина.

— Голгофа Тупа-Рапе, — повторил медноволосый. — Это они Христа прокаженного несут.

— Прокаженного Христа? — пробормотала женщина. Grimаса не то отвращения, не то ужаса скривила ее черты, углубив морщинки в углах губ. Она была не старой, но выглядела старше своего возраста, уже вступила в пору увядания. Рядом с мужем, в котором чувствовалась бьющая через край жизненная сила, она выглядела совсем невзрачной.

— Не Христос. Тот, кто его смастерил, был прокаженный. — Мужчина снова развалился на сиденье, вытянул ноги, просунул сапоги между дряблыми ногами жены и ребром ладони стал растирать живот. На мно-

¹ М а т р а к а — род трещотки; употребляется иногда в церковных процессиях на страстной неделе вместо колокольчиков.

² И ч о — южноамериканский алак.

годневной рыжей щетине бороды пот смешивался с частичками саж и пыли. Роговица глаз тоже отсвечивала медью.

— Тот, кто его смастерил, был прокаженный? — переспросила женщина без особого интереса, судя по безучастному голосу и тусклому взгляду. Видно, ей просто было тягостно молчать.

— Его вырезал из дерева мастер музыкальных инструментов и сам музыкант. Некий Гаспар Мора. Когда захворал болезнью Лазаря — того, из евангельской притчи, он скрылся в лесу. Делать ему там было нечего. Вот он и вырезал Христа. После его смерти фигуру перенесли в селение.

— И с этим Христом они справляют страстную неделю?

— Они говорят, он чудотворец. Для жителей Итапé нет большего святого, чем этот. Они верят, что в нем живет колдовская душа прокаженного. Это в деревяшке-то! Священник мне рассказывал, какие одержимые эти люди. От них всего можно ожидать. А уж теперь, когда идет война, и подавно... — буркнул он, словно рисуя картину грядущих бед и утрат.

— Подумать только! — проговорила женщина.

— Сначала курия не хотела об этом и слышать. Ведь мастер был болен. Вносить Христа в церковь запретили. Но один оголтелый парень взбунтовал народ. Наперекор курии устроили Голгофу на холмике. Церковникам пришлось уступить. Прислали клирика освятить фигуру и разрешили молиться ей. С тех пор страстную неделю справляют на холмике. Христа из Туа-Рапе чтят почти так же, как богородицу из Каакупе. На страстную пятницу паломники издали стекаются.

— Ой-ой! А я и не знала!

— Скверно то, что к идущим по обету примазываются игроки в кости и всякий сброд. Уж это как водится. Придется мне и тут навести порядок, — хвастливо добавил Мелитон, искоса глядя на далекую уже процессию.

— Ты мне про это не говорил, Мелитон, — не слушая его, сказала женщина.

— Про что?

— Да про Христа этого...

— Ну так теперь любуйся! Я тебя удивить хотел.

— Надо же! Приехать в Итапе на страстную пятницу!

— Что ж тут особенного? Такой же день, как всякий другой.

— Беда нас здесь ждет... — пробормотала женщина, уставившись в пол потухшими глазами.

— Беда? Почему?

— Ведь я тебе рассказывала про дурной сон!

— Прахом пропади твой проклятый сон! — Он замахнулся, и женщина инстинктивно отшатнулась.

— Сон был ясней ясного! — прошептала она чуть слышно.

— Вечно тебе на ум всякая чушь лезет... Хуже беременной! Черт знает что за дурацкий сон!.. — Внезапно он смолк, и лицо его разгладилось. Один из пассажиров, с виду коммивояжер или налоговый инспектор, подошел и вежливо обратился к ним:

— Видели процессию? — Вопрос был задан, чтобы завязать беседу. Незнакомец говорил с легким иностранным акцентом.

— Да, — ответил Мелитон. Вынул из кармана сигару и понюхал ее.

— Нам удалось застать ее здесь, потому что поезд опаздывает. Почти на четыре часа.

— Да, — отозвался Мелитон, раскуривая сигару.

— Интересное зрелище, — как бы колеблясь, произнес другой.

— Курите?

— Спасибо, нет, — извинился коммивояжер и, ободренный приглашением, добавил: — Вы дон Мелитон Исаси, не так ли?

— К вашим услугам, — ответил Мелитон, выпуская из рта клубы дыма. — Да вы бы присели.

— Хорошо, но только на минутку, ведь мы уже подъезжаем. Я сел в Вильярике. — Он чинно примостился на краешке скамьи. — Мне сказали, вы назначены политическим комиссаром¹ в Итапе.

— Да, так и есть.

— Прекрасное селение. Я часто навещаюсь сюда во время сафры. Продаю то да се, знаете. Надеюсь, вам тут будет хорошо.

Мелитон Исаси подобрал ноги — подошвы сапог заскрипели по полу.

— Не знаю. Поживем — увидим. — Он засунул большие пальцы под широкий пояс и передвинул патронташ на живот. — Такие должности нынче опасны. Время военное.

— Вы здесь уже бывали?

¹ Политический комиссар — назначаемое правительством лицо, которому принадлежит административная власть в селении, городе и т. д.

— Да, недавно. Составлял опись имущества в управлении.

— Это мирное селение.

— Смотря при ком. У кого в руках власть, — самодовольно заявил свежеепеченный политический комиссар. — Здесь тьма дезертиров. Мне поручили хоть лаской, хоть таской отправить всех на фронт. Войску в Чако нужно пополнение, чтобы отрезать путь боливийцам.

— Однако, когда я был здесь в первый раз, в прошлом месяце, ваш предшественник Матиас Альдерете сказал, что он уже отправил на фронт всех, кто способен носить оружие. Выудил военнообязанных даже из забытых богом углов. С ферм, из урочищ. Все дочиста подмел.

— Хе! — презрительно оборвал его Мелитон Исаси. — Матиас Альдерете! Да он слабаком оказался! Потому и посылают меня. Я никому спуска не дам.

Застыв у окошка, женщина глядела на приближающееся селение, чуждое, убогое. Коммивояжер нашел нужным оказать внимание даме:

— А вам, сеньора, как это нравится?

Она растерянно заморгала, не зная, что ответить. Хотела улыбнуться, но морщинистые губы сложились так, будто она вот-вот заплачет.

— Она сюда едет впервые, — сказал Мелитон Исаси. — Но ей здесь понравится. Где вольготно мужьям, там и женам сладко... — Он хохотнул. — Правда, Брихида?

— Да... да... — с трудом выдавила она. На лице ее читались годы унижений и тайных страданий под железным ярмом супружества.

Коммивояжер поднялся, все такой же любезный.

— Ладно. Надо приготовить чемоданы, дон Мелитон. Надеюсь, вы не откажетесь как-нибудь распить со мной бутылочку-другую пива.

— Да уж конечно. — Мелитон Исаси тоже встал. — Повод найдется. Селение маленькое, увидимся. — Мужчины пожали друг другу руки.

— Очень рад был познакомиться, сеньора. К вашим услугам...

Поезд замедлял ход. Наконец остановился у вокзала. Из-за крестного хода на платформе почти никого не было. Лишь несколько торговков побежали вдоль перрона, негромко предлагая лепешки и алоху¹.

¹ А л о х а — напиток из меда, пряностей и воды.

Мелитон Исаси просунул чемоданы в окно, их подхватили жандармы, встречавшие политического комиссара. — Идем, — сказал Мелитон жене и широким шагом двинулся по коридору.

Прежде чем сойти со ступенек, он окинул взглядом деревушку, точно мысленно взвешивал свою новую судьбу.

II

Мелитон Исаси сдержал слово.

Через несколько дней во всем Итапе не осталось ни одного «отлынивающего», не считая, конечно, его самого. Он отправил на фронт даже не подлежащих призыву мальчишек.

Мелитон торопился. Надо было выиграть время, перехитрить его. Он не полагался на метрическую книгу: туда попадали далеко не все, ведь среди новорожденных добрую половину составляли незаконные дети. С большим доверием отнесся комиссар к записям крестин. Он приказал принести из ризницы огромный растрепанный том, и этот томище помогал ему выслеживать дезертиров.

— Кто тут не значится, тот и не родился, — сказал комиссару один из подчиненных.

На ветхих страницах были записи о крестинах во времена еще более давние, чем Большая война¹. А за шкафом в ризнице валялись предшествующие тома. Но то была сплошная паутина и плесень — веками копившаяся пища для моли, тараканов и мышей.

Горящие матери молили за своих несовершеннолетних сыновей.

— Достигнут призывного возраста в дороге или на поле сражения! — обрывал их Мелитон, не поднимая головы от списков. — Война будет долгой.

— Мальчик — моя единственная поддержка, — пробовала возразить какая-нибудь старушонка в пыльной рваной одежде.

— Родина превыше всего! — орал Мелитон, выдворяя просительниц. — Прочь! Вон отсюда! У меня работы по горло! Некогда мне ваши бредни слушать!

И каждое утро скорбящая группа молча расходилась.

¹ Большая война (1864—1870) — война между Парагваем и Тройственным союзом (Бразилия, Аргентина, Уругвай).

Мелитон Исаси с женой жил напротив комиссариата, в доме с галереями, стоявшем почти впритык к школе, резные столбы которой напоминали руки прокаженного, того самого, кто вырезал Христа.

Брихиду Исаси видели редко: только когда она наблюдала за комиссариатом сквозь вырезанное в ставне отверстие в форме сердца Иисусова или наведывалась в огород на задах дома, хилая, немолодая, раздавленная жизнью.

Навещала ее довольно часто лишь сестра Микаэла, старуха, возглавлявшая местную общину ордена терциариев¹ и известная также как знахарка. Она приносила Брихиде целебные травы и пересуды соседей.

Сестра Микаэла выходила от своей пациентки пыжась от гордости, что так близка с женой нового комиссара.

Жители Итапе быстро раскусили Мелитона. Они восприняли его как еще одну напасть и смирились с ней, как мирились и с многими другими бедами, с чувством отворачивания и векового, привычного страха.

Мелитон Исаси держал в руках всю полноту власти, олицетворял собой правосудие и даже расточал милости, ибо ведал выдачей продовольствия. В его распоряжении была дюжина вооруженных охранников, обязанных следить за порядком и спокойствием. Мужчины сражались в Чако. Старики и женщины были беззащитны. Мировой судья — стар и немощен. Мелитон держал его в кулаке. А священник из Борхи с незапамятных времен приезжал в Итапе лишь по нечетным воскресеньям. Мелитон столкнулся с ним, и они стали приятелями.

Но Мелитон Исаси не ограничился посылкой рекрутов на фронт и поддержанием порядка. У подвластных ему людей скоро появилась новая причина для страха. Свежеиспеченный политический комиссар не был ни пьяницей, ни игроком, зато был охоч до молодых женщин. Они притягивали его, как ничто другое на свете, разжигали ненасытную скотскую похоть, которая была сильнее его, перед инстинктом пола он был беззащитен. Распутству Мелитона не было преград, и не было предела его бьющей через край жизненной силе.

¹ Орден терциариев (или терцианов) — ветвь ордена францисканцев.

Женщины ему быстро надоедали. Он садился на коня и, как на охоту, мчался в ночной тьме на поиски новой добычи. Ему не нужна была охрана, не нужны телохранители. Он нагнал на людей такой страх, что мог чувствовать себя в безопасности. Впрочем, ему не всегда приходилось охотиться за своими жертвами. Иной раз он соблазнял их лакомствами. Но девушки, покоренные сахаром, печеньем или мате, казались ему пресными. Страх, сопротивление — вот что его разжигало, придавало его похождениям остроту.

Возможно, он не сознавал, что жесток, зол и коварен, как не сознает своей разрушительной равнодушной мощи явление природы. Конь Мелитона скакал в любом направлении, но всегда в новом.

Старухи крестились по ночам, заслышав бряцанье металлических блях на сбруе его лошади. Он откидывался в седле, голова тонула в сигарном дыме, и весь он был похож на огромного ярого козла. Боязнь жителей деревни была ему на руку. Он являлся на ранчо, словно там ему добровольно назначили свидание. А ведь ему могли всадить нож в спину в самый разгар любовного поединка. Быть может, поначалу жертвы надеялись на такую защиту, на месть, на кару.

Легко представить, каким являлся он взору замороженных ужасом женщин. Ночной гость, наверное, высаживал сапогом дверцу хижины и вставал на пороге — грузный и грозный. При слабом свете огарка или фонарика женщина смотрела на него, словно загнипнотизированная горящими, как угли, глазами, сверкающими зубами и похотливым смехом. Наверное, многим он представлял в ореоле некой зловещей красоты, и собственное естество предавало их, размягчая волю в вихре внезапного желания. Потом тень ночного гостя медленно надвигалась на огонек плашки и на очередную жертву, и вот наконец наступала темнота, заполненная прерывистым дыханием, потной плотью, сладострастными судорогами.

IV

Вот так однажды ночью Мелитон отыскал Хуану Росу, жену Крисанто Вильяльбы, на отдаленном ранчо Кабеса-де-Агуа. Он знал, что она на ферме одна, с малолетним сынишкой. Хуана Роса навещалась на станцию и на почту, ожидая известий от ушедшего на войну мужа.

Хуана Роса была настоящей сельской красавицей, словно вылепленной из теплой земли провинции Гуайра, словно напоенной соком трав и водой ручьев. Впоследствии никто не мог вспомнить, какого цвета были у нее глаза и как звучал ее голос. Когда Хуана Роса еще была свободной и ходила на танцы, мужчины говорили, что у нее на одном плече — луна, на другом — солнце. За ней увивались многие, но девушка выбрала Крисанто Вильяльбу, потому, быть может, что он не рассыпался так в комплиментах и был самым работающим.

Хуана Роса появлялась в деревне в те дни, когда приходил поезд. Сынишку она несла за спиной. Но писем от Крисанто не было. Молчание мужа стало таким же безмерным, как разделявшее их пространство. Лишь далекий грохот войны отдавался мукой в ее сердце, как в сердцах многих других жен и матерей. Она приходила снова и снова, но писем все не было.

Через несколько дней по прибытии в Итапе Мелитон Исаси увидел ее и сразу влюбился по уши. Наверное, из-за лучившегося от нее света. Он заговорил с ней. Сказал какую-то банальность, лстивые слова, которые мужчины говорят женщинам. Рассказывали, что она ничего не ответила и повернулась к нему спиной — не с пренебрежением, а так, будто вовсе его не видела и не слышала. Это многим запало в память.

Мелитон недолго ждал. Однажды ночью он спешил к у ее дома, в Кабеса-де-Агуа.

На другой день, а может, через несколько дней, Хуана Роса с сынишкой проснулись в кухне комиссариата. Это было неслыханно, необъяснимо. Все были ошеломлены. Не знали, что и думать: ведь никто не сомневался, что Хуана Роса никогда не изменит Крисанто. Воспоминание о том, как обошлась она с Мелитоном Исаси на перроне, еще усиливало недоумение.

V

Через отверстие в зеленом ставне Брихида следила за двором комиссариата. Это отверстие в форме сердца было очень удобным: оно давало ей возможность все видеть, а самой оставаться невидимой. В патио Хуана Роса тушила в большом черном котле мясо для полицейских. Брихида видела, как она несла от колодца воду в бидонах из-под керосина. Мокрая юбка обтягивала ее бедра, казавшиеся

особенно мощными оттого, что у нее, привыкшей склоняться над бороздами в поле, была такая тонкая, гибкая талия.

Брихида наблюдала за ней, поджав губы.

Сестра Микаэла не торопясь чистила апельсин и рассказывала Брихиде про Хуану Росу. То ли она хотела оправдать ее, то ли, напротив, сгущала краски в угоду хозяйке дома. Унылый голос звучал с затаенным пафосом, привычным для предводительницы агнцев божьих. Временами она делала многозначительную паузу и у нее подергивалась щека. Казалось, слова рвались у нее с языка. Но она придерживала их — из уважения к молчанию Брихиды.

— Раньше она не была гулящей, нья Брихида. Но теперь... Кто бы мог подумать! Тут без нечистого не обошлось! Муж в армии, а она предается блуду, на глазах у ребенка... и перед самым вашим домом. Это уж значит последний стыд потерять!

Брихида не отрывалась от зеленого ставня. Сквозь отверстие в форме сердца на увядшее бледное лицо падали отсветы заката; взору Брихиды представало все то же зрелище: черноволосая красавица суежилась в дыму костра и аппетитном паре, поднимавшемся из котла. А в приоткрытую дверь кабинета виден был начищенный сапог Мелитона. Глаза Брихиды сощурились, превратились в узкие щелочки.

Старуха искоса поглядела на нее.

— Может статься, это от нужды. Не знаю... Никто не знает, как она до такого докатилась... — Казалось, сестра Микаэла не апельсин чистит, а косичку плетет. Тонюсенькая апельсиновая корка выползала из-под ножа и оранжевой змейкой свертывалась у нее на коленях.

— Мелитон сам не свой...

— Еще бы, нья Брихида! Такие девки самых порядочных мужчин с ума сводят. Видите, она зеленым стеблем подпоясана? Это мужской побег лиана. Может, у нее приворотное зелье есть... Или талисман... Поди узнай!

— Боже мой! — пролепетала Брихида, разглаживая пальцами морщины в углах губ.

— Но вся вина — на ней. Яд греха у нее в крови. Вылитая мать! Мария-Роса в свое время переспала со всеми мужчинами в Итапе и даже с пришлыми. Она еще жива, у нее хижина на холме Каровени. Это она не погнушалась сойтись с Гаспаром Морой, когда тот захворал болезнью Лазаря и укрылся в лесу... — Кожура оборвалась и скати-

лась с колен на пол, похожая на змейку, обожженную солнцем. Щека опять задержалась.

— С тем самым, что смастерил Христа?

— Да, с тем самым.

— А это ее дочь?

— Да. Мария-Роса остригла волосы, чтобы их прикрепили к фигуре Иисуса. И по деревне долго стриженная ходила. Без покрывала. Выставляла себя напоказ, бахвалилась позором. Она уже тогда помешалась. Потом родила вот эту. Говорила, это дочь прокаженного. Но лгала. Гаспар Мора к тому времени уже умер. Хуана Роса родилась намного позже. Бог весть, от кого Мария ее прижила... — Старуха жадно впилась в апельсин. По лоснящемуся подбородку сок стекал на дряблую грудь, пачкая коричневую фланель скапулярия¹.

— Боже мой! — воскликнула Брихида. Отверстие в ставне и манило ее и отталкивало.

— Что поделаешь! — глухо отозвалась сестра Микаэла, лакомясь сочным плодом и мизинцем отодвигая в сторону скапулярий. — На роду ей написано развратницей быть!

— То-то я сюда ехать не хотела! — сказала Брихида, откликаясь не на слова старухи, а на собственную тоску, получившую таким образом более определенное выражение, чем подавленные вздохи.

— Творец испытует своих избранных, ня Брихида... Наберитесь терпения.

— Я знала, что так будет... За несколько дней до отъезда мне снился Мелитон... Плохой был сон.

В школе ударили по рельсу в знак окончания занятий.

— Сон? — переспросила старуха, доставая из-за пазухи замусоленный платок и вытирая губы.

Брихида не ответила. Снова припала к ставню. Теперь она видела в приотворенную дверь кабинета руку и волосатый бицепс Мелитона — он потянулся за сапогами, чтобы встать, точно звон рельса разбудил его. С трудом втиснул в голенища босые белые ноги.

— Что за сон, ня Брихида?

Послышался, нарастая, гомон школьников, бегущих по немощеной, поросшей травой улочке. Волна пыли ударила из отверстия в лицо Брихиде. Она наблюдала за зрелищем, которое повторялось ежедневно.

¹ Скапулярий — два кусочка ткани со священными изображениями, соединенные лентой или тесьмой, которую надевают на шею.

Мелитон вышел, расчесывая пятерней отливающие медью волосы. Глаза отекли от долгого сна, но он уже был бодр и улыбчив. Один из полицейских поспешил к нему с терере¹. Он машинально стал с шумом потягивать через трубочку холодный настой мате, подошел к проволочной ограде. Стайка притихших школьников молчаливо рассыпалась.

Посреди улицы осталась лишь одна рослая девочка; она казалась бы совсем большой, если бы не испачканный чернилами белый передник. Девочка шла быстро, и вид у нее был испуганный. Мелитон заговорил с ней. Девочка остановилась и повернула к нему тонко очерченное личико.

— А ну, подойди...

Девочка приблизилась, смущенная и почтительная, помахивая сумкой из цветастой ткани, в которой носила тетради. Комиссар что-то сказал школьнице, то ли шутя, то ли серьезно, посасывая терере из бомбилы, и так тихо, что Брихиде не удалось разобрать ни слова. Наверное, пошутил, потому что девочка рассмеялась. Брихида вся напряглась. Она следила за голубыми глазами девочки, глядевшими на ее мужа — все менее робкими, все более оживленными.

Брихида поманила старуху.

Сестра Микаэла поднялась и тоже припала к отверстию в форме сердца.

— Это Фелисита, сестра близнецов Гойбуру, что воюют теперь в Чако. Нынешние соплячки не знают ни стыда, ни страха божьего! Этой едва пятнадцать стукнуло. Быстро же дьявол ее душой завладел! То же самое вышло с ее сестрой Эсперанситой вскоре после смерти отца — бык его поднял на рога. Братья ее из дому выгнали. А теперь, говорят, она пошла по рукам, ошивается в домах разврата в Асунсьоне. И Фелисита по той же дорожке пойдет. Пока она живет со слепой бабкой на холме Каровени. Фелисита сирота от рождения — мать умерла в родах. Это и Эсперансу погубило. Никанор Гойбуру, отец, страх как жестоко с ней обращался. Да и братья от него не отставали. Пороли ее толстенным ремнем. Вот она и не выдержала...

Брихида снова припала к отверстию в ставне.

Фелисита Гойбуру шла вниз по улице, держа руки за спиной, и сумка с тетрадями била ее по ногам под коленками. Мелитон Исаси, сжимая в руках резной сосуд из рога,

¹ Терере — холодный настой мате.

глядел ей вслед, как охотник, что дает косуле подрасти и созреть, зная, что она от него не уйдет. Упрямо стиснутые губы сосали мате через бомбилю, которая казалась напившейся крови серебряной пиявкой.

VI

— Среди нас объявился Курупи!

Старики шептались на гуарани, с испугом, но и с издевкой присваивая политическому комиссару имя древнего похотливого бога.

Кто-то сказал:

— Идет Мелитон Исаси — беги восвояси!

Эти слова быстро стали поговоркой.

— Даже я руками срам прикрываю, берегу свое сокровище! — с плутовским смехом шамкала беззубая старушонка Конче Аваай. Непристойная шутка передавалась из уст в уста, как галька перекачивается в ручейке.

Люди сарказмом спасались от страха и ненависти. Другого оружия у них не было.

Не только Хуана Роса, но и другие молодые женщины, случалось, просыпались утром в кухне комиссариата после ночных набегов Мелитона Исаси. И слава о его сладострастии докатилась до самых отдаленных уголков. В народе ожила легенда о Курупи. Мнилось, гигантский фаллос языческого бога, как хвост фантастического ящера, обвивается вокруг холма, потому что холм с Христом на вершине, почившим под травяным навесом, был сердцем Итапе.

VII

Приближалась страстная неделя. Из Борхи приехал священник, чтобы все подготовить к празднику. Старики тайно посовещались и решили обратиться к святому отцу — пусть вмешается и прекратит безнаказанный разбой. Они сошлись на том, что сестра Микаэла, самая влиятельная особа в деревне, должна поговорить с паи¹ Доситео Педрой от имени всех жителей Итапе.

— Э, нет! Я не стану лезть не в свое дело! Это непорочно — вмешиваться в личную жизнь ближних!.. — запротестовала сестра Микаэла.

¹ Паи — священник, святой отец (гуарани).

— Да ведь это комиссар вмешивается в нашу жизнь, гвоздит наших женщин своей пиканой¹, — гневно возразил старый Аполинарио Родас.

— В смертный час он даст богу ответ в своих грехах! — сказала святоша, прижимая к скапулярию двойной подбородок с седыми волосками. — Каждый должен заботиться о спасении собственной души.

— Но мы должны также помогать друг другу, сестра Микаэла... — прошамкала Конче Аваай.

— Я стреляный воробей и знаю, как вести себя. Делайте, что хотите, а меня оставьте в покое. Не впутывайте в эту заваруху... — отрезала она, повернувшись спиной к сборищу и ушла, понутив голову, перебирая грубые деревянные четки, которые она носила на поясе вместо вериг.

Жители Итапе пошли с «заварухой» к паи Педросе.

Он им сказал приблизительно то же, что сестра Микаэла, будто они сговорились.

— Выходит, паи, нет на него управы? — спросил, почесывая затылок, Аполинарио Родас.

— Богу богово... — мягко ответил паи Доситео, сложив руки на округлом брюшке. — Не подобает мне вмешиваться в мирские дела, дети мди. Я пекусь только о спасении душ, об интересах прихода. Моя ответственность велика. Не взваливайте мне на плечи груз еще более тяжкий. Порой создатель велит нам смотреть на грехи ближнего сквозь пальцы, так сказать, вполглаза. Пусть грешник сам раскается и исправится.

— Но тем временем другие страдают, — сказал Аполинарио.

Святой отец воздел кверху руки, и вечерний ветер взметнул складки его чесучового одеяния.

— Не просите меня ни о чем, ведь я самый ничтожный из божьих слуг. В эту пятницу мы все пойдем в Тупа-Рапе молить спасителя, чтобы он сотворил чудо. Вот что надлежит нам делать, братья мои. Оружие верующих — молитва. В страстную пятницу станем молиться и просить о помощи господя нашего. В неисчерпаемой своей благодати он поможет нам.

Просители молча ушли, удрученные речами святого отца. В сгущающихся сумерках еще была какое-то время

¹ Пикана — длинная палка с железным наконечником, которой погоняют скот.

видна на балконе дома, где жил священник, его тучная белая фигура. Он не будет тягаться с Мелитоном, сколько бы ни просила его об этом доверчивая паства. Не встанет он поперек дороги дерзкому политическому комиссару. Ведь они приятели. Паи Доситео знал, что у Мелитона сильная рука в Асунсьоне, что он женат на сестре влиятельного чиновника. Сам Мелитон Исаси сказал ему, спьяну расхваставшись: «Моя заручка — шурин злючка!» Вот почему удалось ему «окопаться» здесь, вдали от фронта, в то время как война жадно пожирала людей в пустыне Чако.

— Тут надо держать ухо востро, — сказал себе священник. — Я тоже сражаюсь в пустыне. В пустыне душ. Только меня подстерегают другие опасности.

VIII

В этот вечер, как бывало всегда при наездах паи Доситео в Итапе, священник в кабачке Канталисио Санабрии играл в картишки с комиссаром. В такие вечера Мелитон был разговорчив и благодушен. К тому же платил за угощение — верней, приказывал Канталисио записать расходы на счет комиссариата.

Священник веселился от души. Пропуская по рюмочке, они по очереди держали банк и балагурили, пока не наступала полночь. Но обычно комиссар приказывал Канталисио тайком отвести назад стрелки будильника, стоявшего на стойке среди бутылок, и сплошь да рядом колокольный звон к ранней обедне заставлял паи Доситео на резном стуле в кабачке, так что служителю божии приходилось опростеть мчаться в ризницу.

Но так бывало не всегда. Иной раз они рано откладывали колоды и уходили вместе — никто не знал куда, хоть многие и догадывались...

— Знаете, Мелитон, жизнь сельского священника тоже не из легких, — сказал однажды вечером Доситео Педроса между двумя ходами.

— Ха! Будь я священником, я бы как сыр в масле катался! — со смехом прервал его Мелитон.

— Не скажите. У нас свои трудности, не меньшие, чем у вас, в комиссариате, — добавил он, отхлебнув гуариполы¹. — За примером недалеко ходить: за год до войны мне

¹ Гуарипола — спиртной напиток.

в Борхе выпала трудная задача. Пришлось сыграть роль царя Соломона.

— Вы разорвали ребенка пополам?

— Нет, напротив. Сейчас узнаете. Мне пришлось соединить... поженить два изображения святых, две статуи.

— Впервые слышу, что статуи женятся.

— Да нет, это я только так, для примера. Я оказался в отчаянном положении и прибег к этому средству, чтобы избежать кровопролития.

— Да ну! А из-за чего сыр-бор загорелся?

— Вы знаете, что в Борхе издавна царила вражда между жителями селения и станционного поселка. Как раз из-за этих статуй. Спаситель надежды — покровитель селения, а Пречистая дева мира — покровительница станции. Каждая сторона хотела, чтобы ее статуя была покровительницей всей Борхи. Они спорили, как настоящие фанатики. Большую роль сыграла тут, конечно, прокладка железнодорожного пути. К чему разрезать пополам населенный пункт?

— Это верно. У нас всегда все ставят с ног на голову.

— И на станции, и в поселке справляли престольные праздники с большой пышностью, соревнуясь между собой.

— Так и подобает добрым католикам.

— Да, но в тот год, в день Спасителя надежды, соперничество перешло в открытую войну. Наверно, из-за войны с Боливией, которая назревала. Это было уже не простое соперничество, а открытая вражда. Ненависть висела в воздухе, готовая разразиться взрывом. И разразилась. Уже утром возле церкви дело дошло до поножовщины. Двое жителей поселка были ранены. Запах крови разжег остальных.

— Дело известное. Как на новильяде перед большой корридой.

— После полудня, перед процессией, все еще больше распалились. Читая проповедь с амвона, я увидел, как со станции галопом мчится сотня верховых. Может, их было меньше, но мне показалось, что сотня. Когда я замолчал, то слышал топот копыт и крики всадников. Мужчины выбрались из церкви и, кипя от гнева, тоже повскакали на коней и выхватили ножи и револьверы. Готовилась настоящая битва! Конники сближались, дорога дрожала от грохота копыт. Необходимо было принять решение. Срочно.

— Да, идти ва-банк!

— Я зажмурился и попросил чуда у Спасителя надежды, попросил от всей души. Я сам не понимал, что делаю. Спрыгнул с амвона, проложил себе путь в толпе и как был, в ризах, вскочил на коня, вырвав поводья у какого-то парня...

— Ай да паи Доситео! — воскликнул в восторге комиссар, ударив кулаком по столу.

— Во весь опор помчался я навстречу незванным гостям. В двух шагах от них натянул узду, и они тоже осадили коней. Мое торжественное облачение внушило им почтительность. Но позади меня скакали люди из поселка. Я очутился меж двух огней. Надо было что-то сказать людям, а мне ничего на ум не приходило. Холодный пот струился у меня по спине. Но вдруг мне пришли на язык слова, и я закричал не своим голосом: «Не надо драки... для чего зря проливать кровь, любимые мои братья! Господь не желает смерти своим чадам, он шлет им жизнь, благополучие, дружбу! Жители селения и станционного поселка могут жить в мире, как родные братья! Недаром их заступники — Спаситель надежды и Пречистая дева мира!..»

— Здорово! — одобрил комиссар.

— Завязался спор. «Хотим, чтобы Пречистая дева мира была покровительницей Борхи!» — кричали всадники из одного отряда. «Спаситель надежды — единственный покровитель Борхи!» — орали из другого.

— Черт побери, ну и каша заварилась!

— Тогда мне пришло в голову крикнуть им: «Пусть Спаситель надежды и Пречистая дева мира вместе правят своим любимым селением Борха! Они этого хотят, и мы исполним их желание, объединим их! Пусть оба святых вместе станут покровителями всей Борхи!..» — «Как же это?» — закричали они.

— В самом деле, как же это?

— Тут-то и была зарыта собака. Я вспомнил про мудрого царя Соломона и прибегнул к его уловке. Разумеется, я ее малость изменил. Дал знак всадникам приблизиться. Оба отряда разъяренных конников почти сомкнулись. Я, наверно, был бледен как мел. Холодный пот капал мне на ноги из-под стихаря, из-под сутаны... Я откашлялся и, чтобы войти к ним в доверие, заговорил на гуарани, хотя я и не слишком силен в нем: «Послушайте, ломита¹...

¹ Ребята (гуарани).

Единственный способ сделать так, чтобы Спаситель надежды и Пречистая дева мира правили Борхой, не мешая друг другу, это их поженить... Да, сеньоры, их надо поженить! — крикнул я, собрав остатки мужества. Через головы лошадей на меня глядели две группы потных мужчин с замызганными лицами. — Прямо сейчас их и поженим, как добрые христиане! Не так ли?..»

— Вот это да! И что они сказали?

— Сначала воцарилось молчание. Слышно было лишь, как тяжело все они дышат. Я посмотрел на тех и других. Они вопросительно переглядывались — уже слегка успокоившись. Я перевел дух. «Ладно, — сказал один, по-видимому, главарь жителей селения, — коли так, мы согласны...» А вы? — крикнул я сурово, обращаясь к другому отряду. «Мы тоже согласны... — отозвались станционные. — Раз священник так говорит!..» Вскоре послышались здравицы и крики «ура», и люди, которые всего минуту назад готовы были выпустить кишки противникам, начали окликать друг друга по именам и прозвищам, шутить и посмеиваться.

— Сам царь Соломон не нашел бы лучшего решения! — с легким недоверием произнес комиссар, подняв кверху кувшин и надувая щеки.

— Все мы как добрые друзья вернулись в церковь. Мне удалось дочитать проповедь. А крестный ход удался на славу, такого тут еще не видывали. Носилки со Спасителем надежды понесли по дороге к станции, а носилки с Пречистой девой мира от станции к селению, и на полпути они встретились. Престольный праздник в тот год завершился отменным жарким, вином из бурдюка и танцами; люди из поселка и со станции веселились, как родные братья.

— Что-то вроде этого я слышал, но что-то не верится!

— Будете в Борхе — расспросите людей.

— Да нет, все возможно... — поправился Мелитон Исаи, все еще с легким недоверием. — Похожая история была здесь с Христом, не так ли?

— Да, более или менее. Надо уметь правильно настроить умы. В курии посмотрели на это иначе. Страшно разозлились на меня. Хотели наказать за символический брак двух святых. Даже прихода лишить собирались. Не пожелали вникнуть в обстоятельства, которые вынудили меня прибегнуть к такой невинной уловке, чтобы спасти человеческие жизни. Но потом началась война, и дело замялось.

— Будь вы министром иностранных дел, паи Доситео, до войны бы не дошло.

— То, что продиктовано необходимостью, иногда выглядит ересью, Мелитон. Я просил послать меня капелланом в Чако. Но сочли за благо оставить меня на прежнем месте. К тому же люди из Борхи за меня вступились. И я остался стеречь имущество супругов... — добавил он, лукаво посмеиваясь.

— Значит, святая дева мира осталась в поселке?

— Зачем? На следующий же день после бракосочетания мы вернули ее в часовню на станции. Что ей было делать в селении? Я же говорил, свадьба была символической.

— Ясно, ведь святые — деревянные, незачем им быть рядышком... Ха-ха-ха! — Мелитон Исаси качнулся на заскрипевшем стуле.

Священник пропустил намек мимо ушей. Выложил на стол четыре валета.

— Знаете, Мелитон, — помолчав, начал он притворно равнодушным тоном, будто только сейчас что-то вспомнил. — Сегодня днем ко мне приходили здешние жители...

— Ха... Знаю, — со смехом перебил его комиссар. — Из-за девчонок, да?

Священник кивнул, не глядя на собеседника.

— Меня предупредила сестра Микаэла. Но эти старики из ума выжили! Им бы меня благодарить, а не жаловаться. Бедные женщины не знают мужской ласки. Я их утешаю. Даже беру на себя труд добираться до отдаленных жилищ.

— Конечно, конечно, — примирительно забормотал священник. — Я знаю, коли вас разберет охота залезть в чужой загон, никакие засовы вас не остановят.

— Ба, паи Доситео! Ведь и вы от меня не отстаете! — Мелитон фамильярно, как друга-приятеля, потрепал священника по плечу. — Зачем нам в прятки играть! Я ваши вкусы изучил... Вот и теперь приготовил вам подарочек... Как в прошлый раз... А может, еще полакомей... а?

— Вы сущий бес, Мелитон! — покраснев, пробормотал паи Доситео.

— Переночуете у меня в кабинете. Там вам будет уютнее.

Мелитон взял священника под руку, и они скрылись во мраке.

Канталисио вышел из-за стойки и пошел запирать свое заведение, мотая головой, словно запутался в паутине.

Однако в эти дни Мелитон Исаси умерил свое сластолюбие. В страстную пятницу его видели во время крестного хода — он подставил плечо под носилки с распятием. Аполинарио Родас и другие, даже сама сестра Микаэла, поверили, что Христос из Тула-Рапе сотворил новое чудо.

Но чудо длилось недолго: Мелитон Исаси снова принялся за свое.

Скотское естество Курупи продолжало царить над деревней. Фелисита Гойбуру по-прежнему срезала розы для старой директрисы в саду комиссариата. Когда Мелитон просыпался, разбуженный школьным звонком, она разговаривала с ним у проволоочной ограды. С каждым днем эти беседы становились все длительнее. Голубые глаза Фелиситы делались все задумчивей и туманней, в них отражалась внутренняя борьба со страстью или чарами, которые были сильней ее воли.

Однажды, оглянувшись по сторонам, она юркнула в кабинет, и за ней со скрипом закрылась дверь. Маленькая лань по собственной охоте ринулась в западню. И вот она была там, внутри, где ей до такой степени было не место, словно она попала туда из дальнего далека, с другой стороны планеты. Вечерело. Высокое пустое небо окрасил закат, и его багровые лучи тщетно били в закрытую дверь.

За отверстием в форме сердца рыдала Брихида. Потом, полумертвая, ничком рухнула на циновку, раскинув ноги со вспухшими венами. Высохшая, раздавленная, ненужная, как шелуха.

Вихрем ворвалась сестра Микаэла.

— Святой страстотерпец!.. — выпалила она. — Теперь и подумать страшно, что будет, когда вернутся братья Гойбуру. Ведь они на Фелиситу не надышатся!.. А она там блудит. Я видела, видела, как она вошла туда!

Брихида не шевелилась. Сестра Микаэла, треща деревянными четками, подошла ближе и продолжала таким тоном, точно и на Брихиду возлагала часть вины:

— Приспичило ей! Кинулась в объятия доня Мелитона, будто распаленная телка! Что за гнусность!..

Но сестра Микаэла бушевала зря — Брихида ее не слышала.

Пошел второй год той войны, бушевавшей в дальнем краю.

Казалось, ей конца не будет. Она могла длиться год, или десять лет, или сто. В Итапе все осталось бы без перемен, время там было подобно застоявшейся болотной воде, подернутой зеленоватой ряской, которая так по вкусу мухам.

Хуана Роса исчезла бесследно.

Теперь Фелисита Гойбуру появлялась во время сыесты, заглядывая в дверь. Иной раз Мелитон, уже сладко зевавший на раскладушке, махал ей рукой. Тогда она, довольная, ускоряла шаг. Кусты роз засохли. Все сжигал летний зной. После уроков Фелисита входила в кабинет, и Мелитон, не вставая, захлопывал дверь сапогом. Таиться больше было не от кого.

Мелитон Исаси оставил свои ночные наезды. Все было поражено. Фелисите удалось то, чего не сумел сделать Христос из Тупа-Рапе. Комиссар уже не рыскал по округе в поисках одиноких женщин, а на заднем дворе больше не стряпали для полицейских его наложницы, которых комиссару хотелось еще подержать при себе. Он целиком предался Фелисите, позабыв всех, прилепился к ней, размяк. Говорить стал серьезно и размеренно. Больше не кричал, не выходил из себя. Поднимал голос только на Брихиду. Но даже с ней стал вежливей.

От всей его свирепости осталась лишь прирожденная грубоватость, которую Фелисита смягчала под вечер, в полумраке кабинета. Кто бы мог поверить! Мелитон Исаси, казалось, влюбился не на шутку. И не в зрелую женщину, как Хуана Роса, как другие его кратковременные сожительницы, а в голубоглазую девочку с едва обозначившимися формами. Пятнадцатилетняя пташка приворожила сорокалетнего сыча с желтыми, налитыми кровью глазами, который вонзил в нее когти.

Эта любовь длилась год. Тем временем кончилась война в далеком Чако. Начали возвращаться первые демобилизованные.

Когда Фелисита узнала, что ее братья находятся на пути домой, она всполошилась. В душе ее боролись блаженство и отчаяние. Она была беременна. Фелисита показала Мелитону письмо братьев. Они были уже в Асунсьоне и ждали парада победы и бумаг о демобилизации.

Мелитон тоже перепугался.

— Надо скорей ехать в Борху, к повитухе, — сказал он мрачно.

— Я хочу ребенка от тебя, Мелитон. Хочу больше всего на свете! Вот только... я боюсь. Помоги мне, сделай так, чтобы я могла родить.

— Разве ты не видишь, что это невозможно? — раздраженно крикнул он. — Ведь я не могу на тебе жениться!

— Увези меня подальше отсюда!

— Рано или поздно твои братья нас отыщут. Где бы мы ни прятались. И тогда либо они меня пристрелят, либо я их прикончу.

— Тогда... пусть будет воля божья, — рыдая, смирилась Фелисита. — Ценой твоей смерти или смерти братьев я ребенка не хочу.

Сначала перепробовали все домашние средства — по совету сестры Микаэлы. Старуха приносила в комиссариат охапки целебных трав и готовила на кухне отвары или приносила их уже готовыми и процеженными.

После уроков Фелисита входила в кабинет, но уже не для любовных ласк, а для того, чтобы глотать стряпню сестры Микаэлы. Со своего наблюдательного пункта Брихида слышала стоны изнемогавшей от позывов к рвоте Фелиситы, чье естество противилось выкидышу.

Сестра Микаэла посвящала Брихиду во все подробности.

— Уж и не знаю, что ей дать. Ни хинин, ни касторка, ни английская соль не действуют... Теперь осталось только последнее средство. Но на это я не решаюсь. Уж больно она слаба...

— Бедняжка! — с неподдельным сочувствием прошептала Брихида.

— Бедняжка?... — прошепелявила сестра Микаэла. — Срамница она, вот кто! Так ей и надо. А тут еще изволь ей помогать! Нечего жалеть ее, няя Брихида!

— Да, но теперь она так же несчастна, как я...

Через месяц от Фелиситы Гойбуру остались кожа да кости. Прекрасные голубые глаза поблекли и покраснели от пролитых втихомолку слез. Она состарилась в одночасье. На лице ее попеременно читалось страстное желание и безнадежность, и оно то смертельно бледнело, то заливалось краской. Только теперь она измерила всю глубину страдания. Она испила чашу горя и позора не каплю по капле, как ее сестра Эсперансита, но внезапно, одним глотком. Теперь она познала то, что было тайной для ее невинной души. И познала вдруг, словно боль от ожога, от которой нет лекарства.

Мелитону Исаси приходилось не лучше. Он походил на утопающего, беспомощно барахтающегося в водовороте. Яростные вспышки гнева не приносили облегчения. Он раздражался все больше. Пил запоем. Его опухшее лицо уже не лоснилось. Глаза налились кровью. Кожа загрубела. Рыжая щетина напоминала пожухлый кустарник на болотистом берегу. В иные дни он запирался с Фелиситой в кабинете и в отчаянии целовал ее густые волосы — не со страстью любовника, а с тоскою отца, знающего, что дочь его смертельно больна и нет для нее спасения.

Эти отеческие рыдания еще больше расстраивали Фелиситу. Наверно, несмотря на все неприятности, она продолжала любить Мелитона как мужчину. Она хотела бы — больше, чем когда-либо — опереться на человека сильного и властного, каким она знала Мелитона, когда он ее соблазнил. Перемена в характере комиссара усиливала в ней чувство стыда. Жалобный плач Мелитона говорил ей, что как любовника она его потеряла. Погибало ее дитя, погибала она сама. Ей было бы легче, если бы Мелитон оскорблял и бил ее, пьяный, обезумевший от страха. Тогда бы она, по крайней мере, забывала о своем горе — физическая боль заглушала бы боль душевную.

— Не плачь, Мелитон... Все образуется... — утешала она, глядя его нечесанные вихры.

Голос ее звучал жалобой и мольбой опустошенного сердца. Девочка не пыталась успокоить любимого — ему нечего было ждать от будущего, — а только хотела отвлечь его, убаюкать своими тихими речами. И убаюкать себя. Как-нибудь скрыть постыдную необходимость ждать без надежды. В борьбе испорченности с наивностью верх взяла последняя, но ценой гибели чистого существа.

ХІІІ

В одну ветреную безлунную ночь Мелитон увез ее. Беглецы обогнули деревню окольную тропкой.

Одна лишь Брихида видела две тени, скрывшиеся во мраке.

Пропавших не было несколько дней. Сначала думали, что Мелитон похитил девочку силой. Люди, ободренные окончанием войны и исчезновением политического комиссара, стали судить да рядить. Это уже не был потаенный шепот прежних дней. Теперь лица горели гневом, а с губ срывались громкие возгласы.

— Этот паскудник больше не вернется! Спрятал Фелиситу и удрал от мести близнецов! — говорил в рыночной толпе старик Аполинарио.

— Но братья Гойбуру не простят ему позора сестры! Они землю и небо перевернут, но его отыщут! — возразил кто-то.

— Разве что за границу удерет!

— Далеко ему не уйти, — сказал Аполинарио. — У него в груди уже не сердце, а тряпка. Но даже укройся он на краю света — близнецы и там его найдут. Страх оставляет следы. Братья Гойбуру отомстят, небо и землю перевернут, а отомстят.

— Не забудьте про Крисанто Вильяльбу... И про всех остальных! — сказала одна старушонка.

— Бедный Мелитон Исаси! Не хотел бы я быть в его шкуре!

— Но он хитер, подлец. Может еще и сам их подстеречь...

— Уж если смерть не подстерегла их в Чако, этому трусу с ними не совладать...

ХІV

На холме Каровени бабка Фелиситы молилась и горевала о пропавшей внучке, хоть и не знала о ее судьбе, о ее беременности. От Фелиситы не было ни слуху ни духу, а тут как раз близнецов ждали с часа на час. Мария-Роса, сторожившая Христа на холмике, приходила утешать соседку. Слепая в отчаянии жаловалась:

— Как только господь допустил такую напасть!

— Господь шлет одни беды, нья Эмеренсиана... — сказала Мария Роса. — Если бы людям и счастье выпадало, о нем бы и думать позабыли...

— Я потеряла внучку, Мария Роса! Тебе этого не понять! — Из слепых глаз струились слезы, а с губ текли слова на языке гуарани, на котором она только и могла говорить в своем несчастье.

— А я потеряла дочь... — пробормотала безумная, чья черная прядь вот уже четверть века украшала прокаженного Христа. Теперь волосы у нее были седые и секлись, но в глазах горела былая одержимость, сиял отсвет созерцаемого ею нетленного лика единственного утешителя в юдоли слез.

— Вот-вот приедут близнецы... а Филиситы нету!

— Да, здесь ее нет...

— Раньше я хоть могла ее потрогать! А теперь и такой малости нет!

— Как же вы хотите, чтобы люди оставались живыми, когда их распинают на кресте... — сказала помешанная. Лицо у нее было пепельно-серое, но в сухих глазах, как тлеющая головешка в золе, светилась давняя страсть.

— Я не слышу тебя, Мария Роса... — моргнув, пожаловалась слепая.

— Фелисита ушла со своим крестом...

— Бедняжка моя, сердечная! Совсем девочка! Приедут братья и не найдут ее! Они света неувидят!

— Но они увидят вашу ярость...

— Столько воевать, и ради чего! Спаслись от смерти, а здесь их ждет позор, он хуже смерти!

— Христос из Тула-Рапе поможет им советом... Гаспара Мору он утешил в смертный час... — Только две эти фразы Мария Роса сказала по-испански.

— Не станут они ему молиться, Мария Роса! — посетовала старуха. — Никогда в него не верили! И отец не верил. Когда бык вспорол брюхо Никанору, несчастный этого Христа проклял! Никанор, а вслед за ним и близнецы говорили, что этот Христос — несчастье деревни, потому как научил крестьян смирению...

— Ну тогда... — Безумная не договорила, и взгляд ее угас. Сгорбленная от старости, она поплелась к покосившейся хижине среди кокосовых пальм.

Одной лишь Марии Росе довелось увидеть, будто во сне, возвращение Мелитона Исаси. Она пошла в лес на горе —

за дровами — и увидела комиссара. Он ехал один, не разбирая дороги, точно спал в седле. Безумная поискала глазами Фелиситу, но той нигде не было. По крайней мере Мария Роса ее не увидела. Зато увидела, как на повороте дороги две одинаковые тени метнулись к всаднику и спешили его, накинув лассо. Но сумасшедшей никто не верил, все знали, что у нее бывают такие галлюцинации. Она сама их быстро забывала. Наверное, и в тот день ей что-то померещилось со страху, протерла глаза — и видение пропало, только и всего. Как бывало и прежде. Никакому сну не дано было затмить старый сладостный кошмар. Сама действительность отступала перед ним, сдавалась, побежденная.

XV

Сестра Микаэла влетела к Брихиде с новостью.

— Приехали близнецы! — заплетающимся языком говорила она.

— Кто?

— Братья Гойбуру!..

— Боже мой! — слабым голосом молвила Брихида, зажимая ладонью рот.

— Им устроили такую встречу! Вся деревня собралась у станции!..

Были слышны, как треск ракет, здравицы и возгласы «ура!» — в честь вновь прибывших, а вскоре раздались удары по рельсу в школе.

— Не знаю, что с нами будет! — причитала старуха. — Что будет со мной, нья Брихида, что будет со мной! Дьявол меня попутал, взяла грех на душу... Я сделала это для вас и для дона Мелитона. А теперь его нет как нет! Куда же он пропал?.. — Старуха шагала от двери к оконцу, припадая на ногу, как курица в курятнике, почуявшая хорька. Грозная тень двух братьев падала на старуху, загоняя ее в самые темные углы.

Брихида, неподвижно застывшая посреди комнаты, безучастно смотрела на метавшуюся сестру Микаэлу. Она смотрела сквозь нее расширенными и остекленевшими глазами, прикрывая рот решеткой дрожащих костлявых пальцев. Привязанные к поясу сестры Микаэлы деревянные четки глухо постукивали. Брихида отняла руки ото рта и сложила на впадом животе.

— Сон!.. — пробормотала она. — Сбывается вещий сон!

Сестра Микаэла подошла к ней, положила руку ей на плечо и вперила в нее умоляющий взгляд:

— Остается только одно, нья Брихида... Надо пойти и дать обет Христу из Тупа-Рапе. Только он может нам помочь. Вы должны обратиться к нему.

— Я...

— Знаю, вы в него не веруете, — проворчала старуха. — Вот уже два года живете в Итапе и ни разу к нему не наведались. Даже в крестный ход на страстную пятницу... А ведь он чудотворец! Творил самые небывалые чудеса. Кого только он не вызволил из беды с тех пор, как его поставили на холмике... С того дня, как освятил его паи Маис... Послушайте меня, нья Брихида... Напрасно вы в него не веруете...

— Я верю...

— Тогда за чем остановка?

— Да, я пойду, — выдавила наконец Брихида; надежда, потребность обратиться за помощью к кому-то более сильному зажгли свет в потускневших зрачках.

— Я пойду с вами. Накиньте покрывало, и в путь.

— Нет, еще не сейчас, сестра Микаэла...

— Да ведь надо спешить!..

— Если сегодня ночью они не появятся, пойдем завтра под вечер...

— Зачем ждать вечера?

Брихида помедлила с ответом. Потупила взор. Наконец униженно открыла свою тайну:

— Не хочу, чтобы на меня пялились!.. Меня ненавидят. Я эту ненависть чувствую... Из-за нее и не выхожу из дому...

— Вы никому не делаете зла. Никто о вас дурно не говорит.

— Меня ненавидят, и поделом. Я сама себя ненавижу.

— Это все ваши выдумки! — Сестра Микаэла сжала руку Брихиды, как бы ободряя.

— Нет, не выдумки...

— Стало быть, идем завтра на холм?

— Да...

— Я зайду за вами, пойдем вместе.

— Да наградит вас господь, сестра Микаэла...

— Но сегодня ночью будьте начеку, — сурово произнесла старуха тоном прорицательницы. — С них станется

напасть на комиссариат... На вашем месте я позвала бы солдат.

— Комиссар — Мелитон. А его нет.

— То-то и оно! — вскипела старуха. — Если хотите, я по дороге предупрежу солдат, скажу, что им надо делать.

— Не нужно. Они тут ни при чем.

— Поддерживать порядок — их обязанность.

Брихида поглядела на старуху с тем же стыдом и смущением, что минуту назад, но промолчала. Не хотела или не могла больше говорить.

— Значит, до скорого, нья Брихида. Я сейчас загляну на минутку в церковь. Завтра начинается новена. Ухожу. Господь спаси и помилуй! Лишь бы ничего дурного не стряслось!

Она закуталась в табачного цвета покрывало и ушла, шаркая туфлями. Стук четок замолк в конце коридора. Брихида медленно подошла к отверстию в ставне. Сестра Микаэла отчитывала полицейских — бездельники сидели на скамье возле комиссариата и потягивали терере. Брихида услышала, как старуха говорит:

— Вам, видать, вольготно живется! Ни стыда ни совести у вас нет!..

Полицейские неохотно зашевелились. Некоторые поднялись, расправляя спину и потягиваясь.

— Нья Брихида приказывает вам, от имени сеньора комиссара, зарядить карабины и нести караул все время, пока не прибудет дон Мелитон. Понятно?

— Слушаюсь! — озорно крикнул один парень, подмигивая остальным.

Человек пять новобранцев оживились и задвигались, довольные шуткой.

— Приехали Гойбуру и могут обстрелять комиссариат.

— Стрелять им, поди, в Чако надоело, — сказал долговязый нескладный детина.

— Здесь другое дело. И если они придут и откроют огонь, за вашу шкуру никто и медного гроша не даст. Солдаты беззаботно рассмеялись.

— Делайте, что вам велят. И стерегите дом нья Брихиды.

— Слушаюсь, господин сержант! — отозвался долговязый, преувеличенно громко щелкнув каблуками.

Старуха ушла, бормоча что-то себе под нос.

Брихида, уже одетая, ждала сестру Микаэлу. Она надела самое скромное платье. Ждала и ждала, все больше волнуясь. Жаркий тихий день тянулся бесконечно, тая смутную угрозу. Брихида подходила к отверстию в ставне и смотрела на улицу. Солнце склонялось к западу, и свет на запертой двери конторы становился все бледнее, пока не сделался фиолетовым, как в те часы, когда Фелисита уединялась там с Мелитоном. Старый покоробленный башмак валялся в траве на обочине. Вьющиеся розы на глинобитной ограде совсем засохли. В окне комиссариата поблескивали черные стволы винтовок. Среди апельсиновых деревьев патио завели свою вечернюю песнь цикады.

Сестры Микаэлы все не было.

Закатное золото вечера скоро сменилось багрянцем. В отверстие проникали теплые испарения земли; без умолку трещали цикады.

Вместе с солнечным светом угасало и нетерпение Брихиды. Она успокоилась — то был покой, который приходит с сознанием полной беспомощности. Подождала еще немного. Поняв наконец, что старуха не придет, она накинула черное покрывало и вышла через дверцу огорода. Обогнула селенье по той тропке, где проехал Мелитон в ту ночь, когда увез Фелиситу. Потом вышла на дорогу и направилась к холму. Покрывало, сумерки и дорожная пыль скрывали ее лицо, превращали в безвестную путницу, которая шла, понурив голову. Если бы не лай собак, временами чуживших запах человека, ничто не выдавало бы ее, словно она была бесплотной тенью, одним из тех призраков, что мерещатся порой на безлюдной дороге в сумеречном вихре пыли.

На полдороге она столкнулась с безумной из Каровени; Мария Роса тащила свою вязанку хвороста — пепельно-серые волосы, тускло мерцающие глаза... Женщины посмотрели друг на друга. Безумная остановилась. Подняла руку, будто хотела о чем-то предупредить, но ни слова не вымолвила. В ее пристальном взгляде было что-то злое.

Мысли Брихиды были далеко от помешанной, далеко даже от нее самой. Но все же она смутно почувствовала, что Мария Роса в каком-то смысле выше нее. Она готова была позавидовать ее безумию. Брихида не представляла себе, какой голос у хранительницы изображения Христа; не

поняла она и предостерегающего жеста, который безумная повторила. А может, это было просто приветствие?

Глаза Марии Росы, в которых на мгновение зажегся таинственный огонек, снова потухли. На сгорбленной спине опять затрещала вязанка — помешанная тронулась в путь. Брихида слышала позади себя надтреснутый голос, напевающий на гуарани строфу из Гимна павшим:

— *Мне надо сделать так, чтобы кости вновь обрели голос...*

Когда Брихида поднялась на вершину холма, уже почти стемнело. В воздухе летали белые бабочки, слышалось мирное журчание ручья. Небо было палевое. Бархатистая тень мягко окутывала предметы.

Женщина провела ладонью по лицу и стала подниматься в гору, вдавливая в землю каблуки. Холмик будто наклонился ей навстречу, чтобы помочь взобраться. Только один раз взглянула она наверх. Хижина Христа тоже уже потонула в полутьме, но последний отсвет заката еще теплился на ней.

Брихида вышла на площадку, утопанную и гладкую, как паперть. Смятение вновь охватило ее. Она не смела взглянуть на Христа. Ведь она пришла сюда впервые. И пришла не как простая женщина из деревни, но как тать в ночи. Пришла не для того, чтобы поклониться богу, а чтобы просить благодеяния. Преклонив колени перед соломенным навесом, она прошептала, обращаясь к распятию:

— *Знай же теперь!.. Я хочу одного — чтобы он вернулся! Верни мне его, молю!*

Она достала четки. В ее руке сверкнул маленький металлический крестик. Она поцеловала его и начала молиться.

Снова подойдя к кресту, она почувствовала, что сомкнулся некий круг и что она внутри этого круга, подобного кругу света. Она еще не знала, был ли то круг спасения или неотвратимой гибели. Но успокоилась. По крайней мере исчез стыд.

Она снова поцеловала крестик и подняла взор на Христа. Не сразу, мало-помалу. Не с гордой решимостью, но с кроткой нежностью, с чувством слабости и беззащитности, какое испытывала она, когда муж заставлял ее почувствовать свою власть то презрительным молчанием, то скверной руганью и побоями. Под его ударами она чувствовала все же робкое, мучительное счастье, единственное, какое выпало ей на долю, ибо тогда их все же нечто объеди-

няло. Но вдруг она заморгала, удивленная. Не хотела, не могла поверить тому, что различили ее глаза, привыкшие к темноте. На Христе были сапоги. Инстинктивно провела она тыльной стороной ладони по глазам, и острый крестик, висевший на шнурке зажатых в руке **четок**, оцарапал ей веко. Не вставая с колен, она еще выше подняла глаза и увидела, что на Христе — одежда и что одежда эта окровавлена. И вдруг ее осенило, что это Мелитон привязан петлями лассо к большому черному кресту. Голова его безжизненно свесилась. Из-под кровавой маски на Брихиду глядели большие желтые зрачки, впервые, по воле смерти, принявшие спокойное, человеческое выражение.

Молния скорби еще не спалила ее дотла.

Она вскочила и подошла вплотную к кресту. Дрожа, прижалась влажной щекой к подошвам сапог. И узнала эти сапоги. Лишь тогда тревожное ее молчание сменилось воплем, и она кинулась опрометью бежать.

На краю склона нога у нее подвернулась, и она упала. Она споткнулась о деревянного Христа, выброшенного в траву как ненужный хлам. Потом женщина вновь покати-лась по каменистому откосу, пока тело ее не застряло в колючем кустарнике возле ручья.

Хулио Кортасар

(Род. в 1914 г.)

Аргентина

Хулио Кортасар — известный аргентинский писатель, родился в Брюсселе в семье дипломата, учился в университете Буэнос-Айреса, участвовал в антиперонистском движении, с 1951 года живет за границей, в основном в Париже.

Первые книги вышли в конце 40-х — начале 50-х годов. Ему принадлежат многочисленные сборники рассказов, а также ряд романов, последний — «Книга Мануэля» (1973).

Хулио Кортасар — один из наиболее значительных и оригинальных мастеров современного рассказа. Его новеллистика развивает в основном то направление латиноамериканской литературы, для которого характерно обращение к условным формам, к фантастике. Главная тема Кортасара — кризис буржуазного общества, необходимость радикального обновления мира.

© Julio Cortazar. Alguien, que anda por ahí. Barcelona, «Bruguera», 1978.

АПОКАЛИПСИС В СОЛЕНТИНАМЕ

«Тико» — они «тико» и есть, с виду тихони, но каждый раз какой-нибудь сюрприз, — приземляешься в их коста-тикориканской столице Сан-Хосе, и там тебя встречают Кармен Наранхо с Самуэлем Ровинским и Серхио Рамирес (он из Никарагуа и не «тико», хотя какая, в сущности, разница, ей-богу, между мной, аргентинцем, который мог бы по-свойски называть себя «тино», и любым из «ника» или «тико»). Стояла невероятная жара, и все бы ничего, но тут же — с корабля на бал — содеялась пресс-конференция по старому шаблону: почему не живешь на родине, как получилось, что «Blow-up»¹ так отличается от твоего рассказа, считаешь ли ты, что писатель должен быть непременно ангажированным? Я давно уже догадываюсь, что последнее интервью мне устроят у дверей ада, и вопросы будут точно

¹ Фильм «Blow-up» («Укрупнение») был снят итальянским кинорежиссером Микеланджело Антониони по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола».

такими же, интервьюируй меня хоть сам святой Петр: не кажется ли вам, что там, внизу, вы писали слишком сложно для *нарродда*?

Потом — отель «Европа» и душ, так славно венчающий путешествия неспешной беседой мыла и тишины. А в семь часов, когда пришла пора прогуляться по городу, чтобы удостовериться, действительно ли он такой простой и домашний, как мне об этом рассказывали, — чья-то рука ухватила меня за пиджак, оглядываюсь, а это Эрнесто Карденаль, — и я кричу ему: дай мне тебя обнять, дружище поэт, вот здорово, что я вижу тебя здесь после римской встречи, после стольких встреч на бумаге все эти годы! Всякий раз меня потрясает, всякий раз волнует, когда кто-нибудь разыскивает меня, вроде Эрнесто, чтобы повидаться, и если кто скажет, будто я млею от ложной скромности, я отвечу: шакал воет, автобус идет, — нет уж, видно, мне так и суждено остаться щенком, который признательно поедает глазами тех, кто, оказываясь, любит его, — все это выше моего разума, так что — точка и абзац.

Что касается абзаца, то Эрнесто знал, что я должен прибыть в Коста-Рику и все такое, — вот он и прилетел на самолете со своего острова Солентинаме, потому что птичка, которая приносит ему в клюве новости, ввела его в курс дел насчет того, что «тико» готовят мою поездку на остров, и он не мог отказать от желания загодя разыскать меня, — так что два дня спустя все мы, Серхио, Оскар, Эрнесто и я, перегрузили собой и без того перегруженный объем одного из самолетиков компании «Пайпер Ацтек», чье название навсегда останется для меня загадкой, — переменяя икоту зловещим урчанием, он все же летел, ведомый белобрысым пилотом, который ловил по радио ускользающие ритмы калипсо и, казалось, был совершенно безразличен к тому, что «Ацтек» волок нас прямехонько на пирамиду жертвоприношений. Конечно, все обошлось, и мы приземлились в Лос-Чилес, откуда аналогично подпрыгивающий джип доставил нас в загородный дом поэта Хосе Коронеля Уртечо, заслуживающего, чтобы его читали гораздо больше, — здесь мы отдохнули, беседуя о многих наших друзьях-поэтах, о Роке Дальтоне, Гертруде Стайн и Карлосе Мартинесе Ривасе, пока не пришел Луис Коронель и мы не двинули к озеру Никарагуа, — сперва мчались на его джипе, а затем на его скоростном катере. Но сперва сфотографировались на память с помощью самоновейшей камеры, которая скромненько выделяет голубоватую

бумажонку, где мало-помалу и неизвестно каким чудесным и полароидным способом материализуются ленивые образы, сперва в виде тревожащих душу привидений, постепенно обнаруживая нос, вьющиеся волосы и улыбку Эрнесто с его христовой головной повязкой, донью Марию и дона Иосифа, выплывающих вместе с контуром веранды. Для них это было в порядке вещей, они-то привыкли сниматься подобной камерой, но для меня все это было внове, — появление из ничего, из квадратненького голубого небытия лиц и прощальных улыбок привело меня в изумление, и я им сознался в этом, — помнится, я спросил у Оскара, что произошло бы, если как-нибудь, вслед за семейной фотографией, пустая квадратная голубизна разродилась бы Наполеоном на лошади, — дон Хосе Коронель по обыкновению расхохотался, а там — джип, и мы отправились к озеру.

На остров добрались к ночи, нас встретили Тереса, Вильям, один соединенноштатский поэт и ребята из общины¹; почти тут же отправились спать, но прежде мне попались на глаза картинки, — Эрнесто беседовал со своими, доставая из мешка продукты и подарки, привезенные из Сан-Хосе, кое-кто спал в гамаке, — а я увидел картинки и стал их разглядывать. Кто-то, сейчас не помню кто, объяснил мне, что это работы местных крестьян: вот это нарисовал Висенте, это — Рамона, некоторые картинки были подписаны, другие — без подписи, но все — на диво хороши, — наивное открытие мира, бесхитростный взгляд Адама и Евы, воспевающих все, что их окружает: крошечные коровы на маковых лугах, белоснежная хижина, из которой, подобно муравьям, высыпают люди, лошадь с зелеными глазами на фоне сахарного тростника, крещение в церкви, лишенной какой-либо перспективы, так что она одновременно и взмывает, и рушится, озеро с похожими на башмаки лодками, а на заднем плане — огромная рыба, которая улыбается, раздвинув бирюзового цвета губы. Эрнесто стал объяснять, что продажа картинок помогает двигать дальше их дело, утром он покажет мне работы из камня и дерева и скульптуры, сделанные крестьянами, — все стали укладываться спать, но я все еще перебирал картинки, наваленные в углу, — целые колоды пестрых лоскутьев с коровами и цветами, с матерью, стоящей на

¹ Община на острове Солентинаме была организована в 1956 г. и разгромлена солдатами национальной гвардии Сомосы в 1977 г.

коленях рядом с двумя детьми, одетыми в белое и красное, под небом, усыпанным столькими звездами, что единственная туча испуганно жалась в сторонке, у самого края рисунка, наполовину выехав за его пределы.

На следующий день было воскресенье с мессой в одиннадцать утра, чисто солентинамейской мессой, во время которой крестьяне, вместе с Эрнесто и гостями, обсуждали очередную главу Евангелия, — темой этого дня был арест Христа в Гефсиманском саду, — обитатели острова говорили об этом так, словно речь шла о них самих и о вечных опасностях, которые их окружают ночью и днем, о постоянной неопределенности этой жизни, будь то на островах, или на суше, или во всей Никарагуа, и не только во всей Никарагуа, а и почти во всей Латинской Америке, — о жизни под страхом смерти, о жизни в Гватемале и о жизни в Сальвадоре, о жизни в Аргентине и в Боливии, о жизни в Чили и в Санто-Доминго, о жизни в Парагвае, о жизни в Бразилии и Колумбии.

А потом надо было подумать о возвращении, и я снова вспомнил о картинках, пошел в зал общины и стал вглядываться в яростные акриловые и масляные краски, усиленные безумным полуденным светом, растворяясь во всех этих лошадках, подсолнухах, гуляниях на лугу и симметричных пальмах. Я вспомнил, что моя камера заряжена диапозитивной пленкой, и вышел на веранду с охапкой картинок под мышкой, — подошедший Серхио помог разложить и расправить их на свету, и я стал щелкать подряд, старательно кадрируя каждую картинку таким образом, чтобы она заняла все пространство в видоискателе. Если уж везет, так везет: число оставшихся кадров соответствовало числу картинок, ни одна не осталась в обиде, и когда пришел Эрнесто с вестью о том, что катер готов отчалить, я рассказал ему о съемке, и он стал смеяться: чертов похититель картин, воришка чужих образов. Смейся, смейся, ответил я ему, я увожу их, все до одной, — дома, на экране, они будут побольше этих и куда живописнее, — что, заткнулся?

Я вернулся в Сан-Хосе, потом побывал в Гаване, где занимался кое-какими делами, и возвратился в Париж усталым и тоскующим, — милая моя тихоня Клодин ждала меня в Орли, снова, как ручные часы, затикала жизнь, «merci, monsieur», «bonjour, madame», комитеты, кино, красное вино и Клодин, квартеты Моцарта и Клодин. Раздувшиеся жабы чемоданов, помимо прочих вещей, изрыг-

нули на кровать и ковер журналы, газетные вырезки, платки, книги центральноамериканских поэтов и серые пластиковые футляры с фотопленкой, отснятой на протяжении этих бесконечных двух месяцев, — школа имени Ленина в Гаване, улочки Тринидада, профили вулкана Ирасу и его каменистая лохань с булькающей зеленой водой, где Самуэль, я и Сарита ходили на вареных уток, плавающих в облаке серного пара. Клодин отнесла пленки в проявку, — как-то под вечер, проходя по Латинскому кварталу, я вспомнил о них, и так как квитанция была при мне, я забрал их, — восемь коробочек с готовыми слайдами, — и тут же подумал о солентинамейских кадрах; придя домой, я открыл коробочки и стал просматривать первые диапозитивы каждой серии, — я вспомнил, что прежде, чем фотографировать картинки, я использовал несколько кадров, снимая мессу Эрнесто, играющих среди пальм детей, точь-в-точь как на картинках, пальмы и коров на фоне ослепительно синего неба и чуть зеленоватого озера, а возможно, и наоборот, — все чуточку забылось. Я заправил в барабан проектора слайды с детьми и мессой, зная, что тут же вслед пойдут картинки, — до самого конца серии.

Смеркалось, я был один, — с работы Клодин должна была пойти на концерт музыки, — я наладил экран и стакан рома с доброй порцией льда, подсоединил к проектору дистанционное управление с кнопкой, не нужно было задерживать шторы: услужливая ночь уже плыла по комнатам, оживляя бра и благоухание рома, — было приятно предвкушать, что вот сейчас все снова возникнет, после солентинамейских картинок я заправлю барабан кубинскими слайдами, — но почему картинки сначала, почему рукодельное преобразование жизни, выдумка прежде, чем сама жизнь, — а почему бы и нет, — ответил один из близнецов другому, продолжая вечный упрямый диалог, дружескую и язвительную перебранку, — почему не посмотреть сперва картинки с Солентинаме — ведь это тоже жизнь, разве все — не одно и то же?

Прошли слайды с мессой, довольно неудачные из-за ошибок в экспозиции, — а вот дети, наоборот, играли очень четко и в хорошем освещении, зубы у них были белые-пребелые. Каждый раз я медлил нажимать на кнопку, готовый до бесконечности разглядывать эти фото, прикипевшие к воспоминаниям, — маленький хрупкий мир Солентинаме, окруженный водой и жандармами, как окружен ими этот мальчик, на которого я смотрел, ничего не пони-

мая, — я нажал на кнопку, а мальчик возник на втором плане, как живой, — широкое гладкое лицо с выражением удивленного недоверия в то время, как его осевшее тело падало вперед, а на лбу четко обозначилась дыра, — револьвер офицера все еще прослеживал полет пули, а рядом другие, с автоматами, на сдернутом фоне домов и деревьев.

Первые мысли всегда торопливее истинного смысла, который топчется позади, — я подумал: вот идиоты в этой фотолаборатории — отдали мне слайды другого клиента, но как же тогда месса и играющие на лужайке дети, — как же с этим? Пальцы не слушались, но я снова нажал на кнопку и увидел бескрайнюю селитряную равнину с несколькими постройками, крытыми заржавленной жестью, полдень, а левее сгрудились люди, смотревшие на простертые навзничь тела с руками, широко раскинутыми под голым серым небом, — надо было взглянуть хорошенько, чтобы различить чуть поодаль людей в военной форме, удалявшихся по направлению к джипу, ожидавшему их на вершине холма.

Помню, я пошел дальше: во всем этом абсурде, который никак не укладывался в сознании, — что еще оставалось, как не нажимать на кнопку, — и я увидел, как на углу Корьентес и Сан-Мартина застыла черная машина с четырьмя типами, которые целятся в сторону ограды, а там мечется фигура в белой рубаше и сандалиях, две женщины пытаются укрыться за стоящим грузовиком, лицо, повернутое к камере, с выражением растерянности и ужаса, рука, скользящая к подбородку, словно для того, чтобы потрогать себя и удостовериться, что жизнь еще не ушла, и внезапно — какая-то полутемная комната, грязный свет, падающий из зарешеченного под потолком окошка, стол, и на нем совсем голая девушка, лицом вверх, волосы почти касаются пола, а стоящий спиной призрак тычет в раскинутые ноги электрическим проводом, два субъекта, лицом ко мне, переговариваются о чем-то, — синий галстук и зеленый свитер. Не знаю, нажимал ли я на кнопку, — но только увидел поляну, хижину под соломенной крышей и деревья на переднем плане, и у ствола ближайшего дерева — худого парня, глядящего влево на смутно различимую группу людей, — пять или шесть человек, стоящих плечом к плечу, целятся в него из винтовок и пистолетов, — парень, с удлинненным лицом и спадающей на смуглый лоб прядью, смотрит на них, одна рука чуть поднята, а другая, скорее всего, в кармане брюк, — казалось, он что-то говорит им, не

торопясь и как-то неохотно, и хотя фото было плохим, я почувствовал и поверил, что парень этот — Роке Дальтон, и тогда уж я надавил на кнопку, словно мог спасти его от позора этой смерти, — и тут же успел увидеть автомобиль, разлетающийся на куски в самом центре города, похожего на Буэнос-Айрес или Сан-Пауло, — снова и снова я нажимал на кнопку, отшатываясь от шквала окровавленных лиц, кусков человеческого мяса и лавины женщин и детей, бегущих по откосам Боливии или Гватемалы, — неожиданно на экране возникло ртутное мерцание, пустота и профиль Клодин, которая тихонько входила, отбросив на экран тень перед тем, как наклониться и поцеловать меня в волосы и спросить — хороши ли слайды, доволен ли я ими, не хочу ли их ей показать?

Я открутил барабан и поставил его на нулевую отметку, — иногда не ведаешь, как и почему совершаешь действия, когда преступаешь порог неведомого. Не глядя на нее, потому что она бы поняла или просто испугалась того, чем стало мое лицо, и ничего не объясняя, так как мое тело от горла до пальцев ног словно завязалось в узел, — я встал и как ни в чем не бывало усадил ее в свое кресло и вроде бы что-то сказал насчет того, что пойду приготовить ей что-нибудь выпить, а она может поглядеть, да, может поглядеть, пока я принесу ей что-нибудь выпить. В ванной меня то ли стошнило, то ли я просто заплакал, а стошнило меня потом, или ничего этого не было, и я сидел на краю ванны, выгадывая время, пока не почувствовал, что могу пойти на кухню и приготовить для Клодин ее любимую смесь, положить побольше льда и потом услышать тишину, поняв, что Клодин не кричит и не бежит ко мне с расспросами, — просто тишину и слащавенькое болеро, еле слышно доносившееся от соседей. Не знаю, как долго я шел по коридору из кухни в комнату, где как раз увидел с изнанки экрана, что Клодин дошла до конца, — комната озарилась мгновенным ртутным мерцанием, а потом сумерки, Клодин выключила проектор и откинулась в кресле, чтобы принять из моих рук стакан и медленно улыбнуться, зажмурившись, как котенок, от удовольствия и покоя.

— Ты чудесно все это снял, особенно рыбу, которая смеется, мать с двумя детьми и коров на лугу. Послушай, а крещение в церкви — кто нарисовал, там не видно подписи?

Сидя на полу, не глядя на нее, я нашел свой стакан и осушил его залпом. Я ничего ей не ответил — что я мог ей

сказать, — помню только, я лениво подумал: что, если задать ей этот идиотский вопрос, спросить, — не видела ли она в какой-то момент фотографию Наполеона на лошади? Ничего такого я не спросил, конечно.

В ИНОМ СВЕТЕ

По четвергам репетиции на «Радио Бельграно» заканчивались поздно вечером, после чего Лемос обычно зазывал меня к себе и, угощая «Чинзано», строил планы будущих постановок, а я должен был выслушивать все это, мечтая поскорей выбраться на улицу и век не вспоминать о радио-театре. Но Лемос был модным автором и хорошо платил за то немногое, к чему сводилось мое участие в его программах, где я исполнял второстепенные и, как правило, малопривлекательные роли. Голос у тебя что надо, хвалил Лемос, радиослушатель начинает испытывать ненависть после первой же твоей реплики, и, в сущности, не обязательно, чтобы ты предавал кого-нибудь или травил стрихнином собственную мать: стоит тебе раскрыть рот, как половина Аргентины уже мечтает поджарить тебя на медленном огне.

Лусиана к этой половине не принадлежала. Как раз в тот день, когда наш премьер Хорхе Фуэнтес получил после заключительной передачи по «Розам бесчестья» две корзины любовных писем и белого барашка, присланного некой романтической помещицей из Тандиля, малыш Мацца вручил мне первый лиловый конверт от Лусианы. Привыкший к пустословию в стольких его проявлениях, я сунул конверт в карман и спустился в кафе вместе с Хуаресом Сельманом и Оливе (после триумфа «Роз» у нас выдалась неделя передышки, а затем мы приступали к «Птице, застигнутой бурей»). Нам принесли уже по второму «мартини», когда я внезапно вспомнил о лиловом конверте и сообразил, что не прочел самого письма. Мне не хотелось распечатывать его при всех, ведь от скуки люди рады прицепиться к чему угодно, а уж лиловый конверт — это просто золотая жила. Поэтому я сначала вернулся домой, к моей кошке, — ее, по крайней мере, такие вещи не интересовали, — выдал ей молока и ежедневную порцию ласк и лишь после этого узнал о существовании Лусианы.

Мне не нужна ваша фотография, писала Лусиана, и неважно, что «Симфония» и «Антенна» печатают портре-

ты Мигеса и Хорхе Фуэнтеса, ваши же — никогда, зато со мной всегда ваш голос. Мне неважно, что все относится к вам с антипатией и презрением, потому что ваши роли обманывают всех, — напротив, это вселяет в меня надежду на то, что я единственная, кто знает правду: вы страдаете, когда исполняете такие роли, вы вкладываете в них свой талант, но я чувствую, что вы не раскрываетесь до конца, как Мигес или Ракелита Байлей, ведь вы так непохожи на жестокого принца из «Роз бесчестья». Но люди все путают, они переносят свою ненависть с принца на вас, я уже поняла это по тете Поли и другим людям в прошлом году, когда вы играли Вассилиса, контрабандиста-убийцу. Сегодня мне как-то одиноко, вот и захотелось сказать вам это. Возможно, я не единственная, кто говорит вам об этом, и мне даже хочется, чтобы было именно так: хочется знать, что и у вас, несмотря ни на что, есть поклонники. И в то же время мне хотелось бы быть той единственной, кто способен разглядеть, что скрывается за вашими ролями, за вашим голосом, кто уверен в том, что знает вас настоящего, кто восхищается вами больше, чем теми, кому всегда достаются хорошие роли. Это как с Шекспиром, я никогда никому об этом не говорила, но когда вы сыграли Яго, он стал мне нравиться больше, чем Отелло. Не считайте себя обязанным ответить мне, указывая мой адрес на случай, если вы и в самом деле захотите написать, но я и без того буду чувствовать себя счастливой от одной мысли, что высказала вам все это.

Вечерело, почерк был размашист и стремителен, кошка спала на диванной подушке, наигравшись с лиловым конвертом. Со времени безвозвратного исчезновения Бруны в моем доме уже не готовили ужин, мы с кошкой обходились консервами, правда, мне полагались еще коньяк и трубка. В дни отдыха (перед началом работы над ролью в «Птице, застигнутой бурей») я еще раз перечитал письмо Лусианы, вовсе не думая отвечать, потому что я как-никак актер, хотя мне и пишут в три года раз. Уважаемая Лусиана, писал я ей в пятницу вечером перед уходом в кино, меня глубоко взволновали ваши слова, и это не вежливая фраза. Какая там вежливая фраза, я писал так, будто эта женщина, которую я воображал себе миниатюрной, с каштановыми волосами и грустными светлыми глазами, сидела напротив меня, а я говорил, как меня взволновали ее слова. Остальная часть вышла более формальной, я не знал, что еще можно сказать после слов правды, надо было чем-то заполнить страницу, две-три фразы с выражением симпа-

тии и благодарности, ваш друг Тито Балькарсель. Еще одна правдивая строчка содержалась в постскриптуме: рад, что вы сообщили мне свой адрес, было бы очень грустно, если бы я не имел возможности написать вам о своих чувствах.

Никто не любит признаваться в том, что без работы человек начинает в конце концов скучать, по крайней мере, такой человек, как я. В юности у меня хватало любовных приключений, и когда выдавалось свободное время, я мог заняться проверкой расставленных ловушек и почти всегда уходил с добычей. А потом появилась Бруна, и это продолжалось четыре года, ну а в тридцать пять жизнь в Буэнос-Айресе начинает блекнуть и как-то сужается, во всяком случае для того, кто живет один со своей кошкой и не большой любитель чтения или долгих прогулок. Не то чтобы я чувствовал себя старым, наоборот, — казалось, что все остальные, в том числе и вещи, стареют и покрываются трещинами. Видимо, поэтому я предпочитаю вечерами сидеть дома, репетировать «Птицу, застигнутую бурей» наедине с кошкой, которая не сводит с меня глаз, и по-своему разделяться с этими неблагодарными ролями, доводя их до совершенства, делая их моими, а не Лемосовыми, преобразуя самые безобидные реплики в игру зеркал, в которых множатся и порочные, и притягательные черты персонажа. Таким образом, к моменту появления перед микрофоном все уже бывало предусмотрено — каждая запятая, каждая интонация, — чтобы радиослушатель проникся ко мне ненавистью не сразу, а постепенно (опять это был персонаж вполне сносный в начале, но по ходу действия обнаруживающий всю свою подлую сущность; в эпилоге, спасаясь от преследователей, он, к неописуемому восторгу слушателей, совершает эффектный прыжок в пропасть). Когда я, потянувшись за второй порцией мате, обнаружил письмо Лусианы, забытое на полке среди журналов, и от нечего делать перечитал его, я снова увидел ее, как наяву. У меня всегда было хорошо развито воображение, и я могу легко представить себе любую вещь. В первый раз Лусиана показалась мне маленького роста и примерно моих лет. Особенно четко видел я ее светлые до прозрачности глаза. При втором чтении этот образ не претерпел изменений; я снова представлял, как она обдумывает каждую фразу, прежде чем написать ее. В одном я был твердо убежден: Лусиана не из тех женщин, что вначале пишут на черновике, наверняка она долго колебалась, прежде чем села за письмо, но услышала меня в «Розах

бесчестья» — и нужные слова отыскиались сами собой. Чувствовалось, что письмо написано единым духом, и в то же время — возможно, из-за лиловой бумаги, — оно оставляло у меня ощущение старого вина, долго томившегося в бутылке.

Я легко воображал себе даже ее дом, стоило только прикрыть глаза. Он, конечно, был с крытым патио или по крайней мере с галереей, увитой изнутри растениями. Всякий раз, когда я думал о Лусиане, я представлял ее в одном и том же месте — на застекленной галерее, которая в конце концов совсем вытеснила патио. Ряды мелких цветных стекол и полупрозрачные занавески; просачиваясь сквозь них, уличный свет становится сероватым. Лусиана сидит в плетеном кресле и пишет мне письмо, вы так непохожи на жестокого принца из «Роз бесчестья», она грызет кончик ручки, перед тем как вывести очередную фразу, никто не подозревает этого, у вас такой талант, что люди ненавидят вас, каштановые волосы в свете, напоминающем старую фотографию, эти серовато-пепельные и в то же время чистые тона, мне хотелось бы быть единственной, кто способен разглядеть, что скрывается за вашими ролями, за вашим голосом.

Накануне первой передачи по «Птице» пришлось обежать с Лемосом и прочей компанией, мы репетировали отдельные сцены из числа тех, что Лемос называл ударными, а мы — бездарными. В них было и столкновение темпераментов, и драматические объяснения, а Ракелита Байлей блистала в роли Хосефины — надменной девицы, которую я постепенно опутываю сетями своего коварства, замышляя, как всегда, разные мерзости, по части которых Лемос был неистощим. Остальным роли тоже пришлось в самый раз, а в общем-то — никакой разницы между этим и восемнадцатью предыдущими радиоспектаклями, в которых мы участвовали. Если я запомнил эту репетицию, то только потому, что малыш Мацца принес мне второе письмо от Лусианы, и на этот раз мне захотелось сразу же прочесть его, для чего я на минутку отлучился в уборную, пока Анхелита и Хорхе Фуэнтес клялись друг другу в вечной любви на танцах в спортклубе «Химнасия и Эсгрима». Подобные места часто упоминались у Лемоса, что безумно нравилось постоянным слушателям, которые еще полнее могли отождествить себя с главными героями, — во всяком случае, по Лемосу и Фрейду все должно было обстоять именно так.

Я принял ее простое и трогательное предложение встретиться в кондитерской на Альмагро. За приглашением шло скучное перечисление деталей, по которым мы узнаем друг друга: она будет в красном, я же должен явиться со сложенной вчетверо газетой, — без этого, видимо, нельзя было обойтись. Но в остальном это была прежняя Лусиана, она опять писала мне на застекленной галерее, а поодаль сидела ее мать или, может быть, отец, с самого начала я видел какого-то пожилого человека рядом с ней в доме, где некогда жила большая семья, а ныне в пустующих комнатах поселилась печаль, — то была тоска матери по второй дочери, умершей или уехавшей неизвестно куда. Да-да, очень возможно, что их дом совсем недавно посетила смерть. Если вы не захотите или не сможете прийти, я пойму; мне не следовало, конечно, проявлять инициативу, но я ведь знаю, — писала она, как о чем-то само собой разумеющемся, — что такой человек, как вы, выше всяких предрассудков. И совершенно неожиданно добавляла, растрогав меня до глубины души: вы знаете обо мне только из этих двух писем, я же три года живу вашей жизнью и, слушая вас в очередной роли, понимаю, какой вы на самом деле. Я отделяю вас от театра, и вы для меня всегда один и тот же, какую бы маску ни надевали. (Это второе письмо где-то затерялось, но смысл был такой и слова тоже; первое же письмо, помнится, я засунул в роман Моравиа, который тогда читал; уверен, оно и по сей день лежит в этой книге, пылящейся на полке.)

Расскажи я обо всем этом Лемосу, у него наверняка родился бы замысел очередного опуса, кульминацией которого стала бы встреча, происходящая после многочисленных препятствий и отсрочек, причем юноша обнаружил бы, что Лусиана точь-в-точь такая, какой он ее себе воображал, и это доказывало бы, что любовь делает человека прозорливым, — сентенции такого рода всегда были в большом ходу на «Радио Бельграно». Однако Лусиана оказалась женщиной за тридцать (хотя, надо отдать ей должное, выглядела великолепно) и далеко не такой миниатюрной, как незнакомка, пишущая письма на галерее; у нее были роскошные черные волосы, которые, казалось, жили своей жизнью, особенно когда она вскидывала голову. О лице Лусианы я как-то раньше не составил достаточно ясного представления: светлые грустные глаза — вот, пожалуй, и все. А сейчас из-под развевающихся волос на меня смотрели смеющиеся карие глаза. Грусти в них не было и в помине. То,

что она любит виски, показалось мне забавным, у Лемоса почти все романтические встречи начинались чаепитием (а с Бруной мы пили кофе с молоком в вагоне поезда). Она не извинилась за то, что пригласила меня, а я, хотя иногда и переигрываю, потому что в глубине души не слишком верю в то, что со мной происходит, на этот раз чувствовал себя очень непринужденно, да и виски оказалось настоящим. Поистине нам было так хорошо, словно мы познакомились случайно и без всякой задней мысли. Обычно так и завязываются все хорошие отношения, когда никому не приходится ничего демонстрировать или скрывать. Было естественно, что в основном говорили обо мне: как-никак я был известной личностью, а что такое была она? Два письма и имя — Лусиана. Поэтому, не боясь показаться тщеславным, я не перебивал ее, когда она вспоминала мои роли в разных радиопостановках: в той, где меня убивают после пыток, в той, где рассказывается о шахтерах, погребенных под землей, и в какой-то еще. Понемногу я привыкал к ее лицу и голосу, с трудом освобождаясь от чар писем, застекленной галереи, плетеного кресла. В конце нашего разговора выяснилось, что живет она в довольно тесной квартирке на первом этаже со своей тетей Поли, которая когда-то играла на фортепьяно и в тридцатые годы даже выступала в Пергамино. Лусиана тоже сверяла про себя мой образ с действительностью, как всегда случается в такого рода отношениях, напоминающих поначалу игру в жмурки, а под конец призналась, что представляла меня выше ростом, с вьющимися волосами и серыми глазами. Вьющиеся волосы меня просто убили, ни в одной из ролей я никогда не мыслил себя с вьющимися волосами, но возможно, этот образ возник у нее как некое обобщение всех подлостей и измен, встречающихся у Лемоса. Я высказал ей это в шутку, но Лусиана возразила, что все персонажи она видела именно такими, какими изображал их Лемос, но в то же время была в состоянии отвлечься от них и остаться наедине с моим голосом, со мной, только я по неизвестной причине казался ей выше ростом и с вьющимися волосами.

Не думаю, что я влюбился бы в Лусиану, если бы Бруна по-прежнему существовала в моей жизни; ее отсутствие было еще слишком заметно, вокруг меня образовалась пустота, которую Лусиана начала заполнять, сама того не зная и, быть может, неожиданно для себя. В отличие от меня, в ней все свершилось гораздо быстрее, в том числе

и переход от моего голоса к этому другому Тито Балькарсе-лю с гладкими волосами и куда менее яркой индивидуальностью, чем Лемосовы монстры. Все эти превращения не заняли и месяца; сначала были две встречи в кафе, потом еще одна в моей квартире. Кошка благосклонно отнеслась к запаху духов и кожи Лусианы и задремала было у нее на коленях, но неожиданно почувствовала себя лишней. Это ей решительно не понравилось, и, жалобно мяукнув, она прыгнула на пол. Тетя Поли уехала к своей сестре в Пергамино, свою миссию она выполнила, а Лусиана на той же неделе перебралась ко мне. Я помогал ей собирать вещи, и мне было до боли жаль отсутствия застекленной галереи, сероватого света; я знал, конечно, что не найду ничего похожего, и все же мне словно чего-то не хватало. В день переезда тетя Поли с милой улыбкой поведала мне несложную семейную сагу, рассказав о детстве Лусианы, о ее женихе, который исчез навсегда из ее жизни, соблазнившись работой на чикагских холодильниках, о браке с владельцем гостиницы в районе Примера-Хунта и разрыве с ним через шесть лет. Все это мне было уже известно от Лусианы, но та рассказывала как-то иначе, вроде бы о ком-то другом, а не о себе, начинавшей новую жизнь, в которой были мои объятия, блюдечко с молоком для кошки, кино чуть ли не каждый день, любовь.

Кажется, мы уже работали над «Окровавленными колосьями», когда я попросил Лусиану чуть-чуть осветлить волосы. Вначале она восприняла это как актерскую блажь. Если хочешь, я куплю парик, рассмеялась она, добавив мимоходом: между прочим, тебе тоже пошел бы завитой паричок. Но когда через несколько дней я вернулся к той же теме, она согласилась, сказав, что в общем-то ей все равно, черные или каштановые у нее волосы. Ощущение было такое, словно она догадалась или почувствовала, что это изменение не имеет ничего общего с моими актерскими причудами, а связано с другими вещами: застекленной галереей, плетеным креслом... Мне не пришлось ее больше упрашивать, я был горд, что она сделала это для меня, и все время повторял ей это в минуты любви, зарывшись в ее волосы и лаская грудь, а потом мы оба, крепко прижавшись друг к другу, снова проваливались в долгий сон. Кажется, на следующий же день — не помню только, утром это было или когда она собиралась за покупками, — я взял ее волосы в обе руки и закрутил их в пучок на затылке, уверяя, что так ей больше идет. Она взглянула на

себя в зеркало и ничего не сказала, хотя я видел, что она не согласна со мной. И это было понятно: Лусиана не принадлежала к женщинам, которым идет пучок. Ей гораздо больше шли распущенные и более темные волосы, но я не стал об этом говорить, потому что хотел видеть ее другой, — более прекрасной, чем в тот день, когда она впервые переступила порог кондитерской.

Мне никогда не доставляло удовольствия слушать себя в записи, — я просто делал свою работу, и точка. Коллеги поражались отсутствию у меня тщеславия, которого в них самих было хоть отбавляй. Они, должно быть, думали, и, наверное, не без основания, что мне просто не хочется лишний раз вспоминать о своих ролях. Вот почему Лемос вытаращил глаза, когда я попросил у него из архива пластинки с записями «Роз бесчестья». Он поинтересовался, для чего они мне, и я промямлил что-то вроде того, что хочу поработать над недостатками дикции, которые обнаружил у себя. Когда я пришел домой с альбомом пластинок, Лусиана тоже немного удивилась, поскольку я никогда не говорил с ней о работе, — это она на каждом шагу делилась своими впечатлениями и слушала мой голос по вечерам с кошкой на коленях. Я повторил ей то же, что и Лемосу, но вместо того, чтобы слушать записи в другой комнате, внес проигрыватель в гостиную и попросил Лусиану остаться, а потом приготовил чай и направил свет лампы в сторону, чтобы ей было уютней. Зачем ты передвинул торшер, удивилась Лусиана, он так красиво стоял на старом месте. Стоял-то он красиво, но свет, который он отбрасывал на диван, где сидела Лусиана, был невыносимо резок и ярок. Куда лучше для нее приглушенный предвечерний свет, падающий из окна, этот серовато-пепельный свет, который окутывал ее волосы, руки, занятые чаем. Ты меня слишком балуешь, сказала Лусиана, все для меня, а сам забился куда-то в угол и даже не присядешь.

Разумеется, я поставил лишь отдельные эпизоды из «Роз», за то время, что они звучали, мы успели только выпить две чашки чаю да выкурить по сигарете. Мне было приятно смотреть на Лусиану, внимательно следившую за драмой. Заслышав мой голос, она поднимала голову и улыбалась, показывая, что ее насколько не занимают интриги подлого деверя бедной Карменситы, мечтающего завладеть состоянием семьи Пардо и добивающегося своей коварной цели на протяжении всего спектакля, который заканчивается неизбежным триумфом любви и справедливости в

трактовке Лемоса. Мне было хорошо в моем углу (я выпил чашку чая, присев рядом с ней, но потом снова отошел в глубину гостиной, объяснив, что оттуда мне якобы лучше слышно); в какое-то мгновение я вновь обрел то, чего мне так недоставало последнее время. Я мечтал, чтобы это никогда не кончалось, чтобы предзакатный свет вечно струился из окна, напоминая о застекленной галерее. Это было, разумеется, невозможно; я выключил проигрыватель, и мы вместе вышли на балкон, но сначала Лусиана передвинула обратно торшер, потому что он и в самом деле был не на месте там, куда я его поставил. Тебе хоть немного помогло это прослушивание? — спросила она, ласково поглаживая мою руку. Да, конечно, и я заговорил о трудностях, связанных с дыханием, о гласных, еще о чем-то. Она с уважением слушала меня. В одном только я ей не признался, — в том, что в эти прекраснейшие минуты мне для полноты счастья не хватало лишь плетеного кресла да, быть может, задумчиво-грустного выражения, какое появляется на лице, когда человек всматривается в невидимую даль, прежде чем вывести следующую строку письма.

Работа над «Окровавленными колосьями» постепенно приближалась к концу, через три недели мне должны были дать отпуск. Возвращаясь с радио, я заставал Лусиану за чтением или за игрой с кошкой: она сидела в кресле, которое я подарил ей ко дню рождения вместе с таким же плетеным столиком. К нашей обстановке это совсем не подходит, сказала тогда Лусиана улыбаясь, но как-то растерянно. Но если тебе нравится, мне и подавно: очень красивая и, главное, удобная мебель. Тебе будет хорошо в этом кресле, особенно если понадобится написать кому-нибудь письмо, заметил я. Да, согласно кивнула Лусиана, а то я как раз в долгу перед бедняжкой тетей Поли. Поскольку под вечер на старом месте ей стало темновато (вряд ли она догадалась, что я сменил лампочку в торшере), в конце концов она переставила столик с креслом к окну и там вязала или листала журналы. Видимо, это случилось в один из осенних дней или немного позже: как-то после обеда я долго сидел рядом с ней, а потом крепко поцеловал и сказал, что никогда еще не любил так, как в эту минуту, и что именно такой мне хотелось бы видеть ее всегда. Она ничего не сказала и лишь взъерошила мне волосы. Потом ее голова склонилась на мое плечо, и она замерла, словно ушла куда-то. Чего еще можно было ждать от Лусианы в этот предвечерний час? Она сама была похо-

жа на лиловые конверты, на простые и тихие слова своих писем. Сэтих пор мне стало очень трудно представлять себе, что мы познакомились в кондитерской и ее разлетающиеся черные волосы мелькали, как хвосты у плетки, когда, поборов смущение, она поздоровалась со мной. В памяти моей любви хранились застекленная галерея и силуэт в плетеном кресле, мало чем напоминавший ту рослую и жизнерадостную женщину, которая по утрам расхаживала по дому или играла с кошкой, а под вечер то и дело перевоплощалась в образ, который я боготворил и благодаря которому любил ее.

Возможно, надо было сказать ей об этом. Но я все никак не мог собраться, колебался, — думаю, оттого, что предпочитал сохранить ее такой, какой она была. Полнота чувства была такой всеобъемлющей, что не хотелось задумываться о причинах загадочного молчания, рассеянности, которой я в ней раньше не замечал, появившейся привычки смотреть на меня иногда так, будто она что-то во мне ищет: взмах ресниц — и взгляд вновь возвращается к кошке или к книге. И ведь, между прочим, и это я хотел бы сохранить: то была грустная обстановка застекленной галереи, аромат лиловых конвертов. Проснувшись как-то в полночь и взглянув на нее, спящую рядом со мной, я почувствовал, что настало время рассказать ей обо всем, чтобы она поняла, каких усилий стоило мне сплести вокруг нее хитроумную любовную паутину, и окончательно стала моей. Я не сделал этого, потому что Лусиана спала, затем — потому что Лусиана уже встала, потому что в этот вторник мы шли в кино, потому что мы искали подходящий автомобиль для поездки в отпуск, потому что жизнь мелькала перед нами, подобно кинокадрам, замедляя свой бег лишь в те короткие вечерние часы, когда серовато-пепельный свет подчеркивал совершенство силуэта Лусианы на фоне неизменного плетеного кресла. Она очень редко теперь со мной разговаривала, а иногда смотрела так, будто искала что-то, и это подавляло во мне смутную потребность поведать ей правду, объяснить наконец загадку каштановых волос, света на галерее. И я так и не собрался. Случайное изменение в расписании привело меня однажды в центр в первой половине дня, и я увидел ее, выходящую из дверей отеля. Я узнал ее — и не узнал, и ничего не понял, поняв, что она держит под руку какого-то мужчину выше меня ростом, а тот слегка наклонился к ней, чтобы поцеловать в ушко и потереться кудрявой шевелюрой о каштановые волосы Лусианы.

Мы просто поджидали их, каждому был отведен свой день и час, но правда и то, что мы никуда не спешили, курили, сколько хотелось; время от времени черный Лопес разносил кофе, и тогда мы бросали работу и болтали, почти всегда об одном и том же: о последнем визите начальника, изменениях в верхах, представлениях в Сан-Исидро. Они, конечно, и понятия не имели, что мы их поджидаем, именно поджидаем, тут огрехи недопустимы; вам тревожиться нечего, слово начальника, частенько повторял он для нашего успокоения, вы делайте свое дело, потихоньку-полегоньку, трудностей никаких, если произойдет осечка, нас это не коснется, отвечать будут наверху, а вашего начальника голыми руками не возьмешь, так что вы, ребята, живите спокойно, если что случится — посылайте прямо ко мне, я вас прошу только об одном: не ошибитесь мне с объектом, сначала наведите справки, чтобы не попасть впросак, а потом действуйте безо всяких.

Честно говоря, хлопот с ними не было, начальник подобрал подходящее помещение, чтобы они не сидели друг у друга на головах, а мы принимали их по одному, как полагается, уделяя каждому столько времени, сколько нужно. У нас все культурненько, говаривал начальник, и точно, все синхронизировано так, что и компьютеру не угнаться, работаешь гладко, с вазелинчиком, спешить некуда, никто тебя не подгоняет. Хватало времени и для кофе, и для прогнозов на ближайшее воскресенье, и тут начальник первым спешил узнать, на кого ставить, в этом деле тощий Бьянчетти почище любого оракула. И так день за днем, без изменений, мы приходили на службу с газетами под мышкой, черный Лопес обносил нас первыми чашечками кофе, и вскоре заявлялись они для прохождения формальностей. Так говорилось в повестке: касающиеся вас формальности, мы же только сидели и поджидали. Но что да, то да, повестка, пусть и на желтой бумаге, всегда выглядит официально; и потому дома Мария Элена много раз брала ее в руки, чтобы разглядеть получше: зеленая печать поверх неразборчивой подписи, адрес и число. В автобусе она снова достала повестку из сумочки, а потом завела часы, чтобы чувствовать себя увереннее. Ее вызывали в канцелярию на улице Маса, странно, чтобы там находилось министерство, но, как говорит ее сестра, теперь открывают канцелярии где угодно, в министерствах уже не

хватает места, и, едва сойдя с автобуса, она подумала, что, должно быть, сестра права, район был так себе, трех- и четырехэтажные дома, много мелких лавчонок, даже несколько деревьев, они еще попадались в этой части города.

«Наверное, на доме хотя бы есть флаг», — подумала Мария Елена, подходя к семисотым номерам, может быть, канцелярия эта — вроде посольства, расположившегося среди жилых домов, но его всегда видно издалека благодаря многоцветному флагу, укрепленному где-нибудь на балконе. Хотя в повестке был ясно указан номер дома, ее смутило отсутствие родного флага, и она остановилась на углу (все равно было слишком рано, можно и подождать) и безо всякой надобности спросила у киоскера — продавца газет, в этом ли квартале Нужный адрес.

— Конечно, — ответил киоскер, — вон там, посреди квартала, но сперва почему бы вам не поболтать со мной немножко, сами видите, как мне грустно здесь совсем одному.

— На обратном пути, — улыбнулась ему Мария Елена, неторопливыми шагами отходя от киоска и еще раз сверяясь с желтой повесткой.

Тут почти не было ни машин, ни прохожих, перед одним магазинчиком сидел кот, из парадной двери выходила толстуха, ведя за руку маленькую девочку. Несколько машин стояло в районе Нужного адреса, почти во всех кто-нибудь сидел за рулем, читая газету или покуривая. Парадная, узкая, как все в квартале, вела в выложенный плиткой подъезд, в глубине которого виднелась лестница; табличка на дверях напоминала табличку доктора или зубного врача: грязноватая, заклеенная внизу полоской бумаги, чтобы скрыть последнюю строчку. Странно, что не было лифта, четвертый этаж — и поднимайся пешком, как-то не этого ждешь, получив такую серьезную повестку с подписью и зеленой печатью.

Дверь на четвертом этаже была закрыта, на ней не оказалось ни звонка, ни номера. Мария Елена тронула ручку, и дверь бесшумно открылась; прежде всего ей в лицо пахло табачным дымом, а уж потом она разглядела зеленоватые плитки коридора, скамейки по обеим сторонам и сидящих людей. Их было немного: две пожилые сеньоры, лысый сеньор и молодой человек в зеленом галстуке, но в узком коридоре, затянутом дымом, казалось, будто они касаются друг друга коленями. Они наверняка разговаривали, чтобы убить время; открывая дверь, Мария Елена

услышала конец фразы, произнесенной одной из сеньор, но, как водится, все вдруг замолчали, разглядывая вошедшую, и, тоже как водится, Мария Элена залилась краской, браня себя за глупость, еле слышно прошептала «добрый день» и застыла у входа, но молодой человек тут же сделал ей знак и указал на пустое место возле себя. Когда она усаживалась, бормоча слова благодарности, дверь на другом конце коридора открылась, оттуда вышел человек с рыжими волосами и бесцеремонно пробрался между коленями сидящих, даже не утруждая себя извинениями. Служащий придержал дверь ногой, ожидая, пока одна из пожилых сеньор с трудом поднимется на ноги, извиняясь, протиснется между Марией Эленой и лысым сеньором и войдет в кабинет; наружная дверь и дверь кабинета хлопнули почти одновременно, и оставшиеся в коридоре снова заговорили, поерзывая на скрипучих скамьях.

У каждого, как обычно, была своя тема: лысый сеньор сетовал на официальную волокиту, если это так в первый раз, чего уж тут ждать, сами посудите, торчишь в коридоре больше получаса, а потом два-три вопроса — и будьте здоровы, так, по крайней мере, мне думается.

— Ну, не совсем, — сказал молодой человек в зеленом галстуке, — я здесь во второй раз, и поверьте, все не так уж быстро, пока они перепечатают ответы на машинке, а сам тоже вдруг начнешь вспоминать какую-нибудь дату или название, в общем, времени уходит немало.

Лысый сеньор и пожилая сеньора слушали его с интересом, они, очевидно, были тут в первый раз, так же как Мария Элена, хотя она и не чувствовала себя вправе вступать в разговор. Лысый сеньор пожелал узнать, сколько времени проходит между первым и вторым вызовом, и молодой человек объяснил, что вот ему назначили прийти через три дня. «А зачем надо приходить два раза?» — чуть было не спросила Мария Элена и опять залилась краской, ей так хотелось, чтобы кто-нибудь заговорил с ней, ободрил ее, втянул в беседу, чтобы она наконец перестала быть просто последней. Пожилая сеньора вытащила из сумочки флакон — наверное, с солями — и, вздыхая, принялась его нюхать. Должно быть, ей стало нехорошо от табачного дыма, молодой человек предложил потушить сигарету, и лысый сеньор сказал «ну конечно», этот коридор просто срам, если ей плохо, лучше не курить, но сеньора ответила, что не надо, просто она слегка утомилась, сейчас все пройдет, дома ее муж и дети курят не переставая, она уж и не

замечает. Мария Элена, которой тоже хотелось курить, увидела, что мужчины затушили сигареты, молодой человек гасил окурок о подошву туфли, всегда куришь слишком много, когда приходится ждать, прошлый раз было хуже, перед ним сидело семь или восемь человек, и в конце концов от дыма в коридоре ничего было не разглядеть.

— Жизнь — это зал ожидания, — сказал лысый сеньор, заботливо затапывая свой окурок и глядя на руки, словно теперь уж и не знал, что с ними делать, а пожилая сеньора утвердительно вздохнула, вложив в этот вздох весь свой долголетний опыт, и спрятала флакончик с солями, и тут как раз открылась внутренняя дверь, и другая сеньора вышла уже иной походкой, вызывая всеобщую зависть, и, подойдя к выходу, распростилась с ними, словно жалея остающихся. Но тогда, значит, все не так уж долго, подумала Мария Элена, перед ней всего трое, скажем, по четверти часа на каждого, конечно, с иными могут заниматься дольше, молодой человек здесь уже во второй раз и говорил об этом. Когда лысый сеньор вошел в кабинет, Мария Элена собралась с духом и все же задала свой вопрос, чтобы узнать поточнее, а молодой человек подумал и ответил, что в первый раз кое-кто задерживался надолго, а другие — нет, никогда не знаешь наверняка. Пожилая сеньора заметила, что первая сеньора вышла почти сразу же, но сеньор с рыжими волосами сидел там целую вечность.

— Хорошо еще, что нас осталось мало, — сказала Мария Элена, — такие места действуют угнетающе.

— Надо относиться к этому по-философски, — сказал молодой человек. — Не забывайте, что вам придется прийти еще, так что лучше не волноваться. Когда я был здесь в первый раз, не с кем было слова сказать, народу набилось куча, но не знаю, разговор как-то не клеился, а вот сегодня я и не заметил, как прошло время, все обмениваются мнениями.

Марии Элене было приятно разговаривать с молодым человеком и сеньорой, время летело незаметно; наконец, лысый сеньор вышел, и сеньора поднялась с легкостью, удивительной для ее лет, бедняжке хотелось поскорее покончить со всем этим.

— Ну вот, теперь остались мы с вами, — сказал молодой человек. — Вы не против, если я закурю? Я просто больше не могу, но сеньоре, похоже, было так нехорошо...

— Мне тоже хочется курить.

Она взяла сигарету, предложенную молодым человеком,

и они познакомились, сказали, кого как зовут, кто где работает, им было приятно разговаривать, забыв о коридоре, о тишине, которая минутами казалась чрезмерной, словно улицы и люди остались где-то очень далеко. Мария Элена тоже жила в районе Флореста, но еще в детстве, теперь она живет на улице Конституьсон. Карлосу не нравился этот район, его больше привлекают западные кварталы, там лучше воздух, больше зелени. Его мечтой было жить в Вилья-дель-Парке, когда он женится, может, ему и удастся снять там квартиру, его будущий тесть обещал помочь, а он — человек с большими связями и умеет обделывать такие дела.

— Не знаю почему, но мне кажется, что я всю жизнь проживу на улице Конституьсон, — сказала Мария Элена. — В конце концов, там не так уж плохо. И если когда-нибудь...

Она увидела, как открылась дверь в кабинет, и с недоумением взглянула на молодого человека, который встал и улыбнулся ей на прощанье, вот видите, за разговором времени и не чувствуешь, сеньора любезно простилась с ними, было заметно, как она радовалась, что уходит отсюда, выйдя из кабинета, все казались моложе и двигались легче, словно сбросили тяжесть с плеч, формальности окончены, одним делом меньше, снаружи улица, кафе, куда можно заглянуть, выпить рюмочку или чашку чая, убедиться, что приемная и анкеты действительно остались позади. Теперь для Марии Элены, очутившейся в одиночестве, время потянется медленнее, хотя если все пойдет как раньше, Карлос выйдет довольно быстро, впрочем, он может пробыть там и дольше, чем остальные, ведь он здесь во второй раз, кто знает, какие формальности ему предстоит.

Поначалу она даже растерялась, когда служащий открыл дверь, взглянул на нее и мотнул головой, приглашая войти. Она тут же подумала, что, наверное, так и надо, что Карлосу пришлось задержаться, заполняя бумаги, а тем временем они займутся ею. Она поздоровалась со служащим и вошла в кабинет; едва она переступила порог, как другой служащий указал ей на стул перед черным письменным столом. В комнате сидело несколько человек, все мужчины, но Карлоса тут не было. Болезненного вида служащий, работавший за черным столом, уткнулся в изучение какого-то документа; не поднимая глаз, он протянул руку, и Мария Элена не сразу поняла, что он просит пове-

стку; потом она сообразила и стала рыться в сумочке, смущенно бормоча извинения, вытащила сначала двести другие вещи, прежде чем наткнулась на желтую бумажку.

— Заполните это, — сказал служащий, протягивая ей анкету. — Заглавными буквами и пояснее.

Это была обычная чепуха: имя и фамилия, возраст, пол, адрес. Начав отвечать на вопросы, Мария Элена ощутила, будто что-то ей мешает, что-то, не ясное до конца. Не в анкете, где было легко заполнять пробелы, а вокруг, словно чего-то здесь не хватало или что-то стояло не на месте. Она перестала писать и огляделась: вокруг другие столы, служащие работают или переговариваются, грязные стены с плакатами и фотографиями, два окна, дверь, в которую она вошла, единственная в кабинете дверь. «Профессия» и рядом строчка пунктира; она машинально заполнила пропуск. Единственная в кабинете дверь, но Карлоса здесь не было. «Стаж работы». Заглавными буквами, пояснее.

Когда она ставила внизу свою подпись, служащий смотрел на нее так, будто, заполняя анкету, она слишком долго проканителилась. С минуту он поизучал документ, не нашел никаких недостатков и спрятал его в папку. Потом последовали вопросы, иные бесполезные, потому что она ответила на них в анкете, но тоже касавшиеся семьи, смены адресов за последние годы, страховки, часто ли она ездит и куда, обращалась ли за заграничным паспортом и думает ли обращаться. Никто, казалось, особенно не интересовался ее ответами, во всяком случае, служащий их не записывал. Потом он внезапно сказал Марии Элене, что она может идти, но должна вернуться через два дня, в одиннадцать часов; вторичной повестки не требуется, но пусть она не забудет.

— Да, сеньор, — сказала Мария Элена, вставая, — значит, в четверг, в одиннадцать часов.

— Всего хорошего, — сказал служащий, не глядя на нее.

В коридоре никого не было, и, проходя по нему, она чувствовала себя так же, как остальные, скорее, скорее, дышится уже легче, не терпится очутиться на улице, оставить все позади. Мария Элена открыла дверь на лестницу и, начав спускаться, снова подумала о Карлосе, странно, что Карлос не вышел, как все остальные. Странно, потому что в кабинете была лишь одна дверь, конечно, особенно хорошо она не разглядывала, куда бы это годилось, служащий

открыл дверь и впустил ее, но Карлос не столкнулся с нею при входе, он не вышел перед тем, как все остальные — человек с рыжими волосами, сеньоры, все, кроме Карлоса.

Солнце падало на тротуар, на улице было много воздуха и привычных звуков; Мария Элена прошла несколько шагов и встала под деревом, где не было автомобилей. Она взглянула на подъезд, сказала себе, что подождет немножко, пока не выйдет Карлос. Быть не может, чтобы Карлос не вышел, все выходили оттуда, покончив с формальностями. Она подумала, что, наверное, он задержался потому, что, единственный из всех, пришел сюда во второй раз; кто знает, может, причина именно в этом. Было так странно, что она не увидела его в кабинете, хотя вдруг там есть еще одна дверь, замаскированная плакатами, чего-нибудь она да не заметила, но все равно это странно, все остальные выходили через коридор, как она сама, все, кто был в первый раз, выходили через коридор.

Перед тем как уйти (она подождала немного, но нельзя же торчать тут весь день) она подумала, что сама вернется в четверг. Может, тогда все будет по-другому, ее выпустят с другой стороны, хотя и непонятно, куда и зачем. Ясное дело, откуда ей было это знать, но мы-то знали, мы-то будем поджидать ее и всех остальных, неторопливо покуривая и болтая между собой, пока черный Лопес готовит всем по новой чашечке кофе, а сколько таких чашечек выпивали мы за утро...

ТОТ, КТО БРОДИТ ВОКРУГ

Кубинской пианистке Эсперансе Мачадо

Хименеса высадили, едва только стемнело, понимая, что риск очень велик; бухточка находилась почти рядом с портом. Конечно, его доставили на скоростной и бесшумной лодке, которая стремительно прочертила след на поверхности моря и опять растаяла вдаль, а Хименес, замерев в кустах, выжидал, пока глаза привыкнут к темноте, пока все пять чувств вновь приспособятся к горячему воздуху и звукам этой земли. Еще два дня назад кругом был ад раскаленного асфальта и тошнотворная вонь городской стряпни, ясно ощутимый запах дезинфекции в вестибюле гостиницы «Атлантик», чем-то даже жалкие порции «бур-

бона»¹, которым все они пытались заглушить воспоминания о роме; а теперь, пусть затаившийся, настороженный, едва смеющий думать, он впитывал всем своим существом запаха Орьенте, ловил такой знакомый зов одинокой ночной птицы, — быть может, она здоровалась с ним, во всяком случае, будем считать это добрым знаком.

Поначалу Йорку казалось неразумным высаживать Хименеса так близко от Сантьяго, это было против всяких правил, однако именно поэтому и потому, что Хименес знал местность, как никто другой, Йорк в конце концов пошел на риск и подготовил лодку. Теперь главное было не запачкать туфли и появиться в мотеле под видом провинциального туриста, осматривающего свою страну; там Альфонсо позаботится о его устройстве, остальное же вопрос нескольких часов: отнести пластиковую бомбу в нужное место и вернуться на берег, где будут ждать лодка и Альфонсо; когда они окажутся в открытом море, по сигналу с лодки сработает взрыватель, на фабрике раздастся взрыв, к небу взмоют первые языки пламени — это будут проводы честь по чести. А пока что надо было подняться к мотелю по старой тропинке, заброшенной с тех пор, как севернее проложили новое шоссе, передохнуть перед последним отрезком пути, чтобы никто не заподозрил, сколько на самом деле весит чемодан; когда Хименес встретится с Альфонсо, тот подхватит багаж с готовностью друга, избегая услуг гостиничного носильщика, и отведет Хименеса в одну из удобно расположенных комнат мотеля. Это составляло самую опасную часть задания, но попасть на территорию фабрики можно было только из сада, окружавшего мотель; немного удачи, помощь Альфонсо — и все сойдет хорошо.

На тропинке, забытой прохожими, заросшей кустами, ему не встретилось ни души; вокруг только запахи Орьенте да жалобы птицы, которая на мгновение вывела Хименеса из себя, словно его нервам нужен был предлог, чтобы чуть-чуть расслабиться, чтобы он против своей воли признал, что полностью беззащитен, даже без пистолета в кармане, на этом Йорк настаивал категорически, дело удавалось или проваливалось, но в обоих случаях пистолет был ни к чему, более того, мог все погубить. У Йорка были свои представления о характере кубинцев, Хименес знал их и про себя поливал его бранью, пока поднимался по тропинке, замечая, как среди последних кустов, точно желтые глаза,

¹ Сорт американского виски.

загораются огни редких домов и мотеля. Но не было смысла бранить Йорка, все шло according to schedule¹, как сказал бы этот сукин сын, и Альфонсо в саду мотеля с громким возгласом шагнул ему навстречу, что за черт, а где же машина, старик, двое служащих смотрят и прислушиваются, я жду тебя уже четверть часа, да, но мы немного опоздали, а машина поехала дальше отвезти одну женщину, которая едет к своим, я вышел там, на повороте, ну еще бы, ты ведь у нас галантный мужчина, пошел ты, Альфонсо, здесь пройтись — одно удовольствие, чемодан перешел из рук в руки без малейшей заминки, мускулы напряжены до предела, но со стороны скажешь, что он легкий, как перышко, совсем пустой, пошли за ключом, а потом выпьем по глотку, как там Чоли и ребята, ну, им капельку грустно, конечно, старик, хотелось бы поехать вместе, но сам знаешь, школа и работа, на этот раз отпуска не совпали, что поделаешь, не повезло.

Наскоро принять душ, убедиться, что дверь надежно заперта, чемодан стоит открытый на второй кровати, зеленый сверток — в ящике комода, среди рубашек и газет. У стойки Альфонсо уже попросил два рома и побольше льду, они курили, разговаривали о Камагуэе, о последнем бое Стивенсона², музыка доносилась как бы издалека, хотя пианистка сидела тут же, у конца стойки, она тихонько сыграла хабанеру, потом что-то из Шопена и перешла к дансону, а затем к балладе из старого фильма, ее в прежние добрые времена пела Ирене Дунне. Они взяли еще по порции рома, и Альфонсо сказал, что утром вернется и повозит его по городу, покажет новые кварталы, в Сантьяго есть что посмотреть, работают тут что надо, люди выполняют и перевыполняют планы, микробригады — отличная штука, Альмейда приедет на открытие двух новых фабрик, недавно здесь был сам Фидель, все товарищи трудятся не покладая рук.

— Да, у нас в Сантьяго не зевают, — сказал бармен и они одобрительно засмеялись; в ресторане оставалось уже мало народу, и Хименесу отвели стол возле окна. Альфонсо простился, повторив, что заедет за ним утром; удобно вытянув ноги, Хименес принялся изучать меню. Усталость — усталость не только телесная — заставляла его следить за каждым своим движением. Все здесь было таким мирным

¹ По расписанию (англ.).

² Стивенсон Теофило — знаменитый кубинский боксер.

и сердечным, тишина, Шопен, пианистка опять наигрывала прелюдию Шопена, но Хименес чувствовал, что опасность притаилась рядом, малейший промах — и эти улыбающиеся лица исказит гримаса ненависти. Он знал такие ощущения и умел с ними бороться; попросив мохито¹, чтобы время летело незаметнее, он благосклонно выслушал советы официанта — сегодня рыбные блюда лучше мясных. Ресторан был почти пуст, у стойки — молодая пара, чуть подальше — человек, похожий на иностранца, он пил, не глядя в стакан, не спуская задумчивых глаз с пианистки, которая теперь опять повторяла балладу Ирене Дунне, Хименес вдруг вспомнил ее название — «Твой взор подернут дымом», тогдашняя, прежняя Гавана, опять Шопен, один из этюдов, Хименес тоже играл его мальчиком, когда учился музыке, давно, до периода больших потрясений, медленный, меланхолический этюд, напомнивший ему гостиную у них дома, покойную бабушку, и по контрасту — его брата Робертико, оставшегося тут невзирая на отцовское проклятие, он как последний идиот погиб на Плая-Хирон, вместо того чтобы сражаться за возврат к настоящей свободе.

К собственному удивлению, он поел с аппетитом, смакуя незабытые блюда, иронически допуская, что только это тут и хорошо, если сравнивать с безвкусной, ватной пищей, которую они ели там. Спать не хотелось, ему нравилась музыка, пианистка была еще молода и красива, она играла словно для себя, ни разу не взглянув в сторону стойки, где человек, похожий на иностранца, следил за движениями ее рук, берясь за новую порцию рома и новую сигару. После кофе Хименес подумал, что ждать в комнате ему покажется долго, и подошел к стойке выпить еще. Бармену хотелось поговорить, но он понижал голос почти до шепота — из уважения к пианистке, как будто понимал, что иностранцу и Хименесу нравится эта музыка; теперь пианистка наигрывала один из вальсов, простую мелодию, в которую Шопен вложил словно бы звуки неторопливого дождя, словно бы приглушенные краски сумерек или сухие цветы из альбома. Бармен не замечал иностранца, быть может, тот плохо говорил по-испански или любил молчать, в ресторане уже тушили свет, надо было идти спать, но пианистка наигрывала кубинский мотив, и, неохотно прощаясь с ним, Хименес зажег новую сигарету, пожелал всем спокойной

¹ Кубинский коктейль

ночи и пошел к выходу, навстречу тому, что ждало его за порогом, в четыре ноль-ноль утра по его часам, сверенным с часами лодки.

Перед тем как войти в свою комнату, он постоял немного, подождал, пока глаза привыкнут ко мраку сада, чтобы проверить все, о чем говорил Альфонсо: тропинка метрах в ста отсюда, от нее отходит другая, ведущая к новому шоссе, осторожно перейти через него и затем — дальше на запад. Из мотеля видно было только темное пятно зарослей, в которых начиналась тропинка, но было полезно всмотреться в огоньки впереди и в два-три огонька слева, чтобы прикинуть расстояние. Территория фабрики начиналась в семистах метрах к западу, возле третьего цементного столба он найдет дыру в проволочном ограждении, через которую проникнет внутрь. В принципе было маловероятно, чтобы здесь появилась охрана, они делали обход каждые четверть часа, но в промежутках предпочитали собираться и болтать в другой стороне, где были свет и народ; во всяком случае, тут было уже не страшно испачкаться, придется проползти сквозь кусты к месту, подробно описанному Альфонсо. А возвращаться будет легко, без зеленого свертка, без всех этих лиц, окружавших его до сих пор.

Он почти сразу же растянулся на постели и потушил свет, чтобы спокойно покурить; можно даже подремать, пусть тело расслабится, он умел просыпаться вовремя. Но сначала он убедился, что дверь хорошо заперта изнутри и все лежит так, как он оставил. Он промурлыкал вальс, запавший в память, смешивающий прошлое с настоящим, сделал усилие, чтобы избавиться от него, перебить мелодией «Твой взор подернут дымом», но вальс все возвращался или сменялся прелюдией, он погружался в дремоту, не в силах прогнать их прочь, перед его глазами двигались белые руки пианистки, ее голова чуть склонялась набок, как будто она внимательно прислушивалась к самой себе. Ночная птица опять пела где-то в кустах или в пальмовой роще к северу.

Его разбудило что-то более темное, чем темнота комнаты, более темное и тяжелое, где-то в ногах постели. Он видел во сне Филлис и фестиваль поп-музыки, сон был таким грохочущим и ярким, что, открыв глаза, он точно упал в пустоту, в черный бездонный колодец, но тут же спазма в желудке дала ему понять, что это не так, что часть пространства была иной, обладала иной массой, иной чер-

нотой. Рывком протянув руку, он включил свет; иностранец из ресторана сидел в ногах кровати и спокойно глядел на него, словно до сих пор стерег его сон.

Подумать, сделать что-то было одинаково невозможно. Все оборвалось внутри, ужас и только ужас, тишина, длившаяся вечность, или, быть может, одно мгновение, взгляд, идущий двойным мостом из глаз в глаза. Первая — и бесполезная — мысль: пистолет, хотя бы пистолет. Звук собственного прерывистого дыхания вернул его к действительности, отвергая последнюю надежду на то, что это все еще сон, сон, в котором есть Филлис, и музыка, и выпивка, и огни.

— Да, вот так, — сказал иностранец, и чужой акцент словно царапнул Хименеса по коже, подтверждая, что он — не здешний, как о том же говорило нечто в посадке головы, в форме плеч, отмеченное еще в баре.

Выпрямиться по сантиметрам, подняться по меньшей мере на тот же уровень, его поза губительна, единственное спасение — в неожиданности, но и на это рассчитывать нечего, он заранее обречен: мускулы ему не подчинятся, ноги, вытянутые на постели, не позволят сделать отчаянный рывок; и гость знал это, он сидел в ногах кровати спокойно и даже расслабленно. Когда Хименес увидел, что тот достал сигару, а другую руку беспечно сунул в карман, ища спички, он понял, что броситься на иностранца — значит терять время: слишком много презрения было в его манере игнорировать Хименеса, он даже не допускал мысли об обороне. И кое-что похуже: все меры предосторожности, дверь, запертая на ключ, закрытая задвижка.

— Кто ты? — услышал Хименес собственный голос, нелепый вопрос, прозвучавший из состояния, которое не могло быть ни явью, ни сном.

— А не все ли равно, — сказал иностранец.

— Но Альфонсо...

На Хименеса взглянуло нечто, живущее как бы в другом времени, в другом, полном, пространстве. Огонек спички отразился в орехового цвета глазах с расширенными зрачками. Иностранец погасил спичку и поглядел на свои руки.

— Бедный Альфонсо, — сказал он. — Бедный, бедный Альфонсо...

В его словах не было жалости, только отчужденное подтверждение факта.

— Но ты-то кто, черт тебя побери? — выкрикнул Хименес, зная, что это уже истерика, утрата последнего самобладания.

— О, тот, кто бродит вокруг, — сказал иностранец. — Знаешь, я всегда подхожу поближе, когда играют мою музыку, особенно здесь. Мне нравится слушать, как ее играют здесь, на этих простеньких фортепьяно. В мое время все было по-иному, мне всегда приходилось слушать ее вдали от родных мест. Поэтому теперь я люблю быть ближе, это как бы примиряет меня с прошлым, восстанавливает справедливость.

Стискивая зубы, чтобы побороть дрожь, колотившую его с головы до ног, Хименес подумал, что единственно разумным было бы считать гостя сумасшедшим. Уже было неважно, как он вошел, как узнал — а он, конечно, знал, — но он был сумасшедшим, и это давало Хименесу единственное преимущество. Значит, надо выиграть время, поддержать разговор, спросить о пианино, о музыке.

— Она играет хорошо, — сказал иностранец, — но, конечно, только то, что ты слышал, легонькие пьески. А сегодня мне бы хотелось услышать этюд, который называют «Революционным», право, мне очень бы хотелось. Но ей, бедняжке, это не под силу, это не по ее пальцам. Тут нужны вот какие пальцы.

Он вытянул руки и показал Хименесу свои длинные пальцы, расставленные и напряженные. Хименес еще успел увидеть их за секунду до того, как они сомкнулись на его горле.

Хосе Доносо

(Род. в 1924 г.)

Чили

Хосе Доносо — автор рассказов, повестей, эссе, романов. Главная тема творчества Хосе Доносо — разложение буржуазного общества. Его произведения переведены на многие языки. Наибольшую известность писателю принесли романы «Коронация» (1957) и «Непристойная ночная птица» (1970).

ЧАРЛЬСТОН

Я иногда думаю, что жизнь была бы намного печальнее, не будь друзей, с которыми вместе можно было бы развлечься и порой хорошенько выпить. Но в жизни случаются странные вещи, в которых никто не может разобраться. Тут недавно я провел пару недель без всякого желания общаться с Хайме и с Мемо, с которыми я дружу, а они не хотели видаться ни со мной, ни друг с другом. Не знаю почему. Подобные вещи трудно объяснить. Все эти дни у меня было очень плохое настроение, не хотелось даже включать радио и слушать репортаж с южноамериканского чемпионата по футболу, а когда мои младшие братья начинали вопить каждый раз, когда забивали гол, меня это совсем не трогало, и все потому, что рядом не было Мемо и Хайме и нельзя было это отметить хорошим стаканчиком.

Мы не виделись тринадцать дней, почти две недели. И что любопытно: мы не подрались, не поспорили, не договаривались не встречаться. У нас не было желания быть вместе, и все тут. И казалось, в том, что мы не встречаемся, замешаны колдовские силы. Ведь живем-то мы в одном квартале и всегда натыкаемся друг на друга, хотя специально такой целью и не задаемся. В течение же этих дней все было так, словно мы исчезли с лица земли. Дернуть звонок у двери кого-нибудь из нас было бы достаточно, чтобы встретиться и разрушить это разделявшее нас молчание. Но здесь-то самое странное и заключалось. Несмотря на то, что нас тянуло друг к другу — я думал о моих друзьях все время, даже на работе, — мы друг друга не искали,

словно опасались чего-то или испытывали чувство... отвращения.

Так вот, как я сказал, мы с Хайме и Мемо — большие друзья. Мы знакомы с детства, потому что всегда жили в одном квартале. Однако я ведь знаю многих с детства, но не дружу с ними, по крайней мере, не так, как с Хайме и Мемо. Ибо я убежден, что дружить — это нечто более серьезное, более — как бы это сказать? — духовное, чем просто побеседовать на углу улицы с каким-нибудь приятелем. Например, я считаю, что друзьям необходимо иметь общие пристрастия, как в нашем случае — футбол. Не знаю, думал ли кто-нибудь, насколько способствует футбол укреплению дружбы: ходишь на матчи в компании, покупаешь журналы, в которых печатают снимки футболистов, споришь, и тема для разговоров обеспечена на многие недели. Футбол, по сути дела, заполняет всю твою жизнь. Когда я знакоюсь с каким-нибудь типом, который не любит ходить на стадион, не знает игроков или положения команд в турнирной таблице, мне кажется, что он вроде какой-то неживой. Для меня такие люди — словно бы марсиане, не говорящие на нашем языке и не умеющие восхищаться теми же вещами, что и мы, — такие и при виде обнаженной женщины не испытывают волнения.

Кстати, о женщинах. Отмечу, что Мемо ни о чем другом и не думает, наверное потому, что ему здорово везет. Конечно, нельзя отрицать, что парень хорош собой, — стройный, светлокожий, черноволосый. Он всегда напояжен и элегантно одет, потому что его брат — закройщик в модном ателье, а Мемо помогает ему оформлять квитанции. Кроме того, думаю, что успех Мемо в какой-то мере объясняется родом его занятий: он продавец парфюмерных товаров фирмы «Ондина» — шампуней, одеколонов, душистого мыла, кремов и всей этой всячины, с помощью которой женщины себя украшают. Это их и привлекает. Именно Мемо таскает Хайме и меня на танцы, которые бывают в школах и спортивных клубах, где развешаны гирлянды из разноцветных лампочек и куда девочки приходят с мамашами, тетками или братьями. Но нам с Хайме не нравятся такие вечера, и мы ходим просто за компанию с Мемо. Как они нам могут нравиться? Конечно, там можно познакомиться с девушками, и весьма симпатичными... А дальше что? В том-то и дело. Много шума из ничего. Я так считаю: для настоящей дружбы есть мужчины. А в отношении остального — мы с Хайме предпочитаем изред-

ка посещать определенные места на отдаленных улочках. Это проще. Приходишь, заказываешь пунша, договариваешься с какой-нибудь женщиной... и — к делу, без лишних слов. И после этого чувствуешь себя облегченным. Наконец, я считаю, что так выходит дешевле, ведь чтобы добиться приличной девушки, нужно столько раз приглашать ее в кино, в кафе, на прогулку воскресным днем или на танцы в субботу, что незаметно разоришься.

Впрочем, это не значит, что у нас совсем плохо с деньгами. Мы не богаты — каждый живет в своей семье и должен вносить свою долю на ведение хозяйства, — но мы не можем и пожаловаться: у всех троих хорошая, надежная работа. Как я уже сказал, Мемо продает парфюмерию, и хотя отдел, в котором он работает, хуже остальных, он надеется, что его вскоре переведут в более выгодный. Хайме — служащий в министерстве общественных работ, а всем известно, что подобные должности — самые лучшие, потому что предоставляют много льгот, и здесь есть перспективы, хотя жалование и не бог весть какое. У меня дела обстоят похуже: я только недавно закончил педагогический, и у меня еще нет полной нагрузки в двух коллежах, где я преподаю. Но, хотя денег у меня всегда не хватает, Хайме и Мемо относятся ко мне с уважением: что и говорить, я ведь образованнее их.

Из нас троих Хайме самый неказистый. Хотя он и старается показать, что это его не волнует, я думаю, это не так. Он маленький, смуглый, волосы у него спадают на лоб, усы едва пробиваются, но он бережет их как зеницу ока. У него девять братьев, и все на него похожи. Он просто обожает Мемо и поэтому наряжается и волосы свои напomaживает точно как тот, но гардероб у него скудный, и просто смешно смотреть, как он пытается приодеться и ходит важный, с высоко поднятой головой, держа руки в карманах. Я светловолос и толстоват, так как родители моей матери были югославы, а лет мне столько же, сколько Мемо и Хайме — двадцать три.

Но что нас больше всего объединяет, так это пристрастие к вину. Нет, не подумайте, мы — не горькие пропойцы. Такие обычно пьют в одиночку и всегда мрачнее тучи. Мы же не знаем, что больше любим: собратиться побеседовать, чтобы выпить вина, или сойтись выпить ради беседы. Еще когда нам было по пятнадцать, когда карманы у нас были пусты и даже на самые дешевые билеты в кино не хватало денег, мы их копили, чтобы купить бутылочку

и где-нибудь ее выпить тайком. Впоследствии мы стали посещать бары и всякие подобные заведения, и всегда вместе, втроем.

Как бы ни пытались доказывать обратное, нет ничего, что могло бы сравниться с вином. Во-первых, оно не вредит здоровью, как более крепкие напитки. Мы любим вино не столько потому, что оно дарит ощущение непринужденности и счастья, когда ты чувствуешь себя так, будто выиграл миллион или какая-нибудь знаменитая киноактриса в тебя влюбилась, сколько из-за того... как бы выразиться... ну, потому что вся жизнь наша крутится вокруг вина. Все стоящее на свете — улыбки, и друзья, и женщины, и вкусная еда, и футбол — становится еще лучше, если его хорошенько подцветить красным вином. Вообще, мы с Хайме и с Мемо даже больше, чем о женщинах и футболе, говорим о вине, о тех глупостях, которые творишь, когда выпьешь лишнего, и о том, как себя хорошо чувствуешь в таких случаях. В каждой попойке есть что-то веселое, о чем можно вспомнить потом, и каждый раз, когда об этом заходит речь, снова смеешься...

— Но самыми лучшими были те бутылочки, которые мы выпили, когда поехали в то самое заведение, которое находится по пути... Где же это было?

— А, ты говоришь о поездке в Дьесиочо?

— Нет, в Дьесиочо мы ездили большой компанией, на грузовике Чинчулина. Я говорю о том месте, куда мы ездили одни. Помнишь, летом, на маршрутном такси? Начали мы с утра, а когда стало жарко, да еще на пустой желудок, вино ударило ему в голову, и взбрело ему побаловаться с дочкой хозяина кабачка.

— Не помню,— говорит Хайме, разыгрывая невинность.— Какая же она была из себя?

— Это была такая дурнушка, и к тому же от нее просто разило потом. Но ты даже не помнил, как тебя зовут, и потащил ее в кусты. А ее брат-карабинер, стоявший где-то недалеко на посту, в это время пришел пообедать. И как только он пришел, сразу же спросил, куда делась его сестра. Мы ужасно испугались и, чтобы отвлечь его внимание, посадили к себе за стол и начали наливать ему стакан за стаканом. А когда эти двое вернулись, их одежда была грязная, вся в траве, но, к счастью, к тому времени мы уже хорошенько подпоили братца-карабинера, и он ничего не понял.

Мы долго смеялись, вспоминая, как мы пытались

смыться, не заплатив, но у нас это не прошло: после всего случившегося хозяйская дочка не спускала с нас глаз, и вышел скандал. Потом вспоминал другой из нас:

— Но вдребезги пьяным я видел Мемо, когда мы захотели похитить Люси из дома Айде. Конечно, мы пришли сильно навеселе, как раз был твой день рождения, Мемо, и твоя тетка прислала тебе в подарок большую оплетенную бутылку сладковатой чичи, и мы ее выпили за один присест. А после обеда решили продолжить у Айде, но она нас не пускала в дом, так как там было полно клиентов. Мы же не растерялись и влезли в окно, а когда Люси нас увидела...

И вот так мы вспоминаем, пока не надоест.

Да, такие дела. Бокалы красного вина за стойкой бара, хлеб с куском горячего мяса, чтобы не пить на пустой желудок, хорошие сигареты, друзья, готовые приятно провести время, и так болтаешь-болтаешь, пьешь-пьешь и не замечаешь, как проходит время, пока не бьет два, три, четыре утра.

Вот я и говорю, что не знаю, как я смог прожить эти две недели без единого глотка вина и выдержать без встречи с Хайме и Мемо. Ощущение было такое, будто я опасаясь встречи с ними, будто у меня во рту от вина остался вкус птичьего помета или слиплось горло. Но самое любопытное заключается в том, что все эти дни мне вспоминался тип, которого мы видели в ту последнюю ночь, когда гуляли вместе. И всякий раз, как я его вспоминал, меня охватывало что-то похожее на страх или отвращение, не знаю, как и объяснить...

Частенько после ужина мы втроем отправляемся посмотреть какой-нибудь фильм. В тот вечер мы как раз были при деньгах и решили пойти на премьеру в центре города. Этот фильм был особенный: там были не одна, а сразу три героини, которых играли такие звезды, как Лорен Боколл, Мэрилин Монро и Джейн Расселл. Вся их одежда состояла из фиговых листочков и бахромы, прикрывавших лишь пикантные места, и танцевали они этот безумный танец под названием чарльстон. После сеанса мы втроем пошли домой по Аламеде, не пропуская ни одного питейного заведения, и говорили, говорили, потому что нам всегда есть о чем поговорить. Мы обсуждали фильм, который только что посмотрели, распределяя между собой актрис. После долгих споров мы наконец договорились: Мемо, который любит строить из себя аристократа и говорит, что старушки — лучше, потому что они нежнее, выбрал Лорен

Боколл. Поскольку я скорее блондин, я взял себе Мэрилин Монро, а Хайме, который всегда предпочитал количество качеству (может быть, потому что он сам невелик), избрал Джейн Расселл. К общему удовольствию, на этот раз мы не испортили друг другу настроения, как это у нас иногда случается из-за женщин. Мемо то и дело повторял:

— Черт побери! Все бы отдал, чтобы Лорен научила меня танцевать чарльстон!

Мы вошли в очередной бар, выпили по стакану красненького, вышли, прошли несколько кварталов, потом вошли в другой бар и так постепенно добрались до проспекта Эспанья. Хотя никто не мог бы сказать, что мы пьяны, лучше было не говорить о той степени опьянения, в которой мы находились. Но для нас эта выпивка была из умеренных, спокойных, будничных. К дурачине Мемо привязалась мелодия чарльстона. Он ее напевал всю дорогу, а так как у него ужасный слух, он мало что мог правильно спеть, еще меньше — станцевать, хотя он и пытался. Время было позднее, и нас с Хайме потянуло ко сну. Но мы дали очарованному в ту ночь знаменитым чарльстоном Мемо затащить нас в последний бар.

— А потом, — сказал он, открывая дверь, чтобы пропустить нас, — я вас подвезу на такси.

Это нас убедило, и мы уверенно вошли. Оказались мы в таверне, каких сотни во всех кварталах. Помещение было узким, длинным, сбоку находилась стойка с кофеваркой-экспресс и кранами, из которых наливали светлое и темное пиво. Еще там было около десятка столов, раскрашенные в зеленый цвет стулья с потрепанными сиденьями из камыша, а в центре заведения — сверкающий музыкальный аппарат, в который, чтобы услышать музыку, нужно опускать фишки и нажимать кнопку.

Так как было довольно поздно, здесь оставалось не более двух-трех посетителей. Мы уселись и заказали по бокалу фирменного вина. Официант, которого, казалось, уже не держат ноги и он вот-вот упадет, передал заказ хозяину, а тот, вручив несколько фишек для проигрывателя толстяку, стоявшему у стойки, подал нам три стакана довольно темного вина, терпкость которого ощущалась на расстоянии.

Толстяк сел за стол, почти вплотную придвинутый к проигрывателю. Вид у него был усталый, и казалось, что его довольная физиономия прямо соединяется с телом валиком жира. Он был очень пьян, и, несмотря на то что

стояла зима и мы предпочли из-за холода в помещении оставаться в пальто, он потел и, даже расстегнув ворот рубашки, шумно дышал, словно задыхался. Я обратил внимание на то, что его черты лица, от природы довольно тонкие — нос, рот, хорошо очерченные брови, — показывали, что он когда-то был худым, но из-за любви к хорошей жизни, еде и питью он превратился в эту жирную тушу, приобретя заодно и свою усмешку, от которой уже не мог отделаться.

Вдруг нам показалось, что толстяк рухнул на стол, но тут мы поняли, что он наклонился, протягивая руку и опуская фишку в прорезь проигрывателя. Рядом с его бутылкой на столе лежала куча таких фишек, и мы радостно переглянулись, потому что мы любим музыку, особенно если она бесплатная. Приготовившись слушать, мы попросили еще фирменного вина, терпкого, но отлично прогонявшего холод. Толстяк взял себе стакан и, пока не заиграла музыка, одним махом опрокинул его в себя. Затем он налил еще стакан, но рука его тряслась, и вино разлилось. Пролившееся вино он растер по столу ладонями, а потом обе руки вытер о брюки. На брюки стало противно смотреть. Толстячок был в стельку пьян!

Опустилась пластинка, заскребля игла, и послышались первые звуки.

— Чарльстон! — мгновенно воскликнул Мемо, возбужденный тем, что узнал мелодию, и посмотрел на толстяка, словно поздравляя его с таким удачным выбором.

Мы взглянули на толстяка, и у нас от изумления перехватило дыхание.

Сидя на камышовом стуле, поблескивая глазками, уставившись на что-то, как казалось, плававшее у него перед носом, толстяк из стороны в сторону перекачивал свое огромное тело, следуя ритму танца и одновременно приготавливая:

— Танцуем чарльс-тон, чарльс-тон, чарльс-тон!

Мы переглянулись и пододвинули стулья, чтобы лучше видеть этот спектакль. Это, очевидно, вдохновило толстяка, и на бедном камышовом стуле началось настоящее землетрясение: содрогалось все тело толстяка, его побагровевшее лицо с полузакрытыми глазами и маленькие руки с короткими, заостренными, как у гипсовых святых, пальцами.

— Танцуем чарльс-тон, чарльс-тон, чарльс-тон...

Энтузиазм толстячка был так велик, что и мы стали в такт топать и бить в ладоши. Все помещение ходило

ходуном — бутылки, выстроенные на полках за стойкой, и недавно вымытые стаканы позвякивали, вибрируя от движений сотрясавшегося толстяка.

— Чарльс-тон, чарльс-тон, чарльс-тон, — подхватили мы.

Столы, стулья, мигающий неоновый свет — все, казалось, подыгрывало обезумевшему толстяку в его сидячем танце. Лицо его было красным, как помидор, лоб и затылок блестели от пота. Музыка кончилась. Достав из кармана носовой платок, он быстро вытер пот с лица, будто был не склонен терять время, и, опрокинув махом еще один стакан вина, спросил нас прерывающимся от изнеможения голосом:

— Вам понравился чарльстон? Вот это музыка! Видели бы вы, как я его танцевал, когда был худым! Шаг туда... шаг сюда... раз, два, три... та-та-та, тах-тах-тах...

Он наклонился к проигрывателю, бросил еще фишку, и чарльстон зазвучал вновь.

Оставшиеся завсегдатаи, человека два, придвинулись к столу толстяка, каждый со своим стаканом в руке, и хлопали ему, поддерживая ритм. На вид их все это совсем не веселило, просто это было единственное зрелище, которое помогало им бороться со сном и холодом. Официант опустил железную штору, служившую дверью, и вместе с хозяином, который перестал подсчитывать выручку, тоже присоединился к группе, окружавшей толстяка, двигавшегося в убыстренном темпе, танцевавшего руками, всем телом, ногами, лицом. Во время танца он знаком указал официанту на пустую бутылку. Официант повиновался и поднес ему стакан, который тот, не прекращая трястись, выпил, пролив при этом половину содержимого. В помещении стоял тяжелый винный запах.

Мемо поднялся и, подойдя к толстяку, сказал:

— Послушайте, сеньор, почему бы вам не показать мне, как танцуют чарльстон? Мне так хочется научиться его танцевать!

Без замедления дикого ритма своих движений толстячок отрицательно покачал головой. Когда пластинка кончилась, опуская новую фишку в щель автомата и опорожня очередную полный стакан, толстяк сказал:

— Нет... мне запрещено танцевать, мне это вредно...

Тем не менее, когда музыка заиграла вновь — опять чарльстон, — толстяк, как околдованный, не смог сопротивляться искушению. Охваченный порывом более сильным,

чем его воля, он, тяжело дыша, поднялся с полузакрытыми глазами, словно находился при смерти, и тяжелой рукой потянул к себе Мемо, чтобы научить его танцевать. Мемо поддался, но толстячок через несколько шагов отпустил его и сам начал танцевать чарльстон между стульями и столами, которые мы раздвинули, чтобы было больше места. Он был настолько легок, танцевал с такой грациозностью и таким мастерством, следуя всем изменениям ритма, что мы сидели раскрыв рты от изумления. Не верилось, что такие маленькие ножки, скрещиваясь, отбивая такт, снова пересекаясь и расходясь с таким проворством, могут выдерживать огромную массу этого тела в движении. Все мы, зараженные ритмом танца, включая хозяина и официанта, аплодировали, чтобы еще раззадорить толстяка. Ближе к концу пластинки толстяк, казалось, не обращал уже внимания ни на музыку, ни на ритм и, как расстроенный инструмент, игра которого не зависит ни от каких законов, начал танцевать, колыхаясь и двигаясь необузданно, головокружительно, словно безумец. Пластинка доиграла. В этот самый момент толстяк рухнул на пол.

— Набрался до краев! — воскликнул Хайме, но это прозвучало как-то негромко, будто он испытывал страх.

Тут было не до смеха. Действительно, толстяк упал, как мешок. Но мы сразу поняли, что свалился он здесь, среди зеленых ножек стульев и столов, не так, как обычно падает пьяный. Толстяк был болен, и болен очень серьезно. Он сильно стонал и катался по полу. Вдруг его вырвало, это была темная жидкость — вино или кровь, не знаю, мне не хотелось смотреть, а потом он как будто расслабился, затих и стал все больше походить на мертвеца. Его пробовали привести в чувство, а он все стонал и стонал, как ребенок, и я понял: что-то оборвалось внутри этого огромного тела, лежавшего без сознания, но не так, как это бывает, когда человек пьян, а так, как когда он мертв.

Ну, ладно. Неприятные подробности я опущу.

Прибыла карета «скорой помощи», врач покачал головой, ничего не сказал, и толстяка унесли. Наверное, он был тяжелый, потому что санитарам стоило большого труда положить его на носилки и вынести. Больше я о нем ничего не слышал, не знаю, умер он или нет. Вполне возможно, что и умер, — так ужасно было слышать, как он стонет, распростертый на полу бара, видеть, как он мечется, как его большое круглое лицо искажает боль.

Бар закрыли, и мы втроем пошли пешком, не говоря ни

слова. Я вспомнил, как Мемо обещал отвезти нас в такси, и страшно рассердился, увидев, что он не собирается сдерживать свое слово, что он такой лгун и необязательный человек. Было очень холодно и немного ветрено, и это меня еще больше взбесило. Мне захотелось прямо тут сказать Мемо несколько теплых слов и идти дальше одному, но я промолчал, представив, как я пойду дальше один по этой улице, и никого не будет рядом, кроме голодных собак, рыскающих в поисках объедков на помойках... На каждом шагу я оборачивался: мне казалось, что я слышу шум запоздавшего трамвая, на который можно было бы сесть, чтобы быстрее добраться домой, но шум доносился издалека, с какой-то отдаленной улицы. Идиот Хайме икал, и от этого я еще больше нервничал. Дойдя до нашего квартала, мы разошлись, даже не взглянув друг на друга и не попрощавшись. Быть может, в тот момент они меня тоже не увидели.

Воспоминание о толстяке-танцоре не покидало меня в течение всех дней, что я не встречался с Хайме и с Мемо. Когда я проходил мимо какого-нибудь бара, меня начинало тошнить, словно вино, все вино на свете имело такой же отвратительный запах, какой наполнял бар в ту ночь, когда санитары, одетые в белое, как ангелы, унесли бедного толстяка. Но хотя я все время помнил о своих друзьях, — и так мне их не хватало, будто без них мне и жизни нет, — я не захотел их искать: мне казалось, — разберись-ка тут, почему, — что именно они виноваты в том, что произошло той ночью. И весь этот страх, который я испытывал при мысли о толстяке (ибо я боялся, мне незачем это скрывать), еще больше усилился бы, если бы я вновь с ними встретился. Вместе мы бы стали опять пить вино, а я этого не хотел.

Каждый вечер, что мы не виделись, казалось, все больше отодвигал какую-то неведомую опасность, но также отдалял все то, что мне прежде казалось стоящим. Два или три дня подряд я выходил около восьми, чтобы купить пирожок у старушки, которая стоит на углу со своей жаровней. На самом деле я делал это нарочно, в надежде встретиться с Хайме или Мемо. Наконец мы встретились. По моим подсчетам прошло тринадцать дней с того последнего вечера. Мы купили себе по пирожку, съели их, задержавшись на углу, и, как будто мы виделись накануне, договорились идти в кино. Когда кончился фильм, ни один из нас не испытывал желания говорить. Я знаю, что с нами

происходило. Быть вместе и посмотреть кино, а затем не пойти пропустить стаканчик вина означало, что наша дружба дала трещину. В этом молчании, как и в ту ночь, страх, разделявший нас, мог превратиться в ненависть и разрушить нашу дружбу навсегда.

По дороге домой мы прошли мимо бара, но ничего не сказали, даже не посмотрели друг на друга. Я сжал кулаки в карманах пальто и то же напряжение угадывал в Мемо и Хайме. Продолжая молча шагать, мы прошли мимо другого бара, и — ничего, будто его и не было. Перед самым нашим кварталом есть еще один бар, последний. Я знал, что если нас что-нибудь не удержит и не заставит войти, с этого вечера мы станем видеться реже, даже, может быть, перестанем здороваться при встрече. Этого нельзя было допустить. До бара оставалось еще несколько шагов. Я должен был остановиться и заставить всех войти. Но, подойдя к двери бара, мы втроем остановились одновременно. Я посмотрел на Хайме и на Мемо и понял, что они думали о том же, о чем и я. И когда мы трое, стоя у входа, одновременно заулыбались, мы поняли, что опасность миновала. Хайме сказал:

— Ну, что? Мир?

Мы открыли дверь и вошли.

— Что будут пить сеньоры? — спросил я, кривляясь.

— То самое! — усмехнулся Мемо.

Думаю, что мы поступили правильно. Мы слишком молоды, чтобы так беречь себя. Вот когда мы состаримся и будем страдать от повышенного давления, как тот толстяк, танцевавший чарльстон, мы и начнем о себе заботиться. А пока...

И мы заказали три бутылки красного, самого лучшего, самого дорогого.

ДВА ПИСЬМА

Посвящается Джону Б. Эллиоту

Вот последние письма, которые написали друг другу два человека — чилиец Хайме Мартинес и англичанин Джон Датфилд. Познакомились они в подготовительном классе при одном коллеже в Сантьяго и вплоть до его окончания проучились вместе. Но они никогда не были друзьями. Да иначе и быть не могло, потому что уже с самого начала

проявилась противоположность их характеров и наклонностей. Правда, чилиец часто приносил англичанину сэндвичи, ибо Датфилд жил и питался при коллеже и, как все обитатели интернатов всех коллежей, страдал от постоянного голода. Но и это не стало поводом для их сближения. Однажды на турнире по боксу, который проводился в коллеже, Джону Датфилду и Хайме Мартинесу пришлось оказаться в роли противников. Подбадривающие крики товарищей на миг придали силу обычно неуверенным кулакам чилийца, и он расквасил нос своему сопернику. И все же победил англичанин. Однако это никого не удивило, ведь Датфилд был спортсменом по призванию, тогда как Мартинес предпочитал беседы и чтение. Но чилиец не перестал приносить сэндвичи англичанину.

В честь завершения учебы в коллеже, который оба они закончили весьма посредственно, был устроен торжественный ужин. В тот вечер не иссякали напитки и текли откровенные беседы, добавляя к старым детским привязанностям нечто новое, свойственное взаимоотношениям начавших взрослеть людей. Датфилд вскоре должен был уезжать. Он принадлежал к бесцветной английской семье торговых кочевников, которая, повинаясь всемогущему гласу фирмы, чьим представителем в разных странах был его отец, время от времени меняла место жительства. Теперь, согласно приказу свыше, семья должна была переехать в Кейптаун, в Южно-Африканский Союз. В конце ужина, когда истощились воспоминания и смолкли песни, Датфилд и Мартинес обменялись адресами, пообещав писать друг другу.

И на протяжении десяти лет они изредка переписывались. Датфилд поселился с родителями в Кейптауне. Но ему не сиделось на месте. Он пересек вельд и тропики, побывал в Родезии, один, в поисках удачи, и, наконец, пустил корни в Кении, где женился и приобрел плантацию. И вся его дальнейшая жизнь прошла там, рядом с шумами девственных лесов, в заботах о маисе, в созерцании того, как растут его дети вместе с деревьями и коренными жителями, разделяя представления и предрассудки последних.

Чилиец между тем оставался на родине. Годы шли, и он вдруг заметил, что оказался один, что понемногу растерял всех своих товарищей по коллежу, а новых друзей не приобрел. Однако, сам себе удивляясь, он продолжал поддерживать переписку с Джоном Датфилдом, правда, отвечая на его письма с большим опозданием.

Хайме Мартинес стал юристом. Будучи чилийским адвокатом, он вел спокойную, тихую, весьма обеспеченную жизнь. Он сразу преуспел в своем деле. Одевался Хайме Мартинес почти всегда в темное, а его руки, возможно слишком нервные для человека его профессии, были неизменно ухоженными. Письма, которыми раз, а иногда и два в год он обменивался с кенийским плантатором, содержали смешные воспоминания школьных дней, а также новости о тех переменах, которые с годами происходили в жизни обоих. В письмах были вопросы и ответы по поводу того, как менялся со временем город, где оба они учились. И больше ничего. А что же еще? Как стать ближе после стольких лет и в такой дали друг от друга, тем более что особой близости между ними никогда и не было?

Вот последнее письмо, которое, спустя десять лет после окончания коллежа, кенийский плантатор Джон Датфилд написал чилийскому адвокату Хайме Мартинесу.

«Дорогой Мартинес,

наконец я отвечаю на твое давнишнее письмо, пользуясь тем, что я слегка приболел и вот уже несколько дней лежу в постели. Я не писал тебе раньше, потому что, сам знаешь, нелегкое это дело — работа плантатора в Кении, наверное, не то что труд адвоката в Чили.

На днях со мной произошла любопытная история. Думаю, поэтому мне и пришлось в голову написать тебе. Вышли мы с женой под вечер посмотреть скот на ферме. Подходим взглянуть на свиней — и вдруг видим: в стороне от других свиней стоит боров, покрытый белой шерстью, и вид у него такой, будто он печально созерцает закат. Каково же было мое удивление, когда жена сказала: «Смотри, Джон, похоже, на этого борова снизошла божья благодать, что-то его осенило». Представь себе! Ты помнишь об «Осененном поросенке»? Держу пари, что нет. Ну, помнишь, был такой преподаватель, тогда только что приехавший из Кембриджа, которого мы так обозвали. Он занимался с нами семестр, этакий светловолосый толстяк, который все читал нам оды, не помню кого, и восхищался чилийскими закатами. На следующий день после его приезда мы, те, что жили при коллеже, намочили ему в постели простыни, обставив все таким образом, чтобы он решил, будто таков национальный обычай встречи гостей. Он догадался, что это розыгрыш, но, чтобы завоевать нашу благосклонность, не стал на нас доносить. Он недолго

пробыл в коллеже. Беднягу одолела меланхолия, тоска по родине, и он вернулся в Англию. Тогда ему было около двадцати пяти, меньше, чем нам с тобой сейчас.

Не понимаю, как можно тосковать по Англии. Понятно, я был очень мал, когда уехал, и жили мы, прежде чем приехать в Чили, несколько лет на Ямайке, поэтому я не могу судить. Но когда меня выписали из военного госпиталя, где я лечил свою раненую ногу, которая и сейчас время от времени дает о себе знать, я, более из любопытства, чем из практических соображений, решил объехать Англию. Все показалось мне тесным, уродливым, грязным, старым, климат — несносным. На меня напала клаустрофобия¹ и при первой же возможности я вернулся в Кению. Однако интересно, что с моими родителями произошло что-то аналогичное истории с «Осененным поросенком». Вот уже несколько лет, как мой отец ушел из фирмы, которую долгие годы представлял в Кингстоне, Вальпараисо и Кейптауне. В последнем месте он занимал прекрасное положение. Моих стариков все уважали, у них был великолепный круг друзей и знакомых и чудесный дом с видом на океан в одном из самых респектабельных районов Кейптауна. И вместо того, чтобы после ухода отца на пенсию остаться там и наслаждаться благами жизни, они вдруг решили купить коттедж в йоркширской деревушке, где они родились, познакомились и поженились. Сейчас они там живут, счастливые, будто никогда и не уезжали. Я видел эту деревушку, когда мои родные, узнав, что я выписываюсь из госпиталя, пригласили меня провести с ними несколько дней. Ты себе не представляешь, что это за уродство! Все жители бедны, в том числе и мои родственники. Я не смог бы жить там, среди этих скучных провинциалов, в этой грязной старой деревне, рядом с шахтой и вонючими заводами вокруг. До сих пор не пойму, почему старики так довольны.

Не знаю, может быть, из-за того, что я нездоров, как раз вчера вечером я думал о том, что не представляю, куда бы я отправился, если б настал мой черед уходить на покой, как отцу. Я был совсем малышом, когда уехал из Европы, и не чувствую, что меня с ней что-то связывает. О Кингстоне и речи нет — помню только свою няню-негритянку, все остальное стерлось из памяти. В Чили я бы не знал, что делать: я бы, несомненно, чувствовал там себя чужим, тем

¹ Клаустрофобия — боязнь замкнутого пространства.

более что все мои друзья, наверное, разъехались. Кроме того, моя жена родилась здесь, и мысль об Америке ее пугает. Может быть, Кейптаун был бы выходом. Купить домик у моря, вступить в клуб, где у меня были бы друзья и дешевое виски...

А вообще-то мне едва тридцать, и еще не пришло время думать об этом серьезно. Думаю, что скорее всего — во всяком случае, все к этому идет, — я доживу свои дни здесь, на этой плантации, в этом доме, который я сам возвел и к которому мы совсем недавно сделали новые пристройки. Посмотрел бы ты, какая это прелесть! Жена занимается садом и огородом. Правда, должен тебе признаться, урожай фруктов (деревья еще совсем молодые) невелик; к тому же Пэт и Джон, мои ребяташки, забираются на деревья, подобно местным жителям, и поедают плоды еще зелеными. Можешь вообразить, как болят у них животы!

Ну вот, написал я много, да все ни о чем. Если когда-нибудь вдруг ты решишь поохотиться в наших краях, то повторяю тебе — у тебя есть дом. Пиши. Не заставляй меня целый год ждать твоих писем и вестей из Чили.

Джон Датфилд».

Это письмо так и не попало в руки адресата. Оно каким-то образом заблудилось на почте, и его получил некий Хайме Мартинес, живший на улице Чили в Сантьяго-де-Куба. Открыв письмо, мулат прочел его с удивлением. Удостоверившись, что оно не ему, он запечатал письмо с намерением отправить его чилийскому адвокату, который там упоминался. Но за всякими делами и многочисленными хлопотами (жена кубинца должна была родить девятого ребенка) о письме забыли, и прошло немало времени, пока кубинец вспомнил о нем. А вспомнив, не смог найти. И тогда он подумал, что беспокоиться ему не о чем: в письме ведь не было ничего важного. Такое письмо вполне можно было и не писать.

А Джон Датфилд больше так и не собрался написать Хайме Мартинесу. Прошли годы, кенийский плантатор продолжал мирно жить в своих владениях. Борьба за существование была суровой, но она вознаграждалась. С каждым днем резче становилась линия, делившая его лоб в том месте, где кончалась тень от пробкового шлема, с каждым днем блекли его глаза и грубели руки. Какое-то время он удивлялся, что не получает писем из Чили. Потом перестал удивляться. А несколько лет спустя Джон Датфилд, его

жена и дети были убиты нападшими на них мау-мау¹, а его дом и поля озарили пламенем одну из темных африканских ночей.

Последнее письмо Хайме Мартинеса было написано приблизительно в то же время, что и письмо Джона Датфилда. Чилийский адвокат тогда только что опубликовал небольшое историческое исследование о своем предке, который принял мимолетное участие в деятельности одной из хунт², способствовавших укреплению независимости его родины. Книга имела успех лишь у читающей элиты. Язык ее был точен, а изображение эпохи — свободно от сентиментальности. Мартинесу казалось, что он в своей книге возвеличил все, что указывало на его благородное происхождение, давние корни. Однако лишь он сам, да и то не очень ясно, осознавал, что именно эти корни превратили его в узника, лишили внутренней свободы. Он не сам выбирал себе занятие и образ жизни, его втянули во все это помимо его воли, отчего он испытывал неудовлетворенность и глубокое внутреннее беспокойство.

Однажды зимним вечером, когда холод стучался в окно, он выпил чашку горячего чая и, не ведая почему и зачем, взял ручку и написал следующее письмо Джону Датфилду, которому не писал почти год и от которого давно не получал писем.

«Дорогой Джон,

не знаю, почему я пишу тебе сегодня вечером. Возможно потому, что давно ничего не происходит. Тебя, должно быть, удивляет меланхоличная нота, с которой я начинаю это письмо. Не беспокойся: мне не грозит тюрьма за мошенничество, я не собираюсь кончать жизнь самоубийством, я не болен. Напротив, так как ничего не произошло, я себя чувствую как никогда хорошо.

Может быть, поэтому я тебе и пишу. Если тебя это интересует, скажу, что мои дела продолжают идти в гору и я все богатею. Через несколько лет, а мне едва тридцать, я, без сомнения, буду одним из известнейших адвокатов Чили. Но как только я говорю кому-либо о том, что только что поведал тебе, я чувствую потребность выпить виски, чтобы не сомневаться в том, что все это чего-то стоит, что

¹ Мау-мау — участники тайного религиозно-политического движения в Кении 1940—1950-х годов.

² Вероятно, речь идет о периоде Войны за независимость испанских колоний в Америке в 1810—1826 гг.

все так и должно идти. Да, наверное, стоит. (Я только что здорово глотнул виски.) Ты, конечно, прочтя эти строки, будешь смеяться надо мной, и не без оснований — ты, у которого в жизни нет никаких проблем. Но погоди, не смейся. Именно потому, что мы с тобой такие разные и ты живешь так далеко отсюда, что я не могу увидеть твоей ироничной улыбки, я пишу тебе все это. На самом же деле я просто не знаю, что тебе рассказать. В общем-то, рассказывать нечего.

Конечно, нечего. Однако «нечего» — исходная тема для многого. Вспоминаешь ли ты иногда коллеж? Думаю, что никогда. Или если вспоминаешь, то, наверное, как о некоего рода большом загородном клубе, где все было великолепно и просто. И ты прав, ибо тебе не приходилось сталкиваться с ужасным несоответствием всего этого действительности. А я вот помню наш коллеж. Особенно часто я вспоминаю его теперь. Помнишь те последние годы, когда мы хвастались, что посещаем интересные места и бесстрашно устраиваем попойки накануне каких-нибудь экзаменов? Или как однажды Дюваль сказал нам, что пригласил на ежегодный карнавал в коллеж потрясающую женщину, а потом торжественно явился, очень напыщенный, под руку с кузиной, у которой к тому же были косички? Кстати, эта самая кузина Дюваля вышла замуж и имеет четверых детей.

Не знаю почему, но твой образ всегда передо мной: я вижу, как ты взбираешься на каменный забор и поджидаешь, не пройдет ли мимо какая-нибудь из воспитанниц коллежа для девочек из хороших семей — он находился на другом углу. Однажды, это было, когда мы учились в выпускном классе, мои тогдашние большие приятели Лосано и Бенитес написали любовное письмо, кстати весьма скандальное, одной из учениц этого коллежа. Ольга Мерино ее звали. Как-то раз, когда она проходила мимо, ты сказал, что она — самая ошеломляющая женщина из всех, каких ты видел в жизни. Она была миниатюрна, у нее были гладкие светлые волосы. Хотя я беседовал с ней не более трех раз, я был в нее по уши влюблен, но ей об этом не сказал. И эта моя любовь, как и многие другие, быстро остыла. Я ее часто вижу, потому что она вышла замуж за моего коллегу, у которого я бываю. Ах, если б ты увидел ее сейчас! Она так изменилась... В нашем забытом богом уголке ее считают самой элегантностью и красотой. Но теперь это совсем другой человек. В ней не сохранилось ничего, ничего того,

что десять лет назад побуждало меня целый месяц быть страстно влюбленным в нее. Все это вполне естественно, логично, но это и невыносимо. И со всеми нами произошло то же самое. Мы уже сами себя не узнаем... Как ты думаешь, неужели и я стал таким же неузнаваемым, изменившимся? Сама по себе Ольга здесь ни при чем, я ее тебе назвал просто потому, что ты ее когда-то видел. Она здесь ни при чем, потому что, естественно, в жизни я еще не раз влюблялся, но эти увлечения также прошли. Мной не управляют ни мои пороки, ни мое желание сделать карьеру, ни мои друзья. Ничто из совершенного мной, как я вдруг подумал, не имеет значения. Наверное потому, что людям свойственно забывать. А я не хотел забывать! Я никогда не мог смириться с тем, что отдельные частички моего прошлого — вещи, люди, места, — все, что я любил или ненавидел, может потерять значение, потускнеть! А ведь все потеряло значение... И это показывает, что я способен скользить лишь по поверхности явлений.

Кстати, я помню, как ты, побывав на войне ¹, рассказывал мне об отвращении к тому разрушавшемуся миру. И я радовался про себя, что нахожусь здесь, в этой сказке, в раю, вдали от тех скорбных испытаний, выпавших человечеству. Я читал газеты, дотошно собирал информацию, с интересом следил за переменчивым ходом военных действий. Но это тоже меня не волновало. Почему? Может быть, ответ знаешь ты.

Не очень-то смейся, когда прочтешь это письмо. И еще: прошу тебя не отвечать мне в том же тоне. Ответь мне так, словно ты и не получал этих строк от

Хайме Мартинеса».

Когда автор перечитал свое письмо, он почувствовал, что ему стало легче. Но письмо ему показалось бессвязным, сентиментальным, чересчур литературным, раскрывающим ту сторону его существа, которая, если присмотреться, не сыграла большой роли в его судьбе. Он порвал письмо и, бросив обрывки в корзину, пообещал себе, что вскоре напишет другое. К тому же Мартинес вспомнил, что Джон Датфилд никогда не был особо чувствительным человеком, и не захотел наталкивать его на ложные выводы.

Прошли годы, а чилийский адвокат так и не написал кенийскому плантатору. Словно стыдясь письма, которое

¹ Речь идет о второй мировой войне.

он порвал, он вновь и вновь откладывал тот момент, когда он напишет в Африку. Хайме Мартинес быстро достиг вершины своей карьеры, и у него уже не было времени вспомнить о своем долге перед Датфилдом.

Только иногда на протяжении долгих лет, когда он перелистывал газету в тишине своей библиотеки или своего клуба, ему случайно попадалось в какой-нибудь статье слово «Кения». Тогда, не более чем на полсекунды, у него что-то замирало внутри, и он вспоминал о друге, который уже перестал быть ему другом, который никогда им не был и которому уже не суждено было им стать. Но это бывало только на полсекунды. Горячий чай, который ему как раз приносили, и статья о меди, соседствующая с той, где мимоходом упоминалась Кения, полностью захватывали его внимание. После этой доли секунды проходили годы — два, три, а может быть, и четыре, — и он больше не вспоминал о Датфилде. Мартинес не знал, что уже давно африканские ветры развеяли его прах.

Жозе Жасинто Вейга

(Род. в 1915 г.)

Бразилия

Жозе Жасинто Вейга — один из ведущих бразильских прозаиков. По образованию юрист, работал торговым агентом, диктором на радио, государственным служащим, журналистом. Автор многих сборников рассказов и романа «Тени бородатых королей» (1973), завоевавших широкую популярность и неоднократно переиздававшихся в Бразилии. Лауреат национальных литературных премий.

Важное место в творчестве писателя занимает тема детства.

© José J. Veiga. Os cavalinhos de Platiplanto, 1974; A maquina extraviada, 1976.— «Editora civilização Brasileira».

ЛОШАДКИ ИЗ ПЛАТИПЛАНТО

Судьба свела меня с этими симпатичными созданиями, когда я был совсем ребенком. Дедушка Рубен пообещал мне лошадку из своей фазенды в Шове-Шуве, если я позволю вскрыть рану на ноге, которую проткнул копьём во время игры. Дважды аптекарь Озмудио приносил к нам в дом чемоданчик с инструментами для операции, но я подымал такой крик, что он так и не осмелился переступить порог моей комнаты. Во второй раз отец попросил сеу Озмудио подождать на галерее, пока он со мной переговорит. Я отлично знал, о чем пойдет речь, и решил сыграть на своей болезни: только отец направился к моей постели, как я снова разразился плачем и воплями в надежде привлечь на свою сторону мать, а может, и кого-нибудь еще из домашних.

На мое счастье, как раз в это время приехал дедушка Рубен. Когда он возник в дверях, я понял, что спасен, по крайней мере на этот раз: в нашем доме стало неписаным законом не перечить дедушке Рубену. Чтобы закрепить победу, я еще немного поплакал и успокоился, лишь когда дедушка знаком попросил отца выйти.

Дедушка присел на край моей постели, положил трость и шляпу и спросил, чего отец от меня хочет. Для важности я сказал, что сеу Озмудио собирается отрезать мне ногу.

— Как, совсем?

Я имел в виду не совсем это, но решил ответить утвердительно, правда, благоразумно не сказал ни слова, а только кивнул.

— Ах, злодеи! Как же это можно! Дай-ка взглянуть.

Дедушка достал очки, надел их на нос и стал внимательно осматривать мою ногу. Он оглядел ее сверху донизу, потрогал и спросил:

— Больно?

Ну конечно, я ответил, что больно, и даже притворно застонал. Он снял очки, сделал серьезное лицо и сказал:

— Так уж сразу отрезать! Это они хватили. Достаточно сделать надрез.

Верно, он заметил мое разочарование, потому что поспешил пояснить, пощекотав мне пятку:

— Разумеется, даже если очень нужно, решает тот, у кого болит. Если ты скажешь «нет», я никому не дам к тебе прикоснуться. Это грудные младенцы не знают, чего хотят, а ты у нас скоро наденешь длинные штаны. Я тебе их куплю и еще подарю лошадку, ты сможешь проехаться на празднике.

— И мексиканскую сбрую?

— А как же иначе! Я уже сделал заказ Фелипе. Только вот какое дело: если нога не заживет, ты не сможешь ехать верхом. Я думаю, ты должен немедленно потребовать, чтобы тебе вскрыли рану.

— А это не больно?

— Может, немножко и поболит, да ведь это совсем не то, что отрезать ногу. Можно и потерпеть. Помню, в Шове-Шуве надо было отнять загноившийся палец — всего-то палец — одному пастуху, так он от боли налил в штаны. А это был очень сильный человек, он мог за хвост свалить быка.

Дед умел объяснять доходчиво, никогда не повышал голоса и не выходил из себя. Он позвал сеу Озмузио, но дал мне самому распорядиться. Я немного поплакал, но не от боли, поскольку аптекарь сделал мне обезболивание, а так, для порядка: если бы я только показал, что ничего не почувствовал, они бы потом надо мной посмеялись.

Пока мама долечивала меня, я думал только о лошадке. Каждое утро, проснувшись, я первым делом осматривал ногу. Вот была бы досада, если бы дед привез лошадку, а я не смог бы на нее сесть. Мама говорила, что я напрасно беспокоюсь, праздник еще не скоро и я могу спокойно болеть. Но мне не терпелось.

В детстве всегда кажется, что все на свете происходит не так, как тебе нужно. Поэтому я считаю, не стоит желать чего-то чересчур упорно, делай вид, что тебе не так уж хочется. Вот я не дождался своей лошадки, потому что слишком хотел ее получить.

Дедушка заболел, и дядя Амансио отвез его далеко в больницу. Другой мой дядя, по имени Торин, — он всегда мне не нравился — остался присматривать за Шове-Шувой. Дядя Торин сказал, что, пока он там за хозяина, лошадки мне не видать. Я собрался написать дедушке про его подлость и уже составил черновик, но мама сказала, что я ни в коем случае не должен этого делать: дедушка очень болен и ему может стать хуже от такой вести. Когда он поправится и вернется, он сам даст мне лошадку, и не нужно будет ничего рассказывать.

После школы, если мама не звала меня домой, я садился во дворе под манговым деревом и думал о своем коньке, о прогулках, которые нас с ним ожидают; мне было так хорошо, что казалось, будто он у меня уже есть. Вот только я не мог найти ему подходящего имени: было трудно на чем-то остановиться, на ум приходили избитые клички вроде Рэкса, Стремительного, Султана. Помочь мне вызвался падре Орасио, но у него все имена выходили слишком красивыми, книжными, например, мне запомнился Пегас. Разгорелся спор: Озмузио, который тоже много читал, подтвердил, что самое верное — это Пегас. Я не поддался и сказал, что это слишком трудное имя.

Раз мы с отцом отправились в Журупензен, и там мне повстречался подвыпивший парень, гривастый, ну прямо как жеребенок. Я спросил, как его зовут, он ответил — Зибиско. Я с ходу решил: назову мою лошадку Зибиско.

Время шло, а дедушка Рубен не возвращался. Изредка приходили письма от дяди Амансио, папа с мамой делались печальные, говорили что-то непонятное о болезнях, мама весь день вздыхала. Однажды дядя Торин поехал навестить дедушку, а вернувшись, объявил, что купил Шове-Шуву. Папа возмутился, поругался с дядей, он сказал, что это мошенничество, дедушка Рубен не в состоянии подписать бумагу, что он подает на дядю в суд. С того дня дядя Торин никогда у нас не бывал и, навещаясь в город, объезжал наш дом стороной.

Тут пришло еще одно письмо — я увидел, как мама плачет у себя в комнате. Я сделал вид, что ищу свою игрушку, и вошел к ней. Мама подозвала меня и сказала, что

дедушка никогда уже не вернется. Я спросил: может, он умер, — а мама ответила, что он жив, но как бы умер. Тогда я спросил, смогу ли я его повидать; мама сказала, что смогу, но вряд ли это стоит делать.

— Твой дедушка очень изменился, сынок. Он стал не похож сам на себя. — И она снова расплакалась.

Я не понял, как это мог измениться дедушка Рубен, но побоялся спросить. Одно я понял очень хорошо: лошадки мне уже не видать. В тот единственный раз плакал я из-за моей лошадки, и ничто не могло меня утешить.

Не помню, тогда же или днями позже я отправился в одиночку к новой, очень большой фазенде, принадлежавшей одному сеньору, которого все называли майором. Дорога туда пролежала через мост, но не перекидной, а подъемный. На мосту, вверху, работали люди, такие крошечные среди балок с неприбитыми досками. Я уже высоко забрался, когда, взглянув вверх и увидав, сколько еще оставалось, совсем упал духом. Я стал потихоньку спускаться, стараясь не оступиться, но тут один из рабочих меня заметил и попросил ему помочь. Работу нужно закончить до захода солнца, потому что если не заделать дыры дотемна, могут пролиться кровавые слезы, он так сказал, а почему — я не понял.

Я испугался, что его слова сбудутся, но не знал, чем смогу помочь. Я был такой маленький, от одного взгляда наверх у меня перехватывало дыхание. Я сказал об этом рабочему, а он засмеялся и ответил, что это я не боюсь, а просто передразниваю других. Прежде чем я раскрыл рот, он схватил ведро с камешками и бросил его мне.

— Выкладывай камешки по одному, и не гляди ни вверх, ни вниз. Увидишь, страх скоро пройдет.

Я сделал все, как он велел, я хотел ему доказать, что это куда сложнее, чем на словах, — но он оказался прав! Еще до того, как я почувствовал усталость, работа была закончена.

Когда я спустился на другую сторону и оглянулся на огромный прочный мост, какому нипочем и ветер и дождь, я был так рад, что даже устыдился. Мне хотелось вернуться домой, и всем рассказать о мосте, и привести их сюда, чтобы они поглядели на мою работу. Но тут я подумал, что это — только время терять, они и без меня все увидят. Я еще разок взглянул на мост и продолжал путь, я чувствовал, что добьюсь всего, чего захочу.

Надо думать, мне порядком везло в тот день — я повстречал мальчика, который боялся играть на мандолине. Он

лежал на пригорке и с грустью смотрел на мандолину; казалось, ему хочется поиграть, да он никак не осмелится.

— Почему ты не играешь?

— Я сыграл бы, да боюсь.

— Чего боишься?

— Чудищ.

— Каких чудищ?

— Тех, что вижу, когда играю. Они прибегают, жарко на меня дышат, у меня нет сил терпеть.

— А если играть с закрытыми глазами? Тогда ведь ты их не увидишь.

Он обещал попробовать, если только я останусь; я сказал, что побуду с ним, а он ответил, что не начнет, пока я не поклянусь. Мне было нетрудно — я поклялся. Он закрыл глаза и начал играть такую красивую мелодию, как будто тысячи звезд падали в воду и раскрашивали ее во все цвета.

Будь моя воля, я бы слушал его всю жизнь, но уже вечерело, а мне было далеко идти. Я сказал ему об этом, попрощался и пошел дальше.

— Не надо пешком, — сказал он. — Я сыграю, а ты лети.

Он снова взялся за мандолину, уже безо всякой опаски, и заиграл другую музыку, непохожую, очень веселую. Меня оторвало от земли, и в одно мгновение я оказался на другой стороне холма. Когда музыка смолкла, я опустился перед новенькой, еще пахнувшей стружкой, калиткой.

— Тебя ждут, — сказал, открывая мне калитку, парень в форменной одежде. — Майор уже беспокоится.

Майор — загорелый сеньор в сапогах и широкополой шляпе — прохаживался взад-вперед по галерее. Увидав меня, он швырнул сигару и бросился мне навстречу.

— Слава богу! — воскликнул он. — Как же тебе удалось от них улизнуть? Ну, входи.

— А меня никто не стерег, — ответил я.

— Ты зря так думаешь. Наверное, ты не знаешь, что людям Нестора Гурдела дан приказ схватить тебя живым или мертвым.

— Кем, дядей Торином? Что ему от меня нужно?

— Тут все дело в лошадях, которых дед велел тебе отдать. Это очень редкие животные, они больше нигде не водятся. Дядя хочет забрать их себе.

Если дядя вздумал забрать себе лошадей, он своего добьется. Отец говорил, что дядя Торин с детства был большой ловкач. Я вспомнил про это и заплакал.

Майор засмеялся и сказал, что нечего плакать, лошади не могут никуда уйти, никто не в силах забрать их отсюда. А если однажды кому-то и удастся увести одну лошадку, она обернется москитом и прилетит назад.

Раз так, мне захотелось тут же поглядеть на необыкновенных лошадок и попробовать, хороши ли они под седлом. Майор сказал, что мне не о чем беспокоиться, лошади сделают все, чего хозяин ни пожелает, нечего и сомневаться.

— Хотя, — добавил он, взглянув на часы, — они сейчас купаются. Пошли поглядим.

Мы спустились по выложенной из камушков очень скользкой дорожке и подошли к увитой растениями дверце. Майор повернул щеколду и, прежде чем войти, низко пригнул голову. Я подумал, что нужно было сделать дверь повыше, но ничего не сказал, а только подумал, очень уж мне не терпелось поглядеть на лошадок.

Мы вошли и очутились в похожем на манеж дворе, там были даже скамейки для зрителей, только посередине вместо арены — кирпичный бассейн с очень чистой водой. Во дворе было пусто, я не заметил ни людей, ни лошадей. Мы уселись на скамейку, майор снова взглянул на часы и сказал: «Теперь жди сигнала».

Неведомо где проиграл рожок, и сразу появились люди — они выходили из-за низеньких деревьев, которые со всех сторон окружали двор. В считанные минуты скамьи заполнили женщины с детьми на руках, дамы в шляпах с перьями, сеньоры в лайковых сапогах и высоких шляпах, мальчики в отложных воротничках, девочки с бантами и в накрахмаленных платьицах.

Когда стихли крики, хлопки и детский плач и все расселись по своим местам, снова проиграл рожок. Вначале ничего не произошло, и все оглядывались по сторонам, недоуменно пожимая плечами, и привставали с места, чтобы лучше видеть.

Вдруг у всех зрителей разом, словно отрепетированный, вырвался возглас удивления. Мальчики вскакивали и кричали, толкали локтями соседей, девочки приподнимались и садились, хлопая в ладоши. Из-за деревьев показались лошадки всех мастей, ростом чуть побольше маленького теленка; они выступали на задних ногах, иногда переглядываясь, словно обсуждали красивую фигуру, которую выполняли. Дойдя до кромки бассейна, они замерли разом, точно солдаты на параде. Тут одна из лошадок — рыжень-

кая такая — встала на дыбы, заржала и пошла рысью, пританцовывая; остальные лошади вторили ее движениям, изредка останавливаясь для поклона. Рысь становилась все быстрее, быстрее, быстрее, и теперь зрители видели только разноцветную полоску и слышали какой-то шум, вроде скрипа телеги. Время шло, и я было подумал, что лошадки насовсем растаяли в воздухе; тут шум начал стихать, полоска распалась, и снова стали видны животные.

Другим номером шло купанье, глядеть на которое было одно удовольствие. Лошадки резвились в воде, плавая на груди и на спине; они кувыркались, ныряли, ложились на спину и пускали через ноздри струи воды.

Когда рожок заиграл снова и лошадки прекратили игру, всем стало очень грустно. И опять рыженькая лошадка первой взобралась на кирпичный парапет бассейна, а следом за нею и другие; все они отряхивались и скакали на солнце, чтобы окончательно обсохнуть.

После всего увиденного я понял, что поступлю неправильно, если выберу себе одну из лошадок. Каково ей будет одной, без других? С кем она станет играть в эти резвые игры? Я сказал об этом майору, а он ответил, что выбирать и не нужно — они все мои.

— Все? — недоверчиво переспросил я.

— Все. Такова воля твоего деда.

Милый дедушка Рубен, добрый и хороший! Даже больной, он сделал все, чтобы меня порадовать. Но потом мне стало грустно: я вспомнил слова майора о том, что никто не может забрать отсюда лошадок.

— Это правда, — подтвердил он, словно прочтя мои мысли. — Забрать их нельзя. Они могут жить только здесь, в Платипланто.

Наверно, я где-то уснул и не заметил, как меня принесли домой. Наутро я проснулся в своей постели и не сразу понял, где я, потому что мои мысли были далеко, но я быстро пришел в себя. Я был в своей комнате — на крючке за дверью висела моя школьная форма, на стене — изображение святой, мои книги лежали на полке, которую я сам соорудил из ящиков, но не успел покрасить.

Я долго думал, стоит ли рассказывать о случившемся, и решил не рассказывать. Ведь мне могли не поверить, а то и посмеяться. Я хотел сберечь в памяти то место в точности таким, каким я его увидел, чтобы возвращаться туда когда захочется, пусть мысленно.

ГДЕ ЖИВУТ ДИДАНГО?

По ночам на ранчо было жутко: за оградой бродили всякие звери, одни существовали на самом деле, других он придумал, сочинил по звукам, доносившимся из леса. Если же рядом было крепкое материнское тело, он ничего не боялся, звери делались ручными, далекими, безобидными.

Однако они по-прежнему существовали. Одного из них он придумал, когда лампа была погашена, родители спали, а он, зажмурив глаза, думал о ясном солнечном свете, потому что при свете не бывает опасных животных. Но страх все рос, и в конце концов он придумал того, кто издавал эти непонятные звуки, долетавшие из леса. Это был зверь без ног и без головы, с длинным трубчатым телом, огромным и рыхлым, порою гладким, порою волосатым (тут еще не было полной ясности), широким на концах и узким посередине. Концы служили ногами и еще ртами, при ходьбе зверь упирался одним концом в землю, а другой подымал, подтягивая тело и выбрасывая вперед поднятый конец, срывая на ходу нужные ему плоды и листья; потом он переносил вперед оставшийся позади конец, все это очень быстро, не останавливаясь и не теряя времени. Мальчику было трудно подыскать зверю имя, наконец он назвал его «диданго».

Раз диданго был самый редкостный зверь во всем лесу, а может и на всем белом свете, он также был и самым опасным. Мальчик никогда не видал диданго наяву, но знал, что по ночам эти звери кружат вокруг ранчо. По утрам, когда он с матерью шел за водою к роднику или валил с отцом кустарник на краю леса, он повсюду замечал чуть стертые следы диданго. Но во сне он видел этих зверей очень отчетливо, иногда вблизи, иногда вдали; они переваливались трубчатым телом через крышу ранчо, и тогда тряслись горшки на кухне; или взбирались на изгородь, перемахивали через канавы, неспешно меряя мир своими телами.

У них были смешные детеныши, мелюзга во всем подражала взрослым, но порой, застревая на краю какого-нибудь оврага, они металась туда-сюда, пищали, как груднички, боясь перепрыгнуть, пока кто-нибудь из взрослых не возвращался и не переносил их, подвесив на своем теле, будто змей на палке. Однажды он видел, как диданго убил ягуара, когда переползал ему через хребет. Диданго скользнул вниз, снова выполз вверх, получил узел, стянутый с обеих сторон. Талия ягуара все тончала, тончала, язык

вывалился из пасти наружу; из дырки, той, что у всякого зверя под хвостом, выпали кишки, и когда диданго развязал узел, ягуар, как тюфяк, сполз на землю. А если бы так с человеком? Они с большой легкостью валили деревья: обвившись трубчатым телом вокруг ствола, подтягивались и выдергивали его с корнем.

Из-за этих и других зверей и еще из-за всяких происшествий жизнь на ранчо была полна страхов. Страшнее всего было, когда появился Венансио. Отец полон в огороде бобы и кукурузу, мать ушла стирать белье к роднику, и мальчик остался один; он играл с жуком, заставляя его тащить спичечный коробок с камешками; этим он занимался, когда вдруг потемнел дверной проем. Он поднял глаза и никого не увидел, но ему показалось, будто что-то мелькнуло. Это не мог быть диданго, потому что они большие и шумно шлепают по земле. Может, индеец? Отец говорил, что в прежние времена здесь жили индейцы-тапуйо, уж не они ли вернулись? Мальчик ждал с бьющимся сердцем, не смея подняться с пола и взглянуть, а вдруг это тапуйо или кто похуже? Кричать было опасно, они могли прибежать и надавать колотушек, а если бы мать услышала крик и прибежала, ее бы точно убили. Оставалось сидеть тихо, потеть и дрожа от страха, и молить бога, чтобы надоумил отца зайти на ранчо. Случалось, он до времени приходил за табаком или выпить кофе; отец такой храбрый и отважный и всегда ходит с ружьем, даже тапуйо с ним не сладить.

Сам того не желая, мальчик поднял глаза туда, где в стене был проем, и увидел два глаза, глядевшие внутрь ранчо. Не видя выхода, он начал потихоньку всхлипывать, вошел во вкус и в конце концов громко разревелся. Плач вспугнул два глаза, но мальчик продолжал плакать, он знал, что индейцы не ушли, наверно, готовились к атаке.

Когда дверной проем снова потемнел, он не поднял глаза, чтобы не увидеть лица индейца, но вошла мать с корытом выстиранного и отжатого белья.

— Как не стыдно! Мужчина — и плачет! Что уж ты, не можешь побыть немного один? Или ты заболел?

Увидав мать, он так обрадовался, что расплакался еще громче.

— Да что же это такое? Какая муха тебя укусила?

— Мама, тут индейцы! Один индеец!

— Какой индеец? Тебе померещилось.

- Там, снаружи. Я видел.
- Дай-ка поглядеть на этого индейца.
- Не ходи, мама! Мне страшно!

Она поставила корыто на пол и вышла, вытирая о подол руки. Он слышал, как она обошла вокруг дома, хотел за компанию пойти следом, однако ноги его не слушались. Когда шаги затихли, холодок пробежал у него по спине, он ждал ее криков, шума ударов. К счастью, снова слышались шаги, и мать появилась в дверях ранчо. Она устала, наверно, от стирки, от подъема в гору с корытом.

- Ну что я говорила? Нет там никакого индейца.

Но вместо того, чтобы пойти развешивать белье, она прошлась по ранчо, словно чего-то искала, тайком перекрестилась, раздула огонь, по временам с опаской поглядывая на дверь.

- Знаешь что? Давай-ка позовем папу выпить кофе.

Она сняла рожок, висевший за дверью, высунула его наружу и протрубила.

Когда прибежал испуганный и раздосадованный отец, мать выпалила, прежде чем он спросил, что случилось:

- Он говорит, что видел индейца. Скажи, что это ему померещилось.

— Что за глупости! Еще чего не хватало! Нет здесь больше индейцев. Вы меня для этого позвали?

- Да ведь что-то тут не так. Мне пришлось обойти вокруг дома. Идем поглядим.

Она потащила мужа к двери и показала следы, которые заметила во время первого осмотра. Муж велел ей вернуться и пошел по следу. Она обняла ребенка, назвала его трусишкой и стала про себя молиться, пока не услышала крик:

- Идите поглядеть на индейца!

Мать бросилась к двери, сзади, уцепившись за нее, мальчик. Возле отца стоял паренек лет четырнадцати — пятнадцати, худой, оборванный, с испуганным и болезненным лицом; одна нога у него была сбита, и он не мог на нее ступить. С большим трудом он проговорил, что его зовут Венансио, что пришел он издалека, больше месяца пропутал по лесу, терпя голод и холод, кормясь жареными птичками, дикой айвой, всем, чем придется. Говорил он тихо и очень дрожал.

- Ты останешься тут, с нами, — сказал отец. Мне нужен помощник. Но сначала отдохни, поешь, подлечи ногу.

Мальчик впервые видел, чтобы голодный человек боялся есть. Когда мать подала тарелку с наскоро собранной едой (время обеда еще не наступило), он отпрянул, не желая есть.

— Ешь, дурачок, это не отравлено, — сказала мать и поставила перед ним тарелку.

Он опасливо взглянул на нее, похоже, не поверив, взял тарелку обеими руками и беззвучно, одними глазами, заплакал. Мать знаком велела мальчику отойти. По временам они поглядывали на гостя. Венансио вытер глаза одним рукавом, другим, начал есть ложкой, потом бросил ее, стал есть руками и съел все за один присест. Он подчистил тарелку и еще проглотил три банана и кусище вападуры¹. Потом он выпил кувшин воды, икнул и прямо за столом уснул.

Несколько дней Венансио лечил свою ногу ваннами из настоя паслена и жира капивары², по ночам спал в углу на циновке, много разговаривал во сне и в страхе просыпался. Всякий раз, услышав шум возле ранчо, он бежал спрятаться в банановых зарослях во дворе.

Когда опухоль на ноге спала и рана стала подсыхать, отец дал ему первое задание: заготовить прутья и эмбиру³ для пристройки. Венансио отправился в лес, прихватив нож, и скоро вернулся с охапкой прутьев на голове, еще две охапки он тащил волоком на лиане; прутья он сложил к боковой стене ранчо и пошел снова. После обеда отец объяснил ему, как из прутьев построить стену, и когда в конце дня он вернулся домой, две стены уже были готовы, не хватало лишь той, в которой дверь, самой трудной. В тот же вечер отец показал, как она делается, и на следующий день пристройка была готова, с утрамбованным полом и наведенной крышей.

— А ты старательный, — сказал довольный отец. — Теперь поглядим, как ты управляешься с мотыгой.

Помимо того что Венансио помогал отцу в огороде, он постоянно что-то придумывал и мастерил, чаще всего игрушки для мальчика. Перочинным ножиком он вырезал из дощечек целую кавалерию, воткнув лошадям вместо

¹ Вападура (браз.) - неочищенный тростниковый сахар в плитках.

² Капивара (браз.) — вид грызунов.

³ Эмбира — бразильское дерево, из волокна которого делают веревки.

хвостов и грив куриные перышки и подобрав разное дерево, чтобы лошадки не вышли одной масти. Еще он смастерил качели и по воскресеньям качался на них с мальчиком, поместив на одном конце большой камень, чтобы не было разницы в весе. Он вырезал из тыкв маски, вставлял вовнутрь фитили, подвешивал на деревья и по ночам зажигал — маски здорово отпугивали зверей. Еще он умел плести из эмбиры прочную и красивую веревку.

Венансио не чурался никакой работы, он даже стряпал и стирал, когда мать бывала занята чем-нибудь другим или ей нездоровилось. Отец говорил, что Венансио свалился к ним с неба.

Но уж кто свалился с неба, так это тот ужасный человек со злым лицом, который спросил хозяина ранчо. Мать с мальчиком сильно испугались: к ним редко кто заглядывал, разве что какой-нибудь охотник. Все эти люди долго извинялись, соглашались выпить кофе или позавтракать, отдыхали и уходили, оставив деньги на гостинцы для мальчика, так они говорили. Этот держался нагло, будто он был хозяин леса и зверей. Мать объяснила, что отец в огороде.

— Я подожду. Не надо его звать, — сказал человек, снимая с плеча карабин, взял табуретку и уселся, не спросив разрешения.

Он поглядывал по сторонам и ничего не говорил: наблюдал и помалкивал.

Мальчик прижался к матери и думать забыл про игрушки. После долгих колебаний мать, как ни в чем не бывало, взяла рожок — человек был начеку: вскочив с табуретки, он выхватил рожок из ее рук.

— Не надо, хозяйка. Я не тороплюсь. Пусть он придет без предупреждения.

Мальчику хотелось взять нож с острым концом и воткнуть тому человеку в живот, но кухонный нож не годился — он был короткий и тупоносый. Тогда он решил тайком выбраться из дома и позвать отца, но передумал, потому что побоялся оставлять мать одну с этим типом.

Время тянулось долго, мать нервничала, ходила по ранчо, бралась то за одно, то за другое, но все валилось у нее из рук, и от этого мальчику было еще страшнее. Он попросил бога послать ядовитую змею, чтобы она укусила того человека; спрятавшись за дынное дерево, он ждал, но змея не появилась. Откуда на свете берутся плохие люди? Почему все не могут быть такими, как Венансио?

Он думал, что, когда отец вернется, все станет на свои места, но, увидав отца и Венансио, которые шли, ни о чем не подозревая, и несли на голове по охапке бобов, он почувствовал, как сжалось его сердце. Карабин стреляет сильнее ружья, отец может погибнуть в схватке, и тогда человек со злым лицом останется жить в ранчо, распоряжаться им и Венансио и спать с его матерью.

Отец вошел во двор и движением головы сбросил охапку бобов, мальчик подбежал и обхватил его за ноги.

— Отец, там человек! В пристройке! У него карабин!

Венансио также сбросил бобы на землю, испуганно оглянулся и хотел бежать, но человек был уже рядом с карабином в руке.

— Ты-то мне и нужен, негодяй. Вздумаешь бежать — пристрелю.

Человек приказал отцу бросить на землю ружье и ногой пододвинул его к себе.

— Теперь свяжи ему сзади руки вот этой веревкой.

Он вынул из патронташа веревку, бросил ее отцу и смотрел, с карабином наизготовку, как отец связывал Венансио руки. Когда отец закончил, человек достал лассо, каким спутывают теленка, оно висело у него на поясе, укрытое пиджаком, и приказал отцу пропустить часть петли под руками Венансио и оставить петлю на спине.

— Теперь дважды пропусти веревку через петлю.

Отец послушался, что ему оставалось. Человек переложил карабин в левую руку, правой затянул лассо и для пробы сильно за него дернул. Венансио едва не упал навзничь: он не ожидал такой злобы.

— Идем, тебя ждет дядя, — сказал человек и ткнул Венансио стволом карабина.

Венансио оглянулся назад, словно прощаясь с людьми, ранчо, качелями, со всем-всем. Человек снова ткнул Венансио, тот опустил голову и побрел, а за ним человек, унося с собой ружье. Когда они входили в лес, человек крикнул:

— Я не стану забирать твою паршивую двустволку. Повешу ее на дерево. Потом возьмешь.

Отец, мать, мальчик смотрели, ничего не различая из-за слез, пока путники не скрылись в чаще. Когда они входили в ранчо, отец споткнулся о горшок с салом, которое собирали на мыло; он обернулся и ногою далеко отшвырнул горшок, опрокинув сало на землю. Мать ничком упала на топчан, словно только что потеряла сына. Отец весь остаток

дня и ночь просидел на пороге ранчо, свертывая и закуривая сигару за сигарой. Мальчик тоже думал только о Венансио, о том, какой будет жизнь без него.

Венансио увели на аркане, а в лесу стрекочут сверчки, в роднике бежит вода, светлячки мигают в ночи, — все как прежде и все иначе... А где же были диданго, почему они не пришли?

ВСЕ НА СВЕТЕ ОТНОСИТЕЛЬНО

Сидя на куче дров и упершись локтями в коленки, Дорил рассматривал богомола на тыльной стороне ладони. Ему хотелось, чтобы богомол взлетел или прыгнул, но тому и так было неплохо; может, он дремал, а может, думал. Дорил тронул богомола мизинцем, а ему хоть бы что, никакого внимания, похоже, даже не почувствовал. Если бы Дорил не видел, как на шее у богомола пульсирует кожа, да и то когда приглядишься, — он мог бы подумать, что бедняга подох или что перед ним игрушечный сверчок, каких девушки для красоты прикалывают на платье.

Занятый богомолем, Дорил не заметил, как подошла Диана, жевавшая айву — противную кислотину, от которой никакого толку, один только скрежет в зубах. Девочка остановилась возле Дорила, продолжая грызть свою айву, кожицу она не выплевывала, чтобы ничему не пропасть. Она уже почти отгрызла верхушку, а Дорил на нее — ноль внимания. Тут она выплюнула косточку и сказала:

— Ну вылитая макака на дереве.

Дорил скосил глаза и парировал:

— От макаки и слышу. Да еще с бананом.

— Это айва-то банан?

— А мне без разницы.

Они помолчали, размышляя каждый о своем. Диана выплюнула еще одну косточку.

— Видал, какая книжка со сказками у Мирто?

— Привет, у какого Мирто? Это у Милтона! Ну дает!

— Если хочешь знать, у меня будет такая же. Тетя Жура *мне* подарит.

— Не *мне*, а мне. Нашла чем хвастать.

— А вот и нашла!

— А ты хоть ее читала?

— Ну читала, да хочу свою. Чтобы потом перечитывать

— Лучше уж другую.

- А я не хочу *длугую*. Может, она не такая хорошая?
- Как ты сказала? Ну-ка повтори.
- Уже сказала, хватит с тебя.
- Ты сказала *длугую*.
- А вот и нет.
- Нет, сказала. Я слышал.
- Нет.
- Слышал.
- Нет!
- Слы-ха-а-ал!

Они могли спорить до хрипоты, пока оба не затыкали уши, чтобы не оставить за другим последнее слово. Но тут Диана, получив отпор, по обыкновению, пошла на попятный. Зажав в руке остаток айвы, она подошла к брату совсем близко и сказала:

- Э-э, мучает насекомых! Бог накажет.
- Кто мучает, я?
- Да, ты, он у тебя подох.
- Как это я его мучаю, интересно?
- Приставать к такому маленькому насекомому — все равно что его мучить.

Дорил больше ничего не сказал, он хорошо знал, что любое его слово она использует для нового обвинения. Попробуй заткни рот этой упрямой девчонке! Уж лучше он займется богомолем. Дорил слегка подул, богомол весь подобрался и согнулся, совсем как люди при сильном ветре. Для богомола это была настоящая буря, какая с корнем вырывает деревья, срывает крыши с домов и может унести человека. Дорил был той силой, которая управляла бурей и могла прекратить ее по своему хотению. Значит, он был богом? А может, наши бури — тоже игра для кого-то? И тот, кто ими управляет, смотрит на нас, как Дорил на богомола? Может, для него мы так же малы, как для нас саранча, или даже меньше? Какого же мы размера? Муравьиного? Блошиного? Какие мы на самом деле?

Дорил задумался, сравнивая предметы вокруг. Вот забавно, если люди совсем крошечные и живут в крошечном мире, под солнцем величиною с конфетти...

Диана облизывает пальцы и вытирает их о платье. Какого же она в точности роста? Одна пядь на голову, одна пядь на грудь, полторы пяди на живот, еще полторы пяди до колен, полторы пяди на ноги... всего шесть с половиной пядей. Но чьих пядей? Ведь в саранче тоже может быть шесть с половиной пядей — саранчиных. В муравье может

быть шесть с половиной пядей — муравьиных. А маленькие букашечки, которых даже не замечают, до того они малы? Раз есть насекомые, которых люди не замечают, значит, могут быть насекомые, которые не замечают людей? Где начинается и где кончается величина насекомых? Какие из них самые большие и какие самые маленькие? Вот здорово, если мы тоже невидимы для других, очень больших насекомых, таких больших, что наши глаза не могут их охватить. А что, если земля — это большое-пребольшое-пребольшое насекомое и мы на нем — всего-навсего блохи? Да нет, быть этого не может! Как же мы невидимы, если любой человек ростом выше метра?

Дорил взглянул на стену, на кофейные и банановые деревья — все они выше его; к примеру, в банане больше двух метров...

Тут только он заметил, что богомола больше нет у него на руке. Он огляделся и увидел его на полене, с одного конца поросшем мхом. Дорил медленно поднял полено, оглядел его вблизи и нашел, что слой мха напоминает чашобу, наверняка полную...

— Когда же ты оставишь в покое беззащитное насекомое? Такой большой мальчик!

Дорил медленно положил полено и отряхнул руки об одежду.

— А ты не знаешь, какого я роста!

Она недоверчиво на него взглянула, опасаясь новой ловушки: Дорил вечно что-то сочиняет, лишь бы заморочить ей голову.

— Ты и своего-то роста не знаешь, — продолжал Дорил.

— Как это не знаю? Я измерялась и пометила углем позади двери в гостиную. Сходи и посмотри, если хочешь.

«Так и знал», — улыбнулся он ее наивности.

— Это ничего не значит. Тебе неизвестна величина того, чем тебя измеряли.

— Известна. Мама измеряла меня своим сантиметром. Она сказала, что во мне метр двадцать и еще чуть-чуть.

— Карликовый метр. То есть невидимый метр.

Она взглянула на него испуганно и недоверчиво и, не зная, что ответить, перевела разговор:

— Ой, Дорил! Ты сегодня совсем глупый!

— Это ты глупая, потому что ничего не знаешь.

Она промолчала, и он принялся объяснять:

— Тебе известно, что мы невидимы, до того малы.

— Нет, неизвестно. Невидимые — микуины¹, ты их чувствуешь, а не видишь.

— Вот именно! И мы как микуины.

Диана быстро себя оглядела, потом посмотрела на Дорила.

— А как же я вижу себя, вижу тебя, вижу маму?

— Ты думаешь, микуин не видит микуина?

Диана наморщила лоб, размышляя. Вечно у Дорила какие-то идеи. Например, один раз он захотел передавать мысли на расстояние, посадил Диану на сундук в подвале, сам остался в гамаке на галерее, мысленно посылая ей приказание, а потом в окно спросил, как она его поняла. Диане очень хотелось понять приказ Дорила, но она не сумела, а соврать не смогла, потому что не знала, о чем он думал. Дорил тогда заявил, что она это ему назло. А теперь новая выдумка, будто люди — это маленькие, невидимые насекомые.

— Это неправда, Дорил. Люди — большие. Вот гляди, ты почти с эту кучу дров.

— Сразу видно, что ты ничего не поняла. Это не дрова, это щепки, и они меньше спичек.

— Дорил, ты просто спятил. Спички вот какие. — И она показала, растопырив два пальца, какие, по ее мнению, спички.

— Ты не спичку показала. Спичка размером почти с тебя.

Диана задумалась, ей стало грустно оттого, что она такая маленькая. Дорил воспользовался моментом и продолжал:

— До чего же ты, Диана, глупая. Все в мире очень мало. И мир очень мал. — Он оглянулся по сторонам в поисках подходящего примера. — Видишь хлебное дерево? Какой на нем плод?

— Конечно, вижу. Он размером с арбуз.

— Вот и нет. Он — как манго.

Диана посмотрела на плод хлебного дерева, готовый в любой момент упасть.

— Не может этого быть, Дорил. Ничего себе сравнил!

— Это потому, что ты не знаешь: манго вовсе и не манго.

— А что же?

— Рисовое зернышко.

¹ М и к у и н — бразильский клещ.

Диана с беспокойством огляделась, ища, чем бы доказать, что Дорил неправ.

— А кокосовая пальма?

— Пучок петрушки.

— А я?

— Ты — двуногая муравьях.

— Если я муравьях, как же я перепрыгиваю через канаву с водой?

— Какую канаву?

— А вот эту, нашу.

Дорил с улыбкой покачал головой.

— Это не канава. Это черточка на земле, толщиной с нитку.

— А... А тот холм вдали?

— Это не холм. Ты думаешь, что это холм, потому что ты муравей. Это горка земли, которая уместится в тачке.

Диана оглядела себя с головы до ног и решила, что для муравья она велика.

— Откуда ты все это взял?

Ей нужен был чей-то авторитет, чтобы поверить в новую идею.

— Ниоткуда. Сам открыл.

Диана захихикала: теперь-то до нее наконец дошло. Все это его выдумка, дурацкая затея вроде той, с передачей мыслей на расстояние.

Мать позвала их из окна. Дорил спустился с дровяной кучи, одно полено скатилось и ударило его по лодыжке. Он хотел было выругаться, но вспомнил, что это спичка, а не дубина. Мать позвала снова, он побежал и, обернувшись, крикнул:

— Кто последний — тот слизняк!

Диана тоже побежала, не наперегонки, а чтобы не остаться одной. Они перепрыгнули через старый таз — просто-напросто пробку от пивной бутылки, брошенную на землю. Перепрыгнули через нитку, про которую Диана думала, что это канава с водой. Дорил споткнулся о дырявое ведро (то есть наперсток с кольцом), одним махом взлетел по зубьям расчески, которые служили ступеньками крыльца, и вошел в коробку из-под мела, в которой они жили. Мать — строгая муравьях в повязанной на голову косынке поджидала в дверях с ложкой и микстурой в руках — ложка была просто рисовой чешуйкой. Дорил открыл рот, закрыл глаза и глотнул: микстура заструилась внутрь, обжигая муравьиную гортань.

Все началось с того, что мы согласились пойти с Жозиасом. Хотя, как знать, может, в тот день нам это было предназначено. Ведь говорят, будто все, что случается в жизни с людьми, уже случилось для них намного раньше, и они должны просто выполнять намеченное, и ничего тут не поделаешь. Может, это как в кино: лента уже отснята, даже не пытайся увильнуть в сторону, никакие увертки конца не изменят. Точно так же, я думаю, все началось с того, что мы согласились пойти с Жозиасом.

После завтрака я приготовил удилище и банку с червями и стал ждать. Заслышав условный сигнал, я отпросился у матери и пошел на угол навстречу Розендо и Дорико. В тот раз мы решили сходить к Омуту Манжероны; место это глубокое и опасное, зато там полным-полно рыбы. Еда не требовалась, на берегу было вдоволь жуа, велудиньо, ежевики, но я все равно зашел в лавку Орасиньо Конде и купил шесть шоколадных бутылочек с ликером, по две на каждого, потому что наверняка Розендо и Дорико прихватят сладости и печенье, и я не хотел остаться в долгу.

Казалось, что песок у нас под ногами только что высыпал из печки: поднимаешь ногу, а другая уже горит — кричи караул; мы выискивали там и сям бугорки с травой и скакали с одного на другой. Это было кстати, потому что никто не загляделся на птицу, не остановился швырнуть камнем в ящерицу или поймать бабочку — словом, не потратил время на глупости, из-за которых опаздываешь на рыбалку.

Невозможно было не окунуться в глубокую неподвижную воду, прохладную в тени деревьев. Я предложил искупаться, Дорико согласился и стал раздеваться; Розендо заговорил о простуде, а на самом деле он боялся омута, который погубил Манжерону, я это понял и тоже немного испугался. Я взглянул на Дорико — он примерился и прыгнул, я покончил с одеждой и не раздумывая прыгнул следом. Из-за страха перед болезнью, темнотой и всякого такого Розендо даже прозвали Розочкой, и я не хотел, чтоб переименовали и мое имя, которое легко изменялось на женское. Мы прыгнули по одному разу, чтобы не распугать рыбу, немного побегали, стараясь быстрее обсохнуть, оделись, насадили приманку на крючки и закинули

удочки. Не успели у меня разойтись круги от брошенного на воду поплавка, а рыба уже схватила наживку. Я быстро подсек и вытащил ламбари, но такого маленького, что тут же бросил его назад.

— Выкинул? Напрасно! — огорчился Розендо.

Я ответил, что если бы этот ламбаринчик попался мне в разгар рыбалки, я бы его оставил, не задумываясь, но первая рыба должна быть крупной.

Тут натянулась леска у Розендо, он поднатужился, удище прогнулось. Уж не матринша ли?

— Тяни! Чего ты ждешь? — взволнованно закричал Дорико.

Розендо послушался — удочка едва не обломилась. Он ухватился за леску, потянул — и вытащил чехол от большого ножа. Мы с Дорико захохотали, Розендо закрыл лицо руками, а потом швырнул находку в кусты.

Мы закидывали и вытягивали удочки — рыба не клевала. Розендо заявил, что во всем виноваты мы с Дорико: распугали рыбу своим купаньем. Дорико процедил сквозь зубы, что на то и рыбалка, не суйся, если терпения не хватает, рыбачить — это тебе не дерево в саду обтрясать.

Я хотел было сменить место, но после слов Дорико решил немного повременить. Я поменял наживку, которая так долго была в воде, что даже успела побелеть, и стал ждать. Вдруг леска у Дорико натянулась, он рванул изо всех сил; по тому, как ходила туда-сюда его леска, пока он ее попеременно тащил и отпускал, я понял, что это не рыба. Дорико подтягивал медленно и непрерывно, стараясь не порвать леску, пока, наконец, не вытянул корягу.

— Да, что-то не идет рыба. Пошли на другое место, — предложил он.

Мы смотали лески и отправились на поиски другого затона. Чтобы не продираться сквозь заросли на берегу реки, мы вернулись на дорогу; я отстал, срывая велудинью, и очищал один из плодов, когда услышал позади себя топот. Я пошел, не оглядываясь, и тут кто-то ударил меня кнутом по плечу. Я обернулся — это был Жозиас верхом на муле.

— Эй, чего хвост поджал! — засмеялся он, прежде чем я успел его обругать. — Ты думал, это кто?

— Ничего я не думал. Я испугался.

— Прости, если больно. Ты рыбу ловил? И как, много поймал?

Я рассказал ему про наше невезенье, про то, как мы решили сменить место. Попросил подвезти, чтобы поскорее

догнать остальных. Я дал ему подержать удочку и стал взбираться на мула, но тут показались Дорико и Розендо.

— Эй, парень! Неужто ты сам туда залез? А как слезешь? — закричал Дорико.

Розендо захохотал, ему палец покажи — и он рад-радехонек. В отместку Жозиас спросил, найдется ли у нас с Дорико дурень, чтобы тащить наш улов. Розендо разом перестал смеяться, но он был немного тугодум и не нашелся с ответом. Жозиас сбил кнутом пчелу и предложил:

— Знаете что? Пошли со мной в усадьбу. Я только взгляну. Это всего полторы лиги.

Розендо сказал, что он не может: он не уходил далеко без разрешения.

— Тогда пошли вдвоем, — сказал Дорико.

Видя нерешительность Розендо, я пустился на хитрость:

— Идемте, а Розендо останется тут ловить рыбу.

Как же, хватит у Розендо духу остаться одному у реки, тем более в таком месте! Он в растерянности поглядел на одного, на другого, словно прося совета. Наконец решился:

— Идемте. Только никаких ночевок.

— Ни за что, — ответил Жозиас. — В доме пусто, там никого нет.

— Кто пешком, кто верхом? — не терпелось узнать Дорико.

— Будем чередоваться, — ответил Жозиас. — Один поедет в седле, а другой сзади, на крупе.

Мы спрятали удочки в зарослях и поместили место, обломив ветку на кусте. Жозиас подвел мула к склону оврага. Дорико взобрался на круп, и Жозиас стронул мула с места.

Когда настал мой черед ехать вместе с Розендо, я убедился, что он куда неповоротливее, чем мы думали. Ему стоило большого труда взобраться на круп; он то совсем уж решался, то снова пугался, а дело ни с места. Мул это понял и отодвигался всякий раз, как Розендо пытался на него сесть, вроде бы у них такая игра. Я предложил ему ехать в седле, а сам решил передвинуться на круп, но Жозиас запретил, сказав: «Если мул почувствует, что вожжи в слабых руках, он может понести». Под конец Жозиас взял мула за удила, Дорико помог Розендо, и только тут он взобрался.

Если Розендо неуклюже влезал на мула, то верхом он держался и того хуже. Он никак не мог усидеть на крупе, его мотало туда-сюда, он перекачивался с одного края на

другой, толкая при этом меня так, что дважды мы едва не грохнулись оба, а в другой раз я подхватил его почти что на боку у мула.

У ручья неподалеку от усадьбы мул остановился напиться, погрузил морду в воду и, похоже, не собиравшись ее оттуда вынимать. Увидав, с каким удовольствием он тянет воду, я соорудил два столбика в месте, где билась свежая струя, лег, опершись на них, и стал пить. Остальные сделали то же самое, потом мы намочили головы, чтобы освежиться, и легли в тени. Когда в брюхе у тебя полно воды и ты растянешься на траве, нет охоты идти дальше, да и просто разговаривать. От помахивания хвоста, которым мул отгонял moskitov, клонило в сон, я, по крайней мере, стал клевать носом. Вдруг Жозиас прокричал те самые слова:

— Змея! Она меня укусила! Прямо в шею!

Я так и подпрыгнул: змей я боялся не меньше, чем привидений. Я успел заметить, как за камнем мелькнул кончик темной змейки. И стал искать палку, чтобы убить змею, но Жозиас простонал:

— Брось змею, помоги мне: она меня ужалила!

Я подбежал, посмотрел, куда он показывал, и увидел у него на шее какие-то дырочки: две покраснее сверху и две потусклее снизу. Прибежали каждый из-за своего куста, застегивая на ходу штаны, Розендо и Дорико.

— Если быстро пососать укус, яд выйдет, — простонал Жозиас. — Только быстрее, а то будет поздно.

Я взглянул на Дорико, потом на Розендо, в надежде, что это сделает кто-нибудь из них. Я слышал, будто, прежде чем отсасывать яд змеи, надо пожевать табак, а табака у нас не было. Жозиас катался по траве, плача и умоляя:

— Будьте милосердны, я умираю! Камило! Дорико! Ради бога, высосите кровь! Я не хочу умирать! Пожалуйста, не дайте мне умереть!

— Может, подавить на это место... — сказал Дорико.

Я опустился на колени и надавил, Жозиас закричал, чтобы я прекратил, ему было слишком больно, а проку никакого. Шея у него была красная, а краснота все расплзалась, сверху она уже захватила ухо.

— Я ничего не вижу. Как будто у меня перед глазами сито. Пить хочется, — с трудом выдавил Жозиас, словно у него свело рот.

Дорико сорвал большой лист батата, свернул кульком и принес, разбрызгивая на ходу, воду. Жозиас захотел отпить — вода потекла ему по подбородку, залила грудь.

Я сорвал лист поменьше и донес в нем совсем малость, но и это он не смог выпить. Лоб, подбородок, верхняя губа у него покрылись потом, глаза бегали. Я вспомнил, что, по слухам, индейцы знают чудодейственные травы; я-то не знал ни одной, но сорвал какой-то лист в надежде, что он окажется чудотворным, растер его на ладони, чтобы выжать сок, но сока не получилось; тогда я его пожевал, чтобы сделать кашицу, во рту у меня запылало, точно я сосал раскаленные угли. Я встал на колени рядом с Жозиасом и спросил, сможет ли он ехать, но он не ответил, а только застонал.

Я спросил Дорико, что нам делать, спрашивать у Розендо было бесполезно: с самого начала он точно прирос к земле и лишь таращил глаза то на одного, то на другого.

— Отнесем его в усадьбу. Нечего здесь оставаться, — сказал Дорико. — Один из нас сядет в седло и повезет его впереди себя.

Я закинул удила мулу на загривок и влез. Дорико поднял Жозиаса и помог мне усадить его за передок седла, он был вялый, точно спящий ребенок.

Мы уложили Жозиаса на столе в зале, так было проще, потому что матрасы на кроватях были свернуты и завязаны. С большим трудом отыскиали мы на кухне под кастрюлей коробок спичек и почти весь его извели, а огонь не зажгли. Дорико сказал, что лучше это дело бросить, спички понадобятся, чтобы зажечь свет ночью. Жозиас больше не стонал, а только хрипел, время от времени выдавливая слова, которые никто не понимал.

Дорико распряг мула и послал Розендо за кукурузой, тот потыкался, потыкался и не нашел; я пошел в амбар — кукурузы там было на целое войско, я вылушил несколько початков и бросил в кормушку. Розендо был словно не в себе.

Мы сидели на скамье в зале, охраняя Жозиаса и отгоняя moskitov, которые пытались сесть ему на лицо. Дорико начинал нервничать, он говорил, что лучше одному из нас поехать в город и позвать отца Жозиаса с лекарством. Розендо его поддерживал и попросил поехать меня; я сразу понял, это потому, что он не хочет остаться в усадьбе наедине со мной: Дорико был с ним куда терпеливее.

Я оседлал мула и влез на него — но кто сказал, что он сдвинется с места? Я, как умел, старался его стронуть —

мул подымал голову, делал несколько шагов вбок, словно самое время потанцевать, сопел — и не слушался. Дорико обошел дом, отыскал заостренную палку, стал тыкать ею мула в круп, пах, брюхо, мул вздрагивал всем телом, лягался вбок, пытался, но ни шагу вперед.

— Ты бей, а я буду тянуть, — предложил Дорико.

Он ухватился за поводья под самой мордой у мула — мул уперся передними ногами в землю, вытянул, сколько мог, вперед шею, как бы говоря «вот-тебе-моя-шея» — и ни с места.

Дорико залепил ему сильную затрещину, отпустил поводья и почесал в затылке.

— Не хочет. Ну и упрямец! Может совсем лечь.

Уже темнело, а Жозиасу не полегчало, он казался все слабее, все безнадежнее. Последними спичками мы зажгли лампу и сели на скамью, не зная, что делать. Мы надеялись, что нас хватятся, особенно Жозиаса, и догадаются поискать в усадьбе.

Из разговоров, которые мы вели, то есть я и Дорико, потому что Розендо не раскрывал рта, стало ясно, что мы оба здорово злы на Жозиаса за то, что он заморочил нам голову этой прогулкой. Ведь мы могли бы сидеть дома или играть на площади у церкви, а очутились тут, в таком положении.

В какой-то момент я поглядел на Жозиаса и увидел, что он изменился: стал неподвижный, точно кукла из папьемаше, какую я однажды нашел на помойке. Я почувствовал дрожь внутри, но ничего не сказал — не хотел первым делать это открытие.

Дорико встал напиться, налил в стакан воды из кувшина и, когда пил, взглянул на Жозиаса да так и застыл. Он подошел к столу и левой рукой дотронулся Жозиасу до лба. Потом отставил стакан, приложил ухо к его груди. Он со страхом взглянул на меня и спросил:

— Наверно, он умер? Мне кажется, что он умер.

Я не слишком испугался, потому что уже более-менее знал об этом, но Розендо испустил вопль и вскочил со скамьи, он оглянулся на меня, на Жозиаса, схватил Жозиаса за руку и тихо позвал:

— Жозиа, а Жозиа. Нет, Жозиа. Нет. Не умирай.

Поняв, что Жозиас больше не слышит, он вдруг выпустил его руку и, рыдая, убежал. Брошенная рука упала, ударилась тыльной стороной о стол, издав легкий стук. От этого стука, который шел от тела Жозиаса, я словно

очнулся: я знал, что он умер, но пока еще этого не понял, а услышав этот стук, сразу понял. Я посмотрел на Дорико, уже вернувшегося на лавку, он плакал втихую, не так, как Розендо, который ревел в три ручья. Я сел возле Дорико, Розендо сразу же тоже уселся, он боялся стоять.

Ветер бился о лампу, не давая замереть тени от стола, она ходила по полу туда-сюда, мешая сосредоточиться. Будь моя воля, я бежал бы отсюда далеко-далеко, всю свою жизнь, без передышки. Вдруг громко и сердито заговорил Дорико:

— Он сам во всем виноват. Кто ему велел нас сюда вести?

Розендо испуганно на него взглянул и с мольбою сказал:

— Не говори так! Он умер, бедняга!

— Кто ему велел! Мы так здорово рыбачили...

Когда он это сказал, сильный порыв ветра сбил пламя в лампе — я бросился прикрыть его рукой, но было поздно. Темень стояла такая, словно мы нырнули в глубокий колодец и вот-вот кончится дыхание. Я услышал, как тихонько позвал Розендо:

— Камило... Дорико... Сядьте со мною!

Я почувствовал, как меня схватила чья-то рука, и похолодел от ужаса. Это был Дорико.

— Пошли на улицу, — сказал он.

Мы встали, ухватившись друг за друга, и, перебирая руками по скамье, по стене, вышли на галерею, различив более светлый проем двери.

Усевшись на приступке перед входом и чувствуя себя увереннее в обществе мула, который покусывал себе бока, мы коротали ночь, избегая разговоров, чтобы много не говорить о Жозиасе, но не думать о нем было невозможно. Я вспоминал о наших с ним ссорах; как-то раз дошло до того, что мы схватились и покатались по земле из-за ерунды — треснутого пенала, который он нашел и не захотел мне показать; хуже всего, что, когда он был уже подо мною, я безо всякой нужды двинул ему кулаком и до крови разбил нос. Потом мы снова были друзья, но теперь, уже мертвый, прощал ли он меня? На всякий случай я мысленно попросил у него прощенья и дал слово молиться за него во время мессы.

Тут я вспомнил, что уже почти воскресенье! Мать Жозиаса ждет его к мессе, а он все не идет, а потом окажется, что он мертвый... Я подумал о том, с каким лицом

мы принесем Жозиаса домой... Собрался с духом и предложил:

— А что, если нам оставить его здесь и уйти? Ведь никто не знает, что мы с ним пришли...

В темноте я не увидел, что за лица сделались у моих друзей, но услышал голос Розендо, на этот раз громкий:

— Бросить его здесь? Одного?

Я не ответил, ожидая, что скажет Дорико. Он немного помедлил и сказал:

— Мы можем похоронить его здесь и ничего не говорить. Тут должны быть лопаты, мы их отыщем, когда рассветет.

— Похоронить здесь? Без гроба, без отпеванья? — спросил Розендо, который вечно тянул назад.

— А что? Он все равно умер, и не по нашей вине, — ответил Дорико.

— Ну нет. Он наш друг, мы не можем с ним так поступить. И потом, это грех. Как угодно, но мы должны его отнести.

Когда Розендо заговорил о грехе, я сразу понял, что настаивать бесполезно. Если мы бросим тело в усадьбе или похороним, Розендо обязательно расскажет.

Я очень устал, прислонился к стене и больше не произносил ни слова — пусть решают сами, я на все согласен. Тут я подумал о своей чистой, вновь застеленной постели: по субботам мать меняла простыню и наволочку, и при одной мысли об этом я почувствовал запах чистого полотна. Я силился не заснуть, потому что считал, что наш долг — не спать всю ночь. Старался отвлечься, вслушиваясь в пение петухов, мычание коров на скотном дворе, в щебет ночных птиц. Время от времени я задремывал и в страхе просыпался: мне чудился голос Жозиаса. До чего же было бы замечательно, если бы Жозиас очнулся, как это бывает после обморока, встал со стола и пришел поболтать с нами, посмеялся бы над нашими страхами и рассказал о том, что произошло... Потом вчетвером мы вернулись бы в город как ни в чем не бывало...

Наконец над темной грудой холмов возникли изрезанные красными лучами облака — знак того, что день уже близок. Прошло немного времени, мул поднялся, распрянул передние ноги, перекатил на них свое тело, взмахнул хвостом — он был готов. Мы тоже встали, потянулись, тут же, перед домом, опорожнили свои мочевые пузыри и вошли на цыпочках, стараясь не глядеть на стол. Дорико

обнаружил гроздь бананов, подвешенную к балке в кладовой, они были не вполне спелые, но мы съели несколько штук и запили водой.

— Может, мул пойдет? — спросил Дорико.

Я запряг мула без особой надежды на успех, Дорико для пробы сел на него верхом, мы снова проделали то же, что накануне: били, толкали, кололи — ничего не помогало.

— Придется идти пешком, — сказал Дорико.

Я ответил, что можно срезать две толстые жерди, взять одеяло или простыню и соорудить носилки, но Дорико был против:

— Не надо срезать палку. Уже поздно. Вот если бы у нас был гамак...

Мы поискали — гамака не было или он был заперт на ключ в каком-то сундуке. В кладовой нашелся большой мешок из-под кофе. Дорико сказал, что он годится; мы высыпали в угол остатки кофе, встряхнули мешок, чтобы выбить из него шелуху, собрались с духом и пошли испытывать. Мы подсунули мешок под ноги Жозиасу и стали запихивать тело, оно было твердое, как доска. Голова осталась немного снаружи, нам пришлось затолкать ее вовнутрь. Мы завязали отверстие веревкой, Дорико взялся за горловину мешка, а я — за два угла снизу. Розендо мы приказали закрыть дверь и тронулись в путь.

Холстина у мешка была слишком грубая и скоро начала натирать нам руки. Я то и дело менял руку и под конец взялся за мешок обеими руками, а когда очень устал, позвал на помощь Розендо, который без дела плелся сзади.

Розендо немного понес, потом сказал, что бросает, и бросил. Дорико тоже выбился из сил, он показал руки, они были еще краснее моих: его конец был тяжелее. Мы положили мешок и уселись на обочине дороги, каждый прикидывал в уме, как нам быть.

Решение нашел Розендо, и притом такое отличное, что мне стало стыдно за то, что я раньше ни в грош его не ставил. Он показал на длинный ствол среди кустов, наверное, это была гуатамбу, и сказал, что если нам удастся его повалить, мы сможем подвесить мешок на ремнях и нести на плечах. Дорико поглядел на дерево, поглядел на мешок, валявшийся на земле, прикидывая, как это будет. Потом рассмеялся; впервые после происшествия у ручья один из нас смеялся.

— А ты не такой уж осел, Розендо. Поглядим, удастся ли нам повалить жердину, — сказал Дорико.

Нам пришлось здорово потрудиться, но дерево было повалено: мы на нем висли, мы его сгибали и ломали, обдирая в кровь ладони. Потом отломили верхушку, что было куда легче, и несколько веток потоньше. Как говорил Розендо, мы подвесили мешок на ремнях, затянув лианами брюки, подложили на плечи листья и пошли дальше; ни к чему было даже отдыхать: если уставало одно плечо, мы перекладывали жердь на другое.

Мы боялись повстречать кого-нибудь на пути, но, к счастью, в этот час никому не понадобилось пройти по той дороге. Когда мы подходили к мосту, Дорико повернул голову назад и сказал:

— Давайте договоримся. Если спросят, отвечайте, что это свинья.

Мне его идея не слишком понравилась, потому что свинья очень грязное животное. Я поискал что-нибудь взамен, но другие животные не подходили по величине.

Когда мы вошли в город, мне стало не по себе, потому что никто из нас не подумал, что мы станем говорить, отдавая мешок. Мне бы очень хотелось бросить мешок на галерею в доме Жозиаса и убежать, но я ничего не сказал, потому что знал: Розендо не согласится.

Мы издали увидели дону Ритинью, которая, стоя в дверях, глядела по сторонам. Она нас заметила и побежала нам навстречу. Если бы я мог провалиться сквозь землю, стать невидимкой, превратиться в птицу...

— Вы не знаете, где мой Жозиас? Вы не вместе были?

Мы остановились перед нею, жердь провисла при остановке.

Никто не осмеливался ответить.

— Он отправился в усадьбу и хотел вчера же вернуться, но до сих пор его нет. Я подумала, что вы вместе, а вы тоже исчезли. Я беспокоюсь, что там некому заварить ему настой, если он вдруг заболел. Белмиро хотел поехать следом, но не нашел мула, а пешком он не может из-за ревматизма.

Розендо разрыдался, Дорико тоже. Я расплакался еще сильнее, когда увидел лицо доны Ритиньи, которая обо всем догадалась, но не хотела поверить. словно сговорившись, мы опустили жердь с мешком возле нее и убежали, а вслед нам неся крик, который я слышу и по сей день.

Сесар Вальехо

(1892 1938)

Сесар Вальехо — один из наиболее известных поэтов Латинской Америки. Прозаик (автор первого пролетарского романа «Вольфрам», 1931), литературный критик, журналист (книга очерков о Советской России — «Россия», 1931). По словам К. Мариатеги, внес в поэзию «индейское мироощущение». Уже в первом сборнике стихов — «Черные герольды» (1918) — ведущее место занимают мотивы социального протеста, второй сборник — «Трильсе» (1922) — смелая попытка создать новый поэтический язык — поэзия-эксперимент. В 1923 году Вальехо уезжает из Перу. Живет в Париже, вступает в общество друзей СССР, затем в компартию. В годы национально-революционной войны в Испании организует помощь республиканцам, участвует в Международном конгрессе в защиту культуры. Незадолго до смерти создает две свои лучшие книги «Человечьи стихи» — одну из вершин мировой социальной лирики XX века и «Испания, да минует меня чаша сия» — призыв к международной солидарности и проклятье фашизму.

* * *

Забойщики покинули забой,
расправив кости завтрашних развалин,
подперли жизни грохотом смертей
и, до отметки выработав мозг,
закупорили голосами
каверну заглубляющей штольни.

Ты посмотри на этот едкий прах!
Послушай окись этого величья!
Все эти клинья ртов, и наковальни ртов,
и механизмы ртов! (Они великолепны!)

Порядок их могил,
хор перебранок, пластика подначек,
их толпы у подножья горючих катастроф, —
ценители желтушных суховеев,
печальники печалей,
ученики
иссякших руд и ссохшихся бескровных минералов.

С рабочими буграми черепов,
обутые в ботинки из вискачи,
обутые в дороги без конца,
с глазами, выеденными слезой, —
создатели глубин, они-то знают,
смотря на небо вперемежку с клетью,
что значит опускаться, глядя вверх,
что значит подниматься, глядя вниз.

Хвала извечным играм их природы,
бессонным мускулам, мужицким слюням!
Кинжал и рог — каленым их ресницам!
Да брызжут их соленые наречья
мхом, жабой и травой!
Железный плюш — их свадебным постелям!
Хвала их женам, женщинам до пят!

Да будут счастливы все их родные!
Какая это невидаль, когда,
расправив кости завтрашних развалин
и до отметки выработав мозг,
забойщики вскрывают голосами
каверну заглубляющейся штольни!
Да славится их желтая природа,
их чудо-фонари,
их кубы, ромбы, пластика увечных,
шесть нервных окончаний их глазищ,
их сыновья, играющие в церкви,
и тихие, как дети, их отцы!
Да здравствуют создатели глубин!..
(Они великолепны!)

ШЛЯПА, ПАЛЬТО, ПЕРЧАТКИ

В кафе неподалеку, напротив Comédie ¹,
в углу, где все знакомо, заведомо и старо,
ждет табурет и столик — испытанная пара.
И пыль встает навстречу, лишь только подойди.

Резиновые губы, дешевая сигара,
и с каждой затяжкой мутится впереди
раздвоенная дымом грудная клетка бара
и ржавчина печали в задымленной груди.

А надо, чтобы осень из осени кустилась,
и надо, чтобы осень из завязей сгустилась,
из желваков морщины, из полугодий тучи.

И чтоб безумьем пахло, пока внушаешь боли,
как резвы черепахи, как заморозки жгучи,
как ясно почему, как коротко доколе.

* * *

Нес воскресенье на ушах мой ослик,
мой перуанский ослик в Перу. (Простите грусть.)
Но бьет одиннадцать уже в моем сознание,
сознание глаза, вогнанного в грудь,
сознание стада, вогнанного в грудь,
сознание зверства, вогнанного в грудь.

Холмы земли моей, такие же, как эти,
обильные ослами, детьми ослов,
теперь уже отцами,
вы воскрешаете разубранный в поверья
холмистый горизонт моих печалей.

Вольтер, спиной, запахивая плащ,
разглядывает цоколь постамента,
но солнце, пронизав, моим оскалом
пугает толпы каменных особ.

¹ Имеется в виду известный парижский театр «Комеди Франсез».

И снится мне тогда темно-зеленый
покинутый утес, мои семнадцать,
полноголосый камень позабытый,
и под иглой руки звучат года,
в Европе дождь и солнце, я кашляю,
и что ж это за жизнь,
что за столетья будней,
знакомые до боли в волосах,
что за микробий мир, да и вот этот
патриотически причесанный озноб!

* * *

Чуть-чуть побольше выдержки, собрат;
гигантской, крохотной, полярной, полной
и беспощадной выдержки во всем:
на мелких побегушках у побед
и в грозном раболепье перед крахом.

Ты как в чаду, а разобраться — нет
и в здравомыслии подобной блажи,
как мускулистый разум твой, и нет
расчетливей ошибок, чем твой опыт.

А говоря яснее,
ты — по сравнению с золотом — стальной,
но только хватит бредней
и не стоит
такого пыла вкладывать ни в смерть,
ни в жизнь из-за одной своей могилы.

Пора не дуться и не суетиться,
приняв отпущенный тебе масштаб,
твою реальность рядовой частицы,
а с ней — процессии твоих осанн
и легендарии твоих анафем.

Ведь ты из стали, всякий подтвердит,
и потому не дрогнешь и не станешь
валить мой круглый счет на кумовьев,
а на ходульных крестников — мои
блистательные солеотложения!

Шагни всего лишь! Сдвинься, развяжи
свой мертвый узел, разочтись и кончи,
тяни, грызи, руби — неужто мало
судьбы, нутра, четырнадцати строк
насущенных, — столько сил и столько прав
на веской стороне твоих порывов!

Какая дробь в итоге за тебя!
Какой похожий гнет тебе опорой!
Какая строгость и какая помощь!

Что проку
в твоей манере без конца страдать,
в твоём тлетворном судорожном свете;
побольше выдержки — она и есть
доподлинная бедственная весть.

Так отыщись хоть кто-нибудь живой,
скажи мне, что со мною,
когда зову тебя, вовеки твой.

* * *

Сегодня я хотел бы стать счастливым,
счастливым быть, гудеть листвою расспросов,
в самозабвенье двери распахнуть,
как я люблю,
и все-таки дознаться,
бесхитростно простершись в полный рост,
чтоб только убедиться, кто захочет,
чтоб только убедиться, кто захочет побыть
на этом добровольном месте,
дознаться, повторяю,
за что же мне так душу решетить.

Ведь я хотел, по сути, быть счастливым,
работать, не ишача под плетью.
Иначе для чего мне краски мира,
и эти сослагательные песни,
и выпавший в прореху карандаш,
и все устройство органов стенанья?

Ответь, мой убедительный товарищ,
отец мой по величью, смертный сын,

друг и соперник, Дарвинов свидетель:
в каком часу придут с моим портретом?
В час радости? Скорее, под конец?
Пораньше? Или, может, в час раздора?
В час милости, чужак мой и сосед,
мой человек, на чьей гигантской шее
моей надежде бог весть как висеть,
и нитки за душою не имея...

* * *

Клянет и любит сердце свою масть,
а я бреду крутой его дорогой,
постанываю палкой, плачу в руку,
жду счастья, вспоминаю и строчу
и по скуле распластываю слезы.

Зло любит алость, и добро ей радо —
подсвеченной нависшим топором,
ребром крыла, летящего стоймя, —
а человек не рад. А человек
набычился рогатыми висками
и уложиться в собственной душе
не хочет, просто-напросто не хочет,
двурукий, слишком темный, слишком умный.

Так падаю, почти уже не я,
вслед лемеху, в котором теплою душу,
и, рушась, чуть ли впрямь не возношусь.
За что же так собачится судьба
и почему я плачу, почему,
едва родившись, хмурый и никчемный,
я закричал —
познав это, поняв
хоть по слогам, но в букваре надежном,
неблагодарно было бы страдать!
Так нет же! Нет! Ловушка без приманки!
Одна тоска — да, смертная тоска
с тупым, надрывным, задубелым «да»,
«клянет и любит», птицей и зенитом,
тоска врзлет, врасхлест, во всю прореху.
Раздерган плач, ограблена судьба,
укатан путь, и я сбиваю ноги,
измученные спешкою впотьмах.

Хавьер Эро

(1942—1963)

Хавьер Эро родился 19 января 1942 года. В 1960 году опубликовал свою первую книжку — поэму «Река», сразу же принесшую ему широкую известность. В том же году за второй сборник стихов «Путешествие» Хавьер Эро получил первую премию на конкурсе молодых поэтов Перу.

Летом 1961 года он побывал в Москве и написал прекрасное, полное светлого лиризма стихотворение «Красная площадь».

Движимый чувством боли за родную страну, поэт приходит к выводу, что его место в рядах тех, кто борется с оружием в руках. После года учебы на Кубе 15 мая 1963 года Хавьер Эро с пятью товарищами тайно пересекает боливийско-перуанскую границу, чтобы организовать партизанский отряд. Но смельчаки попадают в полицейскую засаду. Спасти удалось лишь одному. На теле Эро было двадцать ран, из которых шесть — смертельные.

А вскоре после его гибели жюри конкурса, организованного Национальным университетом Сан-Маркос в Лиме, присудило ему посмертно первую премию за поэтический сборник «Все времена года».

Латинская Америка с болью встретила известие о гибели того, кого называли «надеждой перуанской литературы». Но, как писал Пабло Неруда: «Поэзия и кровь павшего юноши живут и продолжают жечь сердца. И завтра, когда засияет истинный свет, его полюбят и узнают все».

РЕКА

Жизнь течет
полноводной рекой.

Антонио Мачадо

1

Я — река,
я бегу
по камням
Я — река,
я бегу
среди скал и утесов

по тропинкам,
прочерченным ветром.
Деревья склонились у берегов,
от дождей
потемнела листва.
Я — река,
я стремлюсь все вперед
и вперед,
все полнее
и шире поток,
бьются струи мои
в арках мостов дальних...

2

Я — река,
я — река,
по утрам я бываю хрустальной.
Я порою нежна,
и тепла,
и светла,
и, спокойно
скользя
по полям плодородным,
я стада напою
и людей напою добрых,
ко мне в полдень
слетаются стайки детей,
а ночью в бездонные струи мои
глядятся глаза любви
и в светлой тени
чарующих вод
купаются руки влюбленных.

3

Я — река.
Но иногда
бешено,
исступленно,
разъярившись кипящей волной,
я и жизни, и смерти
дерзко

вызов
бросаю.
Воды падают гневным каскадом
неистов, свиреп
мой поток,
дробят скалы
мои водопады,
тащат камни,
стирая в песок.
С наводненных низин
убегают в смятение
стада,
когда я заливаю луга,
засевая камнями
поля,
когда
я,
река,
затопляю
пастбища и селенья,
валом грозным врываясь
в сердца
и двери,
в тела
и судьбы
людские.

4

И тогда все быстрей,
все быстрее я мчусь,
до ваших сердец
доплеснусь,
вместе с кровью
вольюсь
в ваши вены,
души людей
провидеть
смогу,
узнаю
потаенные чаянья их...
Вот уже гнев мой утих,
умирает,

я смиряюсь,
я замираю,
как дерево в штиль,
я делаюсь кроткой, как роза,
и немею, как камень.

5

Я — река.
Я — река
счастья вечная;
вот и бриз
прилетел,
вот и ветер
касается щек,
и мой далекий путь
среди гор и долин,
среди рек и ручьев
становится бесконечным.

6

Я — река. Я плещусь по песчаным плесам
в корягах и валунах.
Я — река. Я прохожу по берегам и порталам,
по открытым настежь сердцам.
Я — река. Я странствую по пастбищам сочным,
палисадам, цветам.
Я — река. Я прохожу по улицам шумным,
по земле и дождевым небесам.
Я — река. Мой путь по вершинам горных цепей,
среди хлеба, соли и скал.
Я — река. Я прохожу по вашим домам,
стульям, столам, гамакам.
Я — река, что в самом человеке течет,
и, вновь возвращаясь ко мне,
плывут на синей волне
рощи — плоды,
розы — каменья,
ваши сердца,
дома и столы.

Я — река. Я людям
пою
мои песни в полдень,
я могилам пою
мой реквием в полночь,
и священные
дороги мои.

Я река вечерней зари.
Роя теснины,
я прорываюсь к забытым
деревням,
к городам,
где зеваки
прилипли к витринам.
Я — река.
Вот я снова плыву среди нив,
и деревья по берегам,
как листвою, голубыми покрыты;
вторят рощи
песне моей,
сердце птиц взлетает,
разливаясь праздничной трелью,
и, в едином объятье сливаясь,
притоки, реки, ручьи
мне подпевают.

Но настанет мой час,
я вольюсь в океан.
Я смешаю
прозрачные воды
с океанской
соленой волной,
в ней
разольется
новый звон

моих светлых струй,
отзовется по-новому крик,
рвущийся из груди на заре,
глаза мои вспыхнут
в морской глубине,
и в безбрежном просторе ликующих вод
растворятся
мои поля,
мой ветер,
деревья,
озера,
луга,
мое солнце,
мои облака.
Что мне увидеть там будет дано?
Ничего,
ничего...
Только чистое небо встанет волной
и, смешавшись с синею гладью,
на песенный лад
запоеет надо мной.
Тогда поэма и стих
снова станут ручьем или мощной рекой,
повторят мой путь
и придут,
чтобы слиться
с новым светом
моих успокоенных вод
в лоне твоём,
океан.

(Род. в 1904 г.)

Гватемала

Луис Кардоса-и-Арагон — один из крупнейших деятелей современной гватемальской культуры, поэт, прозаик, публицист, историк искусства и литературы. Автор поэтических сборников «Луна-парк» (1924), «Мальстрем» (1926), «Вавилонская башня» (1930), «Стихи» (1948), «Маленькая симфония Новому Свету» (1948) и др. Ему принадлежат многочисленные эссе о латиноамериканской живописи, публицистические книги «Возвращение в будущее» (1948), «Гватемальская революция» (1955) и др. Луис Кардоса-и-Арагон выполнял дипломатические миссии в странах Латинской Америки, в Европе и СССР. Долгие годы был оторван от родины. В период гватемальской революции 1944—1954 годов находился в центре общественной и культурной жизни страны.

«Гватемала: линии ее руки» — наиболее известная из его книг. Опубликована в 1955 году и с тех пор не раз переиздавалась. Это эпическое полотно, охватывающее многовековую историю страны от мифологических праистоков до новейшего времени. Оно объединяет в себе хронику и легенду, воспоминание и публицистику, поэзию и историю. По широте обзора, многосторонности изображения и лирической экспрессии книга Луиса Кардоса-и-Арагона сродни таким монументам латиноамериканской культуры, как «Всеобщая песнь» Пабло Неруды и стенописи Ороско или Риверы.

ГВАТЕМАЛА: ЛИНИИ ЕЕ РУКИ

(Фрагменты)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК

Передо мной карта Гватемалы. Моей Гватемалы, смуглой и колдовской. В масштабах Америки она едва различима. С севера на юг, с запада на восток — всего полчаса лета. Но какие чудеса природы, какие разительные контрасты умещаются на этом клочке — сравнить хотя бы восток и запад, и не только пейзаж, но и тип населения, хозяйство, образ жизни. Вглядываюсь в ее неправильную форму, в обрубки северных и западных рубежей — границ с Белизом, гватемальской землей, присвоенной англичанами. Она — как

птица, нахохлившаяся над Тихим океаном; озеро Петен — словно глазок. Лучше всего любоваться ею с самолета, с высоты. На востоке голубая арка горизонта теряется в горах Гондураса и Сальвадора, на западе и севере — в просторах Мексики. Ноги Гватемале омывает Тихий океан.

Времен года у нас нет. Период дождей называем зимой, остальное — летом. Куаутемальян, земля обильных лесов. Разве забудешь наши дожди? Радость царит над землей, жаждавшей ласки. Внезапный сырой ветер пробегает по арфе пространства, перетряхивает сельву от вершин коунов и сапоте до последней забившейся во мрак травки, мечется в расщелинах, поросших мхами, вьюном, грибами, лишайником. Сплетения непроглядных лиан содрогаются, как такелаж гибнущих барок. Воздух леденеет под водопадом вихря. Несколько дней перед тропическим потопом стоит свинцовая духота, предвестница ливня. И вот он мало-помалу близится, крепнет, все звончей грохоча в барабаны и открываясь в своей целокупной и первозданной щедрости. С водой на землю падает небо. Округа колотится, как бесноватый зверь. Планетарное соитие вершится под барабанный грохот. Прорезается синь, и в промытом, заряженном воздухе вспыхивает солнце, до блеска надраенное миллионами лап, впечатанных в мокрую почву. Земля благоухает, как богиня. Деревья отходят от столбняка. В прогалинах кувыркается счастливое зверье. Сказочный, сияющий чистотой гуакамайю молнией рассекает воздух. В оврагах и на утесах заливаются птицы. На фоне палевого, прореженного сполохами неба лоснятся потемневшие дубы.

Гватемала с высоты — словно подушечка для иголок. Сорок вулканов, сорок шипов ее розы. На севере, в сыром и горячем мареве долин Петена, стоит глухая, нетронутая сельва. Над озером Петен высится Флорес, глава края, как зовут у нас столицы провинций. Здесь бывшая резиденция индейцев итца, мировой центр добычи смолы чикле. Петен, или Юкальпетен, с его руинами и высокогорными реками, прежними торговыми путями племен майя — Салинасом, Чихоем или Пасьон, сливающимися в Усумасинту, — это сердце Древней Империи, как называет ее Сильванус Морли¹. По мере изучения древних цивилизаций архипе-

¹ Сильванус Морли (1883—1948) — американский археолог, крупнейший исследователь цивилизации майя.

лаг этой культуры вновь поднимается из пучины джунглей. Александр Гумбольдт в книге «Космос» утверждал, что в центре полуострова Юкатан находятся богатейшие в мире залежи нефти. Стало быть, они на территории Петена. В этом обширном, где лесистом, где степном краю — как бы продолжении Сальвадора, — в его мало исследованных и плохо разработанных землях, еще не включенных в хозяйственную жизнь Гватемалы, покоятся монументальные останки славнейшей из цивилизаций Месоамерики.

В окружении степей тропики Петена стоят на бесчисленных колоннах стволов бескрайней зеленой тьмой. Уходя в перегонной, корневища набирают силу и выбрасывают скопленную мощь волнообразными куполами джунглей, закогтивших города мертвой хваткой прибоа. Тысячелетние корни пробуравили храмы с верхушки до основания, а ветки в горячечном соитии смяли синеву неба, дрейфующего по растительному морю. Покинутые экипажем, взятые на abordаж, пошли ко дну города, усеяв дебри разможенными киями. Неукротимые вьюны лезут по колоннам, где уже раскинулись становья грибов и переплелись орхидеи и птицы.

Башни затянуло лианами. Растительная лавина обрушилась, подмяла и раскроила камни, точно победоносная орда. Когти деревьев впились в своды, в сказочные стены. Над дрожавшими от птичьих рулад городами, где пели полуденные рожки солнца, теперь мелькают нетопыри и пьянеет от крови алый секач филина. Их покорили мхи и каобы, лишайники и сапоте, коуны и колючки. Зигзагом оцепеневшей молнии раскинулось на балконе гигантское дерево. Голубем и тигром пахнет зевок этой жирной, горячей, как свежина, земли. Она вздымается к небу прибоем сельвы, отяжелевшей от зародышей. Мощный гул ее сливается с томлением моря; у самого горизонта сельву бороздят барки, а море порастает лесом.

Яшмовому удаву не переварить всех этих стен, лестниц и куполов. Раздувшись, он задремал в накаленной полутьме, где порой чиркают гуакамайо. Под сводами запустевшего храма властно и сторожко проходит тигр. В многометровой толще прелой листвы давно погребен даже след человека. Лишь изредка треск валежника выдает упругий и чуткий тигринный шаг. Он ступает почти невесомо, как по густоворсовому ковру. В зрачках отсвечивают зубчатые стены Тикаля, росписи Бонампака. В бродиле

орхидей, папоротников, лиан, мхов, тычинок и пыльцы потонули города майя. Здесь, наверху, солнце до самого горизонта озаряет лишь тяжелые валы зеленого моря, бурлящего смолой, птицами и обезьяньим визгом.

К югу от Петена лежит Верапас. Теколотланом звали его мексиканцы, сопровождавшие Педро де Альварадо¹. Это край немецких кофейных плантаций, экспроприированных государством во время второй мировой войны и розданных крестьянам по закону об аграрной реформе. Центр его — Кобан. Снова окунаешься в мир индейцев: здесь это кекчи. Климат мягок, земля щедра, одежды переливаются радостными красками. Отовсюду звучит местное наречье. На западе, в зоне племен киче, сутухиль, какчикелей, маме — там, где высятся Лос-Кучуматанес, «высокие синие горы», — метисы почти не владеют индейским языком и ни за что не наденут характерного деревенского платья. А в Кобане, центре Верхнего Верапаса, индейцы, метисы и даже немцы говорят на кекчи не только на рынке, но и дома и носят по праздникам местную одежду. Наряд женщин Кобана — наполовину индейский. То же и в близлежащих городках — Сан-Педро-Карча, Тамау, Чамелько, Тактик, Тукуру и десятках других. Женщины здесь — а они пользуются славой модниц — носят свободные сборчатые юбки из местной ткани в зеленых или темно-синих разводах, падающие до щиколоток. Такая полосатая ткань — верх искусства гватемальских мастериц. Из-под юбки видна широкая и пестрая, светлых тонов, оборка. Ходят они босиком или в сандалиях — чем-то средним между старинными плетенками-кайте и обычными нынешними башмаками. На них белые, с широкими и развевающимися на ходу рукавами кофты навыпуск. В вырезе кофты поблескивает цепочка филигранного серебра. Черные волосы, перевитые яркими, схваченными пышным бантом лентами, двумя тяжелыми струями ниспадают по спине до бедер.

На западе, в центре и на севере преобладает коренное население. От него — неповторимая окраска нашей жизни. В сотнях селений, где нет уже ни местного языка, ни платья, втайне еще теплится существование доколумбовых времен. И сохранилось оно не только в формах, презрительно именуемых суеверьями — не таковы ли все религии на

¹ Педро де Альварадо (1485—1541) — испанский конкистадор, первый наместник завоеванной его войсками Гватемалы.

свете? — но и в полноправной деятельности общин, доживших до нынешнего дня. Ведь, в конце концов, те, кого мы называем колдунами, для индейцев — священники и иерархи, которых чтят и молят так же, как католических патеров. Одни считают Гватемалу страной смешанных верований. Другие — католической, но антиклерикальной. Хосе Хоакин Пардо как-то сказал мне: «Из ста гватемальцев девяносто девять — фанатики, и лишь один — католик». — «А христиане?» — вырвалось у меня. «Вы да я», — отрезал историк.

Большинство жителей востока сухопарые, с изжелта-зеленой кожей. Малярия и другие напасти тропиков довели их до той бледной смуглоты, какая бывает у непросушенного табака, прибрежных скал или прокаленной земли. Типы и одежды индейцев здесь не так разнообразны, как на западе страны. На востоке не носят домотканого платья и не одеваются на индейский манер, разве только в считанных селеньях по комам или чорти. Красок западных деревень и полей здесь не встретишь. Зато куда больше метисов, чем в других областях: тут основательней всего обжились испанские завоеватели, многих индейцев сгоняли отсюда в Гондурас, работать на шахтах. Коренное население растворилось среди метисов: одеваются они одинаково. В отличие от запада, здесь не ведут пусть и скудного, но своего регионального хозяйства. Положение крестьян тут куда тяжелее. Наверно, многие области без труда могли бы зажить по-иному, используй они для орошения свои полноводные реки. Вода и раздел земли изменили бы эти просторы, но пока они унылы и нищи. И так не только на востоке: то же творится и на севере, скажем, в долине Саламы — центре Верхнего Верапаса, схожем с восточными районами во всем, вплоть до малярии, печально знаменитой в Гватемале.

Я никогда не был в Саламе. Ребенком там жил мой отец и столько рассказывал мне о ней, что Салама стала частью и моего детства. Как будто я знал уже и эту сейбу, и кипарис у церкви.

В те времена деревня была еще глуше и беднее, чем теперь. Когда кто-нибудь из играющих ребят, босой, оборванный, забегал под гигантскую сейбу, мне виделся отец. Внизу неслась река, о которой он мне столько раз говорил. С холмов сбегал ручеек Оротата. Этим именем он называл и наш участок в Старой Гватемале. Он любил этот край: здесь прошла молодость его родителей и братьев. Все они

лежат на погостах Верапаса. Я побывал на кладбище, обошел тесный круг надгробий, ища свое имя, свою родину. Семья деда покинула Саламу, когда отец был еще ребенком. Они сменили немало мест в этом краю и похоронены в Сан-Кристобале. А рождение отца, насколько помню, зарегистрировано в Чоле, доколумбовых времен деревне на южном склоне горы.

Неподалеку от Саламы, в небольшой красивой долине, приютился Рабиналь, уходящий истоками в индейские легенды. С незапамятных пор он был крупным центром племен киче. Если идти из Саламы, за поворотом открывается лощина, золотая от апельсинов и маиса. Но с дороги из Гватемалы через нагорье Чуакус, с вершин Чоля, она еще прекрасней.

В Рабинале, веками связанном с центрами киче и какчикелей, уже чувствуется что-то от индейских селений запада. Как и в других индейских деревнях, тут хранят традиции и развивают местное хозяйство: торгуют плодами земли — кто не знает здешних апельсинов? — и изделиями народного ремесла — тканями, керамикой, расписными сосудами из тыквы. На празднестве святого покровителя селенья исполняют драматический балет доколумбовой эпохи «Мужчина из Рабиналя», открытый в 1856 году аббатом Брассером де Бурбур, в ту пору здешним приходским священником. В 1945 году Генриетта Юрченко обнаружила и записала музыку другого местного балета, «Корзины». Дыхание «Пополь-Вух» овеивает Рабиналь. Его корни достигают ладоней первых богов. Рабинальцы сродни раскрашенным глиняным фигуркам, которыми торгуют на площадях.

Ближе к границам с Гондурасом лежит Эскипулас, знаменитый святилищем Черного Христа. Индейцам не приходилось ждать милости от белокожего бога: этот цвет людей с крестом и мечом всегда означал здесь смерть и разорение.

Старейшины обратились к Кирио Катаньо, известному мастеру Старой Гватемалы, с просьбой вырезать им смуглолицего Спасителя из бальзамового дерева. Но установили святыню только в XVII веке, при епископе Фигероа, «чудесно» исцеленном милостью Черного Христа. К 15 января сюда стекаются паломники из Мексики, Сальвадора, Гондураса и еще более дальних краев.

Происхождение святилища в Эскипулас напоминает историю Темнолицей Богоматери из Тепейяка. «Эк-ик-

пул-а» (Эскипулас) на языке майя значит «черный ветер, несущий воду» (дождь). Здесь был священный центр, где поклонялись божеству плодородия. Тысячи приходящих превратили языческого бога в Черного Христа. Такова вкратце его родословная.

На северо-востоке в озеро Исабаль впадает Рио Дульсе¹. Даже стократ виденная, она всякий раз поражает снова, кружа голову, как мираж. Не зря называют сладостным ее плавный, неспешный поток. Медленно струится он по пологому и широкому судоходному руслу, по жирной, горячей и сырой почве, меж отвесных порфировых стен, в гуще ослепительных ботанических оргий. Облицованное листвою небо течет параллельно. Вдали от берега над открытой водой пышет зеленое зарево, отсвечивая в дремотном оцепененье ласковой реки и мешая с облаками гигантские столбы лиственного пламени. Зеленея, пылает вода.

Смарагдовые капли сонного потока виснут на ветвях и снова падают в реку вперемешку с бирюзой неба, стиснутого параллельными стенами базальта и яшмы. Мы в самом сердце тропиков, в их вольном звездчатом царстве.

Белые, розовые, серые, голубые цапли выглядывают из зарослей манглии, начиненных пернатыми всех семейств и расцветок. Осколком орнаментированной глазури мелькнет зимородок. Засиженные птицами кайманы всосались в геологическую память земли, которую мутит от их оцепенелой скуки. Они уже пустили корни, эти недвижные стволы с двумя щелками для глаз. Полукамень, полутопь, иногда они шевелятся в жиже, словно палец в перчатке. Тот же подернутый пеной третичной эпохи туннель хлорофилла и синевы переваривает бирюзовые крапины в радужках кайманов, тяжелых, как сгустки подпочвенного масла.

Плывешь, погруженный в лоно реки, отдаваясь, как перышко, ее сладостной, дремотной воле. Зеленая целокупность, нетронутый новорожденный мир. И вот уже смотришь глазами ящера и в космическом безмолвии чувствуешь на себе груз тысячелетий. Прорастаешь зеленью. Тонешь в соке древесных артерий, в лиственном, обомшлом и давнем.

Ты снова в первозданности, пылинка в гигантской

¹ Рио Дульсе (исп.) — сладостная река.

орхидее реки, нотка в ее зеленом хоре. Проникаешься не пышностью пейзажа, а состоянием души, которая рождается вновь. Ты на границе трех царств, вернувшись в эдем, придя к первому дню творенья. Мир улыбается в самозабвении зачатия. Как побегам вьюнов и лиан, тебе легко и тревожно разом. Ощущаешь себя ноздреватым, словно в эпоху ящеров. Безмятежное ликованье деревьев. От прелых вод тянет млечным запахом семени: всплываешь в утробу мироздания.

Слышно, как цапля переступает с ноги на ногу.

На востоке почти всюду сушь, кроме ложбинок, по которым ручьи проворно сбегаются к руслам рек, впадающих на юге в Тихий, а на северо-западе — в Атлантический океан. Много скота. Лесодобыча на хребте Лас-Минас. Хозяйство края — это маис, фасоль, сахарный тростник, табак, рис и кофе на лучших землях вдоль Тихоокеанского побережья, в долинах — фруктовые сады. Жители большинства деревень работают на железной дороге, для компании «Юнайтед фрут» — в этой Гватемале иностранцев. На крупнейшей из местных рек — местами судоходной Мотагуа, чей бассейн, по словам С. Морли, плодороден как нильский, и водрузила свои знамена «Юнайтед фрут». Здесь высятся развалины Киригуа — дворцы, монолиты и звероподобные камни центра Древней Империи, сотворенной из росы и безмолвия.

Горная цепь от Мексики до Сальвадора сбегает к Тихому океану широкими полосами кофейных деревьев, хлопка, сахарного тростника, хлебов, строевого леса, цитрусовых и пастбищ. Это богатейшая земледельческая зона. Почвы здесь влажны и тучны, растения наливаются мощью плодородного тропического ила. Край растительных оргий, пахнущий перегноем и прелью бочагов и топей. Пальма, поющая губами землепашцев. Сельва захлестнула все, приостановленная аккуратными рошицами банановых деревьев — снова «Юнайтед фрут»! — с их разлатыми листьями, чья зелень тянется на много акров. Солнце гранит золотые гроздья плодов. До чего же непохож на эту пышность желтолицый крестьянин, придавленный трудом и малярией.

Посреди Гватемалы высятся три классических башни, три гигантских стройных пирамиды — вулканы Агуа, Фуэго и Акатенанго.

Есть мнение, что слово «Гватемала» означает «вулкан Агуа», на чьих склонах или неподалеку от них располага-

лись города Королевства Гоатемала¹. Три этих исполинских конуса безупречных очертаний видны отовсюду. Их именами, самой их сутью полны священные книги индейцев, где легенда переплетается с историей.

Три благородных башни восстали из мифов, чтобы отчеканиться на колониальных эскудо. Отвоевав независимость, скрылся Сантьяго, мчавший когда-то по нашим равнинам с саблей наголо. Вулканы дожили до поры, когда легендарный кецаль свил гнездо на государственном флаге. Вулкан Агуа, со второй столицей на склоне, и Старая Гватемала, уснувшая в долине, с которой он взмывает в небо, — это ось гватемальского пейзажа.

Страна лежит у подножья вулкана Агуа, как местный рынок в спасительной тени сейбы. Он — средоточье Гватемалы, свидетель явления первых богов. Зарю называем его улыбкой. На любом повороте дороги, над шелестом сахарного тростника, пшеницы или дубов, — всюду высишься ты, вулкан Агуа, сын мой, рассекающий небо сине-зеленым покоем. Смотрю на твою голубую стать исполина и вспоминаю, как в детстве, усевшись на этой широкой спине, скакал я по карте Гватемалы, по ее пахучей и звонкой чаще. В потемках мифа я слышал поступь первых майсовых людей и обожествлял далекое солнце над жерлом туннеля, похожее на тугую кожу барабана, который, верю, еще зазвучит. Вулкан Агуа, ты сажал меня на колени и рассказывал древние преданья. Вспоминаю наши игры: вон там было море из пилоев и какао. Мы обходили его стороной, окружали хребтами, опуtywали реками. А тут был лес, залив продавливали большим пальцем. Ладонью отпечатывали сельву, ее шерстку ягненка. Сплетали древесные корни, изображая самоцветные жилы и выводя их к родникам и птицам: яшмовым попугаям, бекасам, гуакамайю, сверкавшим, как битое стекло, кецалям, переливчатым, словно метеориты.

Если бы ты знал, как я люблю тебя, вулкан Агуа. Если бы ты знал, сколько раз детство спасало меня с той поры, когда в нас двоих билось одно сказочное сердце. Твоя соименница вода² унесла мои детские кораблики, мчавшие наперегонки с Вещей Рыбой Земли, с вами, Пахарь Морщин, Лишайник Смерти, Филин Шибальбы. Один кремне-

¹ «Киче» означает «лесистая земля», как и Гватемала (Куаутемальян). (Примеч. автора.)

² Агуа (исп.) — вода.

вый нож рассек нашу грудь над жертвенным камнем. За одной обсидиановой бабочкой мы гнались, одну ракету запускали. И если я был вдалеке, стоило прикрыть глаза — и снова меня оведал твой сладкий аромат, твое ровное дыхание. Даже теперь, когда ты стерся из виду, я все еще иду по следам твоих босых ног. Хун-Ахпу¹, колдовской отец и властитель, прими мою нежность и приколи у виска белым душистым бутоном.

Вспоминаю мою землю. Оттуда, из нее, вырван мой голос и моя немота. Словно унесший море в глубине раковины, я припадаю слухом к подземным колодцам. И чувствую, как ритм света и крови становится словом или захлестывается на горле удавкой тоски. И вижу, как обагрывает меня руки пламя свечи, алая звезда твоей крови, Кукулькан², и вспоминаю центральный светильник и жертвенный камень. И вены мои раздвигают траву и уходят в землю, сцепляясь с корнями сосен и пальм, врастая в рудные жилы. Оперенная кровь кружит над вулканами и степями, слившись с соком деревьев и тяжелой пульсацией скал. Камни, листья и звери вскарабкиваются мне на плечи. По губам и расцветшим запястьям, оплетая упругие арки костей, сбегает вьюнок, и — смешанный с молоком матерей и семенем отцов, с дремотными реками руд, соком сейб и побегов маиса, обвивших небесные бугенвилеи, — буравит утесы Млечный Путь, змей без конца и начала, пращур-исток, прародитель земного состава, отец жизни и смерти, полноводный родник, разверзающий шесть мировых средоточий, центр и окружность, солнечное оперенье мифа.

Вспоминаю мою землю в ее простоте, без красот, на которые щедро море и воображение. Люблю представлять ее смуглой, с огромными черными глазами деревенской девчонкой; неторопливой упряжкой быков и тряской телегой, скрипящей по пропыленным дорогам; домашней утварью, старым ножом, обухом топора; песней обомшелого источника во дворе; вмятиной на сахароварке, ложбинкой в камне под водостоком и зачарованными глазами детей. Вижу захолустный сон — Старую Гватемалу, мою родину. А в ее земле — моих предков, лицом к гераням и птицам. Разве красота и величие этого края дороги мне сами по себе? Он — одно с моей жизнью, с первым лучом над зыб-

¹ Хун - А х п у — божество солнца у киче.

² Кукулькан — бог ветра, утренней звезды и др.

кой. Стоит вспомнить о нем — и я чувствую себя пчелой этих полей и садов. И слышу речь голышей и вулканов. И вижу четырех первых маисовых людей, моих молодых родителей, подругек детства, товарищей по школьной парте. Сколько раз, вулкан Агуа, ты представлял мне в степи и в пустыне, над столом и над книгой и в изножье постели, — властитель розовых сумерек. Пусть же, как повелело детство, мое сердце пребудет угольком твоего кадила.

СВЯТАЯ НЕДЕЛЯ В СТАРОЙ ГВАТЕМАЛЕ

Вернувшись на родину, я решил встретить пасху в Старой Гватемале. Местные празднества славятся на всю страну. Город полон приезжих, проводящих свободные дни в этом глухом ветхозаветном углу. Вот уж сколько лет здешняя пасха соблазняет простые души верующих. Округа воистину воскресает. Ширится торговля, захлестывая и богатейшие особняки, и распоследние лачуги. Жилища коренных гватемальцев и чужаков, домовладельцев и бедноты сдаются бесчисленным постояльцам.

Тысячи крестьян из окрестных селений тратят на святую все, что прикапливали целый год. Это событие не только для округа Сакатепекес и его столицы, Старой Гватемалы, но и для всей Республики. Популярны, конечно, и другие торжества — в Кобане, Гватемале, Кесальтенанго. Но нигде пасхальная неделя не объединяет городскую жизнь так, как в Старой Гватемале, куда стекаются все — от форменной голытьбы до самых богатых и чванлых. Завсегдатаи — обычно батраки: крестьяне, поденщики, полунищие арендаторы; они же и веселятся, как никто. Наряды их переливают красками: даже последние оборванцы сегодня при обнове. К благочестивым церемониям они готовятся много дней и являются сюда тысячами, со всей семьей, с женами и детьми, родителями и дедами.

Женщины во время процессий обычно сопровождают Богоматерь, когда она, между святым Иоанном и Марией Магдалиной, идет за Спасителем по крестному пути. Они в своих лучших праздничных одеждах, чистых и накрахмаленных, волосы блестят от душистого вазелина, косы перевиты яркими лентами. Как правило, босые, только что вымыв маленькие, растоптанные и опухшие ступни, покрыв головы шальями пронзительных тонов, а когда провожают Богородицу, оплакивающую Снятого с креста, — черного или другого темного цвета, тянутся они друг за

другом со свечами в руках, жалобным фальцетом выводя песнопения и молитвы. Рядом, спотыкаясь на щербатой брусчатке, плетутся дети и то и дело трут глаза, чтобы не заснуть. Одна из женщин — чаще всего обутая, в новеньких, еще поскрипывающих башмаках, — ведет хор и солирует в молитвах, сопровождая пение звонкими хлопками. Страстный гул общего приглушенного молебна, кажется, вот-вот стихнет, но снова взмывает заплачка солистки. Хор гудит, словно рой, клубясь за тремя фигурами, перегородившими улицу поперек. Вот так, год за годом, долгими часами шагают эти истовые, неграмотные богомолки, повторяя ритуальные песнопения, которые заучили еще девочками, когда, цепляясь за материнские юбки, брели в полусне этим же путем. Это индеанки и полукровки, бросившие окрестные поля, чтобы стать в особняках Старой Гватемалы кухарками, няньками, прачками или другой прислужгой. Нищие, голя из голи, с кучей ребят, зачастую от разных отцов, они выплескивают свою материнскую любовь, как умеют. Рядом — почтенные дамы. Поколение за поколением они живут муравьиным трудом батраков. Их узнаешь мигом — по платьям из Нью-Йорка или Техаса. Накинув на голову мантильи, с зажженными свечами в руках, они шепчут молитвы, как все, кто бредет за Богоматерью и Магдалиной, плачущими навзрыд, и за юным Иоанном, устремившим глаза к небу, покачиваясь в носилках на плечах женщин: идут вместе, но не смешиваясь.

Здесь же осторожно вышагивает оркестр, шесть — восемь музыкантов, что стараются, как могут, и немилосердно фальшивят. Низкий бас гигантской, свесившейся через плечо трубы неторопливо и торжественно отмечает такт. Кларнеты и флейты расцвечивают ее стоны тонкой лучистой мелодией, выходящей, как бугенвилея по старой стене.

Статуи в одеждах местных тонов. Божья мать — в темно-голубом, плат на голове еще темнее — синий или иссиня-лиловый, почти черный. Справа — Магдалина с распущенными волосами, немая от горя. У нас ее никогда не одевают в те огненно-красные цвета, какие встречаешь на драматичных иконках итальянских примитивов. Иоанн, розоволицый и печальный, — в голубой или темно-кофейной тунике, с золотой чашей, поднятой к груди. Они движутся медленно, не приближаясь к Спасителю. Он — с крестом на плече, в пронзительной, пламенно-красной тунике, препоясанной грубой веревкой, в терновом венце и каплях крови и пота или в погребальном саване на стек-

лянном ложе, со смертной синевой чела на подушках белого шелка, мертвый вечной смертью. Из-под белых пелен виден лишь окровавленный лик и бледные, пробитые гвоздями руки.

Здесь, как нигде, чувствуешь бремя неграмотности и колониальных традиций. Оно — в разделении на классы, от чванной знати, потомков первых испанцев — помещиков, колониальной бюрократии, ювелиров, архитекторов, владельцев свиноферм, хозяев вьючных караванов, плантаций какао, индиго, кошенили и кофе — до феодального и полуфеодального батрачества. Оно — в нескончаемом фимиаме религиозных шествий, орденов и братств с их святыми, которых носят по домам с пением и кружкой для пожертвований, в механической рутине крещений, конфирмаций, исповедей, соборований, венчаний, освящений квартир, домов и мастерских, заупокойных служб, девяти, годовщин, свадеб картонных, золотых и прочими металлами скрепленных, первых причастий, благодарственных молебнов, празднеств Тела Господня. Религиозные действия бесчисленных типов и видов в самых разных обстоятельствах и по самым различным поводам пропитывают все сверху донизу напускным смирением и благолепьем, с неизменным оттенком этакой патриархальности. Богатые подают милостыню, осчастливливают неимущих, дарят обноски их детям, бросают медяки нищим, а объедки со стола — какой-нибудь скрюченной в темном углу старухе, хотя ни одна из дам, сызмала помыкающих беднотой, разумеется, не верит, будто ее подачка может и впрямь кого-то поддержать. Вряд ли найдешь богатую деревню, где с помощью залогов и займов, используя интересы ростовщиков и покровительство власть имущих, не скупил бы землю почтенный сеньор имярек, дипломированный законник, хозяин сотни спившихся батраков, полученных в наследство от отца, который в свое время такими же махинациями до нитки обобрал индейцев окрестных селений. Другие делают деньги на политике, наидоходнейшей отрасли латиноамериканской промышленности, давая ссуды властям, наживая проценты на торговле своим влиянием или одуряя каким-нибудь чудовищным пойлом деревушку, затянутую в эти жернова нуждой, фанатизмом и вековой отсталостью.

Эти черты, характерные не только для здешних мест, но и для страны вообще, в Старой Гватемале не бросаются в глаза, особенно в такую пору, к концу недели. Все кажется просветленным и радостным, истинный рай. Над

долиной царит бесконечный мир и покой, само воплощение счастья и любви к ближнему. Исполинские вулканы, надвинувшиеся кряжи, дворики, полыхающие пасхальным цветом и бугенвилеями. Бродишь по улицам, попадаешь на рынок, ломящийся от диковин, плодов, овощей и местных изделий, в невозмутимые руины, оплетенные вьюнком, в тихие и ласковые закоулки, в ближние купальни и усадьбы, старозаветные, покоящиеся в таком абсолютном забвении мира, словно ты уже вне его, высоко-высоко, в колокольном перезвоне старинных церквочек.

В храме святого Франциска — гробница Педро де Бетанкура, прозванного Братом. В колониальную эпоху дух христианства — религии, а не церкви, организации экономической, — жил в первых миссионерах. Благодарная память хранит имена тогдашних хронистов и историков. Так же незабвенны и эти четыре имени: Франсиско Маррокин, первый епископ Гватемалы; фрай Пайо Энрикес де Ривера, открывший в 1660 году первую типографию; епископ Кортес-и-Ларрас, памятный своим отпором переносу столицы на ее нынешнее место, в Долину Отшельников, после того, как Старая Гватемала была разрушена землетрясением; Педро де Бетанкур, нищий основатель ордена вифлеемитов, уваленъ, кроткий, как ангел, сама доброта человеческая.

Канонизация Брата Педро затянулась: церковным властям не хватало средств и свидетельств его «чудес». Он канонизирован народной любовью, Ватикан же до сей поры воздерживается от окончательного решения, и Педро де Бетанкур скромно пребывает «низшим» святым. Может, так оно и лучше: нет места прекрасней, чем сердце усыновившей его родины. По крайней мере, вокруг него не бушует обычный здешний фанатизм, грубый и холодный: это одно из сотворенных им чудес.

И посегодня Брат Педро выслушивает сокрушения голодных, горести больных, беды и жалобы потрясенных любовью, просьбы полуголого индейца, постукивающего пальцами по надгробью, вылечить его борова, послать маисовых початков, сохранить полоску земли и дать силу ему, его жене и детям и дальше надрываться, как волю, там, на растресканных склонах вулканов.

Крестянская недоля ищет прибежища в религиозной вере. В пятнадцати минутах ходьбы от Старой Гватемалы, по соседству с Нижним Сан-Кристобалем, притулилась у подножья хребта деревушка Санта-Ана. Мужчины батра-

чат в поместьях или работают на каменоломнях, женщины растят маис. Здешняя церковка стоит на маленькой площади, у источника, зажато холмами. В одном из этих уголков берут начало воды Санта-Аны, поящей и Старую Гватемалу. Домишки в глубине дворов почти не видны за зелеными рядами чичикасте.

В четвертое воскресенье поста, в одиннадцать утра, собирается праздничное шествие. Спаситель с крестом на плечах бредет вдоль изгородей поселка дорогой на Старую Гватемалу. За ним следует горсточка верующих в мишурных нарядах. Это пеоны из окрестных усадеб, каменотесы из Санта-Аны и их жены. Туники и колпаки выцвели, лиловая краска местами размыта до розоватой. Пыльно, стоит сушь, дожди еще редки. Поэтому улицы поливают, выплескивая с водой душистую люцерну, розы, полевые цветы. Воздух прокален, хотя кругом поля. Благодатный и вездесущий жар.

Процессия трогает сельской простотой. Идут жители глухих деревушек, воистину верующие. Носилки Христа невелики, как раз для шестерых мужчин. Руки деревенских святых облупились, одежды выгорели, волосы поблекли, как старая маисовая циновка. Бледные, пылившиеся целый год святые следуют за господом. Четыре-пять не раз луженных труб ведут торжественную и до дрожи пронзительную мелодию.

К одиннадцати часам ряженные выстраиваются в очередь нести Спасителя. Врата церквушки распахиваются, и выплывает крест в окружении свечей и верующих в лиловых туниках и белых перчатках, каждый со свечкой в руке. Они обуты кто во что горазд и с непривычки мучаются в неразношенных башмаках. Над лиловыми туниками колом стоят немыслимые воротники.

У врат церкви мне встретился Мануэль Туч, пеон из наших мест, в бумажной хламиде, невероятном картонном шлеме и полуразвалившихся башмаках. По его словам, он каждый год приходит из Сан-Педро-де-Уэртас в Санта-Ану, чтобы проделать с процессией весь ее двенадцатичасовой путь. В Санта-Ане его дожидаются все: водрузив на голову картонный шлем и подняв на шесте табличку с приговором Спасителю, он представляет Понтия Пилата. Ряженные справа и слева от него держат свисающие с таблички шнуры с кистями. Ему платят пятьдесят сентаво. И все-таки прихожане собирают их каждый год.

По-испански Мануэль Туч изъясняется с трудом. Лет

ему уже немало. У него ни жены, ни детей. Обычный индеец, живой ломоть здешней земли, бесхитростный и одинокий. Он частенько напивается и тогда сходит с рельсов, за что и получает взбучку от своих же приятелей. Год за годом проводит он в компании быков и пса, помогающего их стеречь. Да он, можно сказать, и вообще ни на каком языке не говорит: наречье уроженца Сантьяго в округе Сакатепекес дается ему не легче, чем его фантастический кастильский. Встретившись мне в обличье римского проконсула, он словно воплощал всю деревенскую суть крестного хода в Санта-Ане.

Округа хорошеет. Когда смотришь на процессию с площади, чудится, что Христос спускается по нагорью. За ним тянутся сотни верующих. Дивно пахнет ладаном. Меж двумя вереницами крестьян со всем простодушием и пылом надрыгается оркестрик. Словно шествие в Сан-Бартоло на страстную пятницу. Только в Санта-Ане все куда скромнее.

Разглядев крестный ход за рядами чичикасте, я уже не мог оторваться. На плечах крестьян, бредущих в длинных лиловых рубахах, со свечами в руках, в такт шагам ритмично покачивался Иисус, казалось, паря над кряжами и кофейными деревьями. Я не сводил глаз с Мануэля Туча, с других сельчан, со всей деревенской площади. Обок Спасителя двое ряженных с вилами на длинных шестах заботливо приподымали ветки деревьев — гравилей, агвиатов, апельсинов, давая дорогу Господу. За ним, на нищенских носилках, плыли Богоматерь, Магдалина и Иоанн Креститель в старых, выцветших туниках. У ног Богородицы лежали белые розы и гвоздики. За ней брела кучка крестьящихся женщин. А она шла за Сыном, следовала его крестным путем, молитвенно сложив руки, обливаясь слезами, с кинжалом в груди, вонзенным по рукоять. Казалось, слышишь ее рыдания.

К вечеру процессия добирается до центральной площади Старой Гватемалы. Торжественные звуки оркестра все ближе. Но к Господу из Санта-Аны здесь вроде бы равнодушны. Ряженных мало: несколько группок на перекрестках. Многие улицы вовсе не украшены, и лишь у считанных домов мостовая усыпана цветами.

Я встал на углу посмотреть. Спаситель из Санта-Аны, в облаке фимиама, мерно и величаво приближался, плывя в такт музыке. Показались первые ряженные, усталые, в поту. Свечи в руках леонов, размякнув на солнцепеке, давно оплыли. Со мной поравнялся Мануэль Туч, высоко, как

зная, вознося табличку с приговором и упирая основание древка в стаканчик на поясе. Правой рукой он держал шест, а левой — старые, видно, уже нестерпимые башмаки. Картонный шлем сбился на сторону, прикрыв побагровевший от водки глаз консула. Полдороги было позади, и половину суммы Понтий Пилат уже отработал. Подмигнув мне на ходу, он двинулся дальше со своей грозной бумагой. Воротник налез ему на лицо. Отяжелев от ноши, жары, спиртного и своего наряда, Мануэль нетвердо ступал по брусчатке Старой Гватемалы. В белых перчатках, он помахивал башмаками с небрежной элегантностью английского лорда, щеголяющего безупречным платочком.

Я так и не увидел святую неделю моего детства. Она была той же, но глаза мои стали другими. Мне вспоминалось что-то алое, черное и лиловое, добела раскаленный день, полная луна и запах соломы и хвои, горящие свечи, курящийся ладан и новые платья. Я дождался шествия в вербное воскресенье, праздник Милосердия господня. Столько месяцев мне снилось это счастье — встретить святую неделю в Старой Гватемале! Я решил уехать в Сантьяго-Атитлан и с тех пор никогда уже не возвращался на святую в родные места. Я увидел здесь только беспросветный фанатизм, и не было в нем ни пышной красочности, ни скорбного пыла праздников в Сантьяго-Атитлане.

В святой понедельник я покинул Старую Гватемалу, унося с собой образ Мануэля Туча в одеянии Пилата, с приговором Христу в правой руке, пьяного, усталого и потного, неуклюже плетущегося среди фимиама и звуков надрывной меди и несущего пару старых башмаков в руке с черными ногтями пахаря, которые темнели даже сквозь белые перчатки.

Я направился в Сантьяго-Атитлан. Там обрел я свой мир во всей его райской, деревенской красоте.

АТИТЛАН

С вершин Годинеса или со стороны Сололы, за поворотом крутой дороги, Атитлан открывается вдруг целиком. Ты в тысяче футов над озером, на одной из его стен, пробитой ущельистым устьем Панахачеля. Солнце почти отвесно рушится в бездонную чащу с притененными заливами, где отражаются хребты и громадные вулканы, вставшие из глубин. К концу сезона дождей между водой и небом — серебром и лазурью — разливается многоголосье зелени.

Озеро и вулканы овевают покоем это предстоящее с высоты чудо, от которого не оторвать глаз. Чем так дивен этот пейзаж, что и сравнить его не с чем? На что похож? Я видел его в любую пору — погожими ночами, поутру, на закате, когда солнце уходит за кряжи, долгими печальными вечерами, что разом кончаются тьмой и первыми звездами.

На заре, если не бушует чокомиль, поднимаемая волны, как на море, студеные горные воды Атитлана тихи. Озеро спит, налитое до звона, словно безмолвье округи и величие вулканов. Один-другой челнок индейца, ловящего раков или рыбешку, разве что чуть всколыхнет дремотную гладь, которая тут же смыкается вновь. По берегу разбросаны деревеньки индейцев сутухиль. Соломенные или красные черепичные крыши, белые стены, а над ними — колоколенка церкви да кое-где столбы дымка, охмелевшего от простора. У жителей здесь свой, особый по цвету и отделке наряд. Полотно для него ткут женщины, а мужчины собирают фрукты, овощи и цветы, которые дарит прогретая земля и мягкий климат.

Когда по дороге из Панахачеля в Сантьяго-Атитлан я пересекал озеро, в катер, как обычно, набились индейцы с поклажей. Это торговцы, либо с рынка, либо на пути туда. Двое парней на крыше суденышка, откинувшись на тюки, как на подушки, клевали носом, переговаривались, покуривали, развлекаясь бегом облаков. Соломенные шляпы, сдвинутые на глаза, защищали их от солнца. Один показывал другому большие карманные часы, объяснял механизм хода, значки под стеклом. Обведя циферблат указательным пальцем, он подкручивал колесико завода и снова принимался растолковывать, тыча в цифры. Они переговаривались, подремывали. Тот, что помоложе, достал губную гармошку. Долго и нежно в воздухе плыл монолог его дыханья, ставшего музыкой. Временами, с порывом бриза, индейский мотив, тягучий и печальный, слышался яснее. Лежа с гармоникой на крыше и глядя в небо, окруженный озером и простором, он пел себе, как птица, ошеломленная земной красотой. В это ясное, ласковое утро он показался мне самым воплощением счастья. Передо мной, на первом плане, блаженно покачивалась его босая нога. Большой палец словно улыбался.

Сантьяго-Атитлан — первозданная индейская деревушка, природная цитадель, когтями и корнями вцепившаяся в тысячелетние натеки лавы, чтобы не рухнуть в колдовское озеро. Хорошо пройти ее всю насквозь, а еще лучше

забраться в верхнюю часть, откуда между вывороченных ливнями глыб лабиринтом ветвятся тропки, пересекая ее, точно шрамы.

В глубине дворов высятся домики или простые соломенные хижинки с пристройкой для бани. Ограды — из обломков той же лавы, на которой стоят. Жители работают на кофейных плантациях, торгуют с приозерными деревнями, с отдаленными селами юга, запада и севера. Это самая заселенная и самая индейская часть страны с прославленными деревнями — Момостенанго, известным своими пончо, Верхним Сан-Франсиско и сотнями других. Здесь выращивают маис, фасоль, овощи, лук, чеснок, анис, зеленый и красный перец, цветы, фрукты. Знаменито и здешнее ткачество: кофты, ленты в косах и красные юбки, горящие на бедрах женщин, вытканы ими самими.

Озеро оживляет деревушку, оправленную в дикий утес. Когда причаливает суденышко из Тсанхойу или Панахачеля, всегда видишь толпу женщин, которые, подоткнув алые юбки до смуглых бедер, полощут белье, умывают или купают малышей. Сочные блики алого на сине-зеленой воде кажутся отсветами неведомых стран.

Женщины маленькие, точенные из темной лавы, из обсидиана. Те, что светлее, — из мельничного камня. Лица чистокровных индейцев: высокие выпирающие скулы, миндалевидные глаза, четко вырезанный рот и узкий лоб под гладкими смоляными волосами с шестью — восемью лентами в красивой прическе. Ленты узорчатые, пальца в два шириной и охватывают головки женщин красной с золотом короной. С утра до вечера видишь, как они спешат с кувшинами к озеру и обратно.

Я приехал в Атитлан на святую, посмотреть языческий ритуал Масимона. Алькольд разрешил нам поселиться в школе. Мы раздобыли несколько рыбацких сетей из соснового волокна и в иные ночи спали на них прямо на земле, в лесном аромате, словно в обнимку с деревом.

В церкви Сантьяго безмятежно и тенисто. Она стоит на невысокой насыпи в самом центре деревни. С паперти открывается сине-зеленое озеро под утренним небом, сияющим, как медаль. Мы по ту сторону мира, в ласковом покое. Какие ясные, без единой царапинки, рассветы, как дышат они нежностью и забытием! В небесном просторе, в его медвяной тиши безмолвная деревушка застыла над озером, смежившим веки. Вступаешь в церковь, перед глазами еще пляшет утренняя бирюза, и два ощущения — уличного

света и храмовой тьмы! — набегают друг на друга. Алтари в полном разоре: обломки кадильниц, лампад, колонок, капителей, окладов. Стены изнутри белены, и алтари походят на мощи святых. Бедра херувимов, гербы и шпаги, свалка изъеденных жучком торсов, голов с отбитыми носами. В большинстве эти деревянные останки уже неузнаваемы. Вид некоторых жуток — какие-то выходцы из ночных кошмаров. У одних — исполинские головы на ребячьих тельцах, у других — детские головки на плечах гладиаторов. Черты прорезаны наспех — так царапает бумагу обломившийся карандаш. Христы с ужасающими лицами в ранах и потеках крови. Наполовину укороченный бог-отец торжественно несет в деснице облупившуюся державу.

Видно, индейцам невдомек, как поступить с этими расколотыми фигурами. Сложили их на алтари, как останки мучеников в общий кладбищенский ров. Церковь, в расщелинах сверху донизу, с кое-как настеленной много лет назад крышей, напоминает заброшенную могилу веры вроде тех безымянных холмиков на погостах, где мертвые вкушают забвенье, зеленеет трава и пасется приبلудившийся теленок. Это деревенские святые, полураздетые погорельцы, опаленные огнем времени, обломки ветхой мебели, выставившие свои культы в каком-то священном полутемном морге. В глубине возвышается единственный действующий алтарь с главным образом храма: представившийся Спаситель в саване индейской работы, с повязкой на голове бессильно покоится, отливая смертной синевой. Неподалеку — двое местных со скрипкой и флейтой. Время от времени они выходят на паперть, слепящую после храмовой полутьмы, чтобы хлебнуть водки из горлышка припасенной бутылки, и снова возвращаются к инструментам. Мелодии сливаются в тягучий ритуальный плач. У алтаря, в истовом упорстве безутешного горя, молятся индейские старухи с малышами.

В алтаре размещены статуи почитаемых святых. Они в чистой или в новой одежде, у ног — цветы и затепленные свечи. Христос — в брюках, расшитых на атитланский манер узорами и птицами. Многие святые — в стеклянных усыпальницах, другие — на носилках, отдыхающие пилигримы, готовые отправиться в путь по церквам окрестных деревень. На руках одного из них — младенец Иисус с красивой бородкой. Выходишь, не сводя глаз с алтарей, похожих на оскверненные могилы со сваленными в кучу телами погребенных. Из какого-то, почти рухнувшего,

Христос в терновом венце обращает к тебе мертвенный лик в ранах и потеках крови. Глаза его поблескивают в полутьме. Блеклые волосы падают на искаженное мукой чело. В искаленной руке еще зажат скипетр, обломок тростникового стебля.

У врат церкви, прямо под ногами, снова сияет озеро и, налитое утренним светом, насквозь пронизывает своей эфирной, неистощимой голубизной. Взгляд теряется в мягких, палевых далях. За моим окном, отороченным повилкой, повис колибри, как бы посасывая мед из кратера вулкана Сан-Педро. Деревня, если забыть о церкви и школе, живет себе, как жила тысячелетия назад. По лаве проулков снуют маленькие женщины, багряные, как факелы, с кувшином на плече или в руках, оперев его на пояс. И девушки с личиками бодисатв, и камни, отшлифованные их босыми ногами, все те же. Озеро, вулканы, вечное улыбающееся утро. Завоеватели в латах и с аркебузами прошли и оставили после себя церковь. Кажется, что остолбеневшая бойня святых, четвертованных на алтарях, и есть их след. Патер в сутане, похожий на большого ястреба, пересекает площадь, такой же диковинный и неуместный среди синевы озера и неба, золотых лучей и зелени долин и вулканов, как босоногая, в огненной юбке девушка из Сантьяго-Атитлана на римской площади Святого Петра снежным утром.

Всю святую неделю воздух горяч и мутен. Солнце тусклеет в испарениях озера и начинающихся дождей. Округа цепенеет. Над высохшими, дублеными кряжами дремлет жидкое марево. На склонах вулканов — откосах Сан-Педро и пирамидах Атитлана за ним — голубеет зелень и щерится разрывами застывшая лава. В Сантьяго-Атитлане праздник, один из двух главных в году: другой отмечают 25 июля, в день святого — покровителя деревни. Из всех, что видел, здешняя святая неделя, со всеми ее красками и обрядом Масимона, — самая яркая. Впервые я встречал ее здесь в 1945 году.

Масимон, кукла в европейском наряде, зажав гаванскую сигару во рту маски с заурядными чертами белого, восседал на лавке у самых церковных врат. Он щеголял напыленными друг на друга новыми рубашками, закрученными на шес цветными платками, желтыми сверкающими штиблетами и огромной фетровой шляпой. Подходя к церкви, индейцы кланялись Масимону, целовали его рубашки, платки и штиблеты и угощали друг друга сигарами. Пыла-

ли свечи, и дымок тлеющего в кадилъницах пома мреял перед грубым и гротескным истуканом, таким огородным франтом, разодетым в обновы. Безжизненный взгляд маски упирался в озеро, вулканы и горы.

В 1951 году Масимона чествовали, как и прежде. Может, он — Иуда, бог ласковых вод, бог озера? Или и вправду в нем, как говорят, кроется каменный божок, который не может и не желает войти в храм и остается на паперти вместе с тростниковой дудкой и барабанчиком, повторяющими мотивы доколумбовых времен? Я так и не добился ответа — ни кто он такой, ни что означает. Жрецы Масимона, деревенские колдуны, не отходили от идола ни на шаг, оберегая его от священника, в этот раз не приглашенного на церемонию. В прошлом году падре Годофредо Ресинос из Панахачеля попытался было сжечь Масимона, но индейцы вытолкали его с паперти. Тогда доминиканец трижды пальнул в идола, но не попал. На следующий день, в святую пятницу, он обратился к деревне с ультиматумом: «Масимон или я!» Индейцы предпочли распрощаться со священником. Через полтора месяца разбушевавшийся пастырь-террорист, в полном церковном облачении, дабы устроить язычников, явился в Атитлан с представителем властей и несколькими ударами мачете изрубил куклу в куски. Индейцы, понятно, взорвались. Колдуны заново вырезали маску и реставрировали идола. Незадолго до святой пятницы 1951 года доминиканец без приглашения вернулся в Атитлан и пообещал устроителям торжеств не чинить им помех, если найдет в деревне кров и пропитание. Однако и на этот раз патеру пришлось ретироваться. Селенье справило традиционный праздник без него.

Мы говорим «колдуны», прибегая к языку конкистадоров. А ведь во многих районах эти люди — истинные священнослужители. Они куда ближе к своей пастве, чем католическое духовенство: одни у них заботы, одни обычаи и верования. Колдуна здесь уважают не в пример больше. Церкви не удалось ни подорвать его престиж, ни заместить его в магических действиях и ритуалах. Обряд и магия колдуна в сутане ничуть не результативнее. А индейского знахаря печалят те же печали, у него те же беды из-за редких дождей, смертей и родов, из-за чумы, уносящей свиней и кур, из-за спорыньи, поразившей маис и фасоль. Он по-братски делит с простыми индейцами гнет помещика, альгвасила и губернатора. Знает, чего стоит прокормить семью, как надрываешься за каждый початок. Да и тягот от

него меньше: сам из индейцев, он затем и наделен тайной силой, чтобы служить им в невзгодах и бедах.

Во многих деревнях Латинской Америки первобытные верования настолько сильны, что скорее приходится говорить о пережитках католицизма. Сознательная и подсознательная жизнь большинства гватемальцев полна малопонятных им обрядов, привитых когда-то к аборигенной основе — хотя не лучше ли звать ее гватемальской, а слово «абориген» оставить завоевателям? Колдуны и члены общины, хранители традиций, готовятся к празднествам много недель. Репетируются ритуальные пляски и представления, что растягиваются зачастую на несколько дней и объединяют культы предков с поклонением божествам маиса, дождя и плодородия, которых нужно умиловить. Организируются шествия к соседним святилищам — им несут плоды, мед, мясо, цветы. В плясках и обрядах воскрешаются времена конкисты, легендарные битвы, похищение огня людьми племени. Закупаются всевозможные фейерверки, ракеты, петарды и прочие огненные потехи. Обновляются наряды, в складчину устраиваются пиршества с блюдами из свинины, оленины, кур и индюков под соусом из томатов, зеленого и красного перца, приправленным тыквенными семечками, сахаром и анисом. О тростниковой и кукурузной водке, о табаке нечего и говорить.

Войти в церковь и пробраться вглубь нелегко. Индейцы с детьми и женами час за часом просиживают на полу храма. Распятый Христос увенчан бумажными цветами, на поясе и на бедрах — тоже гирлянды цветов, красных, белых, зеленых, фиолетовых. У ног — столбик курящегося пома, благоухающего по всей церкви, и псалмопения мужского хора, которому вторят порой девичьи голоса. Свечей не жалеют, становится душно. Взмахивая курильницами у подножия распятия или выводя мерные и слезные псалмы, прихожане служат самозабвенно, с торжественностью участников ритуала. Любопытствующих, кроме нас, нет. Да и мы никому не мешаем. Нас попросту не видят: все вокруг отдаются молебну с такой отрешенностью, что и глаза, и все существо их живет только жалобным песнопением, фимиамом и огоньком свечи, затепленной у ног Спасителя.

На площади бушует солнце святой пятницы и пожар нарядов. Дробь деревянных трещоток рассыпается по скалам деревни, пахнущей ладаном и обновлениями. Мы на церемонии древних времен, невиданных земель, на берегах озера,

у подножья вулканов, поднявшихся из глубин в этот мир бабочек и пернатых.

Перед церковными воротами стоят друг за другом две сельские арки, украшенные фруктами, листвой, персиками, соломой, банановыми гроздьями, связками апельсинов, пальмовыми орехами и пойманной живностью: игуаны, коаты и совы потешают индейскую детвору.

В святой четверг, всю ночь до зари, деревенская молодежь таскает на плечах Богородицу и Крестителя с одного конца площади в другой. Фигуры накрепко привязывают к носилкам, чтобы не уронить. И вот в лунную ночь святого четверга атитланские парни часами гоняют с ними по площади, пошатываясь от выпитого. Олдосу Хаксли рассказывали ту же версию, что и мне: любовную историю между Иоанном и Богородицею. Другие объясняют, что Иоанн и Приснодева ищут Христа, схваченного этой ночью в саду.

Общая попойка чудовищна. Утром святой пятницы селенье просыпается поздно. На главных улицах — отбросы вчерашнего пиршества. Солнце за несколько минут умыло и разбуряло деревню. Дорогой в церковь тянутся женщины, мужчины, дети — все, даже последние бедняки, в обновах. Лица сияют. Парни держатся за руки или полубнимают друг друга; то же и девушки: большие черные глаза на ожившей лаве лиц, красные с поясом юбки до щиколоток, босые ноги, белые кофты в лиловую полоску. Миловидное личико венчает нимб алой ленты.

Парни в полосатых, расшитых яркими узорами, птицами и цветами штанах до колен из полотна, сотканного, как у всех атитланцев, женщинами деревни. Рубахи всегда самых пестрых расцветок — в красных, желтых, бирюзовых, зеленых, лиловых, синих полосах и разводах. Стан перехвачен широким красным кушаком. Его спадающие по бедрам концы схвачены узлом на заветных местах.

Под солнцем трех часов пополудни, когда паперть и площадь запружены верующими, церемония дышит откровением и простотой. В гуще огромной толпы появляется умерший Спаситель. Грохот трещоток, лучи и краски сливаются в одно. Под балдахином, в густом облаке фимиама, плывет, торжественно покачиваясь на плечах, гроб господень — украшенная цветными холстинами стеклянная усыпальница в окружении сотен горящих свечей. Скорбная медь исполненного важности оркестра выводит гимны, взывают мощные и печальные раскаты труб, и в паузы ударных врывается пронзительный плач флейт и кларне-

тов. Во главе процессии, перед распятием и свечами, выступает индеец с барабаном на спине, за ним следует барабанщик и каждые семь-восемь шагов резким и сильным ударом будит гулкую мембрану.

Масимон, на этот раз вынесенный из боковой часовенки, шествует за Спасителем в нескольких шагах от Богоматери, Иоанна и Магдалины, чтобы потом спешно вернуться в чью-нибудь отдаленную хижину до страстной недели будущего года.

Внутри круга верующих, рядом с Иисусом, хор мужчин. Их пение — один пронзительный плач, самая суть индейской музыки. Здесь же и девушки, совсем юные, и, когда они запевают, от едва расцветших голосов и хорошо, и больно. Сколько горя всегда в этих песнях! Не пойму, поллатыни, по-испански или на сутухиль они поют. Слышен только зыбкий, надрывающий сердце ропот.

Процессия обходит селенье, не убывая. Вечером, среди пылающих свечей, песнопений, тысяч молящихся, жалобных хоров, столбиков ладана, неугомонных трещоток, тяжких и однозвучных ударов барабана, святая завершается. Гроб Господень вносят в храм. Толпясь в тесных проулках — узких ложах ручьев, сбегавших с вулкана, вся деревня следует за умершим богом. В рыданиях и заученных жестах прорывается общее неистовство, когда никто уже не владеет собой и, стиснутый по рукам и ногам, слепо отдается потоку.

Это вера времен неолита, горячая и первобытная, а не господское чванство шествий в столице, Старой Гватемале или Кесальтенанго, где богатые фамилии выстраиваются по чину и достатку нести Христа в церковь или на площадь, шествий по удобному расписанию и маршруту среди людей своего круга — всей этой рутины показного феодального благочестия, далекой от чистого, глубокого и скорбного идолопоклонства индейцев. В Старой Гватемале умершего Иисуса несут обычно две процессии: школы Христовой, для благородных, и Гроба Господня в Сан-Фелипе — для тех, кто поплоче. Как-то они столкнулись в одной из улиц и долго обменивались мнениями, чей Спаситель должен пройти первым или кому идти другой дорогой. Столичные процессии обходят стороной изначальный источник веры, обнаженную суть человека, который придавлен судьбой, оплакивает свой удел и спасается в обряде, молитве и песнопении. Потому-то на индейцев, самозабвенных и в скорби, и в бесхитростной вере, за которой — нищета обездо-

ленных и пропойц, глушащих боль иступлением, я смотрю без неловкости за них, как за всех этих медиков, лиценциатов и офицеров, проходящих, не касаясь огненной сердцевины мифа. В Атитлане это был акт простодушной набожности, прямой и первородной.

Утром святой пятницы я разговорился с двумя индейцами, державшимися в стороне от общего празднества.

— Эти предрассудки не для нас. Мы в такие штуки не верим.

Так они объясняли, почему не участвуют ни в обряде Масимона, ни в шествиях на святой.

— А вы разве не католики?

— Мы евангелисты.

— Почему вдруг евангелисты?

— Если молишься богу евангелистов, бананы лучше родятся.

— Представляешь, — ввернул другой, — в деревне Сан-Маркос был образ святого Иакова на ослице. Прислали к ним нового священника, и тот решил заменить ослицу на белого коня. А поскольку святого в деревне очень почитали, собрал прихожан, чтобы им все растолковать. Пока ослицу не сменили, святому жертвовали порядком. Через месяц падре открыл кружку, а там только что не пусто. Тогда он опять собрал паству и спрашивает:

— В чем дело? Святой теперь на белом коне, а ходите вы к нему редко, свечей почти не ставите и жертвуете меньше?

— Отец мой, — отозвался один из тамошних. — Как же ты хочешь, чтоб мы несли пожертвования и были довольны? Чудеса-то творила ослица, а не святой Иаков.

Эти двое, чьи бананы теперь лучше плодоносят, обращены американскими пасторами, у них свой вариант мифов и суеверий. Они чувствуют себя просвещенными на фоне остальной деревни, где их слегка сторонятся и зовут «верующими»; впрочем, никаких беспокойств обе стороны друг другу не чинят.

На следующий день, в святую субботу, мы отплываем. Вдруг на берегу появляются санитарные носилки, а за ними толпой бегут воюющие от горя индейцы. Альгвасилы подобрали труп: упившись до бесчувствия, кто-то из деревенских захлебнулся в прибрежной жиже.

Суденышко все дальше от земли. На каменистых улочках селения видна толпа атитланцев в красном, бегущих вслед за телом утопленника.

Среди бестревожных гор и ущелий, в конце пути через скалы, поросшие соснами и дубами, наливается ласковым светом благодатное селенье в самом сердце древней империи киче — Санто-Томас-Чичикастенанго, земля «Пополь-Вух».

Воскресенье, полдень. Околицы почти безлюдны: жителям округи пока еще рано разбредаться по взгорьям и деревушкам после главного рыночного дня недели. Центральная площадь рокошет и пестрит. Индейцы уже не расписывают кодексов¹ и стен, цвета полей теперь на их тканях. Они в них одеты: носят на себе облачные барашки, птиц, лепестки, горы и бабочек. Узоры на платье напоминают об истоках, о судьбах племени, селения, рода. В гуде пчелиного улья различаешь мягкий и такой гватемальский шорох босых ног. С трудом пробираешься между торговцами, устроившимися на корточках среди своего товара. Испанского почти не слышно. Зрелище ошеломляет живописной пестротой, но еще сильнее — мгновенным перебросом во времени: часы отведены на пять тысячелетий назад.

Мужчины, в костюмах из грубой и тускловатой, почти черной шерсти, расшитой по достатку владельцев, невелики ростом и выглядят тщедушными. Женщины еще мельче, в синих юбках по колено и нарядных вышитых кофтах фиолетовых тонов — от розовато-сиреневого, оттенка цветущих бугенвилей, до церковно-лилового. На многих поблескивают стеклянные и металлические бусы, позолоченные или серебрёные. За спиной, завернутый, как маисовый рулет, дремлет грудной младенец.

Идет бойкая купля-продажа, товар меняют на зерно и другие продукты. На углу одурманивают запахами леса столярные поделки из тотоникапанской сосны. Молодые индейцы по-приятельски обмениваются большими шелковыми платками, это нужная вещь в семье: ими подвязывают челюсть покойнику. Гробы покупают, подсобрав денег, и до поры используют их как сундуки для одежды.

Мелькают жители Сололы, Атитлана, Панахачеля, в сопровождении жен, каждый со своим грузом. У многих на голове мерзкая тонзура мекапаля — кожаного обруча для носки тяжестей. Этому искусству обучаются с детства. У некоторых еще и что-то вроде заостренной на конце

¹ Кодексы — здесь: древние рисуночные «книги» индейцев.

тлости: ее употребляют как подпорку, когда присаживаются на корточки и опускают заплечный тюк наземь, чтобы поправить ремень на лбу и мало-помалу снова подняться с узлами, которые зачастую тащат всю дорогу не снимая. Вдруг за углом показывается бродячий торговец платьем: из-под вешалок только и видны что маленькие плоскостопные ноги. За плечами индейцев из Тотоникапана с помощью веревок, сеток, наголовных обручей и ремней пристроены огромные кувшины и другая глиняная посуда. Располагаются на обочине, чтобы дать дорогу автомобилям. Вот так, на себе, таскают сосновые брусья, сетки древесного угля, связки столов и стульев. Осликов, таких привычных в Мексике, здесь не встретишь. Индеец — животное вьючное. Колеса обычно не для него.

Вокруг площади Санто-Томас-Чичикастенанго — древней Чуви́лы, или Сигуан-Тинамита, где укрывались беженцы из Кумаркааха, столицы империи киче, разрушенной Педро де Альварадо под пасху 1524 года, — раскинулись лавочки тканей местной работы. С тех пор, как, непростительно поздно, я впервые побывал в Чичикастенанго, воскресный день приезда сюда, несмотря на воспоминания детства и годы жизни в Мексике, где индейским веет отовсюду, так и остался сильнейшим потрясением в моей жизни. Меня ошеломило. Все вокруг было нереально. Я словно очутился на Востоке, в недостижимых краях, краях, которых больше нет. В Вавилоне или Ниневии, в Уре Халдейском, в Иудее или в Тибете двух-четырёхтысячелетней давности. Я был у себя на родине, на земле «Пополь-Вух», в сердце империи киче. Небо прошивали самолеты, неуследимые, как пули.

На углу площади стоит главный храм селенья, простой и красивый. Напротив, тоже на возвышении и такая же беленая, — церковь Распятия Христова, она поменьше, и посещают ее реже. От соборной церкви на площадь веером спускается лестница из необтесанного камня — узкие ступеньки, на которых прихожане преклоняют колени или сидят с кадильницами, сжигая уйму священной смолы.

Ее называют помом и продают на рынке здесь и там. Сладкий и густой дым окутывает церковь, затмевая полдневное солнце. Словно привидения среди этого пожараща, десятки индейцев в костюмах, напоминающих арагонские — алом или оранжевом наголовном плато, расшитом шелком изнутри и снаружи, — твердят молитвы на киче. Они горько стенают, и призывы, похожие на плач, смеши-

ваются с дымом курений. На нижних ступенях располагается что-то вроде горна — огромная кадильница для пома, над которой стоит исполинская купа рыданий и дыма. Небо осеняет молящихся, на головы им рушится солнце. Беленая деревенька тонет в дубах и соснах. Слышен отдаленный гуд роящегося рынка.

Храмовые врата запружены индейцами, уткнувшими колени в бутоны роз и полевых цветов. Со свечами в руках, помахивая дымящими кадильницами, они протяжно и горько стенают, почти поют. Я еле пробираюсь между коленопреклоненными мужчинами. В храме висит запах воска, пома и набившейся толпы. Сквозь закопченные цветные стекла высоких окошек в боковой стене еле сочится солнце. Полумрак и сотни свечей на полу, огненный красно-золотой ковер от входа до главного алтаря. Между свечами — облетевшие розы и полевые цветы. Храм подрагивает от жалоб индейского молебна, плывущего со всех сторон. О чем только не молят эти мужчины и женщины, горстками прикрывая горящие свечи, стоя, сидя, опустившись на колени или на корточки, мерно жестикулируя, подымая руки, сникая в поклоне и изливаясь с таким жаром и самозабвением, чтобы зов их был услышан. Вон стоит непонятного возраста индеец с пучком еще не зажженных свечей, воздетых, как бандерильи тореро, приветствующего публику; он символически водит ими над юной парой — она на коленях, с младенцем за спиной, он — рядом, не говоря ни слова, — и протягивает, как бы обещает святому целый пучок, благоговейно прося чего-то для молодых, может, обвенчать их. Все это — со смиренными жестами и иступленным, набожным пением. Сколько бед и невзгод на плечах индейцев, порою вполпьяна выплакивающих горе. Во тьме, где рекой красноватого золота мерцают свечи, в тяжелом воздухе, спертom от дыма и людской тесноты, этот глухой, звериный стон раненого животного, раздавленного первобытного человека врезается в память навсегда.

Что вымаливают они у храмовых идолов? О чем так горько стенают? Разве только о том, что маису нужен дождь, что болеет корова и боров? О том, чтоб жена легко родила и принесла сына, или чтобы беда перешла на треклятого соседа? Места здесь мирные, до крови доходит редко, но к наговору и сглазу прибегают сплошь и рядом. Нет, эти молитвы на паперти и в храмовой полутьме, эти призывы, пожертвования и пыльные жалобы доходят из

давних времен, повторяются, как ритуал, от поколения к поколению — тысячелетним приливом и отливом. Это стенают потерянные, чужие на своей земле, скитальцы среди архаических верований, перемешанных с нынешними обрядами. Ни родные, ни новопривезенные, заморские боги не в силах помочь им. Как заведенные, вслепую окунаются они в суеверия, те или иные. Их уже не озаряет свет аборигенной цивилизации; забыв прошлое, живут себе нынешним днем тысячелетней или пятидесятилетней давности и просят лишь об одном — оставить их в покое. Как в полевых зверях — койоте, броненосце или саригуэе, близость другого вызывает в них только тревогу и боль. Они буквально раздавлены нищетой и фанатизмом и потеряли волю к сопротивлению, — мирные вьючные животные, несущие на плечах жизнь своего края. Расшибают лбы у подножья идолов, которых не добудиться.

Оскалив клыки, окровавленные нежной плотью, молчат боги, предрассветные чудища, сотворенные из слез и страхов, молчат, ибо никто из людей уже не владеет словом, властным над гигантским темным бутоном круга времени и над гелиотропами календаря: их губы обуглены и речь их — пепел на пьедесталах гробниц. И что печальней всего — не пробудить и самих индейцев. Им все еще невдомек, что нищете и недолю посылают не боги, а угнетатели. Сжигают смолоносные леса у подножья деревенских христов, вытесанных мачете, в надежде, что те отзовутся, укажут дорогу. Сжигают пом в храмах, в рощах, под открытым небом, но камни недвижимы, как прежде. Поколеньями втоптываемые в землю, с детства уродуемые мекапалем, притесняемые ростовщиком, торговцем водкой «гуаро», полицейским и помещиком, они рождаются на свет, как звери в цирке, не ведая о своем природном достоинстве и красоте жизни, принадлежащей им по праву. Унижение их так пронзительно и так давно узаконено, что редко бросается в глаза посторонним, а сами рабы уже забыли о нем или попросту свыклись. Тащат страну на плечах, donating лохмотья, чтобы другие меняли сорочки.

Они сброшены в глубины времени и пространства, как будто в священный колодец с церковными идолами и колоколами на шее. Сколько соотечественников и иностранцев их даже не замечают! Тикаль, Киригуа, Аттитлан, исполинские вулканы и крохотные деревни, пестрота народных искусств и ремесел заслоняют от нас повседневную реальность. Это любованье первобытным на английский манер

не захватило разве что немногих, воочию видящих драму нации. Без аграрной реформы гватемальцы еще столетиями будут расшибать лбы о камень.

Видя их, мучишься, сгораешь от стыда, хочешь помочь. Сочувствуешь не им — сочувствуешь себе. До чего же ты обездолен, если можешь спать, можешь есть и твой сон не кошмарен, а хлеб не горек. Не приведи судьба любоваться своей страной, как живописной выставкой индейцев во всей их пестроте, нищенстве и отсталости. *Mea culpa*¹ — вот начатки языка, которому надо учиться по складам, чтобы сказать слово правды. Сколько толстовствующих тартюфов готовы сорвать глотку, лишь бы потуже набить карман!

Сострадать индейцам — позор. Нет, они не сломлены, но и на пастораль их жизнь не похожа. Плутая без дороги и без просвета, они не притерпелись к унижению, не стерся в них его горький привкус. Отовсюду теснимые, без сил для отпора, брошенные в подземелье, блуждают они в потемках, воскуря пом, тепля свечи, до бесчувствия насасываясь водкой и забираясь все дальше от выхода. Нас они повидали достаточно: здесь им нечего ждать. И тогда, почти уже не связанные друг с другом общностью преданий и крови, они бросаются на поиски чудесного, сверхъестественного. Пытаясь подняться, падают снова и снова, так что уже не идут, а карабаются во мраке, сгрудившись под брызгами святой воды и гудением латыни, хотя большинство не знает даже испанского.

Наш общий дух, наша кровь узников — вот что бунтует, вот что кипит во мне. Идолы и колокола висят и у меня на шее, и все же я верю, что доплыву до другого берега. И если моя кровь, дымящаяся помом и бензином, рвется наружу и распускается, как ночной цветок, отвыкший от полдневного солнца, то лишь потому, что сливается с кровью всех, прорубающих вместе со мной дорогу в скале мрака. И как никогда не угаснет во мне этот огонек, сокровенный очаг моего тела, так тысячи моих братьев по невидимым капиллярам, по рудным жилам, по корневищам поднимутся к свету купой дубов и сосен.

Я вырвался наружу, готовый вдребезги разнести и храм, и деревню разом. Странная слабость, какая-то душевная тошнота разымала тело и все кругом. Изумленье перенесшегося на пять тысяч лет назад, туда, где мои воп-

¹ По моей вине (лат.) — выражение, восходящее к римскому комедиографу Теренцию (II в. до н. э.).

лощенные предки, в испарине суеверного ужаса вперившись в собственный пуп, воочию приоткрыли мне, как человек творит кумиров из своего же страха, схлынуло, и такая тоска охватила меня над могилой заживо погребенных обвалом допотопного фанатизма и современного католичества. Не мог я смотреть на них и на себя с любопытством зеваки, забавляться «колоритностью» — расхожим сырьем для выделки всей этой липовой и рвотной живописи и литературы «национального реализма», для всей этой политической трескотни, всего этого сентиментального, демагогического и подобиоэротического занудства.

Вывравшись из храма, где толпа стоит на коленях или со свечами в руках отправляет тысячи разных церемоний, где какой-нибудь отец семейства, скорее всего местный колдун, обращается в истового богомола, осеняя крестом себя, детей и женщин, в одиночку встречаешь несравненное, налитое светом утро и за десять шагов попадаешь из прошлого пятитысячелетней давности в наши дни. И, хотя вокруг автомобили туристов, пожалуй, не удивишься, заметив, что наперерез самолету парит себе последний крылатый ящер четвертичной эпохи.

К часу дня рынок Санто-Томас-Чичикастенанго пустеет. Тюки торговцев момостекскими пончо уже свернуты. Не слышно визга распродаваемых свиней. По тропкам между пыльных дубов, под солнцем, золотящим сиреневые кряжи, гуськом тянутся к ближним и дальним селеньям индейцы с узлами на закорках, прихваченными лобным ремнем. В ларьках на площади, в прилегающих улочках и на главных дорогах из деревни остаются до конца рыночного дня лишь торговцы водкой «гуаро». Здесь наливаются отравой, изготовленной так называемыми высшими, утонченными и образованными классами, пытаюсь хоть на миг позабыть о мире, о себе и своем уделе, — по жуткой необходимости, острой и неотступной. К трем-четырем часам на индейцев страшно смотреть. Навзничь, как трупы, они лежат по обочинам, рядом со своими тюками, в грязи и блевоте, шумно храпя. А когда напиваются женщины с младенцами за спиной, растрепанные и воющие, как на похоронах, и дети валяются рядом с отцами, видеть это уж совсем тоскливо.

Торговцы спиртным, прикармливающие труд индейцев, обычно метисы или креолы. Деревенский толстосум смотрит на местных с презрением и помыкает ими, как скотом. Деньги им ссужают на таких условиях, что потом

остается или продавать землю и урожай, или большую часть года отрабатывать проценты вечного долга — часто единственного наследства, которое отходит сыновьям.

В столице акционеры гигантских водочных фабрик возглавляют антиалкогольные кампании, комитеты по борьбе с преступностью, благотворительные общества, вещают с университетских кафедр и в жизни не пригубят зачастую даже вина. Кроме того, они патронируют всевозможные культурные учреждения, религиозные организации, дома для бедных. Водочное производство, наряду с политикой, — самое прибыльное занятие в стране, прибыльное настолько, что его пайщики образуют клан, куда не так просто попасть. В Мексике говорят об аристократии «пулько». У нас — об аристократии «гуаро».

За околицей Чичикастенанго, на пути к Пасхальной Горке, лавочки спиртного тянутся одна за другой, так же как по дороге на Санта-Крус-дель-Киче, некогда — Кумаркаах, и к Перекрестку, где сходятся тропы на Атитлан, Сололу и те, что идут к Момостенанго, Верхнему Сан-Франсиско, Кесальтенанго, Сан-Маркосу, и так до самой Мексики. Пасхальная Горка — в двух шагах от Чичикастенанго. Ее пологие склоны засеяны маисом, как и вся округа. Возвращаясь из церкви, индейцы поднимаются на всхолмье — поставить свечу каменному идолу, зажечь пом в роще и повторить свои призывы и молитвы. Обе религии — индейская и католическая — сплелись воедино. Временами пришедшие крестятся, слышишь имя кого-нибудь из святых. Идол окроплен водкой и почернел от дыма свечей и пома. В гуще деревьев ему служат, как тысячелетия назад.

Века перемешали на отрогах «Пополь-Вух» плоть и небо, пот и ливень, землю и сновиденье. К вечеру, когда местный рынок пуст, как вылущенный маисовый початок, на тысячелетних дорогах и тропах появляются те же лица, а может, и люди те же — одни черты, одна порода, будто сосны. В их судьбах меньше перемен, чем в окрестных потоках и кряжах. Тот же маис поет на ветру, зарывается в откосы нарядных холмов, чтобы не снесло, когтит голые, отшлифованные половодьями скалы и вскидывает клинки, которые позднее, в сушь, после сбора початков темнеют на фоне иссиня-зеленых сосен побежалым золотом, металлической окалиной, совсем такой же, как эта скудная изжаждавшаяся земля. Во влажных тенистых провалах ручьи заливаются до того чудесно и звонко, что небу слышно.

Долина в краю киче, с ее мягкими всхолмьями и тенями, похожа на спящую нагую женщину. Воздух нежен и золотист, как в первый день творенья. Растворяешься в дикой сладости первозданного меда и неба. Становишься посвистом сосен, ласковой бестревожной далью, птичьей руладой. В тугой синеве, раскинув недвижные крылья, опьянев от солнца, парит ястреб и, поблескивая искрой зрачка, плавно выводит круг за кругом. Время замерло, и лучистому утру не будет конца.

Говорят, индейцы мстят за конкисту, за привезенных богов и, верные тысячелетним культам, никогда не смиряются. А на деле есть только жуткая мешанина, груда фанатизма, под которой они заживо погребены. Ноша за спиной, перехваченная ремнем на лбу, который уродует им головы скотским клеймом, — ничто перед их душевным бременем. Над пирамидами высятся храмы католиков, а под пирамидами, взвалив на плечи всю страну, тянутся дорогой от скалы к цветущим плантациям кофе эти крохотные атланты — маленькие, богом забытые маисовые люди.

Индийская основа нации — это единое тело, сороконожка, по полям и дорогам влачащая на закорках жизнь всей страны, да и саму страну. Так было и тысячу лет назад: и до Христа, при племенном строе, жрецы и воины все равно выделялись, образуя знать, касту привилегированных. Религия (магия, предрассудки, культы, метафизические верования) и сила, сплывшая касиков и сеньоров, принуждали к повиновению вдвойне. Военачальников и жрецов поставляла одна каста. Нередко правитель объединял в своем лице верховную власть и над духом, и над телом. Скованные двойной цепью, индейцы отдавали свой роевой пыл узорчатым храмам и дворцам, кувшинам и кодексам, легендам и обрядам. Родившись в закланном круге, осажденном потусторонними силами, неизбынно таща на себе богов, как миндальное зернышко жизненной силы во всех и каждом, они, похоже, и не ощущали этого гнета.

И, кажется, рыдают они, как всегда и всюду, над кратким цветением жизни, тайной смерти и сотворения мира, любовью или разгромом в бою. Плач, ужас и песенный хмель безотчетно рождаются в них, не сознающих, что земля все-таки вертится, выходя понемногу из полосы мрака, и что в высоте, за решеткой окна, уже проступает робкая заря. Ладят свои соты, полнят их, отдаваясь труду с заведенным постоянством бессловесных, очищают нектар от примесей, пока не обретет он драгоценного вкуса.

В Чичикастенанго замечаешь, что время остановилось или ты выпал из него. Магическое время и мерки его не те, что у нас внизу: совсем иное, оно не проходит, в колдовской левитации словно оторвавшись от земли. Пока индейцы, паря, пребывали в своей вселенной, планета обернулась миллионы раз, сменяя ночи и дни, годы и века. Некоторые решились ступить на кружившую внизу землю, тронуть, задеть ее босой ногой, но разом отдергивались, избегая неприятного соприкосновения. Другие возвращались, покидая свой мир для нашего, жестокого, губительного и ненужного.

Похоже, дороги в вулканах и скалах, спирали на створках раковин или узоры на стенах пирамид — для них один и тот же труд. Им они и поглощены, веками извоясь до видений и пота, в дыму курящихся смол, рядом с нами и так далеко от нас, живущих в ином времени и пространстве. Сидя с ними под одним деревом или под одной крышей, мы как будто в разных солнечных системах. Как в северных морях под глыбами айсбергов таится мощная и горячая стремнина глубинных тропических вод, так и мы не замечаем в общей текучей массе ничего чужеродного: всюду та же синяя, насыщенная солью влага, и отражает она то же небо, и те же суда ее бороздят. Но вдруг — словно открыли вьюшку, и могучий противоток крови доносит жаркое дыхание наших предков, и айсберги пестреют от маков и пальм. В метисе всегда дремлет индейское: незримое и безусловное, оно определяет его жизнь. Клубясь красной глиной идолов, звериным блеском тигрового зрачка, желтым маисом, орхидеями и колибри, древняя кровь иных краев и времен подступает к средиземноморским капителям. Запечатлеть эту океаническую карту, густолистое древо потоков с его пульсом и гудом, направленья ветвей вплоть до еле заметных побегов, порою дающих жизнь самым диковинным, самым чудесным цветам, — задача и вправду не из легких. Нужно мало-помалу охватить взглядом весь лабиринт каналов, русла рек, бегущих наоборот, от низин к верховьям, неверные очертанья архипелага и каждого острова, зажатого в могучей деснице течения, которое всегда — устье, всегда — дельта, всегда выводит к морю.

Индеец и есть этот поток, только уже оцепеневший в своем изначальном и вековом мирозданье. Климат стал иным, зачахли прежняя флора и фауна, и даже древние боги прозябают и агонизируют. Они с нами, в нас самих и,

живящие нас, живут нами. И, в мгновенном озаренье окидывая взглядом это подземное сплетенье древесных корней и рудных жил, вершин и провалов, льдов и тропиков, здешнего и запредельного, разом охватывая, по-библейски познавая вселенную во всех ее частях, радуясь и мучась единодушием и завершенностью ее хора, видя ее внутрененные швы и липкие спайки, сны и мифы, ее пылающих в горниле богов и холодную законченность ее статуй, все царства ее и все ее утраченные эдемы, — мы немеем, словно летучие рыбы, когда перед ними, ослепшими и прозревшими, молнией вспыхивает между небом и морем небывалый мир.

Как же летучим рыбам не быть немыми? Какой была бы их песнь?

И все же я вспоминаю и пророчу, летописец и ясновидец. Эти десять шагов от церковного сумрака до слепящего уличного света я живу во времени летучей рыбы — между глубиью и высью. И цепенею, оглушенный, в головокружении от пройденного и увиденного. Я выхожу другим, словно поржавелый ключ окунули в кипящее серебро. Я — летучая рыба: замер между двумя вселенными, двумя стихиями, небом и морем, индейской и латинской кровью, и для свой миг, не зная, вернусь ли в пучину или останусь в мире созвездий и птиц. Ибо нет у меня сил ни выбрать между ними, ни сочетать их. Я лишь свидетельствую о происходящем, пока не паду во всеобщую землю и небо, в неотвратимое и бездонное лоно матери-смерти.

Крылья рыбы! Это и есть чудо. Как всякий символ, крыло обнимает и связует миры, сплавляет начала, сохраняя при этом их различие и даже противоположность. Раньше меня увлекал галоп кентавров, манили сирены, зовя бороздить моря с Одиссеем. Чары летучей рыбы куда сильнее. Крыло сочетает небо и море — брачный венец изреченного слова, чреватого чудом.

Кроту не увидеть солнца и звезд. Вросшая в землю скала не поднимется древом, чтобы осыпать небо цветеньем своих сапфиров и изумрудов. Лишь крылатая рыба сопрягает все четыре стихии: небо, землю, пламя пернатых и влагу Тлалока и Нептуна, жемчуг и коралл. В миг паренья она связует их воедино, и каждый вплетает в хор свою неповторимую сольную ноту. Стихии поют «Илиаду» и «Одиссею», Писание, «Божественную Комедию», «Пополь-Вух», летриллы и коплы, и, слушая их, мы сливаемся с этим ладом. Рыба не умолкает, исходя желанием петь,

жаждой воплотить увиденное, прошепелявить хотя бы несколько крупинок тайны. И мы вместе с ней погибаем смертью крылатой рыбы: умираем, захлестнутые чудом.

Откровение так очевидно, что от него не скроешься. В Чичикастенанго, раю мифов и корней, даже свинец становится невесом и секунду парит на крыльях летучей рыбы. Макрокосм, воплощенный в микрокосме, в точке прозренья, где сливаются все точки и пути. Чувство бросившегося из окна: еще миг — и конец. Всплывает пережитое, вся жизнь. Погибаешь, не умирая. Съеживаешься — мгновенно и слепо, как вспышка, чувствуя лишь нежное тепло на веках. Видишь себя изнутри, словно в микроскоп. Кровь закручивается спиралью, пенной воронкой, втягивая тебя в это средоточье, в сердцевину земной розы. И ты исчезаешь в ней. Грузное и хрупкое, недра и звезды, безбожие, вера, гениальность и тупость, мгла и свет, черное, желтое — все воссоединяется разом, песок древней клепсидры, секунды времени вдохновенья.

Один мой зарубежный друг, остро чувствующий художник, слишком, пожалуй, поглощенный политическими и социальными проблемами, признался, что в жизни не видел ничего тягостнее Чичикастенанго. Его впечатление было двухмерным, плоским: он всматривался пытливо, но скользил по поверхности, упуская объемы и изгибы — пористую, как коралл, структуру происходящего. Его оттолкнул невыносимый вид разорения, отсталости и нищеты, и оттого Чичикастенанго вызвал в нем лишь потрясение. Так бывает со всеми, кто выхватывает из его сложности только что-то одно.

С самой первой странички я пытаюсь хоть как-то передать эту сложность: в ней суть моей родины. Во многих местных селеньях ее не уловишь, не выделишь, там она растворена или сочится почти неприметно. А здесь на нее натыкаешься, словно на бог весть откуда залетевший метеор, так и притягивающий пальцы. Первобытное мышление, схватка потусторонних сил в пустоте, черная молния мага, правит нами, как незримый властитель. Я ощущаю в себе этот сумрачный свет, и, быть может, он озарит мне какие-то тропы, и я пройду по ним хоть несколько шагов, ступая по следам людей, что оставили их на страницах кодексов — на пустынных берегах острова, куда уже никому не вернуться.

Я писал о красках рынка, с волнением и любовью тянулся ко всему колоритному, но не закрывал глаз на рваную арку моста. Обогнув живописное, становишься

внимательнее к будничному. Перед этим пронзительным зрелищем, в котором турист замечает лишь красочную пестроту, мне хотелось не столько описать увиденное — это с дотошностью схватывает фотография, звуковое и цветное кино, — сколько уяснить причину его живучести, не обольщаясь анекдотом. Меня не тянуло попросту фиксировать то, что перед глазами. Порой, как по отъезде из Старой Гватемалы, я мучил себя вопросом, зачем от невыносимых тамошних шествий бежать в Атитлан, к его сельским празднествам, полным изящества и пыла. Нужно было пережить в Чичикастенанго ту душевную тошноту, потрясение и страх, настолько углубиться в пространство, а еще больше — на пять тысячелетий назад — во время, чтобы так и не найти даже крупницы искомой реальности.

Увидев рождение мифов, я вдруг ощутил в церкви Чичикастенанго такую тоску, такую мучительную и бесплодную физическую слабость, словно был при рождении человека, богов, верований, поэзии. Когда кто-то появляется на свет, на миг обмякаешь. Теряешь сознание, точно от резкого удара. И стоишь, замерев на паперти, как обезглавленные святые в нишах порталов. Чувствуешь, как общая мука тысячелетий разом наваливается на тебя грудой идолов. Чувствуешь, что с этим рождением не производят на свет, а наоборот — лишь низвергают во тьму, дабы искать пути к свету. Словно стоишь при рождении реки Салинас в Агуакатане и видишь, как раскалывается высиженное в земных недрах яйцо и Пернатый Змей¹ скользит сквозь кряжи киче, сердце Гватемалы, уносится, убегает, не двигаясь, в вечном своем настоящем доживший до новых заморских идолов и до истребления даже памяти о старых. И, как бывает в редкие мгновенья — похожие на все другие и неповторимые, как любое из них, — каждая частица проходит перед тобой, неделимая и первозданная, словно в чудесной реторте головокружительного химического анализа, разнимая тело на простейшие элементы. Многое так и остается в тайне, и не дано нам ни выяснить, ни различить, к какому времени и месту его отнести, к какому составу причислить.

Отчужденные своими обрядами, индейцы Чичикастенанго не обращают внимания на туристов и на их фотоаппараты. Кажется, мы вызываем у них жалость, и я бы не

¹ Пернатый Змей — Кецалькоатль, один из главных богов мифологии индейцев Центральной Америки; киче называли его Кукумац.

удивился, узнав, что они молятся за нас. Я напрягал слух, зрение, сердце, но не заметил в них ни превосходства, ни спеси. По-моему, здесь другое. Ни иудеи, которые бьются головой о Стену Плача, ни девушки из диких азиатских деревень, осыпающие цветами священный каменный фаллос, никого не презирают. Просто мы, зрители, для них не существуем. В Чичикастенанго нас не замечают. Мы невидимы. Зрителей нет, есть лишь они, идущие по своим делам и держащие себя с уверенностью и достоинством, которые дает сиротство. Знают, что мы не проникнем в их круг, даже переступив порог церкви, а выйдя — никогда уже не вернемся в ее одиночество: хорошо еще, если сумеем заглянуть внутрь через какую-нибудь незарубцевавшуюся трещинку в нас самих. Будто нагие, стоят они один на один с ликами божеств. Наше отсутствие абсолютно, как ни пытайся мы это изменить. И нет не только нас, которых не замечают и вычеркивают с полной естественностью, даже без намерения вычеркнуть, — точно так же нет и заморских идолов. Христос в церкви почти ничем не отличается от языческих изваяний, разве что не столь тучен. То же и с храмом: он похож на лес и вершину, ущелье и реку. Мы в сердце мифа, содрогающемся от ужаса, жажды откровения и неутолимой тоски по звездам.

Здесьние жители носят местное платье лишь в Санто-Томас-Чичикастенанго или соседних деревнях. Редко когда увидишь их характерный наряд в отдаленных районах, в столице, в Старой Гватемале или Кесальтенанго. В ничейный мир они входят в ничейной одежде, пользуясь ею как скафандром или ковром-самолетом. Узнают и приветствуют своих: они одни и видимы только друг другу, — единая семья, единый клан, единый теологический заповедник. Так они отвоевывают себе что-то вроде несуществующего потерянного рая, защищенные своей невидимостью от нашей доуки, а тем паче — от сострадания.

Где они?

Это знает только летучая рыба. Летучие рыбы слепнут на свету. Не будь слепыми, они бы пели.

МАИС

Маис — душа Америки. Из маиса были сотворены ее первые люди. Из недр индейского мифа бьет родник песен во славу маиса. Маис — это жизнь, — говорится в «Пополь-Вух», — зеленый бог-покровитель, отец предков: «Только желтые початки и белые початки вошли в их плоть, един-

ственный состав для рук и ног человека. Такими были наши пращуры, такими были четверо первозданных, лишь этот состав вошел в их тело». Вся наша жизнь, от мифологической архаики до нынешнего дня — это маис, мощь наших рук и крылья наших снов. Далеко за Туланом, на красной земле, четверо первых людей, замешанных прама-терью Шмукане¹ из маисовой муки, вышли на свет истории, чтобы оставить следы в наших кодексах и в глубинах нашего слова.

Олени, фазаны, ласки, крысы, броненосцы, кролики, тапиры, змеи, белки, черепахи, попугаи, койоты, изумрудные колибри краев изобилия и бескрайней сельвы, в которой тонули первые хижины человекообразных, видели свет, излучаемый пылкими строителями пирамид. Бог маиса Юм Каш, разрисованный змеиной кровью, поднявший крючковатый нос из-под листвы побегов, воздетых в знак поклонения, — высший из наших богов. Царство его изобильно и беспредельно. Даже мощь креста не властна над ним. Заморские, привезенные испанцами боги скрылись в тени Юм Каша. В Чичикастенанго, в тысячах селений майя, на лесных алтарях и полевых могилах, на каждом рыночном прилавке, в шести средоточьях мира — всюду покоится он, словно в сердце предков. Пом, початки, биха, соль, цветы, мед и копал у ног Христа — те же, что у подножья божеств дождя, огня и земли, чьей силой наливаются цветы маиса и зерна его початков.

Божествам плодородия принадлежит почетное место в пантеоне майя. Они возникли вместе с маисом, тысячелетней основой Америки. Другие боги так или иначе породнились с ними. Со священным знаком связаны многие празднества ритуального календаря. Ацтеки называли его знаком богов. У них почитался бог маисовых ростков Шилонен, бог созревшего маиса Тласольтеотль, Шипе-Тотек — бесстыдный бог, покровитель маисовых посевов, Чикомекоатль — богиня урожая с ее семьей змеями или семьей початками, Сентоатль — юный и прекрасный бог маиса. Где бы ни крылись его истоки, появление маиса — центральное событие американской цивилизации.

• • • • •
Без маиса не было бы и человека, он и есть человек, в мифах и наяву: из него созданы в «Пополь-Вух» первые люди. Сотворение мира и открытие маиса сливаются для

¹ Ш м у к а н е (Старица) — верховная богиня пантеона киче.

богов воедино. В кодексах — Венском, Бурбонском, Мальябекки¹, Ватиканском, где Тлалок изображен с маисовым стеблем в руке, — на стенописях Теотиуакана, Чичен-Ицы, Монте Альбана, Тепантилы, на листовенном кресте в Паленке, на фасаде Тласкалы, в легендах, священных книгах и на полотнах современных художников маис символизирует начало: Кецалькоатль, Кукулькан или Кукумац отвоевывает маис, ключ мира. Как Прометей, он приносит его людям. В «Сказании о двух солнцах», где человека творят из крови богов, маис похищают Тлалоки². Кецалькоатль, после многих чудесных приключений, обращается в черного муравья и ползет вслед за другими муравьями, чтобы добыть заветный злак и накормить людей. Он приносит чудесное зерно в Тамоанчан, где его, в конце концов, поедают боги. Сказание вкладывает в уста людей слова: «Маис сделал нас непобедимыми». В мифах киче четверо священных животных — лисица, койот, попугай и ворон — являются с Пан-Пашиль и Пан-Кайяла³ белым и желтым маисом.

Маис сделал племена оседлыми, породил цивилизацию. Растя его, наблюдали за небом, сменой времен года, движением планет. Так появились календарь, миф и обряд. Так появилось искусство, выражение культурного самосознания. Человек и маис возникают вместе, как необходимое условие жизни на земле: «И не было для него состава, и нашли для него состав, — говорится в преданиях индейцев. — Только двое знали, где его искать: в месте, называемом Жилище над Пирамидами, где обитали они — Койот и Ворон. И нашли тот состав в отбросах, когда убил Ястреб Койота, отдавшего ему свой маис, чтобы замесил его. И вызвал Ястреб из моря кровь тапира и кровь змеи и замесил маис. Так была создана кровь человека Творцами, Основателями».

Огонь, об угасании которого рассказывают «Летописи какчикелей», был похищен — Прометеево деяние, равное лишь открытию маиса, другому мифологическому чуду. Чтобы жить плодами земли, племена вышли на сушу. Здесь была воздвигнута их цивилизация. И когда маиса не стало, они переселились в другие земли, покинув свои города.

¹ Мальябекки Антонио (1633—1714) — итальянский библиофил, собиратель старинных рукописей.

² Тлалоки — боги дождя.

³ Пашиль, Кайяла — местности, где был найден маис.

Быть может, какчикели, прометеево племя, знали огонь и сумели его распространить? Не отсюда ли их имя «красный посох» — огонь, добытый трением? «Прибыв к воротам Тулана, мы получили красный посох, нашу опору, за что и дали нам имя какчикелей», — обратились к племени Гагавиц и Сактеаух¹.

Веками божественный знак составлял жизнь и счастье людей, гнувшихся за поколением поколение на каждой пяди наших равнин и кряжей. «Нетрудно заметить, — писал один из первых хронистов, — что все их (индейцев) дела и разговоры связаны с маисом, который почитают чуть ли не за бога, и так околдованы и приворожены они своим полем, что забывают ради него и жен, и детей, и все другие радости, словно нет для них, кроме поля, ни цели, ни счастья в жизни». Ни один народ так рабски не зависел и не зависит от зерна. Маис для киче — что солнце для стрекоз.

Когда вспоминаешь, что мы из маиса и снаружи, и внутри, и в своей мифологической сердцевине, и глазами пятидесяти веков видишь на ладони эти белые, красные, точенные, как галька, желтые, черные и голубые зубчики, эти несколько зерен с их кремневой корой и нежной мякотью, и думаешь о земле, поднятой ритуалом вспашки, земле, сросшейся с их зарождением, ростом, со всем годом их жизни, — тогда понемногу осознаешь, что такое маис: сама плоть нашей плоти, отец нашего мира. И посегодняя, как в кодексах, индеец опускает те же зерна в те же ямки, проделанные той же обожженной на огне палкой, и так же заравнивает их босой ногой. Чтобы создать какчикелей, в маисовую муку влили кровь тапира и змеи — должно быть, в память о высших божествах, Великом Тапире Зари и Кецалькоатле. Маис сеют с помощью кривой палки — коа, что на языке науа означает «змея». И так же, как изображено в кодексах, делают и поныне. Шуль — называют майя это примитивное орудие. Змея обвиняет маисовый стебель, жезл майя. Ростки тянут к солнцу свои зеленые навахи. Позднее, с ливнем, они встанут широкими безопасными саблями, дивными языками зеленого пламени. Ливень — тоже бог: он один на голых, истощенных эрозией кряжах дает маису жизнь, вознося его изумрудную колонну, пока не треснет она золотым зерном. На поле не пропадет ни единая малость: крестьянину все пригодится — от самого глубокого корня до самого верхнего хо-

¹ Гагавиц, Сактеаух — вожди племени какчикелей.

холка. Драгоценен побег, вобравший все лучшие свойства природы, сама нежность и грация. Драгоценен мощный корень и медвяный стебель с его влитыми и вдруг раскидывающимися листьями — для чего они только не полезны. Драгоценен самоцветный бутон и напоенный солнечной силой початок.

Утоление жажды, поддержка уставшему телу, маис одаряет своей добротой всю индейскую Америку. Он лаком и хорош во всяком обличье, хлеб наш насущный и повседневный. Его скромный, тонкий и неистребимый вкус родится с любым блюдом. Его прищлепывают ладонями, чтобы стал как солнце. Вспоенный глиной, он падает на глиняный комаль, чтобы покрыться золотой корочкой. Запах маисового теста и свежевыпеченного хлеба вкрадчиво обволакивает дом. Жизнь не кончена, и тяготы маисовых людей легче, если закрома наполнены и зерна хватит до поры, когда снова поднимется над полем зеленый прибой.

Священный маис, верховный зеленый бог. Его стан из хрупкого стекла часто переламывает ветер, и все же он крепче сейбы, уходя корнями в самое сердце земли майя. Для истово преданных ему миллионов ни рис, ни пшеница не значат так много. У морей пшеницы и риса — пропитания индейцев, которые меняют их на маис, — нет ни его материальной ценности, ни бездонного мифологического смысла. Индеец стенает у деревенских католических алтарей, ставит свечи, совершает тысячи обрядов, плачет и поет, пляшет в масках койота, обезьяны, тигра или тепеу, чтобы вымолить дождь, чтобы отвердело зерно, чтобы не погубил его синеглазый и рыжеволосый святой Иаков. Порой он и не ведает истоков обряда, в которых тонет искорка его заклинания. Белокурые боги пшеницы, принесенные теми, кто говорил по-испански и выплевывал смерть из ружей, терпят ежедневное поражение, уступая здешним — неотвратимым и безвозвратно ушедшим. На папертях и алтарях поднимает маис крепкие медовые побеги, непобедимые клинки, повторяющие свое священное и первобытное евангелие.

Каждый по отдельности, ни орел, ни кондор, ни змей, ни кецаль не воплощают легенду во всей ее простоте и совершенстве. Орлы и кондоры знаменуют господство и власть. Солнечный Кецаль — священная, вспоенная свободой птица майя — сочетается с Пернатым Змеем, который не знает остановок, — бесконечный поток, чей гул мы слышим в себе вместе с биением крови. Змей — это темное,

почвенное, фаллическое начало, мир недр, сама ползучая, трущаяся об себя брюхом земля, ужас, рождающий мифы. Кецаль — начало солнечное и небесное, лучезарные и округлые, вечно недосыгаемые женские уста воздуха, сам полет, крыло свободы, излучающее свет и огонь поэзии. Кукулькан, бесконечный змей в оперенье кецаля, сочетает землю и небо, черепаху и звезду. И глаза наши, один от змея, другой — от кецаля, глаза, которые не просто видят, а ворожат и колдуют в непроглядной ночи, способны буравить кость, когда мы следим за ползучим летом Кукулькана или Кукумаца и различаем, как из-под земли бьют ключом неукротимые звезды. Верховный Творец дал нам зерна маиса. Из дальних далей, с ледяных высот и прокаленных равнин принес он это благословение. Пантеон майя, боги ветра и дождя, боги огня и земли, боги неба и моря объединяют свой пыл и являются во плоти на яшмовой полоске маисового поля: из его земляного, небесного сна возникает початок, и тогда индеец наконец улыбается. Посреди Гватемалы, там, где сияет подземная звезда центра мира, высится гигантский маисовый побег, укрывающий нас своей зыбкой и неумолкающей сенью.

У индейцев майя новорожденному перерезали пуповину обсидиановым ножом. Сочащейся кровью надо было обмазать початок маиса и посеять эти зерна: тогда и ребенок станет сеять их, когда повзрослеет, и вырастет сильным и будет жить долго. «Мертвых, — сообщает Ланда¹, — они хоронят, наполнив им рот маисовой мукой — своей обычной пищей, и напитком, который зовут койем, а к этому добавляют несколько камешков из тех, что ходят у них вместо монет, чтобы в другой жизни умерший не мучился голодом».

В сказках дети роняют маисовые зерна, чтобы не сбиться на обратном пути. Огонь светляков для сельвы слишком слаб, и ориентироваться по ним нельзя: их блеск переменчив и краток. В глухую, темную, словно черное дерево, ночь, когда ворожат колдуны, отыскать дорогу домой можно только по зернышкам маиса. Лишь созвездье маиса, будто Млечный Путь, озаряет темную тропку ребенка, который спит и видит сны.

Ночное небо исходит маисом. Ицанна² горстями рассеивает его в шести главных точках мира, чтобы никто из

¹ Ланда Диего де (1524—1579) — испанский миссионер, автор хроники «Сообщение о делах в Юкатане» (1566).

² Ицанна — божество неба у майя.

героев не сбился с пути и всегда нашел дорогу домой. Мертвенный и холодный свет луны омывает деревеньки, где не молкнет одинокий собачий вой. Улочки будто свежевыбелены. Обрубки маисовых стеблей, горевшие коваными развилками на фоне заката, гаснут с восходом луны. Лишь порой они вспыхнут, обезглавленные, на лунном снегу да блеснут округленные глаза оленя или койота, сторожким шагом пересекающего деревню.

Закрома полны. Больше, чем на восемьдесят процентов, пищу индейцев составляет маис. В маисовых хижинах маисовых людей блаженно дымится табак, завернутый в белый, расплющенный и до блеска отшлифованный камнем маисовый лист. Бык в стойле жует маисовую сечку. Наше у пса — снизка из наломанных маисовых початков, оберег от хвори. В сказках роняют зерно, чтобы не сбиться с пути. В небе его каждую ночь сеет Ицамна, через два шага углубляя ямку хворостиной и опуская в нее три или шесть зерен, как делали это вчера и будут делать наутро маисовые люди на равнинах, в оврагах и вдоль склонов. Земля и небо сходятся в зернышке, в звезде. Во сне ребенка, бога и человека. Все поедают свою же плоть. Питаются собой, словно пламя, чтобы в конце концов — каждые два шага, каждые два шага — исчезнуть в земле и, запев, умереть в радужном оперении Кукулькана.

Порой я слышу в себе смутный гул, похожий на рокот земной раковины, сосуда, открытого глубоко под асфальтом, в могиле далекого предка, палочкой сверлившего огненное дерево в пещерах Атлантиды. Это не фантазия — это память. Я могу вспомнить лишь то, что чувствую сейчас, что внезапно вспыхивает в ночи, как вынырнувшая рыба. Остальное — слишком свежо, его я еще не помню или оно не стоит рассказа. Оттого-то прибытие Тонатиу¹ промелькнуло кошмаром, почти не оставшись в памяти. И даже сейчас, в этот миг, вспоминается только то, что встречал в детстве или нашел четверть века спустя, вернувшись домой после тысяч дорог: одним глазом отчизну видит мальчишка из Старой Гватемалы, а другим — повзрослевший человек без родины. Но лучше всего я вижу слепыми глазами кремния или полевого шпата, вслушиваясь в раковину моей земли. Все воскресает, все обретает речь в памяти обсидиана. Сквозь ладони прорастают сказанья маиса.

¹ Тонатиу — «бог солнца», мексиканское прозвище конкистадора Педро де Альварадо.

Я бормочу молитву, мурлычу песнь. Говорю то, чего и сам не понимаю. Так тому и быть: попробуйте перевести шелест маисового поля.

Окончательно сбившегося с дороги, меня ведут домой зерна маиса. Иногда я чувствую себя одинокой звездой морей над зеркальцем воды в колодце вулканного кратера. И тогда, лишенный родины, измученный ностальгией, я вспоминаю. Возвращаясь в память, я верю, что приближаюсь к искомому: дорога маиса ведет меня только вперед, пусть даже цель за спиной. Поднимаюсь к истокам, чтобы выйти к морю.

ВЫСКАЗАТЬ ПЕРЕЖИТОЕ

Родину любишь не потому, что она великая и могучая или слабая и маленькая, не за ее снега, белые ночи или солнечные ливни. Любишь просто потому, что она твоя.

Есть в ней заветный край, край твоего детства. А в том краю — город или деревушка. В деревушке — дом. В доме — четыре старых захватанных стены, простая обстановка, сработанная одним из домашних, и деревья, так и не заживающие в тебе, если их срубали. Посреди дома — источник, чья песня не оставит тебя до конца.

Все входит друг в друга, от самого большого ларя до крохотного ларчика, от мира до четырех стен детства, от колыбели до могилы. Возвращаешься к гераням и настурциям, стоишь под деревьями — и нет ничего лучше родины, вместившейся в эти четыре стены. Детство бежит как заливистый ручей. Поднимаешься к роднику. К любви отцов. Родину любишь не потому, что она красива, радостна или грустна. Не за легенду о ней и не за ее первозданный беспмятный рай. Любишь потому, что она твоя. Так взгляни, взгляни же на нее глазами моего детства, глазами своего детства, детства вселенной. Твоя любовь прекрасна, как всякая другая.

Под безмятежностью этих страниц — темный огонь, разведенный в глубинах тела. Вихрь вздувает мой уголек, чтобы жар его не угас. Неостывшая лава сердца улыбается изначальному мраку, где все еще дремлет Кукулькан, улыбается расписным фигуркам Мишко, кувшинам Чинаутлы. Большой ларь, в нем другой, поменьше, а в нем еще один. Еще и еще — вплоть до моей родины, до Старой Гватемалы. Еще меньше, еще и еще — до самого моего дома, до детской комнатки в нем. Родина у меня на коле-

нях, на ладони. С высоты я мог бы окинуть взглядом ее пределы, любоваться ею, как стеклянным пресс-папье с веточкой спящих цветов внутри. Но мало проку любоваться тем, чего нет, и восхищаться тем, что было. Я — провидец, ступающий по твердой земле и влюбленный в реальность.

Археологи углубляются в историю и предысторию, исследуют земные недра, чтобы отыскать сосуд, кость, обломок тысячелетий. Мир рынков, деревень и мучений сегодняшних индейцев для них не существует. И если бы только археологи: фимиам родному краю курят поэты, художники, композиторы, романисты. Какой объективной оценки можно ждать от слепых? Находятся гватемальцы, которые так и смотрят на свою страну глазами чужаков, фабрикуя колоритные картинки на экспорт, эдакие живописные панорамы из индейской жизни, чуть ли не восхваляющие завоевателей. Кто из них решится действовать как падре Лас Касас¹ четыреста лет назад? Они предпочтут укрыться, запереться, замуровать себя в чувствительных картинных фантазиях на древнеиндейские темы — зачастую проникнутых человеколюбием, не спорю, но уж до того незатронутых социальностью и политикой. Характерно, что за последние сто лет лишь два-три гватемальских археолога, писателя, историка, переводчика индейских книг связали свои профессиональные склонности с соответствующим политическим поведением.

Давно, очень давно задумывал я эту книгу. И тут же на меня обрушивалось столько, что память глохла под этим обвалом дорогого сердцу. Я не намеревался исполнить миссию или вернуть долг. По сути все куда проще, насущней и фатальней. Слова о долге и миссии слишком отзываются педантизмом. Я хотел дать ощущение Гватемалы, моей Гватемалы. Хотел как-то показать ее внутреннюю жизнь, нетронутую и притаенную. Хотел, чтобы запестрели ее всегдашние шали и ленты в косах. Хотел написать ее, оставшись незамеченным. Всего лишь портрет, несколько основных линий. Непринужденный эскиз, чтобы схватить три-четыре скрытые и характерные черты, передать ее такой, какой я ее чувствую — дикой, величественной и непростой. Передать пыл ее строф, воспаряющих вместе с нею: монологов кадильного дыма, пирамид сна и песнопения.

Умом она полукровка: древние глины «Пополь-Вух»

¹ Лас Касас Бартоломе (1474—1566) — участник первой экспедиции Колумба, испанский монах, историк и защитник индейцев.

и мхи Ландивара¹ подрагивают в такт ее учащенному пульсу. Нутром — индеанка: ее сердце бьется среди голубых нагорий, как барабан деревенских празднеств. Бесхитростная и нестигаемая, пестрая, как птица или обнищавшая королева, она бредет с ребенком за спиной, в лохмотьях индейского наряда, с решимостью на усталом глиняном лице, увенчанном привычной ношей — сельской короной цветов и плодов. Идет босая, сбив ноги о камень троп, с кувшином на плече, как нежная Ишкик². Ее красота уходит корнями в самую глубь материи — в лад и соразмерность скелета, образа смерти. Черты ее напоминают живую и потаенную структуру минерала, проступающую сквозь обсидиановую кожу.

Я хотел бы представить здесь свидетельство поэта, достоверное, как опытная истина. Эта книга синтеза, обобщенного видения, мгновенного и непредсказуемого. Рентгенограмма и аэрофотоснимок разом. Вторгаюсь в прошлое, воскрешаю пережитое, чтобы сотворить его наново, а не поймать на слове или бессознательно возвеличить. Отбираю и подчеркиваю то, что считаю главным: хочу нащупать и упрочить филигранную ниточку, ведущую к истокам нашего чувства родины. Да, любовь к реальности, но какая: я взвешивал Гватемалу на крыльях бабочки, руководствуясь опытом, цифрами и чувством. И все же я перед нею как обкромсанное дерево: мне остается только мечтать о ее цветущих ветвях. Изгнанник у себя дома, никогда не покидавший мою свободную, счастливую и нежную родину, видя ее наяву и во сне, я лежу навзничь, не по зубам никакой смерти, погруженный в чувства и помыслы моей земли. Я сцеплен с шестернями нории, качающей кровь из глубин «Пополь-Вух». Этой силой вращаются, иногда просто по инерции, и тысячи других колесиков, по которым сверяем время и узнаем, кто мы и куда идем. Я сбрасываю груз ностальгии, и, свободный в колодце застенка, поднимаю глаза к небу всех живых, и вижу знакомые звезды, и называю их по именам, и чувствую на лице их влагу, — уже лишенный плоти, кварцевая тропа, затерявшаяся меж трав и глин, от которых слепнут глаза и рот наполняется медом цветов и песен.

¹ Л а н д и в а р Рафаэль (1731—1793) — гватемальский поэт, автор латинской поэмы «Мексиканская сельская жизнь» (1781), ему посвящена отдельная глава книги.

² И ш к и к — героиня «Пополь-Вух», зачавшая от бога Хун-Ахпу.

Вспоминаю начало этих страниц, их плачей, стонов и песнопений. Мало пережить то, о чем пишешь, — нужно выстрадать его. Необходимую потребность в родине, в своей земле и ее месте под солнцем. Тоску по ясности, по форме, дающей звук твоей меди. Я сидел на самой вершине центрального храма в Чичен-Ице. Это было в первый раз. Близился вечер. Именно тогда, много лет назад, я почувствовал в себе что-то вроде горчичного зернышка этой книги. Оно начинало прорастать во мне. Я сам был этим зерном. Одним-единственным зернышком, но с тысячелетними корнями. Тропические сумерки над руинами проливали бальзам на кровоточащий закат и золотистые мхи. Дубняк, израненный стрелами фазанов и оленей, на горизонте сливался с морем.

Лилией пены распускается Чичен-Ица над бескрайним зеленым морем. Под ней — бутоном геологических пород, неба и столетий — поют артерии, полнящие влагой священные жертвенные колодцы. Глубинный рокот мешается с космической музыкой беспредельных пространств, аккордеонами сельвы и скрежетом муравьиных челюстей. С первыми сумерками — уходящее солнце и новорожденная луна! — день разом обращается в ночь, вечную ночь прошлого, и словно не из Шибальбы, а из самих Краев Изобилия припорхавшая обсидиановая бабочка снова вспыхивает на лету стеклянными крыльями. Чичен-Ица воскресает, движется и кипит, как в пору своего блеска и славы. И живыми светильниками загораются вслед за ней Тикаль, Вашактун, Паленке, Киригуа, Копан, Яшчилан, Бонампак, соты потаенных городов, укрытых в горсти исполинских деревьев. Жрецы метят оленей клеймом — следами вечно возрождающейся Венеры. Как перемазанные медом пчелы, мелькают девушки, поблескивая браслетами и губными серьгами, зеленея яшмой и бирюзой, румяные от раковин и страсти. Все это похоже на гигантского кецаля, замедленный пернатый аэролит. Прорицатель вопрошает багряные карбункулы дудочного дерева, тяжелые, как камень надгробий, и легкие, как колибри. Игроки в пелоту, гибкие и сумрачные фигуры, неистовствуют из-за волана, который, точно козодой, отскакивает от стены и, не коснувшись плит, взмывает, беглый и неуловимый.

Предки, два орленка, выбитых на молодом месяце, помнят больше, чем рельефы храма, утомленного столетиями, пресыщенного простором и камнем. Вставало солнце, и чикирин приклепывал зарю тремя ударами своего летне-

го молоточка: чи-ки-рин, чи-ки-рин. Остолбенев от чудесного сыноявления, предки упирались ступнями в корневища сапоте и селитру стенописей и, кусая губы, чувствовали вкус обызвествленной земли. Поимые слепой водой подземных водоемов, они росли, буравя почву языками зеленого пламени, чтобы дотянуться до Небесного Оленя, чтобы подняться маисовыми людьми. Боги плодородья, раковины детских морей нашептывали нам сказку сказок, и воспитали нас они, а не расколотые святые в порталах ветхих колониальных церквей. Детство моей земли — земля моего детства! — рубаха, расшитая ими бесечно, как птицы расшивают синеву. Выйдя из рук Хун-Ахпу, я, юный пращур, отправлялся с какчикелями похищать огонь. С киче — выверять по отвесу стены Кумаркааха. Как на страницах кодексов, я оставлял следы на дорогах, ведущих к мифу, в Тикале и Киригуа, во Дворце Наместников, на улицах Новой Гватемалы, в Долине Отшельников. Я прошел все этапы бесконечного пути, словно путник, который по доброй воле поклялся служить своему народу, но позабыл многое из увиденного и потому зачастую ограничивается простым свидетельством. Будто на стенописи, я наметил лишь несколько точек, чтобы представить образ Гватемалы, донести хоть что-то от ее многоцветья, ее изначального состояния, животворного пыла и нынешнего бытия, расслоенного на столько разных и даже полярных экономических уровней, что для объяснения сегодняшнего приходится обращаться к мифу или истории.

Чтобы воссоздать контекст, некоторые из моих воспоминаний, самые нежные и горькие, я перемежаю цифрами. Портрет в полный рост, вроде тех анонимных полотен XIX века, где с простодушной любовью вдруг выписана какая-нибудь деталь. Так пусть же эти страницы растут и складываются в биологическом порядке, так же, как взрослела моя земля. Я шел от ее мерок, кроя ей платье. От ее снов, слагая ей песню. И, насколько мог, ограничивался реальностью. Тот, кто сочтет, что рассказ этот держится на вымысле, видно, не знаком с беспросветной, горькой и фантастической жизнью моего народа. Ни в одном образе я не отходил от реальности, не поступался ее сокровищами для досужих барочных метаморфоз, как будто предметной яви, живящей и ошеломляющей наши чувства, не хватает своих несчетных возможностей. Точность штриха, ограничение магической реальностью заставляли держаться надежной су-

ши, от которой меня никогда не тянуло вдаль: от неясности не спасешься и самыми экзотическими выкрутасами.

Я начал с рождения гватемальца из глубин мифа и двигался во времени разными путями, чтобы прийти к нынешнему дню. Мои эскизные страницы — отнюдь не синтез экономических, политических и социальных проблем. Скорее это попытка синтезировать характер исторического процесса с его переживанием: веду диалог с монолитами и кодексами, с богами, героями и людьми из древних книг, вспоминаю и смиряю свой пыл, когда память выходит из берегов. Ворошу прошлое не как историк или эрудит — я не тот и не другой, — а как обычный человек, высказывающий пережитое. И чем строже и точнее память, чем сдержанней слово, в котором счастье, тоска и боль моей крови, чем крепче рассказ вцепляется корнями в реальность, тем он фантастичней, тем горше пропитан слезами гватемальца — других у меня нет. И тем точнее моя мысль, тем зорче чувство, тем глубже вера в отклик того, кто меня прочтет, как бы ни разнились наши миры.

Гватемала, райская и первозданная земля с ее неповторимым прошлым и драматической, мрачной и кровавой историей, страна, разобщенная ужасающим культурным неравенством, шагает вперед, спотыкается, но идет ясным и неуклонным путем. Я хотел воссоздать ее атмосферу, избегая видимых пристрастий. Истолковать многоликую, переменчивую, невероятную реальность, исследуя ее и руководясь в этом своим сознанием поэта и гражданина. Перед характерной тонкостью или оттенком я забываю о действии и просто смотрю. То, что я отбираю и показываю, противоречиво: роскошь и аскетизм, религиозные предрассудки и их экономические истоки, сказочный мир космических событий «Пополь-Вух» и бредовая реальность индейского уклада в Чичикастенанго, жалкая и окольная жизнь «ряженого» и чистый голос зари.

В моей родине нет экзотики. Это рассветная земля, и лучшее на ней коренится в историческом творчестве и самовыражении народа, не имеющем ничего общего с культом живописности. Цвет здесь неистребим, и уж если он неистребим настолько, что не блекнет ни от солнца, ни от едких моих слез, то, значит, воистину стоек, — такое не дается бытописателям и поклонникам местного колорита. И хоть это звучит парадоксом, очевидная истина в том, что народное у нас не значит общенародное или общенациональное, да и не может быть таковым: мы не едины ни

в экономическом, ни в политическом, ни в социальном смысле. Народное у нас — это стихийный плод народного гения задавленных и забытых индейцев, которые создают и повторяют свои изделия для себя или узкого круга туристов и соотечественников, чуждых им по духу, условиям жизни, потребностям и вкусам. Различия настолько резки, что пронизывают производство и потребление эпохи неолита, натуральное хозяйство, феодальную и полуфеодальную экономику и доходят до капиталистической — возьмите хотя бы Чичикастенанго или рынки в любом городе страны. Не призываю: долой бубны! — у нас их и так нет. Скорее уж — долой расписные тыквы. Туманные и субъективные разглагольствования меня не занимали. Только основное и конкретное. Вещи подлинные и насущные. Самое фантастическое — это реальность. И, стремясь придать реальность сознанию и сознание — реальности, я уходил от того, что спутывало нити воображения, к вековым истокам. К моему детству, к моим шрамам.

Там — мой народ с его неисчерпаемой традицией. Он был, есть и будет, — неизменный в своей многоликости, переживший потопа, громимый лавинами, стираемый с карты смерчем Конкисты. Он един во всех своих воплощениях, даже если и неузнаваем во многих — настолько они непохожи. Век за веком те же ростки пробивались из майсового зерна, спящего в борозде. И этой стойкости я оставался верен всегда — входя во дворец через ворота Лабны, отступая на тысячелетия, исчезая в пасти звероподобного бога и погружаясь в светящиеся воды мифа.

Прожив почти четверть века вдали, я мог посмотреть на многое в нашей стране свежим взглядом, опираясь на память, на интуицию и на землю Гватемалы, унесенную на подошвах башмаков. Не знаю, пережил ли кто возвращение с такой силой, как я. Моя родина пробуждалась, срывала цепи, и пыл ее рождал вдохновение в каждом. Я чувствовал себя на своем истинном месте, и это еще крепче привязывало меня к моему селенью, чей голос не смолкал во мне с детства, к цветку моего сердца, впоенному слезами воспоминаний. Я не рвался понять до конца мою землю, мне было достаточно ее любить. И если говорил о себе, то лишь затем, чтобы сказать, что в долгие годы разлуки память о ней неизменно жила во мне, как живет, я думаю, в каждом и будет жить в тех, кому выпадет когда-нибудь несказанное счастье вернуться. Это мое детство, изнанка моей ностальгии, облик родины, какой я хотел бы ее видеть.

Это облака, запахи, камни, сны, войны, птицы, надежды, привкусы, жалобы и звуки Гватемалы. Вся сухая и жгучая реальность, которую я смог схватить, которой жил, вернув и воскресив ее в памяти. Вековое рабство индейцев, его горечь, печаль и боль растворены во всех и во всем. Они в воде и воздухе, в огне и земле. В слове и безмолвии. В празднике и погребении. Это давит отовсюду, как многоликий каменный кошмар. Возможно, тем, у кого нет увеличительного стекла разлуки, кое-какие мои впечатления покажутся неточными или утрированными. Живя в неизменной и привычной среде, они уже не различают мрачных контрастов и зыбких оттенков. В каком-то смысле в них притупилась способность узнавать и схватывать детали с той детской цепкостью взгляда, с которой — из-за жестоких социальных потрясений, а не по своей воле — я был вынужден смотреть на реальность последние двенадцать лет. Тут нет ничьей персональной заслуги, просто так вышло, так сложились обстоятельства.

Я вытаскивал эти рассказы один за другим, от мифа до аграрной реформы. Как паук, тянул из себя нить, чтобы снизить из них ожерелье. И если оно получилось, то пусть будет похоже на те ожерелья, которые носят индеанки — пестрыми бусами на груди моей любимой Старой Гватемалы.

*Старая Гватемала, 1935 — Мехико,
1955, снова в изгнании*

(Род. в 1927 г.)

Чили

Серхио Вильегас — чилийский журналист, публицист, писатель; работал корреспондентом, заместителем главного редактора центрального органа Коммунистической партии Чили газеты «Сигло», а также в журнале «Вистасо». В настоящее время живет в эмиграции. В 1974 году вышла его книга «Стадион» — документальное свидетельство о перевороте в Чили.

© Sergio Villegas. El funeral vigilado. — «Araucaria», 1978. N 3.

ПОХОРОНЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ АВТОМАТОВ¹

Луис Альберто². Я не знал, где прощаются с Нерудой. Единственное, что пришло мне в голову, — это поехать к Омеро Арсе, его секретарю, в Сан-Мигель... Его дом находился неподалеку от зданий, буквально забитых военными. Омеро не было дома. Я говорил с его женой. Открыв дверь и увидев меня, она сразу зарыдала. Потом рассказала, что Омеро был с Пабло до самого конца. Вот последние слова, которые произнес Пабло в бреду: «Они убивают, они мучают их». Жена Арсе сказала: «Какой ужас, он умер в тот момент, когда особенно нужен всем нам».

Бельо. Рано утром меня разбудил телефон:

— Говорит Хуан Гомес. Умер Пабло. Через двадцать минут я за тобой заеду.

Это был Гомес Мильяс, бывший ректор Чилийского университета.

Мы приехали в клинику около восьми утра. Пабло уже перенесли вниз, но гроб еще не привезли. Тело лежало на столе, обернутое в белый саван. Открыто было только лицо — ни у одного усопшего я никогда не видел улыбки, подобной этой, не видел выражения такого полного покоя

¹ Глава из неизданной книги «Копия рая». Чили, сентябрь 1973 г.

² Луис Альберто Мансилья — журналист, работал в газете «Сигло».

на лице. Это выражение явилось откуда-то из глубины его души перед самой кончиной как высший ответ на ту жестокость, которая царила вокруг.

Возле тела Пабло находилась его жена Матильда (она плакала), сестра Лаурита, поэт Омеро Арсе (его самый близкий друг), писательница Тереса Амель, адвокат Грасиэла Альварес. Появилась толпа репортеров, которые, слетевшись, как вороны, фотографировали тело в самых различных ракурсах.

— Пожалуйста, перестаньте фотографировать, — вдруг сказала Матильда.

Репортеры сделали вид, что не слышат. Через некоторое время я не выдержал:

— Сеньора Неруда просит больше не фотографировать. Или выполните ее просьбу, или выйдите отсюда.

Среди репортеров были люди из фашистской полиции.

Подшли еще друзья, писатели Хуенсио Валье, Франсиско Колоане¹, еще человек двадцать.

Наконец привезли гроб. Покров сняли, и все смогли увидеть Пабло. Он был в спортивном костюме; когда его положили в гроб, Колоане застегнул ему нижнюю пуговицу на рубашке, она выбивалась из-за пояса, — от его тучности не осталось и следа.

А и д а. Тело Пабло лежало на носилках вниз, в коридоре. Челюсть еще была подвязана. Я помогла переложить его в гроб. Гроб закрыли, закрепили крышку и внесли в часовню.

Б е л ь о. Небольшой процессией мы направились к дому Неруды на Маркиз-де-ла-Плата, находившемуся неподалеку. Было еще довольно рано. Подойдя к дому, мы увидели, что войти невозможно. Лестница, спускающаяся по склону холма Сан-Кристобаль, была затоплена водой и грязью и завалена мусором. Пронести гроб было нельзя. Люди хунты уже побывали здесь и сделали свое «дело». Тогда мы решили войти в дом с другой стороны, для чего пришлось обогнуть весь квартал. У входа ожидала группа молодежи, человек сорок. Они подошли, окружили гроб и, подняв сжатые кулаки, стали скандировать:

— Компаньеро Пабло Неруда!

— С нами!

— Компаньеро Пабло Неруда!

¹ Хуенсио Валье (р. 1905 г.) — чилийский поэт; Франсиско Колоане (р. 1910) — чилийский писатель.

- С нами!
- Сейчас...
- И всегда!
- Сейчас...
- И всегда!

Это были первые голоса, громко прозвучавшие в тишине, которую посеял террор.

Но и здесь нам не удалось войти. Кто-то устроил запруду, преградив русло канала, который проходил поверху и окаймлял холм, — и вода хлынула вниз, отрезав путь к дому с этой стороны. Шел сильный дождь, и поэтому там, где мы стояли, была непролазная грязь. Нам пришлось на минуту опустить гроб на землю, другого выхода не было.

Кто-то предложил переправить тело Пабло в Общество писателей.

Матильда возразила:

— Пабло хотел, чтобы его привезли домой. И мы не понесем его никуда больше.

Мы оказались в какой-то наполовину открытой постройке, где лежали доски, недоделанные двери, брусья: видимо, здесь была столярная мастерская.

Решили проложить мостки и пройти. Я первым поднял доску, все поступили так же. Через десять минут все было готово, и мы понесли нашу бесценную ношу. Преодолели крутой подъем. Этот удивительный, оригинальный дом, воплотивший идеи и фантазии Пабло, теперь был в разных местах разрушен. Извилистые тропинки, то тут, то там пересекающие маленький парк, расположенный на обрывистом склоне, были затоптаны, покрыты битым стеклом, хрустевшим под ногами участников нашей импровизированной процессии. Повсюду валялись обгоревшие предметы, которые Пабло коллекционировал всю жизнь: можно было различить остатки различных редких вещей, картины, полусгоревшие книги, изящные старинные украшения, причудливые веера, перья экзотических птиц Востока.

В этот холодный весенний день три крыла дома смотрели пустыми глазницами окон. От столовой, обставленной прежде в примитивистском и фантастическом стиле, осталось одно воспоминание. Пол был в грязи, всюду были разбросаны обгоревшие вещи. Взгляд замечал вдруг висевшую на одном гвозде чудом уцелевшую картину или то, что осталось от какой-нибудь причудливой лампы, — и все

это были вещи, которые Пабло старательно разыскивал и собирал в разных уголках земли и привозил в свой дом.

...Входим в гостиную. Кто-то из товарищей предлагает убрать выбитые стекла и вставить новые.

— Нет, Пабло попросил бы оставить все так, как есть.

Устанавливаем гроб. Вслед за красными гвоздиками, которые кладет Матильда, появляется первый венок; его ставят у изножия гроба. На широкой сине-желтой муаровой ленте надпись:

«Великому поэту Пабло Неруде, лауреату Нобелевской премии.

Густав Адольф, король Швеции».

А и д а. Из-за забастовки медицинских работников, которая была частью переворота, возникли трудности с лечением. Несмотря на тяжелое состояние, он был лишен теперь облучения кобальтом, которое ему делали в Вальпараисо. До этого Пабло регулярно ездил туда, так как при раке важно находиться под постоянным медицинским контролем.

— Я могу выбрать одно из двух, — говорил он мне, — либо стать круглым, как луна, либо умереть.

Он говорил «круглым, как луна», с присущим ему юмором, а ведь речь шла об искусственной полноте, вызываемой действием кортизона.

В последнее время мы с мужем почти каждый вечер навещали его в Исла-Негра. Тогда он уже больше лежал, чем ходил. Он шутил, говорил, что информирован о событиях лучше нас. В своем вынужденном заточении он смотрел телевизор, слушал радио, читал газеты, приходившие отовсюду. Пабло видел надвигающуюся опасность. Именно в эти дни он написал в послании к молодежи мира, что Чили — это «тихий Вьетнам». В Сантьяго мы возвращались обычно в полночь.

Л о й о л а. Во вторник, восемнадцатого сентября, в День независимости Чили, спустя неделю после военного переворота, организм Пабло стал сдавать, он не мог уже преодолеть кризис, который ускорили события этих дней. Силы его были подорваны. С того момента, как были получены известия о нападении на «Ла Монеду» и героической гибели его друга Сальвадора Альенде, ему стал ясен весь трагизм положения.

Подлинные масштабы случившегося стали очевидны, когда у крыльца его дома в Исла-Негра остановились три или четыре машины с вооруженными солдатами, и через

некоторое время дом превратился в муравейник, кишачий людьми, которые искали автоматы и базуки под якорями, внутри старого локомотива, среди великолепных изданий Рембо или под кроватью, в то время как сами хозяева подверглись не очень деликатному допросу.

Хотя Неруда и знал о своем состоянии, он говорил, что собирается прожить еще несколько лет, по крайней мере, еще неделю после 12 июля 1974 года. Он хотел, чтобы празднование его семидесятилетия послужило вкладом в победу Чили, в которую он верил и с которой связывали столько надежд народы Латинской Америки. Поскольку это говорил Неруда, то его слова можно было принимать всерьез. Но события роковой весны 1973 года, без сомнения, подорвали его жизненные силы.

А и да. Через несколько дней после одиннадцатого к дому в Исла-Негра подъехал автобус, полный солдат в касках. Командовал ими офицер, тоже в каске. Обо всем этом мне рассказала потом Матильда. Они кричали то, что обычно кричат в таких случаях:

— Ни с места!

— Выйти всем из дома!

Все вышли. Пабло остался наверху в своей комнате. С постели, стоявшей между двумя большими окнами, был хорошо виден весь сад. Наверное, уже наступил вечер, так как солдаты вскоре зажгли фонари, обыскивали они тщательно, очень внимательно осматривали кустарники, деревья, обшарили библиотеку, мощеный двор.

Пабло видел все сверху: нападение на дом, грубость и жестокость, солдаты, рыскающие повсюду, — все это, по словам Матильды, сильно подействовало на него.

Офицер спросил, где Неруда. Ему сказали, и он осторожно стал подниматься, держа в руке оружие. И тут произошло нечто любопытное. По узенькой лестнице, типичной для домов Пабло (он сам их придумывал и строил), офицер вошел к нему со стороны столовой. Открыв дверь, он оказался лицом к лицу с лежавшим в постели Пабло. Повидимому, офицер был молодой. Увидев вот так, неожиданно, в двух шагах от себя поэта, он растерялся. Сняв каску, тихим голосом сказал: «Сеньор Неруда, извините», — и вышел.

Спустился по той же лестнице, дал команду и удалился вместе со своими солдатами... Ничего не сломали. Ничего не забрали. Офицер не смог решиться на это. Пабло же был подавлен.

На следующий день Матильда повезла его в Сантьяго в клинику Санта-Мария. Путь показался бесконечным. Их задерживали несколько раз, допрашивали. Пабло был совсем плох.

Что еще? Дом в Исла-Негра не был разграблен. Был разорен морскими пехотинцами дом Пабло в Вальпараисо, полный коллекций и художественных ценностей. «Ла Часкону», дом в Сантьяго, где Пабло жил, работал и хранил свои коллекции, постигла та же участь.

Л о й о л а. Довезти Неруду до Сантьяго оказалось не так просто. В интервью в Буэнос-Айресе Матильда Уррутиа рассказывала:

«Наш врач в Вальпараисо был арестован, естественно, прийти он не мог. Тогда я связалась с Варгасом Саласаром в Сантьяго, он прописал антибиотики, которые у нас были. Но температура не снижалась. Восемнадцатого приходили друзья и рассказали обо всем, что происходит в Сантьяго. Вечером ему стало совсем плохо. На следующий день я решила перевезти его в Сантьяго и вызвала санитарную машину. Они запросили высокую плату, чтобы за нами приехать. На этой машине мы и отправились; подъехав к месту, где платят пошлину перед выездом на магистраль, ведущую к столице, мы увидели, что проезжающих обыскивают.

Когда подошла наша очередь, я сказала:

— Здесь Пабло Неруда, в очень тяжелом состоянии.

Они не прореагировали. Велели мне выйти, обыскали меня, на него это очень подействовало. Никогда в жизни я не видела, чтобы Пабло плакал, а тут заметила на его лице слезы. Когда я вернулась к нему, он попросил:

— Вытри мне глаза, Патоха.

Я вытерла ему слезы и сказала:

— Ай, Паблито, не будем делать из этого трагедии. Они обыскивают всех. Какая чепуха!

Мне хотелось показать ему, что я не придаю этому значения, хотя сама готова была разрыдаться. Приехали в клинику, ему было совсем плохо, правда, я еще не понимала насколько. Мне казалось, что с ним уже было так раньше, что это какая-то кишечная инфекция; казалось, что причиной всему температура, но внутри у него что-то сломалось; он, обладавший сверхчеловеческой силой, в этот момент был сломлен».

Из-за трудностей, связанных с лечением, а также из-за того, что его дом в Сантьяго был разорен, Пабло принял

приглашение правительства Мексики перебраться в эту страну. Матильда отправилась в Исла-Негра за вещами, необходимыми для поездки. Несмотря на болезнь, Пабло продиктовал Омеро несколько страниц своих воспоминаний и несколько полных негодования и надежды стихотворений, которые пока еще не опубликованы.

Бельо. Нас задержал дома сигнал тревоги. Радио постоянно было включено на случай, если передадут известие о состоянии здоровья Пабло. Уже около полуночи диктор объявил: «У поэта Пабло Неруды началась агония, врачи предполагают, что он не доживет до утра. Посещение его в клинике Санта-Мария запрещено».

Я стал прикидывать, как попасть в клинику, чтобы повидать его в последний раз. Клиника находилась не слишком далеко. Очень близко, со стороны Военной школы, метрах в ста по прямой, раздались пулеметные очереди. «Если выйду, — подумал я, — меня могут убить». Не вышел, не решился. Мне слышался голос Пабло повсюду, я вспоминал о незабываемых годах нашей дружбы и страдал от сознания того, что бессилён чем-либо помочь.

Луис Альберто. В эти дни каждый, кто приходил в редакцию любой газеты, видел там десятки и десятки телеграмм с выражением скорби, которую во всем мире вызвало известие о смерти Пабло. Лишь малая часть телеграмм попадала на страницы печати. В сообщении из Парижа говорилось о «глубоком и искреннем соболезновании» Жоржа Помпиду, президента Франции. Париж был последним местом дипломатической службы Неруды. В другой телеграмме сообщалось о срочном возвращении в Чили посла Пьера Ментона, чтобы у ложа умершего поэта почтить его память от имени французского правительства. Было бесчисленное множество телеграмм с выражением соболезнования: от Варгаса Льосы из Испании, из Советского Союза от Евтушенко и других писателей, от Торреса Бодета, Силоне, Гарсиа Маркеса, Моруа. Вспоминаю прекрасную и печальную фразу из телеграммы Жоржи Амаду, бразильского романиста, большого друга Пабло: «Мир без него осиротел» или что-то подобное. Взволнованные слова восхищения поэтом произнес на торжественном заседании ЮНЕСКО, где выступали представители делегаций всех стран, входящих в эту организацию ООН, ее генеральный директор Рене Майо. Он сказал, что звонил в клинику незадолго до кончины Пабло, когда уже не оставалось никакой надежды. Ему ответили, что Неруда не встает

с постели, но упорно продолжает работать, словно боясь, что не успеет закончить начатое. Информационные агентства сообщали об отзывах прессы. В газетах всего мира появились траурные заголовки, например, в «Ла Расон» в Буэнос-Айресе, которая озаглавила большую статью о Неруде так: «Народы испаноязычного мира оплакивают своего великого поэта-современника». Все сообщения прессы связывали смерть Неруды с трагической судьбой Чили. И везде отмечалась главная особенность творчества поэта: безграничная человечность, удивительное благородство, которым проникнуто все, что он создал.

В ряде чилийских газет появилось несколько строк, чтобы «соблюсти приличия». Но зато много места с крупными заголовками, фотографиями, комментариями отводилось изложению официальной версии о нападении на дом поэта. С бесстыдным цинизмом виновниками нападения хунта называла «уголовные элементы», хотя в эти дни весь преступный мир затаился из предосторожности и худшие из преступников (за исключением тех, кого направляла «Патриа и либертад»¹) были насмерть перепуганными ангелами в сравнении с этой бандой, которая рыскала повсюду, разрушала, стреляла и убивала.

А и д а. Я была очень занята, приходилось прятать мужа. Но в субботу (двадцать второго) я поехала в клинику; Матильды не было. Она отправилась в Исла-Негра собрать чемоданы. Мексиканский посол вызвал самолет, чтобы переправить их в свою страну, и самолет мог прибыть в любой момент.

В больнице находились Омеро Арсе, Лаурита Рейес и одна из знакомых, Делия Вергара. Лаура велела мне сразу же войти. Палата состояла из двух комнат. В одной лежал Пабло, в другой Омеро печатал на машинке.

— Как себя чувствуешь, Паблито? — спросила я.

Он был в сознании.

— Ужасная боль, — отвечает. — Болит все, от кончиков волос до кончиков пальцев. Невозможно терпеть.

Пожаловался, что нет Матильды, которая одна умела облегчить страдания, определенным образом укладывая его ноги.

Я видела, что состояние очень тяжелое, он задыхался. Но несмотря на все это, Пабло вполне владел собой

¹ «Патриа и либертад» — фашистская террористическая организация, которая вела борьбу против правительства Альенде.

и делал последнюю правку. Омеро приносил большие листы текста, в котором было что-то о кентаврах и генералах.

И он правил, он не сдавался. И еще читал какой-то роман, который полностью разброшюровали и давали ему частями, чтобы он не чувствовал тяжести. Кажется, это было что-то по-французски.

— Ну как? Как себя чувствуешь? — опять спрашивала я.

Он снова пожаловался на боль, которая ощущалась во всем теле и была непереносимой.

— В понедельник лечу в Мексику, там мне станет легче.

Он не думал о смерти. Он собирался ехать, собирался в путь. Не хотел умирать, ждал помощи врачей, ждал спасения, думал поправиться в Мексике.

У нас были кое-какие планы, и он заговорил о них:

— Я не забыл, я все сделаю. Из Мехико тебе напишу.

Речь шла об одной идее Пабло, которой он придавал большое значение, — об основании «Фонда Пунта-де-Тралька». Авторские права Неруды после смерти жены должны быть переданы на организацию этого дела. Речь шла о строительстве большого здания, где поэты Чили и других стран мира получили бы возможность жить какое-то время, отдыхать, читать, писать. Он уже обсуждал свой проект с архитекторами. И собирался подарить этому дому свою библиотеку поэзии, которую собирал всю жизнь, первые издания, редкие книги, многие на французском языке, книги Рембо («Кто не читал Рембо, — говорил он, — тот не знает, что такое поэзия»).

Он уже кое-что сделал. Написал завещание. Оставалось лишь уточнить детали и заверить его.

— Из Мексики я пришлю указания через Венсеслао Росеса, — сказал он мне.

Однако больше всего беспокоило его другое: то, что в эти минуты происходило за стенами больницы. Его волновала обстановка в стране. Зная трудное положение некоторых знакомых, он очень тревожился о них. Например, он говорил мне о Пайите, секретаре Альенде:

— Я знаю, что ей придется скрываться, перебираясь из дома в дом. Подумай, как помочь ей.

Спросил меня о муже.

— Он у надежных людей, Паблито.

— Пусть будет осторожен. Они убьют его.

Он говорил медленно, дышал с трудом и все-таки не переставал писать и править.

— Ну ладно, Пабло, скоро увидимся. Не утомляйся, скоро увидимся.

Не знала я, правда, увидимся ли мы снова. В эту минуту ни в чем нельзя было быть уверенным. Я взяла его левую руку и поцеловала ее. Он не отпустил мою, закрыл ею свое лицо и потом поцеловал. В последний раз я видела его живым. Это было в полдень.

Луис Альберто. Гроб пронесли с большим трудом. Люди буквально тонули в грязи, ноги скользили. Видимо, там, наверху, что-то долго задерживало воду, и теперь, прорвавшись, поток затопил все вокруг.

В конце концов гроб вынесли и поставили в обычную машину похоронной конторы. Я присоединился к группе рабочих издательства «Киманту», и мы встали позади машины. Рабочих было тридцать человек, я знал их. Сегодня утром им сообщили, что они уволены. Получив это известие, они решили тотчас покинуть предприятие и идти на похороны Неруды. Среди них находился секретарь профсоюза. Они рассказали, что представители хунты сожгли в типографии миллионы книг, а часть из них пропустили через бумагорезки, превратив в мелкие клочки, то есть уничтожили весь подготовленный титаническим трудом издателей материал, предназначенный для книжных магазинов, киосков, заводов, фабрик.

Та же участь постигла последний поэтический памфлет Пабло Неруды «Призыв к расправе с Никсоном и хвала чилийской революции», — на нем не успела даже просохнуть краска. Мы встали вокруг гроба, образовав четырехугольник, быть может, несколько неправильный. Инстинктивно, боясь быть задержанными, поскольку участвовать в процессии было опасно, мы взялись за руки и так пошли. Процессия направлялась к Центральному кладбищу.

Л о й о л а. В субботу вечером, двадцать второго, Пабло разговаривал с Матильдой и объявил ей, что, когда поправится, напишет еще несколько книг. «Я мало написал», — прибавил он. «Так хорошо, что мы остались вдвоем в тот вечер, — рассказывала потом Матильда. — Лаурита ушла. Я отослала медсестру и осталась с ним одна, он захотел поговорить со мной. Он был со мной так нежен в этот последний вечер своей жизни. Я просила его немного поспать, так как знала, что сон даст ему силы. «Все невзгоды мы преодолевали вместе», — сказал он мне. Он поспал

часа два, но, когда проснулся, был уже другим. И никогда больше не был снова таким, как прежде. Им овладело лихорадочное возбуждение, больше он меня не узнавал. Бредил. Его сознание и его сердце были с друзьями, которых преследовали и пытали. Посреди бессвязного бреда временами он кричал:

«Их убивают! Их убивают!»

И снова погружался в сон, и снова бредил, а на рассвете в воскресенье впал в коматозное состояние.

«Состояние очень тяжелое, — сказал мне Варгас Саласар. — Сомнительно, чтобы он преодолел этот кризис».

В таком состоянии Пабло уже никого не узнавал. Я не желала ни о чем думать, цепляясь за надежду на его огромную жизненную силу. В середине дня, в воскресенье, я отправила Мануэля Арайю, шофера Пабло, совсем еще юношу, за лекарствами и за чем-то еще, но проходили часы, а он не возвращался. Позже я узнала, что его задержали и отправили на Национальный стадион, где события складывались трагически¹. Мне стоило потом большого труда найти машину и отремонтировать ее».

А и д а. Я позвонила Матильде. Пабло только что умер. Было воскресенье. Я спросила, что будем делать.

— Общество писателей предложило свою помощь, — сказала она. — Но я хочу, чтобы прощание с Пабло проходило дома.

Я предложила другой вариант.

— Ты же знаешь, — сказала я ей, — в каком виде сейчас «Часкона». Почему бы не перевезти тело к нам? Ведь так долго наш дом был его вторым домом.

Я видела, с каким самообладанием и мужеством держится Матильда.

— Тебе не кажется, — ответила она, — что чем хуже в доме, тем лучше для Пабло?

В своем разоренном и разграбленном доме Пабло превратился в символ, обличающий жестокость, творимую хунтой в Чили.

В тот вечер мне удалось поговорить с несколькими студентами-медиками, и я сказала им:

— Завтра Пабло перевезут в «Часкону». Вы должны подготовить все.

Л а й о л а. Смерть наступила в 22.30 в воскресенье

¹ После фашистского переворота 11 сентября 1973 г. Национальный стадион Сантьяго-де-Чили был превращен в концентрационный лагерь.

двадцать третьего сентября. Матильда, Лаурита (сестра Пабло) и сеньора Тереса Амель обрядили тело поэта, и после этого его переправили в «часовню» клиники, точнее сказать, в грязный коридор у входа, поскольку в зале, носящем название «часовня», уже стоял чей-то пышно украшенный гроб с цветами, большими свечами и металлическими канделябрами. Матильда поклялась не покидать останки Пабло, чтобы избежать риска, что гроб захватят с целью устроить маскарад официальных похорон. Или что-нибудь похуже. Она провела ночь в этом отвратительном коридоре клиники Санта-Мария, который мне не забыть, потому что я нашла ее там рано утром, беззащитную и одинокую, когда действие комендантского часа кончилось и я смогла приехать.

С появлением иностранных журналистов гроб с телом Неруды немного передвинули поближе к входу в часовню, серое пустое помещение, больше похожее на морг. Поэт, одетый в спортивный пиджак и рубашку с открытым воротом, казалось, отдыхал на носилках: таким спокойным и даже чуть улыбающимся было выражение его лица. Прошло несколько часов, пока привезли гроб, и почти все это время я так и вижу, как Матильда стоит у носилок и не отрываясь смотрит в лицо Пабло, молчаливая, ушедшая в свое горе. Изредка несколько слов в ответ на вопрос журналиста. Наконец внесли гроб металлического, серо-стального цвета. Матильда сказала:

— Я ничего не понимаю в похоронах. Тереса взялась позаботиться о гробе. Единственное, о чем я просила, — чтобы он не был черным. Пабло терпеть не мог траурный черный цвет.

А и да. В понедельник около часа в «Часконе» уже находились Гильермо де Парра, мой сын Альваро и другие. Когда приехали мы, они работали, засучив рукава, передвигаясь по колено в воде. Вода потоком текла на улицу по парадной лестнице. Расположенная наверху столовая была вся затоплена, вода достигала там примерно полуметра.

Подальше, в стороне, молодые люди вытаскивали из канала разные предметы, которые создали там запруду, — все эти вещи были вынесены из дома. Здесь можно было увидеть картины, стулья, органчик (он был из тех редкостей, что Пабло собирал повсюду), рамы, ящики, лампы. В этой мешанине находился также большой деревянный веер, необычный, праздничный, который Пабло хранил

в особом месте рядом с открытками, зеркальцами и другими вещами. Из всего этого кто-то сделал запруду, вода перелилась через край и затопила дом.

Оказалось невозможным пронести гроб через дверь. Пришлось идти в обход по пустырю, пройти мимо механической мастерской, гаража или чего-то в этом роде и спускаться, балансируя, осторожно неся гроб, позади дома по тропинкам и лесенкам сада Пабло. Так мы и вошли наконец туда, где прежде была гостиная. Шторы были сорваны, телефонный провод выдеран, под ногами стекло, стекло, стекло... Вот во что превратился великолепный дом.

Весь понедельник мы провели там. Стал собираться народ, пришли члены дипломатических представительств, появились венки от послов, цветы. Было холодно, отовсюду дуло. Пришли близкие друзья, некоторые писатели, художники. Я увидела певца Патрисио Маниса и спросила его, не знает ли он, что с Виктором Харой.

Б е л ь о. Дом стал заполняться людьми. К Матильде вошли с известием, что представители военной хунты пожелали выразить ей официальное соболезнование и ждут внизу. Опасаясь новых издевательств, Матильда послала передать им, чтобы они ушли, что она их не примет. Еще ничего не было сделано по оформлению документов о смерти. Матильда попросила меня заняться этим. Я поехал домой к врачу, под наблюдением которого Пабло находился до последнего вздоха. Заполняя справку, за которой предварительно я заезжал в клинику, врач посетовал:

— Если бы до своего отъезда в Париж в качестве посла дон Пабло обратился к нам, он был бы жив. Диагноз был ясен задолго до того, как его стали лечить в Европе. Тогда было время, чтобы остановить развитие болезни и успешно оперировать.

Я был ошеломлен. Пытался убедить себя, что врачи в большинстве своем, часто задним числом, уверяют в возможности излечения.

Когда я приехал в бюро записи актов гражданского состояния зарегистрировать кончину и получить свидетельство о смерти, все кабинеты были уже закрыты. Мне удалось уговорить швейцара впустить меня. Служащие убрали книги. Я объяснил положение.

— Вы знаете, вечером мы не принимаем посетителей, но...

Служащая не стала продолжать, чтобы не скомпрометировать себя. Все были напуганы, все боялись. Во все

учреждения генералы послали новых руководителей. Две женщины выразительно посмотрели на меня и, не говоря ни слова, снова раскрыли книги. Так они выражали свою солидарность.

— Где состоится захоронение?

— Могила дона Карлоса Диттборна, улица О'Хиггинс Централь, между Лимай и Лос-Тилос, Центральное кладбище (Адриана Диттборн, писательница, предоставила Матильде место в своем семейном склепе, поскольку невозможно было выполнить желание Пабло быть похороненным в Исла-Негра).

Когда мы вернулись домой, там среди мусора и обломков собрался народ. Подвергая себя риску, пришли многие друзья из тех, кто исчез после одиннадцатого сентября.

Л о й о л а. Многие незнакомые люди принесли цветы, выражая скорбь от имени тех, кто не мог прийти сам. Пришли также некоторые официальные деятели, например христианские демократы Радомиро Томич, Флавиан Левине, а также Максимо Пачеко. В полдень появились два представителя хунты, которых Матильда отказалась принять. Было много иностранных журналистов, и часов до шести-семи вечера дом был полон народу. Нескончаемым потоком шли люди, чтобы выразить скорбь Чили. Было заметно, что некоторые из них боятся оказаться задержанными в таком месте, и они быстро уходили.

Не помню точно, в какой момент (это было невероятно) появились очень молодые люди из издательства «Киманту», члены партийной группы, в которую входил Пабло.

— Компаньера, — сказали они, — попросите, пожалуйста, не фотографировать. Мы хотим почтить память Неруды.

Они встали в почетный караул, и журналисты перестали фотографировать, уважая их просьбу.

Иностранцы, особенно те, кто был посмелее, выражали не только скорбь, но и возмущение. И вполне открыто. Помню, Херальд Эдельстам, посол Швеции, громко поносил фашизм. Разговаривал с журналистами.

— Фотографируйте, — говорил он, показывая на развороченный очаг великого поэта. — Фотографии — вот неоспоримое доказательство варварства этих людей.

По известным соображениям всех журналистов мы сначала относили к людям другого лагеря. И иногда ошибались. В первый же день, в клинике, ко мне подошел какой-то бразильский корреспондент.

— Не могли бы вы рассказать мне что-нибудь? — попросил он.

Я ответила, что я всего лишь друг семьи.

— Дело в том, что она так расстроена,— сказал он, указывая на Матильду. Он догадывался, что выступление одной из бразильских газет заставляло нас быть по крайней мере осторожными.

— Сеньора,— сказал он мне,— я понимаю, я пережил бразильские события¹, но могу лишь сказать, что случившееся в Бразилии не может идти ни в какое сравнение с тем, что я видел здесь.

Я рассказала ему кое-что.

Кто-то вошел и сказал, что вокруг дома ходят люди, не решаясь войти. Позже мы получили известие, прояснившее ситуацию: в начале улицы Маркес-де-ла-Плата стоял грузовик, полный карабинеров.

— Надо что-нибудь предпринять,— сказала Матильда,— люди имеют право проститься с Пабло.

Мы пошли в дом Кеты, вдовы фотографа Антонио Кинтаны. Оттуда я позвонила в полицию, вызвала старшего. Начальник полиции показался мне весьма подозрительным. Трубку взяла Матильда.

— Люди боятся,— сказала она,— они не осмеливаются войти в дом. Кажется, нет такого права, которое запрещало бы попрощаться с Пабло.

И она попросила его убраться грузовик.

Офицер ответил:

— Сеньора, это сделано для охраны вас и сеньора Неруды.

Матильда возразила, что отдать последний долг Пабло пришли его друзья и почитатели и от них не нужно никого охранять.

Грузовик убрали.

Луис Альберто. Я увидел послов Мексики и Франции, которые направлялись к гостинице и, стараясь не попасть в грязь, перепрыгивали через лужи. Многие дипломаты вынуждены были преодолевать те же препятствия, чтобы поздороваться с Матильдой и выразить соболезнование своим правительствам в связи с постигшим ее горем: это была скорбь не только по поводу кончины великого чилий-

¹ Речь идет о военном перевороте в Бразилии 31 марта 1964 г., в результате которого к власти пришло правительство реакционной военной диктатуры.

ского поэта, но и сочувствие, что прощание с ним происходит в подобной обстановке. Мое внимание привлек один из посетителей. Я заметил застывшую фигуру Алонэ¹, литературного критика газеты «Эль Меркурио», который столько раз со страниц своей газеты выступал за приход того, что в эти минуты он видел собственными глазами. Он был в темных очках, в строгом черном костюме и выглядел подавленным. Мне он снова попался на глаза на следующий день, на похоронах, в толпе, взволнованно и возбужденно наблюдавшей прибытие на Центральное кладбище похоронной процессии.

А и да. Позднее новое волнение в гостинной. Кто-то сообщил, что прибыли представители хунты выразить соболезнование вдове.

Матильда попросила меня:

— Я не выйду к ним. Пожалуйста, прими их ты.

Это были карабинеры-офицеры. Их командиру было около сорока лет.

Я провела их в разоренную столовую. Вещи валялись на полу, идти приходилось по битому стеклу.

— Мы пришли выразить соболезнование вдове, — сказал старший.

— Сеньора Матильда, — объяснила я, — не может вас принять.

Офицер глядел спокойно.

— Понимаете, — сказал он, — это сделали не мы. Вооруженные силы и карабинеры так себя не ведут. Это вандализм, сделать это могли одни уголовники.

В этот момент мне так захотелось спросить их, кто обстреливал «Ла Монеда».

— Любопытно, что ничего не украли, — ответила я, — разрешите, я покажу вам.

Я заставила их обойти столовую и убедиться, что была явная попытка разрушить все. Очевидно было одно: здесь орудовало много людей, и их действия были точно направлены на разорение дома.

Я повела их дальше, показала беседку-кабинет Пабло в саду. Это было одно из мест, где он отдыхал и писал стихи. В беседке был камин. До нападения там стояли стол, кресло-качалка и другие вещи, которые Пабло любил, например часы на массивной подставке, с украшениями, которые так

¹ А л о н э (настоящее имя Эрнан Диас Ариета, р. 1891) — чилийский литературный критик.

ему нравились. Я показала им, что от всего этого осталось. Они распотрошили часы. Часы были старинные, ценные, с уникальной инкрустацией, а теперь весь механизм был наружу, маятник болтался. Участники нападения всюду оставили свои следы. Помню одну картину старинного письма с фигурой старой толстой дамы с усиками, типичный традиционный семейный портрет, который Пабло отыскал в одном из своих путешествий или купил при очередной распродаже. Он обожал такие вещи. Преступники воткнули нож прямо в глаз и разрезали картину донизу. Трудно поверить, чтобы уголовники располагали временем для занятий подобным вандализмом.

Я показала офицерам гору вещей, извлеченных из канала. Они шли сзади и почти не разговаривали, смотрели и, наконец, ушли, подавленные. Возможно, их беспокоило также, что не удалось выполнить свою миссию.

Я могла бы еще немало им рассказать. Что в доме, например, не осталось ни одной чашки или стакана, не из чего было напиться. Не было света, очевидно, специально позаботились о том, чтобы прощание проходило при свечах, согласно печальной традиции юга.

Не было кроватей. Матрацы были выпотрошены. Нам удалось, правда, отыскать два или три. Мы положили их у изножия гроба и легли: Лаура, Матильда и я. Приехал внучатый племянник Пабло. В таком составе мы провели у гроба всю ночь. Становилось все холоднее. В одну из таких минут, когда мы чувствовали себя покинутыми всеми, очень вовремя появились посетители: молодые люди из «Киманту», которые пришли узнать, не нужно ли чего-нибудь. Они принесли бутылку писко¹, которая, честно говоря, пришлась так кстати.

П о й о л а. Около семи вечера в тот понедельник я поехала к себе домой за простынями и потом вернулась, чтобы всю ночь оставаться у гроба Пабло. Комендантский час начинался тогда в восемь, и я едва успела вернуться на Маркес-де-ла-Плата несколькими минутами раньше. Стенело. На улочке никого не было, как вдруг откуда-то из-за угла быстро вышел человек, назвался журналистом и сказал, что ищет дом Неруды. Он поднялся со мной по парадной лестнице, но ограничился лишь тем, что быстро осмотрел зал и тут же ушел. Наверняка он был из полиции.

У гроба Пабло в ту ночь находилось десять человек:

¹ Писко — чилийская водка.

Матильда, Лаура Рейес, супруги по фамилии Карками (родственники Матильды), Аида Фигероа (жена министра юстиции), Серхио Инсунса, Элена Насименто, Хуанита Флорес, Энрикета де Кинтана и я. Матильда немного вздремнула. Невероятно, как она держалась на ногах после стольких бессонных дней и ночей. Но меньше чем через два часа она уже встала и возвратилась на свое место возле тела поэта и снова глядела на него не отрываясь, как и весь прошедший день.

Я молча встала с другой стороны гроба, и Матильда, продолжая смотреть на Пабло, вполголоса начала рассказывать то об одних, то о других событиях последних дней, последних месяцев, о невыполненных планах, словно разговаривая сама с собой.

Во вторник, в девять часов утра, вновь печальная необходимость выносить гроб с телом Пабло, с трудом передвигаясь по воде, затопившей вход в нижний этаж. Иностранные корреспонденты (многие из них приехали накануне) не могли прийти в себя, наблюдая все это. И как здесь, так и потом на кладбище, я видела, как некоторые из них с трудом сдерживали волнение и слезы.

Когда наконец нам удалось вынести гроб на улицу, там собралась уже довольно большая группа рабочих и студентов, и я услышала первые возгласы:

— Камарада Пабло Неруда!

И в ответ:

— С нами!

Луис Альберто. На небольшом пространстве, по обеим сторонам улицы Маркес-де-ла-Плата, мы заметили множество полицейских с мрачными, зловещими лицами, в темных очках — их трудно было с кем-либо спутать. Хотя иногда можно было и ошибиться: многие надели темные очки, чтобы скрыть скорбь или слезы, а иные в надежде, что так их не смогут узнать.

Пройдя по прилегающим улочкам, мы вышли на небольшую площадь возле холма Сан-Кристобаль. Там собралась уже небольшая группа, ожидавшая нашу процессию, с тем чтобы присоединиться к ней. Двинулись дальше. Казалось невероятным, что в такое время на улицах Сантьяго возможна демонстрация, но именно в демонстрацию превратились похороны великого поэта. Иногда мне казалось, что все это происходит во сне, а не наяву.

Аида. В этой процессии было что-то необычное: все ее участники шли, глядя прямо перед собой. Никто не смотрел

по сторонам; я ощущала лишь, что за мной, на небольшом расстоянии, шел мой двадцатидвухлетний сын, как бы охраняя меня.

Чувствовалось, что процессия растет. Я заметила сбоку в стороне плачущую женщину, она вынула платок, надела его в знак траура на голову и присоединилась к нам.

Полицейские, по-моему, находились в замешательстве, поскольку вели себя довольно странно: то агрессивно, то растерянно. Они не предполагали, что проводы превратятся в демонстрацию, что гроб будет сопровождать целая колонна. К колонне приближались карабинеры, казалось, они вот-вот врежутся в толпу. Но они удалялись, затем возвращались вновь, не зная, что предпринять, а процессия между тем продвигалась вперед.

И вдруг неожиданность, замешательство в колонне. Инстинктивно мы сплываем ряды, прижимаемся друг к другу: в этот момент мы проходили мимо здания электрической подстанции, перед которой расположилась группа «черных беретов» с автоматами в руках, нацеленными на нас.

Улица Пуриссима, река Мапачо, проспект Ла-Пас. Невероятно, похоже на сон. И тут раздалось пение «Интернационала», пение «Интернационала» в такое время! Сперва прозвучало несколько фраз, потом пение стихло, где-то дальше звуки песни возникали вновь, то слышались в разных местах, то стихали. А потом, помню, пение перешло в шепот, люди шепотом повторяли слова «Интернационала»...

Кто-то громко начал читать стихи Неруды. Я не знаю, кто это был, помню только, что человек этот прихрамывал. Перед зданием морга ожидала большая толпа. Траурная процессия росла и росла, она уже производила впечатление массового шествия. А в начале было всего несколько рядов.

Луис Альберто. Процессия все увеличивалась. Шло много женщин с цветами в руках, студенты, какой-то ребенок шел за руку с матерью.

Во многих домах открывались окна, и люди приветствовали нас молча, махая платком или просто поднимая руку.

Любопытно и знаменательно, что немного впереди процессии, как бы возглавляя ее, двигался автомобиль, полный солдат. Он двигался медленно, дула автоматов были направлены во все стороны.

Из окон, приветствуя нас, выглядывали в основном домашние хозяйки, старики, и это было уже немало, потому

что если человек хоть немного ценил свою жизнь, он не должен был выражать симпатию к чему бы то ни было, что было против переворота. Некоторые не делали ни единого жеста, просто открывали окно и так стояли, провожая пристальным взглядом проходивших мимо людей. И этого было довольно. Они поступали так, как велела им совесть, они решили рисковать всем, чтобы сказать последнее «прощай» великому поэту.

Б е л ь о. Пересекли проспект Перу. На улице Сантос-Дюмон те, кто ехал в машинах, вышли и дальше пошли пешком.

Я никогда не видел выражения большего горя, чем то, которое было на лицах шедших в толпе людей. На этих лицах читалась не только безутешность по поводу смерти Неруды, но и настороженность, посеянная террором.

— Да здравствует Пабло Неруда!

— Да здравствует Коммунистическая партия!

В середине процессии на каждом участке пути кто-то громко читал стихи Неруды, неся в руках открытую книгу.

Шакалы, от которых отступятся шакалы,
гадюки — их возненавидят гадюки,
камни — их выплюнет репейник ¹.

— Компаньеро Пабло Неруда!

— С нами!

Этот возглас повторялся трижды. Никто не прятался. Никто не боялся. Многие отвечали: «С нами!» — а на лицах были слезы.

Луис Альберто. Это была «Испания в сердце». Секретарь профсоюза «Киманту» достал книгу и начал громко читать стихи. Потом на смену ему пришли другие. Многие знали стихи наизусть... Звучали разные, но снова и снова возвращались к этим:

Предатели генералы,
посмотрите на мой мертвый дом,
на разломанную Испанию ².

Произносили *Испания*, но в каждом сердце с болью звучало *Чили*.

Иностранные журналисты, которых было много повсюду, подходили, чтобы спросить о чем-либо, но мы отвечали

¹ Пабло Неруда. Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. М., 1978, с. 131. Перевод И. Эренбурга.

² Там же.

коротко, опасаясь, не оказался бы среди них кто-нибудь из полиции.

— Что вы думаете об этой ужасной жестокости?

— А вы не боитесь, что на кладбище вас арестуют?

Это спросил корреспондент мексиканского телевидения, как он сам представился.

— Да, мы понимаем, что идем на риск.

Бельо. Впереди нас, поддерживаемая двумя подругами, шла английская балерина Джоан Тернер. Она была бледна, двигалась механически. Это была вдова певца и композитора Виктора Хара, чье тело, изуродованное пытками, ей пришлось самой опознавать в морге. Когда мы проходили мимо здания морга на проспекте Ла-Пас, одна из женщин, шедших рядом с Джоан, крикнула:

— Компаньеро Виктор Хара!

— Здесь!

— Компаньеро Виктор Хара!

— С нами!

— Сегодня!

— И навсегда!

По обеим сторонам у входа на Центральное кладбище, правда на некотором расстоянии, стояли бронированные автомобили и джипы с вооруженными солдатами.

Аида. Ступив на территорию кладбища, мы уже открыто пели «Интернационал». Пение смешалось с рыданиями. Здесь также было много людей, ожидающих нас. Вновь стали громко выкрикивать имена. Первым было имя Пабло. Ко мне приблизилась Ирма де Альмейда и сказала:

— Мы не называли имени Альенде.

В эту минуту мы проходили под аркой входа. И вверх прямо под своды взлетел мой крик, в который я вложила все оставшиеся силы:

— Сальвадор Альенде!

И тысячи голосов ответили:

— С нами!

Я услышала, как оказавшийся рядом адвокат с юга сказал:

— Эти коммунисты никогда ничему не научатся.

Я видела очень опечаленного Алонэ и Фернандо Кастильо Веласко, ректора Католического университета, он плакал; слышался громкий голос Челы Альварес.

Луис Альберто. В этот день солнце словно колебалось, выглянуть ему или нет. Обычный день начала

весны. Но для всех нас это был день траура, самый печальный из всех траурных дней, которые мы пережили до этой минуты. Процессия приблизилась к кладбищенской ротонде, здесь стояло в ожидании много народу. Мне запомнился Радомиро Томич, бывший кандидат в президенты от христианско-демократической партии и потому соперник Альенде на выборах. Казалось, тяжелый груз несет он на плечах: говорили, что один из его сыновей арестован. Город полнился слухами. И вновь, немного дальше, я увидел Алонэ, в темных очках, сухопарого, еще больше похожего на высеченную из камня фигуру. Любопытно, он был одновременно и враг Пабло, и его почитатель. Он писал и продолжает писать, как известно, статьи, насквозь пропитанные антикоммунизмом, но в это утро он был здесь. Вот друзья: Диего Муньос, писатель, Энрике Бельо, украшение литературных журналов, опубликовавший в «Про Арте» первые стихи Пабло в изгнании, тогда, в пятидесятых, когда произведения поэта были запрещены в Чили. Рядом с Матильдой я увидел мексиканского посла Мартинеса Корбала, который получил указания президента Эчеверрии оказать ей необходимую помощь.

Л о й о л а. Я отстала и, когда снова присоединилась к процессии на проспекте Ла-Пас, признаюсь, похолодела от страха, потому что люди шли с пением, «Интернационала», который звучал все громче и громче, шли, подняв кулаки, все без исключения. Те, кто никогда не считал себя коммунистом, — это были просто писатели или друзья Пабло, — верно, чувствовали, что нет иного способа выразить все, что было у них на сердце, как, подняв сжатый кулак, петь этот гимн.

Площадь возле кладбища была окружена солдатами. Их было хорошо видно. Мне казалось, что еще несколько секунд — и они разрядят автоматы. И тут кто-то громким голосом крикнул:

— Компаньеро Пабло Неруда!

И все ответили:

— Здесь!

Возглас повторился два или три раза, ответы становились все громче, и вдруг снова возглас:

— Компаньеро Виктор Хара!

У всех перехватило дыхание, ведь имя Виктора впервые прозвучало публично, разоблачая убийц.

— С нами!

Мы ответили так громко, как смогли.

И тут наступила тишина, а следом, как бы набирая дыхание, кто-то крикнул, собрав все силы:

— Компаньеро Сальвадор Альенде!

Слово «Альенде» прозвучало очень отчетливо.

В ответ раздался вопль, хриплый, прерывистый, искаженный волнением и ужасом, хотелось, чтобы нас услышал весь мир:

— С нами!

Я думаю, в этот момент страх исчез, потому что больше уже ничего нельзя было сделать — лучше уж умереть с поднятым кулаком и с пением «Интернационала». Так, с громким пением, плача, вошли мы на Центральное кладбище. Быть может, нас спасло присутствие множества иностранных корреспондентов...

Б е л ь о. Когда останки убитого президента Республики переправлялись на кладбище Винья-дель-Мар, гроб сопровождали только жена и дочери президента. Никто даже не знал, где он будет похоронен. И вот сейчас, на кладбище, присутствие Альенде ощущалось нами так живо в гулком крике толпы, что, движимые какой-то общей глубокой потребностью, без чьего-либо побуждения, мы все запели национальный гимн.

Л у и с А л ь б е р т о. На территории кладбища процессия задержалась. Нужно было подождать, пока оформят документы. В эти минуты люди открыто выражали свои чувства. Некоторые известные деятели, которые далеко не разделяли политические убеждения Пабло, но считали необходимым выразить свое соболезнование, украдкой следили за происходящим, следили осторожно, они словно не верили своим глазам: всюду раздавались лозунги и пение.

Разрешили идти дальше, и мы двинулись по внутренним проспектам кладбища, проходя между склепами и деревьями. Снова и снова звучал «Интернационал».

В толпе я встретил профессора Алехандро Липшутца¹. От выглядел усталым и оперся на мою руку. Медленно пошли дальше.

— Вчера вечером у меня были неожиданные гости, — сказал он.

Профессор Липшутц — одна из самых почитаемых фигур в чилийском научном мире, его авторитет далеко перешагнул границы страны.

¹ Алехандро Липшутц (1883—1980) — известный чилийский ученый, медик, этнограф.

В его дом ворвались военные, продержали запертым на ключ всю ночь его, девяностолетнего старика, и его жену Маргариту, которая еще старше. Сделали обыск, перевернули все вверх дном, ища оружие и Луиса Корвалана. Перерыли все в саду палками и металлическими прутьями, и после их ухода пропали бумаги, научные исследования, старинные предметы и документы, рукописи, различные бесценные для ученого вещи, которые он терпеливо собирал на протяжении всей своей жизни.

— Компаньеро, — сказал он мне, — эти люди не вечны.

Говорил он с какой-то прозорливой усталостью.

— Я многое повидал, фашизм делал то же самое в Европе, и вы знаете, чем это кончилось.

Лицо его было почти пепельного цвета, какого я никогда у него не замечал прежде. Он казался спокойным, хотя заметно было, какой груз он нес на своих плечах. Смерть Пабло была для него большим ударом. Между ними были отношения, представлявшие собой сочетание взаимного восхищения, любви и уважения.

Л о й о л а. Уже на кладбище случилось нечто любопытное. По мере того как мы приближались к месту захоронения, люди постепенно пошли быстрее. Колонна не была организована заранее, в ней не было определенного порядка и места следования каждого, это была поистине стихийная народная процессия. Никто, разумеется, не заботился о том, чтобы придать ей характер торжественности. Всем хотелось находиться поближе к могиле в момент захоронения, и тогда те, кто шел не в колонне, прибавили шагу. И вдруг я увидела, что Матильда да и вся колонна почти бежит. Те, кто нес гроб, также прибавили шагу, несомненно зараженные поспешностью, с какой двигались все вокруг.

Л у и с А л ь б е р т о. Произносились речи. Правда, с того места, где мы стояли, было не очень хорошо слышно. Кто-то читал стихи из «Всеобщей песни», кто-то сравнивал гигантскую фигуру Неруды с морем и землей Чили. Молодой рабочий прочитал стихи, написанные им, без сомнения, прошедшей ночью, все выступавшие старались говорить используя туманные намеки, неожиданные метафоры, хотя каждому хотелось бы сказать все, что у него на сердце, прямо, во весь голос, однако в подобных условиях было невозможно выражать свои чувства открыто, даже в самой сдержанной форме.

Небольшая, безутешная в своем горе группа стояла против склепа, на крыше которого удобно расположились десять или пятнадцать фотографов, среди них — об этом бесстрашно думал каждый из нас — должен был находиться и магический глаз полицейского, следившего за нами.

Гроб с телом Пабло поместили в этот склеп, возложили множество цветов. Люди начали расходиться.

Кругом слышался шепот, звучали предупреждения: «За воротами задерживают», «Следуй за мной, товарищ». И тоном приказа: «Надо идти быстро, выходить, не задерживаясь у ворот».

Иностранные корреспонденты предупредили, что они пойдут впереди, в авангарде, чтобы проверить, правда ли то, что задерживают. Стихийно возникли как бы группы охраны, окружившие тех, кому больше всех грозила опасность.

У стен ротонды, за воротами, стоял автомобиль, полный солдат. Застыв неподвижно, словно в почетном карауле, солдаты смотрели, как выходят люди.

Л о й о л а. Судьба распорядилась так, что Неруда в своей смерти оказался так близко к народу и так далеко от всякой помпезности, как когда-то, когда он, начинающий поэт, жил на юге, у самой границы. Но не судьба и не случай были причиной того, что наполнило значением смерть Неруды. Просто это был человек и поэт, который умер на посту, не прекращая борьбы, и его смерть стала голосом тех, кто не мог на весь мир выразить свое негодование, сказать о своей решимости продолжать бороться, не дать сломить себя. Не было ничего случайного в том, что в момент кончины и возвращения к земле он был окружен не только друзьями, но и безымянными людьми из народа, из которого он вышел, который питал его талант и которому в конечном счете посвятил он свое творчество и все лучшее в своей жизни.

Асариас Пальяс

(1885—1954)

Асариас Пальяс родился в Леоне, был священником. Сторонники обновления поэзии Никарагуа считали его своим предтечей и называли «Капеллан нашего авангарда». Отвергал массовую культуру капитализма.

Основные сборники: «Дороги», «Книга евангелических слов», «Католическое послание к Рафаэлю Аревало Мартинесу», «Прекрасное тоном ниже» и др. Его имя окружено в Никарагуа легендами¹.

БЕЛКА

(Мальчик взбирается и опускается)

Я — безвестный праздник, не внесенный в святцы;
исчезать люблю я, снова появляться,

прыгать и вертеться. Означает это —
я сродни безумной, я сестра поэта.

Пленника деревьев, вижу мальчугана:
вверх и вниз он лазит. Столь же неустанна

я сама и вертка. Жизнью всей моею
голосу ребенка вторить я сумею.

Раздражать должна я, и не без причины,
тех, кто по природе холодны и чинны.

Но лишь бог единый, когда срок приспееет,
лепестки веселья моего развеет.

¹ Справки о поэтах Никарагуа составлены А. Струком.

Птицею бескрылой среди листьев канув,
в радости древесной пью их семицветный

свет. А для летающих аэропланов
мир мой — лишь пространство тишины заветной.

Счастливы вовеки птицы: легкокрылых,
бог благословил их, бог благословил их.

Мы почти как птицы, белки, — оттого-то,
прыгая, мы как бы учимся полету.

И, почти летая, полные движенья,
радостью похожи мы на день весенний.

Помнишь ли ты, друг мой, тот покой блаженный,
что вкушал чудесный брат Авемария?

И в моем веселье тот покой блаженный,
что вкушал чудесный брат Авемария.

ПРАЗДНИК ХУДОЖНИКОВ

Вглядись — коли художник, ты убедишься вскоре:
единая палитра у суши и у моря.

Цвет каждый обнажится семь раз в течение дня,
нетронутостью прежней и радостью маня.

Сказать иначе — в цвете, отличном от иного,
есть семь цветов служебных его первоосновы.

И каждый цвет служебный, на семь других слоясь,
уводит нас в глубины, где не хватает глаз.

Природный цвет законы чудесные приемлет,
и, с ними согласуясь, он безмятежно дремлет

в жемчужине, в рубине; но смутных чувств достиг —
и тотчас разлагаться он начинает в них;

живая краска будет на их кресте распята,
и остаются только зрачок и свет разъятый.

Увы, неповторима зеленоватость та,
в которую плоть моря, вздуваясь, отлита.

Зеленый цвет, который, по заблуждению, целен,
на синие штришочки и желтые поделен.

Вглядись в тростинок зелень — увидишь, что она
как будто изначальна и только рождена.

А на листьях гигантских банана цвет зеленый
о чем-то словно молит коленопреклоненно.

Оливковая зелень двойная: вот взгляни —
то солнечная в свете, то лунная в тени.

Торжественная краска, чья мякоть восьмислойна
и пориста, — Карл Смелый в ней предстает разбойный.

Увы, монарх-грабитель — невинное дитя
пред теми, кто сегодня разбой чинит шутя.

Когда-то становился тираном некто дерзкий,
чьим помыслам не чужд был порыв миссионерский,

а нынче тирания технической слывет,
ее станки хозяев штампуют круглый год.

Цвет оценив, присущий прожорливой акуле,
мы б мякоть портулака в сердцах упомянули.

Вот чудище, в котором спит христианский стыд,
а Лус святая в страхе, и лик ее укрыт.

Зеленый цвет, украсив морской простор и сушу,
всей гаммой переливов ласкает глаз и душу.

Милле, цвет предвечерий сереющих — сравни,
он краскам Роденбаха и Малларме сродни.

И по земле разлитый, и в океанской дали
его не раз ты видел — и слезы подступали.

Земли нагая серость, нагая серость вод,
вы обращались пеплом скопившихся невзгод,

моей тоски, в которой я воспарял смиренно,
покуда ложь плясала свой танец современный.

Те золотые розы, что Тициан сумел
зажечь рукой волшебной на коже дивных тел,

и на море увидишь, на легком перламутре
воздушных оперений, как бы парящих в утре.

На парусах, на киях и мачтах, в небеса
вонзенных, — божье злато, величье и краса

сестер Кларисы, Клары и Лус, в благоуханье
проснувшейся природы спешащих к мессе ранней.

Джоконда золотится, вся излучая свет,
и кажется нам светом, что в краски лишь одет.

То роза вод латинских и эллинских: в единой
в ней злато, соль и мрамор, в ней млеко, мед и вина.

Вот Мемлинг, Баутс, Ван Эйк из фландрской старины...
Изысканные кисти от золота пьяны.

Свет северного моря по комнате струится
и золотит надежды пригожей кружевницы.

Вот зелено-лиловый язв обнаженный тлен,
и ярость перламутра, и алый цвет измен,

синь, выпившая яду, и смерть вкусивший желтый,
сама проказа в красках — на Нейхардта набрел ты.

Кровь с гноем на полотна из жизни натекли,
цвета людского моря, цвета людской земли.

У хмурого Рембрандта, что опасался света,
написанные ночи дню выдают секреты.

Морские ночи эти лучисты и чисты,
проглоченные солнца спят в недрах темноты.

А те глухие ночи у Сурбарана с Гойей,
они, из моря выйдя, залили все земное,

как будто строй монахинь, поющих при свечах;
глядящий на полотна испытывает страх.

Вот семь небес сиянье янтарное излили:
земля, луна и солнце вокруг «Пресвятой» Мурильо.

Все в голубом и белом, декабрьский гам, Леон
наш, никарагуанский, где воздух напоен

дыханьем земляничных деревьев; их цветенье —
петарды дня; как трудно унять сердцебиенье.

Слоновой костью моря и золотом омыт
Веласкесов «Спаситель»; закатный свет горит.

Альфонсо Кортес

(1893—1969)

Альфонсо Кортес родился в Леоне. Он жил в старом доме, в котором прошло детство Рубена Дарио. Творчество Дарио оказало большое воздействие на этого поэта трагической судьбы с обостренным восприятием действительности. Никарагуанцы считают Альфонсо Кортеса первым и наиболее значительным последователем Рубена Дарио. В 1952 году была составлена и опубликована в Манагуа его книга «30 стихотворений Альфонсо».

ОКНО

Насыщенной, чем целый свод,
цветет клочок лазури ранней,
и чувствую, что там живет
всей краткой жизни упоенье.

И ветер духа воспарит
высоко над окном; в полете
он ток воздушный проторит,
чтоб звук небес облекся плотью.

Я ощущаю, словно весть,
пьянящее лазури чудо,
горю предчувствиями весь,
что, здесь родясь, зовут оттуда.

НА ТРОПЕ

Вот стадо проходит; неспешен
камней монотонный мотив;
он льется, листвою занавешен;
невольню его подхватив,

я с радостным вдруг напряженьем
невольной душой потянусь
к надежде, к цветущим мгновеньям;
на праздник пяти моих чувств

пришла ты, друг друга найдем мы
под ветром желанья, чья мгла
окутает; грустной истомой
счастливые дышат тела.

— Лицом обернись и хоть взглядом
порадуй притихшего пса,
который, пристроившись рядом,
разглядывать нас принялся.
Вибрацией голоса свежей
и речью своею пьяни
и думай, что вещи все те же,
лишь душу сменили они.

ПЕСНЯ ПРОСТРАНСТВА

Есть просторы вселенной, куда
не дотянулся господь,
чтобы в такой-то дали
накорябать на теле ночи

звезду. Как же верить тогда,
что благо целого мира
значительней и важней,
чем благо единственного дикаря...

Эта страсть к относительности
в нашей жизни — как раз
то, что делает важным пространство,
заключенное в нас,
и кто знает, когда мы сумеем
жить как звезды —
свободные посреди бесконечности
и не нуждающиеся в кормежке.

Земля не знает путей,
какими сама ежедневно идет,
и эти пути, вероятней всего, —
само сознание Земли...
Если не так — позвольте задать
вопрос: — Время, где мы с тобой?
Я, живущий в тебе,
и ты, которого нет?

Хосе Коронель Уртечо

(Род. в 1906 г.)

Хосе Коронель Уртечо в возрасте 21 года написал сборник стихотворений «Парки». Был одним из основателей движения «Авангардизм», ставившего своей целью обновление национальной поэзии. Известный публицист, автор рассказов, повести, а также книги «Быстрое движение» о Соединенных Штатах и их поэзии; работает над многотомной эпопеей «Размышления об истории Никарагуа», часть которой уже опубликована, и над книгой о поэзии Никарагуа «Великая поэзия маленького народа».

ПРОШЛОЕ НЕ ВЕРНУТЬ ¹

(Фрагменты)

Прошлое не вернуть

У всего теперь другой ход
У всего теперь другой лад

¹ © «Nicaragua», 1980, N 1.

Наше сейчас не обратить назад
И наше потом не обратить назад
Все обретает иную суть
Прошное не вернуть
Эра новая началась

Эра новая началась
История заново родилась
Пришел конец истории старой
Для новой пора настала

Прошное не вернуть

Ныне минувшее действительно миновало
Настоящее ныне действительно настает
А раньше прошлое наставало
А настоящее казалось нам не настанет
И будущего не будет и прошное не пройдет
А ныне и прошное переменило суть
Ибо оно осуждено

Прошное не вернуть

Теперь даже слово *былое* осмыслено по-иному
А также история-время и история-слово
Больше нет истории без *былого*
Застывшей окаменевшей истории
Запруженной и заболоченной с 36-го
Давно умершей давно без истории
Истории где сам народ был не в счет
Ныне история начинается снова
Снова напором борьбы она пущена в ход
Снова напором народа она пущена в ход
Ибо история только то к чему стремится народ
Ибо история только то что творит народ
Отныне ей имя революция правда и справедливость
Отныне ей имя всенародное благо
Отныне ей имя народ
Отныне ей имя жизнь
Отныне имя ей Никарагуа

И все другие слова уже потерявшие смысл
Опять означают то что должны означать
Теперь они не осуждены молчать

Заключать в себе нечто ложное или противоположное
Тому что должны Не осуждены истираться мельчать
Скрывать искажать содержать в себе все что угодно
Кроме того что положено им содержать
То был язык охваченный порчей
Только обману и власти служивший язык
Считаться испанским или английским одинаково

непригодный

Язык на котором народ говорить не привык
Революция наша впервые решилась на прошлое посягнуть
Она наступила ему на горло
С карты страны навек его стерла
Так что на месте его только черный провал
Черная небыль подобная черным дырам вселенной
Лишь прошлые люди тем прошлым живут неизменно
Только у них к этому прошлому тяга
Но пусть не надеются в Никарагуа
Кого-нибудь обмануть

Прошлое не вернуть

ДЕРЕВЯННАЯ ЛУНА

В дар родне направил я одну
странную
деревянную
луну.

К ним придет
не красавица небес,
льющая в альковы мед,
но... со старой чурки срез.

И луну сопровождал
я запискою короткой:
«Хоть считают мать и тетка,
что жена моя уродка,
я ее не разлюбил».

Но когда луна была в деревне,
не было нужды моей родне в ней.

Хоакин Пасос

(1914—1947)

Хоакин Пасос начал печататься очень рано — с пятнадцати лет. Писал рассказы, очерки, статьи, чаще бурлескного плана, не раз выступал в своих произведениях против диктатуры семейства Сомосы. Первая антология стихов Хоакина Пасоса «Короткая зима» (1947) вышла в 1947 году уже после его смерти.

ГОРДАЯ ПОЭМА

Как подойти к ней, под каким углом,
чтоб путь ее был радостен и гибок,
к моей поэме? Я спросил о том
тебя, искусную художницу улыбок,
способную мгновенно развернуть
архитектуру песен самых новых.

О, крошка муза, укажи мне путь
без горестей, обрушиться готовых
на всякого поэта, если он —
так уверяют мастера Китая
в стихах тончайших — музе обречен.
Путь, чтоб стихи по нем пешком ходили,
пускай неизданы, но веришь им;
стряхнуть хочу я ангельские крылья,
они гнетут величием своим.

Путь, чтобы мед не на крови настоян,
и так уж много крови на пути.
О, крошка муза, как твой взгляд покоен!
Ты помоги мне тоже обрести
то равновесие — пусть будет гордо
и слез полно и смеха, как стекло
с натрещиной. Стоять — и верить твердо,
что мне разбиться время уж пришло.

СТАРИКИ-ИНДЕЙЦЫ

Они стары, глубоко стары,
и сидят они час за часом,
глядя на коз своих мирных,
бродящих где-нибудь рядом.

Они стары, глубоко стары,
и сидят они над рекою,
глядя, как волны ходят
медленной чередою.

На них заглядевшись, ветер
стареется дуть потише,
чтоб невзначай не развеять
старое сердце из пепла.

Пасут они на просторе
старые воспоминанья
о чем-то полузабытом
и не всегда беспорочном.
Днем они их отпускают
проветриться в поле чистом,
а ночью накинут лассо
и привлекут поближе,
чтоб во сне согревали.

Эрнесто Мехиа Санчес

(Род. в 1923 г.)

Эрнесто Мехиа Санчес родился в Масайе. Поэт, критик, литературовед. Автор поэтических сборников: «Знахарства и заклинания», «Смежное тело», «Европейские созерцания», «Антология 1946—1952 гг.» и др. Удостоен премии им. Альфонсо Рейеса.

ПЯТНА ЯГУАРА

Какой порядок связывает наше
сообщество? Бесформенная шкура
властителя, гладка и глянцеви́та,
готовая напрячься при любом

рывке, изваянная изнутри,
лишь нами существует. И мы все,
мы бешеному брошены тирану,
чье алчное неистовство мы кормим.
И неизбежно наши письма
собою вырисовывают злобу,
которая тем самым станет зрима.
Мы тщетно дарим краски разрушенью,
припадкам сытого великодушья.
В бреду неуголенность нами спины
прикрыла. Надевают нас без спроса.
Мы только пятна чистые. Лишь пятна:
нас на себе несет и носит
кровавое самоуправство.
Заочные создания красоты
невольно на нее виной ложатся.

СОМОСЫ

Разве Сомосы сильнее, чем ненависть их народа?
Пусть резец не спешит прикоснуться к мрамору
или камню.
а граверный инструмент — к металлу, а перо — к бумаге,
пусть прежде слово мое раздастся в ваших ушах,
прибавив новые имена к списку героев,
и запредельные лики, подобные Сандино и Ригоберто,
явят себя
твердому матерьялу. Пусть на последнем суде
двуглавого зверя не окажется посторонней
и моя рука с автоматом или мачете, как ныне, когда
пишет кипящие эти строки,
как не была посторонней, когда
направление давала пулям.

ЭПИТАФИЯ ИЗГНАННИКА

Если в изгнание умру — из памяти вашей меня
изгоните,
только одно храните в ней верно: есть место
в мире

(не я его выбрал и пожелал для своего
праха),
которое стало моею землей. Всю землю считал я своей
при жизни,
пока горел твой огонь, Никарагуа. Я пожелал
и отверг
возможность возврата, который не означал бы
борьбу и свободу.
Кто не дал моей руке постучаться в дверь
близкого рая?
Темная и опасная радость видеть тебя так влекуща,
но нечиста.
И этой радости себе не позволил тот, кто умер в изгнание
и с собою унес
маленькую отчизну — как мучительную болезнь.
Пусть же эта
через смерть завладевшая плотью моею могила
станет хотя бы в мечтах
клочком твоей, но свободной земли, Никарагуа.

ТОЛЬКО ЗЕМЛЯ¹

I

НЕВЕРЯЩИЕ

Не верящие в блага этого мира,
а может быть и другого, мы поминутно
искушаемся. То существа, о которых и не мечтали,
придут обжечься пылающим углем или,
желанные молниями глаз, поднять под ребрами
бурю. То странствия приключатся
(не на Луну — в Итаку) — к Южным морям,
в Малагу, на Счастливые острова,
где встретится нечто любопытней, чем лик
повседневности: рассветный пейзаж, неожиданный
холм, пикник на траве... Или — и не мечталось —
успеешь отведать радость еще
до смерти: улыбку вещей, не замутненных
ни памятью, ни грубым вмешательством
нашего «Я» — но подаренных вдруг, нечаянно,
как жизнь, и щедро врученных.

¹ © «Casa de las Américas», 1979, N 113.

Не верю ни в деньги, ни в справедливость, ни в чье-то участие, а мир между тем продолжает давать мне хлеб и свою сладкую горечь. Не верю в себя самого, а между тем вот сижу с пером в руке. Не верю ни в себя, ни в тебя, а ты меня читаешь и одобряешь, стоя за мной.

II

НЕВЕРЯЩИЕ

Не верящие в блага этого мира, мы то и дело принимаем его дары и не знаем, каким богам возносить хвалы. Вот, к примеру, девушка, стоящая сокровищ; вот расплавленные изумрудины в глазах женщины, которой мы служим так непостоянно, — все это блага не только нашего мира, но и другого — незримого, неосязаемого, безмерного; мы через них ощущаем весомость жизни в минуту опасности. Не верящие в блага иного мира — и от него мы получаем дары: Мерида, Клее, Рикардо; иная линия, некий свет нашу мысль захватит и воплотит, сделав весомой. Замкнуто наше воображение пределами черепа, будто изогнутый этот костяк — сама твердь небес, нами потерянных; рвемся мы только ублажать свое тело, мы поступаем как животные, в силу привычки, служа поработившим нас бредням; сокровищем нашим, разумом — лишь возмещаем убытки. Мы потеряли все, что добыли, с грустью делаем ставку на то, во что мы не верим,

III

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Существованья тоска и мечты,
радость солнца в зрачках,
любой вожденный пустяк
нам даруются без наших просьб
и заслуг, и пока опускаешь перо

на бумагу (к чему?) или ставить
на скатерть стакан,
ты ощущаешь вдруг,
что разглядываешь мирозданье или
то, что за него принимаешь.

IV

ОТ СВЯТОЙ МАРИИ БУНТАРИ

Из смирения, из ложной гордости — очи
долу. Взгляд склонен на ступню — обожаемую
и высохшую от холода и поцелуев.
Чьих? Твоих, обманная плоть, нечистый
жар, который, лишь прикоснешься зрачками к плитам,
лужам, стволам, — знает уже: мы достигли
Венца — окончания наших странствий,
отдаляемых и столь сжатых. Мы вышли из дома
Афины, среди масок и пьяных
рыночных крыс; внизу асфальт и булыжник,
пастбище, рельсы, фиалки на черной
земле, вонзенные в смутные
отражения насыпей, зданий,
огней и пышных высоких ясеней,
под брызгами меленького робкого дождика,
мутного, как нечистые наши сердца.

V

КРОМЕШНАЯ НОЧЬ

Надо мною вздымались вершины — то были
пики Европы, венесуэльские Анды со статуей снежной
Боливара, оледенелая спящая Итса, Железный
Попо, — и вдруг я низвергся в самую пасть
шахты бездонной, в самую пасть
ада — но без Вергилия и без Данте, один на один
с душою своею, загнанной псами.
Ямины, вулканические озера моего края,
паденья, ушибы, укусы, удары лап и хвостов,
пасти — и все это много ниже земной
поверхности; только зловонная тьма
Черной Лагуны, сырые своды Альтамиры, гроты
Какауамильпы, только мрачные жерла

истории, опаленные, испуганные ступни
и кипящие камни, что рассекают
звездную пустоту, космический ужас — и все
глубиннее вещество, исторгаемое из бездны,
из огненных недр к Храму Солнца; но это ничтожно
пред ночью слепого орла и сверхжабы,
опущенной в магму великой впадины океана.
Но и эту тьму не сравнить с той, где нет ничего,
где только поступь воды, сообщающей сны,
не оставляющей даже ростка на мелком песке,
стирающей все огромной теплой губой, —
только кубический каземат с илистым ложем — ни солнца,
ни холода, ни тепла, только тьма и тьма,
черно-лиловая кровь, чернила мирового кальмара,
извергаемые затем, чтобы не впился свет
в гноящийся глаз владыки. Ночь замурована в камень —
потому-то и ночь. Но ведь именно ночью
наступает рассвет. Тут хочешь не хочешь — должно
рассвети. Дальше, сердце, не может быть так.

Пабло Антонио Куадра

(Род. в 1912 г.)

Пабло Антонио Куадра — поэт, прозаик, драматург, очеркист, критик. Руководил многими литературными изданиями. Его первая книга «Никарагуанские стихи» была опубликована в 1934 году. Затем вышли книги: «Ранняя песня», «Книга часов», «Ягуар и луна», «Избранное 1929—1962 гг.» и многие другие. Влияние творчества Пабло Антонио Куадра на культурную жизнь Никарагуа, особенно на современную литературу, очень ощутимо.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГИМН

(Перед светом)

На границе зари моя маленькая страна принимает
просторные воды,
обширные обнаженные воды, которые отдыхают.

«Наделаю нынче лагун», — думает, пересчитывая
деревья,

деревни, забрызганные росой,
все земли свои, выступающие из ночи.

Встав до людей и петухов,
моя ласковая страна прихорашивает пейзажи.
«Эту лазурь новой женщине подарю, — говорит. —
А эту местность для лучших ветров открою».
Она принялась за дело до вас, мои земляки.
Зари коснется, людских печалей,
поищет то, что витает в снах и вокруг
наших забот.

Моя маленькая страна знает тайны
своих цветов,
трудные биографии ласточек,
даты из жизни кроликов, сейб,
судьбы мятежных людей и прочие судьбы.
Есть страны, избравшие трудные календари,
чтобы затмить писания древних.
Зовутся Империей страданья далеких народов.
Зовется Бессмертным имя, отлитое в бронзе.
Но вот существует край,
достойный стать вечным
волей предвестников света,
посланников утра.

Моя маленькая страна — край не очень
пышных растений,
пауз, из жизни переходящих в песни,
что обитают среди людей и умеющих плакать гор,
среди осторожных рек, несущих с такой нежностью
звезды!

Здесь мы создали забытые ныне основы
совместной жизни
и упорные растения, которыми будут однажды скрыты
наши следы.

Она отвращает нас от мелочных благ,
дерзко захлопывая грязные окна торговцев,
и вынуждает еще одну песню, еще одно слово
в отнюдь не благоухающей деревушке,
где живет этот мальчик, которого мы
не знаем.

Потому-то заря от птиц протянула нить
к мечте и ко всем, в кого
заключено молчанье.

(Моя маленькая страна состоит из совсем небольшого
числа

колоколен и весен,
пересмешников, коротких стальных путей и моряков.)
«Одна забота и единое слово у нас на всех», —
сказала она

и вот принялась на заре изливать
тебе, сапфир, называемый поздней звездой,
и оленю, и чичитоте — ранней птице,
и куропатке

свои ослепительные хвалы свету.

«Я вспоминаю многих из тех, — говорит, —
кто достиг своей тишины.

Тебя, Хосе Муньос, столяр, мастеривший столы, —
на, бери

эту звезду. Приходи, проведи и уладь свое время!
Ты же, Мартин Сапеда, ты, поскольку в дороге,
бери этих птиц. Дай им песню, скажи им
все, что знаешь про хлеб и гитару.

А ты, Педро Канисаль, пастух,
наездник суровый,
оседлай горизонт, взнуздай, наконец, эту ночь,
укроти!»

Так будем мечтать. Так покажем, что вместе
мы сможем создать

будущий день, высокий и бестревожный.

Я ищу Хуана Короткого из квартала каменщиков.

Я ищу Гумерсиндо — он строит дороги,
а мне нужно заполнить большое пространство
от Чонталеса до Леона, от реки до сердца.

А это твой голос, Грегорио Малеспин, певец
из Куискомы, —

вставай!

Видишь, сколько народу со мною! И все поют —
вместе поют озера, лагуны и жимолость,
деревья, крестьяне
хвалы возносят.

«Будь славен, хозяин этих владений.

Еще одна ночь снялась и ушла
туда, где она нужней».

Возблагодарим же, как должно, эти места.

И заживем, как должно, на этой земле.

Моя маленькая страна зовет пробуждать
словом и песней.

Вспомни, брат, холмы Колоха́ и зеленый
их ковер.
Ты, Хасинто Эстрада, усладись своим островом — там
где тонут плоды в жужжании пчел.
Мать, с балкона своего дома благослови
дыханье мое!
Пока я буду мечтать о песне,
где громоздятся
родные ритмы небес и зеленых
пальм,
мерно колышимых тягучими флейтами
ветра.

В АВГУСТОВСКОМ ТЕПЛЕ

Как стая ангелочков, которых фра Анжелико
изобразил возле хлева,
взбудораженные птички
беспечно плясали вокруг
мертвой змеи,
как будто зло с ее смертью
кончилось навсегда.
Так, знамена колыша, на ликующие улицы
выливался народ,
веря, что единственный человек был виновник их бед.
И все под солнцем плясали.
А в это время в мрачной пещере чьего-то сердца
прежняя тирания снова молча свивала гнездо.

ДЕВУШКИ

Девушки архипелага
вплывь возвращаются с мессы.
Кажется — на воде цветы,
гирлянда
веселых красок.
Крикни «прощайте»
со своего островка,
и ввысь взовьются,
как стайки птиц,
их голоса.

Карлос Мартинес Ривас

(Род. в 1924 г.)

Карлос Мартинес Ривас в шестнадцатилетнем возрасте стал лауреатом национального поэтического конкурса. В восемнадцать, будучи студентом коллежа в Гранаде, написал свою ставшую широко известной поэму «Перепроданный рай» (опубликована в 1944 г.). Книга его стихов «Одинокое восстание» (1953) оказала значительное влияние на всю молодую поэзию Никарагуа.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ БЕЗ МУЗЫКИ

Спи, будущий гражданин Никарагуа.
Баю-баюшки, сыночек мой, баю.
Медная луна на небосклоне
мечет безупречные лучи.

Спи, пока ты еще не ждешь
всемогущей милости неба: охранной грамоты,
отмены налогов, помилования для твоего племянника-
повстанца,
теплого местечка, заслуженной награды...
Всего!

Баю-баюшки, сыночек мой, баю.
Новость взбудоражила наш дом.
Она вызвала бурную радость всей родни —
твой отец получил назначение:
привратник, банковский служащий, охранник,
посол...

Да, твой отец знает, как он этого добился.
Старик делал все, чтобы не остаться в дураках.
Но ты спи! Пока еще твои знания покоятся в книжках
и тебе не стыдно за своего отца.

Баю-баюшки, сыночек мой, баю.
Ты вырастешь. И по-новому поймешь смысл жизни
на этой прекрасной земле Дарио.
Ты научишься крепко сжимать кулак
и прятать его в кармане.

И в то же время
другой рукой ты будешь пожимать протянутые руки,
подписывать декреты
и рекомендательные письма вдовушкам.
Ты доведешь до блеска способность убеждать в спорах.

Но ты спи! Постарайся заснуть,
пока тебя не мучают угрызения совести.

Пока ты не запятнал митру
трясущимися пальцами духовного отца,
приподнимая ее во славу
угнетения,
пока ты не отдал приказ
схватить мужа твоей сестры
и загнать прикладами в тюремную камеру
школьного товарища,
пока ты ничем не запятнал
своего несчастного имени.

Спи, пока твоя совесть чиста.
Спи, пока ты еще безобидный.
Спи, пока ты еще не продался,
будущий архиепископ, лейтенант, чиновник.
Прости, что сегодня я не порадовал тебя сказкой.
Я пришел, чтобы рассказать тебе правду.

Пусть придет к тебе сон! Вот и закрылись глазки...

Спи, будущий гражданин Никарагуа.
Баю-баюшки, сыночек мой, баю.

1953

ВХОД В ГРОБНИЦУ

Когда ты разлюбишь меня,
когда ты меня разлюбишь, мы уже не сможем что-либо
изменить,
потому что не останется ничего святого, во что можно
верить.

Когда ты уйдешь и я уйду,
когда все отправятся в путь,
мы скажем: «Что-то мы потеряли. Пусть немного,
но нечто главное — веру, язык, ощущение жизни —
вот что мы потеряли».

Когда мы перестанем быть теми, кто мы есть:
обнаженная и загнанная пара,
трепещущая под градом стрел,
которой плохо вместе, но которую многое связывает,—
тогда нас разбросает по разным орбитам,
нас разбросает по разным сплетням.

Всегда найдется тот, кто скажет: «Здесь мы видим
два вцепившихся друг в друга существа.
Вот они балансируют, трепещут, пытаются устоять и...
падают».

К тому времени рокот трактора,
ворчащего в угрюмой глуши,
вновь донесется из глубины полей.
Грубые деревенские звуки
с глухим стуком будут падать у дверей,
но эти звуки жизни будут разделять нас.
Другое солнце будет твоим солнцем.
Другая луна будет моей луной.

Когда ты разлюбишь меня.

Когда твои глаза
при встрече с моими уже не скажут: «Подожди,
сейчас я разберусь со всеми остальными,
ведь мое сердце принадлежит тебе».

Когда ты передашь другому ту силу,
которую я тебе дал,
я подумаю: «Теперь ты иссякнешь
и придешь ко мне, а я не дам тебе больше сил».

Опустошенной ты пойдешь по миру, листая дни,
а я буду горд своими обманутыми надеждами,
словно нищий на пьедестале.

Продираясь через руины прошлого,
захлавленного, как сточная канава, я вспоминаю:
«Здесь я был грубым. Там началась пустыня.
На той скамье ты пыталась ранить меня. В тот день...

Когда ты разлюбила меня».

Тогда я перестал робеть перед тобой,
стал успокоенным, обычным,
безразличным к одиночеству и горю
и вдруг забыл...

Когда ты разлюбила меня?
За что полюбила?

Женщины в маскарадных нарядах,
обманщицы в масках монахинь,
загонят меня в холодную тьму могилы,
которую я сам искал.

Эрнесто Карденаль

(Род. в 1925 г.)

Эрнесто Карденаль — один из крупнейших латиноамериканских поэтов. Активный участник борьбы с диктатурой Сомосы. Министр культуры в правительстве Национального возрождения. Автор поэтических сборников: «Необитаемый город», «Воззвание завоевателя», «Час О», «Гефсимания К-и», «Псалмы», «Поклонение американским индейцам», «Национальная песнь», «Эпиграммы» и др.

ФОТОГРАФИИ В ГАЗЕТЕ ¹

Каждый день в газете «Ла Пренса» появлялись всё новые снимки:

молодые лица —
одно к другому —
губы полуоткрыты, глаза полусомкнуты,
словно от улыбки, словно от удовольствия...

¹ © «Nicaragua», 1980, N 1.

Молодые из страшного списка.

А иной раз серьезные — на билетах студенческих,
в паспортных книжках.
Серьезные — может быть, слишком.

Молодые, каждый день пополнявшие список ужасов.
Один пошел прогуляться до ужина
и был найден на пустыре, с холма сброшенный.
Другой поутру отправился на работу
и не вернулся больше.

Третий пошел купить на углу кока-колу в киоске.
В гости к невесте пошел и не вернулся четвертый.
А пятого вытащили силком из дома
и увезли на военном джипе, пропавшем во тьме ночи.
И позднее он был найден в морге,
или возле шоссе Куэста-дель-Пломо,
иль на помойке.

Руки изломаны,
глаза выколоты, тело изуродовано, язык вырезан.

А иных не нашли вовсе.
Сколько их, уведенных патрульными из отрядов
со страшным именем,
сваленных в кучу над озером за театром Дарио.

Единственное, что осталось матерям на память:
улыбка, веселый взгляд — недвижные, на бумаге.
Паспарту с фотографией, вырезанной из газеты.
(Крохотный слепок лица, запечатленного в сердце.)

Тот, у кого волосы ежиком.
Тот, у кого глаза, как у лани, кроткие.
Этот веселый, хитрющая рожица.
Этот анфас. Тот — вполоборота.
Один задумчив. Другой с распахнутым воротом.
Один — курчавый. Или вихрастый. В берете.
Другой — на стершемся снимке — улыбается
в усики улыбкой детской.
Этот — в галстук, выданном по окончании
училища.

Девушка — смеется, а брови сдвинуты.
Девушка — на карточке, что жених выпросил.
Юноша — на карточке для невесты, в красивой
позе.

Им по 20, по 22, по 18, 17, 15 только.
Они были убиты за то, что молоды.
Быть молодым в Никарагуа значило быть вне закона.
И казалось, что Никарагуа останется
без молодежи.
После победы уже я всегда удивлялся,
когда мне на каком-нибудь митинге юноша кланялся.
(«Как ты уцелел?» — без слов я его спрашивал...)
Они вас боялись — за то, что вы молоды.

Вы, схваченные жандармами. «Любимцы богов».
Молодыми любимцы богов умирают — утверждали
древние греки.
Правда, думаю я, ведь они молодыми остались навечно.
Другим суждено стареть, но для стареющих этих
те, ушедшие, навсегда сохраняют свою юность и свежесть,
и лоб останется гладким, и волосы не поседеют.
Белокурая римлянка навсегда и для всех белокурой
осталась.
Вы же молоды не потому, что состариться не успели,
молодыми оставшись в памяти тех, кто умрет тоже.
Вы молодыми останетесь, ибо молодость будет цвести
в Никарагуа,
и все молодые из Никарагуа станут революционерами,
из-за ваших смертей, которыми столькие дни мечены.
Вы будете ими, и вами — они, в жизнях, всегда
возрождаемых,
новых, как каждое новое солнце на каждом рассвете.

БАРРИКАДА ¹

Это было общее дело.
Все вершили его вместе.
Те, кто ушел, не простившись с мамой,
чтоб она об уходе их не узнала.
Тот, кто последним своим поцелуем с невестой простился.
Та, что, покинув его объятья, обняла карабин и вышла.
Тот, кто простился с бабушкой, мать ему заменившей,
сказав, что сейчас придет, взял шапку — и больше его
не видели.

¹ © «Nicaráuac», 1980, N 1.

Те, кто годами скрывался в горах. Годами
подпольно жил в городах, больше, чем горы, опасных.
Те, что были связными на дальних сумрачных тропах,
посланцами партизан водили машины в Манагуа на улицах
темных.

Кто закупал оружие за границей, дело имея с гангстерами.
Кто шел на митинг в других краях, с призывами
и под знаменем,
или входил в приемную какого-нибудь президента.

Кто штурмовал казармы под крик «Свободная Родина или
смерть!».
Юный свободы страж на углу улицы, свободой уже
занятой —
стоит, повязав лицо косынкою черно-красной.

Мальчишки, таскающие брусчатку,
срывающие брусчатку с улиц мощеных —
брусчатку, выгодное предприятие
Сомосы¹ —
громоздящие горы брусчатки —
народу на баррикады.

Те, кто носил кофе на баррикады — сражавшимся.
Кто выполнял задачи важные и неважные.
То было общее дело и общая правда.
Каждый носил камни, воздвигая великую ту баррикаду.
То было единство народа. То было общее дело.
Мы свершили его все вместе.

ЭПИГРАММЫ

* * *

Я дарю тебе, Клаудиа, эти стихи, ибо ты им хозяйка.
Простыми я их написал, чтоб тебе они были понятны.
Они — для тебя одной, но если тебе не по нраву,
пусть тогда прозвучат по Америке всей Испанской...

¹ Заводы, изготавливающие брусчатку, принадлежали диктатору Сомосе.

И если любовь, создавшую их, ты отвергаешь,
другие сердца она посетит в мечтаньях.
И слух до тебя дойдет об этих поэмах, Клаудиа
(не сумевших тебя пленить), что они пробуждают
в других влюбленных, сердцем их прочитавших,
чувства, каких поэт ждал от тебя напрасно.

* * *

Утрата мною тебя нам обоим сулит утрату:
мне, ибо ты была самой любимой в мире,
тебе, ибо так, как я, тебя никогда не любили.
И все же из нас двоих ты больше меня теряешь:
ибо я полюбить могу, как тебя, другую,
тебя же, как я любил, никто уж любить не будет.

* * *

Горы окурков, пустые банки от пива
напоминают картины дней моей жизни.

Фигуры на телеэкране, что мелькнут да исчезнут,
напоминают о жизни, уже протекшей.

Быстрые автомобили, что по дороге мчатся,
полные девичьим смехом и музыкой джаза,
о молодости напоминают, быстро отцветшей,
как быстро выходят из моды модные песни
или марки машин, почему-либо вдруг устаревших.

И ничего, ничего от тех дней не осталось,
только пустые банки от пива, окурки,
улыбки на выцветших фото, рваные карты,
опилки, которыми пол посыпают в барах,
чтоб вымести на рассвете.

Эрнесто Гутьеррес

(Род. в 1929 г.)

Эрнесто Гутьеррес по профессии инженер. Был редактором, руководителем отдела публикаций в Национальном автономном университете Никарагуа в Леоне. Ему принадлежат книги стихов «Я некогда что-то знал» (1953), «Политические стихи» (1971). Составитель антологии «Никарагуанская поэзия после Рубена Дарио» (опубликована Национальным университетом в 1967 году)

ТАК Я ЖИВУ С САМИМ СОБОЙ В РАЗЛУКЕ

Всегда рассеян взор,
а сердце... сердце
навсегда там,
в любимой Никарагуа,
с людьми, которых я любил когда-то,
с детьми,
с семьей в далекой Никарагуа,
с людьми, которые меня любили
давным-давно когда-то в Никарагуа.
В местах, что и теперь
мне часто снятся,
брожу с семьей в далекой Никарагуа,
припоминая прошлые надежды,
труды, теперь ненужные,
и строчки,
написанные мною в Никарагуа,
припоминая близких и знакомых,
отца и братьев
в дальней Никарагуа,
все то, что я любил и знал когда-то,
все то, что потерпело поражение,
все то, что стало прахом, тенью, пылью
в моей стране далекой, в Никарагуа.
Так я живу —
с самим собой в разлуке,
вовсеки неразлучен с Никарагуа.

КАРТИНЫ ОСЕНИ

Мозаика сухих опавших листьев,
сплошной ковер, играющий, воздушный,
прекрасней майских роз
и легче шелка,

от зелени до золота,
то бледно-
оранжевый,
то пурпурно-
красный.

Огромные осенние деревья
с медлительно редеющею кроной,
с цветным шуршанием, уносимым ветром.

Чудесная пора — куда чудесней
весеннего расцвета! — ты созвучна
той песне, что поет, прощаясь, лебедь,
когда зима, дыша холодной смертью,
на ледяном въезжает катафалке.
Когда бы мог я слиться воедино
с тобою, осень,
и наполнить сердце
неповторимой песней лебединой!

ЗАВОДЬ

Конь тишины,
копыт беззвучный цокот
промчался над вершинами деревьев.

В воде луна утопленникам светит.

Отвесные
застыли отраженья.

Ни паруса. Лишь изредка во мраке
свинцовых рыб поблескивают спины.

Леонель Ругама

(1950—1970)

Леонель Ругама — национальный герой Никарагуа. Погиб в возрасте 20 лет 15 января 1970 года вместе с двумя бойцами Сандинистского фронта национального освобождения, приняв бой против батальона «национальной гвардии» Сомосы. Был студентом Национального автономного университета Никарагуа. Эрнесто Карденаль назвал его «нашим талантливейшим поэтом».

ОСТАЛИСЬ РУИНЫ В ДЫМУ

Героям-сандинистам:

ХУЛИО БУИТРАГО УРРОСУ
АЛЕСИО БЛАНДОН ХУАРЕСУ
МАРКО АНТОНИО РИВЕРА
БЕРРИОСУ
АНИБАЛ КАСТРИЛЬО ПАЛЬМА

Я видел пробоины, которые танк «Шерман»
оставил на доме в районе Фриксионе.

И еще я видел пробоины
в доме по Санто-Доминго.

А там, где не было пробоин от «Шермана»,
оставили следы автоматных очередей
гаранды,

мадсены,
браунинги

или черт их знает что еще.

Остались руины в дыму,
и через два часа
кто-то без мегафона кричал,
чтобы герои сдавались.

И до этого он кричал два часа,
и еще раньше кричал четыре часа,
и за час до этого

кричал
и кричал,
и сейчас кричит,

чтобы они сдавались.
Против них танки,
приказы,
браунинги,
мадсены,
М-3,
М-1 ¹,
самоходки,
гранаты,
бомбы со слезоточивым газом.....
и трусливо дрожащие гвардейцы.
НИКТО ЕЩЕ НЕ ОТВЕТИЛ,
почему герои никогда не говорят,
что готовы умереть за Родину —
они просто умирают за нее.

САНДИНО

Жил был ника из Никиноомо ²,
который не был ни политиком,
ни профессиональным солдатом,
а боролся в Лас-Сеговиасе
и который однажды написал Фройлану
Турсиосу ³

о том, что если янки,
пользуясь обстоятельствами,
перебьют всех его партизан,
то все равно в сердце павших
пребудет самое великое сокровище —
патриотизм,
и что их гибель заклеит курицу,
которая, изображая из себя орла,
хващается покровительством
Соединенных Штатов.

Далее ника писал ему,
что он, если останется один (чему он
не верил),

¹ В стихотворении приведены марки стрелкового оружия США.

² Н и к а — сокращенное слово «никарагуанец», на языке араваков означает «мужественный»; Н и к и н о о м о — родина Аугусто Сесара Сандино.

³ Ф р о й л а н Т у р с и о с — гондурасский поэт.

ВЧЕРА Я ПРОЧЕЛ В ГАЗЕТЕ

Вчера я прочел в газете
весть о твоей смерти.
Но имя знакомое в списке
мучеников не проставлю:
довольно уж слов и списков...

я просто займу твое место
в борьбе.

ГДЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРОЛИЛИ КРОВЬ СВОЮ

Где неизвестные
кровь свою пролили,
где оставили память,
что пахнет порохом, —
на месте этого воспоминания
я строю здания,
новые здания:
надежда к надежде
и радость к радости
в них кирпичами надежными лягут.
Где жгли каратели
ранчо крестьянские,
где самолеты
бомбили села,
устроим кооперативы,
поставим госпитали,
воздвигнем школы.
И над входом в них
имена напишем
тех, кто умер, их не увидев.

Джиоконда Белли

(Род. в 1948 г.)

Джиоконда Белли дебютировала в поэзии в 1970 году. Опубликовала сборники стихов «На Граме» (1975) и «Линия огня» (1978). За последний сборник удостоена премии «Каса де лас Америкас».

© Gioconda Belli. Linea de fuego. La Habana, 1978; «Nica-rauas», 1980, N 1.

ПОКА НЕ ПРИДЕТ СВОБОДА

Реки текут в моих жилах,
из плоти моей вырастают горы.
Ландшафты моей родины
обретают во мне свои подлинные очертанья:
вот озера, пещеры, овраги,
вот пахотные земли любви —
их борозды открываются мне навстречу,
порождая жажду жизни
и надежду когда-нибудь увидеть этот край
свободным, счастливым и прекрасным.

Я хочу заставить любовь трудиться.
Хочу петь
каждой клеточкой своего тела —
пусть всех заразит мое пенье!
Я хочу, чтобы любовь и жажда справедливости
стали эпидемией,
чтобы сердца, вместившие их, расширились,
не боясь разорваться, —
нам ли,
выдержавшим все пытки,
бояться этого?
Да не умрет вовеки наша любовь!
Пусть она стучит и бьется в груди,
пусть этот стук передается от сердца
к сердцу,

становясь все громче,
громче,
громче,
оглушая наших врагов!
Пусть любовь колотит во все двери,
блещет во всех взорах;
пусть каждое утро, когда люди
вновь принимаются
обрабатывать землю, которую у них отобрали,
любовь обрушивается на берег
гигантской волной прилива;
пусть звучит она в рыданиях матерей,
потерявших детей,
в каждом пожатии приходящих на помощь рук.

Наша любовь
будет идти в наступленье
до тех пор,
пока стон моего народа
не сменится криками радости,
отдающимися в горах,
переполняющими реки,
сотрясающими древесные кроны.

И вот тогда
мы воскресим наших мертвых,
возвратив им завещанную нам жизнь,
и запоем все вместе,
а стаи птиц
разнесут нашу весть
во все
уголки
Америки.

**ЧТО ТЫ ТАКОЕ,
НИКАРАГУА?**

Что ты такое?
Просто пядь земли,
забытая посередине мира?

Что ты такое,
крики и полет
то ибисов,
то цапель,
то колибри?

Что ты такое?
Грохот горных рек,
ворочающих камни
на обрывах?

Что ты такое?
Грудь моей земли,
нагая, достигающая неба?

Что ты такое?
В сумраке листвы
воркующая белая голубка?

Что ты такое?
Траур, прах и крик —
«о вопли женщин, словно крик
рожениц»?

Кулак разящий?
Выстрелы в упор?

Скажи, что ты такое, Никарагуа,
и почему так больно за тебя?

* * *

Порой я кажусь самой себе зодчим,
созидающим время.
Я строю смелые чертежи из прошлого,
настоящего и будущего,
стремясь усовершенствовать хрупкий
спичечный домик,
в котором живу,
бог весть почему не опасаясь бурь.
Иной раз на меня нападают сомнения,
но я, словно хорошая скаковая лошадь,
с разбегу беру все препятствия
и мчусь все дальше и дальше, к финишу,

где ждет меня зеленая трава, тепло и сон,
долгий сон, не тревожимый ничем,
кроме глухого бурчания
в темном брюхе земли.

ЛЮБЯЩАЯ

Я — лань, не прирученная тобою,
я — грозы у тебя над головою,
я — ураган, срывающийся с гор,
сосновый хворост, брошенный в костер.
В глухую ночь, что всех ночей бездонней,
ты обогрет огнем моих ладоней,
и застилает свет глазам твоим
моих вулканов клочковатый дым.
Я — дождь и память сумрачной природы.
Моей улыбки не изменят годы.
Я — пыль твоих нехоженных дорог
и луч, который тучи перевозмог.
Я звезды рассыпаю между нами.
Босыми беззащитными ступнями
идет моя любовь твоей тропой,
навек изгоняя страх слепой.
Я — свет обратной стороны Луны
и песни, что из сумрака слышны.
Я — тень твоей улыбки или эхо
твоих шагов, и голоса, и смеха.
То, что живет, ликуя и скорбя, —
все это я, влюбленная в тебя.

19 ИЮЛЯ. СВОБОДНАЯ РОДИНА

Удивительно чувствовать снова это солнце
и видеть ликование людей на шумных улицах,
повсюду красно-черные флаги
и новый облик города, что пробуждается,
пахнет еще сожженными шинами,
еще громоздятся баррикады.

Ветер дует мне прямо в лицо,
на нем перемешались пыль и слезы,

я глубоко вздыхаю, чтобы убедиться, что это не сон,
что вон там находятся Мотастепе, Момотомбо, озеро,
что в конце концов мы пришли сюда,
что мы достигли этого,
веря так долго в это, вопреки всем неудачам,
веря, что день этот будет,
веря, несмотря на известие о гибели Рикардо, Педро,
Карлоса...

А сколько других товарищей вырвали из наших рядов,
столько глаз у нас выкололи,
но не смогли ослепить нас к этому дню,
который мы замешиваем сегодня своими руками.

Память о стольких смертях перехватывает мне горло,
о дорогих погибших товарищах, мы с ними мечтали
о будущем,
я вспоминаю эти мечты, лица, глаза друзей,
уверенность, с которой они говорили о грядущей победе,
благородство, с которым они ее приближали,
зная, что этот счастливый час к нам придет
и что ради него можно и умереть.

Мне горько, что я без них переживаю эту радость.
Мне больно, что я пробудить их не в силах, чтобы они
пришли
посмотреть на этот народ-гигант, выходящий из тьмы
с таким юным лицом и такой улыбкой на губах,
будто ее копили годами
и внезапно высвободили в этот день;
тысячи улыбок вышли из лавчонок и сожженных домов,
из брусчатки,
улыбок цвета арбуза, дыни или ирги.

Я чувствую, что хочу наслаждаться и радоваться,
как это сделали бы навеки уснувшие братья,
нашей победе, в которую они столько вложили,
которая есть плод их плоти и крови.

Посреди шума этого необычайно голубого дня,
взобравшись на грузовик,
проезжая по улицам среди братских лиц моего народа,
я хотела бы, чтоб у меня хватило рук, чтобы обнять всех
и сказать всем, что я их люблю,
что кровь породнила нас общей болью

для того, чтобы снова научить говорить и ходить,
что в этом будущем — наследстве крови и стонов —
зазвучат громкие выстрелы молота,
очереди токарного станка,
свист мачете,
что таким будет оружие,
чтобы дать свет пепелищам,
цемент, дома и хлеб руинам,
что мы не потеряли мужества
и никогда не сдадимся,
что сможем, как павшие,
мечтать о прекрасных днях,
которые будут увидены глазами других.

И в этом пьянящем ветре свободы,
что вторгается на улицы, раскачивает деревья
и сдувает дым пожаров,
пусть нас сопровождают

счастливые,
спокойные,
вечно живые
наши погибшие.

Франсиско де Асис Фернандес

(Род. в 1945 г.)

Франсиско де Асис Фернандес опубликовал книги «В начале счета» (1968) и «Последняя кровь» (1974). Его произведения включены в «Антологию никарагуанской политической поэзии», изданную в Мексике. Пишет для театра, имеет и прозаические произведения.

© «Nicaráuac», 1980, N 1.

К ДОРИС ТИХЕРИНО

Когда мы были детьми
умирали только друзья наших родителей
и траур носили только наши родители
да небольшой круг их близких.

На несколько дней замолкал проигрыватель
но семейная жизнь
не теряла рассветов и ленивых сумерек.

Когда погребали умерших
наше сердце заставляло нас
как заставляет теперь перестроить память

чтобы вспомнить о них конечно же самое лучшее
и ту большую любовь которую мы к ним питали.

Когда мы были детьми
наше сердце заставляло нас трепетать
чтобы ни они ни мы не задумывались над тем
что в стране где мы живем
ежедневно умирают другие люди
и навсегда остаются в памяти
и что траур по ним особого рода.
Движимые великой любовью как и те умершие
мы обязаны умереть как они.

НАЧНЕМ, ТОВАРИЩИ

Вперед, товарищи,
возьмем штурмом небо,
чтобы полностью его заселить;
но всем должно быть ясно:
ни единый район земли
или неба
не имеет готовых богатств
и не преподнесет их нам даром.
С болью и любовью
мы должны признать,
что наше богатство
находится в нас самих.
Находится в нас, простых
людях,
которых называют «сбродом».

ОНИ НАС ТАК ЛЮБИЛИ

*Моим сыновьям
Энрике Фаустино
и Камило Рене*

Я открыл глаза.
Сжата в кулак твоя рука.

Не время еще расправлять пальцы

и позволить им, слабым, отдыхать
в сегодняшнем мире, который, подобно ребенку,
еще нетвердо держит голову
и неуверенно вышагивает.

Неужто мы позабудем, сколько погибло людей, не увидев
этого,
но оставшись жить в этом потоке оливково-зеленых форм,
в этих красно-черных бесчисленных флагах? ¹
Их великая любовь была убита на пути к этому.

ОНИ НАС ТАК ЛЮБИЛИ.

Годы назад,
в самом начале борьбы,
когда умирали в тишине,
когда оставалась единственная надежда
и вера в свою звезду,
когда трудно было шагать и днем и ночью,
когда 10 или 20 кордоб ² да пистолет 22-го калибра
были всем имуществом,
когда погибали в боях — то больше, то меньше, —
когда в одиночестве плакал подпольщик,

ОНИ НАС ТАК ЛЮБИЛИ.

Все это нужно помнить.
Теперь с их Любовью и нашей Любовью
мы воплощаем мечту
и растим новый мир как непоседливого ребенка,
напоминающего
своими жестами и чертами
о радости и победе на Волге,
кровавых бойнях в Нандайме и Сабогалес,

¹ Красно-черный — цвет флага Никарагуа.

² Кордоба — денежная единица.

о товарище, которого после двухнедельного голода
и усталости
уговорили съесть свою порцию —
половину гнилого банана:
ему достался маленький кусочек,
и он жевал его, жевал вместе со всеми,
скрывая свое отвращение к такой пище
ради того, чтобы другой, приболевший товарищ,
съел свою долю без отвращения.

Хорхе Эдуардо Арельяно

(Род. в 1946 г.)

Хорхе Эдуардо Арельяно — поэт, прозаик, очеркист, ученый. Опубликовал сборник стихотворений «Потерянная звезда» (1969). Автор книги «Панорама никарагуанской литературы» (1977). Составитель антологии «13 — Молодая никарагуанская поэзия, 1960—1970».

© «Nicaraguas», 1980, N 1.

ПЕСНЬ СВОБОДНОЙ НИКАРАГУА

(Фрагмент)

Люблю я, дети мои, песнь без томительных
вопросов о прошлом:
какую страну вы собирались получить в наследство?
какой была бы ваша жизнь на этой земле, которая
двигалась
без передышек к смерти,
и никому не было дела до ее повседневного безудержного
разрушения?

Опасно становилось жить тому, кто задавал эти вопросы, грозящие бедой.

Поэтому, цветы моей жизни, я расскажу вам, что когда-то здесь был рай:

чистая вода,

маис и овощи,
ви́на, которых хватало на год,

кизил и мамей ¹,
гуаякан ² и святое дерево, пахучий жидкий янтарь,
(Дарио, никарагуанец, напишет:

белый цветок, ястреб, гранадильо ³, зеленая
игуана, лимонное дерево, пестрая
гуисарра... ⁴),

черные ягуары,

пумы и волки,

лисы и соррильо ⁵,

тапиры и олени,

собаки и муравейники,

зайцы и кролики, на вид такие же, как в Испании,
но поменьше...

множество куропаток, летавших над льяносами...

Но

после креста и меча, погружаемых в наши тела,

после господ по имени Нож и Виселица, которые

будоражили

только что родившуюся родину,

после одинокой звезды и лицемера, что обретался

в казармах и банках,

после полного подчинения кровожадному спруту

нам оставалось только бессилие и отчаянье...

Между тем

«Юнайтед фрут компани» и пенкосниматели с Запада
корчевали мангровые заросли Тихоокеанского побережья,
правители позволяли вырубать леса Севера

и осушать озеро Апанас,

¹ М а м е й — фруктовое дерево.

² Г у а я к а н — порода дерева.

³ Г р а н а д и л ь о — дерево высотой до 25 м.

⁴ Г у и с а р р а — птица.

⁵ С о р р и л ь о — мелкие насекомоядные млекопитающие.

депутаты, алькальды и прочие власть имущие
отнимали у нас тень лесов и глаза рек и озер,
лишали нас климата, пейзажа и будущего...

Между тем
учительница уже комментировала со своей высокой
кафедры:

«Установлено, что здесь пока еще есть птицы»,
а мы ежедневно читали в газетах статистику
ненасытного экспорта:

«12 миллионов 564 тысячи квадратных футов сосны,
166 квадратных футов красного дерева, 421 тысяча
квадратных
футов королевского кедра,
164 тысячи квадратных футов гуаякана, ньямбара
и кокоболо¹
и 684 тысячи квадратных футов других пород вырублено
только

за четыре месяца,
что принесло компании прибыль
в 2 миллиона 719 тысяч долларов...»

Тогда я задавал себе вопрос:

«Что же мы делаем, брат, с Никарагуа?

Неужто она опустеет?

И доведется услышать, как таксист скажет, словно
о чем-то

обычном, что он видит на улицах Манагуа:

«Посмотрите, приятель, здесь были рощи гуайяв,
а в них олени,
приходилось распугивать кроликов,
а теперь даже ящерицы не увидишь».

Но совесть ваших отцов, дети мои, уже скоро должна была
проснуться,
скоро, очень скоро,
дети мои».

В те времена
люди слышали выстрелы по ночам
и не знали, кого убивают,
потом они даже не слышали выстрелов,
но знали, кого убивают.

¹ Ньямбара, кокоболо — породы деревьев.

— А что же будет завтра? — снова спрашивал я. «Завтра будут слышны только выстрелы народа, и он будет знать, в кого надо стрелять».

В те времена
президентская сирена требовала, чтобы ей очистили
дорогу,
а одна женщина на рынке, заслышав ее,
спрашивала: — Опять кровь? —
и ее товарищ ей отвечал: — Хуже. —

В те времена
депутаты выступали с речами против «чужеземных идей»,
а я думал:
все идеи — чужеземные
для тех, кто не имеет своих.

В те времена, именно в те времена
народ не имел продуктов — они доставались
землевладельцам,
хотя мы всегда наблюдали с декабря по март
многоцветную торговлю в «Лас Нубес» и в холодных горах
департаментa Манагуа,
поддельные гири для обвеса сборщиков на кофейных
плантациях
департаментa Карасо,
и учетчика, обсчитывающего сборщиц в Матагальпе,
и грузовики, переполненные юношами и девушками,
идущие
к хлопковым плантациям Леона и Чинандеги,
и опыляющие авиетки, что отравляли детей в Эскипулас —
дети каждый год умирали дюжинами, —
и несчастные случаи с рабочими,
искалеченными ночными «катерпиллерами»¹ на дорогах,
и контрабанду скота в Коста-Рику.
Народ был лишен доходов от кофе,
от хлопка и скотоводства
и получал только смерть да повышение цен
на масло, на сахар, на молоко
и на спички,
но уже был недалек день его освобождения,

¹ «Катерпиллер» — марка бульдозера и название фирмы в США.

и, объединенный, он не будет никем побежден,
и, вооруженный, он никогда не будет сломлен.
Потому что люди не будут гнуть спину на землевладельцев
(да и те сбегут в Майами или еще бог знает куда),
и не повторится история,
и народ никогда не будет больше ограблен,
а будет веселым
и бессмертным.

Роке Дальтон

(1935—1975)

Сальвадор

Роке Дальтон — сальвадорский поэт, член Коммунистической партии Сальвадора. Автор сборников «Перед распахнутым окном», «Черед оскорбленного», «Море», «Стихотворения», «Таверна и другие места», «Запрещенные истории о Мальчике с пальчик» и изданного посмертно романа «Каким несчастным я был поэтом». Лауреат премии «Каса де лас Америкас» за 1969 год.

На родине неоднократно подвергался политическим гонениям и тюремному заключению. Жил в эмиграции в Гватемале, Мексике, Чехословакии и на Кубе. В 1975 году пал жертвой терроризма.

Стихи Роке Дальтона переведены на многие языки мира.

СТИХИ О ДАЛЕКОМ ДЕТСТВЕ

*Женёвеве, in memoriam*¹

1

КЛЮЧИ ОТ СВЯТОЙ НЕВИННОСТИ

И бабочку вспугнуть и испугаться
большого камня посреди дороги
и спрятаться во время шумной свадьбы
в потемках гаража и поразмыслить
как лучше срезать кружева и ленты
взорвавшие глухую повседневность
и не заплакать

слыша подлость

вроде

я больше не играю

и вдобавок

все маме расскажу

¹ На память (лат.).

я заводилой
остаться во дворе где дождь напомнит
о похоронах бабушки
где пахнет

зевотой
скукой
жареным маисом
где молоком наполненные банки
как призраки из сумрака белеют
где слышно

бедный мальчик
как он тих и бледен
о это время как оно похоже
на боль зубную на побег из школы
о время что о времени не знает
и безрассудной смелостью гордится
как спрятанною в комнате змеею
о время одному идти на подвиг
и от любви бросаться под копыта
коней гигантских
время пыльных книжищ
неведомых как айсберги

эпоха
придуманных чудовищ
и тебе лишь
известных правил
побеждать индейцев
и все же ты уже один из многих
вот мука вот морока
сколько взглядов
приковано к тебе
и осеняет внезапно
это жизнь на нас воззрилась

а ты
ты беззащитен
ни цинизма
ни бранных слов
ни маски
ни уменья потупить взор

и ты уже не ты
и ты стоишь один
один из многих
и не умеешь доказать что прав
вдобавок есть туман и темнота

и ужас одиночества и пытка
когда на тротуаре ждешь напрасно
чтобы один из злобных великанов
чтоб кто-нибудь из мерзких толстых клушек
тебя через дорогу перевел
поди узнай что думал ты в то время
о здоровом смысле о плешивом знанье
о погруженье в пышную могилу
постели

о блаженстве спать с Хименой
о тех минутах горестных
что после
улыбку вызывали
о мгновеньях
что прыгали как шустрые дворняжки
и были так что сердце замирало

блаженство детства
так ли это просто
ведь к этим дням потерянным
сегодня
как ни трудись
не подберешь ключей
быть может ключ к ним наши приключения
быть может бог задобренный дарами
а может быть жестокое купанье
кота
а может то непослушанье
что унесло нас далеко от веры
на колоссальных ястребиных крыльях.

2

ПРОБУЖДЕНИЯ

В лоне матери плыть
только это и было не трудно
в нашей утренней лени
как в крепости мы укрывались
и вопили часы
словно ара в разбуженной сельве
стрелки будто летучие мыши
раскинули крылья

золоченым копьём первый луч протыкает окошко
ты проводишь по ребрам

как будто по струнам гитары
и вчерашний зелёный жучок над тобой пролетает
и грустишь ты при виде погибших вчерашних шаров
что за бешеный шум поднимают внезапно солдаты
безголовая армия в старой картонной коробке
ты ведёшь её в бой

через горы столов и диванов
и от грохота пушек уже содрогаются стены
и дрожит потолок

а над ним настоящее небо
не умывшись спешишь
поглядеть на подарки в сочельник
дриадемой из птиц

короновано раннее солнце
будет строгая проповедь
праздник
и дева Мария
вся в гирляндах цветов
не спеша поплывет над толпою

и смычки расцветут
и волшебные палочки будут
обещать чудеса
и пугать колдовством непонятным.

(Здравствуй милая мама
послушай меня Женеви́ева
я ведь только и знаю
что нос у меня не дорос
я умею чихать
и разбрызгивать воду из душа
и ещё мне известно
что кран подпирает струя
я участвую в бешеном пире
мочалки и мыла
а на улице лупят дожди в барабан мостовой
я свечусь белизною ещё не окрепшего тела
а луна как медведь а холодная туча как нож.

Вот и все что я помню
простите меня дорогие
вам последнюю ценность ограбленный дарит скупец.)

МУДРЕЦЫ

*К гравюре Хосе Клементе Ороско*¹

«Ага!» — говорят мудрецы и поднимают
указательный палец,
глядя, как раздавленный человек истекает кровью.

С тех пор, как их души отрастили себе брюшко,
мудрецы причтены к лику невозмутимых.
А раздавленный человек истекает кровью.

«Кто бы мог подумать! Ведь он с детства был таким
слабеньким,
таким голубоглазым! Робким, как цветок,
распустившийся до срока!» —
размышляют мудрецы, а в это время
раздавленный человек
истекает кровью.

«Угадать бы раньше, какая буря бушует в нем.
Остановить бы его неуверенные шаги, не дать
его обманчивой слабости превратиться в силу!»
Раздавленный человек истекает кровью. «И все-таки
когда-нибудь
все возвращается к установленному порядку,
в беспощадное лоно порядка» —
так рассуждают мудрецы, а в это время раздавленный
человек
истекает кровью.

ЗАПАХ

Я траурный распространяю запах,
пока цветы больны дороговизной,
пока бедняк от жажды умирает,
надеясь, что внезапно хлынет дождь.

О, этот запах мелкой заварухи,
когда все трупы спрятаны надежно!
Так пахнет хаос, названный порядком,
провозглашенный верою единой.

¹ Хосе Клементе Ороско (1883—1949) — мексиканский живописец.

То запах отступающего моря,
убийственный, неповторимый запах
унылых соболезнаваний, бледных,
бескровных лиц, покинутого дома.

Я пахну острым запахом железа,
распавшегося в прах, и лунным светом,
и костью, что белеет перед входом
в пещеру в свете пасмурного утра,

и ужасом зверька, что в смертной муке
на бархатном распластан покрывале,
рисунками безумного ребенка,
и вечностью, потерянной и звездной,

и временем, когда навеки поздно.

ВЫ БИЛИ МЕНЯ...

Вы били меня с оттяжкой, наотмашь.
Вы норовили угодить в лицо,
чистое и незащищенное,
как едва пробившийся из-под земли
весенний цветок.

Но и этого вам показалось мало.
Вы заточили меня в карцер своих злобных взглядов,
вы заставили мое сердце коченеть от холода
под ледяной струей ненависти.

Вы отвергли мою любовь,
вы безжалостно растоптали ее хрупкие дары,
презрительно отвернулись от бесконечных лабиринтов
моей нежности.

Теперь — мой черед,
черед оскорбленного, годами раздиравшего рот
в беззвучном крике.

Молчите же.

Молчите
и слушайте.

ОБНАЖЕННАЯ

Люблю твою наготу.

Обнаженная, ты впитываешь меня всеми порами,
поглощаешь меня, как вода, когда я погружаюсь
в ее толщу.

Жар твоей наготы сносит все преграды,
открывает передо мной все двери. За каждой из них —
ты.

Твоя нагота берет меня за руку, словно заблудившегося
ребенка,
укачивает, утешает, отвечает на все вопросы.

Я вдыхаю запах твоей нежной, чуть солоноватой кожи,
и она заменяет мне вселенную, становится моей
единственной верой.

Твоя нагота — благовонный светильник: я, слепец,
защищаясь, поднимаю его высоко над головой,
отгоняя псов желания, скалящихся из тьмы.

Когда, закрыв глаза, ты скидываешь одежду,
мои губы поглощают тебя, как вино,
мои руки тянутся к тебе, как к хлебу, насущному,
мое тело сливается с твоим теснее, чем с собственной
тенью.

Когда пробьет час, я похороню тебя обнаженной,
чтобы ты вернулась к земле во всей своей чистоте,
чтоб, целуя пыль дорог, я мог приникать к твоей коже,
чтоб мог заплетать твои пряди, лаская речную струю.

Когда пробьет час, я похороню тебя обнаженной,
такой же, как в день, когда ты заново родилась на свет
в моих объятиях.

МЕЧТА ЧЕСТОЛЮБЦА

После смерти я сделаюсь знаменитым.

Мои пороки заблещут, как старинные
драгоценности,
как тончайшие переливы ядовитой настойки.

Цветы разольют свой нежный аромат
над моей могилой.
Молодежь примется подражать легкости
моей походки
и тайной скорби моих речей.

Может быть, кто-нибудь скажет,
что я был добрым
и честным,
но только ты сможешь вспомнить,
как я смотрел в твои глаза.

ГЛУБОКОЙ НОЧЬЮ

Узнав, что меня не стало, не называй мое имя —
ты можешь вспугнуть мою смерть, отдалить
желанный покой.

Твой голос — звон колокольный, все чувства мои
будивший,
может, как луч фонарный, мой след в тумане
сыскать.

Узнав, что меня не стало, тверди невнятные
речи.
«Цветок» повторяй и «пчелы», «хлеб»,
«слеза» и «гроза».

Пусть губы твои не шепчут одиннадцать букв
заветных.
Я сплю, я любил, довольно: я заслужил тишину.

Не называй мое имя, узнав о том, что я умер,
не то из сырой могилы я выйду на голос твой.
Узнав, что меня не стало, не называй мое имя.
Не называй мое имя, узнав о смерти моей.

ХВАЛЕБНАЯ ПЕСНЬ

Андре Бретону

Та женщина, которую люблю я,
живет в стране ловушек и капканов.

О, как она несмело расцветает,
едва забрезжит утреннее солнце!
Любимая, с душою, потрясенной
слепой стихией яростного моря.

О, как она приходит из былого!
В ее котомке — древний пепел предков.
О, как она сияет в ночь свиданья
в мерцанье равнодушных фламбоянов!

Всегда в вооруженье и на страже,
холодных змей бесстрашная хозяйка,
свирепых усмирившая чудовищ,
она на жизнь не просит разрешенья,
а платит за нее стыдом и болью.
Она царица пламени, рабыня
гнилых господ, что в ужасе бежали,
узнав, что мать меня под сердцем носит.

Возлюбленная — речь моей отчизны,
сберегшая Коперника, Бальзака
и тех, несправедливо обвиненных
в поджоге пресловутого рейхстага.
Она — беседа рыбок в полнолунье,
жар, подпаливший шкуру леопарда,
дыханье хлеба, выкрики торговцев,
налогом не обложенные зори.

Ее горящий взор исполнен силы —
пред ним, рыдая, оплывают свечи.
Ее страданье пеною прилива
ложится на поющие ракушки.

В ее крови — и клекот соколиный,
и черно-красный стук костей игральных,
и пестики кувшинок, по которым
нащупывают музыку слепые.

Ее переживания — полотна
художников-французов, в чьей палитре
преобладанье бледной грусти миртов
и шепоты магических заклятий.

А волосы ее — как балерины
воздушные, как золотые нити

полуденного солнца, как пожары,
порою обжигающие память.
А тело... тело — это все на свете.

Зовут мою любимую Хименой,
зверьком пушистым,
девушкой — не знаю.
Мы с ней знакомы несколько минут.

СОЛДАТ НА ПРИВАЛЕ

Покойники нынче совсем отбились от рук.

То ли дело раньше:
дашь им, бывало, по тугому воротничку
и по цветку в придачу
да в письменном виде выразишь свое
восхищение —
мол, опора родины,
бессмертные тени —
ну и, конечно, мрамор потяжелее, —
и, глядишь, внесенные в реестр памяти,
они уже, как ни в чем не бывало, маршируют
в шеренге
под старую музыку.

Теперь,
увы,
мертвецы — не те.

Они насмешливо улыбаются,
задают вопросы.

Сдается мне, они замечают,
что их становится все больше и больше!

ЧТО СКАЗАЛ СУМАСШЕДШИЙ

Ты сообщил мне, что твоим отцом было
крохотное море.

Что ангелы, в сущности, безвредные олухи,
но по ночам они досаждают кометам,
таская их за хвосты.

Ты рассказал мне, что у тебя на родине
дождь ходит в плавание,
что твои сестры, разгневавшись, яростно обрывают
в саду цветы миндаля.

Ты поведал мне, что вся надежда — на страждущих.
а свистеть в парке — значит признаваться,
что ты отчаялся постичь смысл слов,
сказанных в детстве.

Ты поклялся, что вовсе не знаком с той толстухой
и тебе противно смотреть, как она играет плечами.

Ты посоветовал мне не высовывать носа из дому,
потому что бывают времена, когда нелепо
приносить себя в жертву.

Сказал, что существует нечто,
чего не объяснишь так просто, на пальцах.

И еще ты сказал, что наши главные враги совсем не деревья
и что нельзя верить ни единому слову, произнесенному
по ту сторону решетки.

Хосе Марти

(1853—1895)

Куба

ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ХОСЕ МАРТИ

Дневник, названный «От Кап-Аитьена до Дос-Риос», который вел Хосе Марти в последние два месяца своей героической жизни, сохранился в архиве генерала Максимо Гомеса и впервые был опубликован в его «Полевом дневнике», изданном в 1940 году к сточетырехлетней годовщине со дня рождения генерала. В 1941 году на Кубе вышло первое отдельное издание дневника, подготовленное историком Херардо Кастельяносом, сыном майора Херардо Кастельяноса Леонарта, друга Хосе Марти и его доверенного лица на Кубе в 1892—1895 годах.

В краткой заключительной заметке к этому изданию говорится: «Настоящий дневник Учителя¹ состоит из двадцати семи листков, записанных его почерком, мелкими буквами, попеременно чернилами и карандашом; размеры каждого листка — двадцать шесть сантиметров в длину и одиннадцать в ширину. Страницы от первой до пятидесят седьмой пронумерованы самим Учителем. Начинается дневник с девятого апреля 1895 года и заканчивается семнадцатым числом мая, то есть за два дня до смерти Учителя.

Внимание читателей привлекает пробел в дневнике: отсутствие записей за шестое мая. И действительно, в экземпляре дневника, который хранится в архиве Максимо Гомеса, отсутствуют четыре страницы, с двадцать восьмой по тридцать первую включительно, относящиеся к указанному дню шестого мая».

Для того чтобы события, описанные в дневнике, включая и то, что произошло в день шестого мая, были ясны читателю, нам придется начать с событий, которые происходили в 1891—1892 годах, когда Хосе Марти приступил к подготовке новой войны за освобождение Кубы от испанского колониального ига. Этой войне предстояло быть третьей по счету. Первая

¹ Учителем (Maestro) кубинцы называют Хосе Марти.

национально-освободительная Десятилетняя, или Великая, война продолжалась с 1868-го по 1878 год и закончилась компромиссным Санхонским пактом. Основные цели борьбы — независимость Кубы и отмена рабства на острове — не были достигнуты. Раздоры среди руководства восстанием, имевшие глубокие социальные корни, и отсутствие единого управления военными действиями повстанцев в провинциях Орьенте, Камагуэй и Лас-Вильяс, где разворачивались боевые действия, немало способствовали поражению. В последующей «Малой войне», продолжавшейся с августа 1879-го по май 1880 года, Хосе Марти уже сам принимал участие. Генерал Каликсто Гарсиа в апреле 1880 года, отправляясь на Кубу во главе отряда патриотов, назначил его своим заместителем на посту председателя Кубинского революционного комитета в Нью-Йорке и поручил ведать снабжением экспедиции. Однако широкие народные массы, еще не оправившиеся от тягот предыдущей войны и разочарованные ее исходом, не примкнули к восстанию, и война окончилась поражением. Из неудачи «Малой войны» Хосе Марти сделал вывод: «Прежде чем поднимать народ на борьбу, нужно сказать ему, за кем и куда он идет и что будет с ним после победы».

Готовясь к новому выступлению, Хосе Марти учитывал опыт истории. Он знал, что победу может принести лишь всенародная война, решительная и бескомпромиссная. Цель ее не только независимость Кубы, но и учреждение демократической республики, в основу которой должна быть положена защита интересов народных масс — главной движущей силы революции. Марти удалось объединить разноликую кубинскую эмиграцию. Это единство было закреплено созданием Кубинской революционной партии, в которую вошли все организации и клубы кубинских эмигрантов, переименованные в ассоциации (апрель 1892 года). Средства на организацию борьбы, закупку оружия и боеприпасов внесли рабочие-табачники, эмигрировавшие с Кубы во Флориду. Всей деятельностью революционной партии руководил ее Делегат, избираемый всеобщим голосованием сроком на один год. На этот пост был единогласно избран (а затем и переизбран) Хосе Марти.

Такая широкая демократическая основа сочеталась со строгой централизацией. Делегат единолично распоряжался денежными фондами, осуществлял связь с подпольными группами, организованными во всех провинциях острова, и непосредственное руководство ими. Во избежание провала эти группы не были связаны между собой. Вся подготовка проходила в условиях строжайшей конспирации.

Главнoкомандующим объединенными военными силами повстанцев, по предложению Хосе Марти, избрали генерала Максимо Гомеса (1836—1905), одного из крупнейших полководцев Десятилетней войны. Гомес был организатором повстанческой армии, талантливым стратегом и тактиком партизанской войны. Он жил в эмиграции в маленьком портовом городке Монте-Кристи, на острове Гаити.

Антонио Масео, другому прославленному полководцу Десятилетней войны, предполагалось поручить командование войсками в Орьенте. Беззаветный смельчак, выходец из народа, генерал Антонио Масео, которого в народе звали «бронзовый титан» и «бронзовый лев», в Орьенте пользовался особым авторитетом.

В 1894 году Соединенные Штаты ввели протекционистский тариф Вильсона на ввоз сахара-сырца, основным поставщиком которого была Куба. На острове эта экономическая агрессия вызвала тяжелый кризис и безработицу. Руководство Кубинской революционной партии сочло момент подходящим для начала национально-освободительной войны. Хосе Марти разработал так называемый «план Фернандина», по которому предусматривалось одновременное восстание и начало партизанской войны во всех провинциях острова, а спустя некоторое время одновременная высадка трех экспедиций, состоящих из ветеранов Десятилетней войны — командного состава будущей освободительной армии. Предполагалось, что экспедицию, высаживающуюся в Орьенте, возглавит Антонио Масео, в Камагуэе — Максимо Гомес, в Лас-Вильяс — генерал Серафин Санчес. Подготовка велась в строжайшем секрете. Три парохода, выходившие из порта Фернандина (Флорида), были зафрахтованы якобы для перевозки рабочих и грузов на Малые Антильские острова. Предполагалось уже в открытом море подкупить капитанов, а в случае неудачи силой оружия принудить их повернуть к Кубе. Однако между Хосе Марти и генералом Гомесом возникли разногласия. По мнению генерала, Марти должен был оставаться в Нью-Йорке и оттуда руководить сбором средств, вербовкой добровольцев, закупкой и пересылкой военных материалов. С чисто военной точки зрения это было правильное решение. Но Делегат Кубинской революционной партии иначе понимал свой долг. «Народ с некоторым пренебрежением и недоверием относится к своему слуге, который посылает его на смерть, а сам не рискует своей жизнью», — писал он генералу. Хосе Марти считал себя представителем будущей народной республики и видел свою первейшую обязанность в том, чтобы правительство этой республики было сформировано на Кубе как можно скорее и на возможно более широкой демократической основе. И Хосе Марти настоял на своем праве отправиться на Кубу вместе с Гомесом.

10 января 1895 года, когда на Кубу уже был отправлен «Приказ на восстание» (пока еще без даты начала восстания) и подготовка экспедиции уже завершалась, североамериканские власти внезапно конфисковали все грузы с оружием, а капитаны зафрахтованных кораблей отказались принять на борт патриотов. «План Фернандина» получил огласку в североамериканской печати. «По трусости, а возможно — по злому умыслу, Лопес Перальта, которому Серафин Санчес поручил подготовку своей экспедиции, выдал весь наш план, — сообщал Марти генералу Гомесу. — Мы потеряли три быстроходных корабля, рассчитанных на перевозку оружия и четырехсот человек. Может быть, еще удастся спасти груз. Но

мы спасли самое главное: дисциплину и уважение патриотов на острове, восхищенных масштабами нашего замысла, и любовь эмиграции, возмущенной подлостью».

Опираясь на поддержку подпольных групп на Кубе и на горячее сочувствие рабочих-эмигрантов в США, Хосе Марти решил не откладывать начало военных действий. Фактор времени приобретал решающее значение. Более или менее длительная отсрочка позволила бы Испании укрепить свои позиции на острове и предоставляла Соединенным Штатам, которые Марти считал главным врагом кубинской революции, возможность вмешаться в дела Кубы. Был отдан новый «Приказ на восстание». По предложению подпольщиков Гаваны днем восстания было выбрано 24 февраля — первый день карнавала, что позволяло сосредоточить в сельских населенных пунктах группы патриотов, не привлекая внимания жандармерии.

Снова были собраны деньги, правда, на этот раз весьма скромные, закуплено оружие и с величайшим трудом зафрахтованы корабли. Масштабы подготовки резко сократились. В распоряжении Хосе Марти оставалось только четыре тысячи долларов. Он разделил эту сумму поровну между Максимо Гомесом и Антонио Масео.

В первых числах февраля Хосе Марти приехал из Нью-Йорка к Гомесу в городок Монте-Кристи (Доминиканская республика). 26 февраля они узнали, что на Кубе началось восстание. Но в тот же день пришло и другое известие: генерал Антонио Масео соглашался возглавить экспедицию только при условии, если на ее организацию ему будет выделено не менее пяти тысяч долларов. По первоначальному плану он должен был возглавить отряд численностью в двести человек. Отпущенных средств было достаточно только для двадцати — тридцати ветеранов. С этим генерал не хотел примириться. По всей вероятности, он поверил каким-то провокационным слухам о том, что в партийной кассе есть деньги, но они предназначены не ему.

Однако партийная касса была пуста, и Хосе Марти, не колеблясь, принял единственно возможное решение: нарушая военную субординацию, он поручил руководство экспедицией генералу Флору Кромбе. В Десятилетнюю войну генерал Кромбе проявил себя смелым полководцем, но он воевал под началом Антонио Масео, и его авторитет среди войск и народа не шел ни в какое сравнение с авторитетом «бронзового титана».

«Куба уже воюет, генерал, — писал Делегат Революционной партии генералу Антонио Масео. — Оружие поступит с Севера (то есть от кубинских эмигрантов в Соединенных Штатах. — В. С.). Нужно только возглавить борьбу. Пришло время не спрашивать, а отвечать. Армия на месте. Командиры могут отправиться туда хотя бы в ореховой скорлупке. Вот случай проявить истинное величие». И патриот своей родины Антонио Масео это величие проявил. Человек горячий и самолюбивый, он молча проглотил обиду и отправился на Кубу под началом Флора Кромбе.

В доме Гомеса Хосе Марти написал воззвание к народу, известное как «Манифест Монте-Кристи». Манифест был опубликован 25 марта 1895 года и начинался такими словами: «Революционная борьба за независимость после долгих и славных лет подготовки снова вступила на Кубе в стадию боевых действий по призыву Революционной партии, сплотившей вокруг себя все слои народа, стремящиеся к освобождению страны на благо Америки и всего мира. Избранники народа, выдвинутые революцией, выполняют свой долг, не присваивая себе полномочий и власти будущего республиканского правительства, но они считают своим долгом провозгласить перед лицом родины те ясные, здравые и далекие от низкой мстительности цели, во имя которых вспыхнула и будет продолжаться до своей неизбежной победы непримиримая война. Ныне под великие знамена справедливой демократии встали бойцы из всех слоев кубинского общества».

Первого апреля на юго-восточном побережье Кубы высадился экспедиция Флора Кромбе, состоявшая из двадцати ветеранов. Среди них были генерал Антонио Масео и его брат генерал Хосе Масео. В тот же день Хосе Марти, Максимо Гомес и еще четыре ветерана Десятилетней войны (Анхель Герра, Франсиско Борреро, Сесар Салас, Маркос дель Росарио) отправились на Кубу. Но капитан корабля высадил их на острове Инагуа (Багамские острова) и отказался плыть дальше. Кубинские революционеры тайно вернулись на Гаити и девятого апреля снова отплыли на Кубу. В тот день, девятого апреля, Хосе Марти начал вести дневник.

В. Столбов

ОТ КАП-АИТЬЕНА ДО ДОС-РИОС

ПОСЛЕДНИЙ ДНЕВНИК

9-е апреля. Лола ¹, в платье наспех, на балконе — плачет. Мы поднимаемся на борт ².

10-е. Выходим из Кап-Аитьена. — На рассвете прибываем в Инагуа. — Поднимаем паруса.

11-е. Шлюпка. Отплываем в одиннадцать. Проскальзываем мимо Майси ³, видим маяк. Поднялись на мостик. В половине восьмого — темно. Капитан взволнован. Спускают шлюпку. Отчаливаем под проливным дождем. Не знаем, куда править. Спорим о курсе. Шторм усиливается. Сорвало руль. Выверяем курс. Сажу на баковом весле. Второй гребец — Салас ⁴. Нам помогают загребные: Паки-то Борреро ⁵ и генерал ⁶. Надеваем ремни с револьверами. Идем к бухточке. Взошла луна, багровая, под тучей. Пристаем к каменистому берегу (Ла-Плайита, у подножия Кахобабо). Занимаюсь выгрузкой шлюпки, высаживаюсь последним. Прыжок. Огромное счастье. Сталкиваем в море шлюпку вместе с бутылкой пресной воды. Пьем малагу. И вверх — по камням, по болотам, сквозь колючий кустарник. Слышим шум, изготовляемся к бою. Огибаем усадьбу. Обнаруживаем дом. Засыпаем неподалеку, прямо на земле.

12-е. В три часа ночи решаем постучаться. Блас, Гонсало и Нинья ⁷. Хосе Габриэль, живой, расторопный, отправляется за Сильвестре. Сильвестре согласен идти с нами. Тяжело навьюченные, в поисках пристанища спускаемся с крутизны к реке Такре (Сáгере). С девяти до двух выжидаем в негустом лесу. Сильвестре поведет нас в Имиа. Следуем по берегу Такре. Генерал решает отправить записку Фернандо Лейве ⁸, с ней уходит Сильвестре. Располагаемся по правую сторону реки, под отвесной скалой в пещере, где был повстанческий лагерь. Укладываем

емя спать на сухих листьях. Маркос⁹ сбрасывает их. Г[омес] принес охапку для меня.

13-е. Пришел Абраам Лейва¹⁰ вместе с Сильвестре, нагруженным свининой, бататами, сахарным тростником, цыплятами — дары Ниньи. Фернандо ушел искать проводника. — Абраам. У него четки на шее. — Тревога, схватились за оружие — оказалось, это быстро шагает Абраам, а вслед за ним Сильвестре с провизией; это в одиннадцать. Рано утром перебрались на берег реки; река за ночь вздулась, камни грохочут, словно ружейная пальба. Проводник будет. Полдничаем. Сильвестре ушел. В час приехал на своей кобылке Хосе. Он проводник. Свистки и лошадиное ржание: вскакиваем на ноги, изготавливаемся к бою. Но это Абраам. С ним Блас. Блас рассказал Руэнесу¹¹ о нашей высадке. Руэнес послал связаться с нами, он хочет присоединиться к нам. Решаем идти в Сао-дель-Нахесьяль, навстречу Руэнесу. Выступление утром. Собираю сухую листву, устраиваю себе постель. Печем бататы.

14-е. День мамби¹². Выступили в пять. Перешли речку по пояс в воде, потом перешли снова. По берегам — высокие заросли. Одеваем новые, удобные башмаки, как следует нагружаемся и — вверх по высокому холму, поросшему тонколиственной яйей, кубинской махагуа и купеем — шишки купея уже созрели и раскрылись. Видим на дереве первую хутию¹³. Маркос сбрасывает башмаки, лезет вверх. Взмах мачете — и животное обезглавлено: «Готово! Зарубил!» Едим дикие апельсины. Хосе палкой сбивает их с ветвей. «Как вкусно!» Вверх по крутому склону холма. Крутые склоны сплавивают людей. По холмам добираемся до Сао-дель-Нахесьяль. Красивое место: прогалина в диком лесу, кругом — вековые пальмы, манговые и апельсиновые деревья. Хосе уходит. Маркос приносит целый платок кокосов. Меня угощают бананом. Герра и Пакито в карауле. Отдых в лагере. Сесар шьет мне португую. Первым делом запасаемся листьями пальмы ягуа, расстилаем их на земле. Гомес своим мачете срубает листья и приносит для меня и для себя. Герра сооружает хижину: четыре подпорки с развилкой наверху, на них поперечины из раскидистых веток, кровля — из листьев ягуа. Все заняты делом: скребут кокосовые орехи, Маркос свежует хутию, генерал ему помогает. Тушку обмывают в апельсиновом соке, затем солят. Апельсиновые выжимки и шкурку хутии утащила свинья. И вот уже хутия на импровизированной решетке жарится на костре. Вдруг — люди. Хватаемся за оружие.

«О! Свои, свои!» Это отряд Руэнеса: Феликс Руэнес, Галано, Рубьо — десять человек. — Глаза сияют. Объятия. У каждого ружье, мачете, револьвер. Они пришли по большому холму. Больные разом повеселели. Распределяем кладь. Хутию заворачивают в листья ягуа. Люди Руэнеса хотят нести нашу амуницию. Я с винтовкой и своей сотней патронов шагаю вниз по склону холма, вниз по Тибисиаль. Встречаем дозор. Снова дозор. Мы уже в ранчо Тавера, где расположился отряд Руэнеса. Повстанцы встречают нас, построившись в шеренгу. Одеты кто во что горазд: кто в рубашке, кто в блузе и брюках, кто в крестьянской дотканной куртке и штанах, на головах остроконечные шляпы из пальмового волокна. Негры и мулаты, двое — испанцы, один — Галано, блондин. Руэнес нас представляет. Генерал произносит речь перед строем. Говорю и я. Парад, веселье, ужин, группы бойцов. Другое подразделение. Снова речи. Ночь. Восковые свечи. Лима варит хутию и поджаривает бананы. Спор, кому идти в караул. Генерал подвешивает для меня гамак под дверным навесом ранчо Тавера, окруженного рощей пальм ягуа. Спим, завернувшись в прорезиненные плащи. Ах да! Перед сном появился Хосе со свечой в руке, он принес две корзины: в одной мясо, в другой — мед. Превосходнейший сотовый мед. Набросились на него с жадностью. Что за день! Сколько света, воздуха, как вольно дышится, какая легкость во всем истомленном теле. Выглядываю из ранчо и вижу в вышине, за гребнем, — голубь и звезда. Место называется Вега-де-ла...

15-е. Утром просыпаемся под громкие приказы. Одну команду отправляют в Вегитас за покупками к лавочнику-испанцу. Другую — за снаряжением, оставленным в пути. Третья уходит на поиски проводника. От испанца приносят соль, альпаргаты, бумажный фунтик с конфетами, три бутылки ликера, шоколад, ром и мед. Хосе пригнал свиней. На обед у нас — тушеная свинина с бананами и малангой. Утром — сладкие маисовые лепешки, банановое варенье и сыр; запиваем горячим отваром с корицей и анисом. Пришел, придерживая на поводке желтого пса, горец Колумбе с недобрыми глазами. Он нас поведет. Под вечер, после переключки, генерал вместе с Пакиито, Геррой и Руэнесом отправляются к ручью. «Позвольте нам троим, без вас?» Соглашаюсь скрепя сердце. Что такое? Неужели какая-то опасность? От ручья бегом поднимается Анхель Герра, зовет меня и капитана Кардосо. У подножия горы,

на тропинке, затененной листьями бананов, стоит Гомес, за его спиной — ручей. Взмолвленное лицо Гомеса прекрасно, он говорит мне, что в силу своих полномочий Главногокомандующего, избранного советом командиров, он от имени Освободительной армии не только признает меня Делегатом, но и присваивает мне звание генерал-майора¹⁴. Я обнимаю Гомеса. Остальные обнимают меня. А на ужин — свинина, жаренная на кокосовом масле; вкусно.

16-е. Меня угощают кто чем может: бататами, копченой свиной колбасой, розовым ликером, банановым отваром. В полдень поход, в горы; переходим речку, вода выше колен, дальше — светлый, прекрасный ямбовый лес; апельсиновые деревья и каймито. По наглухо заросшим теснинам, сквозь манговые заросли, где еще нет плодов, добираемся до пальмовой рощи, в конце ложбины между двумя на редкость красивыми горами. Здесь разбиваем лагерь. Бронзоволицая индеанка с огненными глазами, в черном рваном платье, на голове платок, повязанный тюрбаном поверх выпущенных кос, толчет в ступке кофе. Вокруг матери возятся семеро ребятшек. Бойцы привязывают гамаки, спешат за сахарным тростником, налаживают свечи, несут тростник на трапиче¹⁵, приготовить сок для кофе. Там орудует босая индеанка. По дороге сюда, на первом привале, в доме, где была только мать с испуганной здоровенной дочкой, генерал дал мне вышить воды с медом, чтобы я сам убедился, как отлично этот напиток утоляет жажду. И еще: из помарозы (плодов ямба) изготавливают ром. Написал корреспонденцию для Нью-Йорка и все письма в Баракоса¹⁶.

17-е. Утро в лагере. Вчера забивали скот, и с восходом солнца вокруг котлов уже толпятся бойцы. Добрая, расторопная Домитила спешит в своем египетском тюрбане в лес и возвращается, нагруженная помидорами, кориандром и базиликом. Кто-то угощает меня целым корневищем маланги. Кто-то подносит чашку горячего сахарного сока, приправленного душистыми листиками специй. Перемалывают охапку сахарного тростника. За домом по склону горы густо зеленеют участки бананов и кокосовых пальм, хлопка и дикого табака; вдали, по реке, — загон для скота, там и сям — апельсиновые деревья, а кругом — горы, округлые, мирные; над головой — бездонная синева с белоснежными облаками, голубь скрылся в облаке. Полет в синеве. От нетерпения становится грустно. Завтра выступаем. Засовываю «Жизнь Цицерона» в сумку, где у меня пятьдесят

патронов. Пишу письма. Генерал варит варенье из тертого кокосового ореха с медом. Готовимся к завтрашнему походу. У хозяина ранчо, человека с сумрачными глазами и скиперской бородкой, закупаем мед. Сперва по четыре реала за галлон; мы усовещеваем его; дает нам еще два галлона безвозмездно. Пришел Харагуита¹⁷, Хуан Телесфоро Родригес; не хочет больше зваться Родригесом, потому что служил под этой фамилией проводником у испанцев, а теперь поведет нас. Уже обзавелся женой. Ушел из дому, никому не сказавшись. Продувная бестия, отпетая головушка. Поигрывает мачете, огромные ноги, глаза сверкают, как инкрустированная в черное дерево слоновая кость на солнце. Завтра мы покидаем дом Хосе Пинеды. Жену зовут Гойя. (Вверх по Хохо.)

18-е. Выступаем в половине десятого. Прощание перед строем. Гомес зачитывает имена получивших повышение в чине. Сержант «Пуэрто-Рико» восклицает: «Я пойду на смерть за генералом Марти!» Сердечно прощаемся со всеми: с Рузнесом и Галано, с капитаном Кардосо, с Рубьо, с Даннери, с Хосе Мартинесом, с Рикардо Родригесом. Шесть раз, спускаясь и подымаясь по обрывистым берегам, переходим речку Хохо. Карабкаемся вверх по крутому склону горы Павано, в вышине громоздится Паналито с апельсиновой рощей на гребне. По этому гребню продолжаем восхождение, с обеих сторон нас обвеивает легкий ветерок. От кустарника к кустарнику тянется по верху плотный свисающий полог какого-то вьющегося растения, у него тонкие стебли, мелкие копьевидные листочки. На склонах — заросли дикого кофе. Ямбовая роща. Во все стороны от нас земля круто уходит вниз, за этой кольцевой впадиной, вдали, — цепи голубых гор, и над ними курчавятся облака. Это дорога на Кальдерос, к Анхелю Кастро. Решаем провести ночь на склоне горы. Беремся за мачете, вырубаем небольшую просеку. Вешаем между деревьями гамаки. Герра и Пакито устраиваются на земле. Не спится — слишком прекрасна ночь. Поет сверчок, квакает лягушка, ей отвечает целый лягушачий хор; в прозрачной темноте хорошо различимы и купей, и низкорослая колючая пальма пахуа, обе породы деревьев, из которых состоит горный лес вокруг нас; неторопливо кружатся в воздухе светляки — «детские душеньки»; время от времени то тут, то там раздается пронзительный крик птицы, а в промежутках я вслушиваюсь в музыку сельвы, такую сложную и нежную, как будто ее тихонько наигрывают на тончай-

ших скрипках; звуки наплывают волнами, сплетаются и расходятся вновь, распахивают крылья для полета и вдруг замирают, трепещут возле меня и уносятся ввысь, по-прежнему негромкие, ненавязчивые — мириады звуков, слившихся в одну текучую мелодию. Чьи это крылья коснулись листвы? Чья это запела крохотная скрипка? Что это за всплески скрипичных голосов? Они пробудили гармонию, пробудили душу в каждом листке. А это что? Танец разбуженной листвы? Мы даже забыли об ужине. Перекусили копченой свиной колбасой, шоколадом, ломтем жареной маланги. Одежду обсушили у костра.

19-е. Два часа ночи. Пришел наш проводник Рамон Родригес, с ним Анхель, принесли факелы и кофе. Вышли в пять по трудному, скалистому склону. Вверх, в Кальдерос. Ранчо новое. Женский голос изнутри приглашает: «Входите, не бойтесь, у нас можете не бояться». Сразу же — горячий кофе, с медом вместо сахара. Наша женщина-мамби в деревянных сандалиях, черное лицо сурово. Упершись одной рукой в бок, размахивая другой, она рассказывает, что пережила в годы Десятилетней войны: у нее погиб муж, его захватили ночью, когда он свежевал свиней, которых заколол для повстанцев, она с тремя малыши детьми скиталась по лесам, «пока вот он, милосердная душа, не подобрал и не приютил меня, и как бы я ему ни услужала, хоть на коленях, все равно — неоплатная должница». Она двигается легко, входит, выходит, черное лицо поблескивает; возвращаясь, непременно что-нибудь приносит: еще кофе или семени кастильского кориандра: «На случай, схватит в дороге живот, разжуете зернышко и запьете водицей». Приносит лимоны. Зовут ее Каридад Перес-и-Пиньо. — Дочери Модесте шестнадцать лет, в нашу честь она обула ботинки и надела новое платье с широкой юбкой, она подсаживается к нам на одну из пальмовых скамеек, стоящих в комнатухе, и непринужденно болтает. Рамон сорвал для нее у ограды цветок лекарственной травы копете, и она тут же воткнула его в волосы. Мы все очарованы ею. Генерал рассказывает о Каридад Эстраде из Камагуэя, раненной ударом мачете. Ее муж убил метиса-доносчика, который привел испанцев к ним на ранчо, убил и другого. Каридад лезвием мачете полоснули по спине, а мужа зарубили насмерть. Каридад схватила на руки маленькую дочку и, сама истекая кровью, бросилась за убийцами: «Ах, будь у меня ружье!» Потом вернулась, созвала родню, мужа похоронили, а она ушла к повстан-

цам: «Посмотрите, как они со мной обошлись!» Повстанцы рванулись в бой — под землей его сыщем, ихнего командира! С этого дня им не сиделось в лагере. Каридад осталась у них жить, показывала свою располосованную спину, ораторствовала, воодушевляла бойцов.

Появляется Педро Гомес, он из колеблющихся. Принес нам гостинцев: кофе и курицу. — Продолжаем завоевывать души людей. — На кухне хлопочет испанец Валентин, определившийся в ординарцы к Гомесу. Шестеро бойцов Руэнеса под открытым небом варят мясную похлебку с овощами. Пришел Исидро, высокий сероглазый парень; одет щеголем, на ногах хромовые сапоги с ушками; мы познакомились с ним у Пинеды, недавно он отрубил себе палец; не может идти воевать, «трое двоюродных братьев на руках». В половине третьего, переждав ливень, пускаемся в путь, через горы, через реку Гуайябо, к манговому лесу в одной лиге от Имиа. Там ждет Фелипе Дом, алькальд местечка П. Хуан Родригес ведет нас в обход крестьянских ранчо. Путь трудный, у самой вершины.

20-е. Движемся при свечах, три часа ночи. Идем в Паленке, Теодоро Дельгадо оттуда, поросшие лесом скалистые горы; горький солодковый корень и дикие апельсины; пейзаж величественный, горы теснятся, обступают со всех сторон, зазубренные, круглоголовые, островерхие, горные складки волнами уходят вдаль. На юге море. Располагаемся на высоте в тени пальм. Приходят со связками сахарного тростника крестьяне из окрестных мест. Эстевес, Фромита, Антонио Перес. Перес смахивает — благородной внешностью — на своего патрона святого Антония. Из какого-то дома нам прислали кофе и немного погоды — курицу с рисом. Харагуита сбежал. Может быть, его запугали? Или хочет выдать нас испанцам? С Имиа явился горец с известием, что для нашего преследования послан отряд, уже переправившийся через Хобо. Но мы, как было решено раньше, останемся здесь в ожидании проводника для завтрашнего перехода. Харагуа, яйцевидная голова. Еще за минуту до своего выхода в дозор уверял меня, что пойдет с нами до конца. Вышел в дозор — и исчез. Босоногий браконьер, проводник у испанцев; лицо вечно бесполойное, выговор шепелявый, голос визгливый, жидкие усы, всегда пересохшие губы, дряблая кожа, оловянные глаза. Раньше жил охотой, ловил в силки синсонте и молодых голубей. Теперь у него есть и скотина, и жена. Скрылся в лесу. Найти не смогли. Местные жители его боятся.

Несколько человек собрались в кружок, идет разговор, как вылечить бельмо: подсоленной водой, соком бадьяна, «одному человеку у нас помогло, стал видеть», колючим листком розмарина, «только разжевать как следует», «каплей крови — взять у того, кто первый заметил бельмо». Затем разговор перебрасывается на средства от язв: желтые камешки из реки Хохо, истолченные в тонкий порошок; белый, с приставшими волосами собачий кал; лимонный сок; человеческие экскременты; просеянная мука и мальва. Спать ложимся на земле, подстлав под себя листья пальмы ягуа. Харагуа — негодяй.

21-е. Выступаем в шесть. С проводником Антонио дорогой к Сан-Антонио. В пути останавливаемся, зайдя на пальме пчелиное гнездо; дерево срубили ударами мачете под корень, но меду в улье не оказалось, только соты с белыми личинками. Гомес велел принести меду и стал выжимать в него сок из личинок, получилось молочко, необычайно вкусное. Вскоре по тропе навстречу нам вышел красивый старик-негр, Луис Гонсалес, вместе с братьями, сыном Магдалено и племянником Эуфемии. Гонсалес уже послал сообщить о нас Перико Пересу¹⁸, и с ним мы будем поджидать повстанцев у Сан-Антонио. Луис стискивает меня в объятиях, приподымая с земли. Но какая печальная весть!¹⁹ Неужели правда, что погиб Флор? Смелчак Флор? И что Массо предательски ранен индейцами Гарридо? Но зато Хосе Масео будто бы зарубил самого Гарридо одним ударом мачете. Мы полдничали жареной свининой с бататами, когда подоспел Луис. Расстелили на земле белую скатерть, положили на нее домашнюю снедь. И опять мы карабкаемся со склона на склон, внизу завиднелось широкое течение реки Сабаналамар; по каменистому броду перебираемся на ту сторону, ныряем в прибрежные камыши и устраиваемся на бивак. Прекрасно: объятие Луиса, его улыбающиеся глаза, блеснувшие в улыбке зубы, короткая щетинка седой бороды, его широкое, открытое, чистейшего черного цвета лицо. Патриарх здешних мест. На нем хорошая холщовая рубаша. Его просторный дом стоит ближе всех к лесистому склону горы. Жизнь и царственная осанка, вся физическая красота этого человека — воплощение его душевного здоровья. Пока мы насыщались вяленой говядиной и бананами из припасов Луиса, сам он отправился в селение и вечером, уже в темноте, ничем не освещая себе дорогу, возвратился в наш лагерь; он опять принес овощей, притащил на спине гамак,

а на руке у него висела корзина с медовыми сотами, полными личинок. Сегодня я увидел ямагуа, обеззараживающее и кровоостанавливающее растение, одна тень которого целительна для раненых: «Разжуй хорошенько листочки и приложи к ране, кровь сразу уймется». Птицы ищут его тени. Луис объяснил мне, как сделать, чтобы восковые свечи не гасли на марше: надо плотно обмотать свечу мокрой тканью, тогда огонь не потухнет и воск будет выгорать равномерно. Во время предательского нападения на Масео испанцы захватили врача. Неужели это Фрэнк? Вот несчастье! Ах! Флор!

22-е. День нетерпеливого ожидания.купаюсь в реке, пороги и ямы, огромные камни, по берегам — непролазный камыш. Мне выстирали мое голубое белье, брюки и куртку. В полдень явились братья Луиса, страшно гордые, что могут попотчевать нас домашней снедью: вареными яйцами, жареной свининой, большим маисовым пирогом. Едим под внезапно налетевшим дождем; наши мамби пустили в ход мачете и соорудили палатку, покрыв ее непромокаемыми плащами. После обеда одна за другой поступают тревожные вести. Из испанских частей в Гуантанамо пришел перебежчик, племянник Луиса, он сообщил, что против нас направлены войска. Другой перебежчик рассказывает, что из Байтикири, где командиром хромой лейтенант Луис Берто, предатель повстанцев Баямо, пробрались в Сан-Антонио два лазутчика — разведать, что делается в здешних горах. Отряды продажных наймитов из числа самих же креолов, предводимые каким-нибудь озверевшим негодяем, воюют за Испанию, и это отребье еще держит в страхе здешний народ. Под вечер пришел Луис, ему передали записку от жены: лазутчики — один из них ее брат — получили от негодяя лейтенанта Гарридо приказ явиться к нему в Каридад, обследовав по дороге весь район Кахуэри; и еще: в Вега-Гранде, в Кемадосе и во многих других местах против нас устроены засады. Заночевали тут же на месте, организовав наблюдение за дорогой. Сегодня зашел разговор о Сеспедесе²⁰, и Гомес рассказал, в каком роскошном особняке, с порталом, он нашел Сеспедеса в Тунасе, когда, весь оборванный, примчался к нему с пятнадцатью стрелками сообщить, что военные действия в Орьенте разгораются и принимают опасный оборот. Чистенькие адъютантки в крагах. Сам Сеспедес: кепи, ножички для сигар. Там — война, брошенная на попечение командиров, тщетно добивающихся распоряжений сверху,

тут, в Тунасе, — штабное щегольство. Контраст был разительный. А вскоре правительству пришлось самому искать пристанища в Орьенте²¹. «Ничегошеньки не было, Марти, ни общего плана военных действий, ни твердого курса, ни ясной цели». — Еще: водка, настоящая на кубинском можжевельнике (дерево, напоминающее запахом кедр), приобретает приятный вкус и лечебные свойства. Чай, настоящий на крупных листьях ягругмы, хорошо действует при астме. — Явился Хуан, тот, что был в испанских частях. Он своими глазами видел убитого Флора, у того была разбита губа, на груди две огнестрельные раны. Но и у мертвого Флора лицо было прекрасно. Он погиб 10-го числа. Патрисио Корона после одиннадцатидневных блужданий сдался волонтерам²², не выдержал голода. Масео и с ним еще двое соединились с Монкадой. Сыновья и племянники Луиса возвращаются по домам. Рамон, сын Эуфемии: лицо мягкого шоколадного оттенка, будто отлитое из красноватой бронзы; грациозный очерк красивой головы; ловкое отроческое тело. Магдалено: великолепная фигура, крепкие ступни, сухощавые, тонкокостные лодыжки, плавно изогнутые икры, высокие, стройные бедра, широкая, выпуклая грудь, изящной формы руки и плечи, гибкая шея, безукоризненно вылепленная голова, курчавые молодые усики и борода; и широкополая шляпа с остроконечным верхом, а у пояса — мачете. Луис остается ночевать с нами.

23-е. На рассвете мы готовы к выступлению. Но нету Эуфемии, который должен был донести нам, ушли ли лазутчики, и еще не получено ответа от наших отрядов. Луис отправляется узнать, в чем дело, и возвращается вместе с Эуфемией. Лазутчики убрались. Выступаем следом. Покидаем наш двухдневный бивак и вскоре, на Монте-де-ла-Вьеха, начинаем спуск. Поляна у подножия склона, с высоты видна глубоко внизу, на юге, плодородная долина, покрытая зарослями сахарного тростника, а посреди нее королевские пальмы Сан-Антонио, в плотном кольце кустарников и пальм; со всех сторон долину обступают горы, между ними вклинивается море. Эта вот вершина, пересеченная у самой макушки кроваво-красным разрезом, называется Донья Мариана; та, на юге, такая же высокая, как и остальные, носит имя Пан-де-Асукар. С восьми до двух часов пробираемся сквозь колючую чащу пальм, здесь очень хорошая трава, тут и там краснеют невысокие цветы павонии, одиночных кактусов, опунции. Мы говорим о людях, сражавшихся в Десятилетнюю войну под началом

Гомеса. Гомес восхищается твердостью Мигеля Переса: «Он оступился, но ему простили вину, и он до конца оставался верен правительству»; «его тело сняли с пальмы ягуа, они из него сделали рубленное мясо»; «поэтому-то Сантос Перес и переметнулся к испанцам». А другому Пересу, рассказывает Луис, Поликарпо²³ отхватил срамные части и навесил ему вместо очков. Этот Перес схватился с Поликарпо и кричит: «Берегись, всю твою мелочь тебе отсеку!» — «А я тебе твою навешу вместо очков на нос», — да так и сделал. «Но почему это кубинцы воюют со своими же, кубинцами? Я хорошо вижу, что не по убеждению и не из-за любви к Испании. За что им ее любить?» — «Этот сброд идет воевать за песо, один песо в день, да еще вычитают стоимость довольствия. Кто они? Отпетые головы из деревенских, преступники, скрывшиеся от суда, бродяги, которые не хотят работать, горстка индейцев из Байтикири и Кахуэри». Разговор переходит на кофе и его заменители: семена платанильо и боруки. Идущая вниз тропа неожиданно ныряет под высокие деревья светлого леса; поваленные стволы деревьев служат мостками для переправы через первое на пути болотце, мы шагаем по сырой, чмокающей под ногами листве, по прохладным камням; идем в приятной тени, а вот и место привала: журчит вода, на земле белеют листья ягумы; мои спутники волоком тащат от ручья огромные веера пальмовых листьев, на случай дождя; иду на шум потока и вижу, между скал и зарослей папоротника, чистую воду, она весело прыгает с камня на камень. Вечером к нам присоединяются семнадцать человек, собранных Луисом; в свои шестьдесят три года он пришел один, опередив их на целый час. Все они будут воевать. Луис привел с собой сына.

24-е. Двигаясь от зари до зари по ущелью, по склонам горы Акоста, по осыпям из подточенных дождем и ветром камней, мимо выбоин с прозрачной водой, которую пьют синсонте, мимо их гнезд из сухой листвы, преодолеваем мы этот утомительный переход. В воздухе чувствуется опасность. От Паленке за нами по пятам идут преследователи. Здесь на нас могут напасть индейцы Гарридо. Находим приют в доме Валентина, управляющего инхенио²⁴ «Санта-Сесилия». Белозубый здоровяк Хуан, племянник Луиса, выходит навстречу и подает нам теплую руку. Луис отзывает его в сторону, к изгороди: «Почему не идешь с нами?» — «Сами знаете, эти кровососы меня скоро в могилу вгонят». Кровососы — семья. Ох уж этот наемный работник, он

развращен деньгами. То ли дело самостоятельный человек, сам себе хозяин. А эти люди, да что им терять? Хижину из пальмы ягуа? Ее строят своими руками, а пальм кругом сколько угодно. Свиней? Прокормить их в тропическом лесу ничего не стоит. Пропитание? Земля сама его дает. Обувь? Пальма ягуа и махагуа. Лекарства — лесные и полевые растения, кора деревьев, кожура плодов. Сласти — пчелиный мед. Чуть подальше бородатый, толстобрюхий старик в замызганной рубашке и штанах по щиколотку копает ямы под столбы для ограды; землистое лицо, подслеповатые глаза, испуганный взгляд. «А вы чем занимаетесь?» — «Да вот изгородь ставим». — Луис ругается. Гневно поднимает свою могучую руку. Широко шагая, уходит прочь. Борода у него трясется.

25-е. День войны. — Сквозь непролазную чащу пробираемся к Арройо-Ондо, мы уже в когтях у Гуантанамо, округа, враждебного нам в Десятилетнюю войну. То и дело сбиваемся с направления. Колючки кромсают наше тело, лианы хватают за горло или хлещут нас по бокам. Проезжаем через рощу гуиро, голый ствол, прямо на нем тут и там зеленеют плоды. Люди набрасываются на них, прилаживаются сосать. В одиннадцать отчетливые звуки перестрелки. беглый гремучий треск, в ответ — глухие, суховатые выстрелы. Впечатление такое, что бой идет где-то совсем рядом, прямо под нами. Три пули на излете врезаются в стволы деревьев. «Красивая штука — перестрелка издали», — замечает миловидный паренек из Сан-Антонио, совсем еще мальчик. «Поближе оно куда красивей», — говорит пожилой боец. Мы шагаем дальше, влезает на крутой берег речки. Выстрелы учащаются. Магдалено сидит, прислонясь к дереву, вырезает узоры на своей новой баклажке из гуиро. Завтракаем: крутые яйца, вода с медом, шоколад «Ла империаль» из Сантьяго-де-Куба. Вскоре новости, из селения пришли два человека. Они видели, как привезли одного убитого и двадцать пять раненых. Масео разыскивает нас, он поджидает нас где-то неподалеку. К Масео! Вот радость! Я писал Кармите²⁵: «Победившие кубинцы поджидают нас прямо на дороге, где шел бой. Они спрыгивают с коней, отбитых у жандармерии. Объятия, настоящая овация в нашу честь. Сажают и нас на коней, надевают нам шпоры». Удивительно, я не содрогнулся, увидев на дороге большое пятно крови! И покрытую полузапекшейся кровью человеческую голову, собственно уже погребенную, ибо кто-то из наших конников прикрыл ее куском картона — да почиет

в мире. Под жарким послеполуденным солнцем с колонной победителей едем в повстанческий лагерь. В двенадцать ночи они двинулись нам на выручку, через реки, через тростниковые плантации, сквозь колючие заросли. Они уже приближались к нам, когда на них напали испанцы. Не успев позавтракать, бойцы приняли бой, продолжавшийся два часа; после победы кое-как галетами заморили голод и пустились вместе с нами в обратный путь; предстояло проделать восемь лиг сначала под безоблачным и веселым небом, потом темной ночью сквозь колючие кустарники. Колонна растянулась длинной цепочкой, гуськом, по одному друг за другом. Что-то громко выкрикивая, скачут мимо меня адъютанты. Оборачиваемся им вслед, конные и пешие, приостанавливаемся. Въезжаем на плантации сахарного тростника, а когда выезжаем, у каждого бойца в руках сладкий стебель. Пересекаем широкое полотно железной дороги, с окрестных инхенио доносятся вечерние заводские гудки, вдали, где-то на самом краю равнины, вспыхнули электрические огни. «Колонна, стой! Отстал раненый!» Парень с трудом волочит простреленную ногу. Гомес сажает его на круп своего коня. Второй отказывается: «Спасибо, дружище, я не смертельно» — и шагает дальше, пуля засела у него в плече. Ах, ноги-ноженьки, до чего же вы, бедные, устали! Бойцы опускаются наземь на обочине дороги, винтовки кладут рядом с собой — и улыбаются нам, упоенные победой. Слышатся восклицания, смех, веселый говор. «Дорогу, дорогу!», появляется верхом на коне могучий Картахена, заслуживший в Десятилетней войне звание подполковника; у него зажженный факел, притороченный на манер копья к кожаному стремени. А вот и еще факелы, за ними еще; некоторые зажигают вместо факелов сухие ветки, они жарко полыхают, разбрызгивая во все стороны искры, выбрасывая языки пламени с дымным хвостом. Запела река. Здесь будем поджидать отставших. Наконец все в сборе, шляпы белеют в темноте. Это — последняя переправа, на том берегу — сон. Гамаки, огоньки свечей, котлы над потухшими кострами, лагерь спит. Сейчас и я улягусь под толстым деревом, положу рядом мачете и револьвер, вместо подушки — прорезиненный плащ... Но прежде, чем улечься, запускаю руку в рюкзак и достаю лекарства для раненых. Какие ласковые звезды — это в три ночи. В пять утра — все на ногах. Кольт — на бедро, мачете — на пояс, шпоры — на альпаргаты²⁶, и по коням!

Пал в бою отважный Альсиль Дювержье: что ни выстрел — то погибший товарищ; он был сражен пулей в лоб; другого стрелка пули изрешетили; погиб и смельчак, ворвавшийся на мост. Как устроили раненых в лагере? Я с трудом собрал их всех вместе подле их товарища по несчастью, который получил самое серьезное ранение. Казалось, он потерял сознание; его несли в гамаке, подвешенном к шесту. Табачный сок, выжатый в уголок рта, заставил его разжать зубы. Поморщившись, он отхлебывает глоток мараскина. А где же вода, вода для раненых? Ее наконец приносят, мутную, в грязном ведре. Свежую, чистую воду притаскивает заботливый Эваристо Сайяс, из Ти-Аррибы. А фельдшер? Куда подевался фельдшер? Почему он не оказывает помощи? Остальные трое раненых стонут, они в прорезиненных плащах. Наконец нашли фельдшера, закутался в одеяло, оправдывается тем, что у него лихорадка. И вот все вместе, с помощью Пакито Борреро — какие у него осторожные руки! — мы обрабатываем рану бойца. Ранение в спину, сквозное, входное отверстие с наперсток, выходное с грецкий орех. Промываем, потом йодоформ и вата, смоченная карболой. У другого прострелена насквозь верхняя часть бедра. Третий ложится ничком, пуля застряла у него в лопатке, ага, вот она, в центре большого, окровавленного отека на спине, выковыриваем ее; у раненого нос и рот изъедены сифилисом. У последнего опять-таки сквозное ранение в спину. Испанцы стреляли с колена, и низко летящие пули прошивали согнутые мускулистые спины. Такая же рана и у колумбийца Антонио Суареса, двоюродного брата Лусилы Кортес, жены Мерчана. Пеший, он отбил от колонны и в одиночку добрался до лагеря.

26-е. Строимся, едва взошло солнце. Сонные, садимся на коней. Пешие еле плетутся — не отдохнули. А вечером почти не ужинали. Привал в десять утра. Располагаемся по обе стороны от дороги. Из бедной крестьянской хижины прислали гостинец: курицу для «генерала Матиаса» и меду. Всю вторую половину дня и вечер посвящаю письмам: в Нью-Йорк, к Антонио Масео, который где-то поблизости, но не знает, что мы уже здесь, и, наконец, письмо Мануэля Фуэнтеса в «Уорлд»²⁷; заканчивая писания, встретил расцвет с карандашом в руке. Вчера время от времени окидывал взглядом лагерь: повсюду спокойствие, вид у людей счастливый; звучит горн; бойцы приносят на плече гроздь бананов; режут пойманные быки и коровы, их забивают;

Викториано Гарсон, негр с усами и остроконечной бородкой, человек трезвого ума, увлеченно и без намека на хвастовство рассказывает мне со своего гамака про победу, которую он одержал в Рамон-де-лас-Ягуас²⁸, его глаза горят, бурная речь сочна и красочна; он добр, авторитет, которым он пользуется, принадлежит ему по праву; своих белых адъютантов, Мариано Санчеса и Рафаэля Портуондо, он, по совести сказать, балует: когда им случится нарушить воинскую дисциплину, он с них не взыскивает. Сухопар, мягкая улыбка; одет в голубую рубашку и черные штаны. Помнит и заботится о каждом своем солдате. То тут, то там мелькает исполинская фигура Хосе Масео²⁹, у него еще не зажили руки, израненные, когда он продирался сквозь сосняки и тропические дебри в горах, после высадки и разгрома отряда, прибывшего из Коста-Рики, когда убили Флора, а Антонио с двумя товарищами удалось скрыться, и Хосе остался один; падая под тяжестью груза, который он нес, погибая от холода в сыром сосняке, еле переставляя распухшие, разбитые ноги, он шел вперед, и дошел, и уже побеждает.

27-е. Наконец-то лагерь. Эстансия³⁰ «Филиппины». Сразу же берусь за деловую переписку. Рядом в своем гамаке пишет и Гомес. — Днем. — Педро Перес, тот самый, что первым поднял восстание в Гуантанамо, восемнадцать месяцев провел в подполье, наконец вышел, было у него в отряде тридцать семь человек, смерть ходила за ними по пятам. Теперь у него двести бойцов. Его жена и семнадцать человек домашних скрываются в горных лесах. Это она прислала нам первое наше знамя. И подумать, что в годы Десятилетней войны он служил в испанских войсках. Начиная с Мигеля Переса — это у всех Пересов какая-то фамильная традиция. Человек невысокого роста, с сухощавым благожелательным лицом, обрамленным длинными редкими бакенбардами, с тростью, на которую опирается при ходьбе, с часами на серебряной цепочке, он со своими храбрецами обрыскал всю округу Баракоа, ежеминутно рискуя попасть в лапы к индейцам, но так и не повстречался с Масео, которого искал. Он в пурпурной панаме, яркая лента вокруг тульи вышита женой, концы падают на спину. Кавалерию не признает, сам тоже на лошади не ездит, и прорезиненные плащи ему не по душе, дождь так дождь, терпи и молчи.

28-е. Встречаю рассвет за работой. В девять строимся. Прямая, короткая речь Гомеса. Потом говорю я, лицом

к солнцу³¹. И за дело. Спать наших людей в едином порыве; определить цели войны, организовать наши силы и вести военные действия решительно и милосердно; установить сообщение с Севером³²; раздобыть артиллерию, довести военные операции до победного конца, не поддаваясь ни на какие посулы. Пишу циркуляр командирам — всякий авантюризм карается как измена; затем обращение к владельцам сахарных плантаций; призыв от имени Гомеса к землевладельцам; письма к нашим возможным друзьям; письма по поводу открытия почтовой связи и о складах; письмо к Бруксу³³ о нашей встрече; письмо английскому правительству, через английского консула в Гуантанамо, с приложением заявления Хосе Масео о том, что матрос со шхуны «Онор», доставившей экспедицию из Форчун-Айленда, погиб из-за случайного выстрела, произведенного бойцом по фамилии Корона; инструкцию для Хосе Масео, которого произвели в генерал-майоры; записку Руэнесу с предложением прислать представителя от Баракоа в Ассамблею депутатов революционного кубинского народа, которой предстоит избрать революционное правительство Кубы; письмо к Масо³⁴. Явился Луис Бонне³⁵, которому, как человеку разумному и доброму, поручили сформировать для меня личный эскорт. Он привел мне адъютанта. Это — Рамон Гаррига-и-Куэвас, которому в Нью-Йорке, когда он был еще ребенком, я дарил игрушки и сласти, чтобы он не шалил и не капризничал; теперь это скромный, сразу располагающий к себе юноша с ясной головой и отважным сердцем.

29-е. Работаю. Рамон ни на шаг от меня. Когда противник при Арройо-Ондо атаковал наши фланги, он убил испанского лейтенанта, креола, брат которого сражался в наших рядах. «Припечатал его лицом к земле», — рассказывает Рамон, при этом лицо у него ангельски безмятежно.

30-е. Работаю. Колумбиец Антонио Суарес настойчиво жалуется: на него не обращают внимания, а он полковник. Масео, ссылаясь на неотложную боевую операцию, ждать нас не будет. Выступаем завтра.

1-е мая. Снимаемся с лагеря в Вуэльта-Корба. Это здесь Поликарпо Пинедра, по прозвищу Рустам, а также Зануда, изрубил на куски Франсиско Переса, служившего у испанцев. А как-то раз Зануда расстрелял Иисуса Христа: он носил большое нательное распятие, вражеская пуля вдавила ему в грудь половину поперечины креста; тогда Зануда покончил с распятием: всадил в него четыре

пули, по одной на каждый конец. Под этот рассказ мы утром выезжаем в цветущую долину кофейных плантаций; тут же бананы и какао, это уже совсем другой край — сказочно красивое место: Ла-Фонтина. Здесь и там из моря зелени выгладывает вдалеке крыша из пальмы гуано, и рядом высятся все в лиловых цветах красное дерево, караколильо.

И вот уже мы въезжаем на кофейные плантации Песуэлы; имение называется «Кентукки». Напротив господского дома — большие, каменной кладки сушильни. Самый дом наряден, просторен, белые стены, балконы; в поместительном нижнем этаже — машины. В дверях Насарио Сонкур, приятной наружности мулат; кувшин с водой, стаканы — на табурете. Из-за своих великолепных кофейных деревьев, среди которых разбросаны каменные, крытые черепицей домики, к нам выходят братья Теро; младший не знает, с чего начать, весь покраснел от неловкости, в глазах — страх и смятение, бормочет: «Но ведь нам здесь позволят остаться... работать, да? мы сможем работать, как до сих пор?» Он твердит свои вопросы, точно помешанный. И снова лес. Для ездового Гомеса, Эстанислао Крусата, горный лес — родная стихия; он срубает два деревца, вбивает перед каждым пеньком подпорку с развилкой на конце, приколачивает к пенькам и кладет на развилку поперечины, затем крестовины, продольные шести — и скамья готова. Короткий отдых, и по заросшей тропе — в глубь плодородных земель Ти-Аррибы. Блестит на солнце освежающий дождик, клонят тяжелые ветви апельсины, влажная земля покрыта высокой травой; прорезая зеленую сельву, летят белыми стрелами в синеву неба тонкие стволы королевских пальм; лианы вплелись в слабеющие ветви кустарников; колеблемые ветерком, свисают сверху ровные, будто закрученные рукой человека, спирали купея. Утоляю жажду прозрачной водой, трещат под полуденным солнцем цикады. Ночлег — в доме «плохого испанца»³⁶; хозяин сбежал в город Кубу. Цинковая крыша, пол, как в свинарнике. Бойцы набрасываются на гроздь бананов, развешанные на подставках под крышей, на свиней, на голубей, на уток, на участок, засаженный юккой. Это усадьба Демахага³⁷.

2-е. Дальше, по направлению к Харагуэте. Кругом илхенио. Едем по обширнейшим и покинутым тростниковым плантациям Сабанильи. Рафаэль Пёртуондо отправляется в усадьбу за скотом, пригоняет пять голов скота,

четыре бычка связаны попарно за рога. Хлещет дождь, на ребят жалко смотреть. Добираемся до инхенио «Леонора», ужинать поздно. Мы уже укладывались в гамаки, поев сыра с хлебом, когда в сопровождении кавалеристов Сефи приехал корреспондент «Геральда» Джорж Брайсон. Проработал с ним до трех ночи.

3-е. В пять мы с полковником Ферье (он вчера вечером приехал на свои кофейные плантации в Харагуэте) у него дома, на вершине холма. Из гостиной, как с эстрады, можно обозревать раскинувшийся внизу пейзаж с праздно мельницей для размола зерен кофе и какао, широкие ландшафты разворачиваются справа и слева на отлогих склонах, невдалеке журчат по каменистому руслу две речки, тут и там высятся растущие вразброс пальмы, на горизонте вдали горы. Весь день тружусь над заявлением в «Геральд» и другими материалами для Брайсона. В час ночи тщетно разыскиваю свой гамак и вижу, что многие спят на земле; потому, вероятно, забыли повесить гамак и для меня. Растягиваюсь на скамье, вместо подушки под голову — шляпу. Холод гонит меня на кухню, где пылает огонь. Мне дают пустой гамак, укрывают старым одеялом. В четыре побудка.

4-е. Брайсон уехал. Немного погода — полевой суд над Масабо. Насилия и грабеж. Председательствует — Рафаэль, Мариано — обвиняет. Масабо, мрачный, все отрицает. Лицо зверское. Защитник вызывает к милосердию³⁸ в честь нашего прибытия. Расстрелять. Во время чтения приговора кто-то в задних рядах чистит стебель сахарного тростника. Слово берет Гомес: «Такого человека мы не можем назвать своим товарищем. Это подлый предатель». Масабо слушает стоя, поднимает на Гомеса ненавидящий взгляд. Бойцы молчат, потом — единодушный крик одобрения: «Вива!» Формируют команду, звучат приказы, Масабо стоит неподвижно, не опуская глаз, ни один мускул не дрогнул на его лице, и только трепещет, словно на быстром ветру, легкая ткань широких штанин. Наконец, трогаются: кавалеристы, осужденный, за ним — весь отряд, к ближней ложбинке. Солнце. Напряженная минута, бойцы стоят в молчании, тесно сомкнув ряды. Залп, одинокий выстрел и еще один, чтобы добить. Масабо встретил смерть мужественно. «Как мне стать, полковник? Лицом или спиной?» — «Лицом». И в бою вел себя храбро.

5-е. Масео назначил нам встречу в Бокуси в полдень, но к этому времени мы туда не успеем. Вчера вечером он

сам предложил ждать нас у себя в лагере. Мы двинулись всем отрядом. Вдруг навстречу всадники. Впереди на золотистом коне Масео, в одежде из серого голландского полотна, уже и седло в серебре, щегольское и со звездами. Он выехал сам встречать нас, потому что его войско сейчас находится на марше. В ближайшее инхенио «Мехорану» отправляется Маспон, распорядиться, чтобы там приготовили завтрак на сотню человек. В инхенио нас принимают как дорогих гостей: на лицах рабочих и слуг радость и восхищение. Хозяин, краснолицый старик с бакенбардами, маленькими ногами и в панаме, угощает нас вермутом, сигарами, ромом, мальвазией. «Зарежьте трех кур, нет, штук пять, десять, четырнадцать». Шлепая сандалиями, подходит гологрудая женщина, подносит зеленоватую, настоящую на травах водку; другая — бутылку неразбавленного рома. Вокруг суета. Люди приходят и уходят. Вездесущий адъютант Масео, словоохотливый Кастро Паломино, приносит все новые блюда, уносит тарелки. Масео и Гомес о чем-то шепчутся неподалеку от меня, немного погодя подзывают меня к себе, в тень портала: оказывается, у Масео свой взгляд на будущий образ нашего правления: генеральская хунта, осуществляющая власть через своих представителей, и генеральный секретариат, то есть родина и все ее гражданские учреждения, призванные формировать и воодушевлять армию, это — секретариат при армии. Чтобы обсудить вопрос, входим в дом. Мне не удастся столкнуться с Масео. «Но вы остаетесь со мной или уходите с Гомесом?» И, обращаясь ко мне, перебивает меня, не давая слова вставить, будто я уже являюсь представителем правительства крючкотворов и политиканов. Я чувствую, что задето его самолюбие. «Я люблю вас теперь меньше, — говорит он мне, — чем любил прежде». Потому что руководителем экспедиции был назначен Флор, а он подчинен ему, и были истрачены его деньги. Я настаиваю на том, что сложу свои полномочия перед народными представителями, которые соберутся, чтобы избрать правительство. Он не хочет, чтобы каждый командир соединения посылал представителя, избранного войсками, от Орьенте он сам пошлет четырех. «Через пятнадцать дней они будут у вас, и уж это будут такие люди, что их не собьет с толку никакой доктор Марти». За более чем роскошным, ломящимся от еды столом — куры, молочные поросята — спор снова разгорается. Выслушиваю оскорбительные колкости, понимаю, что обязан дать отпор неблагоприятным попыткам представить

меня не нюхавшим пороха создателем разных препон, мешающих военным воевать. Ставлю вопрос ребром: армия — свободна, на ее свободу никто не посягает, но родина — это родина, она должна быть представлена во всем своем достоинстве. Не скрываю, что нахожу неуместным навязанный мне откровенный разговор, тем более за общим столом, когда Масео торопится с отъездом. Скоро стемнеет, а ему шесть часов пути. Здесь поблизости стоят его войска, но он не хочет их нам показать. Это объединенные силы повстанцев Орьенте: отряды генерала Раби³⁹, округа Хигуани, Бусто, города Кубы, пришедший с нами отряд Хосе Масео. Антонио Масео вскакивает в седло, коротко бросает: «Вам в ту сторону» — и мы уезжаем. Наш эскорт приуныл, начинает темнеть, а у нас ни вестовых — они остались у Хосе, — ни ясной цели. Укрываемся под придорожным навесом, коней не расседываем, посылаем за вестовыми, потом добираемся до какой-то невообразимо грязной хижины, место со всех сторон открытое, негодное для лагеря. Гомес посылает за мясом в лагерь к Хосе. Мясо привозят вестовые. Ложимся спать. На сердце тяжело. Чувство покинутости.

*(В дневниках отсутствует запись за 6-е мая, стр. 28, 29, 30, 31.)*⁴⁰

7-е. Выступаем из Хагуа, прощаемся с тамошними старыми и верными мамби. Направляемся в Михиаль. В Михиале лошадей кормят дикими ананасами, из них же и из кедровых шишек делают пробки для больших бутылей. Сесара поят отваром из листьев гуанабано, это хорошее лекарство при грудных болезнях и приятный напиток. Пруденсио Браво, приставленный к раненым, вышел на дорогу, чтобы попрощаться с нами. Видели дочь Николаса Седеньо, довольная, она рассказывает, что отправляется со своими пятью детьми к себе в горные леса под Ольгином. По дороге на Барахагуа — «здесь шли большие бои», «все это перешло в наши руки» — вспоминаем события прошлой войны. Оттуда, из непроходимых лесных зарослей по обеим сторонам дороги, с крутых холмов, между которыми она петляет, мамби совершали внезапные налеты на войсковые колонны, так что под конец испанцы уже не пользовались этой дорогой на Пальму и Ольгин. Сефи говорит, что по ней он вез Мартинеса Кампоса⁴¹ на первую встречу с Антонио Масео: «А выскочил он от Масео красный как помидор, бешеный прямо, шляпу оземь — и поскакал, целых пол-

диги отмахал, пришлось ему потом меня дожидаться». Где-то поблизости остается Барагуа. Дорога выводит нас на саванну Пиналито, ровное место, понижающееся к речке Пьедрас, переезжаем ее и поднимаемся на яйцевидную, покрытую красномозем каменистую высоту Рисуэнья, за ней причудливая горная гряда с вершинами странных очертаний: на одной — рощица, другая напоминает конское седло, третья — уступы гигантской лестницы. Мы в центре саванны Дель-Вио, зеленой раковины, обрамленной горными и пальмовыми рощами, островки леса разбросаны и по равнине, наподобие клумб, попадают и кусты боярышника, дающего отличные дрова. По зеленой траве, отливающей лиловым и белым от распустившихся цветов, бегут черные тропинки. Справа, по гребню сплошной сьерры, — кромка соснового бора. Хлынул ливень. Впереди едет наш авангард, у одного мамби шляпа из пальмы ягуа — на голове, у другого — за плечами, у этого за плечами ружье, у того переднюю луку седла заменяют стебли сахарного тростника. На земле — витки перекрученных телеграфных проводов. Проезжает Педро с только что выструганным древком знамени. У Зефи в перекрест португеи засунута олсвятная ложка. У Качона — он босиком — блестит опущенный вдоль бедра ствол винтовки. Их нагоняет Самбрана с болтающимся на боку котелком. Какой-то мамби натянул поверх френча черный скюртук. Оглядываюсь назад, на замыкающих нашу колонну мулов и быков, на бойцов арьергарда с их карабинами, на фоне серого неба фигуры трех тяжело шагающих... один прикрыл себе голову листом пальмы ягуа, будто пончо. Выезжаем на соседнюю саванну Ато-дель-Медио — место, хорошо известное по прошлой войне, едем по траве, примятой ливнем, скоро лагерь, в той стороне, где пасется редкое коровье стадо. «Здесь, — говорит Гомес, — у нас вспыхнула холера. Я вернулся сюда⁴² с двумястами солдат, привел с собой четыре тысячи освобожденных рабов, которых могли захватить испанцы, а кругом — стада, прямо стена сплошная, стали забивать и столько перебили, что от миазмов люди умирать начали, в этом походе трупами всю дорогу выложил, пока дошел до Такахо, потерял пятьсот человек». И он рассказывает мне про Такахо, про соглашение между Сеспедесом и Донато Мармолем. После падения Баямо⁴³ Сеспедес скрылся. Эдуардо Мармоль, человек образованный и неудачливый, посоветовал своему брату Донато установить диктатуру. Феликс Фигередо просил Гомеса поддержать Донато и вой-

ти в диктаторское правительство. Гомес ответил, что уже сам об этом подумывал и выполнит задуманное, но не по его, Феликса, совету, а потому, что, действуя изнутри, легче будет сорвать всю затею. «Да,— сказал Феликс,— революция породила ядовитую змею». «Именно такой змеей он сам и был»,— сказал мне Гомес. Сеспедес, находившийся в Такахо, пригласил Донато к себе на совещание. Гомес в то время был уже с Донато и предложил, что он поедет вперед и даст знать, как обстоят дела. За четверть лиги до ставки Сеспедеса Гомеса встретила высланная вперед охрана, в ее сопровождении он въехал в лагерь, и, как ему показалось, в лагере царили испуг и смятение, но потом навстречу Гомесу вышел Маркано⁴⁴ со словами: «Давай же обнимемся!» А когда прибыли братья Мармоль и за столом, накрытым на пятьдесят персон, заговорили о разногласиях, первый же обмен мнениями показал: все, как и Гомес, стоят за признание власти Сеспедеса. «Эдуардо аж почернел весь». «Никогда не забуду речи Эдуардо Артеаги». «Как ни ослепителен блеск солнца,— сказал Артеага,— случается, что оно гаснет от внезапного затмения, но мимолетная тьма рассеивается, и сияющее светило вспыхивает еще ярче,— так случилось и с нашим солнцем Сеспедесом».

Рассказывал Хосе Хоакин Пальма⁴⁵. «Эдуардо? Он спал во время съезды, а на хозяйственном дворе расшумелись негры. Он велел им замолчать, но они продолжали разговаривать. А, не слушаетесь? Эдуардо выхватывает револьвер, стрелок он был меткий, и человек падает замертво — с пулей в сердце, а Эдуардо досыпает съезду». — Вот, наконец, мы прибыли. Звучит горн, бойцы Кинтина Бандероса⁴⁶ под дождем построились для встречи. Нас обнимает черный-пречерный Нарсисо Монкада, брат Гильермо⁴⁷; у него усики и борода; он в сапогах, панаме и плаще. «Эх, жалко, не хватает здесь одного человека!» Кинтину за шестьдесят, он коренаст, голова выросла в плечи, глаза смотрят в землю, несловоохотлив. Встречает нас в дверях хижины, у него лихорадка. Закутавшись, укладывается в гамак, лишь наклонившись, удастся заглянуть в его пожелтевшие маленькие глаза, кажется, они смотрят на тебя откуда-то из глубины; в изголовье гамака стоит барабан. У Кинтина заместителем Деодато Карвахаль; он изящен и строен, у него цепкий и организованный ум, схватывающий все на лету. Деодато толков, деловит, распорядителен; есть в нем и методичность, и командирский

авторитет, и умение решительно постоять за себя и за других. Он сообщил мне, что доставлял мои письма Монкаде. Силач Нарсисо Монкада добродушен, разговорчив, любит покрасоваться: «в рассуждении выпивки я ни-ни», «брата похоронили в могиле глубже, чем в рост человека, по специальному инженерному расчету, а где — знаю только я да еще двое-трое людей, меня убьют, другой помнить будет, убьют его, опять кто-нибудь будет знать, так что могила не затеряется». «А наша матушка с нами обращалась так, как если бы она была самой матерью-родиной». «Три раза сажали Доминго Монкаду в крепость «Морро», и все потому лишь, что один генерал, которого теперь уже нет в живых, вызвал ее к себе и сказал, чтобы она передала своим сыновьям от него предложение, а она отрезала: «Так ведь, господин генерал, доведись мне увидеть, что, скажем, по этой вот тропке идут мои сыновья, а по той, им навстречу — вы, так я крикну: «Бегите отсюда, сыночки, тут испанский генерал!» В ранчо въезжаем верхом, вокруг болотистая грязь, спешиться невозможно, воздух зловонен от множества забитого скота. Ранчо, низкий потолок, вприщеп развешаны гамаки. В одном углу — кухня, кипят котлы. Нам приносят кофе, имбирь, отвар из листьев гуанабано. Нарсисо Монкада то выходит, то снова входит, намекает на то, что Кинтин оставил Гильермо без поддержки. Кинтин обращается ко мне: «а потом вышла эта история моя с Гильермо Монкадой, или его со мной, он захотел подчинить меня Масо, а я попросил снять меня с командования»; Карвахаль говорил о разочарованиях, пережитых Бандерасом. Лежа в своем гамаке, Рикардо Сартериус рассказывает мне о Пурнио, о том, как он получил из Сьенфуэгоса подложную телеграмму с приказом на восстание; потом о своем брате Мануэле, которого Миро оставил без войск и «вынудил сдаться», «ему это было на руку, накинуть петлю на шею». Прибыл Калунга, от Масо, с письмами для Антонио Масео: Масо не сможет в ближайшее время встретиться с М[асео]; он прикрывает группу патриотов, боюко что высадившуюся на Юге. В Баямо идут серьезные бои. Взялся за оружие Камагуэй. Выступили Маркиз⁴⁸ и сын Аграмонте⁴⁹. Зловоние.

8-е. Отправляюсь работать на ближний холм, где разбивают новый лагерь: хижины из древесных стволов, связанных лианами, кровли из пальмовых листьев. Для нас обрубают нижние сучья с дерева, мы пишем стоя. Письмо Г[омеса] к Миро, он высказывает уверенность, что Миро,

как полковник, окажет поддержку «бригадиру Анхелю Герре, назначенному командующим войсками округа». И от меня; обходя острые углы, убеждаю Миро, что с его стороны будет разумно и благородно согласиться поддержать Герру. Миро — полковник и верховодит в округе. А Герра провоевал всю Десятилетнюю войну и не станет подчиняться Миро. Письма к видным лицам в Ольгине и обращения: к богачу Гуадалупе Пересу; к прокурору Рафаэлю Мандулею; к адвокату Франсиско Фрексесу. За столом, в будничной обстановке, заседает полевой суд. Обвиняемые: Исидро Техера, а также Онофре и Хосе де ла О. Родригес. Мирные жители сообщили, что эти трое наводят ужас на весь околоток. Капитан Хуан Пенья-и-Хименес, Хуан Хромоногий, участник «всех трех войн», одна нога отнята ниже колена, что не мешает ему вскакивать в седло одним прыжком. Он слышал от крестьян о чинимых над ними насилиях, видел их покинутые дома, кроме того, обвиняемые отказались сдать ему оружие и грозились убить. Выяснив все, что вызывало у них сомнение, судьи выносят смертный приговор. Идем в только что построенную хижину, собственно, навес без стен. Горнист Хосе Гутьеррес, славный малый, состоящий при Пакито, трубит сбор. Преступников ставят перед замершим в молчании строем, и Рамон Гаррига читает смертный приговор и два помилования. Гомес произносит речь: необходимо блюсти честь знамени, «этот негодяй замарал наше знамя». Исидро привели плачущим, он просит разрешения что-то сказать; бессвязно, сквозь всхлипывания твердит, что его убивают, а он не виноват, пусть его не убивают, столько товарищей, братьев, неужто не вымолят ему пощады. Трубят марш. Никто не произносит ни слова. Приговоренный плачет в голос, корчится, пытаясь освободиться от веревок, упирается. Снова трубят марш. Бойцы, построившись по двое, идут на место казни. Приговоренный продолжает умолять, его и помилованных ведут, подталкивая прикладами, Чакон и четверо бойцов. Позади Гомес, один, без краг, в голубом френче и маленькой шляпе. Несколько человек отстали, нет Монкады — он не пошел смотреть на казнь. Осужденный уже на месте казни, он кричит, обезумев от ужаса, вытаскивает часы, Чакон вырывает их у него из рук, швыряет в траву... Гомес отдает команду, лицо у него искажено, выхватил револьвер, между ним и преступником шага три-четыре. Преступника ставят на колени, смертный страх на его лице, но в последнем своем смятении, стискивая в руке

шляпу, он еще успевает раза два-три повернуть голову в одну сторону, в другую. В двух метрах от него — наведенные с колен винтовки. «Целься! — командует Гомес. — Пли!» — и тот валится на траву, мертвый. У одного из помилованных — помилования требовал я и настоял на своем — темнокожее лицо на миг стало серым, но страха я не заметил, лишь холодная испарина выступила на лбу; второй, со связанными руками, весь подался назад и в сторону, будто стреляли в него, голову тоже инстинктивно отвернул, разом осунувшееся лицо перекошено. Был ветер, торопливые вечерние облака, а им читали приговор, и они сидели втроем прямо на земле, с колодками на ногах, и один стискивал себе ладонями виски. А другой, Онофре, слушал, словно не понимая, и оборачивался на каждый шорох. Колдунок (приговоренный к расстрелу) ожидал приговора, согнувшись и ковыряя землю, временами он вскидывал черную голову с широко поставленными маленькими глазками и плоским носом почти без переносицы. Колодки сделали на скорую руку: положили наземь бревно, сверху прикрепили другое, потоньше, приколотили верхнее к нижнему, оставив узкое отверстие для лодыжек, чтобы нельзя было вытащить ступню. После рассказывали, что Колдунок был в прежнее время бандитом. «Будьте спокойны, — уверяет Монкада, — у него где-нибудь закопано добрых четырнадцать песо за упокой души». В хижине вокруг стола при свете свечи Монкада сидит на чемодане и рассказывает, как Гильермо, уже умирающий, отправился в свой последний поход — на встречу с Масо. В тюрьму Гильермо попал совершенно здоровый, а вышел исхудалый, изможденный, харкая кровью, стоило лишь кашлянуть. Один раз в пути он опустил наземь у дороги и поднес руку ко лбу: «Голова разламывается», и у него хлынула кровь горлом, потом отдышался, рассматривает свою кровь и говорит: «Эта красная из груди, а эти черные сгустки — со спины, из-под лопаток». Рассказывают Сефи и Гомес о выдержке Гильермо Монкады: «В одном бою его ранило в коленку, и кость налезла на кость, вот так, — Сефи складывает на груди руки, ладонь на ладонь, — вправить вывих никак не удавалось, но у нас был барак повыше этого, мы подняли его под мышки, подвесили к потолку, я ухватил его за голень и повис на ней всей своей тяжестью, и кости стали на место — а он хоть бы охнул». Сефи долговяз и сухопар. «Если теперь опять кончат дело дерьмом, я уйду в леса, стану бандитом». — «На этот раз мы так хорошо все задума-

ли, — замечает Монкада, — и чтобы все обернулось подлой сделкой». С горькой обидой вспоминает, как Урбано Санчес пренебрежительно относился к Гильермо. Для него было всего дороже быть принятым в общество белых. «Я говорю вам: вся Куба расколота на два лагеря и между ними страшная пропасть». И чувствуется давнее злопамятство в резкости, с которой он осуждает Мариано Санчеса; в Рамон-де-лас-Ягуас тот настаивал, чтобы выполнили обещание и вернули оружие сдавшемуся в плен лейтенанту: а у М[онкады] и многих других были старые охотничьи ружья, и они собирались атаковать шестьдесят солдат, вооруженных винтовками. «А вы кто такой, — по словам Н[арсисо], закричал на него М[ариано], — что суетесь не в свое дело?» Г[омес] берет слово: «Прошу прощения, а М[ариано] не похож на кубинца, что бы там ни болтали. Да и отец у него уехал за границу, а сына послал к нам, хочет сразу быть в обоих лагерях». Мы долго говорили о необходимости совершать налеты на неповоротливого противника, постоянно навязывать ему бой и в боях сплачивать бездействующую революционную армию, преобразовывать в более дисциплинированную и активную силу отряды, вроде здешнего, где люди только и знают, что есть да спать, хотя их четыреста человек при трехстах лошадях и постоянно поступающем пополнении. «Уж я-то с моими двустолками и двумя винтовками сумею вооружиться», — сказал Бандерас; Бандерас, который проводит дни в одиночестве, валяясь в гамаке в вонючем ранчо.

9-е. Уезжаем. Прощайте, Бандерас и Монкада и умница Карвахаль, — как он рвался уйти с нами! — прощай повстанческий лагерь. Перед каждой хижинкой стоят мамби и машут шляпами. «Да хранит вас господь, братья мои!» Мы проезжаем рядом со свежей могилой, на которую никто даже не взглянул. Через грязный загон выезжаем в саванну, вдали манговые деревья — это Барагуа; а те два ствола, сходящиеся под одной кроной, тоже манго, именно тут Мартинес Кампос вел переговоры с Масео⁵⁰. Наш проводник, житель Майяри, присутствовал при их встрече: «Мартинес Кампос хотел его обнять, но Масео отгородился рукой, вот так; тогда и швырнул Кампос свою шляпу оземь. А я доложил, что прибыл Гарсиа⁵¹, и надо было видеть этого сеньора, когда Антонио сказал ему: «Не желаете ли познакомиться с Гарсиа?» Гарсиа-то тут неподалеку находился, в лесу на горе, и во всем этом лесу были только мы, кубинцы, а за лесом стоял другой отряд на тот случай, если

испанцы задумали ловушку». «Равнина протеста» выводит нас на край высокого обрыва, к заброшенному ранчо, откуда виден пересохший рукав реки, заросший густыми травами, в траве лежат стволы деревьев, по ним змеятся лианы, усеянные голубыми и желтыми цветами, а дальше за речной излучиной — крутой берег. «О! — восклицает Гомес. — Кауто! Давненько же мы с тобой не виделись!» К реке с обеих сторон тянутся один за другим огромные, глубокие овраги с буйной зеленью на почти отвесных склонах, Кауто еще не разлился, в нем течет мутная, бурливая вода первых дождей. Благоговейная нежность затопляет грудь перед величественным видом родной реки. Переправляемся через Кауто возле сейбы, обмениваемся приветствиями с семейством мамби, радостно встретившим наше появление, выезжаем в светлый, пронизанный ласковым солнцем лес с легкими, стройными деревьями в потоках сочной листвы. Лошади, как по ковру, ступают по густой мураве. В вышине тянутся в синее небо по стволам молоденьких пальм лианы курухея, вперемежку с пальмами растут дагаме, деревья с самыми изящными цветами, излюбленным лакомством пчел, а вот и гуасима и хатиа. Вокруг колышутся гирлянды листвы, а в просветах справа чистейшим изумрудом светлеют лужайки противоположного берега под густым пологом леса. Там высоко поднял свою неширокую крону атехе, весь обвитый лианами, рядом с ним виднеется капаловое дерево, самое крепкое кубинское дерево, тут же и толстый ствол хукаро, а рядом отливает шелком кора альмасиго, марена-хагуа распластала широкие листья, на лиане гуири круглятся тяжелые головы плодов, а вот и твердая антильская кассия-хигуе, из черной сердцевины которой выделяют трости и палки, а кора служит дубителем, еще дальше — хубабан с его тонкой листвой, которою слой за слоем прокладывают листья табака, чтобы «покрышка сигары получилась атласистой», вот красное дерево, с его режущей на вкус корой, вот рассеченный глубокими продольными морщинами ствол кебрачо с мощными, чуть ли не у самых корней отходящими ветвями (каймитильо, лиана-купей, пикапика), а вот и кровоостанавливающая ямагуа. Косма Перейра встречает нас на дороге, и с ним сын Эусебио Венеро. Он поворачивает в Альтаграсию, оповестить о нашем приезде. Еще жив в Альтаграсии Мануэль Венеро, глава целой семьи патриотов. Его дочь Панчиту зарубил своим мачете «астуриец» Федерикон за то, что она не уступила его домогательствам. Гомес был близким

другом семейства Венеро, это он превратил смельчака Мануэля в грозного партизанского вождя, а с Панчитой Гомеса связывало чувство дружбы настолько глубокое, что ходили разговоры, будто они любят друг друга. Случилось так, что «астурийцу» удалось захватить и увести с собой всех домочадцев Мануэля, и в пути он все время удерживал Панчиту позади остальных, чтобы добиться своего. Она сопротивлялась. «Не хочешь, потому что крутишь любовь с Гомесом». Она с негодованием оттолкнула его, и он, своей рукой, ее зарубил. И вот сегодня в непроглядный ливень дом Мануэля встречает нас, как самых дорогих гостей, хорошим горячим кофе. Оказывается, тут уже и Миро со своими ольгинцами, он решил перехватить нас на дороге. Выслал на разведку Панчо Диаса, парня, совершившего убийство и затем скрывавшегося на Монте-Кристи; Панчо знаток местных рек, умеет переходить их в самое половодье, мастер отлова и забоя диких свиней, он их ловит лассо, а забивает мачете. А вот и сам Миро, учтивый всадник на породистом коне: меня он приветствует с особенной теплотой; говорит с сильным каталонским акцентом, красив, изящен, остроконечная бородка, лысина и быстрые, живые глаза. Своих людей он передал Герре, а сам с эскортом — молодцы как на подбор — отправился встречать нас. «А, вот и Рафаэль!» В желтом пиджаке из манильского волокна, в белом жилете, в узкополой панаме набекрень — Рафаэль Мандулей, прокурор города Ольгин, он только что присоединился к повстанцам. Бойцы Миро — отлично снаряжены, это молодые деревца хорошего корня. Хайме Муньос, прямой пробор, дельно распорядителен; Хосе Гонсалес, Бартоло Рокаваль, Пабло Гарсиа, проводник с собачьим нюхом; Рафаэль Рамирес, старший сержант в годы Десятилетней войны, сухощав, черные усики; Хуан Оро, рослый добряк Аугусто Фериа, кассир из небольшого городка, книгочей, Теодорико Торрес, Николасо Пенья, Рафаэль Пенья, Луис Перес, Франсиско Диас, Иносенсио Соса, Рафаэль Родригес — и Плутарко Артигас, зажиточный ранчero, белокурый, с раскосыми глазами, прямодушный и услужливый; он бросил свой большой дом, все свое крепкое хозяйство «и девятих ребятишек, а старшенького с собой прихватил». Гамак у него необъятный, с любовно сшитой подушечкой; лошадь — могучая, одна из лучших в округе; воевать едет подальше от родных мест: «здесь все равно буду на привязи у семьи»; и: «детишки виснут на мне гроздьями, хотим спать вместе с папкой, да и все». Миро

и Мандулей все еще смотрят на дело со своей местной политической колокольни. Мандулей: «Меня даже не поставили в известность, что замышляется восстание». Это его-то, с его славой стойкого борца и моральным авторитетом; он обижен; приехал на встречу с Масо; «а дети? они питались у меня по науке, а теперь бог знает, что они там едят». Оживленно жестикулируя, волнуясь, Миро рассказывает о кампании, которую он в течение семи лет вел на страницах «Доктрины» в Ольгине, а затем в Мансанильо в «Либерале», о том, как он обличал «туполобых», «астурийцев» и «прихлебателей-интегрисов»⁵², «пришлось бросить жену и дочь на произвол судьбы и пошататься со своими славными конниками по округе, не слишком досаждая испанцам». Он рассказывает мне о том, как Гальвес старается в Гаване приуменьшить значение революции, о бешеной ненависти, с какой Гальвес отзывается обо мне и о Хуане Гуальберто:⁵³ «Вас, вас — вот кого они боятся»; «они глотки сорвали в криках, что вы не посмеете высадиться, а вы им все карты смешали». Здесь, как и повсюду, меня поражает любовь, которую нам выказывает народ, и единодушное убеждение, что *революционный энтузиазм этого первого года революции ничем, даже нерешительностью, не будет ослаблен, что мы не допустим охлаждения или разочарования*. Идеи, посеянные мною, принесли плоды, это — дух самой Кубы; проникнутое им, ведомое им, наше дело восторжествует в короткий срок; победа будет более полной, а мир более надежным. Предвижу, что, по крайней мере на какое-то время, дух этот будет насильственно отторгнут от революции, будет утрачено естественное слияние его обаяния и любви с победительной силой, будет нарушена связь между военными действиями революционных сил и идеями, которые их воодушевляют. Небольшая деталь: с самого моего появления на Кубе повстанцы повсюду называют меня *президентом*, несмотря на все мои протесты; в каждом отряде, куда бы я ни прибыл, люди встречают меня этим проявлением уважительности, тут слышится одновременно и всеобщий энтузиазм, и чуть ли не любовь ко мне; всякий раз мне выражают радость по поводу моего прибытия, видимо, нравится и то, что я держусь просто. Сегодня подходит ко мне боец: «*Президент...*» Я улыбнулся. «Не говорите при мне: «Марти-президент»⁵⁴. Марти-генерал, так его и называйте, он прибыл к вам как генерал, не зовите его президентом». Вмешивается Миро: «Так ведь людям не запретишь, генерал! Они

же от чистого сердца». — «Ладно, ладно, но пока что он еще не президент, он Делегат». Я молчал, однако заметил недоуменные взгляды, все были неприятно поражены, некоторые казались даже оскорбленными. Миро, в подтвержденном нами чине полковника, возвращается в Ольгин; он не станет противодействовать Герре и будет выполнять его распоряжения. Говорим о необходимости активных наступательных операций; нужно выманивать врага из городов, бить его в поле внезапными атаками, перерезать все его коммуникации, преследовать его обозы. Возвращается и Мандулей, не очень довольный: ему предстоит употребить на пользу нам все свое влияние в округе, где его хорошо знают, стать благоразумным советчиком Герре, сплотить всех мамби Ольгина, не допуская столкновения между ними, поддерживать доброе согласие между Геррой, Миро и Фериа. Засыпаем, тесно набившись в дом, огражденный стенами дождя. Собак рвет: объелись убоиной. Так проходит ночь в Альтаграсии. Снова в путь, единственное селение по дороге — Арройо-Бланко; опустелая лавка, кучка ранчо; ранчero — толстобрюхий белый эгоист с крючковатым носом, сползающим на жидкие черные усики; думает лишь о своем благополучии; жена — негритянка. Из двери высовывается слепая старуха, прислонилась к косяку, желтая рука протянулась вперед и оперлась на палку; одежда опрятна; на голове платок. «А теперь голоколенники людей убивают? Кубинцы никогда мне не сделали ничего худого, сеньор, никогда».

10-е. Из Альтаграсии мы едем в Травесию. Здесь, едва приехав, я неожиданно опять увидел Кауто, река неслась внизу, в каньоне, уже полноводная, широкая, с обеих сторон спускались к ней один за другим овраги; и внезапно перед лицом этой красоты меня пронзила мысль о низменных страстях и жестокости человека. Когда мы подъезжали, Пабло с лассо погнался за телкой. Телка черная, с едва пробивающимися рожками. Обмотав лассо вокруг дерева, ее притянули, прижали вплотную к стволу. Наши лошади храпят, подымаются на дыбы, глаза у них сверкают. Выхватив из-за пояса у ближайшего всадника мачете, Гомес полоснул телку по бедру, открылась длинная красная рана. «А ну, дайте ей по поджилкам!» Кто-то с маху рассекает телке сухожилия, и животное с громким мычанием падает на колени. Генерал приказывает прикончить его. Панчо, торопясь выполнить команду, всаживает мачете телке в грудь, раз, другой, скверно. Более ловкий боец достает

своим тесаком до сердца. Животное зашаталось, рухнуло на бок, и красная кровь выплеснулась волной изо рта. Телку уволокли. Приехал Франсиско Перес; бравая кавалерийская посадка; круглолиц; несколько приведенных им лошадей очень хороши и слушаются каждого его слова; это энергичный, крепкий, основательный человек. Приехал капитан Пачеко, щуплый, развязный; он захватил табун лошадей, а свои же, кубинцы, нудит он, плохо обращались с его семьей, въедливо и как-то скользко твердит он одно и то же: «Я явился сюда не выслуживаться, а служить родине», — но сам только и знает, что говорить, причем обиняками, о тех, кто делает дело и кто ничего не делает, преуспевают, мол, как правило, те, что делают меньше, а не те, что делают больше, вроде него, хотя он пришел «лишь затем, чтобы послужить родине». «Мои краги, вот они», — и показывает на голые икры. Штаны на нем короткие, до колен, обут в хромовые ботинки со шнуровкой и на толстой подметке; шляпа — желтая с красным. Приехал Бельито, полковник Бельито, из Хугуани, он здесь задержался из-за болезни. Произвел на меня впечатление надежного человека; ясный, прямой взгляд; говорит и держится смело. Любит выражаться красиво, уснащая речь общими словами, чтобы собеседнику приходилось гадать над смыслом сказанного. «Революция умерла из-за того, что подло сместила своего вождя»⁵⁵. «Это наполнило печалью сердце народа». «С тех пор начался упадок революции». «Это они подали нам пример», они — «члены Палаты», и тут Гомес с горечью обрушивается на действия Гарсиа и на советников из его окружения: Белисарио Перальту, венесуэльца Баррето, Браво-и-Сентьеса, Фонсеку, Лимбано Санчеса, а позднее и Кольядо. Бельо говорит, расхаживая взад-вперед, он словно бы высматривает врага или уже заметил его и вот-вот бросится вперед или отпрянет назад. «Народ желает одного: доброго человека у власти». «Нет уж, сеньор, с нами вы лучше такие речи оставьте, еще не родился человек, кому я бы это позволил». «Я выстрадал и повоевал за родину не меньше другого прославленного генерала», смотрит прямо в глаза Гомесу, который сурово выговаривает ему за то, что его офицеры пропускают в Хигуани скот по разрешению Раби. «Ну и что? А кроме того, это приказ командира, а мы должны повиноваться приказу командира». «Я знаю, что это не дело и скот пропускать не надо, но нижестоящий обязан подчиняться вышестоящему». Гомес говорит: «Что вы там задумали с президентом? Пока я жив,

Марти президентом не бывать». И добавляет: «Не знаю уж, что с ними случается, с президентами, стоит им только очутиться наверху, сразу же портятся, кроме разве что Хуареса, да и то... и Вашингтона». Бельо опять возбужденно вскакивает с места, делает два-три порывистых шага, туда — обратно; мачете подпрыгивает у него на боку. «Это уже решит воля народа», — бормочет он. «Потому что мы, — сказал он мне другой раз, облокотившись о мой стол рядом с Пачеко, — мы пошли за революцией, чтобы стать людьми, а не ради того, чтобы наше человеческое достоинство унижали». Под шум дождя, за чашками кофе, в разговорах об Ольгине и Хигуани наступает вечер. А вестей от Масо все нет. Может быть, он двинулся на соединение с Антонио Масео? В темноте Миро обглаживает зажаренного на длинной колючке лесного голубя. Завтра переселяемся в другую хижину.

11-е. Это здесь, в Травесии, только хижина почище. Миро со своими людьми уезжает. До нового места добираться быстро. Хозяин, Росалио Пачеко, провоевал всю Десятилетнюю войну, а в «Малую войну» был сослан в Испанию и там женился на андалуске. Гомес сердито отчитывает его. Пачеко страдает, он сидит в ногах моего гамака на скамейке из жердочек. Пишем письма, продолжаем обсуждать необходимость развернуть боевые действия, осаждают города.

12-е. Из Травесии в Хатию, по огороженным пастбищам Травесии, Гуайяканеса и Ла-Вуэльты, где еще очень много крупного рогатого скота. От щедрых дождей травы загустели и поднялись. Корма и простора хватит для любой кавалерии. Приходится опрокидывать проволочные изгороди и выпускать скот на волю, чтобы стада разбрелись по горам, иначе их захватят испанцы, когда они разобьют лагерь в Ла-Вуэльте, на перекрестке всех здешних дорог. Блеснула излучина Контрамаэстре. И здесь, как у Кауто, берега рек изрезаны оврагами, но. Контрамаэстре уже и прозрачнее; вскоре переправляемся и пьем его чистую воду. Разговор заходит о детях. Теодосио Родригес из Ольгины привел с собою троих; Артигас тоже пришел с сыном; Бельтио — с двумя; старшему — двадцать один, младшему — восемнадцать. Мимо нас, жалобно мыча, пробегает корова и с разгону перемахивает через изгородь: за изгородью к ней медленно, будто вслепую, бредет отбившийся из стада теленок; вдруг, словно узнав, он взбрыкивает и со всех ног, вскинув хвост, бросается к матери и утыкается

мордой в вымя; мать долго еще мычит. Ла-Хатиа — поместье, дом основательный, из кедра, галерея внутреннего дворика крыта цинковым железом; хозяина, богатого испанца Аугустина Майсаны, уже нет — сбежал; полы усыпаны письмами и бумагами. Работаю на открытом воздухе; вся корреспонденция — в Камагуэй. Повезет ее Калунга; описываю виденное, сообщаю о путешествии⁵⁶ Маркизу, Моле, Монтехо. Составляю циркуляр, воспреещающий пропускать скот к испанцам; пишу к Раби. Масо совершает рейд по саванне вместе с Масео, и мы направляем ему письмо: эту неделю мы пробудем здесь, дожидаясь его. Прибыло трое ветеранов из провинции Лас-Вильяс; один получил три пулевых ранения, участвуя под командой Марьяно Торреса в безрассудной атаке под Аримао; спасший его брат отделался одной пулевой раной; едут в Хигуани — за покупками и новостями; у Хигуани за городской чертой есть хорошо укрепленный форт, а в самом городе имеются две башни каменной кладки и еще две недостроенных, так как мастера, подрядившиеся туда на плотничьи работы, неожиданно скрылись; испанцы говорят: «Вот они здешние каковы, и за плату не хотят с нами знаться». Покончив с письмами, ужинаем бананами и сыром, укладываемся спать и, лежа в гамаках, вспоминаем дом Росалио, где побывали сегодня утром, и самого хозяина, как он, положив локти на ограду, поджидал нас к утреннему кофе. У Росалио мужественная внешность, он крепко сбит, крепки, чувствуется привычка к тяжелому физическому труду, он красивый мужчина, белолиц, хотя уже есть морщины, чернобород, борода длинная и густая. «А это моя хозяйка», — с гордостью говорит верный супруг. Вот она, его прелестная андалуска; на ней темно-лиловое платье с широкой юбкой и цветастые туфли без задников на босу ногу; она толчет кофе на скамье у ворот дома, волосы, тяжелой копной поднятые вверх, падают ей на спину; она улыбается — но печально: не хочет уезжать в Гуантанамо к сестрам Росалио, «куда Росалио, туда и я с ним». Старшая девочка, беленькая, с правильным овалом лица, с чудесными волосами, короткими и на прямой пробор, нянчится с плачущим младенцем, таким исхудалым и слабым, что тонюсенькая шейка не держит его костлявой головки в кружевном чепчике; это последние. Росалио поднял хозяйство, он держит коров, варит сыр. Ломтями весом по фунту уплетаем мы этот сыр, обмакивая его в кофе. Сам Росалио, восседая на табурете, поит молоком из чайника сынишку,

голового ангелочка, который кусает других детей, стоит тем подойти к папе. Эмилия то повернется к буфету, который смастерила из ящиков, поставленных один на другой у стены хижины, и, приподнявшись на цыпочках, достанет еще одну чашку, то подсядет к нам послушать, о чем идет речь; со всех сторон на ней виснут дети, и грустная улыбка туманит ее лицо.

13-е. Решили ждать Масо в менее открытом месте, около Росалио, в доме его брата. То и дело кого-то утихомириваю: Бельито, Пачеко; в то же время пытаюсь умерить порывы излишней их приязни ко мне лично. Опять проезжаем вчерашними пастбищами, вверх по течению Кауто. Бельо прищипоривает коня, чтобы скорей показать мне крутолобый, удивительно красивый мыс под зеленой шапкой густого леса и обхватившие его излучистым плесом воды двух рек: здесь Контрамаэстре впадает в Кауто. На этом крутом мысу, под пологом лесной чащи, к которой с тыла подходят пастбища Травесии, размещался лагерь Бельито, у огромной сейбы, хороший лагерь, надежно скрытый среди деревьев. Переправляемся через Контрамаэстре и вскоре спешиваемся возле ранчо, покинутых Пачеко. Именно в этом месте, когда здесь были еще дикие дебри, находился лагерь Дос-Риос, тут произошла первая встреча О'Келли с повстанцами, до того как он направился к Сеспедесу. И вот разговор заходит еще о двух Альтаграсиях: об Альтаграсии Кубы, где мы побывали, об Альтаграсии Мандулея и об Альтаграсии Баямо. Потом о шляпах: «В Ольгине, вот где плетельщицы!» О самом Ольгине, о тамошних сухих почвах, жадно поглощающих дождевую влагу, о тамошних домах, вошел — повернуться негде, а патио огромное. «В Ольгине одних только отелившихся коров с тысячу наберется». Для меня разыскивают листья ежевики и помидоров и, смазав жиром, прикладывают к моим нарывам. Корпией служит волокно, надерганное Артигасом из недоуздка, который принес для меня Бельито. Хижина уже подметена, гамаки развешаны. Писать, читать. Дождь. Беспокойный сон.

14-е. Небольшой отряд отправляется в налет на Лавенту, поселок с лавкой Ребентосо, фортом и с гарнизоном в двадцать пять человек. Через несколько часов к нам присылают тамошнего алькальда, Хосе Гонсалеса. Галисиес, женат на местной, утверждает, что алькальдом назначен против собственной воли; помещаем его в ранчо к нашему парикмахеру и эконому, мулату Мигелю Пересу. Пишу, но

написалось мало и плохо, меня осаждают горькие мысли, на душе тоска и тревога. Если я сложу с себя свои полномочия⁵⁷, принесет ли это пользу родине и в какой мере? И тем не менее я должен сложить их, это возвратит мне в нужное время возможность свободно подавать советы, моральную силу противодействовать опасности, которую я предвидел⁵⁸ уже много лет и которая может одержать верх, ибо при нынешнем моем одиночестве я хотя и свободен внешне, но одинок и не в силах совладать с дезорганизацией и изолированностью; тогда революция, благодаря своему единодушию, естественно обретет формы, которые гарантируют и ускорят ее победу. В течение дня несколько раз приходил Росалио, приносил записки, молоко, посуду, еду; он уже префект Дос-Риос; его андалуска приготовила для одного нашего больного слабительное из клещевины, устроила гамак из полотна раскладушки, нашла, во что его переодеть. Больного зовут Хосе Гомес, он родом из Гранады; с лица не сходит открытая белозубая улыбка. «А вы, Гомес, как к нам попали? Давно вы на Кубе?» — «Да вот уже два года, завербовался в армию, а приехал — уволили, остался работать в Камагуэе. Нас тут всех поувольняли, чтобы прикарманить наше жалованье, мы жили на заработок. Народ кругом — одни креолы, но ничего кроме хорошего я от них не видел. Зарабатывал прилично, приоделся, друзья завелись. А из жалованья, что мне причиталось, за два года получил только двенадцать песо. И вдруг призывают меня обратно в казармы; но другим еще хуже досталось, меня все же капралом определили; только ведь это что значит? Теперь уже я сам должен мордобоем заниматься, а это мне — нож острый; офицер и треснул меня раза два по загривку, я смолчал, но дал себе зарок: меня больше и пальцем никто не тронет, взял винтовку, патронов — и к вам». Он на коне, в панаме и сером френче, с карабином на луке седла и неизменной улыбкою на губах. В хижину толпой входят сплавщики, идут они из Ато-дель-Медио и с Ла-Саванны: хотят узнать, можно ли им по-прежнему заниматься сплавом бальзовых бревен; они возвращаются в Кауто-дель-Эмбаркадеро, но свою работу им придется оставить: запрещен всякий промысел, из которого неприятель мог бы извлечь прямую или косвенную выгоду. Сплавщики не возражают, они только хотели знать, не сегодня-завтра они и сами выступят под началом майора Континьо. К хижине неторопливо, несмотря на дождь, приближается всадник — что за великолепный человеци-

ще! — чернокожий, в огромной шляпе с загнутыми полями; придерживая коня позади толпящихся под кровлей людей, возвышаясь над ними, он прислушивается к разговору. Это Касиано Лейва, сосед Росалио, проводник по округу Гуамо, первый из первых, топором которого не страшны никакие заросли; он снимает шляпу, и я вижу благородное лицо, высокий и выпуклый лоб, спокойные глаза, твердый взгляд, широкие скулы, правильный нос, острый подбородок с полуседой эспаньолкой, торс атлета и героя, а ноги несоразмерно тонкие — одна голень была искалечена пулей; он привез разрешение отдать мясо окрестным жителям, чтобы не было излишнего убоя скота. Мягкий выговор, все делает с умом и достоинством, отсюда он поедет в Гуамо. Пишу общие инструкции для наших командующих и офицеров.

15-е. Дождливая ночь, грязь, купание в Контрамаэстре: ласковое объятие водяного потока; вода просто шелковая. После полудня возвращается отряд из Ла-Венты: Масо где-то в саванне, нам его разыщут; в Ратонере захватили небольшой обоз. Трофеи складывают в хижине у входа. Бельито распределяет. Сначала ткани — Бельито меряет их локтем — для эскорта. Пачеко, начальнику обоза, людям Бельито, для штаба — свечи; одну штуку материи — для жены Росалио; лук и чеснок, картофель и оливки — для Валентина. Не успели еще сгрузить трофеи, а Валентин уже тут как тут, первехонек, от нетерпения на месте не стоит. Потом — остальные, навалились целой толпой. Им — галлон крепленого вина марки «за неимением лучшего». Еще: из Баямо преспокойно движется обоз в Байре с довольствием для находящихся по пути гарнизонов. С ним одиннадцать проводников, в их числе Франсиско Дьегес. Но он к нам присоединится. Он мне написал; все дело в том, что у нас в отряде есть бандиты, которых он преследовал, вот он и не хочет покуда идти к нам, бандиты из шайки Колдунка, того, что расстреляли в Ато-дель-Медио. А у нас нет под рукой достаточных сил, чтобы перехватить этот обоз, его сопровождают пятьсот солдат. Раби, передают, напал в Сан-Луисе на поезд из Сантьяго и там остался. За столом заходит речь о Лимбано, рассказывают об обстоятельствах его гибели; со слов проводника из Майяри, он поспешил на помощь к Лимбано, но опоздал. Лимбано вместе со смертельно раненным Монго добрался до дома Габриэля Рейеса; его жену, дрянную женщину, Лимбано когда-то сильно любил; он отдал ей все деньги,

какие имел при себе, разделив поровну: половину для сына, которого она с ним прижила, половину для Габриэля, чтоб тот отправился в Сантьяго и помог им тайком выбраться с Кубы. Габриэль вернулся, ему пообещали две тысячи песо, если он отравит Лимбано, он это сделал и поспешил сообщить на жандармский пост; жандармы пришли и стреляли в мертвого Лимбано, погиб, дескать, в перестрелке с ними. Габриэль живет в Сантьяго, осуждаемый всеми близкими; приемный сын сказал ему: «Я ухожу из вашего дома, отчим, потому что вы подлец». Перед сном Артигас смазывает лист помидора несоленым свиным жиром и накладывает на мой вскрывшийся нарыв.

16-е. Гомес отправляется на рекогносцировку окрестностей. А перед тем — обыск вещевых мешков по подозрению в краже полбутылки жира у лейтенанта Чакона, офицера Диаса, сержанта П. Рико; обыскиваемые ропщут. Мнение Пачеко: с кубинцами надо лаской, а не деспотизмом; именно деспотизм заставил многих кубинцев отвернуться от повстанческого правительства, и теперь будет то же самое; и еще: за оружие взялся народ, он хочет таких людей, которые обращались бы с ним лучше, чем испанцы, ценили бы его самопожертвование. Успокаиваю его — и уклоняюсь от изъявлений приязни ко мне с его стороны и со стороны всех остальных. Маркос из Санто-Доминго: «За вами — в огонь и в воду!» Гомес возвращается от Росалио. Алькальда Ла-Венты отпустили на свободу; солдаты-андалусцы, стоящие в Ла-Венте, хотят перейти на нашу сторону. Дождь. Опять за перо и чтение.

17-е. Гомес выступает во главе сорока кавалеристов, хочет потревожить внезапным налетом обоз из Баямо. Я остаюсь, пишу *общие* инструкции для командующих и офицеров. Гаррига и Ферна тут же их размножают. Со мной — двенадцать человек под командой лейтенанта Чакона, трое в дозоре: по одному на каждой из трех дорог, а рядом, не отходя, — Грасиано Перес. Приезжает на своей замученной лошаденке по колено в грязи Росалио, привозит мне в плетеной домашней корзине завтрак — пополам с любовью: «Я за вас жизнь отдам». Приехали двое братьев Чакон, оба только что из Сантьяго; один уже хозяин захваченного позавчера табуна, второй — светловолосый бакалавр, любитель пошутить, — и Хосе Кабрера, сапожник из Хигуани, прямодушный здоровяк, — и Дуане, молодой негр, статуя из черного дерева, одетая в рубашку, штаны и опоясанная широким поясом... и застенчивый Авалос,

и Рафаэль Васкес, и шестнадцатилетний Десидерью Солер, которого Чакон взял с собою как сына. Есть тут и еще один сын. Эзекиель Моралес, ему восемнадцать, отец погиб в годы войны. И они мне рассказывают про вдову, крестьянку Росу Морено: она снарядила своего единственного сына — шестнадцатилетнего Милесио и отправила к Раби: «Твой отец пал в бою, я для войны стара, иди ты». Для вновь прибывших жарят бананы и камнем толкут в ступке вяленую говядину. Контрамаэстре вздулся и помутнел; Валентин приносит мне кружку воды, очищенной кипячением, с заваркой из листьев смоковницы...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Лола* — Долорес Аран, жена кубинского революционера доктора Ульпиано Дельюнде, в доме которого в порту Кап-Аитьен (Гаити) Хосе Марти скрывался от испанских соглядатаев перед отплытием на Кубу.

² *Мы поднимаемся на борт.* — Капитан немецкого фруктово-завоза «Нордетранд», шедшего на Инагуа (Багамские острова), согласился взять кубинских революционеров и на обратном пути высадить их в море поближе от берегов Кубы.

³ *Майси* — мыс, восточная оконечность острова Кубы.

⁴ *Салас* — капитан Сесар Салас Самора (1867—1893), участник «Малой войны».

⁵ *Пакито Борреро* — ветеран Десятилетней войны, бригадный генерал Франсиско Борреро (1864—1895).

⁶ *Генерал.* — Имеется в виду Максимо Гомес-и-Баес (1836—1905). В своем «Полевом дневнике» он так описывает эту высадку: «Восемь часов вечера, мы в трех милях от южного побережья Кубы, недалеко от порта Гуантанамо. Темная ночь и бурное море, тьма такая, что море кажется черным погребальным саваном, в который нас завернут навеки. На небе ни звездочки. Ливень усиливается. Пароход на минуту останавливается, спускают шлюпку, погружают оружие и боеприпасы, с борта в шлюпку падают шесть человек; каждый скажет, что это шесть сумасшедших... Никто из нас шестерых не моряк, но мы беремся за весла. Марти и Сесар на носу, гребут отчаянно, но неумело; остальные в середине шлюпки. Я хватаюсь за руль, но плохо соображаю, как им действовать, в конце концов руль сносит волной. Кромешная тьма, ливень все сильнее. Мы сбились с курса и едва различаем берег. Какие-то два человека на берегу, может быть, испанские жандармы, показывают нам, куда держать. Выбываясь из сил, направляем шлюпку.

Но providение не совсем нас покинуло. Дождь стихает, ночь проясняется, на востоке выглядывает луна. Гребем уже с большей сноровкой. Мы с бригадиром Борреро превратили весло в руль и неплохо помогаем направлять шлюпку. Уже десять часов, и мы могли бы пристать к берегу,

но высадка здесь невозможна: берег крутой, скалистый, у подножья скал беснуется прибой. Некоторое время идем вдоль берега. Наконец, подарок Фортуны — пляж «Плайита».

⁷ *Нинья* — девочка, девушка (*и с п.*).

⁸ *Фернандо Лейва* — алькальд (староста) местечка Баррио, ветеран Десятилетней войны, служивший под началом Гомеса.

⁹ *Маркос* — полковник Маркос дель Росарио Мендоса, доминиканец, ветеран Десятилетней войны.

¹⁰ *Абраам Лейва* — брат Фернандо Лейвы.

¹¹ ...*рассказал Руэнесу*... — Имеется в виду ветеран Десятилетней войны майор Феликс Руэнес Агирре, возглавлявший отряд повстанцев численностью в пятьдесят бойцов.

¹² *Мамби* — слово африканского происхождения, первоначальное значение которого утеряно. На языке кубинской революции мамби означает повстанец, борец за свободу, патриот.

¹³ *Хутия* — грызун из семейства нутриевых. Обитает на Кубе и на острове Пинос. Живет в горах на деревьях, реже среди скал.

¹⁴ ...*звание генерал-майора*. — Максимо Гомес относит присвоение Хосе Марти генеральского звания к 18 апреля.

¹⁵ *Трапиче* — примитивная сахароварня, перевозимая по плантации на быках.

¹⁶ *Баракоа* — портовый город и округ в провинции Орьенте.

¹⁷ *Харагуита* (от харагуа — дерево с очень твердой древесиной) — прозвище Хуана Родригеса, проводника испанских колонн, предателя, выдавшего патриотов испанским властям. Харагуита был разоблачен повстанцами, бежал из отряда, но его поймали и расстреляли по приговору военного трибунала.

¹⁸ ...*Перико Пересу*... — Имеется в виду Педро Агустин Перес, поднявший восстание в Гуантанамо.

¹⁹ ...*печальная весть!* — Первое известие о гибели отряда из двадцати двух ветеранов, высадившегося в Орьенте, в котором были генералы Антонио Масео, его брат Хосе Масео и Флор Кромбе. Испанцы обнаружили высадку и окружили патриотов крупными военными силами. Под Пальмитой отряд Масео был частично уничтожен, частично рассеян. Флор Кромбе пал в бою, Антонио Масео с двумя товарищами и Хосе Масео в одиночку удалось после долгих скитаний по горам присоединиться к уже действующим повстанческим отрядам.

²⁰ ...*разговор о Сеспедесе*... — Карлос Мануэль Сеспедес (1819—1874) — национальный герой Кубы, адвокат и крупный землевладелец из Баямо. 10 октября 1868 г. первым поднял знамя борьбы за независимость и во главе повстанческих отрядов провинции Орьенте одержал первые победы над испанскими войсками, в частности освободил город Баямо. С 1869 г. по 1873 г. Сеспедес был президентом республики, учрежденной на освобожденной территории Кубы.

²¹ ...правительству пришлось самому искать пристанища в Орьенте. — В начале 1870 г. испанские войска сильно потеснили повстанцев в провинции Камагуэй и овладели городом Гуаймаро, местом пребывания палаты депутатов Свободной Кубы. Правительству Кубинской республики пришлось перебраться в Орьенте.

²² ...сдался волонтерам... — Имеются в виду добровольческие части, формировавшиеся испанскими властями.

²³ Поликарпо. — Речь идет о Поликарпо Пинера по прозвищу Рустам, командире повстанческого отряда, сражавшегося в Десятилетней войне в районе Гуантанамо.

²⁴ Инзенио — сахарный завод с плантацией сахарного тростника.

²⁵ Я писал Кармите... — Имеется в виду Кармен Миарес, верный друг Хосе Марти, кубинская эмигрантка, жившая в Нью-Йорке.

²⁶ Альпаргаты — плетеные веревочные туфли.

²⁷ «Уорлд» — популярная нью-йоркская газета «Нью-Йорк Уорлд». Возможно, Мануэль Фуэнтес — псевдоним самого Хосе Марти.

²⁸ ...про победу, которую он одержал в Рамон-де-лас-Ягуас... — Речь идет об одной из первых операций повстанцев в марте 1895 г. (т. е. до прибытия Антонио Масео) — атаке на испанский гарнизон.

²⁹ Хосе Масео — бригадный генерал, младший брат Антонио Масео. В 1896 г. погиб в бою.

³⁰ Эстансия — имение, обычно скотоводческое.

³¹ ...лицом к солнцу. — Марти цитирует заключительные слова своего стихотворения из сборника «Простые стихи» (в русском переводе — «лицом на восход»).

³² ...сообщение с Севером... — То есть с кубинскими эмигрантскими организациями в США.

³³ Брукс Энрике — командир отряда повстанцев численностью в сто человек.

³⁴ Масо — генерал Бартоломе Масо, выдающийся военный и политический деятель, участник Десятилетней войны с первых ее дней, занимал видные посты в правительстве Свободной Кубы. Ему по плану «Фернандина» было поручено возглавить восстание в южной и западной частях провинции Орьенте.

³⁵ Луис Бонне — командир отряда, в марте 1895 г. успешно разгромившего испанский гарнизон в местечке Бине.

³⁶ ...в доме «плохого испанца»... — В 40-х годах в эпоху правления на Кубе испанского генерала Мигеля Такона было запрещено употреблять слово «кубинцы». Население острова подразделялось на «хороших испанцев», то есть креолов, верных Испании, и «плохих испанцев» — тайных сторонников независимости. Марти иронически относит к «плохим» тех испанцев, живущих на Кубе, которые не поддерживали восстание.

³⁷ ...усадьба Демахагуа. — Перед началом Десятилетней войны здесь

было поместье Сеспедеса, откуда он во главе малочисленного и плохо вооруженного отряда, состоявшего из его арендаторов и рабов, предвительно им освобожденных, выступил в бой за независимость Кубы.

³⁸ *Защитник, взывает к милосердию...* — Защитником был Хосе Марти.

³⁹ *Раби* — бригадир Хесус Раби, ветеран Десятилетней войны, участник протеста в Барагуа, командующий повстанческими войсками в округе Хигуарани.

⁴⁰ Отсутствующие страницы были посвящены совещанию, состоявшемуся на следующий день, 6-го мая, в инхенно «Мехорана». Вот как М. Гомес описывает в своем дневнике встречу с А. Масео:

«6-го мая. Выступили в направлении на Баямо. Едем молча, подавленные поведением генерала Антонио Масео, натолкнулись на передовой дозор его отряда, дозорные вынудили нас свернуть в лагерь. Генерал Масео извинялся за свое поведение как только мог. Мы не подавали виду, что замечаем его старания, как раньше старались не замечать его грубости. Горькое разочарование, испытанное нами накануне, было снято ликованием и уважением, с которыми войска встретили и приветствовали нас».

В свою очередь Хосе Марти в письме от 9-го мая, адресованном, по всей вероятности, Кармите, также восхищается приемом, оказанным войсками: «Ехали к Масо, приехали к Масео. Какой восхитительный военный смотр трем тысячам конных и пеших бойцов у самых ворот Сантьяго-де-Куба. Как гордо восседает на прекрасном скакуне отважный Раби! Какой радостной надеждой сияет Антонио Масео».

По свидетельству лиц, присутствовавших на совещании в «Мехоране», там было решено признать Хосе Марти идейным вождем революции, Максимо Гомеса — главнокомандующим войсками, Антонио Масео — командующим войсками в провинции Орьенте, Хосе Масео — командующим войсками в районе Сантьяго-де-Куба. На пост президента республики, по предложению Антонио Масео, согласились выдвинуть кандидатуру генерала Бартоломе Масо. Антонио Масео доказывал, что место Хосе Марти не здесь, а в США, где он должен организовывать снабжение, вести пропаганду, налаживать связь с правительством США, добиваясь признания Кубинской республики. Марти ответил, что не уедет до тех пор, пока не побывает в бою, не получит боевого крещения. В заключение Антонио Масео познакомили с «Манифестом Монте-Кристи», и он выразил полное согласие с этим документом.

Спустя два месяца, 14 июля 1895 года, Антонио Масео писал Бартоломе Масо: «Правда, когда прибыли генералы Гомес и Марти, я считал создание правительства преждевременной роскошью, но также правда и то, что сейчас я считаю это делом настоятельно необходимым для престижа и авторитета уже развернувшейся революции; в нашей провинции все население жаждет этого события».

⁴¹ ...он вез Мартинеса Кампоса... — См. примеч. 50.

⁴² «Я вернулся сюда...» — По-видимому, Гомес вспоминает свое возвращение из рейда по Гуантанамо в августе 1871 г., в ходе которого сжигались кофейные плантации и освобождались рабы.

⁴³ «После падения Баямо...» — В начале января 1869 г. испанские войска одержали несколько побед и заняли главную базу повстанцев в провинции Орьенте, город Баямо, вернее развалины города: Баямо был сожжен жителями. В руководстве повстанцев, теснимых противником, вспыхнули разногласия. Поводом послужило присвоение себе Сеспедесом звания генерал-капитана, которое имели испанские наместники на Кубе. В ответ другой популярный вождь повстанцев Донато Мармоль провозгласил себя диктатором, а Максимо Гомеса — своим заместителем. На совещании в Такахо (29 января 1869 г.) было достигнуто согласие и Сеспедес утвержден главным руководителем повстанческих сил (правда, без звания генерал-капитана).

⁴⁴ Маркано — бригадир Франсиско Маркано, доминиканец. Погиб вскоре после совещания в Такахо.

⁴⁵ Хосе Хоакин Пальма (1844—1911) — поэт, ветеран Десятилетней войны, одно время был адъютантом Сеспедеса. Сборник его поэзии «Стихи» (1878) вышел с предисловием Хосе Марти.

⁴⁶ Кинтин Бандерос — генерал Кинтин Бандерос Бетанкур (1845—1906), негр, ветеран Десятилетней войны и «Малой войны», один из прославленных полководцев, воспитанных Антонио Масео.

⁴⁷ ...брат Гильермо... — Имеется в виду легендарный полководец Десятилетней войны, негр, генерал Гильермо Монкада, по прозвищу Гильермон (Большой Гильермо; 1838—1895). Участвовал в «Малой войне»; в 1879 г. после поражения был заключен в крепость «Морро», где заболел туберкулезом. По «плану Фернандина» Г. Монкаде поручалась подготовка восстания и руководство военными действиями повстанцев на севере и востоке провинции Орьенте. Уже смертельно больной, он все же выполнил первую часть задания и перед смертью (9 апреля) передал свои полномочия генералу Бартоломе Масо.

⁴⁸ Маркиз. — Имеется в виду видный политический и военный деятель Сальвадор Сиснерос Бетанкур, принадлежавший к древнему аристократическому роду маркизов Санта-Лусиа. Крупный землевладелец, в Десятилетнюю войну он был одним из инициаторов восстания в Камагуэе и сразу же после начала военных действий освободил своих рабов. В 1873—1874 гг. президент Кубинской республики. В 1895 г., уже после смерти Хосе Марти, снова был избран президентом (а генерал Масо — вице-президентом) и занимал этот пост до конца войны.

⁴⁹ Сын Аграмонте — Игнасио Аграмонте (1841—1873), национальный герой Кубы, выдающийся военный и политический деятель, вождь демократического крыла в правительстве Кубинской республики.

⁵⁰ ...*Мартинес Кампос вел переговоры с Масео.*— Десятилетняя война закончилась Санхонским пактом, подписанным в городке Санхон 11 февраля 1878 г. Мир был выгоден Испании: Куба оставалась ее владением и взамен получала туманные обещания автономии и отмены рабства в неопределенном будущем. Антонио Масео, командующий кубинскими войсками в Орьенте, отказался подписать мирный договор. На встрече в долине Манго-де-Барагуа с инициатором мирных переговоров «генералом-мировотворцем» Мартинесом-Кампосом, главнокомандующим испанскими войсками на острове, Масео потребовал предоставления Кубе независимости и отмены рабства. Негодование испанского генерала объясняется тем, что он ехал на встречу в уверенности, что добьется согласия Масео, а тот настаивал на встрече лишь потому, что нуждался в отсрочке для перегруппировки своих сил.

Хотя Антонио Масео не удалось продолжить национально-освободительную войну, тем не менее его протест против несправедливого мира («Протест Барагуа») имел огромное моральное значение. Хосе Марти назвал его «самым славным документом кубинской истории».

⁵¹ ...*прибыл Гарсиа.*— Речь идет о генерале Висенте Гарсиа, командующем войсками округа Тунас (в городе Тунасе находилось правительство Свободной Кубы).

⁵² «*Туполобые*», «*астурийцы*» и «*призлебатели-интегрисы*» — бранные прозвища приверженцев Испании. «Интеграция» — требование слияния Кубы с Испанией.

⁵³ ...*о Хуане Гуальберто.*— Имеется в виду революционер и талантливый публицист Хуан Гуальберто Гомес (1864—1935), член Кубинской революционной партии, друг и ученик Хосе Марти, один из руководителей подпольной организации в Гаване. 24 марта 1895 года Хуан Гуальберто Гомес поднял восстание в городке Ибарра поблизости от Гаваны, но восстание было подавлено, сам Гомес схвачен, заточен в крепость «Морро», а впоследствии выслан в Испанию.

⁵⁴ «*Не говорите при мне: Марти президент*»...— слова Максимо Гомеса.

⁵⁵ «*Революция умерла из-за того, что подло сместила своего вожда.*— Летом 1873 г. крупные землевладельцы, заседавшие в палате депутатов, уже нащупывали пути к примирению с Испанией и были недовольны решительными действиями Карлоса Мануэля Сеспедеса. Заключив союз с командующим войсками в Орьенте генералом Каликсто Гарсиа, они сместили Сеспедеса с поста президента. Лишенный всех prerogativ и даже охраны, разом состарившийся, Сеспедес укрылся в горах Сьерра-Маэстры в крестьянской усадьбе. Там его разыскали и убили испанцы (27 февраля 1874 г.).

⁵⁶ ...*сообщая о путешествии.*— По всей вероятности, имеется в виду предстоящий отъезд Хосе Марти в Нью-Йорк.

⁵⁷ ...*сложу с себя свои полномочия...*— Хосе Марти намеревался сложить с себя полномочия Делегата Кубинской революционной партии перед собранием народных представителей, созванным для избрания правительства Свободной Кубы. «Я сумею стать рядовым и не почувствую от этого никакой обиды, ибо буду знать, что идея моя жива», — писал Хосе Марти в оставшемся неоконченным письме, датированном 18 мая 1895 г.

⁵⁸ ...*противодействовать опасности, которую я предвидел...*— То есть опасности установления на Кубе военной диктатуры.

В. С т о л б о в

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Степанов. К читателям альманаха	5
Алехо Карпентьер (КУБА)	
Концерт барокко. <i>Перевод с испанского Р. Линцер.</i> . . .	8
В. Земсков. Всемирный концерт барокко	58
Хоакин Гутьеррес (КОСТА-РИКА)	
Ты помнишь, брат. <i>Перевод с испанского Р. Сашиной</i>	65
Карлос Пельисер (МЕКСИКА)	
<i>Перевод с испанского П. Грушко</i>	
Осенний сонет	226
Путешествие	227
Тема для ноктюрна	227
Ноктюри VI	228
Брожу по сердцу	228
Скорбный сонет	229
Когда бы	229
Ветер сидел на камне	230
Я беру пример с дерева	230
Застыл я в игуанном смысле слова	230
Я родился на свет молодым	231
Уединенные стихи	232
Пробуждение	232
Полночь в красно-фиолетовом	233
Убили осень...	234
Сонет	234
Аугусто Роя Бастос (ПАРАГВАЙ)	
Курупи. <i>Перевод с испанского М. Абезгауз.</i>	235
Хулио Кортасар (АРГЕНТИНА)	
<i>Перевод с испанского</i>	
Апокалипсис в Солентинаме. <i>Перевод П. Грушко.</i> . . .	266
В ином свете. <i>Перевод В. Капанадзе.</i>	273
Во второй раз. <i>Перевод В. Спасской.</i>	283
Тот, кто бродит вокруг. <i>Перевод В. Спасской.</i>	289
Хосе Доносо (ЧИЛИ)	
<i>Перевод с испанского О. Климовой</i>	
Чарльстон	296
Два письма	306

Жозе Жасинто Вейга (БРАЗИЛИЯ)*Перевод с португальского Т. Коробкиной*

Лошадки из Платипланта	315
Где живут диданго?	322
Все на свете относительно	328
В субботу вечером, в воскресенье утром	333

ИЗ ПЕРУАНСКОЙ ПОЭЗИИ*Перевод с испанского***Сесар Вальсхо**

«Забойщики покинули забой...». <i>Перевод Б. Дубина</i>	343
Шляпа, пальто, перчатки. <i>Перевод А. Гелескула</i> . . .	345
«Нес воскресенье на ушах мой ослик...». <i>Перевод А. Гелескула</i>	345
«Чуть-чуть побольше выдержки, собрат...». <i>Перевод Б. Дубина</i>	346
«Сегодня я хотел бы стать счастливым...». <i>Перевод Б. Дубина</i>	347
«Клянет и любит сердце свою масть...». <i>Перевод А. Гелескула</i>	348

Хавьер Эро

Река. <i>Перевод с испанского Н. Булгаковой</i>	349
---	-----

Луис Кардоса-и-Арагон (ГВАТЕМАЛА)

Гватемала: линии ее руки. <i>Перевод с испанского Б. Дубина</i>	355
---	-----

Серхио Вильегас (ЧИЛИ)

Похороны под прицелом автоматов. <i>Перевод с испанского Н. Попрыкиной</i>	408
--	-----

ПОЭЗИЯ НИКАРАГУА*Перевод с испанского***Асариас Пальйе***Перевод М. Самеева*

Белка	433
Праздник художников	434

Альфонсо Кортес*Перевод М. Самеева*

Окно	437
На тропе	438
Песня пространства	438

Хосе Коронель Уртечо*Перевод М. Самаева*

Прошлое не вернуть	439
Деревянная луна	441

Хоакин Пасос*Перевод Инны Тыняновой*

Гордая поэма	442
Старики-индейцы	443

Эрнесто Мехна Санчес*Перевод М. Самаева*

Пятна ягуара	443
Сомосы	444
Эпитафия изгнанника	444
Только земля	445

Пабло Антонио Куадра*Перевод М. Самаева*

Национальный гимн	448
В августовском тепле	451
Девушки	451

Карлос Мартинес Ривас*Перевод В. Макарова*

Колыбельная песня без музыки	452
Вход в гробницу	453

Эрнесто Карденаль*Перевод Инны Тыняновой*

Фотографии в газете	455
Баррикада	457
Э п и г р а м м ы	
«Я дарю тебе, Клаудиа, эти стихи, ибо ты им хозяйка...»	458
«Утрата мною тебя нам обоим сулит утрату...»	459
«Горы окурков, пустые банки от пива...»	459

Эрнесто Гутьеррес*Перевод Н. Ванзанен*

Так я живу с самим собой в разлуке	460
Картины осени	461
Заводь	461

Леонель Ругама

Остались руины в дыму. <i>Перевод В. Макарова</i> . . .	462
Сандино. <i>Перевод А. Струка</i>	463

Эрнесто Кастильо

Перевод Инны Тыняновой

Если жизни моей неостанет	464
Вчера я прочел в газете	465
Где неизвестные пролили кровь свою	465

Джиоконда Белли

Пока не наступит свобода. <i>Перевод Н. Ванханен</i> . . .	466
Что ты такое, Никарагуа? <i>Перевод Н. Ванханен</i> . . .	467
«Порой я кажусь самой себе зодчим...» <i>Перевод Н. Ванханен</i>	468
Любящая. <i>Перевод Н. Ванханен</i>	469
19 июля, свободная родина. <i>Перевод А. Струка</i> . . .	469

Франсиско де Асис Фернандес

Перевод А. Струка

К Дорис Тихерино	471
Начнем, товарищи	472
Они нас так любили	473

Хорхе Эдуардо Арельяно

Перевод А. Струка

Песнь свободной Никарагуа	474
-------------------------------------	-----

Роке Дальтон (САЛЬВАДОР)

Перевод с испанского Н. Ванханен

Стихи о далеком детстве	479
Мудрецы	483
Запах	483
Вы били меня...	484
Обнаженная	485
Мечта честолюбца	485
Глубокой ночью	486
Хвалебная песнь	486
Солдат на привале	488
Что сказал сумасшедший	488

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Хосе Марти (КУБА)

В. Столбов. Последние страницы Хосе Марти	490
От Кап-Аитьена до Дос-Риос. Последний дневник. <i>Перевод с испанского П. Глазовой</i>	495
В. Столбов. Примечания	533

Л 27 Латинская Америка: Лит. альманах. Вып. 1-й./
Сост. Э. Брагинской и В. Земскова; Вступление
Г. Степанова; Худож. Ю. Копылов.— М.: Худож.
лит., 1983.— 543 с.

В первом выпуске литературного альманаха «Латинская Америка» публикуются: последний дневник выдающегося кубинского революционера Хосе Марти, роман коста-риканского писателя Хоакина Гутьерреса «Ты помнишь, брат», повести и рассказы писателей Аргентины, Бразилии, Кубы, Парагвая, Чили, стихи поэтов Мексики, Перу, Никарагуа, Сальвадора, а также другие материалы.

Л 4703000000-191 167-83
028(01)-83

И (Латин)

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ
«ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА»**

Выпуск первый

Составители

**Элла Владимировна Брагинская
и Валерий Борисович Земсков**

Редактор М. Филиппова

Художник серии Ю. Копылов

Художественный редактор И. Сальникова

Технический редактор Л. Платонова

Корректор Н. Усольцева

ИБ № 2998

Сдано в набор 10.10.82. Подписано в печать 31.03.83. Формат
84 × 108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Печать высокая. Гарнитура
«Обыкновенная новая». Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 28,56.
Уч.-изд. л. 30,76. Заказ № 615. Тираж 50 000 экз. Изд. № VII-327.
Цена 3 р. 20 к.

**Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19.**

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

